



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

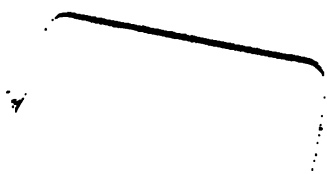
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





1





ЗАПИСКИ ЕВРЕЯ.

ЗАПИСКИ ЕВРЕЯ.

*Полное собрание сочинений
составлено по списку
наследственных вещей.*

ЗАПИСКИ ЕВРЕЯ

Воспомин.

Г. ВОГРОВА

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ



САНКТПЕТЕРБУРГЪ

Типографія В. Тушкова, Надеждинская улица, д. № 39

1874

PG 3133
B64 122

PG 3453
B643 22

Помню, как, читая эту книгу
осталась в семье детей
наследственной памяти.
из года в год. *Будущее, В. И. Шубин.*
1919/31 *Н. И. Зенкович*

ЗАПИСКИ ЕВРЕЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Мнѣ уже сорокъ лѣтъ. Жизнь моя не наполнена тѣми романтическими нежданностями, которыя бросаютъ читателя въ жаръ и холодъ. Напротивъ того, она очень проста и мелка. За всѣмъ тѣмъ, если-бы я владѣлъ даромъ слова присяжнаго рассказчика, она могла-бы заинтересовать если не всякаго читателя, то, по крайней мѣрѣ, еврейскую читающую публику. Какъ иногда одна капля воды представляетъ вооруженному глазу натуралиста цѣлый микрокосмъ для наблюденій, такъ и узкая тропинка, по которой проташилъ я красную половину своей разнообразной жизни, вмѣщаетъ въ себѣ замѣчательнѣйшія стороны еврейской общественной, религіозной и экономической жизни послѣднихъ четырехъ десятилѣтій, съ ея прямыми и косвенными вліяніями на жизнь каждаго отдѣльнаго еврея. Если-бы удалось мнѣ облечь все то, что я видѣлъ и перечувствовалъ втеченіи моей жизни, въ соотвѣтствующую форму слова, то мои собратья по вѣрѣ живо сознали-бы тотъ особаго рода кошмаръ, который душилъ тяжело спавшій духъ еврея, — кошмаръ, который лишалъ даже возможности облегчить грудь крикомъ или движеніемъ. Но повторяю: я считаю свой трудъ лишь первымъ и, можетъ быть, очень слабымъ шагомъ на томъ пути пробужденія сознанія, который долженъ привести евреевъ къ новой жизни, соотвѣтствующей разумной природѣ человѣка.

I.

ОТЦА И ПОКРОВИТЕЛЯ

Я сказалъ выше, что мнѣ наступилъ нынѣ уже сороковой годъ. Добросовѣстность рассказчика, однакожъ, не позволяетъ мнѣ подтвердить это съ достовѣрностью, по неимѣнію къ тому фактовъ. Съ средневѣковыхъ временъ еще евреи привыкли смотрѣть на жизнь, какъ на пытку, а на смерть, какъ на спасительницу тѣла отъ поруганій, а души — отъ смертныхъ грѣховъ. Рожденіе у евреевъ совсѣмъ не считалось такимъ радостнымъ событіемъ, чтобы о немъ помнить. Смерть и похороны семейныхъ членовъ гораздо счастливѣе въ этомъ отношеніи. Этимъ и объясняется то обстоятельство, что у евреевъ празднуются не дни рожденія, а дни похоронъ, хотя и самымъ грустнымъ образомъ ¹⁾. Да и чему радоваться при рожденіи на свѣтъ новаго страдальца?

Единственный фактъ для опредѣленія моихъ лѣтъ—это мой паспортъ; но онъ, сколько мнѣ извѣстно, такъ-же не точенъ, какъ и его примѣты, нарисованныя воображеніемъ секретаря думы. Я помню цѣлую эпоху въ моей жизни, въ которую секретарь думы называлъ мои глаза пивными, собственно по особенной его любви къ пиву. Лишь по смерти этого добраго секретаря глаза мои были пожалованы въ каріе, и то, кажется, потому, что новый секретарь питалъ особенное уваженіе къ карему цвѣту своихъ лошадей. Лѣта мои, по метрическимъ отмѣткамъ, то стояли на одномъ пунктѣ, то подвергались приливу и отливу, смотря по обстоятельствамъ. До записки меня въ ревизскую сказку я долгое время совсѣмъ еще не родился ²⁾, а существовалъ не въ зачетъ. Потомъ долгое время считался груднымъ ребенкомъ. Когда мнѣ наступилъ, по вычисленію моей матери, пятнадцатый годъ и когда мои родители

¹⁾ Ежегодно, въ день похоронъ близкихъ родственниковъ, евреи зажигаютъ свѣчи, какъ эмблему души усопшаго, молятся въ синагогахъ за упокой, а иные даже постятся. Въ эти грустные дни не допускаются никакія душевныя и тѣлесныя наслажденія.

²⁾ Общества евреевъ, болѣею частью, состояли изъ пролетаріевъ-паразитовъ, которые не только не были въ состояніи отбывать подушную и прочія повинности, но и самое свое существованіе поддерживали на счетъ обществъ. Это повуждало общества стараться, всѣми неправдами, уменьшать численность своихъ членовъ по ревизскимъ сказкамъ, скрывая, по возможности, число родившихся незадолго до ревизіи.

начали серьезно задумываться, какъ-бы скорѣе покончить съ моею холостой жизнью, я вдругъ выросъ по метрическимъ книгамъ до восемнадцати лѣтъ ¹⁾. Совершеннолѣтіе мое, однакожь, продолжалось не болѣе полугода послѣ женитьбы, потому что рекрутскую повинность начали отбывать по числу совершеннолѣтнихъ членовъ семейства. Было необходимо толкнуть меня назадъ, и я вдругъ опять сдѣлался шестнадцатилѣтнимъ. Въ этомъ возрастѣ я оставался около двухъ лѣтъ. Въ промежуткѣ этого времени большое семейство наше разбилось на нѣсколько маленькихъ семействъ ²⁾, и

¹⁾ Евреи тогдашняго времени до такой степени строго выполняли заповѣи Егвы: „плодитесь и множитесь“, что имѣли обыкновеніе сочетать бракомъ малолѣтнихъ дѣтей, неразвившихся еще даже физически. На каждомъ шагу встрѣчались пятнадцатилѣтніе отцы семействъ, обучавшіеся еще въ еврейскихъ школахъ, и матери, игравшія въ куклы. Правительство обратило, наконецъ, вниманіе на эту аномалію и указомъ воспретило родителямъ вѣнчать юношей, недостигшихъ восемнадцатилѣтнаго возраста, а дѣвицъ моложе шестнадцати лѣтъ. Ужасъ объялъ евреевъ при этой страшной вѣсти: они смотрѣли на эту мѣру, какъ на прямое посягательство на главный догматъ вѣры. Страшную эпоху эту евреи прозвали „Бегундесъ“, т. е. смуты. Оставалось единственное средство — обойти законъ, прибѣгнувъ къ кошельку. Нѣкоторые, при первой вѣсти объ изданіи указа, сочетали дѣтей даже семилѣткою. Не успѣвшіе-же сдѣлать этого до обнародованія указа платили щедро кому слѣдуетъ, и метрическія книги, и свидѣтельства переправлялись искусными руками, такъ что сотни малолѣткою достигали вдругъ, по милости чиновниковъ, совершеннолѣтія, опредѣленнаго для вступленія въ бракъ.

²⁾ Самымъ страшнымъ бичемъ была для евреевъ въ то время рекрутская повинность. Въ рекруты принимались и малолѣтніа дѣти, которыя, до совершеннолѣтія и вступленія въ дѣйствительную службу, разсылались по отдаленнымъ пунктамъ Россіи, отдавались на прокормленіе колонистамъ и поселнякамъ или помѣщались въ кантонистскія школы для обученія. Дѣти эти терпѣли жестокаго мученія отъ пьяныхъ дѣдекъ-солдатъ и отъ грубыхъ хозяевъ, обращавшихся съ *жиденятами* какъ съ животными. Многія изъ этихъ несчастныхъ дѣтей погибали въ пути отъ холода, жестокаго обращенія, истощенія и болѣзней или умирали въ глуши гдѣ-нибудь еще до вступленія въ военную службу. Многіе добровольно и поневолѣ измѣняли своей религіи. Къ фронтальной службѣ еврейскіе солдаты рѣдко допускались; ихъ помѣщали въ оркестры, швацны, канцеляріи или опредѣляли деньщиками къ офицерамъ. Весьма естественно, что евреи искали средствъ уклоняться отъ рекрутчины. Родныя матери собственноручно калѣчили своихъ любимыхъ дѣтей, чтобы сдѣлать ихъ негодными къ военной службѣ. Денежники нанимали охотниковъ или вступали безъ всякой надобности въ купеческое сословіе, свободное отъ рекрутской повинности; большія мѣщанскія семейства разбивались на нѣсколько маленькихъ семействъ. Всѣ эти маневры и переходы требовали согласія общества, а потому обходились очень дорого. Коноводы общества, въ буквальномъ смыслѣ слова, грабили несчастныхъ и высасывали ихъ, какъ пиявки. Во всѣхъ еврейскихъ посадахъ и поселеніяхъ

рекрутская очередь отдалилась отъ насъ опять на нѣсколько лѣтъ. Любовь моихъ родителей заставила сдѣлать новый и послѣдній скачекъ, и вотъ я внезапно выросъ до двадцати двухъ лѣтъ. „Еще нѣсколько лѣтъ—и мой Сруликъ не годится уже въ солдаты!“ воскликнула моя мать, прижимая меня къ сердцу, и я полною сочувствовалъ ея радости.

Когда отецъ мой женился на моей матери, онъ былъ молодымъ вдовцемъ послѣ первой жены, съ которой развелся. Отецъ мой остался круглымъ сиротой въ самомъ раннемъ возрастѣ дѣтства. Отецъ и мать его скончались отъ холеры, оба почти въ одинъ и тотъ-же день. Утверждали, что бабушка моя умерла не отъ холеры, а отъ любви къ мужу, котораго не могла пережить, но такъ-какъ у старосвѣтскихъ евреевъ, особенно хасидимской секты ¹⁾, любви, даже

встрѣчались оборванные нищѣ въ рубищахъ, существовавшіе однимъ подавнѣмъ и считавшіеся по паспортамъ купцами или купеческими сыновьями. Эти нищѣ собирали круглый годъ копейки, чтобы къ концу года образовать изъ этихъ копеекъ сумму для взноса гильдейской повинности.

¹⁾ Религіозная сторона евреевъ въ Россіи отдѣляется тремя кастами: бѣло-русскими хасидимами (добродѣтелями), польскими хасидимами и миснагами (противниками). Для читателей, незнакомыхъ съ сектаторствомъ евреевъ, я вкратцѣ поясню свойства этихъ кастъ. Миснагды суть пуритане евреевъ. Они чтятъ ветхій заветъ и благоговѣютъ предъ талмудомъ. Исполняютъ безъ всякихъ толкованій самонамѣнныя религіозныя обрядности и не уклоняются отъ древнихъ обычаевъ. Это люди религіозно-честные, серьезные, далекіе отъ ханжества и подраски. Между миснагами и хасидимами существуетъ постоянная, ничѣмъ неугасимая вражда, выражающаяся нерѣдко кулачною расправою. Хасидимы вообще составляютъ странную смѣсь еврейзма, пнеагорцизма, діогеницизма и крайняго цинизма. Большею частью они тунеядствуютъ, населяя собою синагоги. Проводятъ всю жизнь въ хасидимскихъ кружкахъ, толкуя о каббалистическихъ тонкостяхъ и разжигая свою фантазію непомѣрными спиртуозными возмѣненіями, оставляя свои многочисленныя семейства на плечахъ простаковъ-единовѣрцевъ, слѣпо вѣрующихъ въ аристократичность душъ пьяныхъ хасидимовъ. Безбрачность у хасидимовъ не встрѣчается: у каждаго изъ нихъ жена и цѣлая вуча маленькихъ оборвышей. Несмотря, однакожь, на склонность хасидимовъ къ брачной жизни, у нихъ жены играютъ ту-же самую унизительную роль, какъ и у дикихъ. Хасидимъ почти не смотритъ и не разговариваетъ съ своей женой, несчастной половиной, принимаетъ-же онъ ея ласки лишь *подъ вліяніемъ божескаго навожденія*, какъ выражаются хасидимы. На жену возлагаются всѣ тягостныя домашнія работы и заботы о существованіи, въ то время, какъ мужъ витаетъ въ надзвѣздныхъ сферахъ. Чѣмъ грязнѣе и неопрятнѣе наружность хасида, тѣмъ святѣе онъ считается. Онъ уклоняется отъ различныхъ религіозныхъ обрядовъ, подъ разными предлогами, и ему это не вѣдается въ преступленіе, какъ всѣмъ прочимъ евреямъ: „Вѣроятно, такъ нужно“, говорятъ евреи: „куда намъ понимать его!“ Обыкновенно хасидъ не имѣетъ понятія ни о грамматикѣ

въ законномъ смыслѣ, не полагается (любовь есть увлеченіе, и увлеченіе абсолютно тѣлесное, а слѣдовательно—постыдное, недостойное каббалнстки), то дѣло и было свалено на холеру. Отецъ мой былъ принятъ въ домъ богатаго и бездѣтнаго дяди, гдѣ онъ и получилъ свое состояніе.

Въ тогдашнее время, особенно въ литовскихъ и польскихъ городахъ и посадахъ, всѣ евреи учились по одному образцу. Всѣ одинаково проходили несвязную систему ученія еврейскихъ мелаamedовъ¹⁾. Всѣхъ одинаково заставляли ломать голову надъ кудрявыми комментаріями, не понимая общаго смысла текста²⁾. Всѣмъ оди-

древне-еврейскаго языка, ни объ еврейской литературѣ. Хасиды—это еврейскіе спириты. Они вѣруютъ переселенію душъ въ людей и животныхъ. Еврейская каббала, составляющая главный предметъ изученія для этой касты, имѣетъ мистическій характеръ. Это мудрое ученіе построено на такомъ паутинномъ фундаментѣ, что, при малѣйшемъ дуновеніи здраваго разсудка, все зданіе падаетъ и превращается въ прахъ. Но тѣ, которые не высмотрѣли во-время ложныхъ основаній этого ученія, находятъ въ дальнѣйшей его постройкѣ нѣкоторую систематичность и послѣдовательность и гонятся за этимъ пестрымъ умственнымъ миражемъ всю жизнь. Польскіе хасиды еще болѣе невѣжественны, хотя и чистоплотнѣе. Это знахари и чудотворы еврейской націи. Они даже не утруждаютъ себя изученіемъ каббалы. Вся сила, импонирующая въ нихъ еврейскую публику, заключается въ арлекинскихъ ихъ костюмахъ, въ какихъ-то нечеловѣческихъ звукахъ, столахъ и гримасахъ, обнаруживающихся во время молитвъ и даже разговоровъ самыхъ обиденныхъ. Къ нимъ стекаются цѣлыя толпы евреевъ для испрошенія индульгенцій, для излеченія отъ всякаго рода недуговъ; въ нихъ обращаются еврейки для излеченія отъ безплодія, и надобно отдать имъ справедливость—въ этомъ отношеніи они творятъ чудеса.

1) Мелаамеды или учителя въ прежнее время не подвергались никакому предварительному экзамену; кто хотѣлъ, тотъ и дѣлался мелаamedомъ, лишь-бы умѣлъ мурлыкать немного по-еврейски и носилъ набожную образину. Если дѣла какого-нибудь спекулянта-еврея запутывались до безвыходности, онъ тотчасъ хватался за ремесло учителя. По этому поводу сложились даже анекдоты. Какой-то отецъ, нѣжно любившій своего сына и убѣдившійся, что этотъ сынъ полнѣйшій идиотъ, сдѣлалъ ему слѣдующее наставленіе: „Сынъ мой! капиталовъ у тебя нѣтъ, умомъ Богъ обдѣлилъ тебя, ремеслу ты не научился, грамоты не знаешь, писать и говорить не умѣешь, что-же съ тобой будетъ? Послушайся отца, не трать времени, ступай и будь мелаamedомъ“.

2) Какъ дико должно показаться всякому мало-мальски образованному человеку, если ему скажутъ, что можно окончить весь университетскій курсъ наукъ въ русской академіи безъ всякаго знанія русскаго языка! Тѣмъ не менѣе, у евреевъ еще до сихъ поръ приступаютъ къ зубренію кудряваго талмуда, не имѣя ни малѣйшаго понятія ни о языкѣ талмудейскомъ, ни объ его грамматикѣ, а между тѣмъ талмудъ составляетъ—по понятію евреевъ—энциклопедію всей премудрости міра сего.

наково преподавался талмудъ, для пониманія котораго способны только рѣдкія натуры. Всѣ одинаково напитывались наукой при помощи толчковъ и пинковъ.

Сказать какому-нибудь отцу, что его хилый, золотушный сыннишка не рожденъ для пониманія тонкостей талмудейскаго ученія, значило его осрамить и лишиться его милостей навсегда. Какому же меламеду могла придти охота подвергнуться такой непримиримой враждѣ? Поэтому меламеды, терзая несчастныхъ учениковъ въ стѣнахъ хедера, аттестовывали ихъ предъ родителями съ самой лучшей стороны. А изъ этого выходило, что родители благодарили меламедовъ, а меламеды, оставаясь довольны родителями, раздавали ученикамъ-мученикамъ двойную порцію побоевъ, чтобы выжать изъ нихъ что-нибудь. Путаница эта продолжалась очень долго, и изъ-подъ колотушекъ выдвигалось новое поколѣніе, истощенное тѣломъ, робкое, пугливое, забитое, съ совершенной пустотой въ головѣ и сердцѣ.

Отецъ мой былъ исключеніемъ между своими сотоварищами по хедеру. Одаренный отъ природы способностью быстрога пониманія, порядочной памятью и терпѣніемъ, онъ въ восьмилѣтнемъ уже возрастѣ удвѣлялъ всѣхъ еврейскихъ ученыхъ города Р. неимоверными успѣхами въ изученіи талмуда. Къ одиннадцати годамъ курсъ его ученія былъ совершенно оконченъ, такъ что онъ былъ въ состояніи вступать въ диспутъ со всѣми знаменитостями ученаго міра города и одерживать надъ ними побѣды.

Такой феноменъ не могъ оставаться долго въ безвѣстности. Богатый дядя, у котораго онъ воспитывался, гордился имъ и позаботился о немъ, какъ о родномъ сынѣ. Слѣдствіемъ было то, что моего бѣднаго отца въ двѣнадцать лѣтъ женили на дочери знаменитѣйшаго и бѣднѣйшаго раввина во всей губерніи.

О тѣлесныхъ и душевныхъ качествахъ первой супруги моего отца исторія умалчиваетъ; извѣстно только, что отецъ мой, не видѣвъ назначенной ему спутницы жизни до второго дня свадьбы ¹⁾, нашелъ ее, при дневномъ свѣтѣ, не слишкомъ соблазнительною. Спустя нѣкоторое время, онъ не могъ скрыть своего горя и не-

¹⁾ Партія у евреевъ составлялись, и у большей части составляются до сихъ поръ, слѣдующимъ образомъ: записные сваты (шадхенъ) по профессіи сводятъ родителей жениха и невесты, и дѣло улаживается безъ спроса дѣтей. Женихъ и невеста не видятъ другъ друга до послѣ-вѣнчанія. Нерѣдко случалось, что новобрачные дѣлае недѣли или мѣсяцы дичились другъ друга, несмотря на близость своихъ супружескихъ отношеній.

вольно высказался одному изъ своихъ друзей, принадлежавшему къ хасидимской школѣ. Въ отвѣтъ онъ получилъ слѣдующій выговоръ въ свое утѣшеніе:

— Смотри, Зельманъ! Ты поддаешься вліянію дьявола-искусителя. Ты ропщешь на Бога именно за то, за что истинный служитель Его долженъ-бы благодарить и восхвалять. Будь твоя жена красивѣе и привлекательнѣе, она отвлекала-бы тебя отъ молитвы и благочестиваго служенія, а съ такою женою, какъ твоя, ты можешь остаться чистымъ душою и тѣломъ.

Послѣ такого отвѣта отецъ мой твердо рѣшился таить свое горе отъ всѣхъ. Между тѣмъ богатый дядя его, единственная поддержка его существованія, лопнулъ на какихъ-то подрядахъ и, въ довершеніе горя, умеръ, не оставивъ ничего, кромѣ неоплатныхъ долговъ и казенныхъ взысканій. Необходимо было серьезно подумать о средствахъ къ жизни, тѣмъ болѣе, что Богъ благословилъ уже отца моего дочерью. Отецъ мой ни къ чему не былъ приспособленъ, кромѣ преподаванія талмудейской мудрости. И вотъ онъ въ пятнадцать лѣтъ сдѣлался меламедомъ.

Сколько я могъ заключить изъ разсказовъ отца, профессія эта ему очень надоела. Это была вѣчная возня съ учениками, которые были гораздо старше учителя и не уважали его, по той простой причинѣ, что не боялись его физической способности отпугать назидательныя пощечины. Онъ ясно видѣлъ всю бесплодность своихъ трудовъ и грубость умственныхъ способностей своихъ почти бородатыхъ уже питомцевъ. Въ домашнемъ быту онъ терпѣлъ крайнюю бѣдность. Въ женѣ онъ встрѣтилъ сварливую и вѣчно ворчующую голубку съ ястребинымъ клювомъ. Одно развлеченіе заключалось въ талмудейскомъ ученіи, которому онъ и предался всей душой. Но все не прочно подъ луною. Однажды, порывшись въ скудной библиотекѣ, наслѣдованной имъ отъ покойнаго дяди, онъ нечаянно наткнулся на книгу Маймонида ¹⁾, и хотя по уставу хасидизма книга эта считается запрещенною, но отецъ не могъ преодолѣть любопытства, унесъ книгу тайкомъ въ свой хедеръ и съ жадностью принялся ее изучать.

¹⁾ Маймонидъ — еврейскій ученый, мыслитель, философъ, медикъ и теологъ. Его сочиненія, по всѣмъ исчисленнымъ частямъ, такъ противорѣчивы, что читая одно, полагаешь имѣть дѣло съ вольнодумцемъ, тогда какъ въ другомъ сочиненіи онъ — ярый поклонникъ талмуда. Ставя его на степень великаго авторитета, хасидимы вмѣстѣ съ тѣмъ, презираютъ нѣкоторые изъ его сочиненій, болѣе разумныя. Хасидимы утверждаютъ, что Маймонидъ передъ смертію попался въ своей ереси.

Незамѣтнымъ образомъ даръ мышленія, спавшій въ немъ, какъ казалось, непробуднымъ сномъ, пробудился, и мало-по-малу различныя сомнѣнія выросли въ головѣ. Но въ книгѣ Маймонида все-таки многое оставалось недоступнымъ отцу моему, и требовались хоть первоначальныя, поверхностныя познанія въ математикѣ и астрономіи, то-есть въ такихъ наукахъ, которыя были знакомы отцу моему по одному лишь еврейскому ихъ названію. И вотъ онъ твердо рѣшился познакомиться съ этими предметами, на-сколько возможно будетъ.

Чтобы не предаваться слишкомъ большимъ подробностямъ, я вкратцѣ скажу, что послѣ неимоверныхъ трудовъ и удачныхъ случайностей отцу моему посчастливилось достать старинныя еврейскія книги по части математики и астрономіи и онъ на изученіе ихъ бросился съ невыразимою жадностью.

Онъ постигъ, что солнце восходитъ и заходитъ не для одного опредѣленія часа молитвы, что луна всплываетъ на горизонтѣ не для того только, чтобы къ ней подпрыгивать ¹⁾, что человѣческая голова создана не для одной ермолки. Новый рядъ идей, родившихся въ его головѣ, поглотилъ всѣ его способности; новый яркій свѣтъ, озарившій его умъ, придалъ блескъ окружающей его грязноватой обстановкѣ. Ученики перестали ему казаться глупыми, а домашній бытъ—горькимъ. Въ немъ создавался новый міръ и онъ всѣми чувствами и всѣмъ чутьемъ души прислушивался къ процессу собственнаго возрожденія.

Недолго, однакожъ, суждено было бѣдному отцу моему блаженствовать. Внутренніе помыслы человѣка невольно вырываются по временамъ наружу и разрываютъ плотину внутренней замкнутости, какъ-бы крѣпка она ни была. Въ диспутахъ моего отца вырывались иногда такія мысли и выраженія, которыя были совершенно чужды талмудейскому и хасидимскому ученіямъ. Даже съ своими учениками онъ при удобныхъ случаяхъ отдалялся отъ прямого

¹⁾ При каждомъ новолуніи, еврей въ одиночку, а чаще десятками и цѣлыми обществами, творятъ молитву, всматриваясь въ луну. Между прочимъ, подпрыгивая, они произносятъ слѣдующую фразу: «Прыгая не достигаемъ тебя (луна); такъ да не достигнутъ насъ враги наши». Обычай этотъ, отмывающійся нѣкоторымъ идолопоклонствомъ, сложился въ честь луны потому, что она играетъ весьма важную роль при вычисленіи еврейскихъ праздниковъ. Надобно предполагать, что въ тяжкія времена для евреевъ, когда всякая ночь угрожала имъ рѣзней и грабежемъ, среди самыхъ многочисленныхъ городовъ, равнины ухватились за этотъ обычай, чтобы хоть разъ въ мѣсяцъ собирать толпы евреевъ для общей охраны и защиты, а потому и упоминаются въ той молитвѣ «враги».

предмета преподаванія и объяснялъ имъ значеніе и законы новолунія, причины затмѣній и тому подобное. Въ своемъ забытій онъ не замѣчалъ той пропасти, которая образовалась мало-по-малу вокругъ него; не замѣчалъ возрастающей холодности своихъ прежнихъ друзей и подозрительныхъ приемовъ родителей своихъ учениковъ, число которыхъ съ каждымъ днемъ уменьшалось подъ различными предлогами. Онъ уже тайно обвинялся въ эпикуреизмѣ ¹⁾, и катастрофа подкрадывалась къ нему все ближе и ближе.

Въ одну изъ пятницъ, вдругъ, самымъ неожиданнымъ образомъ, притащился на одноколѣкъ тесть отца моего, знаменитый раввинъ города Х. Раввинъ этотъ родился, учился, достигъ высокаго сана и состарѣлся въ родной норѣ, выѣзжая изъ своего городка всего раза два втеченіи семидесяти лѣтъ жизни, и то въ самыхъ торжественныхъ случаяхъ. Въ этомъ дряхломъ фанатикѣ содержалось болѣе стоицизма и пренебреженія къ жизни, чѣмъ въ цѣлой дюжинѣ самыхъ сумасбродныхъ факировъ. Его внезапный пріѣздъ, натуральнымъ образомъ, возбудилъ много толковъ въ городѣ Р. Послѣ холоднаго, истинно-раввинскаго привѣтствія, гость, не сообщая никому о цѣли своего посѣщенія, отправился въ баню. Возвратившись оттуда раскраснѣвшимися донельзя, съ пейсами и боро-дою, похожими на мочалки, онъ, не говоря ни слова, переодѣлся въ субботнее платье и побѣжалъ въ синагогу ²⁾. Цѣлый вечеръ затѣмъ и весь день субботный онъ былъ такъ поглощенъ различными религіозными обрядами ³⁾, такъ былъ погруженъ двойною

¹⁾ Подъ эпитетомъ *эпикуреецъ* евреи не подразумеваютъ чело-вѣка, предавшагося исключительно наслажденіямъ жизни, а того, который позволяетъ себѣ какое-бы то ни было сомнѣніе относительно какой-бы то ни было талмудической нелѣпости. Встрѣчается очень много субъектовъ, просыпавшихъ между евреями эпикурейцами, которые питаются лукомъ, молятся чуть-ли даже не во снѣ и постятся, какъ истые аскеты.

²⁾ Выраженіе *побѣжалъ* надобно понимать въ буквальный смыслъ. По религіозному настольному кодексу евреевъ, называемому Шулхенъ-Орухъ, въ синагогу надобно бѣжать, изъ синагоги-же должно идти медленно, мелкими шагами, показывая тѣмъ крайнее нежеланіе отдаляться отъ мѣста молитвы. Поклоны въ синагогѣ надобно совершать, нагибаясь быстро и разгибаясь медленно, постепенно.

³⁾ Евреи вообще, а по субботамъ и праздникамъ въ особенности, имѣютъ столько молитвъ и гимновъ на каждомъ шагу, при каждомъ дѣйствіи, что имъ почти не остается времени для самихъ себя. Они жужатъ какъ мухи цѣлые дни и вечера: утромъ натопаѣтъ, передъ трапезой, во время трапезы, послѣ каждаго блюда, при каждомъ глоткѣ, передъ окончаніемъ ѣды, по окончаніи ѣды, передъ вечеромъ, вечеромъ передъ сномъ и проснувшись ночью.

своей душою ¹⁾ въ небесныя соверпанія, что отцу моему рѣшительно не было возможности подступить къ нему съ разспросами. Да и было-бы напрасно его разспрашивать: этотъ святой по субботамъ даже не разговаривалъ о житейскихъ вздорахъ ²⁾ и вообще не выражался будничнымъ языкомъ ³⁾. Тѣмъ не менѣе отецъ мой не могъ не замѣтить какой-то скрытой перемены въ обращеніи дражайшей своей половинны и какой-то холодной злобы со стороны святого теста, выразившейся въ частыхъ косвенныхъ взглядахъ и мурлыканіи.

Насталъ часъ таинственной трапезы ⁴⁾, послѣдней въ день субботный. Къ пріѣзжему гостю собрались всѣ знаменитости кагала города Р. и всѣ ученые хасидимы. Съ нетерпѣніемъ ожидали проповѣди знаменитаго пріѣзжаго ⁵⁾, но, къ удивленію общества, раввинъ упорно молчалъ.

Одинъ изъ собранія не вытерпѣлъ и съ робостью обратился къ раввину.

— Раби! мы всѣ, сколько вы насъ видите, собрались удостоиться вашего привѣтствія и имѣть счастье услышать одну изъ проповѣдей вашихъ, которыя такъ знамениты между дѣтьми Израиля. Наши уши не пропустятъ ни одного изъ драгоценныхъ словъ великой Торы.

¹⁾ Талмудъ увѣряетъ, что евреи по субботамъ получаютъ свыше добавочную душу, которая не оставляетъ еврея до окончанія субботы. Эти души—дармоѣды, состоя цѣлую недѣлю въ резервѣ, безъ всякаго занятія, заѣдаютъ бѣднаго еврея по субботамъ, удваивая его аппетитъ.

^{2, 3)} Многіе раввины и вообще ученые ортодоксы по субботамъ и праздникамъ ни о чемъ не говорятъ, кромѣ о торѣ и талмудѣ, да и то считаютъ грѣхъ выражаться на еврейскомъ нѣмецко-руско-польскомъ жаргонѣ, а переводятъ эспронтотъ все на древне-еврейскій языкъ, который немилосердно коверкаютъ.

⁴⁾ Талмудъ отечески позаботился объ евреяхъ, выкинувъ во всѣ подробности ихъ жизни. Онъ даже позаботился опредѣлить число трапезъ субботнихъ. Талмудисты предполагали опредѣлить только три трапезы для дня субботы, но явился талмудистъ раби Хидда и настоялъ на томъ, чтобы опредѣлить четыре трапезы. Трапеза въ субботу, предъ заходомъ солнца, называется таинственною, вѣроятно потому, что она назначена для добавочной души. Замѣчательно, что этотъ благодѣтельный раби Хидда всего одинъ разъ является на талмудеискій сценѣ, и именно когда дѣло идетъ о ѣдѣ, и затѣмъ исчезаетъ навсегда.

⁵⁾ На таинственную трапезу собираются евреи преимущественно къ мѣстному или пріѣзжему раввину, который во время трапезы проповѣдуетъ. Проповѣдь эта не заключаетъ въ себѣ никакихъ нравственныхъ наставленій слушателямъ, а состоитъ лишь изъ выдержекъ изъ каббалы, сплетенныхъ съ библейскими текстами и талмудеискими комментаріями.

Не скоро послѣдовалъ отвѣтъ. Наконецъ, раби отнялъ руку, которая упиралась о его широкій лобъ, и сдвинулъ собою шапку на затылокъ.

— Братъ мой, дѣти Израиля! мой духъ помраченъ, моя душа покрыта пепломъ скорби. Я скорблю за святую вѣру праотцевъ нашихъ. Гнѣва божьяго дрожу я за себя и за васъ, дѣти мои. Между нами эпикуреецъ, нечестивецъ, союзникъ діавола. Ангелы свѣта убѣгаютъ его! Сторонитесь, убѣгайте и вы его! онъ оскверняетъ насъ, онъ дышетъ заразой, какъ моровая язва.

При этомъ возгласѣ все общество взволновалось и невольно отшатнулось, полагая увидѣть какой-нибудь призракъ бродячей души проклятаго грѣшника.

— Раби Кельманъ, раби Цудекъ, раби Мееръ! продолжалъ старикъ: — укажите дѣтямъ Израиля этого зачумленнаго эпикурейца, какъ вы указали мнѣ его вашимъ благочестивымъ письмомъ, за которое да благословить васъ Господь.

Въ одно мгновеніе, какъ-бы по командѣ, три правыя руки сомнительной опрятности, принадлежащія тремъ доносчикамъ, прицѣпились прямо въ лобъ бѣднаго моего отца.

Въ ушахъ отца моего раздался залпъ, какъ-будто изъ нѣсколькихъ орудій; въ глазахъ у него потемнѣло, и затѣмъ засверкали цѣлыя міриады огненныхъ искръ, и какое-то невыразимо-колющее ощущение почувствовалось въ правой его щекѣ. Впослѣдствіи отецъ узналъ отъ очевидцевъ, что въ тотъ моментъ, когда руки трехъ уличителей протянулись къ его лбу, костлявая рука святого его тестя съ быстротою молніи низверглась на щеку обвиненнаго и плотно уложила на ней полновѣсную, трескучую пощечину.

Что происходило съ отцомъ моимъ до утра слѣдующаго дня, то-есть подробности изгнанія его изъ собственного дома и немилосердіе всего еврейскаго общества къ мнимому отступнику вѣры, я описывать не стану. Конечно, будь другой на мѣстѣ отца, онъ скорѣе вцѣпилъ-бы въ бороду своего тестя, хоть-бы она была въ десять разъ святѣе, и вышвырнулъ-бы весь хасидийскій сбродъ изъ дома, чѣмъ оставилъ-бы самъ свой кровъ и свою семью; но отецъ мой, почти ребенокъ, забитый своимъ исковерканнымъ воспитаніемъ, слабый здоровьемъ, болѣзненный отъ постоянного умственнаго напряженія и отъ сидячей жизни, безъ воли и энергіи, не могъ вступить въ такую неравную борьбу. Его вытолкали изъ дому и онъ всю ночь напролетъ бродилъ по грязнымъ улицамъ города, и лишь утромъ, пріютивъ окоченѣвшіе свои члены въ небольшой молельнѣ, погрузился въ тяжелый и беспокойный сонъ.

Грубый толчокъ прислужника большой синагоги разбудилъ его.

— Часъ утренней молитвы уже на исходѣ, а ты все еще предаешься страстямъ. Ну, да ты вѣдь эпикуреецъ, тебѣ все равно. Иди за мною: общество въ большой синагогѣ требуетъ тебя.

Отцу моему едва кончился семнадцатый годъ. Здоровье его, какъ я сказалъ уже, было сильно подорвано, а послѣднее событіе, потрясшее все его существо, дало его разстроенному организму послѣдній толчокъ. Когда онъ сдѣлалъ усиліе надъ собою, чтобы встать на ноги и послѣдовать за прислужникомъ, онъ пошатнулся, и если бы нѣкоторые изъ зѣвакъ, глазѣвшихъ на него, какъ на дикаго звѣря, не подхватили его, то онъ навѣрно рухнулъ-бы на каменный полъ. Черезъ четверть часа онъ предсталъ предъ великимъ судилищемъ еврейской инквизиціи.

Большая синагога была полна народа всѣхъ еврейскихъ сословій. Тестъ, мѣстные раввины, прочее духовенство и знаменитѣйшіе члены мѣстнаго еврейскаго общества, облеченные въ талесы ¹⁾, возсѣдали на каедрѣ синагоги ²⁾. Подсудимаго взвели, по ступенькамъ, туда-же.

Мертвая тишина воцарилась въ синагогѣ. Взоры всего народа съ любопытствомъ, злобою и презрѣніемъ устремились на страдальца. Подсудимый, чуть держась на ногахъ и съ опущенными глазами, чувствовалъ ядовитый стоглазый взоръ, на него устремленный. Онъ дрожалъ подъ магическимъ вліяніемъ этого взора, какъ въ самомъ сильномъ лихорадочномъ пароксизмѣ.

Нѣсколько минутъ между судьями, президентомъ которыхъ, очевидно, былъ тестъ подсудимаго, продолжались совѣщанія и переговоры шопотомъ. Наконецъ, мѣстный раввинъ обратился къ арестанту:

— Ты уличенъ въ ереси и эпикуреизмъ. Ты попираешь ногами святыя законы и обычаи праотцевъ нашихъ. Ты, вмѣсто великаго талмуда, занимаешься лжемудріемъ и гонишься за умствованіями, противными великому ученію каббалы. Посѣваешь заразу въ юныхъ сердцахъ нашихъ дѣтей. Всѣ богопротивныя твои книги отысканы и преданы огню. Но изъ твоей головы ихъ выжечь невозможно. Нашъ раввинскій судъ осуждаетъ тебя на изгнаніе изъ города, а

¹⁾ Бѣлое шерстяное полосатое покрывало, которое евреи надѣвають во время молитвъ и которымъ одеваютъ ихъ послѣ смерти.

²⁾ Въ каждой синагогѣ устроена каедра. На ней читаются, въ антрактахъ молитвъ, библія и псалмы; отсюда раздаются проповѣди и тамъ-же происходятъ всѣ важныя совѣщанія.

твой благочестивый тестъ требуетъ немедленнаго развода для своей несчастной дочери. То и другое ты долженъ сегодня-же исполнить безпрекословно. Твои пожитки уже уложены, а разводная грамота ¹⁾ чрезъ нѣсколько часовъ будетъ готова. Если-же ты вздумаешь не повиноваться нашей волѣ или прибѣгнуть къ русскому закону, общество сдѣлаетъ приговоръ ²⁾—и не пройдетъ недѣли, какъ ты, въ сѣрой шинели, съ выбритымъ лбомъ, отправишься туда, куда слѣдовало-бы отправить всѣхъ тебѣ подобныхъ негодяевъ, для искорененія той ереси и того вольнодумства, которыя они посѣваютъ въ обществахъ Израиля. Отвѣчай. Но помни, что отвѣтъ твой—твой приговоръ.

Въ народѣ поднялся шумъ одобренія. Отцы поднимали на руки испуганныхъ ребятишекъ и указывали на обвиняемаго, какъ на убійцу, осужденнаго на смерть. Съ нѣмымъ отчаяніемъ въ душѣ страдалецъ поднималъ глаза и обвелъ медленнымъ взоромъ всю синагогу. На всѣхъ лицахъ ясно написано было одно злорадство. Ни искры жалости, ни капли сочувствія ни въ комъ. Отецъ собирался уже вновь опустить глаза, какъ вдругъ взоръ его случайнымъ образомъ встрѣтился со взоромъ незнакомаго лица, управшагося подбородкомъ о рѣшетку каеэдри.

Лицо это принадлежало плотному мужчинѣ, довольно уже пожилому. Когда взоръ моего отца встрѣтился со взоромъ этого пріѣзжаго, послѣдній улыбнулся и дѣлалъ какіе-то знаки, которыхъ смыслъ былъ, однакожь, непонятенъ моему отцу.

— Мы ждемъ твоего отвѣта, нечестивецъ! повторилъ раввинъ.

— Молодой человѣкъ! сказалъ незнакомецъ, обращаясь къ моему отцу:—твое преступленіе такъ велико, что умѣренное наказаніе, возлагаемое на тебя, можно считать скорѣе снисходительнымъ,

¹⁾ Разводъ между супругами совершается посредствомъ разводной грамоты (гетъ), писанной древне-еврейскимъ языкомъ, на пергаментѣ, особыми писцами, къ тому приспособленными. Малѣйшая описка, слитіе одной буквы съ другой, лишняя точка уничтожаютъ силу этого документа. Грамота эта передается супругъ самимъ супругомъ, въ присутствіи трехъ свидѣтелей, или посылается ей чрезъ уполномоченнаго, или-же, наконецъ, бросается супругъ, на близкомъ отъ нея разстояніи, и она уже считается разведенною.

²⁾ Въ настоящее время приговоры общества требуютъ утвержденія высшей власти; въ прежнія-же времена еврейскія общества часто злоупотребляли силою своихъ приговоровъ, при которыхъ, въ добавокъ, пускали въ ходъ систему подкупа. Стоило захотѣть обществу—и по приговору его отдавались въ рекруты, изгонялись изъ города и ссылались даже въ Сибирь на поселеніе всѣ тѣ, которые имѣли неосторожность попасть въ немилость къ обществу.

чѣмъ строгимъ. Ты, по совѣсти, его заслуживаешь, ты не имѣешь права на него не согласиться.

— Я на все согласенъ, отвѣчалъ мой отецъ чуть внятно.

— На разводъ ты тоже согласенъ? спросилъ раввинъ.

Знаки незнакомца сдѣлались еще настойчивѣе.

— Согласенъ, отвѣтилъ мой отецъ.

— Приготовьте все къ разводу, приказалъ раввинъ своимъ духовнымъ собратьямъ: — а ты, прибавилъ онъ, обращаясь къ прислужнику, — отвѣчаешь мнѣ и всему обществу за этого негодяя, который долженъ оставаться подъ строжайшимъ твоимъ надзоромъ до совершенія обряда развода. Потомъ тыпустишь его на всѣ четыре стороны.

Когда моего отца выводили изъ синагоги въ избу прислужника, незнакомецъ подошелъ къ нему и шепнулъ:

— Не робѣй и не сокрушайся, молодой человѣкъ. Я тебя давно знаю и слѣжу за тобою. Будь готовъ: я возьму тебя съ собою. Я квартиру у Фейги Хаесъ.

Въ тотъ-же самый день совершился обрядъ развода, безъ особенныхъ трагическихъ сценъ. Жена, разставаясь съ мужемъ и отцомъ своего дитяти навсегда, не только не рыдала и не терзалась, но, напротивъ, радовалась, что спасетъ свою душу и душу своей дочери отъ вѣчной геены за грѣхи мужа и отца ¹⁾).

Послѣ этой тяжелой операціи отецъ мой былъ долгое время боленъ, и богъ-знаетъ, что случилось-бы съ нимъ, если-бъ не прию-

¹⁾ Чтобы убѣдить моихъ читателей въ натуральности рассказаннаго мною факта, я передамъ легенду, рассказываемую евреями, какъ была. Лѣтъ двадцать тому назадъ, въ одномъ городѣ, лежащемъ у Днѣпра, жилъ богатый еврей, рѣдкій фанатикъ и ярый хасидъ. Единственный, любимый сынъ его, молодой человѣкъ, подававшій большія надежды сдѣлаться ученымъ раввиномъ и великимъ хасидомъ, познакомился случайно съ иновѣрцами и началъ перенимать у нихъ наружные признаки образованія. Мало-по-малу, смѣлость его, наконецъ, возросла до того, что онъ вмѣсто туфель сталъ носить опойковые сапоги подъ ваксой, сбросилъ собою шапку и надѣлъ фуражку, купилъ подтяжки и галстукъ, пересталъ брить голову и симметрически подстригъ пейсы. Долго мучился и терзался несчастный отецъ. Наконецъ, когда онъ убѣдился, что ни строгостью, ни лаской нельзя обратить блуднаго сына на путь истинны, то созвалъ тайный раввинскій судъ. Судили-рядили и, наконецъ, рѣшили: сына-бунтовщика, волюндумца, отступника вѣры и еретика предать смертной казни. Отецъ началъ евреевъ-убійцъ. Подъ предлогомъ прогулки, заманили они осужденнаго кататься по Днѣпру, завезли его далеко отъ берега и безчеловѣчно утопили, утверждая на слѣдствіи, что лодка случайно опрокинулась и что они сами едва успѣли спастись влѣвъ.

тиль его у себя тотъ прїѣзжій незнакомецъ, который уже въ сѣнагогѣ показалъ ему свое участіе. Незнакомецъ этотъ былъ Давидъ Шапира, ремесломъ винокуръ, и жилъ постоянно въ Могилевѣ. Онъ хорошо зналъ покойнаго дядю моего отца, и это объяснило послѣднему участіе Шапиры въ его злополучной исторіи. Но это участіе должно было подвергнуться сильному испытанію. Фанатизмъ хасидимовъ не удовлетворился произнесеннымъ судомъ. На отца моего насчитали неоплатную недомку, отказывали въ выдачѣ паспорта и, наконецъ, хотѣли даже сдать въ рекруты. Осужденный, находившійся почти при смерти, ничего объ этомъ не зналъ, но Шапира не захотѣлъ оставить неконченнымъ начатое доброе дѣло. Онъ просилъ, убѣждалъ, разузнавалъ о сходкахъ, которыя всегда происходили секретно. Послѣдняя сходка, на которой должна была окончательно рѣшиться судьба моего отца, происходила у одного богатаго еврея-крупчатника. Раби Давидъ отправился прямо на мѣсто сходки.

Подходя къ длинной избѣ крупчатника, онъ услышалъ шумъ многихъ голосовъ. Съ хозяиномъ избы онъ не былъ знакомъ, а потому съ понятной нерѣшительностью взялся за щеколду дверей. На порогѣ появился плотный, сѣдой старикъ съ нависшими, густыми съ просѣдью бровями и съ патріархальной длинной бородой.

— Кого вамъ нужно? спросили раби Давида не совсѣмъ ласковымъ голосомъ.

— Вы хозяинъ дома?

— Я. Что вамъ нужно? повторили вопросъ еще болѣе рѣзко.

— Я не здѣшній. Меня зовутъ Давидъ Шапира. Имѣю дѣло въ обществу, а такъ-какъ оно собирается сегодня у васъ, то я хотѣлъ-бы воспользоваться этимъ случаемъ и походатайствовать о своемъ дѣлѣ.

— Мой домъ не сборный пунктъ кагала. Ко мнѣ собирается не кагалъ, а мои гости.

— Въ такомъ случаѣ я прошу у васъ гостепрїимства на одинъ часъ. Въ подобной просьбѣ ни одинъ израильянинъ не въ правѣ отказать своему собрату, чужестранцу.

— Войдите, сказалъ старикъ сурово и пожимая плечами.

Раби Давидъ вошелъ и сѣлъ въ углу. При появленіи въ избѣ пришельца нѣкоторые изъ присутствовавшихъ начали перешептываться.

Комната была довольно обширная. Куча гостей состояла изъ пожилыхъ мужчинъ, расхаживавшихъ по комнатамъ и толковавшихъ о коммерческихъ удачахъ и неудачахъ. Ежеминутно дверь раство-

рялась, чтобы впустить новую личность; съ каждой минутой толпа густѣла. Наступали поздніе сумерки. Въ комнатѣ темнѣло. Воздухъ дѣлался все болѣе и болѣе спертымъ и удушливымъ.

Хозяинъ собственноручно внесъ двѣ сальныя копеечныя свѣчи въ большихъ неуклюжихъ серебряныхъ подсвѣчникахъ.

При тускломъ свѣтѣ неразгорѣвшихся свѣчей раби Давидъ заимѣтилъ множество лицъ изъ бывшихъ въ синагогѣ во время осужденія моего отца. Въ углу комнаты стоялъ большой сосновый столъ безъ скатерти, на которомъ красовались штофы и бутылки, а между напитками были разставлены тарелки съ солеными огурцами, пшеничными лепешками и тому подобными лакомствами. Ждали старшихъ.

Наконецъ старшіе явились. Плавнo выдвинулся тощій, подслѣповатый, сгорбившійся, нечесанный раввинъ въ своей хвостатой собольей шапкѣ, въ длинномъ кафтанѣ, обрамленномъ плюшемъ, съ толстою тростью въ рукѣ, равняющеюся въ длину росту ея владѣльца. За нимъ вступилъ общественный староста съ рысьими глазами и лисьей фізіономіей и еще нѣсколько второстепенныхъ свѣтилъ почетнаго кагала.

Сановники размѣстились на почетныхъ мѣстахъ, по указанію хозяина. Находившіеся гости, поочередно, подходили къ старшимъ и здоровствовались самымъ почтительнымъ образомъ, послѣ чего старались захватить и себѣ мѣста, гдѣ попало.

— Любезный хозяинъ, съ чего мы начнемъ? спросилъ раввинъ съ подобострастной гримасой.

— Раби! прежде всего отвѣдаемъ настойки и закусимъ чѣмъ Богъ послалъ. Милости просимъ, дорогіе гости. Раби, благословите!

Съ этими словами хозяинъ подошелъ первый къ столу, налилъ изъ штофа большую рюмку водки и поднесъ раввину.

Раввинъ прочелъ короткую молитву, отвѣдалъ немного, затѣмъ поочередно обратился къ хозяину и къ каждому изъ болѣе значительныхъ собесѣдниковъ, назвалъ cadaго по имени и каждому пожелалъ обычный „лехайт“ (на здоровье) и отъ cadaго выслушалъ отвѣтное „лешолемъ“ (на благополучіе), и въ заключеніе опрокинулъ въ ротъ содержимое рюмки залпомъ.

Около получаса продолжалась суматоха. Наконецъ, всѣ напитки и съѣстные припасы были поглощены и интродукція, предшествующая каждому кагальному приговору, была выполнена. Тишина возстановилась.

— Раби! обратился хозяинъ къ раввину:— сюда пришелъ какой-то незнакомый еврей, который имѣетъ дѣло къ кагалу. Выслушайте

его и пусть идетъ себѣ. При обсужденіи общественныхъ дѣлъ всякій посторонній—лишній.

Раби Давидъ подошелъ съ поклономъ къ раввину.

— Кто вы и откуда? спросилъ его раввинъ, подавъ ему руку по обычаю.

— Я изъ губерніи... Мое имя—Давидъ, а фамилія—Шапира.

— Никогда не слыхалъ этого имени. Вы давно здѣсь?

— Я живу здѣсь нѣсколько уже недѣль, да и часто пріѣзжаю сюда по дѣламъ.

— Отчего-же не видать васъ въ синагогахъ и почему вы не бывали на моихъ проповѣдяхъ?

— Я очень занятъ и мнѣ мало времени остается отъ своихъ дѣлъ.

— Истинный израильтянинъ по субботамъ не имѣетъ никакихъ дѣлъ и занятій, кромѣ святыхъ трапезъ субботныхъ, молитвы и служенію Егова и Его святому имени.

— Это совершенная правда, раби. Но я здѣсь въ чужомъ городѣ и не имѣю никакихъ знакомствъ.

— Знакомствъ? развѣ для дѣтей Израиля между собою нужны знакомства? развѣ мы всѣ до одного не братья? У насъ у всѣхъ одни патріархи: Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ и одинъ Богъ Егова, да будетъ имя Его благословенно во вѣки вѣковъ.

При этомъ раби закинулъ назадъ голову; устремилъ свои подслѣповатые глаза къ потолку и закатилъ зрачки.

Раби Давидъ молчалъ. Онъ не хотѣлъ прерывать экстаза раввина.

— Изъ всего я заключаю, что вы, раби Давидъ, не изъ нашихъ... Вы миснагдъ, неправда-ли?

— Я—еврей, служитель Егovy и, кажется, честный человѣкъ.

— Это все хорошо, но слишкомъ мало... Впрочемъ, что вамъ отъ меня угодно?

— Моя просьба относится ко всему благочестивому собранію.

При этомъ раби Давидъ указалъ рукой и глазами на все собраніе.

— Все равно, говорите, сказали нѣкоторые изъ членовъ общества.

— Добрые люди! обратился раби Давидъ къ общему собранію.— Молодой человѣкъ, по имени Зельманъ, изгнанъ раввинскимъ судомъ изъ города, разведенъ съ любимой женою! Егова—всесправедливъ, и раввинскій судъ, произносящій приговоръ его, — судъ Господа. Не мое дѣло, да и не смѣю я, червякъ ничтожный, раз-

бирать степень вины Зельмана и мѣру его наказанія. Убѣдился я только въ томъ, что раскаяніе этого грѣшника искренно. Всевышній прощаетъ кающихся. Убѣжденіе это, какъ и давнее мое знакомство съ дядей осужденнаго, возбудили во мнѣ искреннее сочувствіе къ безвыходному положенію несчастнаго. Онъ опасно заболѣлъ, я его съ помощью Божіей спасъ отъ смерти. Онъ бездѣтенъ, безъ средствъ — я его принимаю въ свою семью, уважу отсюда. Просьба моя заключается единственно въ томъ, чтобы этому Зельману былъ выданъ паспортъ.

Во все время монолога, произнесеннаго раби Давидомъ, раввинъ и старшіе потупляли глаза, гости посматривали на хозяина, который бросалъ на говорящаго недоброжелательные взгляды и косвенно наблюдалъ лица присутствующихъ, желая узнать, какое впечатлѣніе производитъ на нихъ простое, но теплое слово раби Давида.

— Просьба моя чрезвычайно натуральна, продолжалъ раби Давидъ.—Приговоръ осудилъ виновнаго къ изгнанію. Можетъ-ли осужденный оставить городъ, не имѣя законнаго вида?

— Можетъ, отозвался одинъ изъ присутствующихъ.

— Да вѣдь его поймають въ первомъ городѣ, въ первомъ селеніи; съ нимъ поступать, какъ съ бродягой, и меня обвинять въ передержательствѣ.

— Ну, и отвѣчать будешь, грубо вскрикнула одна изъ темныхъ личностей, торчавшихъ по темнымъ угламъ комнаты.—Я несогласенъ!

— Мы всѣ несогласны, повторила хоромъ вся цеховая кучка, подстрекаемая взглядами крупчатника.

— Раби Давидъ! обратился къ просителю раввинъ:—какъ представитель собравшагося сюда благочестиваго общества, я долженъ вамъ объявить, что просьба ваша не будетъ удовлетворена.

— Почему-же? позвольте узнать.

— Потому, что общество имѣетъ другіе виды на вашего Зельмана.

— Какіе-же?

— Отвѣчайте, раби Мееръ, приказалъ раввинъ старостѣ.

— На дядѣ Зельмана считается очень большая недоимка. Зельманъ наслѣдовалъ по немъ, а недоимку до сихъ поръ не уплатилъ. Пока общество считало его истымъ евреемъ, оно молчало. Убѣдившись-же въ томъ, что онъ не еврей, а ядовитое зелье въ садѣ Израиля, общество считаетъ себя необязаннымъ къ дальнѣйшему свисхожденію. У насъ правило: кто не отбываетъ повинностей день-

гами, тотъ отбывая ихъ натурою; не имѣешь денегъ — маршь въ рекруты.

— Вы сказали, что недонимки числятся на умершемъ его дядѣ?

— Да.

— Но развѣ дядя оставилъ послѣ себя что-нибудь, чему можно было-бы наследовать?

— Зачѣмъ-же Зельманъ не заявилъ объ этомъ своевременно въ полиціи на основаніи закона? спросилъ иронически кагалъный писарь, онъ-же еврейскій законникъ и адвокатъ всего еврейскаго сословія города Р.

— Раби! Я былъ въ синагогѣ, когда вы собственными устами объявили Зельману, что если онъ не согласится на разводъ, то его, по приговору общества, отдадутъ въ рекруты. Онъ повиновался безропотно. Если вы его теперь отдадите въ рекруты, то тогдашнія ваши обѣщанія будутъ ложью.

— Я спасалъ тогда его жену отъ вѣчной геены. Не только для спасенія души, но и для спасенія тѣла подобный грѣхъ позволителенъ. Знаете-ли вы, что для спасенія человѣка можно нарушить даже субботніе законы ¹⁾?

— Раби, я знаю только одно, что въ числѣ десяти заповѣдей, данныхъ Еговою Моисею на горѣ Синайской, мнѣ помнятся одна, которая гласитъ „не лги“; толкованій-же вашихъ я не понимаю.

— Ты моихъ толкованій никогда не поймешь, потому что свѣтъ хасидимскаго ученія не озарилъ твою заблудшую душу.

— Господа! сказалъ раби Давидъ, обращаясь ко всему кагалу:— сколько числятся за дядей Зельмана недонимки?

¹⁾ Суббота у евреевъ, по милости непрактичныхъ талмудистовъ и ихъ послѣдователей, пользуется такой пуританскою строгостью обрядовъ и такимъ псевдообразнымъ изобиліемъ запрещеній, что для одной субботы написанъ отдѣльный кодексъ подъ названіемъ Гилхесъ шабашъ (субботній уставъ). Нѣтъ почти человѣческой возможности еврея по субботамъ ступить ногой, сдѣлать малѣйшее движеніе, раскрыть ротъ, произнести звукъ, чтобы при этомъ не согрѣшить противъ устава. Онъ нечаянно ступилъ ногою въ рыхлую землю — грѣхъ. Онъ нечаянно скрипнулъ стуломъ или дверью — грѣхъ. Онъ нечаянно убилъ насѣкомое, сломалъ соломинку, порвалъ волосъ — грѣхъ, грѣхъ и грѣхъ. Чтобы какъ-нибудь не согрѣшить въ субботу, еврей слѣдовало-бы висѣть дѣлме сутки въ воздухѣ, безгласно и неподвижно, но и тогда онъ согрѣшилъ-бы: изволите видѣть, онъ своей особой *дластъ тымъ* (мангль),—это тоже грѣхъ. Субботніе заповѣди теряютъ только тогда свою всесокрушающую силу, когда дѣло идетъ о спасеніи жизни человѣческой. Спасибо раввинамъ хоть за это исключеніе въ пользу гуманности.

— Не ты-ли ихъ заплатишь? спросилъ ядовито крупчатникъ, молчавшій до этихъ поръ.

— Быть можетъ.

— Поздно явился, голубчикъ, прошипѣлъ крупчатникъ:—и безъ тебя заплачено. Раби! приступимъ къ нашему дѣлу. Гдѣ приговоръ?

Раби Давидъ былъ внѣ себя отъ горя.

— Братцы! позвольте мнѣ еще нѣсколько словъ, и затѣмъ я избавлю васъ отъ моего присутствія, попытался онъ еще разъ.

— Говорите, да оканчивайте скорѣе.

— Я вамъ торжественно заявляю, что вы поступаете противъ всѣхъ правилъ религій, чести и человѣколюбія. Я предлагалъ вамъ выкупъ за Зельмана, но вы предпочитаете продать его этому крупчатнику. Поконченъ-ли торгъ? Попробуйте—можетъ быть, я дамъ больше. За сколько купилъ этотъ старикъ свою жертву?

При этомъ предложеніи и вопросѣ все общество замолчало и обратило вопросительный взглядъ на хозяина и его конкурента. Въ этомъ взглядѣ ясно выражалась мысль: „а почему-бы, въ самомъ дѣлѣ, и не поторговаться?“

— Любезный! сказалъ рѣзкимъ голосомъ крупчатникъ:—я долго сносилъ твое безстыдство. Прошу не забывать, что не я у тебя нахожусь, а ты у меня. Убирайся-же подобру-поздорову отсюда, не то...

— Раби Давидъ! въ свою очередь произнесъ раввинъ, вставши съ мѣста:—вашъ трудъ напрасенъ. Не корысть играетъ въ этомъ дѣлѣ главную роль, какъ вы полагаете. Сохрани насъ Богъ и помилуй отъ подобнаго смертнаго грѣха. Зельманъ признанъ всѣми нами дурнымъ израильтяниномъ и опаснымъ для нашего молодого поколѣнія. Выгоняя его изъ города, но предоставляя ему свободу, мы также согрѣшили-бы предъ Еговой и его святыми законами; если Зельманъ заберется куда-нибудь и испортитъ хоть одну родную намъ по вѣрѣ душу, то всѣ мы раздѣлимъ его преступленіе и погубимъ нашу вѣчную жизнь. Израильтяне—порукой другъ за друга ¹⁾, вотъ почему мы рѣшили—и рѣшеніе это неизмѣнно—от-

¹⁾ Талмудъ убѣдилъ евреевъ, что вся нація отвѣчаетъ за грѣхи каждого отдѣльнаго индивидуума. Убѣжденіе это повело къ тому, что каждый еврей главами аргуса слѣдитъ за своими собратьями и, замѣтивъ что-нибудь неправильное, нерелигіозное, передаетъ это на судъ общественнаго мнѣнія, которое называетъ вольнодумца не только презрѣніемъ, но и матеріальнымъ вредомъ по дѣламъ.

дать его въ рекруты, чтобы избавить племя отъ заразы. Что сдѣлаемъ мы съ квитанціей, которую за него получимъ, продадимъ-ли ее и кому именно продадимъ—это къ дѣлу не относится. Такъ-ли выразилъ я ваше желаніе и вашу цѣль? окончилъ раввинъ, обращаясь къ собранію.

— Сущую истину изволили высказать, почтеннѣйшіи раби, отвѣтило хоромъ все собраніе.

Раби Давидъ побагровѣлъ отъ бѣшенства.

— Последнее слово, закричалъ онъ охрипшимъ голосомъ.—Вы разбойники и братоубійцы, вы невѣжи и Каины! Если вы не останете отъ своей затѣи и завтрашняго-же дня не выдадите паспорта, то будете имѣть дѣло уже не съ безсильнымъ ребенкомъ, а со мною.

Эффектъ этой рѣчи былъ поразительный. Староста поблѣднѣлъ, общественный писарь разинулъ ротъ и безсознательно началъ сжимать и разжимать свои костлявые пальцы. Остальные члены общества затановили дыханіе и съ особеннымъ злорадствомъ вперли глаза въ старшинъ, любуясь ихъ крайнимъ замѣшательствомъ. Одинъ только хитрый раввинъ стоялъ невозмутимо, заложивъ толстые пальцы обѣихъ рукъ за широкій поясъ и опустивъ глаза.

— Раби Давидъ, прошипѣлъ хапжа со своимъ медовымъ голосомъ:—неужели вы способны сдѣлаться доносчикомъ? Волосы у меня дыбомъ становятся при этой страшной мысли. Нѣтъ, я не могу этому повѣрить!

— Предать справедливому суду людей, торгующихъ свободою и жизнью несчастнаго сироты, не значить еще быть доносчикомъ. Я буду только орудіемъ Божьей мести.

— Знаете-ли вы, раби Давидъ, что, по повелѣнію талмуда, разрѣшается убить доносчика, даже въ великій судный день ¹⁾?

— Знаю. Но, во-первыхъ, я не доносчикъ, а защитникъ слабого; а во-вторыхъ, я васъ объ этомъ предвараю и отъ васъ самихъ зависить не доводить меня до этой крайности.

Съ этими словами раби Давидъ вышелъ изъ комнаты, сильно хлопнувъ дверью.

Онъ не могъ не замѣтить того потрясающаго впечатлѣнія, кото-

¹⁾ Законъ этотъ, точно, существуетъ въ талмудѣ. За эту жестокость талмудистовъ, впрочемъ, обвинять не слѣдуетъ. Въ тяжкія для евреевъ средневѣковыя и позднѣйшія времена, когда малѣйшій анонимный доносъ подвергалъ цѣлыя тысячи людей безчеловѣчной пыткѣ и ауто-да-фе, нельзя было иначе смотрѣть на крупныхъ и мелкихъ доносчиковъ, какъ на бѣшенныхъ собакъ.

рое произвела на публику его угроза. Дѣло, по его мнѣнію, было окончательно выиграно. Онъ торжествовалъ: въ выдачѣ паспорта его любимцу не было уже сомнѣнія.

Воротившись домой и плотно поужинавъ, онъ улегся въ постель, какъ вдругъ около полуночи разбудилъ его шумъ нѣсколькихъ голосовъ и неистовый стукъ въ наружныя окна и двери. Онъ вскочилъ и, дрожа отъ страха, едва смогъ зажечь свѣчу. Въ то-же время выскочила и хозяйка квартиры, въ глубочайшемъ неглиже, блѣдная, какъ смерть.

— Караулъ! Воры! не кричала, а шептала она, смотря на постояльца глазами помѣшанной и судорожно вѣдпившись въ него.

Отецъ мой спалъ глубокимъ сномъ человѣка выздоравливающаго; онъ ничего не слышалъ.

Повторяемый неоднократно стукъ и крикъ снаружи отрезвили немного раби Давида. Онъ оттолкнулъ хозяйку и подошелъ къ окну.

— Кто тамъ и что нужно? спросилъ онъ дрожащимъ голосомъ.

— Дверь отворить, скотина! крикнулъ сильный голосъ снаружи:— впустить сейчасъ полицію!

При этомъ магическомъ словѣ хозяйка ахнула и окончательно растерялась. Она побѣжала въ ту комнату, гдѣ спалъ больной, и залѣзла подъ кровать. Раби Давидъ отворилъ дверь. Въ комнату вошелъ квартальный, а за нимъ два десятскихъ.

— Ты кто? грубо спросилъ квартальный.

— Я мѣщанинъ города М., Давидъ Ш.

— Паспортъ?

— Сейчасъ.

Раби Давидъ досталъ бумажникъ, отыскалъ паспортъ и вручилъ его блюстителю закона.

Квартальный прочелъ вслухъ содержаніе драгоцѣнной грамоты, но на примѣтахъ остановился.

— Подойди-ка поближе къ свѣчѣ, голубчикъ!

Храбрый предъ еврейскимъ кагаломъ, раби Давидъ совсѣмъ струсилъ предъ грознымъ квартальнымъ. Марсъ, по волшебному мановенію краснаго околышка, превратился въ мокрую курицу. Онъ робко подошелъ къ свѣчѣ.

— Носъ умѣренный, произнесъ начальникъ глубокомысленнымъ тономъ, растягивая каждый слогъ;—какой умѣренный! вскрикнулъ онъ строгимъ и рѣзкимъ голосомъ:—у тебя носъ длинный. Гм! Да и всѣ примѣты не твои. Голубчикъ, этотъ паспортъ не твой. Тотчасъ сознайся!

— Помилуите, ваше благородіе, это мой паспортъ и примѣты мои.

— А если это твой паспортъ, то отчего ты не заявилъ его въ полицію?

— Извините, ваше благородіе, я все былъ занятъ; собирався завтра зайти собственно для этого въ полицію.

— Очень хорошо, голубчикъ, очень хорошо. Одѣвайся-ка и пойдемъ съ нами.

— Ваше благородіе! прощнесъ раби Давидъ умоляющимъ голосомъ.

Онъ заискивающимъ взглядомъ посмотрѣлъ на грознаго представителя полицейской власти и инстинктивно запустилъ руку въ бумажникъ.

— Что-о!? гаркнулъ кварташка.—Взятки? Ты смѣешь предлагать мнѣ взятки, бродяга ты этакой? Живо одѣваться! А вы, пьяныя рожи, чего вы зѣваете, а? обратился онъ къ десятскимъ.

Десятскіе встрепенулись и начали одѣвать раби Давида самымъ безцеремоннымъ образомъ, паяя на него что попало. Въ минуту туалетъ былъ оконченъ.

Такимъ образомъ, раби Давидъ, превратившійся внезапно въ бродягу, былъ притащенъ въ часть, гдѣ былъ сданъ дежурному, и его немедленно втокнули въ такъ-называемую холодную.

Какъ только полиція увела раби Давида, хозяйка его, пришедшая между тѣмъ нѣсколько въ себя, выползла изъ-подъ кровати, робко вышла въ другую комнату и, призвавъ на помощь весь запасъ храбрости, заперла дверь и легла, не потушивъ уже свѣчи.

По этой ночи суждено было сдѣлаться самою роковою и ужасною ночью въ жизни несчастной Фейги Хаесъ. Не прошло и часа со времени ухода полиціи, какъ стукъ въ двери и окна повторился съ большей еще силой и неистовствомъ. Дѣлать было нечего; Фейга, съ своей служанкой, дрожа, какъ осиновый листъ, подошли къ двери и трепещущимъ голосомъ спросили, кто стучитъ.

— Свои, свои, отвѣтили на еврейскомъ жаргонѣ.

— Что вамъ угодно? спросила Фейга немного храбрѣе, убѣдясъ, что имѣетъ уже дѣло съ своимъ братомъ, а не съ краснымъ воротникомъ.

— Да отворяйте-же, любезная Фейгоню! отвѣтили снаружи ласкающимъ голосомъ.—Мы хотимъ узнать, что тутъ случилось. Что сдѣлала здѣсь проклятая полиція и за что арестовала бѣднаго раби Давида?

Фейга отъ души обрадовалась этому неожиданному участію къ

любимому ею постояльцу и быстро отодвинула засовъ. Отъ сильнаго напора снаружи, дверь широко распахнулась. Нѣсколько челоуѣкъ, не останавливаясь въ сѣняхъ, пробѣжали мимо хозяйки прямо въ комнату. Вслѣдъ за ними бѣжала и недоумѣвающая Фейга.

Два ловца ¹⁾ быстро скрылись за дверью комнаты, гдѣ спалъ мой отецъ, и чрезъ нѣсколько мгновеній раздался страшный крикъ его. Вслѣдъ за тѣмъ и онъ самъ показался на порогѣ, ведомый подъ руки двумя личностями звѣрской наружности. Однимъ взоромъ окинувъ все общество и сцену насилія, онъ понялъ въ чемъ дѣло и безъ словъ опустился въ обморокъ на колѣни.

— Кончайте скорѣе, приказалъ старшина: — надѣньте на него кандалы да тащите вонъ.

Не взирая на то, что отецъ мой былъ безъ чувствъ, его оковали по рукамъ и ногамъ и выволокли на улицу. Затѣмъ заперли въ какой-то общественной конурѣ. Приговоръ общества былъ написанъ и подписанъ. Крупчатникъ уплатилъ уговорную сумму. Раввинъ, старшины, общественный писарь и ловцы были награждены особо. На другой день снарядили сдатчика ²⁾, и бѣднаго моего отца, въ цѣпяхъ, при общественной стражѣ, увезли въ губернскій городъ для сдачи въ рекруты.

На другой-же день, около полудня, дверь холодной, гдѣ былъ заключенъ раби Давидъ, отворилась. Полицейскій служитель просунулъ голову въ дверь.

— Эй! кто тутъ безпаспортный жидъ, пойманный ночью? Маршъ за мною въ полицію!

¹⁾ Въ прежнія времена, когда евреи, страшась рекрутчины пуще смерти, тщательно укрывались отъ своей очереди, бродяжничая и нищенствуя вдали отъ своей родины, еврейскія общества имѣли такъ-называвшихся ловцовъ. Въ должность эту выбирались преимущественно люди физически-сильные, грубые, жестокіе и пьющіе. Играли же ловцы эти ту-же гнусную роль, какъ и охотники за бѣглыми неграми въ Америкѣ.

²⁾ Для сдачи рекрутъ въ рекрутское присутствіе всякое общество имѣло своего выборнаго сдатчика, обязанность котораго состояла въ томъ, чтобы конвоировать рекрутъ въ губернскій городъ, кормить и поить ихъ на убой. Сначала сдавалъ онъ болѣе зрѣлыхъ и здоровыхъ; кудыхъ-же и тощихъ оставлялъ на десертъ, стараясь между тѣмъ откормить ихъ какъ гусей. На обязанности сдатчика лежалъ и трудъ подмазыванія членовъ рекрутскаго присутствія. Нельзя себѣ вообразить, какія крупныя суммы расходовались сдатчиками при сдачѣ рекрутъ. Не подвергаясь никакому контролю въ своихъ мутныхъ дѣлахъ, сдатчики наживались на своихъ должностяхъ очень быстро. Должность эта была одною изъ самыхъ доходныхъ кагалныхъ должностей.

Раби Давидъ отправился подъ строжайшимъ карауломъ къ высшей полицейской власти. Въ сѣняхъ полиціи ему пришлось долго ждать своей очереди. Наконецъ, его ввели въ самый храмъ правосудія, гдѣ возсѣдала высшая власть въ лицѣ городничаго, и поставили у дверей.

Его высокочеловѣчье изволило заниматься. Оно какъ-будто прочитывало цѣлую кипу разноцвѣтныхъ бумагъ, но на самомъ дѣлѣ только перелистывало молча, уносясь мыслью куда-то далеко-далеко. Раби Давидъ окинулъ испытующимъ взглядомъ всецѣльное лицо, съ которымъ ему предстояло имѣть дѣло, и мѣстность театра дѣйствій.

Въ небольшой, неправильной формы каморкѣ, украшенной всѣми принадлежностями полиціи, стѣны и мебель которой были изобильно покрыты паутиной, пылью, грязью и огромными чернильными пятнами въ видѣ скорпіоновъ, находилось всего двое лицъ. У большаго четырехугольнаго стола, покрытаго сукномъ неопредѣленнаго цвѣта, сидѣлъ въ ветхомъ креслѣ городничій въ военной формѣ. Это былъ мужчина роста ниже средняго. Голова его была коротко острижена подъ гребенку и усыпана маленькой сѣдовой растительностью, придававшей его головѣ видъ арбуза, усыяннаго инеемъ. Лицо, сотворенное по солдатски-казенной формѣ, съ своими черными, донельзя нафабранными, торчавшими вверхъ, усами, имѣло чрезвычайно злое и жестокое выраженіе. Грудь его была не такъ развита отъ природы, какъ выпячена отъ старо-военной привычки раздувать ее внутреннимъ напоромъ легкихъ и наружнымъ нажиманіемъ головы къ плечамъ. Изъ-подъ стола видѣлась его деревяшка. Въ сторонѣ, у стола, сидѣлъ писмоводитель.

Наконецъ, допросъ начался.

— Ты кто?

— Я еврей.

— Это послѣ. Ты мѣщанинъ, купецъ, чортъ или дьяволъ?

— Мѣщанинъ.

— Откуда? Изъ какого боло та?

— Изъ Могилева.

— Дальняя птица. Какъ зовутъ?

— Давидъ.

— Царь Давидъ. А отца какъ?

— Ицко.

— Фамилія?

— Шапира.

— Какого вѣроисповѣданія? Ну, да жидовскаго. Это видно по твоей рожѣ. Сколько тебѣ лѣтъ?

— Сорокъ-пятый пошелъ.

— Ого! Сорокъ пять лѣтъ шахруешь; порядочно, должно, наплутывалъ. Женатъ, холостъ?

— Женатъ.

— Еще-бы! Вѣдь вы родитесь женатыми. Дѣти есть?

— Есть.

— А много?

— Семь человѣкъ.

— Хватилъ! Плюжка, обратился городничій къ письмоводителю, — пиши: „семь жиденятъ“. Черти эти плодятся какъ клопы.

— Подъ судомъ и слѣдствіемъ сколько разъ бывалъ?

— Ни разу.

— Ой-ли?

— Ей-богу, не былъ.

— А зачѣмъ таскаешься безъ паспорта?

— Какъ безъ паспорта? Я квартальному отдалъ паспортъ.

— Отдалъ, да не свой.

— Нѣтъ, мой, ваше благородіе!

— Какое я благородіе? Высокородіе я, мерзавецъ! Ты знаешь, предъ кѣмъ стоишь? Предъ кѣмъ? Предъ кѣмъ?

— Вы, кажется, господинъ городничій?

— Нѣтъ, врешь. Я не городничій, я полиціймейстеръ. Я начальникъ города, то-есть градоначальникъ. Какъ-же ты смѣешь мнѣ тыкать благородіемъ?

— Ошибся, ваше благородіе...

— Опять! Плюжка, запиши, что арестантъ при допросѣ нанесъ мнѣ грубости.

— Извините, ваше высокородіе, умиласердитесь.

— Я-те задамъ, погоди. Это твой паспортъ, а?

— Мой, ваше высокородіе.

— А подчистку и поправку кто смастерилъ? глянь-ка.

— Ваше высокородіе, на моемъ паспортѣ подчистокъ и поправокъ не было.

— Откуда-жь онѣ взялись?

— Клянусь Богомъ, не знаю.

— Ага! напасти. А вотъ промаршируешь по этапу недѣльки двѣ, такъ узнаешь.

— Ваше высокородіе! не губите. Сжальтесь.

— Жалѣть? А самому изъ-за тебя, жидовская рожа, кривить

душою предъ законами? Нѣтъ, шалишь! Я скорѣе повѣшу сотню вашего брата, чѣмъ имѣть одно пятно на своей совѣсти.—Плюжка! Дай вотъ эту бумагу вновь переписать, и стой тамъ въ канцеляріи надъ душою, чтобы опять не напакостили. Ступай!

Письмоводитель мѣшалъ. Его командировали подальше.

— Ваше высокородіе! попросилъ арестантъ немного смѣлѣе, понявъ маневръ.—Я буду благодаренъ вашему высокородію.

— А что? въ синагогѣ за меня помолишься, небойсь?

— Помолюсь за васъ и дѣтей вашихъ.

— Только-то? спросилъ городничій, заявнувъ оригинальнымъ образомъ и многозначительно прищуривъ лѣвый глазъ.

— Буду благодаренъ. Я не бѣдный.

— А вотъ попался, почтеннѣйшій! Ты, значить, бродяга и есть. Иначе, съ какой стати совался-бы съ благодарностями?

— Нѣтъ, ваше высокородіе, я не бродяга и этотъ паспортъ мой. Здѣшнее еврейское общество меня преслѣдуетъ. Вѣроятно, подкупили квартальнаго, онъ и сдѣлалъ подчистку на мою гибель.

Городничій опустилъ глаза. Арестантъ сказалъ ему не новость...

— Ну, что-жь, братецъ, я могу для тебя сдѣлать? спросилъ городничій мягкимъ и нѣсколько ласковымъ голосомъ.

Перспектива возможной благодарности, вѣроятно, благотѣльно подѣйствовала на его доброе сердце.

— Отпустите меня, ваше высокородіе.

— Этого не проси. Невозможно, рѣшительно невозможно. Все, что я могу для тебя сдѣлать, это — не высылать по этапу, а забрать справки изъ могилевской думы. Если справки получатся въ твою пользу, то отпущу, непременно отпущу.

— Боже мой, Боже мой! А долго придется ждать?

— Недѣльки двѣ, я думаю, если не мѣсяцъ.

Раби Давидъ понялъ теперь всю мерзкую штуку, сыгранную съ нимъ.

— Ваше высокородіе! окажите божескую милость, отпустите домой. Мнѣ время дорого. А не то, если ужъ невозможно, то отправьте меня по этапу какъ можно скорѣе. Все-таки я скорѣе буду дома, чѣмъ сиди здѣсь въ заперти, въ ожиданіи справокъ, которыя, безъ ходатайства, могутъ получиться чрезъ полгода.

Городничій разсвирѣпѣлъ или напустилъ на себя искусственную ярость, чтобы запугать арестанта.

— Ты осмѣливаешься мнѣ указывать, какъ съ тобою, бродягой, поступать, а? Еще не нанялъ, а ужъ погоняешь? Да я тебя, чортъ сынъ, въ бараній рогъ скручу. Ишь! посылай его по этапу.

А куда посылать? Дьяволъ тебя знаетъ, откуда ты есть, путь гороховый. Пригонишь тебя въ Могилевъ, отвѣтятъ — не здѣшній, гони дальше. Не думаешь-ли ты, что войско содержитсяъ только для того, чтобы прогуливаться съ такими скоморохами, какъ ты? Нѣтъ, ты посидишь у меня, голубчикъ, пока не узнаю, куда именно гнать тебя надо. Эй, конвой! Увести арестанта назадъ!

Раби Давида увели, не давъ пикнуть. Теперь онъ окончательно убѣдился, что его задержаніе куплено у городничаго и что городничій, какъ честный человѣкъ, намѣренъ выполнить предъ покупателями дѣловое свое обязательство. Дѣлать было нечего. Въ прежнее время городничій въ своемъ городишкѣ игралъ роль маленькаго пашы. Жаловаться некуда, да и бесполезно. Пока высшія власти разберутъ и что-нибудь сдѣлаютъ, самому городничему надоѣстъ держать напрасно арестованнаго. Раби Давидъ прибѣгъ къ своему краснорѣчивому кошельку за помощью. За деньги квартальный, жившій при части, отдалъ ему особенную комнату въ своей квартирѣ, хотя арестантъ по бумагамъ числился при холодной. Хозяйка Фейга приносила ему обѣдать. Отъ нея онъ узналъ о похищеніи моего отца и о томъ, что его уже увезли въ губернский городъ. Раби Давидъ приходилъ въ отчаяніе отъ своего безсилія и безвыходности положенія. Одинъ день, одинъ часъ можетъ рѣшить будущее его любимца, а онъ, единственный человѣкъ, принимающій участіе въ горькой судьбѣ сироты, задержанъ, прикованъ, какъ на цѣпи, на неопредѣленное время.

Отца моего, между тѣмъ, привезли въ губернский городъ. Его кормили и поили на убой. Подмазали, гдѣ слѣдуетъ, чтобы онъ не былъ забракованъ. Привезенный рекрутъ былъ слишкомъ худъ, тщедушенъ и слишкомъ блѣденъ для того, чтобы сдѣлаться годнымъ воинемъ, а потому никакая подмазка не жалѣлась, лишь-бы колеса рекрутскаго присутствія вращались свободно и быстро туда, куда слѣдуетъ... Судьба распорядилась, однакожь, иначе: рекрутъ не вынесъ этого новаго несчастія; прежняя болѣзнь при этомъ удобномъ случаѣ возвратилась и вцѣпилась въ свою жертву еще съ большей силой. Рекрутъ впалъ въ горячку. Дѣло общества города Р. до поры до времени расклеилось. Рекрута нельзя уже было вести, а необходимо было нести въ пріемъ. Будь рекрутъ самый опасный больной, одержимый чахоткою, падучей болѣзнью и даже тихимъ помѣшательствомъ, но будь онъ въ состояніи продержаться часа два на ногахъ, его-бы представили и ему забрили-бы лобъ. Но больного, въ бреду, въ страшной горячкѣ, никакъ нельзя было сдать въ солдаты, несмотря даже на подмазки. Отца моего помѣ-

стили въ еврейскую больницу. Сдатчикъ терпѣливо дожидался исхода болѣзни. Онъ, во всякомъ случаѣ, собирался вести моего отца—или въ рекрутское присутствіе, или—на кладбище.

Между тѣмъ, срокъ, уговоренный между городничимъ и крупчатиномъ или еврейскимъ кагаломъ на содержаніе раби Давида, кончился. Въ одно счастливое утро потребовали арестанта, но не въ полицію, а къ городничему на домъ.

— Поздравляю тебя, любезнѣйшій, съ полученнымъ на твой счетъ справками, встрѣтилъ его начальникъ, ковыляя на своей деревяшкѣ и скорчивъ свое лицо въ самыя доброжелательныя складки.

Раби Давидъ получилъ уже подробное извѣстіе изъ дому. Онъ догадался, что справки вовсе не были забираемы, иначе онъ не получились-бы такъ скоро. Было ясно, какъ день, что подъ этимъ благосклоннымъ приѣмомъ скрывалось поползновеніе на благодарность со стороны арестанта, освобождаемаго великодушнымъ начальникомъ. Но раби Давидъ твердо рѣшился туго держать свой кошелекъ и хотъ этимъ отомстить городничему. Онъ принялъ ласковое поздравленіе городничаго серьезно и сухо.

— Что-же по справкамъ оказалось, ваше высокородіе?

— Оказалось, что ты точно то лицо, которое по паспорту показано. Ну, значить, все ладно.

— Что-жь? Свободенъ я?

— Почти, отвѣтилъ городничій съ какой-то очень замысловатой улыбкой.

— Когда-же вы освободите меня?

— Когда мнѣ—понимаешь—мнѣ вздумается! заоралъ городничій ужъ благимъ матомъ...

— Паспортъ имѣю, ваше высокородіе, по справкамъ, какъ вы изволили сказать, я не оказываюсь бродягой, что-же еще остается?

— Что остается? повторилъ городничій, стараясь подражать голосу и интонаціи еврея и неистово стуча деревяшкой о полъ. — Ты смѣешь меня допрашивать, неумытое ты рыло, жидъ ты вонючій? Не знаешь чести повалиться въ ноги начальству да ручку поцѣловать за правосудіе и милостивое обращеніе, а еще хорохоришься, конокрадъ ты этакій, шахаръ-махеръ могилевскій? У другого начальника ты давно-бы по этапу прогулялся. Тебя пожалѣли и мигомъ дѣло покончили, а его обезьянья рожа еще надулась. Эка важная птица какая! Маршъ въ холодную! Эй! Десятскій!

— Ваше высокородіе! За что-же опять въ холодную? спросилъ струсившій бѣднякъ.

— Справки неполны—и все тутъ.

— Ваше высокородіе! завопилъ еврей, вторично убѣдившійся, что полиція хитра на выдумки:—я чувствую ваше благодарѣніе. Я благодарить хочу.

— То-то-же; давно-бы такъ, каналья! Сколько?

— Сяною, ваше высокородіе. Я бѣдный человѣкъ.

— Что? Шутить?

Арестантъ досталъ между тѣмъ изъ кошелька двѣ синихъ ассигнаціи и почтительно вручилъ ихъ хрому герою.

— Мало, сказалъ тихо и грустно городничій.—Ну, да Богъ съ тобою; можетъ, ты и бѣдный человѣкъ. Впередъ знай, какъ обращаться съ начальствомъ. Ступай къ квартальному, получи паспортъ. Ему уже объ этомъ приказано, а ты ему все-таки дай тамъ какую-нибудь мелочь. Прощай, любезный. Приведетъ Богъ еще разъ свидѣться—поаккуратнѣе сочтемся...

Наконецъ, раби Давидъ получилъ свободу. Въ наивозможно-короткое время онъ покончилъ свои дѣла и уѣхалъ домой. Тамъ онъ узналъ объ опасномъ положеніи его любимца. Несмотря на это, онъ въ душѣ благодарилъ мудрое Провидѣніе, наславшее на отца моего тяжкую болѣзнь, которая одна спасла его отъ козней ожесточенныхъ враговъ. Раби Давидъ, съ свойственной ему энергіей, принялся за двойное спасеніе своего протеже: разумно позаботился о его содержаніи и леченіи въ больницѣ и въ одно и то-же время пустилъ въ ходъ всю хитрость для избавленія отца отъ угрожавшей ему опасности со стороны рекрутскаго присутствія. Несмотря, однакожъ, на всѣ старанія вліятельныхъ лицъ, въ томъ числѣ и начальника губерніи, принимавшихъ живое участіе въ этомъ вопіющемъ дѣлѣ, надежды раби Давида все-таки не осуществились,—до такой степени приговоры общества были тогда всесильны. Но въ такой мѣрѣ, какъ одна опасность увеличивалась, другая—уменьшалась съ каждымъ днемъ: болѣзнь разрѣшилась счастливымъ кризисомъ и больной быстро началъ выздоравливать. Отъ этого выздоравливанія раби Давидъ приходилъ въ отчаяніе. Если несчастный больной такъ быстро будетъ продолжать оправляться, то чрезъ нѣсколько дней не миновать ему сѣрой шинели.

Оставался единственный выходъ изъ этого положенія — достать наемщика ¹⁾. Денегъ раби Давидъ не жалѣлъ. Возникали другія,

¹⁾ Достать наемщика было чрезвычайно трудно въ былое время, не потому,

болѣе крупныя затрудненія. Если еврей желалъ поставить за себя охотника, то этотъ охотникъ долженъ былъ быть непременно тоже еврей, и не иначе, какъ изъ среды того-же самаго общества, въ которомъ состоялъ наниматель. Раби Давидъ, однакожь, безъ устали хлопоталъ, разослалъ факторовъ, пустилъ въ ходъ различныя тайныя пружины, и съ помощью счастливаго стеченія обстоятельствъ отыскалъ желаемое. Наемщикъ нашелся, содралъ съ нанимателя громадную сумму и оверхъ того тиранилъ, издѣвался надъ раби Давидомъ и капризничалъ въ самомъ безобразномъ видѣ. Но раби Давидъ, однажды рѣшившись, во что-бы то ни стало, спасти отца моего, переносилъ все это съ стоическимъ хладнокровіемъ. Наконецъ, наемщикъ былъ представленъ въ пріемъ, и ему, по техническому выраженію тогдашняго времени, *дали лобъ*. Отецъ мой былъ спасенъ.

Отъ больного скрывали всѣ колебанія его участи, и вотъ въ одно истинно-прекрасное утро, послѣ окончательнаго пріема наемщика, раби Давидъ, запыхавшись, раскраснѣвшись и весь облитый потомъ, вбѣжалъ въ ту палату, гдѣ находился больной, бросился ему на шею и со слезами радости вскрикнулъ:

— Богу молись, Зельманъ! Ты спасенъ. Теперь ты мой.

Пролетѣло лѣто и осень, наступила зима съ ея длинными вечерами. Раби Давидъ, болѣе свободный по зимамъ, началъ по вечерамъ посвящать отца моего въ сферу тѣхъ незначительныхъ свѣденій по части технической механики, которыми онъ руководствовался на практикѣ, при постройкѣ винокуренныхъ заводовъ. Сверхъ того отецъ мой, пользуясь совершенною свободой, въ досужее время бросился съ жадностью на изученіе математики и астрономіи, къ которымъ чувствовалъ непреодолимое влеченіе. Частыя бесѣды опытнаго и разумнаго раби Давида пріучили моего отца къ практическому взгляду на жизнь и людей. Угаръ, вынесенный имъ изъ той среды, изъ которой его изгнали, мало-по-малу началъ проходить; забитость уступала мѣсто постепенно возникающему сознанію собственного достоинства. Онъ смѣлѣе посмотрѣлъ на жизнь и не

чтобы тогда, какъ и въ настоящее время, нельзя было найти людей, готовыхъ продать себя за кусокъ хлѣба,—людей, для которыхъ все равно, гдѣ-бы ни влечить жалкую жизнь и мыкать горе,—а потому, что практическое, неизвѣстно для какой цѣли, затрудняло эту статью. Наемный охотникъ долженъ былъ быть того-же вѣроисповѣданія, того-же сословія и изъ того-же самаго общества, какъ и наниматель. На нравственную сторону набиралась репутация тогда не обращалось; что-же за разница государству имѣть солдатомъ еврея, киргизца, мѣщанина или купца?

опускалъ уже взора при встрѣчѣ со взоромъ людей, твердо на него глядѣвшихъ. Слѣдствіемъ этой смѣлости было то, что, встрѣтившись однажды съ глазами дочери раби Давида, живой и бойкой смуглянки, и твердо выдержавъ ея взглядъ, онъ имѣлъ случай убѣдиться, что глаза эти смотреть на него съ особенною нѣжностью и любовью. Съ этой минуты глаза его слишкомъ часто останавливались на подвижномъ лицѣ дѣвушкѣ. Черезъ нѣкоторое время старикъ, по своему обыкновенію, безъ всякихъ предисловіи прямо предложилъ отцу моему жениться на своей любимицѣ Ревекѣ. Счастье моего отца было безгранично: онъ сдѣлался мужемъ раздѣлялъ труды своего тестя по постройкѣ и управленію винокуренныхъ заводами, составилъ себѣ небольшой капиталецъ и сдѣлался, наконецъ, самостоятельнымъ механикомъ. Къ довершенію счастья, родился и я на свѣтъ божій, чтобы умножить собою число евреевъ, страдальцевъ тогдашняго времени.

Я сдѣлалъ сжатый очеркъ жалкой біографіи моего отца и характеристики еврейскаго кагала, къ счастью потерявшаго въ настоящія времена всю свою силу, благодаря лучшимъ административнымъ порядкамъ,—единственно для того, чтобы, съ одной стороны, показать читателямъ, какимъ случайностямъ были обязаны тѣ рѣдкія еврейскія натуры, которыя, отъ времени до времени, рѣзко выдѣлялись изъ общаго уровня повальнаго невѣжества и фанатизма евреевъ стараго покроя, а съ другой стороны, указать отчасти на тѣ преслѣдованія, какимъ подвергались мнимые отступники вѣры за всякій смѣлый шагъ даже въ одной области мышленія. Надобно знать, что мыслящіе евреи прежнихъ временъ, позволяя себѣ мысленно осмѣивать традиціонные абсурды своей среды, никогда почти не осмѣливались прилагать свои логичныя отрицанія и разумныя взгляды къ практической сторонѣ жизни. Осмѣивая въ душѣ безсмысленные обычаи и порицая вредные принципы, они, по большей части, на дѣлѣ носили личную фанатизма и суевѣрія, выполняли съ автоматичною точностью всѣ мелочныя, тягостныя религиозныя обряды, избѣгая нарушенія малѣйшаго запрета, привитаго вѣковымъ обычаемъ. Слѣдствіемъ тогдашняго псковерканнаго воспитанія, заботности, запуганности и ригоризма еврейско-духовныхъ инквизицій, признававшихся темными кагалами непогрѣшимыми, было то, что даже у молодыхъ, мыслящихъ евреевъ тогдашняго времени не хватало характера, ни твердости духа, ни послѣдовательности, ни смѣлости давать своимъ дѣтямъ болѣе разумное, болѣе реальное направленіе и развитіе; напротивъ того, родители всѣми строгими мѣрами приучали своихъ бѣдныхъ дѣтей „съ вол-

ками выть по-волчьи". И для пушаго примѣра сами старались *выть* какъ можно громче. Таковъ былъ и мой бѣдный отецъ, трусливость и безхарактерность, котораго, при всемъ его здравомыслии, сдѣлались главною причиною моего исковерканнаго воспитанія и изуродованія всей моей жизни.

II.

СТРАДАНИЯ ДѢТСТВА.

Нѣтъ ничего скучнѣе, какъ присутствовать при рожденіи героя разсказа и нянчиться съ нимъ до тѣхъ поръ, пока онъ не начнетъ жить жизнью сознательною. Не желая *наскучать* своимъ читателямъ безъ особенной надобности, я пропускаю первые семь лѣтъ моей жизни и приступаю прямо къ тому періоду моего существованія, съ котораго я началъ туманно сознавать себя и ту горькую судьбину, которая не переставала тяготѣть надо мною во всю жизнь. Если евреи развиваются нравственно необыкновенно рано, то они этой ненатуральной скороспѣлостью обязаны исключительно безжалостнымъ толчкамъ, которыми судьба надѣляетъ ихъ съ самаго ранняго дѣтства. Бѣда—самая лучшая школа.

Первые семь лѣтъ моей жизни не представляютъ никакого особеннаго интереса. Мать моя, кажется, очень любила меня, хотя я и часто чувствовалъ на хлостъ своемъ тѣлѣ тяжесть полновѣсной ея руки. Отецъ былъ всегда суровъ и угрюмъ, почти никогда не ласкалъ меня, но въ то-же время и не билъ. Когда я надѣдалъ домашнимъ своимъ ревомъ или хныканіемъ, то отцу моему стоило только посмотрѣть своими серьезными, задумчивыми глазами, чтобы заставить меня замолкнуть и уткнуть голову въ пуховики. Онъ на меня смотрѣлъ, какъ на червяка, котораго недолго раздавить, но что пользы?—вѣдь всѣхъ червяковъ не передавишь, и онъ былъ правъ: мать моя народила ему цѣлую кучу такихъ червяковъ, какъ я. Жили мы въ деревнѣ, въ какомъ-то дремучемъ лѣсу. Нѣсколько избъ и избушекъ, вдали вѣчно дымящая винокурня, рѣчка, извинаящаяся между высокими соснами, рогатый скотъ и тучные кабаны, откармливаемые на бардѣ, вѣчно испачканные мужики и бабы,—вотъ картина, вращавшаяся въ моей памяти и непоблѣднѣвшая въ ней до сихъ поръ. Мнѣ стоитъ закрыть глаза—и вся панорама передо мною. Отецъ мой часто бѣвалъ въ отлучкахъ. Мы жили въ полномъ уединеніи; лишь изрѣдъ

ка заворачивали къ намъ проѣзжіе евреи воспользоваться братскимъ гостепріимствомъ, и не долго оставались. Всякій разъ, при появленіи чужой личности, меня немедленно высылали въ кухню.

Я былъ очень благодаренъ матери за то, что она меня такъ тщательно прятала, потому что былъ убѣжденъ, что всякій пріѣзжій непременно имѣетъ намѣреніе захватить меня съ собою и увести куда-то въ страшную даль...

Пока я былъ еще единственнымъ дѣтищемъ у своихъ родителей и оставался всегда одинъ, мнѣ не было скучно. Я вѣчно возился то на дворѣ, то подъ кроватью, то въ кухнѣ, и меня что-то занимало, но что именно—я теперь ужъ припомнить не могу.

Съ пяти лѣтъ помощникъ отца моего, какой-то длинновязый еврей, началъ заниматься со мною еврейской азбукой. О, какъ я ненавидѣлъ и этого учителя, и эту тетрадку! Но я боялся строгаго отца и высиживалъ цѣлыя часы за тетрадкой, а на дворѣ такъ ярко сіяло солнце, такъ весело щебетали хорошенькія птички, такъ хотѣлось побѣгать, зарыться въ гущу высокой и сочной травы!

Мнѣ наступилъ седьмой годъ. Читалъ я уже библейскій языкъ довольно плавно. Долговязый учитель передалъ мнѣ почти всю суть своихъ познаній. Я гордился своей ученостью и былъ очень счастливъ. Но какое же счастье бываетъ прочно и долговѣчно?

Въ одинъ истинно-прекрасный лѣтній день отецъ мой возвратился изъ города. Я, завидѣвши его издали, вдругъ расхрабрился и побѣжалъ ему на встрѣчу. Онъ приказалъ мальчишкѣ-кучеру остановиться.

— А, Сруликъ! хочешь доѣхать со мною до хаты?

Вмѣсто отвѣта я вскарабкался на повозку. Ласка отца меня чрезвычайно обрадовала и удивила: это случалось слишкомъ рѣдко.

— А я тебѣ, Сруликъ, привезъ новое платье и башмаки!

Обычай благодарить за вниманіе мнѣ не былъ знакомъ. Я смотрѣлъ на отца и весело улыбался.

О, какъ я былъ счастливъ въ тотъ день! отъ учителя избавился, новое платье имѣю, отецъ ласковъ, а мать такъ необыкновенно часто цѣлуетъ, и ни одного пинка въ продолженіи цѣлаго, длиннаго дня!

Наступили сумерки. Родители расположились пить чай на густой травѣ. Я усѣлся вполѣ матери. Къ чаю пришелъ и бывший мой учитель, къ которому я уже пересталъ питать прежнюю вражду.

— Когда вы думаете, раби Зельманъ, везти его въ П.? спросилъ

длинновязый у отца, указавши на меня своими безцвѣтными глазами.

„Везти меня! Куда? зачѣмъ?“ спросилъ я внутренно самого себя, и сердце дрогнуло въ дѣтской груди моей.

— Я думаю, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Постараюсь собраться наднихъ, отвѣтилъ отецъ.

— А письмо получилъ ты отъ дяди? спросила мать.

— Развѣ я тебѣ не сказалъ еще? Получилъ, какже. Просить привезти ученика какъ можно скорѣе. Леа тебѣ кланяется.

— Поменьше-бы кланялась, да не была-бы такой змѣей. Повѣришь-ли, Зельманъ, когда я думаю, что нужно моего бѣднаго Срулика отдать въ домъ этой старой колдуньи, я готова заплакать.

— Пустяки. Никто его не съѣстъ.

— Да вѣдь онъ у насъ одинъ.

— А если и одинъ, такъ неучемъ, по-твоему, и оставить его?

— Это правда, Зельманъ, но все-таки тяжело, сказала грустно мать.

Она собиралась плакать, а я давно уже плакалъ.

Отецъ замѣтилъ мои слезы и прогналъ меня вонъ. Отойдя въ сторону, я нечаянно встрѣтился глазами съ бывшимъ моимъ учителемъ. О, сколько было злорадства въ этихъ поганныхъ глазахъ! Они ясно выражали его мысль: „ты, голубчикъ, меня ненавидѣлъ, постой, еще не то будетъ“. Съ этой минуты дѣтское мое счастье кануло туда, куда исчезаетъ всякое людское счастье.

Дня чрезъ три меня, рыдающаго, усадили въ повозку. Отецъ усѣлся рядомъ со мною. Мальчишка Трѣшка, въ непомярно-глубокой, смушковой шапкѣ, чмокнулъ, хлестнулъ предлиннымъ батономъ и мы поплыли въ дальній путь.

— Не плачь, бѣдный мой Сруликъ, повторила мнѣ въ сотый разъ рыдающая не менѣе моего мать:—я скоро къ тебѣ приѣду или возьму домой!

Отецъ мой не старался даже меня утѣшать. Онъ зналъ, что дѣлалъ, и этого было достаточно для него. Какъ я его ненавидѣлъ въ эти тяжкія минуты!

Во все время путешествія меня ничто не развлекало. Отецъ былъ погруженъ въ свои думы или дремалъ, а я былъ занятъ разгадываніемъ своего будущаго. Куда я ѣду? Зачѣмъ я ѣду? Что буду я тамъ дѣлать? А эта старая змѣя и колдунья—какъ назвала ее мать—часто-ли будетъ она меня бить? Тяжело и грустно было у меня на душѣ. Дѣтское воображеніе представляло мнѣ но-

вый, невѣдомый міръ, полный скорби, грусти, скуки, страданій. И дѣтскій инстинктъ не обманулъ меня.

Разбитые и усталые, пріѣхали мы въ одинъ пасмурный вечеръ въ П. Въ первый разъ въ жизни увидѣлъ я рядъ прямыхъ улицъ, окаймленныхъ досчатыми тротуарами и обсаженныхъ высокими то-полями, сквозь которые выглядывали большіе, чистые и красивые дома. Въ первый разъ я увидѣлъ красиво одѣтыхъ людей, шныряющихъ туда и сюда. Мнѣ было страшно въ этомъ новомъ мірѣ; я чувствовалъ то-же самое, что чувствуетъ, вѣроятно, хutorьянская собачонка, очутившаяся вдругъ въ городѣ на базарной площади, среди непривычной, суетящейся толпы народа: ей кажется, что каждый затѣмъ только и суетится, чтобы ловчѣе нанести ей ударъ.

Изъ одной какой-то широкой улицы мы свернули въ переулокъ, и, наконецъ, остановились у сломанныхъ воротъ. Отецъ мой вошелъ во дворъ. Плотнo у воротъ красовался небольшой, чистенькій домикъ, выходившій фасадомъ въ переулокъ. Неужели въ этомъ красивомъ домикѣ живетъ старая колдунья? подумалъ я.

Между тѣмъ сломанные ворота нехотя, медленно и со скрипомъ растворились и повозка наша вползла во дворъ.

— Сюда, Трѣшка! крикнулъ отецъ кучеру, и мы потянулись по длинному, широкому, грязному двору къ какому-то покосившемуся флигельку на куринныхъ ножкахъ, обратившему на себя все мое вниманіе, какъ потому, что онъ, повидимому, долженъ былъ служить мнѣ печальнымъ пріютомъ, такъ и потому, что между наружностью домика и флигеля существовалъ поразительный контрастъ. Стѣны флигелька были опачканы грязью и лишены почти всей своей штукатурки. Какія-то подслѣповатія окна уныло косились во дворъ. Одно изъ этихъ оконъ было заткнуто сомнительнаго цвѣта подушкой, разрисованной случайными узорами...

Отецъ помогъ мнѣ сойти изъ повозки. Онъ взялъ меня за руку, ощупью прошелъ со мною темные, длинные сѣны, нащупалъ дверь и ввелъ меня въ комнату.

Какъ ни скромно жили мои родители въ деревнѣ, какъ ни мало я привыкъ къ роскоши и блестящему комфорту, но дома я все-таки видѣлъ чистоту и опрятность, цѣльную, хотя и незатѣйливую, простую мебель. Тутъ я увидѣлъ совсѣмъ другое.

Комната была довольно обширная, неправильныхъ размѣровъ. Двѣ боковыя двери, раскрытыя настежь, вели въ какія-то темныя пространства и напоминали собою зѣвъ беззубыхъ стариковъ. Комната освѣщалась однимъ салнымъ огаркомъ, торчавшимъ въ запывшемъ мѣдномъ высокомъ подсвѣчникѣ. Простой столъ, три

или четыре некрашенных стула и низенькій шкафчикъ составляли всю мебель этой комнаты. Въ восточномъ углу красовался небольшой кивотъ, завѣшанный полинялой парчею.

У стола сидѣлъ нагнувшись старій еврей. Предъ нимъ лежала раскрытая книга громаднаго формата. При вступленіи нашемъ онъ медленно поднялъ голову и лѣниво повернулъ ее къ намъ. Съ робостью я поднялъ на него глаза. Лицо его сразу поразило меня. Изъ-подъ нависшихъ сѣдыхъ бровей выглядывала пара сѣрыхъ глазъ. Почти все лицо утопало въ пушистыхъ, длинныхъ пейсахъ и такой-же широкой и длинной бородѣ. То, что осталось на лицѣ непокрытымъ растительностью, отличалось какимъ-то пепельно-желтымъ цвѣтомъ. Плоскій лобъ былъ изборозженъ безчисленнымъ множествомъ морщинъ. Полинявшая, засалившаяся плисовая ермолочка, сдвинутая на затылокъ, образовала какое-то жирное и грязное пятно на его плѣшивомъ черепѣ.

— Ну, садись, раби Зельманъ, гостемъ будешь, привѣтствовалъ онъ отца сильнымъ, гортаннымъ голосомъ. — А, это твой мальчуганъ? Какой же онъ у тебя слабенькій... Чему его учили тамъ, дома?

— Онъ знаетъ немного читать по-библейски и больше ничего пока.

— Это очень мало, очень мало; придется сильно трудиться, мальчуганъ мой! У меня не лѣнись, я баловать не люблю.

Я молчалъ, но рыданія подступали къ горлу. Я употребилъ всю силу дѣтской воли, чтобы не разразиться ревомъ. Это, вѣроятно, и случилось-бы, если-бы новая личность, шмыгнувшая сквозь одну изъ боковыхъ дверей, не отвлекла моего вниманія. На сцену явилась сгорбленная, сморщенная старуха низенькаго роста, съ лицомъ, напоминающимъ собою моченое яблоко, съ маленькими, черными, какъ-бы колючими глазками, лишенными всякаго слѣда рѣсницъ, и съ носомъ хитрой птицы самаго кровожаднаго свойства.

— Вотъ и ты, Зельманъ! ну, и слава Богу! затрещала старуха самымъ непріятнымъ дискантомъ. — А я уже полагала, что вы раздумали привезти къ намъ синишку.

— Почему же вы, тетушка, такъ думали? спросилъ отецъ.

— А Богъ васъ тамъ знаетъ! Твоя Ревекка такая модница, что и сына, пожалуй, считаетъ лишнимъ обучать.

— Вы напрасно нападаете на мою Ревекку, тетушка: она у меня большая умница.

— Ну, вѣдь я ее раньше твоего знаю. Она всегда любила заглядывать куда не слѣдуетъ и судить о томъ, о чемъ набожная дѣвица помыслить не посмѣла-бы.

— Леа! обратился къ женѣ мой будущій учитель съ нѣмымъ упрекомъ во взорѣ.

— Чего тамъ Леа! я говорю. что знаю, и ни предъ кѣмъ не стѣсняюсь. Я Зельмана въ первый разъ вижу, а скажу ему въ глаза, что удивляюсь брату Давиду, какъ онъ рѣшился отдать свою вѣтреницу Ревекку человѣку съ подобнымъ прошлымъ, какъ у Зельмана, и богъ-знаетъ, какого происхожденія.

— Леа! вскрикнулъ старикъ грознымъ голосомъ, подпрыгнувъ на стулѣ:—замолчить-ли твой проклятый языкъ?

— Любезная тетюшка, обратился къ ней отецъ съ миролюбивой улыбкою на устахъ:—не будемъ ссориться при первомъ знакомствѣ.

Во время всей этой непріятной сцены я какъ-будто и не существовалъ на свѣтѣ; меня совершенно забыли. Наконецъ, злая старуха какъ-бы нечаянно замѣтила меня.

— Ага! это твой сынъ? какой же онъ тщедушный! должно быть, на праникахъ выросъ! Знай я, что онъ такой болѣзненный, ни за что не рѣшилась-бы навязать себѣ возню въ домѣ. Еще заболѣетъ, пожалуй умретъ, а я буду въ отвѣтѣ. Подойди-ка сюда, мальчуганъ, подозвала меня Леа самымъ повелительнымъ голосомъ.

Я неохотно и пугливо подошелъ къ ней. Она взяла своей морщинистой, сухою рукою мой подбородокъ и грубо приподняла мою голову.

— Балованный ты? Га? скажи правду, мальчуганъ. У меня ни-ни... сохрани тебя Богъ! я баловать не мастерица; у меня коротка расправа.

— Ну, полно балагурить, Леа, и запугивать ребенка; лучше дай поужинать гостямъ да уложи ихъ спать; они устали, вѣроятно, съ дороги.

— Я гостей не ожидала и ужинать нечего.

— Не беспокойтесь, тетюшка: у насъ остались еще дорожные запасы. Хочешь ужинать, Сруликъ?

Я отказался отъ ужина. Мнѣ было не до него. Я попросился спать.

— Какой онъ у тебя капризный! затрещала опять старуха, мотая головой.

— Ну, если спать хочешь, такъ иди въ эту дверь, тамъ найдешь большой сундукъ, а на немъ подушки. Тамъ и ложись.

Отецъ сострадательно посмотрѣлъ, всталъ и повелъ меня въ указанную конуру. Леа взяла со стола огарокъ, оставивъ мужа съ его громадною книгою въ потьмахъ, и посвѣтила намъ. Отецъ самъ постлалъ мнѣ на сундукъ, окованномъ желѣзомъ, и я улегся.

Какъ только отецъ, въ сопровожденіи старухи, вышелъ изъ моей импровизированной спальни, я уткнулъ голову въ единственную подушку и горько заплакалъ.

Пріемъ, сдѣланный намъ, не предвѣщалъ ничего хорошаго. Жестко было спать, но усталость и нервное расслабленіе повергли меня въ тотъ глубокій, мертвенный сонъ, въ который погружаются дѣти послѣ часового рыданія.

На другое утро, отецъ, сдавъ мои пожитки—ихъ было очень немного—и снабдивъ меня нѣсколькими серебряными монетами, распрощался со мною необыкновенно нѣжно и уѣхалъ. Я остался одинъ.

Съ того-же дня я началъ посѣщать хедеръ (школу), въ которомъ самовластно деспотствовалъ мой суровый опекунь-учитель. Хедеръ помѣщался въ одной лачугѣ, нанятой дядей у бѣдной еврейки. Комната, въ которой мы занимались, была низенькая, мрачная, съ закопѣлыми стѣнами, съ огромною печью и надпечникомъ. Надпечникъ этотъ служилъ намъ оазисомъ въ пустынь: туда мы всѣ скупивались въ сумерки и предавались отдохновенію; тамъ съѣдались всѣ съѣстные припасы, приносимые каждымъ изъ насъ съ собою; тамъ рассказывались страшныя исторіи о мертвецахъ, о вѣдьмахъ; тамъ было очень весело. Какъ только зажигалась сальная тощая копеечная свѣчка и свѣтъ разсѣвалъ мракъ надпечника, мы тотчасъ соскакивали внизъ; свѣча служила сигналомъ собраться вокругъ стола и опять согнуться въ три погибели надъ учебниками, до поздней ночи. Это повторялось каждый день въ одинаковомъ порядкѣ. Это мертвящее однообразіе свинцовою тяжестью ложилось на душу, и никакого развлеченія, ни минуты отдыха, втеченіи цѣлаго дня; а какъ пріятно было-бы побѣгать, какъ хотѣлось выправить отеки члены!

Насъ, учениковъ, было человѣкъ пятнадцать. Всѣ мы болѣе или менѣ жили въ согласіи и дружбѣ. Хедеръ еврейскій—это необыкновенное училище, въ которомъ ученики всѣ одинаково забиты, робки, пугливы и всѣ одинаково придушены всеограшающею силою учителя, расправляющагося со всѣми по произволу, безъ всякаго лицепріятія. Между учениками хедера устанавливается извѣстнаго рода сочувствіе и симпатія, какъ между плѣнниками, попавшими въ одну и ту-же неволю. Чѣмъ болѣе кто-нибудь изъ учениковъ подвергается преслѣдованію злого меламеда (учителя), тѣмъ болѣе къ нему привязываются товарищи. Напротивъ, тотъ счастливецъ, который дѣлается любимцемъ учителя и менѣ терпитъ отъ его жестокости, возбуждаетъ къ себѣ зависть, выражающуюся явлю

враждою своихъ сотоварищей. Черта эта такъ глубоко врѣзывается въ характеръ еврея съ дѣтства, что она не оставляетъ его и тогда, когда изъ сотоварища по хедеру онъ переходитъ въ сочлены по обществу. Еврей отдастъ послѣднюю рубаху своему пострадавшему собрату, раздѣлитъ съ нимъ послѣдній кусокъ хлѣба въ несчастіи, но проникнется ядовитою завистью и злобою, когда его собрату повезетъ въ жизни. Онъ собственноручно готовъ разрушить счастье своего собрата, безъ всякой пользы для себя, лишь-бы поставить его на ряду съ собою. У еврея судьба—тотъ-же злой, прихотливый мелемедъ.

Учитель мой былъ доволенъ мною; я добросовѣстно высиживалъ свои уроки и, благодаря порядочной памяти, довольно плавно переводилъ библію на еврейскій жаргонъ. Я, однакожъ, сознавался, что ровно ничего не понимаю изъ того, что говорю; я попугайничалъ. Но все равно, лишь-бы мной были довольны. Изрѣдка, впрочемъ, мнѣ доставались и пинки, и щипки, и затрещины, которые я скоро научился переносить съ стоическимъ хладнокровіемъ. У насъ въ хедерѣ считалось позоромъ плакать отъ такихъ пустяковъ. Были такіе стойки, которые непосредственно послѣ трескущей пощечины смѣялись со слезами на глазахъ. Мы мстили деспотизму учителя презрѣніемъ къ его костлявымъ дланямъ.

Между моими сотоварищами я преимущественно привязался къ одному блѣдному, блѣлолицему и голубоглазому мальчику, по имени Ерухиму. Меня очаровала его доброта, иѣжность и искренность. Я его полюбилъ какъ родного брата, и мы передавали другъ другу все, что таилось у насъ на душѣ. Жизнь моя сдѣлалась гораздо сноснѣе съ тѣхъ поръ, какъ я съ нимъ такъ тѣсно сошелся. У меня былъ другъ, скромный, сочувствующій, добрый, которому я передавалъ мои дѣтскія ощущенія и жаловался на судьбу, лишившую меня такъ рано материнской ласки, предавшую въ руки жестокой, старой змѣи.

Ерухимъ познакомилъ меня заглазно съ его родителями, которыхъ онъ очень любилъ. Онъ мнѣ рисовалъ своего отца, какъ набожнаго и баснословно честнаго человѣка. Несмотря на его бѣдность и многочисленность семейства (у моего друга было иѣсколько братьевъ и сестеръ), онъ никогда не отсылалъ голодающаго, не накормивши его, и гдѣ только возникалъ вопросъ о поддержаніи обѣдѣннаго семейства, онъ дни и ночи бѣгалъ безъ усталости и собиралъ копейками подаянія для нуждающихся, отрываясь отъ своихъ промышленныхъ занятій. Мать моего друга, по словамъ его, была красивая и тихая женщина, обожавшая своихъ дѣ-

тей и посвятившая имъ свою жизнь цѣликомъ, а Ерухима она особенно любила и ласкала. Ерухимъ разсказалъ ей о нашей дружбѣ и познакомилъ заглазно съ моею персоной и съ жалкимъ моимъ положеніемъ въ домѣ злыхъ стариковъ.

Одинъ изъ нашихъ товарищей не оказался однажды въ хедерѣ. Учитель бѣсновался и готовилъ ему одну изъ экстраординарныхъ экзекуцій, поглядывая часто на плетку, о трехъ наконечникахъ, висѣвшую на почетномъ мѣстѣ. Вдругъ открывается дверь и входитъ прислужникъ синагоги съ жестяной кружкой въ рукѣ.

— Подаяніе спасаетъ отъ смерти¹⁾, процѣдилъ онъ сквозь зубы монотоннымъ, безучастнымъ голосомъ.

— Кто умеръ? спросилъ съ такимъ-же безучастіемъ учитель.

— Шмуль, лавочникъ.

Это былъ отецъ отсутствующаго товарища нашего.

Учитель нахлобучилъ шапку и побѣжалъ въ домъ умершаго, проводить его туда, откуда не возвращаются больше.

Событіе это настроило насъ всѣхъ очень грустно. Я и Ерухимъ

¹⁾ Прислужники синагогъ пользуются всякимъ случаемъ для собиранія податей съ народа. Родится-ли кто-нибудь, они немедленно навязываютъ родильницѣ амулеты, спасающіе ее отъ козней нечистой силы и чаръ. Содержаніе этихъ предохранительныхъ грамотъ слѣдующее: «Да не останутся въ живыхъ колдуньи, колдуньи да не останутся въ живыхъ, въ живыхъ да не останутся колдуньи», и еще нѣсколько такихъ-же остроумныхъ комбинацій. Эти амулеты приклеиваются ко всѣмъ дверямъ, окнамъ и къ самой кровати въ спальнѣ родильницы; подъ ея изголовье кладутся, не знаю для чего, ножъ или ложка, а въ ногахъ молитвенникъ. Во время церемоніи обрѣзанія канторы и прислужники синагоги благословляютъ, по очереди, присутствующихъ и получаютъ за это плату. Если новорожденный — первенецъ, то, во избавленіе его отъ всецѣлаго посвященія храму (давно уже не существующему), онъ, чрезъ мѣсяцъ послѣ своего рожденія, *выкупается* за то во время особо устроенной для этого случая церемоніи одинъ старшій или кагановъ получаетъ выкупъ наличными деньгами или-же закладомъ вещей. Умеръ-ли кто-нибудь — тотчасъ начинается самый безчеловѣчный торгъ за погребеніе. Тутъ проявляется произволъ еврейскаго кагала во всемъ своемъ возмутительномъ видѣ. Если умершій имѣлъ несчастье принадлежать къ числу нелюбимцевъ кагала, то изъ мести *выжимаютъ* у несчастной семьи покойнаго послѣдніе соки. Нерѣдко случается, что съ трупами нелюбимцевъ обращаются самымъ святотатственнымъ образомъ, несмотря на непоимѣрную плату, полученную впередъ за погребеніе. О налогахъ и взиманіяхъ во время свадебныхъ и разводныхъ церемоній говорить нечего. Но самое возмутительное, это то, что въ синагогахъ, даже въ великіе судные дни, обрядно-почетныя, моментальныя обязанности во время служенія продаются частнымъ лицамъ съ публичнаго торга, при чемъ прислужники обращаются въ глашатаевъ. Синагога вдругъ превращается въ аукціонъ со всѣми грязными его продажами.

взобрались на нашъ любимый надпечникъ. Долго просидѣли мы молча, погружившись въ грустныя думы о смерти и о ея послѣдствіяхъ.

— Ерухимъ! что-бы было съ тобою, если-бы твоя мать умерла? спросилъ я его вдругъ.

Ерухимъ вздрогнулъ и поблѣднѣлъ: я его, какъ видно, поймалъ на этой самой мысли.

— Не говори этого, Сруликъ, ради Бога не говори! Если-бы мою бѣдную мать положили въ землю, я прыгнулъ-бы въ могилу къ ней и умеръ-бы тамъ. А ты? спросилъ онъ меня, помолчавъ немного.

— Я? право не знаю. Плакать, поплакать-бы а умереть—не хотѣлъ-бы.

Давно уже наступила и прошла мрачная осень съ ея туманами, дождями и утренней изморозью; давно уже свирѣпствовала зима, съ трескучими морозами и пронзительными вьюгами, леденившими мои уши и руки. Моя жизнь текла однообразно: утромъ рано брань старухи и молитва, потомъ походъ въ хедеръ, тамъ — зубреніе, брань, пинки учителя, походъ домой, молитва, тощій обѣдъ, брань старухи, молитва, походъ въ хедеръ, зубреніе, толчки, предъ вечеромъ молитва, отдыхъ на надпечникѣ, зубреніе, молитва, возвращеніе домой, молитва, холодный тощій ужинъ, молитва, брань старухи на сонъ грядущій, послѣдняя молитва предъ сномъ и сонъ—на око-ванномъ сундукѣ. Вотъ порядокъ, измѣнявшійся только по суббота-тамъ прибавленіемъ лишняго чесночнаго блюда, лишнихъ молитвъ и хожденія въ синагогу.

Отъ родителей нѣсколько разъ получались моимъ опекуномъ письма. Содержаніе этихъ писемъ относилось только къ тому, чтобы побудить мое рвеніе къ наукамъ. Ни одного нѣжнаго слова, ни малѣйшей надежды на скорое избавленіе. Я, наконецъ, сдѣлался совсѣмъ равнодушенъ и къ родителямъ, и къ ихъ наставительнымъ посланіямъ. Я любилъ Ерухима, но не могъ не позавидовать ему: какъ-бы мнѣ хотѣлось быть на его мѣстѣ! Впослѣдствіи, только тогда, когда его постигло неожиданное несчастіе, я пересталъ роптать на свою судьбу. Бѣдный Ерухимъ!

Въ свободныя минуты, когда я былъ дома—если учитель, желавшій сдѣлать изъ меня ученаго въ восемь лѣтъ, не мучилъ меня повтореніемъ надоевшихъ мнѣ уроковъ — самымъ пріятнымъ препровожденіемъ времени было для меня сидѣть у окна, смотрѣть въ пустынный, занесенный дворъ и — думать. О чемъ я думалъ такъ усердно—я теперь припомнить не могу; знаю только, что во

мнѣ иногда шевелились недѣтскіе вопросы и мечтанія. Крутая школа жизни видимо развивала меня и заставляла шевелить недозрѣвшими мозгами. Учитель мой былъ не только ученымъ, но и знаменитымъ каббалистикомъ. У него имѣлись какія-то древнія, толстыя, страннаго, рыжеватаго переплета книги. Къ нему являлись часто евреи и еврейки лечиться отъ вліянія дурного глаза и отъ зубной боли. Онъ зналъ какія-то симпатическія и магическія средства отъ падучей болѣзни, умѣлъ зашептывать зубную боль и заговаривать кровь. Повременамъ лѣпилъ онъ изъ воску какія-то фигуры, что-то безпрестанно бормоча. Во время таинственной этой работы, совершавшейся всегда по вечерамъ, сварливая старуха притихала и пугливыми глазами слѣдила за движеніемъ рукъ старика. Меня всегда высылали въ мою спальню и заставляли спать. Мистическое настроеніе стариковъ всегда наводило на меня ужасъ. Я дрожалъ отъ страха въ темной, пустой моей спальнѣ, на сундукѣ. Жаловаться некому было. Я плотно укрывался моей шубенкой, уткнувъ лицо въ подушку, и, къ счастью, всегда скоро засыпалъ и спалъ до утра непробудно. Учитель, въ минуты своей общительности, рассказывалъ мнѣ, что между его книгами находится одна, спасающая однимъ своимъ присутствіемъ отъ пожара. Къ другой книгѣ, невзрачной наружности, нельзя будто-бы дотронуться тому, который постомъ, молитвой и праведною жизнью не приготовилъ себя къ этому. Онъ увѣрялъ меня, что есть имя одного духа, произнесеніе котораго сопряжено съ опасностью жизни для того, который осмѣлился-бы это имя произнести всуе. Онъ утверждалъ, что нѣтъ ни одного чуда, котораго нельзя было-бы не совершить посредствомъ каббалы. Можно, напримѣръ, открыть всякое воровство, увидѣть, кого мы пожелаемъ, во снѣ, точить вино изъ любой стѣны и даже сдѣлаться невидимкою.

Въ то время, когда мой взоръ разсѣянно блуждалъ по снѣжнымъ сугробамъ, украшавшимъ нашъ дворъ, роились въ моей дѣтской головѣ неотвязчивые вопросы: для чего тратитъ правительствово на содержаніе пожарныхъ командъ, почему всякій домохозяинъ не запасается книгой, предохраняющею отъ пожара? Тогда не было-бы вовсе пожаровъ. Для чего мой учитель всякую пятницу покупаетъ для субботы водянистое вино, когда ему ничего не стоило-бы источить его изъ любой стѣны? Какъ мнѣ хотѣлось быть невидимкой! Тогда... конечно, я прежде всего убѣждалъ-бы изъ этого прожятаго дома, сѣлъ-бы въ первый попавшійся экипажъ—вѣдь меня никто не видитъ!—и уѣхалъ-бы далеко, далеко. Я проголодался—захожу въ первый попавшійся домъ и ѣмъ сколько хочу. Мнѣ

нужны деньги—я подхожу къ мѣняльщику и беру себѣ блестящіе гривенники... сколько угодно! На подобныя темы я варьировалъ и уносился богъ-знаетъ куда, жилъ въ фантастическомъ мірѣ, и время незамѣтно проходило. Въ эти минуты мнѣ было очень хорошо.

Немало занималъ мои мысли красивенькій домикъ, выходившій фасадомъ въ проулокъ, а чернымъ ходомъ во дворъ. Кто живетъ въ этомъ домикѣ? какъ живутъ тамъ? что тамъ говорятъ? что дѣлаютъ? Я зналъ, что домикъ этотъ былъ необитаемъ, когда я пріѣхалъ въ П., что онъ отдавался въ наемъ, что, наконецъ, зимою онъ былъ нанятъ какимъ-то христіанскимъ семействомъ, и закипѣла въ пустомъ домикѣ жизнь. Изъ трубъ валилъ дымъ; изъ кухни доносился заманчивый запахъ незнакомыхъ мнѣ яствъ. Русская здоровая баба каждое утро заметала снѣгъ вокругъ домика. Въ окнахъ къ улицѣ виднѣлись горшки съ цвѣтами, выглядывавшими изъ-за бѣлыхъ занавѣсокъ. Проходя нѣсколько разъ по вечерамъ, я замѣчалъ въ окнахъ веселый, яркій свѣтъ, видѣлъ силуэты быстро двигавшихся по комнатамъ людей и слышалъ веселый голосъ шумящихъ дѣтей. Счастливы! думалъ я, отчего я не могу такъ бѣгать и рѣзвиться?

По пятницамъ насъ отпускали изъ хедера довольно рано, чтобы дать приготовиться къ приближающейся субботѣ. Въ одинъ изъ этихъ относительно вакантныхъ дней я, предъ вечеромъ, сидѣлъ у моего тусклаго окна, смотрѣлъ во дворъ, любясь золотымъ матовымъ дискомъ заходящаго солнца, придававшего зимней картинѣ особый, очаровательно-мягкій колоритъ. Изъ красиваго домика, чрезъ черный ходъ, выбѣжалъ мальчикъ лѣтъ двѣнадцати и пустился бѣжать по двору, выдѣлывая на бѣгу различныя прыжки. Я залюбовался этимъ мальчикомъ-шалуномъ. Бѣлое, полное лицо его, зарумянившееся отъ мороза, было оживлено парю большихъ голубыхъ глазъ; красивый ротъ счастливо улыбался. Сила, гибкость и здоровье выражались въ каждомъ его движеніи, въ каждомъ скачкѣ. Онъ былъ сложенъ самымъ пропорціональнымъ образомъ, а широкая, выпуклая грудь придавала всей его фигурѣ видъ будущаго силача. Костюмъ его былъ незатѣйливый: на ногахъ грубоватые сапоги, доходящіе до колѣнъ, на плечахъ дубленый полушубокъ, на головѣ—гимназическая фуражка съ краснымъ околышкомъ, на рукахъ—шерстяныя перчатки.

— Митя! услышалъ я протяжный, нѣжный женскій голосъ.

Мальчикъ, на всемъ скаку, остановился, сдѣлалъ пируетъ и обратился въ ту сторону, откуда слышался призывъ. Я тоже посмотрѣлъ

по тому-же направленію. На крылечѣ, выходящемъ во дворъ, стояла пожилая женщина пріятной наружности, въ куцавейкѣ, наброшенной небрежно на плечи.

— Митя, дружочекъ, бѣги сюда!

Мальчикъ поскакалъ къ ней.

— Шалуны! упрекнула его женщина съ ласковой улыбкою на губахъ.—Посмотри, твой полушубокъ разстегнуть, а ты бѣгаешь и знать ничего не хочешь!

Съ этими словами женщина нагнулась къ мальчику и начала застегивать его полушубокъ, но мальчикъ вертѣлся подъ ея руками, какъ угорѣлый, и звонко хохоталъ.

— Мама! говорилъ онъ:—я хочу состроить бабу, высокую, высокую бабу. Можно?

— Сострой, голубчикъ.

— Но ты, мама, не говори Оленькѣ, пока я не буду готовъ.

— Хорошо, дружочекъ.

Митя стремглавъ бросился во дворъ, поднялъ лежавшую гдѣ-то въ сторонѣ лопату и взялся разрывать самый большой снѣжный сугробъ.

— Что такое онъ хочетъ сдѣлать? Что такое баба? подумалъ я и съ особеннымъ интересомъ началъ слѣдить за его работой.

Между тѣмъ сильныя руки Мити усердно работали. Онъ сгребъ цѣлую кучу снѣга, затѣмъ лопатою началъ обрѣзывать края кучи и отбрасывать въ сторону. Мало-по-малу образовался четырехугольный снѣжный столбъ, вышиною въ уровень съ мальчикомъ. Митя отбросилъ лопату и принялся доканчивать набѣло свою работу руками, останавливаясь по временамъ и потирая озябшіе пальцы. Я смотрѣлъ на его трудъ съ насмѣшливой улыбкою, какъ человѣкъ взрослый, серьезный смотритъ на дѣтскую шалость. Черезъ четверть часа куча снѣга приняла форму человѣческой фигуры, безъ рукъ и ногъ, на подобіе древнихъ каменныхъ идоловъ самаго грубаго изваянія. На плечахъ этой снѣжной фигуры сформировалась такая-же шарообразная голова. Митя, окончивъ свою работу, отбѣжалъ нѣсколько шаговъ и, издали провѣривъ свою работу, остался, по-видимому, совершенно доволенъ ею. Затѣмъ онъ побѣжалъ обратно въ домъ.

„Для какой цѣли такъ усердно трудился этотъ глупый мальчикъ?“ подумалъ я. Не успѣлъ я кончить мысленно этого вопроса, какъ Митя уже появился опять на дворѣ, облеченный въ сѣрую гимназическую шинель съ краснымъ воротникомъ и металлическими

пуговицами. Озираясь, онъ подбѣжалъ къ своей снѣговой бабѣ, быстро набросилъ на нее шивель и, снявъ фуражку, ловко надвинулъ ее на голову бабы. Баба эта, одѣтая такимъ приличнымъ образомъ, приняла видъ самого Мити, остановившагося и какъ-будто смотрящаго на заходящее солнце. Нѣсколько минутъ стоялъ Митя съ непокрытой головой, потирая уши красными отъ мороза и снѣговой работы руками. Холодъ, повидному, сильно пробиралъ его. Онъ бросалъ попеременно взгляды то на двери домика, какъ-будто поджидая кого-то, то на своего двойника — бабу, но никто въ дверяхъ не появлялся. Митя нетерпѣливо топнулъ ногой, сдѣлалъ рѣшительный поворотъ и стремглавъ бросился въ нашъ флигель. Всѣ эти эволюціи Мити до того меня заинтересовали, что я вскочилъ съ своего обсервационнаго пункта и выбѣжалъ въ сѣни. Въ тотъ-же моментъ прибѣжалъ туда и Митя.

— Оли не идетъ, сказалъ онъ мнѣ дрожащимъ отъ волненія голосомъ: — а мнѣ холодно. Бѣги пожалуйста къ намъ и вызови Олю. Скажи ей: Митя тебя зоветъ скорѣе.

Я чрезвычайно мало понималъ русскій языкъ, а говорить и вовсе почти не умѣлъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ малороссійскихъ словъ. Изъ всего, что сказалъ мнѣ Митя, я понялъ одно, что ему холодно. Долго не думая, я снялъ свою мѣховую шапку, не слишкомъ изящнаго вида, и подаль ее Митѣ.

— Фи! прикрикнулъ онъ на меня, съ омерзѣніемъ отталкивая шапку. — Мнѣ не нужна твоя ермолка. Бѣги къ намъ и вызови Олю. Я не могу самъ...

Въ эту минуту въ дверяхъ домика, съ которыхъ Митя не спускалъ глазъ, появилась дѣтская фигурка дѣвочки. Митя, не докончивши фразы, притихнулъ, спрятался за дверь и жадно, едва дыша, началъ слѣдить за малѣйшимъ движеніемъ дѣвочки.

Дѣвочка, опѣнивши глаза ручкой, обвела взоромъ весь дворъ и остановила его на мнимомъ Митѣ. Постоявъ нѣсколько секундъ такимъ образомъ, улыбнулась, осторожно, безъ шума, спустилась съ трехъ ступенекъ низенькаго крылечка и пустилась шагать по направленію къ бабѣ, самымъ комичнымъ образомъ переваливаясь, гримасничая и досадуя, повидному, на нескромный скрипъ, производимый ея ножками по хрупкому снѣгу. Митя, между тѣмъ, за дверьми, заливался неудержимымъ, беззвучнымъ хохотомъ и въ порывѣ веселья схватилъ мою руку и крѣпко ее стиснулъ. Оли, въ большомъ черномъ капорѣ, окутанная плотно шубенкой, подкралась къ бабѣ на два шага и, чтобы испугать мнимаго Митю, бросилась разомъ и обхватила Митю сзади.

— Ахъ! закричала она вдругъ испуганнымъ голосомъ, почувствовавъ въ своихъ объятіяхъ кучу снѣга, прикрытаго гимназическою шинелью, отпрыгнула очень неловко и упала ничкомъ въ снѣгъ.

Я бросился къ ней стремглавъ, а за мною и Митя, но я добѣжалъ первый и успѣлъ ее поднять. Оля пугливо посмотрѣла на меня и, замѣтивъ за моей спиной испуганнаго Митю, захохотала самымъ звонкимъ, дѣтскимъ хохотомъ.

— Ахъ, шалунъ же ты, Митя! Я не ушиблась. А я думала, что это ты, и хотѣла тебя испугать.

— Храбрая! А потомъ сама испугалась и отъ страха упала.

— Неправда! Я не испугалась, я только оступилась.

Во время этого разговора я молчалъ и серьезно смотрѣлъ на Олю. Не могу себѣ дать отчета, что замѣтилъ я въ этомъ дѣтскомъ лицѣ; знаю только, что оно меня очаровало: столько доброты и нѣжности было разлито въ голубыхъ, темныхъ глазахъ дѣвочки, вокругъ ея изящнаго ротика и кругленькаго, съ ямочкой, подбородка.

— Митя, фуражку надѣнь! раздался испуганный голосъ той самой женщины, которая полчаса тому назадъ застегивала полушубокъ.—Митя! Оля! въ комнату!

— Идемъ, мама, идемъ, отвѣтила Оля. Сорвавъ фуражку съ бабы, она нагнула ее на голову мальчика, схватила Митю за руку и шаловливо потащила его за собою. Но вдругъ остановилась, выпустила руку Мити и подбѣжала ко мнѣ.

— Благодарю васъ, что вы меня подняли, сказала она мнѣ и какъ-то тепло посмотрѣла мнѣ въ глаза. Я чувствовалъ, что покраснѣлъ по уши, опустил глаза и ничего не отвѣтилъ.

— Ты будешь приходить къ намъ? спросилъ меня, въ свою очередь, Митя, чрезвычайно ласково.—Приходи, братъ, вмѣстѣ играть будемъ.

Дѣти, руку объ руку, убѣжали и скрылись въ дверяхъ дома. Я долго стоялъ еще на мѣстѣ. Отъ этихъ дѣтей вѣяло свѣжестью и добротою. Неужели это христіанскія дѣти? неужели они меня не презираютъ? Отчего-же я такъ боюсь русскихъ мальчиговъ? И долго, быть можетъ, простоялъ-бы я на одномъ мѣстѣ, задавая себѣ подобные вопросы, если-бы трескучій голосъ агибабы не вывелъ меня изъ задумчивости своимъ неласковымъ призывомъ.

— Ты что тамъ болваномъ остановился? Чего ты лѣзешь въ

знакомство съ гонимъ ¹⁾? Уходи, осель, пока еще не битъ. Онъ радъ всякому случаю позѣвать. Набожныя дѣти давно уже всѣ въ синагогѣ, а онъ возится со всякою сволочью.

Понуривши голову, я пошелъ во флигель. Къ брани и угрозамъ моей мучительницы я давно уже сдѣлался равнодушнымъ. Но именно въ эти непривычно-сладкія для меня минуты ея брань была особенно неприятна. Я проводилъ мысленно параллель между счастливою жизнью этихъ дѣтей, цвѣтущихъ здоровьемъ, веселыхъ, игривыхъ, свободныхъ, и моей мученической жизнью, полной униженій, лишеній и неволи. Съ невыразимо горькимъ чувствомъ зависти и ропота вошелъ я въ комнату. Невольно бросилъ я взглядъ на обломокъ нешлифованнаго зеркала, прилееннаго къ стѣнѣ; я увидѣлъ тамъ отраженіе собственной фигуры и вздрогнулъ. Мое непомѣрно-длинное, неправильное, желтоблѣдное лицо, съ впавшими щеками и выдающимися скулами, отгнѣнными длинными, тонкими, жидкими пейсами, напоминающими собою червяковъ, моя непомѣрно-длинная, тонкая шея, лишенная галстука, все мое хилое, согнутое тѣло, на тонкихъ ножкахъ, неуклюже обутыхъ, внушило мнѣ такое непреодолимое отвращеніе, что я отвернулся и плюнулъ, но плюнулъ такъ неловко, что плевокъ очутился на щекѣ старухи. Она позеленѣла отъ ярости и такъхватила меня по щекѣ своей сухой дланью, что искры посыпались у меня изъ глазъ.

— Въ синагогу, мерзавецъ! затрещала она, вытолкавъ меня и съ грохотомъ прихлопнувъ за собою дверь.

— Опять въ синагогу! прошепталъ я съ глубокимъ вздохомъ:— о, Господи! когда-же этому будетъ конецъ?

Прикрывая одной рукой разгорѣвшуюся щеку, я пошелъ въ синагогу. На крылечкѣ флигеля выдѣлывалъ Митя какія-то прихотливыя антраша. Я поровнялся съ нимъ.

— Куда идешь? спросилъ онъ меня. Въ его голосѣ мнѣ послышалась насмѣшка. Я молча прошелъ мимо.

— Дуракъ! крикнулъ онъ мнѣ вслѣдъ. Я зарыдалъ и, чтобы скрыть свои рыданія, пустился бѣжать безъ оглядки.

Перенести оскорбленіе — тяжело, но перенести оскорбленіе отъ счастливца — невыносимо.

¹⁾ Слово «гонимъ» въ переводѣ — племена. Но такъ-какъ въ древнія времена всѣ почти племена были идолопоклонники, то слово это превратилось въ брань.

III.

Предковъ обвиняли, а дѣти въ отвѣтъ.

Въ синагогѣ оканчивалось уже молебствіе. Когда я прибѣжалъ туда съ заплаканными глазами, едва сдерживая свои всхлипыванія, всѣ молящіеся окончили уже тихую молитву ¹⁾ и сидѣли въ ожиданіи повторенія этой молитвы канторомъ синагоги. Одинъ лишь учитель мой стоялъ на ногахъ, нашептывая и неустово мотаясь верхнею половиною своего туловища взадъ и впередъ, причемъ косматые его пейсы метались и хлестали его по лицу. Учитель мой обыкновенно медленнѣе и долѣе молился, чѣмъ всѣ прочіе. Онъ всякое слово процѣживалъ съ особеннымъ чувствомъ и разстановкой, а иногда повторялъ по нѣскольку разъ одно и то-же слово. Отчужденіе отъ міра грѣховнаго не лишило его, однакожъ, способности замѣтить мой поздній приходъ. Онъ повернулъ голову и строго посмотрѣлъ на меня своими холодными глазами. Здоровая щека моя находилась вблизи его костлявой длани, и я предчувствовалъ уже на ней то самое колючее ощущеніе, которое вынесла больная моя щека за четверть часа тому назадъ. Меня пугала не предстоящая оплеуха, въ полученіи которой я не сомнѣвался, но позоръ получить ее публично, при сотнѣ взрослыхъ людей. Къ счастью, мои ожиданія не осуществились: молитва не позволила набожному учителю сдѣлать нужное для того движеніе. Первый моментъ прошелъ—я былъ спасенъ.

Я, въ свою очередь, началъ молиться и молился чрезвычайно

¹⁾ Самая осмысленная часть молебствія называется Шмонеэсре (восемнадцать просительныхъ пунктовъ). Эту часть молитвы евреи обязаны произносить шопотомъ и непремѣнно стоя, а канторъ повторяетъ ее вслухъ, съ разными оригинальными древними азіатскими напѣвами. Евреи въ синагогахъ (кроме устроенныхъ на европейскій ладъ) молятся каждый молодецъ на свой образецъ: одинъ шепчетъ, другой пищитъ, а третій реветъ благимъ матомъ; одинъ стоя, другой сидя, а третій полулежа; одинъ щелкаетъ языкомъ и пальцами и издаетъ дикіе крики, другой мяукаетъ, подпрыгиваетъ, шлепаетъ туфлями, стучитъ ногами и бьетъ въ ладоши, а третій трясется какъ въ лихорадкѣ; одинъ опереживаетъ кантора, другой его догоняетъ, а третій надрывается, чтобы перекричать всѣхъ вообще, а кантора въ особенности. Легко можно себя представить, какой содомъ происходитъ въ синагогахъ во время скопленія больныхъ массъ.

усердно, но слово „дуракъ“, которымъ угостилъ меня Митя совершенно незаслуженнымъ образомъ, звенѣло въ моихъ ушахъ.

Что я ему сдѣлалъ? За что онъ меня обругалъ и обидѣлъ? спрашивалъ я себя въ сотый разъ и не находилъ разумнаго отвѣта. Бѣдный ребенокъ! я не могъ еще знать тогда, что въ свѣтѣ вообще обижаютъ, унижаютъ, оскорбляютъ и угнетаютъ исключительно тѣхъ, которые никому не вредятъ; ихъ оскорбляютъ за то, что они слабы, безпомощны и терпѣливы. Кого природа не одарила физическими или нравственными зубами и когтями, тотъ или ложись заживо въ могилу, или подставляй всякому счастливому нахалу щеку, спину и уши.

Съ тѣхъ поръ я началъ избѣгать Митю. Какъ только онъ появлялся на дворѣ, я не только не выходилъ изъ дому, но отходилъ даже отъ своего любимаго окошка, чтобы не встрѣтиться съ нимъ глазами. Оля, если иногда и играла на дворѣ, то почти всегда съ братомъ, такъ что при всемъ моемъ желаніи посмотреть на ея доброе личико, я не могъ этого сдѣлать безъ ущерба моему самолюбію. Какимъ образомъ развилось у меня чувство самолюбія при такихъ условіяхъ жалкой жизни—я, право, сказать не могу; но какимъ образомъ появляется иногда въ степи одинокій, рѣдкій, садовый цвѣтокъ—это одна изъ тѣхъ тысячи неразгаданныхъ загадокъ, которыя человѣкъ объясняетъ себѣ словомъ „случай“.

Самая суровая пора зимы миновала. Наступила временная оттепель, которую я встрѣтилъ съ особенной радостью. Мое тощее тѣло не изобиловало ни кровью, ни жиромъ; обѣды и ужины мои тоже не отличались особенной питательностью, а потому я былъ оченьзябокъ. На чистомъ, морозномъ воздухѣ я всегда дрожалъ и не чувствовалъ ни рукъ, ни ногъ отъ холода. Но съ наступленіемъ относительно теплой погоды родились совершенно новыя мученія, о которыхъ я прежде и понятія не имѣлъ.

Дорога въ мой хедеръ пролегала по нѣсколькимъ проулкамъ, всегда почти безлюднымъ; я рѣдко встрѣчалъ прохожихъ, а если и встрѣчалъ, то на меня никто не обращалъ особеннаго вниманія. Я всегда спокойно и благополучно совершалъ свои путешествія. Съ наступленіемъ же оттепели начали появляться у воротъ и калитокъ злые русскіе мальчишки. Каждый изъ нихъ считалъ своимъ долгомъ по-своему привѣтствовать прохожаго жиденка. Одни бранили, другіе поддразнивали различными оскорбительными насмѣшками и прибаутками, иные грозили кулаками и палками, другіе цѣпились камнями и иногда попадали довольно мѣтко. Но хуже всѣхъ мучили меня нѣкоторые, натравливая на меня со-

бакъ, которыхъ я ужасно боялся. Единственнымъ моимъ спасеніемъ было бѣгство. Я очень легко бѣгалъ, потому что желудокъ у меня никогда не былъ слишкомъ обремененъ. За мною гонялись, на меня охотились, но заяцъ всегда благополучно ускользалъ. Съ каждымъ днемъ мои мученія усиливались. Мальчишки, подмѣтивъ, съ какой правильностью я, въ одно и то-же время, прохожу мимо, караулили меня, засѣвъ за воротами и притаивъ дыханіе, чтобы напасть въ распахъ. Я всегда былъ на-сторожѣ; наостривъ уши и смотря въ оба, я не шелъ, а бѣжалъ серединою улицы, зная напередъ, что изъ-за такихъ-то воротъ, изъ-за такой-то калитки выбѣжить непременно такой-то маленькій негодяй, а за нимъ такая-то дворняшка. Цѣлую недѣлю ежедневно по четыре раза охотились на мою личность, но безуспѣшно. Меня спасала судьба или, лучше сказать, мои быстрыя ноги. Это еще болѣе бѣсило и подстрекало жестокихъ моихъ враговъ. Наконецъ, они прибѣгли къ тому-же средству, къ которому прибѣгаетъ дипломатія въ важныхъ случаяхъ, то-есть заключили союзъ противъ меня. Когда я однажды, съ привычной уже самонадѣянностью, совершалъ свой бѣгъ по одному изъ проулковъ, выпало вдругъ нѣсколько мальчишекъ изъ разныхъ воротъ и калитокъ. Одни загородили мнѣ дорогу въ хедеръ, другіе отрѣзали обратный путь. Я находился между двухъ огней, а потому остановился въ нерѣшимости, бросая испуганные взгляды во всѣ стороны, какъ робкій заяцъ, окруженный стаею гончихъ. Мальчишки, убѣдившись въ моей безпомощности, не торопились расправиться со мною; они, повидимому, наслаждались моимъ отчаяннымъ положеніемъ и придумывали достойное меня наказаніе. Я стоялъ на одномъ мѣстѣ, тяжело дыша отъ усталости. Вдругъ одинъ изъ этихъ негодяевъ крикнулъ собакъ, указывая на меня рукою:

— Куся жиды, Жучка!—А за нимъ цѣлымъ хоромъ подхватили остальные мальчишки:—кси! кси!! На меня съ остервенѣніемъ набросилось разомъ нѣсколько собакъ. Одна вцѣпилась зубами въ мою жалкую шубенку и рвала ее безпощадно; другая, подпрыгивая, норовила схватить мою руку; остальные собаки кружились, оглушая меня своимъ лаемъ. Я кричалъ изо всей мочи, а бездушные враги злорадствовали и заливались хохотомъ. Не знаю, чѣмъ-бы это все кончилось, если-бы не появился господинъ почтенной наружности, съ тростью въ рукѣ еще болѣе почтеннаго вида. Въ одну минуту онъ подбѣжалъ ко мнѣ и хватилъ нѣсколько разъ тростью Жучку съ братьей. Съ жалобнымъ воемъ разбѣжались ксы, а за ними и струсившіе мальчишки.

— За что мучать они тебя, бѣдный жиденокъ? спросилъ меня господинъ чрезвычайно сострадательно.—Куда тебѣ нужно? пойдемъ я провожу тебя.

Добрый человекъ довелъ меня до самаго хедера. Я поблагодарилъ его, какъ умѣлъ.

— Что съ тобою? спросилъ меня учитель, замѣтивъ, что на мнѣ лица нѣтъ и что верхняя моя одежда въ самомъ жалкомъ состояніи.

Я рассказалъ ему, какъ меня мучать русскіе мальчишки ежедневно по нѣскольку разъ и какой пытѣй я подвергся за четверть часа. Онъ съ необычайнымъ состраданіемъ посмотрѣлъ на меня и глубоко вздохнулъ.

— Такова ужъ участь наша, дитя мое! сказалъ онъ грустнымъ голосомъ.—Мы должны молчать и безропотно переносить все то, что наслетъ на насъ Іегова. На все его святая воля. Мы рабствовали у Фараона—онъ избавилъ насъ отъ неволи, далъ намъ свободу и обѣтованную землю. Мы нагрѣшили и разгнѣвали Іегову—онъ наказалъ насъ, и опять, въ непредѣльной добротѣ своей, насъ помиловалъ. Мы опять провинились—онъ наслалъ на насъ Тита. Нашъ милый Іерусалимъ разрушенъ и мы изгнанниками скитаемся по міру, не находя пристанища и покоя. Насъ гонять, преслѣдуютъ и мучать. Были и Хмельницкіе и Гонты, а мы все не исправляемся и грѣшимъ попрежнему. Пока мы всѣ не сдѣлаемся праведниками, пока между нами будетъ хоть одинъ грѣшникъ, Іегова не сжалится надъ своимъ народомъ. Будемъ же ждать и терпѣть.

— За что же цѣлый народъ долженъ терпѣть изъ-за одного грѣшника? спросилъ робко одинъ изъ учениковъ.

— За что же мы наказываемся, когда грѣшили не мы, а наши предки? добавилъ мой другъ Ерухимъ.

— Такова воля Іеговы, отвѣтилъ учитель. — Онъ мститъ до седьмого колѣна.

Какъ ни краснорѣчиво увѣрялъ насъ учитель повиноваться безропотно волѣ Іеговы и терпѣливо переносить наказаніе, посылаемое намъ въ лицѣ кровожадныхъ мальчиковъ и ихъ собакъ, мы все-таки не могли не роптать на нашу горькую судьбину. На нашемъ надпечникѣ я съ Ерухимомъ долго разсуждали объ этомъ предметѣ и окончательно рѣшили: поступать въ духъ русской поговорки: „на Бога надѣйся, а самъ не плошай“. У учителя нашего былъ помощникъ или, лучше сказать, разсылный, полуидіотъ, но за то дубина хоть куда. Его-то я и договорилъ за нѣ-

сколько грошей поступить ко мнѣ въ тѣлохранители. Онъ обязался клятвой приходить за мною и провожать меня изъ дома въ хедеръ и обратно. Чтобы огорошить моихъ враговъ, онъ, въ первый же разъ, пустилъ меня впередъ одного, увѣривъ, что явится при первой опасности. Маневръ его удался какъ нельзя лучше: какъ только мальчишки, завидѣвъ меня, набросились на свою жертву съ обычнымъ ожесточеніемъ, мой здоровый тѣлохранитель вдругъ очутился возлѣ меня, какъ-будто выросъ изъ-подъ земли, и задалъ моимъ мучителямъ жестокую лупку. Я радовался отъ души; я былъ отомщенъ.

Послѣ первой острастки русскіе мальчишки меня оставили въ покоѣ. Изрѣдка развѣ, и то издали, изъ-за угла, меня угощали камнемъ, а большей частью разными эпитетами въ родѣ: „жиденокъ, чертенокъ“, „жидъ, свиное ухо“ и проч. и проч. Меня это унижало и бѣсило, но дѣлать было нечего. Я молчалъ. Съ тѣхъ поръ не только слово *жидъ*, но просто буква *ж* внушаетъ мнѣ омерзѣніе. Если-бы это было въ моей власти, я эту проклятую, гнусную букву вычеркнулъ-бы навсегда изъ списка живыхъ ея сестеръ.

Я торжествовалъ около двухъ недѣль. Однажды, когда я возвращался раннимъ вечеромъ одинъ изъ хедера и проходилъ мимо одного ярко-освѣщеннаго дома, меня вдругъ обдали очаровательные звуки скрипки, которой акомпанировало фортепіано. Я любилъ музыку до безумія. Еще въ деревнѣ я по цѣлымъ часамъ не отходилъ отъ балалайщика или деревенскаго скрипача. Но то были звуки, раздражавшіе меня, но не удовлетворявшіе. Звуки-же, поразившіе мой слухъ теперь, были совсѣмъ другого рода; они разомъ обдали меня какъ-будто ароматомъ. Я приросъ къ землѣ и весь погрузился въ цѣлый океанъ блаженства. Я забылъ себя и все окружающее меня, какъ вдругъ меня толкнула чья-то рука. Я вздрогнулъ и оглянулся. Возлѣ меня стоялъ громаднаго размѣра мужикъ, въ нахлобученной овчинной шапкѣ и съ громаднымъ кнутищемъ въ рукѣ.

— Бачишь, сучій жиде, якъ у насъ гарно! сказалъ онъ мнѣ своимъ грубымъ хохлацкимъ голосомъ, указывая кнутомъ на домъ, въ которомъ раздавалась музыка.

Я ничего ему не отвѣтилъ и счелъ полезнымъ ретироваться подалѣе отъ его кнутища. Между тѣмъ звуки давно уже замолели, а въ ушахъ моихъ продолжало еще что-то вибрировать. Я рѣшился ждать долго-долго, лишь-бы еще разъ услышать хоть нѣсколько такихъ звуковъ. Я отошелъ подалѣе отъ оконъ, поднялся

на кончики пальцевъ, чтобы увидѣть какъ-нибудь того счастливаго смертнаго, которому природа дала способность извлекать такіе очаровательные звуки изъ своего инструмента. Въ окнахъ я замѣтилъ нѣсколько мужчинъ и женщинъ, очень красиво одѣтыхъ, нѣсколько мальчиковъ-гимназистовъ и дѣвочекъ. Мнѣ показалось, что между ними были также Митя и Оля. Лица эти долго ходили взадъ и впередъ, подходя другъ къ другу, разговаривая, какъ видно, и смѣясь; дѣти бѣгали изъ угла въ уголъ. Наконецъ, всѣ начали чинно усаживаться. Какой-то господинъ невзрачной наружности подошелъ къ фортепіано даму, усадилъ ее, затѣмъ взялъ скрипку, уладилъ ее подъ подбородокъ и плавно повелъ смычкомъ.

Къ подъѣзду съ шумомъ и грохотомъ подкатили дрожки. Кучеръ долго возился съ лошадьми, успокаивая ихъ различными увѣщаніями и ударами кнута. Я въ душѣ проклиналъ его: онъ мѣшалъ мнѣ слушать. Но онъ съ шумомъ соскочилъ съ своего сѣдалища, подошелъ къ параднымъ дверямъ, сильно и продолжительно позвонилъ. Кто-то вышелъ къ нему и громко сказалъ: „обожди, сейчасъ поѣдутъ“. Кучеръ зѣвнулъ, плюнулъ въ сторону, переваливаясь подошелъ къ дрожкамъ и лѣнливо вскарабкался на козлы.

Наступила желанная минута: раздался громкій аккордъ на фортепіано. За нимъ посыпалось множество аккордовъ все болѣе и болѣе успокоивающаго свойства. Скрипка взвизгнула раздражающимъ голосомъ и вслѣдъ за этимъ взвизгомъ посыпались мелкіе стонущіе звуки, покотившіеся быстрою гаммою внизъ. Мнѣ показалось, что звуки эти съ быстротою молніи увлекаютъ меня невѣдомо куда-то за собою внизъ и я—падаю...

Я очутился въ рыхломъ снѣгу, въ который я глубоко врылся носомъ. Меня оглушилъ хохотъ нѣсколькихъ голосовъ; нѣсколько паръ рукъ меня душило; я чувствовалъ барабанный бой на своихъ хилыхъ плечахъ; меня придавили, я не могъ шевельнуть ни однимъ членомъ, я задыхался прижатый лицомъ къ рыхлому снѣгу, залѣпившему мнѣ ротъ, носъ и глаза; одни уши служили мнѣ еще кое-какъ.

— А, что, паршивый жиденокъ? Попался наконецъ?

— Эй, барченокъ! это я его подкараулилъ и спалалъ первый.

— Ёмка! эй, Ёмка, не ври! я первый толкнулъ чорта; онъ и бухнулъ. Вы и насѣли.

— Держи его, братцы! я сбѣгаю домой, принесу сала, мы ему и насалимъ жидовскія губы, чортову сыну.

— Bravo, Ваня! гаркнулъ цѣлый хоръ: — только скорѣй, а мы пока грѣтъ его будемъ, а то дрожить совсѣмъ, собака.

На меня посыпалось безчисленное множество ударовъ; но одинъ ударъ въ голову, тѣмъ-то чрезвычайно твердымъ, причинилъ мнѣ такую невыразимую боль, что я инстинктивно рванулся разомъ. Мальчишки какъ щенки попадали въ снѣгъ. Я всталъ на колѣни.

— Держи его, братцы! Дружно!

Меня опять повалили. Я опять рванулся и приподнялся на локтяхъ, но меня опять придушили. Я долго боролся, выбиваясь изъ силъ. Я все болѣе и болѣе слабѣлъ, что-то теплое заливало мнѣ глаза; я чувствовалъ, что лишаюсь сознаниа...

— Братцы! сало несу, сало несу! послышался голосъ издали.

При мысли объ этой *страшной* казни, меня ожидающей, ко мнѣ возвратились и сознание, и необыкновенная сила; я рванулся, сталъ на ноги и быстро помчался къ подъѣзду. Я хотѣлъ кричать, но что-то сдавило мнѣ горло и я не могъ произнести ни одного звука. Цѣлая гурьба мальчишекъ; а впереди ихъ какой-то гимназистъ, бѣжали по пятамъ.

— Дуй его, ребята! поощрялъ кучеръ:—пусть въ окна не заглядываетъ. Намедни стащили у меня рукавицы, надоть жида проклятые. Дуй его, собачьяго сына!

Я между тѣмъ былъ уже у парадныхъ дверей, но мои преслѣдователи меня настигли. Нѣсколько паръ рукъ протянулись уже ко мнѣ, какъ вдругъ открылась парадная дверь. Предо мною стояли Митя и Оля, а за ними лакей. Голосъ вдругъ возвратился ко мнѣ. Я зарыдалъ.

— Бьютъ! прокричалъ я и пошатнулся на ногахъ. Митя подхватилъ меня. Оля заплакала. Лакей стоялъ истуканомъ, а кучеръ хохоталъ.

— За что, подлецы, бьете человѣка? спросилъ Митя, выпуская меня изъ рукъ и хватая за воротъ перваго попавшагося ему негодяя.

— Мы бьемъ не человѣка, а жида, отвѣтилъ кто-то изъ толпы, но Митя, какъ видно, не удовлетворился этимъ отвѣтомъ. Швырнувъ того мальчика, котораго держалъ за воротъ, онъ, какъ молодой львенокъ, однимъ прыжкомъ очутился въ срединѣ толпы и началъ работать своими сильными кулаками до того энергично, что вся толпа въ мигъ разбѣжалась. Остался одинъ гимназистъ-барченокъ, который безучастно стоялъ въ сторонѣ подбоченясь.

— За что ты, Митя, бьешь нашихъ изъ-за жида? спросилъ онъ сурово.

— За то, что они подлецы. Стыдно тебѣ, Петя, дѣлать ту-же самую мерзость, что дѣлаютъ всѣ эти мѣщанскіе оборвыши!

— Что-же? Жиды проучили, эка важности!

— А что тебѣ этотъ жидъ сдѣлалъ?

— А зачѣмъ они рѣжутъ нашихъ дѣтей и пьютъ христіанскую кровь?

— Это не онъ, Петя, отвѣтила Оля плаксивымъ голосомъ. — Ей-богу, не онъ! Это другіе злые мальчики. Онъ такой больненькій, бѣдненькій!

— Больненькій! бѣдненькій! передразнилъ ее Петя, поддѣлываясь подъ ея пискливый голосокъ:—ну, и цѣлуйся съ нимъ! добавилъ онъ и отошелъ.

— Ну, братъ, обратился ко мнѣ Митя:—пойдемъ. Я довезу тебя домой.

— Баринъ! забасилъ кучеръ:—я жиденка не повезу.

— Почему-же ты его не повезешь?

— А потому не повезу, что лошади пристанутъ, а въ и совсѣмъ околѣютъ. Кошекъ и жидовъ возить не слѣдъ.

— Глупости! отвѣтилъ Митя довольно рѣзко: — садись! приказалъ онъ мнѣ.

— Ужъ какъ хошь, паничъ, а жиды не повезу.

Лакей, стоявшій до сихъ поръ безучастно у дверей, выдвинулся впередъ.

— Эй, не багуй! Морду побью, погрозилъ онъ кучеру внушительно.

Лакейская логика возымѣла свое дѣйствіе. Меня усадили между Митей и Олей и дрожки двинулись.

Луна выплыла изъ-за облаковъ. Оля, сидѣвшая по лѣвую сторону, повернула ко мнѣ свою хорошенькую головку, утопавшую въ капорѣ, хотѣла что-то сказать, взглянула мнѣ въ лицо, взвизгнула и съ ужасомъ отшатнулась.

— Митя! крови! крови! прокричала она.

Что затѣмъ было со мною—не помню...

Я очнулся въ необыкновенно мягкой постели. Я былъ совсѣмъ раздѣтъ и прикрытъ теплымъ, мягкимъ и чистымъ одѣяломъ. Голова моя была повязана чѣмъ-то холоднымъ и мокрымъ. У моего изголовья стояла пожилая женщина и съ участіемъ на меня смотрѣла. Я узналъ ее; это была мать Оли и Мити.

— Какъ ты чувствуешь себя, бѣдняжка? спросила она меня своимъ мягкимъ голосомъ.

Я посмотрѣлъ ей въ глаза и улыбнулся. Въ этой улыбкѣ выразалось, должно быть, много благодарности и счастья.

Она присѣла ко мнѣ на кровать, нагнулась и съ теплотою по-

цѣловала меня. Если-бы мнѣ пришлось жить сотни лѣтъ, я не былъ-бы въ состояніи забыть ту отраду, которую поцѣлуй этотъ разлилъ по всему моему существу. Многіе и многія цѣловали меня потомъ въ продолженіи моей жизни; нѣкоторые изъ этихъ поцѣлуевъ были и жарче, и нѣжнѣе, и продолжительнѣе, но ни одному изъ нихъ не удалось вытѣснить изъ моей памяти, хоть на минуту, воспоминаніе о томъ святомъ поцѣлуѣ женской доброты и человѣколюбія.

— Какъ зовутъ тебя, голубчикъ? спросила меня эта женщина.

— Сруль, отвѣтилъ я.

Она встала, подошла къ двери, ведущей въ другую комнату, и пріотворила ее.

— Можете войти, дѣти. Ему уже лучше.

Дѣти ворвались съ шумомъ. Митя подбѣжалъ и наклонилъ ко мнѣ свое серьезное лицо. Я поднялъ голову въ уровень съ его лицомъ, вдругъ обхватилъ его шею обѣими руками и крѣпко-крѣпко поцѣловалъ его.

— Видишь, Митя, какъ онъ благодаренъ тебѣ за то, что ты его спасъ. Помни, другъ мой, этотъ сердечный поцѣлуй: спасай всегда несчастнаго и угнетеннаго. За одинъ подобный поступокъ Богъ прощаетъ много грѣховъ.

— Мама! я тоже хочу его поцѣловать, попросила Оля.

— Поцѣлуй, Оленька.

Оленька подбѣжала ко мнѣ и съ рѣзвостью ребенка прильнула своими алыми, полными губками къ моимъ блѣднымъ губамъ. Не знаю, почему, но я не поцѣловалъ Олю.

Черезъ нѣсколько минутъ вошла въ комнату яга-баба—Леа. Она никому не поклонилась, обвела всѣхъ недоумѣвающимъ взглядомъ и остановила на мнѣ свои черные колючіе глазки безъ рѣсницъ.

— Что это? спросила она дрожащимъ голосомъ.

— Не грѣшно-ли тебѣ, матушка, такъ мало заботиться о ввѣренномъ тебѣ ребенкѣ? Онъ здѣсь сиротка, безъ отца и матери. Его бьютъ, ему пробиваютъ голову, а вамъ и горя мало.

— Кто побилъ ему голову? Я ничего не знаю.

— Вы отпускаете мальчика одного по вечерамъ. Не диво, если собаки его загрызутъ или мальчишки прибьютъ.

Леа молчала.

— Успокойтесь, матушка, рана его не опасна. Я сдѣлала, что нужно. Завтра увижу—можетъ быть, пошлю за докторомъ.

— На что докторъ? Я сама его полеку. Вставай, Сруликъ! Пойдемъ домой.

— Нѣтъ ужъ, голубушка, я до завтра его не отпущу, какъ хочешь.

— Нехай онъ тутъ, отвѣтила Леа подобострастно.—Только, по-залуйста, барыня, не давайте ему кусать трафного.

— Успокойся, не отрафимъ его. Чай съ хлѣбомъ трафное или нѣтъ?

— Чай и хлѣбъ тоже трафъ, но нехай можно, уступила Леа, и убралась восвояси.

Жестокіе мальчишки, какъ я обязанъ вамъ за ваши побой! Этотъ случай далъ мнѣ возможность сблизиться съ милымъ, добрымъ, истинно-нравственнымъ семействомъ Руниныхъ. Тутъ мое дѣтское сердце впервые почувствовало и любовь, и дружбу, и благодарность. Тутъ я научился выражаться кое-какъ на русскомъ языкѣ: тутъ я усвоилъ себѣ первоначальныя основныя правила русской грамоты и чистописанія; тутъ я воспринялъ глубокое убѣжденіе въ томъ, что истинная честность, доброта и гуманность не зависятъ ни отъ національности, ни отъ какой-бы то ни было исключительной религіозной подкладки, а отъ развитія, разумнаго воспитанія и удачныхъ условій жизни. Я дитятей узналъ уже, что свѣтъ не безъ добрыхъ людей, но что эти добрые люди очень рѣдки, однакожь. Это глубокое убѣжденіе, вкоренившееся во мнѣ съ самаго дѣтства, дало мнѣ возможность относиться впоследствии довольно хладнокровно къ несправедливости и эгоизму человѣческой природы и долго помнить ту гомеопатическую дозу хорошаго, которымъ люди изрѣдка меня угощали.

Я почти ежедневно началъ бывать у Руниныхъ. Марья Антоновна научила меня нѣкоторой опрятности. Собственноручно мыла и чесала мнѣ голову, починала мое платье. Митя выучилъ меня немного читать и писать по-русски. Все семейство полюбило меня за тихій нравъ и за мою любезность. Сначала я былъ очень молчаливъ, боялся произнести слово, чтобы не подвергнуться насмѣшкѣ, но когда увѣрился, что не только надо мною не смѣются, но, сверхъ того, охотно поправляютъ мои ошибки, я сдѣлался смѣлѣе и говорилъ свободно, не стѣсняясь. Такимъ образомъ, мало-по-малу, я нѣсколько освоился съ русскимъ языкомъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я началъ бѣгать вмѣстѣ съ Митей и Олей по просторной, почти пустой комнатѣ, специально для этого опредѣленной Марьей Антоновной, я чувствовалъ себя и сильнѣе, и здоровѣе. Оля меня очень любила. Я былъ свой въ домѣ Руниныхъ, но какъ только

являлась въ домъ къ нимъ чужая личность, будь это взрослый или ровесникъ Мити, я въ ту-же минуту убѣгалъ домой. Я былъ увѣренъ, что другіе не посмотрятъ на меня такими доброжелательными глазами, какими смотрѣли на меня мои друзья и покровители, и мое самолюбіе возмущалось при этой мысли. Мнѣ, правда, иногда жутко приходилось отъ моего наставника и его яги-бабы за сближеніе съ *юимъ*, но я переносилъ наказаніе съ стоическимъ хладнокровіемъ и при первой возможности вновь бѣжалъ къ Рунинимъ. Если Леа превращалась въ аргуса и не пускала меня къ сосѣдямъ, хоть въ продолженіи одного дня, во флигель являлась сама Марья Антоновна и брала меня съ собою. Леа боялась ее и не смѣла сопротивляться.

Судьба мнѣ улыбнулась. Я былъ счастливъ.

IV.

Любовь, отражающаяся на пейсикахъ¹⁾.

Мой учитель былъ великимъ талмудистомъ и каббалистикомъ. Это, впрочемъ, казалось недостаточнымъ для его славы и онъ стремился прослыть, сверхъ того, и маленькимъ пророкомъ. Онъ совался всюду съ предсказаніями, и если какое-нибудь мелкое предположеніе его случайно сбывалось, то онъ первый объ этомъ чудѣ трубилъ по всему городу: „я-де посредствомъ каббалы вызывалъ такого-то духа (духовъ у него въ услуженіи было множество) и прежде узналъ, чѣмъ все это кончится“. Большою частью, евреи города П. смѣялись въ душѣ надъ нимъ, но, уважая его набожность, притворялись вѣрующими въ пророческій его даръ. Если-бы упроченіе его пророческой славы зависѣло отъ моей аттестаціи, то я клятвою могъ-бы подтвердить, что три изъ его пророческихъ предсказаній въ точности сбылись. Ссорясь съ своей ядовитой сожительницей (они ссорились три раза въ день, т.-е. при всякой встрѣчѣ), онъ ей напроорочилъ, что когда-нибудь она лопнетъ отъ злости, и она, на самомъ дѣлѣ, въ послѣдствіи лопнула отъ разлитія желчи, послѣ одной капитальной ссоры съ своей сосѣдкой въ синагогѣ. Онъ предсказалъ, что изъ меня выйдетъ пло-

¹⁾ Пейски—это длинные доконы, которые евреи носили въ прежнія времена и которые запрещены именнымъ указомъ императора Николая. Пейски носить повелѣлъ Моисей, для отличія евреевъ отъ тогдашнихъ идолопоклонниковъ.

хой еврей (въ такомъ смыслѣ, въ какомъ онъ понималъ еврейзмъ), и это сбылось въ аккуратности. Эти пророчества сбылись, впрочемъ, только впоследствии, но онъ предсказалъ мнѣ еще что-то, и оно, къ несчастію, сбылось слишкомъ скоро.

Когда учитель мой убѣдился, что всѣ строгія мѣры, предпринимаемыя къ отстраненію меня отъ Руинныхъ, осядутъ безсильными и что я съ каждымъ днемъ все болѣе привязываюсь къ этому семейству, онъ прибѣгнулъ къ ласковымъ увѣщаніямъ.

— Сруликъ, боишься-ли ты Бога? спросилъ онъ меня однажды, когда я возвратился вечеромъ отъ Руинныхъ.

— Да, отвѣтилъ я коротко.

— Нѣтъ, ты его не боишься! возразилъ онъ рѣшительно.

Я счелъ полезнымъ не вступать съ нимъ въ диспутъ. Я хотѣлъ спать и боялся экзекуціи на сонъ грядущій.

— Нѣтъ, говорю тебѣ, ты его не боишься! повторилъ онъ сурово, всталъ, надвинулъ свою ермолку, воткнулъ большіе пальцы рукъ подъ поясъ и нѣсколько разъ прошлепалъ по комнатѣ молча.—Ты пошелъ той опасною дорогою, которая ведетъ прямо въ геену. Кто хочетъ остаться вѣрнымъ сыномъ вѣры праотцевъ нашихъ, тотъ да убѣгаетъ христіанъ и ихъ обычаевъ. Одинъ грѣхъ ведетъ къ другому. Евреи много столѣтій скитаются изгнанниками по свѣту и все-таки сохраняютъ свою вѣру, а почему? Потому, что они отличаются отъ другихъ народовъ платьемъ, языкомъ и обычаями. Стоитъ только подружиться съ гонимъ—и тотчасъ захочется узнать ихъ языкъ; узнавъ ихъ языкъ и начитавшись нечестивыхъ книгъ, захочешь быть равнымъ по наружности; сравнившись съ ними наружностью, усвоишь ихъ обычаи, а отъ обычая до вѣры—одинъ шагъ и этотъ шагъ называется ренегатствомъ (шмадъ). Помни это.

Я очень хорошо запомнилъ все то, чѣмъ пугалъ меня учитель, а къ Руиннымъ все-таки продолжалъ ходить. Марью Антоновну и Митю я любилъ какъ мать и брата, но Олю я обожалъ всей силою дѣтскаго, незапятнаннаго сердца.

Марья Антоновна, обѣщавшая разъ навсегда моей опекуншѣ Леѣ не отрафить меня, сама охраняла меня даже отъ прикосновенія къ яствамъ. Она знала часъ, въ который я долженъ отправиться въ хедеръ или въ который евреи молятся, и никогда не позволяла мнѣ просрочить свои обязанности хоть одной минутой. Она, при всей своей необыкновенной добротѣ и ласковости, въ этомъ отношеніи была непреклонна и неумолима. Она прерывала наши игры въ самомъ ихъ разгарѣ, вырывала русскую книжку изъ мо-

ихъ рукъ, если я занимался чтеніемъ, и отправляла туда, куда звалъ меня мой долгъ. Если она когда-нибудь читала намъ мораль, то не касалась религіи, а ссылалась на основныя правила нравственности, общей всѣмъ религіямъ. О формѣ и обрядности она, по крайней мѣрѣ въ моемъ присутствіи, никогда не разсуждала. Она, въ началѣ моего знакомства, сильно намылила Митѣ голову за то, что онъ позволилъ себѣ представлять, какъ евреи молятся и гримасничаютъ.

Однажды мы играли въ жмурки и бѣгали очень долго. Мы устали и присѣли. Я взялъ русскую книжку и началъ читать, по приказанію Марьи Антоновны, вслухъ. Она что-то шила, но вмѣстѣ съ тѣмъ поправляла мои ошибки, заставляя повторять по нѣскольку разъ то слово, которое я не могъ правильно произнести. Митя досталъ гдѣ-то сборникъ русскихъ пословицъ и читалъ тоже вслухъ. Оля проголодалась и попросила покушать. Марья Антоновна велѣла приготовить ей наскоро котлетку на сливочномъ маслѣ, и въ ожиданіи ужина Оля сѣла у ногъ матери и положила свою головку къ ней на колѣни. Черезъ четверть часа принесли горячую котлетку. У меня защекотало въ носу. Я сильно проголодался. Я зналъ, что эта котлетка страшно трафная: говядина изъ животнаго, дезарѣзаннаго еврейскимъ рѣзникомъ - специалистомъ, сама по себѣ ужасный трейфъ, а тутъ она еще зажарена на молочномъ маслѣ. Я не вѣрилъ, чтобы можно было ѣсть подобную гадость безъ того, чтобы не стошнило. Я прекратилъ свое чтеніе и приготовился смотрѣть, какъ Оля управится съ своимъ ужиномъ. Оля подмѣтила, съ какимъ любопытствомъ я попеременно смотрю то на нее, то на котлетку, и вывела, вѣроятно, заключеніе, что я не прочь-бы раздѣлить съ нею ея ужинъ.

Я забылъ сказать, что Оля, съ самаго начала нашего знакомства, не захотѣла называть меня еврейскимъ именемъ и, не знаю почему, ей вздумалось окрестить меня именемъ Гриши. Сначала всѣ смѣялись надъ этой дѣтской фантазіей, и я въ томъ числѣ, конечно; но мало-по-малу, какъ всѣ, такъ и я самъ, привыкли къ этому новому имени и меня въ семействѣ Руиныхъ иначе уже не называли.

— Гришенька, обратилась она ко мнѣ, — хочешь ужинать со мною?

Марья Антоновна пылливо на меня посмотрѣла.

— Нѣтъ, не хочу.

— Развѣ ты не голоденъ?

Я замаялся. Марья Антоновна на меня смотрѣла. Я лгать не рѣшался.

— Нѣтъ, голоденъ, отвѣтилъ я чистосердечно.

— Такъ поѣшь.

— Нѣтъ, не хочу.

— Вотъ смѣшной. Почему-же?

— Если-бы я это поѣлъ, то *умрѣлъ-бы*! сказалъ я, указывая на котлетку и отворачиваясь въ сторону.

Оля залилась звонкимъ смѣхомъ. Марья Антоновна улыбнулась и поправила: „умеръ-бы“, а не *умрѣлъ-бы*.

— Умрѣлъ-бы, умрѣлъ-бы! повторяла Оля, прыгая и хохоча. — Да почему-же ты умрѣлъ-бы?

— Это гадко, мерзко; это трейфъ. Ухъ, какъ трейфъ! произнесъ я съ отвращеніемъ.

— А кугель, а лукъ, а чеснокъ, развѣ не гадко, не мерзко? они такъ воняютъ! произнесла Оля съ неменьшимъ отвращеніемъ.

— Нѣтъ, то каширно, а потому вкусно.

Марья Антоновна собиралась что-то сказать по поводу этого спора, какъ вдругъ Митя, продолжавшій читать свои пословицы и незамѣтившій всей этой сцены, произнесъ вслухъ громко и съ разстановкою:

— Всякъ куликъ свое болото хвалить.

Марія Антоновна покатила со смѣху. О чемъ она смѣется, я тогда не понималъ. Мнѣ уяснился этотъ смѣхъ только впоследствии, когда я поближе познакомился съ различными куликами и съ ихъ болотами...

Въ другой разъ случилось, что во время нашей игры и бѣготни разыгравшаяся вьюга такъ рванула наружную ставень и съ такимъ напоромъ и трескомъ ее прихлопнула, что мы всѣ разомъ остановились, вздрогнули и поблѣднѣли отъ ужаса. Оля перекрестилась, немедленно успокоилась и улыбнулась. Она замѣтила, что я дрожу отъ испуга.

— Экой трусишка! упрекнулъ меня Митя.

— Перекрестись, Гринша, и ничего тебѣ не будетъ, спрашивала меня Оля. — Видишь, какъ я перестала пугаться?

Марья Антоновна была при этомъ.

— Дѣти, сказала она своимъ серьезно-нѣжнымъ голосомъ, — всякая религіозная форма и всякій обрядъ святы только для тѣхъ, которые проникнуты глубокимъ убѣжденіемъ въ религіозномъ и нравственномъ ихъ значеніи; безъ убѣжденія же это — одно пустое подражаніе, ложь. Заставить лгать кого-нибудь — большой грѣхъ.

Эти гуманныя слова врѣзались въ мою впечатлительную память на всю жизнь.

Къ несчастію, Марья Антоновна не всегда была съ нами, чтобы обуздывать прихотливость моей маленькой деспотки, Оли. Она своимъ дѣтскимъ, женскимъ сердечкомъ чуяла, что я ее безгранично люблю, и злоупотребляла своимъ вліяніемъ надо мною.

Однажды вечеромъ Марья Антоновна съ Митей отправились куда-то въ гости. Оля немного простудилась, кашляла и осталась дома. Марья Антоновна приказала мнѣ оставаться съ Олей, пока они не возвратятся домой. Оля была рѣзва по обыкновенію, бѣгала долго, потомъ, уставъ, прилегла на своей щегольской кровати. Я усѣлся возлѣ нея. Она обвила свою мягкую круглую ручку вокругъ моей шеи и пригнула меня къ себѣ. Молчать было не въ характерѣ Оли. Она начала мнѣ рассказывать въ сотый разъ какую-то бессмысленную сказку о трехъ царевичахъ и во время рассказа другою рукою гладила меня по лицу, запускала пальцы въ мои жидкіе волосы и теребила мои длинные пейсы. Я почти ее не слушалъ. Ея мягкая, теплая рука производила на меня какое-то обаятельное, незнакомое мнѣ ощущеніе, ея горячее дыханіе обдавало мое лицо. Я прислушивался къ ея ребяческому лепету, какъ мечтательный человѣкъ прислушивается къ тихому журчанію ручейка. Вдругъ Оля отняла свои руки, приподнялась на локтѣ и, пристально глядя мнѣ въ глаза, нѣжно сказала:

— Гриша, ты какой хорошенькій, что просто чудо!

Я поцѣловалъ Олю за эту похвалу моей наружности. Несмотря на живой протестъ зеркала, я ей повѣрилъ.

— Ты былъ-бы еще лучше, если-бы этого не было, прибавила она, взявъ руками оба мои пейсика и наматывая ихъ на свои розовые пальчики. Я молчалъ.

— Отрѣжь ихъ, Гриша!

— Какъ можно!

— Почему-же нельзя? спросила она, надувши губки.

— Богъ накажетъ, учитель накажетъ и еврейскіе мальчики побьютъ.

— У Мити нѣтъ пейсиковъ, а Богъ не наказываетъ-же его.

— Митя не еврей, а я—еврей.

— Ну, хоть подрѣжь ихъ немножко, немножечко. Видишь, одна пейса длиннѣе другой. Надобно, чтобы онѣ были равны; будетъ лучше. Не хочешь? ну, ступай. Я не люблю тебя. Ты про-
~~тивный~~ произнесла она въ носъ и повернулась всѣмъ своимъ корпусомъ къ стѣнѣ.

Я все молчалъ. Сердце у меня замирало отъ борьбы и нерѣшимости.

— Или убирайся домой и больше ко мнѣ не подходи, никогда, никогда, или принеси мнѣ маленькія ножницы, тамъ у мамы на столикѣ.

Я безсознательно, машинально всталъ и принесъ Олѣ ножницы.

— Подрѣжь, Оля, только немножко.

— Чутьочку, Гриша, успокоила она меня и быстро, порывисто ко мнѣ обернулась.

Оля подрѣзала мнѣ пейсу, которая казалась ей длиннѣе другой.

— Постой, Гриша, я ошиблась; та пейса длиннѣе, надобно ихъ поравнять. Она чиркнула другую. Но какъ ни старалась она ввести гармонію и симетрію въ мои пейсы, это не удавалось: то одна, то другая оказывалась длиннѣе. Она цирюльничала нѣсколько минутъ, наконецъ осталась довольна своимъ дѣломъ, положила ножницы, подняла мою голову и радостно вскрикнула:

— Хорошенькій! хорошенькій! Погляди самъ въ зеркало.

Она спрыгнула съ кровати, схватила меня за руку и притащила къ зеркальцу. Я поднялъ глаза, посмотрѣлъ и — обезумѣлъ отъ ужаса. Изъ зеркала смотрѣло на меня не мое лицо, а какое-то чужое, не сврейское. Я грубо вырвалъ свою руку, зарыдалъ и выбѣжалъ на дворъ, съ открытою головою, забывъ и свою ермолку, и свою шапку.

Я пережилъ въ своей жизни много тяжкихъ и страшныхъ минутъ, я находился въ самыхъ серьезно-критическихъ положеніяхъ, но никогда не чувствовалъ такого отчаянія въ душѣ, какъ тогда. Я стоялъ на холодѣ, рыдалъ, бросалъ дикіе, безпомощные взгляды во всѣ стороны, и если-бы на мои глаза попался колодезь, я ни на минуту, кажется, не задумался-бы ринуться въ него головою внизъ. Что дѣлать? куда идти? какъ явиться на глаза учителю и Леѣ? какъ явиться въ средѣ моихъ сотоварищей съ такимъ каинскимъ лицомъ? О наказаніи я не думалъ, — это было для меня пустяки. Позоръ, насмѣшки, гнѣвъ Божій — вотъ что приводило меня въ отчаяніе. Я долго стоялъ на одномъ мѣстѣ, какъ окаменѣлый, но холодъ и рѣзкій вѣтеръ заставляли меня рѣшиться на что-нибудь.

Марья Антоновна купила мнѣ галстухъ и приучила меня его повязывать. Этотъ галстухъ навлекъ на меня много насмѣшекъ со стороны товарищей, много ругательствъ со стороны опекуновъ, но я ссылаясь на боль въ горлѣ и продолжалъ его носить. Этотъ галстухъ мнѣ теперь послужилъ. Я развязалъ его, повязалъ имъ уши и расширилъ его на щекахъ такъ, чтобы мои англазированные пейсы могли спрятаться за подвязкой. Я вбѣжалъ во флигель.

— Это что? спросила Леа съ изумленіемъ.

Ея дражайшаго сожителя не было дома.

— Вѣтеръ сорвалъ съ головы и шапку, и ермолку. Я долго гонялся за ними, но вѣтеръ занесъ ихъ куда-то и я не могъ отыскать. Я простудилъ ухо и повязалъ галстухомъ.

— Жаль, что вѣтеръ не унесъ и тебя, мерзавца, къ чорту, вмѣстѣ съ твоими мерзкими друзьями. Иди! трескай! добавила она, указывая на разбитую тарелку, наполненную до половины какимъ-то темно-грязноватымъ содержаніемъ.

Мнѣ было не до ужина. Я вскарабкался на свой сундукъ, повалился, не раздѣваясь, и скоро погрузился въ беспокойный, тревожный сонъ. Я во снѣ чувствовалъ попеременно то бархатную ручку Оли вокругъ моей шеи, то ея теплое дыханіе, то холодное желѣзо ножицъ на моей щекѣ, то роковой звукъ отрѣзываемыхъ волосъ. Всякій разъ, когда въ моихъ ушахъ раздавался этотъ страшный звукъ, я вздрагивалъ и вскрикивалъ.

— Сруль, кажется, боленъ, услышалъ я изъ сосѣдней конуры.

— Дьяволъ его не возьметъ, сердито отвѣтила Леа. — Этотъ щенокъ, бѣгая къ своимъ гоимъ, потерялъ вчера и шапку, и ермолку; пойди теперь покунай.

Я опять заснулъ. Утромъ я притворился больнымъ и громко стоналъ. Меня не тревожили. Учитель зашелъ ко мнѣ и пощупалъ мой лобъ.

— Ничего, это простуда, успокоилъ онъ Леу.

Леа подала мнѣ умыться и заставила совершить утреннюю, безконечно-длинную молитву, напяливъ на мою голову старую шапку своего мужа, отъ которой несло какимъ-то страннымъ затхлымъ запахомъ. Учитель ушелъ въ хедеръ. Я остался дома.

Мнѣ надобно охатъ и лежать. Я убѣдился въ безвыходности моего положенія и нѣсколько свикся съ нимъ; я уже смѣлѣе смотрѣлъ въ глаза предстоящей опасности и придумывалъ средства, какъ ловчѣе вывернуться. Наконецъ, я рѣшился. Снявъ повязку съ моихъ ушей и убѣдившись, что пейсы мои не выросли за ночь, я рѣшительно позвалъ ягу-бабу. Она вошла ко мнѣ.

— Леа, посмотрите, какъ волосы у меня выходятъ, сказалъ я нерѣшительнымъ голосомъ и указалъ ей на бренныя остатки моихъ покойныхъ пейсиковъ.

— Боже! взвизгнула она нечеловѣческимъ голосомъ и отскочила на два шага, какъ-будто змѣя ее ужалила. — Кто отрѣзалъ тебѣ пейсы? кто, кто? отвѣчай, гой! или я задую тебя собственными руками.

Мнѣ сдѣлалось страшно отъ этихъ маленькихъ, колючихъ глазокъ, расширившихся необыкновеннымъ образомъ и освѣтившихся какимъ-то демонскимъ огнемъ. Въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ я состоялъ подъ опекой этой гадины, я унился до того, что началъ цѣловать ея отвратительныя руки. „Самолюбіе въ сторону! думалъ я: — я совершилъ смертный грѣхъ и долженъ нести заслуженное наказаніе“.

— Спасите меня, Леа, я пропадъ! Учитель меня убьетъ, товарищи оплюютъ, евреи выгонятъ изъ синагоги, а родители и на глаза не пустятъ. Спасите! ради-бога, спасите меня!

Не знаю, что подѣйствовало на ягу-бабу, чистосердечное-ли мое раскаяніе или мои унижительныя поцѣлуи, но Леа смягчилась нѣсколько.

— Признайся, несчастный, кто отрѣзалъ тебѣ пейсы?

— Я самъ, я самъ, Леа, самымъ нечаяннымъ образомъ, желая поравнять ихъ.

Начался самый строгій допросъ со всѣми увертками, уловками и ухищреніями, чтобы запутать меня. Допросъ этотъ сдѣлалъ-бы честь любому судебному слѣдователю, но я не выдавалъ Олю, взваливая весь грѣхъ на собственныя плечи, и въ заключеніе подтвердилъ свое показаніе клятвою.

— Клянусь вамъ, добрая Леа, что я одинъ виноватъ во всемъ. Клянусь вамъ моими святыми пейсами.

— Дуракъ! Какими пейсами ты клянешься? У тебя ихъ нѣтъ!

Леа изобрѣла средство къ моему спасенію. Когда учитель возвратился къ обѣду домой и спросилъ о моемъ здоровьѣ, она искусно-взволнованнымъ голосомъ отвѣтила:

— Ребенокъ боленъ, очень боленъ, у него и голова, и сердце болятъ, и самъ онъ не совсѣмъ здоровъ; на головѣ золотуха показывается. Но представь себѣ, какое еще несчастіе приключилось Срулю!...

— Несчастіе? Какое несчастіе? Говори скорѣе, спросилъ учитель съ испугомъ.

— Несчастіе, большое несчастіе. Ума не приложу, что дѣлать. И я сама виновница этого несчастія.

— Да говори же скорѣе, что случилось, не мучь меня.

— Представь себѣ, я хотѣла остричь мальчика и вымыть ему голову водкой, но не знала до сихъ поръ, что я почти слѣпа. Не знаю, какимъ это образомъ случилось, но я нечаянно захватила ножницами правую пейсу и отрѣзала ее. Мальчикъ до того раз-

рыдался, что онъ будетъ похожъ на острожника, что я рѣшилась отрѣзать уже и другую.

— Ты съума спятила, что-ли? завопилъ учитель. — Отрѣзала одну,—пу, что-жь дѣлать? Но какъ же ты смѣла касаться желѣзомъ другой?

— Я не могла перенести слезъ ребенка.

— Эка сострадательная голубка! насмѣшливо добавилъ учитель и вошелъ ко мнѣ.

Я все лежалъ на сундукѣ и охалъ. Онъ обревизовалъ мои ампутированные пейсы, пожалъ плечами, заохалъ и заахалъ.

— Вотъ несчастіе, вотъ несчастіе! Повторялъ онъ, шлепая по комнатѣ: — загубили совсѣмъ ребенка. Леа! Срули надобно оставить дома хоть на нѣкоторое время, пока его пейсы сколько-нибудь отрастутъ. Я, между тѣмъ, расскажу всѣмъ объ этомъ несчастномъ случаѣ.

Какъ былъ я счастливъ весь этотъ день!

Я въ послѣдствіи лично былъ знакомъ съ оригинальнымъ евреемъ откупщикомъ П., который принималъ въ откупные служители преимущественно отъявленные воровъ, собственно по той причинѣ, что онъ во всякое время дня и ночи имѣлъ право имъ говорить: „Эй, ворюга, сдѣлай то и то, да не крадь, не то побью“.

Онъ не любилъ церемониться, а воры не имѣли права обижаться. Такова была и моя покровительница Леа. Имѣя меня въ своихъ лапахъ, она кормила меня послѣ того вѣчными укорами и унизительною бранью изъ-за моихъ раненыхъ пейсиковъ, а я принужденъ былъ молчать и въдобавокъ лстить ей.

Это бы еще ничего, но она задумала еще худшее: ссылаясь на сырость квартиры, она до того заклеивала своего супруга, что тотъ рѣшился отыскать другую конуру въ отдаленномъ кварталѣ, и чрезъ недѣлю Леа, я, пуховики, горшки, толстые книги и прочій хламъ очутились въ какомъ-то мрачномъ подземельѣ. Впродолженіи этой недѣли меня ни на минуту не выпускали изъ комнаты. Я былъ крайне несчастливъ; меня такъ тянуло къ Руинынымъ, мнѣ такъ хотѣлось успокоить и утѣшить мою бѣдную, вѣроятно страдающую Олю, что я больше ни о чемъ не думалъ. Чрезъ четыре дня послѣ несчастія, постигшаго мои пейсы, прибѣжалъ во флигель мой другъ Митя провѣдать меня, но проклятая Леа не позволила ему зайти ко мнѣ въ спальню подѣ тѣмъ предлогомъ, что я страшно боленъ и сплю. Въ тотъ-же день пришла и Марья Антоновна. Леа не посмѣла ей отказать. Она зашла ко мнѣ и съ

участіемъ начала меня ощупывать и спрашивать, но Леа не давала мнѣ отвѣчать и отвѣчала за меня.

— Чѣмъ онъ боленъ? я не вижу никакихъ признаковъ болѣзни, спрашивала Марья Антоновна.

— У него сердце болитъ, отвѣтила предупредительная Леа.

— То-есть грудь болитъ, хотите вы сказать? пояснила Марья Антоновна.

— По-васему грудь, а по-нашему сердце, упорствовала Леа.

— Вы-бы его потеплѣ одѣли и прислали къ намъ; ему-бы полезнѣ побѣгать съ дѣтьми, чѣмъ лежать въ этой сырой и мрачной комнатѣ.

— Какъ-зе, какъ-зе! завтра пойдетъ.

Марья Антоновна поцѣловала меня и ушла.

— Леа! душечка, голубушка, позвольте мнѣ пойти къ сосѣдямъ: мнѣ такъ скучно!

— Если ты, мерзавецъ, еще разъ зайнешься объ этомъ, то я все, все расскажу.

Хитрая Леа догадывалась, что мои пейсы пали жертвой христіанства, и—мстила по-своему.

Дня черезъ два свершилось наше торжественное перекочеваніе. Сердце мое невыразимо ныло при мысли разстаться навсегда съ моими друзьями, съ моей дорогою Олей! Мнѣ хотѣлось хоть забѣжать къ Руниннымъ попрощаться, но проклятая Леа не позволяла. Когда я, съ понурой головой и со слезами на глазахъ, объ руку съ Леей проходилъ дворъ, въ который мнѣ не суждено было уже возвращаться, на крылечкѣ стояли Митя и Оля.

— Прощай, Гриша! закричалъ мнѣ Митя довольно дружески.

Оля взглянула на меня насмѣшливо, сдѣлала своими пухлыми губками какую-то презрительную гримасу, повернулась и скрылась, не сказавъ ни одного ласковаго слова. Такая обида со стороны Оли до того меня печалила и возмущала, что я забылъ отвѣтить и Митѣ на его привѣтливое прощаніе.

— Дуракъ! угостилъ меня Митя, какъ въ былое время, и скрылся. Но на этотъ разъ я совѣмъ не обидѣлся. Я почти его не слушалъ, а думалъ объ Олѣ, и что-то очень горькое думалъ мой дѣтскій мозгъ...

V.

Бѣдный Ерухимъ.

У меня, въ запасѣ, остался еще одинъ другъ: мой товарищъ по хедеру, мой добрый, блѣднолицый Ерухимъ.

Я чувствовалъ всю вину мою предъ нимъ: съ тѣхъ поръ, какъ я сошелся съ Руинными, я какъ-будто охладѣлъ къ нему. На самомъ-же дѣлѣ, моя относительная несообщительность съ старымъ моимъ товарищемъ произошла не отъ охлажденія моихъ дружескихъ чувствъ, а вслѣдствіе какой-то бессознательной таинственности, въ которую я облакалъ мои отношенія къ христіанскимъ друзьямъ.

Тѣ изъ евреевъ, которые помнятъ сколько-нибудь плачевное старое время, не забыли, конечно, и того, что между евреями и русскими ихъ соотечественниками лежала та рѣзкая, враждебная черта, чрезъ которую ни одна, ни другая сторона не рѣшались перешагнуть, какъ не рѣшается солдатъ, въ военное время, перешагнуть за черту непріятельскаго лагеря. Чрезъ эту черту переходить рѣшались только при случаѣ, съ одной стороны, такіа свѣтлыя личности, какъ Марья Антоновна, отрицавшая всякую нетерпимость, а съ другой—перебѣжчики, побуждаемые користолюбіемъ и перспективой матеріальныхъ выгодъ. Нельзя сказать, чтобы въ еврейскомъ лагерѣ тогдашняго времени не встрѣчались такіа-же хорошія личности, какъ Марья Антоновна, но личности эти, имѣли благоразуміе не соваться туда, куда ихъ не просятъ. Кто наблюдательно всматривался въ отношенія, существующія даже теперь между русскими и евреями, болѣе или менѣе сошедшими на общественной аренѣ, тотъ, конечно, подмѣтилъ, что еврей съ благодарностью принимаетъ всякую ласку отъ русскаго, готовъ за эту ласку вознаградить сторицей. Напротивъ того, въ лицѣ, манерѣ, голосѣ и дѣйствіяхъ русскаго, даже и расположеннаго къ еврею, всегда обнаруживается нѣчто покровительственное, нѣчто такое, что шопотомъ говорить всякому еврею, мало-мальски сознающему собственное достоинство: „Я могъ-бы, и имѣю полное право, тебя презирать, но ужъ куда ни шло, подамъ тебѣ руку, во имя гуманности и прогресса“! Если подобный шопотъ слышится еврейскому уху даже теперь, то что-же слышалось этому уху въ то ужасное время? Если ни духъ времени, ни успѣхи науки, ни протесты европей-

ской гуманности, ни благой починъ правительства не вліяютъ еще на-столько, чтобы окончательно искоренить предубѣжденія, вѣками укоренившіяся противъ евреевъ, то какъ смотрѣли на евреевъ въ то печальное время, когда они сами были далеки отъ всякой уступчивости, отъ всякой готовности къ сліянію съ прочими соотечественниками? О, то было страшное, позорное для евреевъ время!

За невозможностью видѣть Руинныхъ попрежнему, мнѣ нужно было хоть говорить съ кѣмъ-нибудь о нихъ... И вотъ я во всемъ открылся моему другу Ерухиму.

— Тебѣ не слѣдовало этого дѣлать, сказалъ онъ мнѣ, выслушавъ, между прочимъ, рассказъ о несчастномъ случаѣ, постигшемъ мои пейсы:—тебя Богъ наказалъ за сближеніе съ чужими. Что для нихъ пейсы? Обыкновенный, ничтожный клочъ волосъ, тогда какъ для насъ—это святыня!

Я тосковалъ, очень невнимательно занимался уроками и расплачивался за эту небрежность своими щеками...

— Послушай, Сруликъ, сказалъ мнѣ чрезъ нѣкоторое время Ерухимъ:—ты очень скучаешь о Руинныхъ?

— Очень.

— У меня три сестры, и хоть ни одна изъ нихъ далеко не похожа на ту Олю, которую ты любишь, но я могу тебя познакомить съ новой Марьей Антоновной.

— Кто-жь это?

— Моя мать. Она еще добрей твоей Марьи Антоновны.

Я познакомился съ семействомъ Ерухима. Оно состояло изъ отца, матери и трехъ дѣвочекъ. Ерухимъ былъ старше своихъ сестеръ. Старшіе два брата Ерухима были уже давно женаты и жили отдѣльно отцами собственныхъ семействъ. Дѣвочки мнѣ не понравились, какъ своими безжизненными, хотя и красивыми личиками, такъ и флегматичностью походки и неграціозностью манеръ; но отецъ и мать понравились чрезвычайно. Перль, мать Ерухима, обласкала меня какъ родного. Я часто началъ посѣщать это доброе семейство.

Зима была уже совсѣмъ на исходѣ. Наступилъ праздникъ пасхи. Родители Ерухима упросили моихъ опекуновъ отпустить меня въ нимъ на первую вечернюю, торжественную трапезу (сейдерь). Я чрезвычайно былъ радъ всякому случаю, вводившему хоть сколько-нибудь разнообразіа въ мое существованіе, и съ восторгомъ принялъ это приглашеніе.

Наступилъ канунъ праздника. Прямо изъ синагоги Ерухимъ, отецъ его и я отправились въ ихъ домъ. Родители Ерухима зани-

мали всего три небольшія комнаты. Первая играла роль залы, гостиной, столовой и кабинета, слѣдующая служила спальней, а послѣдняя, самая большая, была дѣтской. Это маленькое жилище, неизобиловавшее ни роскошью мебелировки, ни комфортомъ, отличалось чистотою и опрятностью. Хозяйка дома, сама всегда чистенькая и опрятная, умѣла и въ будни придавать каждому уголку праздничный видъ; теперь-же, ради такого праздника, для котораго сама религія предписываетъ особенную чистоту, комнаты эти, въ буквальномъ смыслѣ слова, блестѣли. Некрашенный досчатый полъ былъ выскобленъ и такъ тщательно вымытъ, что казался совершенно новымъ. Въ восточномъ углу, подъ кивотомъ, стоялъ простой столъ, покрытый бѣлою какъ снѣгъ скатертью. У стола, на одномъ концѣ, было устроено изъ трехъ стульевъ особаго рода сѣдалище, на манеръ кушетки, нагруженной подушками въ бѣлыхъ наволокахъ; съ обѣихъ сторонъ этого сѣдалища, вокругъ стола, были разставлены съ большой симметрией семь простыхъ стульевъ. На столѣ, противъ каждаго стула, стояла тарелка, лежали ножъ, вилка и между ними находился небольшой стаканчикъ. По срединѣ стола красовались: графинчикъ съ водкой и два большихъ графина съ крѣпкимъ и сладкимъ виномъ. На особыхъ тарелкахъ покоились хрѣнъ цѣльный, хрѣнъ тертый, лукъ, варенныя крутыя яйца и еще какая-то масса сѣроватаго цвѣта. У почетнаго сѣдалища стоялъ особый приборъ, на которомъ лежали три опрѣсника, тщательно укрытые чистымъ полотенцемъ. Для меня эти церемоніи и порядки были не новы, но никогда еще они такъ не бросались мнѣ въ глаза, какъ въ этотъ разъ; всѣ эти мелочи, въ ихъ опрятномъ видѣ, сообщили и мнѣ какое-то празднично-торжественное настроеніе духа.

Насъ встрѣтила Перль съ сладкою улыбкою на устахъ и съ радостно блестящими глазами, ведя за руку дѣтей, одѣтыхъ въ новыя ситцевыя платья. Глава семейства торжественно привѣтствовалъ семью и поздравилъ съ праздникомъ. Семейство отвѣтило ему тѣмъ-же самымъ. Онъ долго и нѣжно смотрѣлъ въ глаза женѣ и затѣмъ перецѣловалъ дочерей. Перль поцѣловала Ерухима, а меня, не знаю почему, привѣтствовала какъ взрослого.

Вся эта семья дышала любовью, радостью и счастьемъ. Отецъ Ерухима, раби Исаакъ, былъ мужчина средняго роста, съ лицомъ правильнымъ и прекраснымъ. Лицо это озарялось карими, большими, честными глазами. На немъ лежалъ отпечатокъ искренней набожности и серьезности, лишенной всякой тѣни суровости. Его развитый лобъ, разсѣаемый рѣзкой поперечною морщиною, обрамля-

вался густыми, черными съ.просѣдью пейсами. Такая-же окладистая борода облежала его подбородокъ. Когда онъ улыбался, зубы его блестѣли, какъ слоновою костью. Одѣтъ онъ былъ въ черномъ шелковомъ кафтанѣ, доходившемъ до пятокъ и опоясанномъ такимъ-же шелковымъ, широкимъ поясомъ. Словомъ, вся его наружность внушала мнѣ высокое уваженіе. Мать Ерухима, Перль, тоже показалась мнѣ въ этотъ вечеръ красивѣе обыкновеннаго. Она была еще довольно молода и свѣжа. Ея бѣлое, чистое лицо, оттѣненное черными какъ смоль, дугообразными бровями, изъ-подъ которыхъ свѣтились черные-же блестящіе глаза, оканчивалось продолговатымъ, неправильнымъ подбородкомъ. Но эта неправильность потому уже не бросалась въ глаза, что наблюдавшій это прекрасное лицо не могъ оторвать своихъ взоровъ отъ постоянной очаровательно-доброй улыбки, несходившей съ ея губъ. Я ее никогда не видѣлъ такой разодѣтой, какъ теперь. Голова ея покрыта была черной бархатной, особой формы, повязкой, унизанной мелкими жемчужинами. Уши украшались серьгами какого-то оригинальнаго образца. На ней была надѣта юбка изъ тяжелой, пестрой шелковой матеріи. Таія ея плотно обтягивалась нѣсколько помятой бархатной кофточкой, грудь украшалась нагрудникомъ, вышитымъ золотыми и серебряными галунами. Весь этотъ азіатскій костюмъ шелъ какъ нельзя болѣе къ ея южному типичному лицу.

Раби Исаакъ сѣлъ на первомъ попавшемся ему стулѣ. Всѣ дѣти обступили его и начали ласкаться. Перль стояла нѣсколько поодаль и съ обычной своей улыбкой на устахъ восхищалась этой семейной картиной. Я съ завистью смотрѣлъ на этихъ счастливыхъ дѣтей, вспоминая суроваго своего отца. Если-бы я не стѣснялся, то самъ былъ-бы не прочь приласкаться къ раби Исааку. Мнѣ хотѣлось погрѣться хоть у чужого огонька.

— Моя дорогая Перль, обратился раби Исаакъ къ своей женѣ:—дожили мы съ тобою до великаго праздника, несмотря на наши тяжкіе грѣхи! дасть Богъ, доживемъ и до слѣдующаго—цѣлыми и здоровыми.

Онъ набожно закатилъ глаза, глубоко вздохнулъ и, нѣжно отстранивъ дѣтей, всталъ, взялъ за руку жену и торжественно повелъ ее къ столу. Мы всѣ пошли за ними.

Раби Исаакъ торжественно усѣлся на почетномъ сѣдалищѣ, облокотившись лѣвою рукою на подушки ¹⁾.

¹⁾ Евреи, во время этой торжественной трапезы, представляютъ изъ себя свободныхъ людей, какъ во дни выхода изъ Египта, и, для большей важности

— Перлъ, подай мнѣ мой китель ¹⁾.

Ему подали китель. Онъ надѣлъ его, сверхъ кафтана.

Вошла старая кухарка, тоже празднично разодѣтая, поздравила съ праздникомъ и свободно усѣлась ²⁾.

По правую руку мужа сѣла Перлъ, возлѣ нея—три дѣвочки, а за ними — кухарка; по лѣвую руку помѣщался Ерухимъ, а за нимъ — я.

Я не намѣренъ слѣдить за подробностями этой религіозной трапезы. Мои единовѣрцы коротко съ ними знакомы, а для прочихъ читателей онѣ не представляютъ особеннаго интереса. Я коснусь только главныхъ моментовъ этого обряднаго ужина, на-сколько это потребуется для моего разсказа.

Несмотря на присутствіе кухарки, Перлъ сама встала и подала своему супругу блестящій мѣдный рукомойникъ, наполненный водою; затѣмъ принесла мѣдный тазъ и держала его предъ мужемъ. Онъ умылъ руки и мы всѣ послѣдовали его примѣру.

Раби Исаакъ привсталъ, наполнилъ всѣ стаканчики виномъ и, поставивъ свой стаканъ на ладонь себѣ, громко прочиталъ молитву и глотнулъ раза два изъ стакана. Всѣ воскликнули „аминь“ и послѣдовали его примѣру. Онъ поднялъ свою тарелку, на которой лежали три опрѣсника съ принадлежностями, при чемъ помогала ему и жена ³⁾.

— Кто голоденъ, прочелъ онъ громко,—тотъ да раздѣлитъ съ нами трапезу; кто нуждается, тотъ да празднуетъ съ нами. Нынѣ мы здѣсь, въ будущемъ-же году да будемъ въ Іерусалимѣ!

Онъ опять сѣлъ и облокотился на своемъ тронѣ.

— Мои милые! обратился онъ къ семьѣ, торжественно и серьезно: — знаете-ли вы, почему мы празднуемъ этотъ великій день, день торжества и побѣды Израиля?

Не дожидаясь отвѣта, онъ продолжалъ:

именуютъ себя королями. Поэтому они устраиваютъ себѣ удобныя и возвышенныя сѣдалища, въ родѣ трона, и возлежать на нихъ.

¹⁾ Китель—это широкая и длинная бѣлая рубаха, похожая на саванъ; она надѣвается поверхъ платья, при всякой торжественной религіозной церемоніи, для того, чтобы, глядя на эту принадлежность смерти, вспоминать о кратковременности и суетѣ всего земного.

²⁾ Въ пасху уничтожается всякое различіе между хозяевами и прислугой. Это демократическое настроеніе продолжается, конечно, только во время ужина.

³⁾ Такъ-какъ церемонія эта выражаетъ приглашеніе хозяина-короля воспользоваться его царскимъ хлѣбосольствомъ, то, конечно и королева должна извѣщать на это свое согласіе.

— Потомки нашихъ патріарховъ Авраама, Исаака и Іакова, по волѣ великаго Іеговы, очутились въ Египтѣ. Богъ благословилъ ихъ; они множились и плодились какъ рыбы морскія; они обогатились трудами рукъ своихъ. Египтяне переполошились. „Если народъ этотъ еще больше расплодится и разбогатѣетъ, то онъ всѣхъ насъ вытѣснитъ изъ нашей родной земли“, сказали они себѣ. И вотъ Фараонъ изобрѣлъ средство сломить силу своихъ сосѣдей и оградить страну отъ дальнѣйшаго размноженія израильтянъ. Ихъ обратили въ рабовъ, обременили самыми тяжкими, грубыми работами; ихъ руками воздвигались цѣлые города; ихъ угнетали, унижали, били и тиранили. Это показалось Фараону еще недостаточнымъ. Онъ повелѣлъ всѣмъ египетскимъ бабкамъ бросать въ воду новорожденныхъ младенцевъ мужскаго пола. Онъ рѣзалъ израильтянскихъ дѣтей и купался въ ихъ крови.

Дѣвочки съ ужасомъ прижались къ матери. Мать, блѣдная и дрожащая, обняла ихъ всѣхъ и прижала къ себѣ.

— Израильтяне бѣдствовали и зывали о помощи къ Тому, который посулилъ ихъ праотцамъ силу, счастье и обѣтованную землю. И Іегова внимъ воплямъ сыновъ своихъ. У одной израильтянки родился сынъ. Мать долго прятала его отъ зоркихъ взоровъ египетскихъ сыщиковъ, но, убѣдившись, что рано или поздно его откроютъ и убьютъ, она, по внушенію свыше, рѣшилась уложить ребенка въ тростниковый осмоленный ящикъ и пустить его по рѣкѣ. На ту пору Богъ внушилъ и дочери Фараона идти купаться. Она услышала плачь ребенка и вытащила его. Ребенокъ этотъ былъ Моисей. Іегова, въ своей мудрости, избралъ его для высшей цѣли. Дочь Фараона полюбила Моисея и воспитала его по-царски. Однажды юноша Моисей замѣтилъ, какъ фараоновскій полиціантъ бѣетъ и тиранитъ бѣднаго «труженика»—израильтянина. Родная кровь заговорила въ пріемышѣ фараоновой дочери. Онъ осмотрѣлся кругомъ и, видя, что постороннихъ нѣтъ, бросился на тирана, убилъ его и зарылъ трупъ въ песокъ. Затѣмъ, опасаясь послѣдствій совершеннаго убійства, онъ бѣжалъ и скрылся въ необозримыхъ степяхъ египетскихъ.

— Папа! для чего же онъ бѣжалъ? вѣдь никто не видѣлъ, какъ онъ убилъ египтянина? спросила старшая дѣвочка.

— Ты умница, «душечка»! отвѣтилъ раби Исаакъ, довольный смѣтливостью своей дочери, но оставилъ вопросъ безъ отвѣта и продолжалъ:

— Долго скитался Моисей по чужимъ людямъ и пасъ чужихъ овецъ, пока Іегова не приказалъ ему возвратиться въ Египетъ и

потребовать у Фараона свободы избранному народу. Моисей повиновался, но ни Фараонъ, ни самъ израильскій народъ, свыкшіяся уже съ игомъ своего рабства, не повѣрили Моисею, пока онъ силою, данною ему свыше, не совершилъ чудесъ и не измучилъ нечестивыхъ египтянъ болѣзнями, тьмою, чумою и прочими наказаніями. Тогда Фараонъ, признавъ персть Божій, отпустилъ евреевъ на короткое время въ пустыню помолиться Іеговѣ. Израильтяне заняли у египтянъ разныя драгоценности и пошли за Моисеемъ, съ тѣмъ, конечно, чтобы больше уже не возвращаться.

— А развѣ это честно, папаша, взять чужія вещи и не возвращать? спросила та-же дѣвочка.

— Молчи, не прерывай отца! прикрикнулъ на нее раби Исаакъ. — Моисей повелъ свой народъ, но Фараонъ съ громаднымъ войскомъ погнался за ними по пятамъ. Израильтяне приблизились къ морю. Ихъ положеніе было самое ужасное: съ тылу—свирѣпые враги, спереди—грозное море. Но да будетъ благословенъ Іегова во вѣки вѣковъ! Онъ повелѣлъ, море разступилось и народъ его прошелъ какъ по сушѣ. Египтяне бросились вслѣдъ, но Іегова повелѣлъ опять—и грозное море покрыло египетскую армію своими волнами. Все погибло: и люди, и лошади, и военные колесницы, и самъ Фараонъ. Моисей сорокъ лѣтъ водилъ свой народъ по безпредѣльнымъ пустынямъ и, наконецъ, привелъ его въ обѣтованную землю. Вотъ почему мы празднуемъ этотъ великій день! Мы ѣдимъ этотъ горькій хрѣнъ и лукъ, чтобы живѣе вспомнить горечь того времени; мы ѣдимъ этотъ херойшесъ (сѣроватая масса изъ орѣховыхъ ядеръ, имѣющая видъ глины), чтобы вспомнить ту годину, когда наши праотцы, рабы египтянъ, собственными руками мѣсили глину для египетскихъ построекъ; мы ѣдимъ эти опрѣсники, чтобы вспомнить то время, когда израильтяне, бѣжавъ изъ неволи, въ попыткахъ не успѣли запастись на дорогу печенымъ хлѣбомъ и принуждены были питаться однѣми прѣсными лепешками.

Раби Исаакъ кончилъ свой историческій рассказъ, но всѣ, не исключая и меня, которому хорошо была извѣстна вся эта исторія, продолжали еще вслушиваться, ожидая продолженія. Дѣти наострили свои ушки; старая кухарка кивала головой, положивъ свой старческій указательный палецъ на морщинистый подбородокъ. Затѣмъ хозяинъ дома приступилъ къ чтенію этой-же исторіи на древне-еврейскомъ языкѣ. Когда и эта церемонія была кончена, мы опять глотнули изъ нашихъ стаканчиковъ и затѣмъ приступили къ ужину. Выпитое вино, къ которому никто изъ насъ не былъ привыченъ, разлило на всѣхъ лицахъ веселый румя-

нецъ. Мы были веселы и довольны, ѣли съ большими аппетитомъ. Ужинъ былъ необыкновенно вкусенъ. Дѣти болтали. Раби Исаакъ шутилъ и подтрунивалъ надъ ними. Я тоже былъ въ очень хорошемъ расположеніи духа и безпрестанно заговаривалъ съ Ерухимомъ, но онъ, какъ и мать его, были что-то печальны. Къ концу ужина Перль вдругъ обратилась къ мужу:

— Исаакъ! Правда-ли, что полученъ указъ о рекрутскомъ наборѣ по десяти съ тысячи?

— Да, говорятъ.

— Не грозитъ-ли намъ рекрутская очередь?

— Что за идея, милая Перль! очередь не можетъ еще такъ скоро приблизиться къ такимъ малочисленнымъ семействамъ, какъ наше.

— А если да, Исаакъ?

— Пустяки, говорю тебѣ. Я надняхъ получилъ свой паспортъ изъ Р.; его выслалъ мнѣ общественный старшина. Если-бы намъ угрожало что-нибудь, то онъ, навѣрное, предупредилъ-бы меня.

— Но вѣдь когда-нибудь да подойдетъ-же очередь и къ намъ?

— До тѣхъ поръ, дастъ Богъ, мои обстоятельства поправятся—или найму охотника, или запишусь въ купцы, и тогда мы будемъ свободны отъ рекрутской повинности.

— Для чего-же ты откладываешь, Исаакъ? Почему ты не употребишь всѣ средства, чтобы это сдѣлать до сихъ поръ?

— Другъ мой! развѣ ты не знаешь, какъ мы перебиваемся при настоящихъ плохихъ заработкахъ? Развѣ ты не знаешь, какъ мы задолжали?

— Я отдала-бы тебѣ и мой жемчугъ, и мои серьги, и мою последнюю рубаху, питалась-бы съ дѣтьми черствымъ хлѣбомъ, лишь-бы быть спокойной.

— Твой жемчугъ, твои серьги! сказалъ съ ироніей раби Исаакъ:—далеко на нихъ уѣдешь, нечего сказать!

— Почему-же? вѣдь стоятъ-же они что-нибудь.

— Да, „что-нибудь“. Но на *что-нибудь* ты ни охотника не наймешь, ни въ купцы не запишешься. Это удовольствіе пахнетъ не сотнями, а тысячами. Потерпимъ, мой другъ, Богъ милостивъ, вывернемся кое-какъ.

— Кабы вывернулись. Но вывернемся-ли?

Раби Исаакъ замаялъ этотъ грустный, непраздничный разговоръ и обратился къ намъ:

— Ну, дѣтки, наполняйте стаканы, да налейте этотъ большой стаканъ до самыхъ краевъ дорогому нашему гостю, Ильѣ проро-

ку ¹⁾. А вы, дѣвочки, обратился онъ къ дочерямъ,—отправляйтесь-ка спать. Ужинъ кончился; вамъ больше тутъ дѣлать нечего.

Дѣти встали, пожелали спокойной ночи и вышли.

Мать послѣдовала за ними, чтобы ихъ уложить.

Кухарка прибирала со стола и выносила посуду и остатки ужина въ кухню.

Я налилъ наши стаканчики и большой стаканъ Ильи пророка.

— Ерухимъ! отвори дверь въ сѣни ²⁾, приказалъ отецъ сыну.

Ерухимъ приподнялся, чтобы исполнить приказаніе отца. Изъ сѣней послышался какой-то шорохъ. Ерухимъ поблѣднѣлъ и не трогался съ мѣста.

— Эхъ! какой-же ты трусишка, Ерухимъ! Илья пророкъ никому не вредить; влетаетъ неслышно и невидимо, благословляетъ гостеприимную семью и улетаетъ безъ шума дальше. Сруликъ! не храбрѣ-ли ты Ерухима? добавилъ раби Исаакъ, обращаясь ко мнѣ съ ласковою улыбкою.

Я самъ былъ не изъ храбраго десятка, но самолюбіе мое было задѣто. Я всталъ съ рѣшимостью доказать свою храбрость. Вторично что-то зашелестило въ сѣняхъ. Я остановился.

— Да не пугайся-же. Это должно-быть или кошка, или крыса.

Я побѣжалъ къ двери и осторожно, потихоньку, медленно при- нялся отворять ее...

— Излей, о Господи, твой гнѣвъ на племена, непознающія те- бя... читалъ между тѣмъ раби Исаакъ громкимъ голосомъ.

Дверь отворилась. Я окаменѣлъ на мѣстѣ. Предо мною, въ две- ряхъ, стояли какіе-то люди. На меня бросились; меня схватили. Я потерялъ всякую способность говорить или кричать. Я дико озирался. Меня держали два здоровенныхъ еврея. Вслѣдъ за ними вошелъ полицейскій чиновникъ въ сопровожденіи трехъ будочни- ковъ. Вся эта сцена разыгралась съ такой быстротою, что раби Исаакъ и Ерухимъ онѣмѣли отъ неожиданности.

¹⁾ Евреи убѣждены, что во время произнесенія молитвы «Излей, о Господи, гнѣвъ твой» и проч., влетаетъ Илья пророкъ и благословляетъ семью, а потому ему готовятъ тостъ, употребляя для этого самые большіе стаканы. Это и щедро, и экономно: хозяинъ дѣлаетъ видъ, что не жалѣетъ вина для такого дорогого гостя, а Илья пророкъ только посмотреть на вино, а въ ротъ его не возьметъ.

²⁾ Предъ произнесеніемъ означенной молитвы отворяютъ двери для вступле- нія Ильи пророка, чтобы избавить его отъ труда отворять дверь собственно- ручно, а также и для того, чтобы убѣдить себя, что въ этотъ день «жы-де ни- кого не боимся!»

Промежду будочниковъ протолкался какой-то, отвратительной наружности, рыжій, маленькій, сутуловатый еврей.

— Вы не того схватили! вы не того поймали! закричалъ онъ евреямъ, державшимъ меня. — Вонъ тотъ, вонъ тотъ настоящій! указалъ онъ на Ерухима.

Въ одно мгновеніе ока меня отпустили, а Ерухима схватили.

— Ловцы, ловцы ¹⁾! Караулъ!.. неистово закричалъ раби Исаакъ. Стаканъ съ виномъ, покоившійся на его широкой ладони, упалъ на полъ и съ звономъ разбился въ дребезги.

— Разбойники! Кровопійцы! прочь! не то... прыгнулъ раби Исаакъ къ ловцамъ, высоко поднявъ кулаки.

Полицейскій чиновникъ флегматически, съ достоинствомъ опустилъ свою полицейскую лапу на плечо раби Исаака.

— Не бунтовать! приказалъ онъ рѣзко и отрывисто.

Раби Исаакъ опустилъ руки, постоялъ секунды двѣ, затѣмъ вновь поднялъ ихъ и молча запустилъ пальцы въ свои густые пейсы, съ неописаннымъ, неизобразимымъ отчаяніемъ въ лицѣ.

Ерухимъ молчалъ, даже ни разу не пискнулъ, какъ придушенный цыпленокъ. Лицо его покрылось мертвенной блѣдностью, а глаза, застывшіе въ своихъ орбитахъ, не мигая смотрѣли на одну точку, куда-то вдаль.

Не знаю, какимъ образомъ, въ такую ужасную минуту, достало у меня наблюдательности замѣтить всѣ малѣйшія подробности этой сцены и запечатлѣть ихъ въ своей памяти.

Раби Исаакъ стоялъ на одномъ мѣстѣ, какъ пригвожденный, безъ малѣйшаго движенія. Ерухима держали за руки два рослыхъ, жирныхъ еврея, съ лицами звѣрскими и грубыми. Будочники въ дверяхъ смотрѣли на всю эту сцену тупо, безучастно, готовые сдѣлать все, что-бы имъ ни приказали. Полицейскій чиновникъ (о, рѣдкость!) съ большимъ состраданіемъ смотрѣлъ попережънно то на несчастнаго отца, то на омертвѣвшаго ребенка. У полиціанта за плечами прятался мизерный, сутуловатый еврей-доносчикъ; онъ, повидному, самъ испугался мерзости своего поступка и предательства. Я окинулъ взоромъ все пустое пространство комнаты. Я увидѣлъ...

¹⁾ Члены общества, отбывающіе рекрутскую повинность, большей частью расползаются въ разныя стороны для заработковъ, а потому всякое общество избираетъ изъ среды своей такъ-называемыхъ ловцовъ. Ихъ обязанность—выслеживать субъектовъ, подлежащихъ рекрутской очереди, ловить ихъ при содѣйствіи полицейскихъ властей и доставлять на мѣсто назначенія. Въ ловцы избираются сильные и жестокіе люди.

Я увидѣлъ въ дверяхъ, ведущихъ въ спальню, несчастную мать, несчастную Перль.

Мое перо отказывается рисовать это лицо; сомнѣваюсь, чтобы и кисть величайшаго изъ художниковъ была въ состояніи схватить черты этого женскаго лица въ ту страшную минуту.

Перль стояла вцѣпившись обѣими руками въ косякъ дверей.

Лицо ея имѣло цвѣтъ гипса. Ея большіе черные глаза расширились до двойного почти объема. Она быстро и конвульсивно вращала зрачками во всѣ стороны. Губы ея побѣлѣли и болѣзненно искривились.

Въ комнатѣ стояла крайняя тишина; нигдѣ ни звука, ни шума. Всѣ дѣйствующія лица застыли въ описанныхъ мною позахъ и были похожи болѣе на восковыя фигуры, чѣмъ на живыхъ людей. Наконецъ, Перль медленно отняла руки отъ косяка, неслышно перешагнула за дверь и невѣрными шагами направилась прямо къ мужу. Полицейскій чиновникъ, при видѣ этого, какъ-будто плывущаго, привидѣнія, отшатнулся и далъ ей дорогу.

Она добралась до мужа, медленно протянула руку, чуть дотронулась до его локтя и зашептала:

— Берутъ? Кого берутъ? Тебя или... за что? Подати? Солдатскій постой?..

— Мама!! крикнулъ очнувшійся при видѣ матери Ерухимъ.

Она, съ быстротою мысли, повернулась въ ту сторону, откуда послышался болѣзненный крикъ сына.

Какъ раненая пулей, отскочила она два шага назадъ, съ такой силой, что понавшійся на пути мизерный еврей-доносчикъ ринулся всей тяжестью своего изсохшаго тѣла на полъ.

— Его?! вскричала она какимъ-то нечеловѣческимъ голосомъ, указывая рукою на Ерухима, дико захохотала и грянулась на лежавшаго у ногъ ея еврея.

Полиціантъ бросился къ столу, схватилъ графинъ съ виномъ и, испуганный, трепещущими руками, началъ обливать ея голову и лицо.

Ловцы воспользовались этой минутной суматохой. Одинъ схватилъ Ерухима на руки, другой закрылъ ему ротъ своей широкой ладонью, и бѣгомъ вынесли свою жертву. Доносчикъ съ трудомъ выкарабкался изъ-подъ тѣла лежавшей на немъ женщины и, пугливо озираясь и прихрамывая, выползъ вонъ. Два будочника тоже ушли. Остался одинъ будочникъ и чиновникъ, приводившій въ чувство несчастную мать. Раби Исаакъ не трогался съ мѣста.

Съ улицы доносился дикій, старческій крикъ кухарки.

— Люди! братья! евреи! спасите! помогите! рѣжутъ! грабятъ! убиваютъ!!!

Перль почувствовалась, подняла голову, раскрыла глаза и съ трудомъ сѣла на полъ. Нѣсколько секундъ глаза ея блуждали дико. Она встрѣтила глазами сострадательный взоръ полицейскаго чиновника.

— Успокойся, матушка, сказалъ онъ ей мягкимъ, вкрадчивымъ голосомъ.—Вашъ сынъ будетъ свободенъ. Завтра-же я самъ доставлю и сдамъ его вамъ на руки.

— Ваше благородіе! завопила мать умоляющимъ голосомъ. — Пощадите, не берите моего ребенка. Онъ боленъ. Какой онъ рекрутъ! О, Боже мой!

Она схватила руки чиновника и прильнула къ нимъ губами.

— Ваше благородіе, умоляла она:—вотъ все мое богатство. Берите, только оставьте мнѣ сына.

Перль быстрымъ движеніемъ сорвала съ своей головы жемчужное украшеніе и въ одинъ мигъ вырвала серьги изъ ушей.

— Вотъ все, что я имѣю, все, что мы всѣ имѣемъ. Возьмите, возьмите и да благословить васъ Богъ!

Чиновникъ былъ тронутъ до слезъ. Онъ деликатно оттолкнулъ руку, подающую ему земныя блага.

— Голубушка, не надо, не надо. Мнѣ жаль, очень жаль тебя, но я ничего не могу сдѣлать.

Съ этими словами онъ повернулся и быстрыми шагами вышелъ въ сѣни. За нимъ послѣдовалъ и будочникъ.

Перль вскочила на ноги и быстрымъ взглядомъ окинула комнату.

— Его нѣтъ? Его уже увели? убили? О, Боже!..

Она опять грянулась всѣмъ тѣломъ на полъ и замолчала.

Раби Исаакъ стоялъ на томъ-же самомъ мѣстѣ и какъ-будто что-то нашептывалъ. Губы его непрерывно сжимались и разжимались.

Между тѣмъ на крики кухарки сбѣжались еврейскіе сосѣди; мужчины принялись утѣшать раби Исаака, женщины разстегнули узкую кофточку безчувственной Перль, уложили ее на недавній тронъ ея мужа и разными способами, холодной водой и булавочными уколами, привели въ чувство.

Перль лежала съ закрытыми глазами. Раби Исаакъ, нѣсколько пришедшій въ себя, прошелся раза три по комнатѣ, собираясь съ мыслями. Сочувствіе собратьевъ нѣсколько успокоило его. Онъ подошелъ къ женѣ и взялъ ея блѣдную руку.

— Перлъ! моя дорогая, милая Перлъ! Приди въ себя. Не убивайся: у тебя есть другія дѣти, пощади меня...

Она вырвала свою руку.

— Гдѣ онъ? скажи, гдѣ онъ? завопила она.

— Кто онъ?

— Онъ, онъ, мой сынъ, мой Ерухимъ? говори!

— Ерухимъ... умеръ! отвѣтилъ раби Исаакъ твердымъ, рѣзкимъ голосомъ.

— Какъ умеръ? вскричали всѣ присутствовавшіе.

— Умеръ для семьи, умеръ для своей націи и умеръ для самого себя, сказалъ онъ грустнымъ голосомъ, махнувъ рукою.

Перлъ рыдала, сосѣдки утрадкою вытирали глаза. Мужчины сурово молчали. Одинаковая тяжкая дума лежала на ихъ лицахъ. Раби Исаакъ подошелъ къ кивоту, раскрылъ его, вынулъ оттуда десять заповѣдей, поцѣловалъ ихъ съ благоговѣніемъ и поднесъ къ страдальцѣ.

— Перлъ! вотъ исцѣленіе отъ недуговъ души и тѣла, поцѣлуй Торе и скажи: „На все воля Твоя, о Господи!“

Перлъ оттолкнула мужа. Онъ печально посмотрѣлъ на нее, понесъ обратно свою святиню, съ прежнимъ благоговѣніемъ поцѣловалъ и спряталъ ее въ кивотъ.

Я стоялъ въ углу. На меня никто не обращалъ вниманія. У меня сердце надрывалось отъ боли. Мнѣ плакать хотѣлось, глаза у меня горѣли, но слезъ не было. Мнѣ хотѣлось подойти къ несчастной матери моего бѣднаго, погибшаго друга, но я почему-то не смѣлъ, не рѣшался, какъ-будто и я тутъ въ чемъ-нибудь виноватъ. Зачѣмъ я открылъ двери этимъ злодѣямъ? „Да и хорошѣе Илья пророкъ!“ думалъ я.

Раби Исаакъ замѣтилъ меня. Онъ подошелъ ко мнѣ, назвалъ меня счастливецомъ и зарыдалъ во весь голосъ. Онъ, этотъ, видимо, сильный человѣкъ, рыдалъ какъ ребенокъ, а я, ребенокъ, тощій и хилый, не могъ заплакать.

Одинъ изъ сосѣдей раби Исаака проводилъ меня домой. Мои опекуны напрасно добивались узнать отъ меня подробности печальнаго происшествія. У меня зубы стучали отъ какого-то необыкновеннаго озноба, пробѣгавшаго по всему тѣлу. Меня уложили и плотно укрыли.

Утромъ я очнулся въ сильномъ припадкѣ нервной горячки.

VI.

В ы с ш и й к л а с с ъ .

Позволю себѣ теперь небольшое отступленіе, которое тѣмъ болѣе необходимо, что мои читатели не евреи или-же евреи молодого поколѣнія, совершенно незнакомые съ горькой участью евреевъ не очень стараго времени, при чтеніи предыдущей главы могутъ обвинить меня въ расточеніи слишкомъ большого количества яркихъ красокъ для такого ничтожнаго, обиденнаго случая, какъ рекрутчина.

— Эка важность, воскликнуть они:—одного субъекта берутъ въ рекруты, и сколько шуму и воплей! У насъ силось да рядомъ рекрутируются десятки тысячъ людей и дѣло обходится безъ всякихъ драмъ. Вольно-же евреямъ уклоняться отъ государственной повинности.

Рекрутская повинность, во всякое время, создавала и создаетъ много семейныхъ драмъ: тамъ мать разстается съ своимъ любимымъ дѣтищемъ; тамъ женихъ оставляетъ невѣсту; тамъ молодой отецъ семейства надрывается отъ рыданій, оставляя семью на произволъ судьбы. Но многія изъ этихъ и имъ подобныхъ драмъ теряютъ свою поражающую силу отъ вѣдѣтельности здраваго разсудка и мерцающихъ въ перспективѣ возможныхъ надеждъ.

— Эхъ, Ванюха, чево кручиннишься? утѣшаютъ односельцы молодого парня, обреченнаго на рекрутчину и надрывающагося отъ горя.—За Богомъ молитва, за царемъ служба не пропадаетъ. Тотъ не казакъ, кто не ожидаетъ быть атаманомъ. Служба, братъ, не каторга какая. Послужишь, помаяешься и дасть Богъ дослужишься и до благородія. И воротишься ты въ село родное яснымъ соколомъ, старикамъ на утѣху, молодымъ на зависть, а краснымъ дѣвицамъ на заглядѣнье.

— И впрямь! подумаетъ Ванюха. Нешто не бываетъ? Нешто не все едино работать, что плугомъ, что заступомъ али что ружьемъ царскимъ?

И встряхнетъ парень удалой головушкой, утретъ мозолистымъ кулакомъ слезу горючую, махнетъ рукою на горькую свою долюшку-разлучницу и свистнетъ Ваня своимъ молодецкимъ посвистомъ.

Но такихъ рекрутъ, какъ десятилѣтній Ерухимъ, нельзя ни урезонить, ни утѣшить. Онъ не понялъ и не повѣрилъ-бы никакимъ утѣшеніямъ, никакимъ надеждамъ. Его похожденія, о которыхъ я

разскажу въ продолженіи моихъ записокъ, наглядно докажутъ моимъ читателямъ, что если-бы Ерухимъ повѣрилъ какимъ-нибудь надеждамъ, то былъ-бы совершенно неправъ. Евреи-солдаты, въ прежнія времена, не допускались къ фронтовой службѣ: они тянули лямку въ деньщикахъ, барабанщикахъ и музыкантахъ. Тутъ далеко не уйдешь, яснымъ соколомъ не взглянешь и генераломъ не возвеличишься. Мой Ерухимъ не двадцатипятилѣтній Иванушка, дышавшій силой и здоровьемъ, привычный къ физическому труду и даже къ кулачному бою и молодецкой выпивкѣ. Это—болѣзненный, хилый ребенокъ, забитый еврейскими учителями, запуганный съ дѣтства, съ зачатками пожизненнаго геморроя и золотухи. Для него русскій языкъ—китайская грамота; онъ дрожитъ предъ каждымъ уличнымъ мальчишкой, а солдата боится пуще его страшнаго ружья. Непосредственно изъ объятій чадолюбивой еврейской матери онъ переходитъ въ ежовыя лапы солдата-дядьки; отъ учительской скамьи, на которой онъ выросъ, скорчившись въ три погребели, онъ переходитъ къ военной вытяжкѣ и выправкѣ прежнихъ временъ; послѣ дѣтской розги меламеда и пощочинъ чахоточной его руки, онъ, безъ всякихъ постепенныхъ переходовъ, подвергается сразу солдатскимъ фухтелямъ, палкамъ и кулачному мордобитію. Хороша перспектива! Что касается до того, чтобы чего-нибудь дослужиться, то объ этомъ еврей и помыслить не смѣлъ: онъ могъ (лужить и вѣрой, и правдой, могъ быть и трезвымъ, и способнымъ, и честнымъ, и расторопнымъ, и все-таки проторчать, въ деньщицкой сѣрой шинели, пробарабанить или протрубить свои двадцать-пять лѣтъ службы, съ прибавкой еще нѣсколькихъ лѣтъ не въ зачетъ, а затѣмъ возвратиться въ свое или чужое еврейское общество избитымъ, нищимъ, калѣкой, отупѣвшимъ, огрубѣвшимъ, безъ крова и пристанища, безъ дневнаго пропитанія. Хороша карьера!

Но почему евреи отдавали въ солдаты такихъ малолѣтокъ? На этотъ вопросъ я могу отвѣтить съ большимъ знаніемъ, чѣмъ на вопросъ: для чего такихъ дѣтей принимали?

Какъ камень, брошенный въ воду, вызываетъ не одно мѣстное волненіе поверхности воды, а безчисленное множество круговъ, на довольно дальнемъ растояніи, такъ и всякое неразумное социальное правило или привычка, вкравшаяся въ складъ какого-нибудь общества, отзываются непоправимымъ вредомъ тамъ, гдѣ его вовсе не ожидаютъ. Неразумное правило еврейскаго общества женить сыновей въ дѣтскомъ почти возрастѣ размножало нищихъ и паразитовъ и ставило общества въ печальную необходимость отбывать

рекрутскую повинность преимущественно малолѣткамъ. Только они одни не успѣли еще сдѣлаться отцами семейства; всѣ прочіе, которыхъ можно назвать рабочей силой, были уже обременены женами и дѣтьми. Отдай подобнаго члена въ военную службу, и вся семья, скудно питавшаяся парю рукъ или мозговою работою одного человѣка, должна повиснуть на шеѣ сердобольнаго еврейскаго общества. Вотъ почему, большею частью, накаплились цѣлыя роты еврейскихъ дѣтей-мальчиковъ, влачившихъ за собой свои пепомѣрно длинныя казенныя шинели и утопавшихъ въ своихъ глубокихъ, солдатскихъ, сѣрыхъ фуражкахъ; вотъ почему эти несчастныя дѣти приводились къ приему, какъ очистительныя жертвы. Всякая мать отданнаго въ рекруты сына молила Бога послать ему скорую смерть и избавить его отъ долгихъ страданій. Вотъ почему раби Исаакъ утѣшалъ свою несчастную Перль тѣмъ, что сынъ ихъ „умеръ для семьи, умеръ для своей націи и умеръ для самого себя“. Это значило: нечего о немъ и думать, незачѣмъ и плакать.

Но для чего-же принимались подобные рекруты? Вѣроятно, въ томъ мнѣніи, что ранняя солдатская школа жизни воспитаетъ изъ нихъ лучшихъ солдатъ. Но стоило-ли трудиться изъ-за того, чтобы воспитать какого-нибудь деньщика или барабанщика? А сколько ихъ запруживало военные госпитали, сколько умирало!

Возвращаясь къ своему разсказу.

Моя болѣзнь была чрезвычайно опасна и продолжительна; я стоялъ на краю могилы, но судьбѣ не угодно было покончить со мною разомъ: она оставила меня въ живыхъ для дальнѣйшихъ расчетовъ. Протекли съ тѣхъ поръ десятки лѣтъ, но ощущенія, вынесенныя мною тогда, и до настоящей минуты не изгладились изъ моей памяти. Предо мною носились какіе-то образы, то страшные, то ласкательно-пріятные, то безобразно-смѣшные. Лица, игравшія какія-нибудь роли въ событіяхъ моего дѣтства, постоянно метаморфизировались и мѣнялись: Леа вдругъ преобразовывалась въ полицейскаго чиновника, мой учитель—въ безжалостнаго ловца, безчеловѣчно душащаго бѣдную Олю, одѣтую въ кафтанъ Ерухима; мизерный еврей-доносчикъ наигрывалъ на скрипкѣ какіе-то дикіе мотивы, а Перль съ мужемъ кружились и прыгали не въ тактъ; Марья Антоновна дралась съ полицейскимъ чиновникомъ, а Ерухимъ, съ жемчужной повязкой матери на головѣ, чему-то хохоталъ. Потомъ вдругъ наступала какая-то черная, густая тьма; мой мозгъ работалъ и копошился будто гдѣ-то въ подземельѣ, до тѣхъ поръ, пока что-то тяжелое не рухнуло и не

придушило меня. Я терялъ всякое сознание; мои чувства засыпали или замирали...

Однажды я ощутил трепетную, прохладную руку на моемъ лбу. Я почувствовалъ какое-то крайнее утомленіе во всемъ моемъ существѣ. Тѣло мое покоилось въ чѣмъ-то мокро-тепловатомъ; вѣки отяжелѣли какъ свинецъ, такъ что, при всемъ моемъ усилии, я ихъ приподнять не могъ.

— Жизнь моя, сердце мое, мой бѣдненькій Сруликъ, спишь-ли ты? слышалось мнѣ.

„Кто это? подумалъ я:—вѣроятно, опять что-нибудь страшное, противное“.

Вопросъ, сопровождаемый еще болѣе нѣжными эпитетами, повторился.

— Оставь, не безпокой его, пусть-себѣ спать! слышался мнѣ суровый голосъ отца.

— Я хочу только убѣдиться, узнаешь-ли онъ меня. Докторъ увѣрялъ-же, что опасность миновалась и что кризисъ кончился благополучно.

Я ясно разслышалъ голосъ моей матери. Мнѣ хотѣлось заплакать отъ наплыва какого-то чувства, но нервная система, казалась, полѣнилась сдѣлать нужное для этого усиліе. Я собралъ всѣ свои силы и полуоткрылъ глаза. Я ясно увидѣлъ лицо моей матери, орошенное слезами, и встрѣтилъ ея ласкающій взоръ. Я сдѣлалъ еще одно усиліе и вяло улыбнулся. Мать прильнула къ моему лбу. Я, вѣроятно, опять погрузился въ сонъ.

Мое выздоровленіе шло чрезвычайно медленно. Оказалось впоследствии, что во время моей болѣзни, Леа, боясь отвѣтственности, выписала мою мать. Но съ матерью прибылъ вмѣстѣ и отецъ, который, впрочемъ, скоро опять уѣхалъ, обѣщавъ чрезъ двѣ недѣли возвратиться и взять насъ домой. Настали для меня опять сладкіе дни счастья: мать меня нѣжила, даже Леа увивалась вокругъ меня, а старый каббалистъ всякое утро и вечеръ нашептывалъ что-то надъ моей головой. Я пытался нѣсколько разъ поразспросить мать объ участи Ерухима, но она не позволяла мнѣ даже окончить вопроса, увѣряя, что мнѣ опасно и думать объ этомъ событіи, не только говорить.

— Не знаете-ли вы что-нибудь о Рунинныхъ, маменька? рѣшился я однажды спросить.

— О какихъ Рунинныхъ? спросила она меня, въ свою очередь, довольно суровымъ голосомъ.

— Митя, Марья Антоновна и...

— Не знаю такихъ людей и знать ихъ не хочу, отвѣчала она съ гнѣвомъ.— Все это тебѣ померещилось во время горячки, а ты вбилъ себѣ въ голову, что и на самомъ дѣлѣ случилось.

Она бросала поминутно подозрительные взгляды на остатки моихъ несчастныхъ пейсиковъ. Я убѣдился, что проклятая Леа не выдержала своей роли и выдала мою тайну. О моихъ христіанскихъ друзьяхъ я болѣе не спрашивалъ. Я ясно видѣлъ, что моя мать отъ души желала уничтожить не только вредное вліяніе моихъ друзей на религіозную мою сторону, но вырвать съ корнемъ даже воспоминаніе о нихъ.

Наконецъ, прибылъ отецъ мой и мы отправились домой. Я до того былъ счастливъ и доволенъ, что искренно поцѣловалъ, при разставаніи, и учителя, и его дражайшую половину, благодаря Бога, что избавляюсь отъ нихъ навѣки.

Я не могу умолчать объ одномъ подслушанномъ мною разговорѣ между моимъ отцомъ и учителемъ-каббалистомъ, такъ-какъ разговоръ этотъ показалъ мнѣ отца въ весьма выгодномъ для него свѣтѣ.

Я полудремалъ на своей постели, усталый отъ моціона по комнатѣ, къ которому меня приучали, по наставленію медика, вода меня подъ руки. Въ комнатѣ находился только отецъ. Онъ облокотился на столъ и смотрѣлъ въ какую-то книгу. По временамъ онъ отрывался отъ чтенія, писалъ, задумывался, опять писалъ и затѣмъ вновь углублялся въ свое чтеніе. Процессъ его занятій меня ни чуть не интересовалъ; мнѣ даже не любопытно было знать, что именно онъ дѣлалъ. Но вотъ въ комнату вошелъ мой учитель-хозяинъ.

— Что читаешь ты такъ усердно, Зельманъ? спросилъ вошедшій.

— Это не по вашей части, дядюшка!

— Почему-же не по моей части, племянничекъ? Ты вѣдь, надѣюсь, читаешь еврейскую книгу?

— Еврейскую-то, еврейскую, а все-таки не по вашей части. Я читаю астрономію.

— Что такое? переспросилъ учитель.

— Астрономію. Это наука о созвѣздіяхъ небесныхъ.

— Слыхалъ объ этой наукѣ.

— Можетъ быть. Но это астрономія новѣйшая.

— То-есть, какъ это новѣйшая?

— Вся система этой науки не соотвѣтствуетъ ни библіи, ни талмуду.

— Сохрани насъ Господи! воскликнулъ испуганный каббалистъ и отступилъ шагъ назадъ.

— Не солнце вертится вокругъ земли, а земля и все видимое на тверди небесной кружится около солнца. Солнце же почти стоитъ на одномъ мѣстѣ.

— Какъ-же это такъ? Да вѣдь это ложь?

— Почему-же ложь? спросилъ насмѣшливо отецъ.

— Егюшуа (Иисусъ Навинъ), въ тотъ день, въ который Господь предалъ Аморрея въ руки Израиля, сказалъ предъ израильтянами: „Стой, солнце, надъ Гаваономъ и луна надъ долиною Аіалонскою“, и остановились и солнце, и луна, доколѣ народъ мстилъ врагамъ своимъ. Если-бы земля кружилась, а солнце стояло всегда на одномъ мѣстѣ, то Егюшуа приказалъ-бы остановиться не солнцу, а землѣ.

Отецъ молчалъ и любовался недоумѣвающей рожей учителя. Меня это чрезвычайно заинтересовало.

— Или ты полагаешь, что эта книжонка лучше понимаетъ порядокъ вселенной, чѣмъ намѣстникъ Монсея, остановившій солнце велѣніемъ Егювы?

— Я ничего не полагаю. Я только убѣжденъ, что система эта болѣе подходитъ къ истинѣ, потому уже, что всѣ астрономическія вычисленія гораздо точнѣе и безошибочнѣе.

— А изрѣченіе великаго мудреца какъ объяснишь ты: „И растворяетъ Онъ (Господь) окна небесныя, и выводитъ Онъ солнце изъ мѣста его пребыванія“? А, ну-ка! какъ объяснишь ты это по твоей новой системѣ? спросилъ торжествующій учитель.

— Я могъ-бы и то и другое объяснить, но не имѣю желанія. Объясните себѣ сами, какъ знаете, дядюшка.

— Изволь, я объясню: всѣ твои книжки и всѣ подобныя выдумки эпикурейцевъ—ложь, ложь и ложь!

Говоря это, каббалистъ былъ такъ взволнованъ, что отецъ рѣшился прекратить разговоръ.

— Вы огорчаетесь, дядюшка, сказалъ онъ,—а потому оставимте лучше этотъ непріятный споръ.

Но разъярившійся противникъ не соглашался на перемиріе.

— Ты, въ своемъ грѣховномъ невѣріи, толкуй себѣ, какъ знаешь, изрѣченія библейскія, но я предостерегаю тебя: Егова мститъ дѣтямъ за грѣхи невѣрующихъ отцовъ! И доказательство этого я имѣю уже въ твоемъ сынѣ.

Я удвоилъ вниманіе.

— Въ моемъ сынѣ? переспросилъ отецъ.

— Да, да, въ твоёмъ сынѣ.

— Неужели и онъ эпикуреецъ и грѣшникъ?

— Онъ еще слишкомъ глупъ для этого, но будетъ современемъ! И къ какому поприщу ты готовишь его?

— Вы испугаетесь. Я рѣшился отдать его въ гимназію и сдѣлать изъ него медика. Это по-моему...

— Да, по-твоему, но не по-моему! закричала моя мать, явившаяся вдругъ предъ диспутантами.—Какъ тебѣ не стыдно, обратилась она съ укоромъ къ отцу,—разсказывать каждому свои глупости? Видно, ты еще не довольно проученъ въ прежнія времена.

— Полно, полно, Ревекка! я шутилъ! увѣрялъ отецъ, пытаюсь задобрить ее, но она не унималась. Явилась на сцену Леа. Мать замолчала, и дулась на отца цѣлыхъ два дня, несмотря на всѣ экстренныя средства, пущенныя въ ходъ моимъ отцомъ къ заключенію супружескаго мира.

Я былъ въ восторгѣ отъ отца. Я удивлялся ему, я уважалъ, я любилъ его и радовался за себя. Я опережу Митю, непременно обгоню его, повторялъ я себѣ въ сотый разъ. Вотъ удивятся Марья Антоновна и Оля, когда я неожиданно-негаданно, вдругъ подкачу къ нимъ, на новенькихъ дрожжахъ, полнымъ докторомъ! Я радовался напрасно: мой отецъ былъ мастеръ въ теоріи, но не на практикѣ. Онъ былъ слабый мужъ, состоявшій подъ башмакомъ своей жены. Этотъ женскій, деспотическій башмакъ затопталъ въ прахъ и его любимую идею, и мою блистательную мечту.

Мои родители разнѣжились ко мнѣ, особенно отецъ. Они рѣшили продержать меня нѣсколько мѣсяцевъ дома, пока я совершенно не окрѣпну. Спокойная жизнь, хорошее питаніе, лѣсной воздухъ и моціонъ восстанавливали мои силы съ изумительною быстротою. Я хвастался своимъ знаніемъ русскаго языка и не упускалъ случая блеснуть имъ при матери, заговаривая, кстати и некстати, съ мужиками и бабами. Но мать, казалось, гордилась мною очень мало.

— Дорогой цѣной досталась тебѣ эта болтовня! сказала она мнѣ однажды и глубоко вздохнула. Она намекала на мои пейсы, а они, проклятые, какъ на зло не отросли, какъ-будто на ихъ корни налегла вѣчная засуха.

Отецъ жалѣлъ мое время, а потому рѣшился взяться за старое учительское ремесло и приготовить меня въ высшій классъ. Онъ принялся посвящать меня первоначально въ таинства талмудейскія. Трудно было опять просиживать скорчившихся цѣлые дни и вечера надъ громаднаго формата книгами. Талмудейскій

языкъ, неимѣющій ничего общаго съ языкомъ ветхаго завѣта, показался мнѣ непреодолимымъ. Сухія талмудейскія темы и различныя варіаціи безчисленныхъ комментаторовъ наводили на меня тоску и скуку, не внушая никакого интереса и ничего не говоря моему нѣсколько уже развитому воображенію. Что мнѣ за дѣло до *яйца, снесеннаго курицей въ праздникъ или въ будни* ¹⁾? Что мнѣ за дѣло до *быка, боднувшаго корову въ первый или въ третій разъ*? Что мнѣ за дѣло до *двухъ драчуновъ, нашедшихъ вещь и спорящихъ за право собственности на эту находку*? Но отецъ мой взыскивалъ съ меня строго за незнаніе урока. Онъ былъ вспыльчивъ и нетерпѣливъ; онъ требовалъ отъ меня полного пониманія предмета съ теологической и юридической его стороны. Мое машинальное попугайничанье потеряло тутъ всю свою цѣну. Приходилось уже напрягать мозги. Что изъ этого будетъ? для чего? для какой цѣли я тружусь?—я не понималъ, но трудился добросовѣстно и усердно.

Отецъ мой началъ заниматься со мною чтеніемъ пророковъ и преподавать первоначальныя правила математики. Эти предметы доставляли мнѣ большое удовольствіе. Широкий стиль пророковъ до того очаровывалъ меня, что я на изученіе ихъ бросился съ жадностью. Математическія вычисленія доставляли мнѣ наслажденіе другого рода: тутъ я видѣлъ и цѣль, и примѣненіе этой цѣли къ дѣлу. Измѣривъ ниткой окружность ветхаго колеса отцовской повозки и измѣривъ длину этой нитки на аршинъ, я, зная, сколько аршинъ заключается въ сажени и сколько сажень содержитъ въ себѣ верста, легко вычислилъ, сколько разъ колесо это обернется на ея пространствѣ. Отецъ мой принялся-было шпыговать меня и астрономическою мудростью, но это оказалось еще преждевременнымъ.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, когда мои родители убѣдились, что я совершенно окрѣпъ, и когда отецъ нашелъ меня достаточно приготовленнымъ къ вступленію въ высшій и послѣдній классъ, меня отправили въ ближній городъ Л. къ учителю талмудисту, славившемуся въ околodeѣ своей мудростью.

Я не намѣренъ утомлять моихъ читателей описаніемъ характера новаго моего учителя и образа моего ученія и жизни. Всѣ еврейскіе учителя и всѣ ихъ методы тогдашняго времени были схожи между собою, какъ одна капля воды съ другою. Началась для ме-

¹⁾ Юридическія и теологическія темы талмуда.

ни новая каторга, новыя мученія и истязанія. Я ко всему этому относился терпѣливо, какъ къ чему-то неизбежному. Къ двумъ неудобствамъ я, однакожь, никакъ привыкнуть не могъ. Новый мой учитель, къ которому я былъ отданъ на полный пансіонъ, былъ очень скупъ и грубъ относительно пищи. Онъ облачалъ свое скряжничество въ набожную форму.

— Мы, евреи, находимся въ пути, утверждалъ онъ: — не сегодня-завтра придетъ Мессія и поведетъ насъ въ Іерусалимъ. Въ пути даже богачи и самые избалованные аристократы довольствуются чѣмъ Богъ пошлетъ. Не будемъ-же и мы разборчивы. Прибудемъ мы въ Іерусалимъ—и тогда пображничаемъ на славу.

— А если не доживемъ до этого блаженства? спросилъ я его однажды.

— А если умремъ?—ну, такъ что-жь! умремъ все равно, съ полнымъ или съ пустымъ брюхомъ: червямъ меньше достанется. Бѣда не велика. Притомъ, развѣ ты не знаешь, что ожидаетъ праведниковъ въ раю?

Я мрачно молчалъ. На столѣ дымилась отвратительная постная похлебка изъ фасолей и я съ омерзениемъ окуналъ свои взоры въ ея мутныя волны.

— Въ раю, продолжалъ онъ,—ожидаютъ праведниковъ рыба левіаанъ, дикий буйволъ и старое вино. Все это сохраняется съ перваго дня мірозданія.

Я мысленно посылалъ его къ черту съ его замогильными лакомствами.

— Этотъ левіаанъ и буйволъ—живые или мертвые? спрашивалъ я.

— Конечно, живые.

— Что-то непонятно. Праведники умираютъ по очереди, безпрестанно, и, конечно, поспѣваютъ въ рай не въ одно и то-же время. Если эти продукты были свѣжи для первыхъ пансіонеровъ рая, то для другихъ они должны-бы...

— Испортиться, хочешь ты сказать?

— Ну-да.

— Они не могутъ испортиться. Они всегда свѣжи.

— Какимъ-же это образомъ?

— Каждый день Господь рѣжетъ и буйвола, и левіаана, и отбираетъ болѣе сочные куски для обитателей рая. На другое утро и буйволъ, и левіаанъ опять живы и здоровы.

— Бѣдныя животныя! сказалъ я съ притворнымъ сожалѣніемъ:—каждый день подвергаются такой страшной операціи!

— На это они и созданы! съ самоувѣренностью произнесъ учитель и погрузилъ свою цинковую ложку въ хляби фасольнаго моря.

Другое неудобство, причинявшее мнѣ ужасныя страданія, заключалось въ томъ, что учитель этотъ, изъ скряжничества и желанія накопить больше рублевиковъ, набралъ въ науку громадное число учениковъ и не успѣвалъ управиться со всѣми втеченіи дня и вечера; нѣкоторымъ необходимо было вставать въ три часа, до разсвѣта, чтобы заниматься съ наставникомъ. Въ число этихъ горемыкъ попалъ и я. Ложась спать впроголодь, измученный, уставшій отъ дневной мозговой работы, я обязанъ былъ прерывать свой сонъ въ самую сладкую, утреннюю пору. Просыпаюсь, бывало, усиливаюсь поднять голову, а голова опять тяжело падаетъ, глаза слипаются и я опять забываю на минуту желѣзную необходимость встать на ноги. Отдалъ-бы, кажется, цѣлый годъ жизни за одинъ часъ сна, а встать надобно. Встанешь, вымоешь глаза холодной водой, а они все продолжаютъ смыкаться. Учитель нетерпѣливо кричитъ и ругается. Сядешь къ столу, развернешь аршинную, пузатую книгу и, безпрестанно зѣвая, начинаешь долбить какую-то схоластику, невѣзющую въ голову.

— Заутренняя молитва и заутреннее ученіе Торы пріятны Господу, утѣшалъ насъ учитель.

— Почему же? спросилъ его однажды одинъ изъ учениковъ.

— Потому, что въ эту пору Господь болѣе расположенъ къ милости и прощенію.

— Почему же? не отставалъ любопытный ученикъ.

— А потому, что люди Его менѣ сердятъ. Человѣкъ не грѣшенъ только во время сна.

Я не обращалъ вниманія на его ханжескія выходки и не возражалъ ему. Я зналъ, что онъ своими левіаѳанами и буйволами прикрываетъ только грязную скаредность.

Богъ, однакожь, наказалъ его самымъ жестокимъ образомъ. Въ-мѣсто фасольной похлебки къ столу начали подаваться и жирные бульоны, и жаркія изъ курятины, и даже полукислое красное вино. Насъ не только перестали поднимать на ноги до разсвѣта, но даже и совсѣмъ прекратили мучить талмудомъ и прочей мудростью.

Какъ благодарили мы Бога въ ту пору за этотъ счастливый случай! Но цѣлыя сотни тысячъ людей зывали къ Всевышнему и молили Его вновь наслать на насъ какъ можно скорѣе и фасоль, и заутреннія пытки.

Случай этотъ, пріятный для насъ и пагубный для человѣчества, былъ—холера.

VII.

Кто сильнѣе: холера или цадикъ?

Не удивляйтесь, читатели, этому странному заглавію. Знакомый съ хорошими и дурными сторонами своей націи, съ ея достоинствами, недостатками и нравственными недугами, я съ полной увѣренностью задаю этотъ оригинальный вопросъ: кто сильнѣе, кто пагубнѣе для евреевъ: холера или цадикъ?

Холера, этотъ бичъ человѣчества, вырывающій съ корнемъ столько жизней, является періодически, изрѣдка, совершаетъ свое мрачное дѣло—и исчезаетъ; цадики свирѣпствуютъ съ изумительнымъ постоянствомъ, высасываютъ заживо, какъ вампиры, послѣдніе соки у тупоумныхъ массъ еврейскихъ. Отъ холеры можно ограждать себя предохранительными средствами—умѣреннымъ образомъ жизни, препаратами латинской кухни; отъ цадиковъ, пользующихся фанатизмомъ своихъ единовѣрцевъ, ничто не спасаетъ кромѣ смерти. Отъ холеры можно бѣжать, отъ цадиковъ не убѣжишь: они преслѣдуютъ, вкрадываются даже въ такія мѣстности, гдѣ фанатизма, относительно, меньше, гдѣ имъ угрожаетъ преслѣдованіе и отъ развитыхъ единовѣрцевъ, и отъ самого правительства. Они своими шарлатанствами приковываютъ къ себѣ цѣлыя толпы невѣжественнаго народа. Въ одномъ только они схожи съ холерою: какъ она, они думаютъ преимущественно самый низшій, бѣдный классъ народа.

Цадики—это ядовитые паразиты, питающіеся потомъ и кровью своихъ безчисленныхъ жертвъ; это сѣятели суевѣрія и тьмы; это безсовѣстные факторы на биржѣ религій; это коварные посредники между небомъ и землею; это торгаши райскими продуктами; это неизлечимый ракъ въ наболѣвшемъ организмѣ еврейской націи. Цадикъ—это еврейскій святой, чудотворецъ.

Цадикъ достигаетъ своего величія и народнаго довѣрія не упорнымъ, усидчивымъ трудомъ, какъ ученый; онъ пріобрѣтаетъ славу не постомъ, молитвой и умерщвленіемъ плоти, какъ схимникъ или аскетъ; онъ достигаетъ безсмертія не опасностями и лишеніями, какъ воинъ,—онъ прямо выползаетъ изъ утробы матери и рождается на свѣтъ Божій готовымъ цадикомъ.

Цадикъ безъ всякаго труда вкушаетъ всѣ блага земныя. На него трудятся тысячи рукъ. Его лелѣютъ съ колыбели, какъ принца крови. Онъ женится въ дѣтскомъ возрастѣ и по большей части

на самой красивой дѣвушкѣ. Жена цадика получаетъ, вмѣстѣ съ именемъ святаго своего мужа, титулъ раввинши. Она пользуется собачьей привязанностью клеветовъ своего мужа. Если эта богиня нисходитъ до того, чтобы угощать этихъ лѣнливыхъ, чувственныхъ псовъ пряниками изъ своего *святою передника*, то псы эти на верху счастья и блаженства. Цадики обыкновенно, какъ всякіе выходцы преисподней, резидируютъ въ самыхъ темныхъ захолустьяхъ еврейскихъ поселеній, откуда выползаютъ для своихъ экскурсій съ большими предосторожностями и лишь въ экстренныхъ случаяхъ. Они живутъ просторно, роскошно, иногда и изящно, имѣютъ цѣлую шайку тѣлохранителей, безсовѣстныхъ помощниковъ и глашатаевъ, распространяющихъ молву о чудныхъ, необыкновенныхъ дѣяніяхъ этихъ великихъ мужей. Цадики обладаютъ большимъ количествомъ драгоценностей, имѣютъ своихъ откормленныхъ лошадей, свои щегольскія буды ¹⁾ и даже кареты. Иные содержатъ на дому цѣлыя еврейскіе оркестры, для которыхъ цадики, одаренные доморощеною музыкальною способностью, сами сочиняютъ свои заунывные фантазіи и *терсеахъ de salon*, которыя и переходятъ къ евреямъ традиціоннымъ путемъ, какъ всякая святыня.

Къ этимъ цадикамъ стекаются со всѣхъ сторонъ легковѣрные сыны Израиля, обманутые ихъ ложной славой. Замужнія, безплодныя женщины молятъ цадика исходатайствовать у неба хоть какого-нибудь сынишку. Съ нихъ берутъ большой кушъ денегъ, соображаясь съ состояніемъ просительницъ, и — о чудо! — послѣ свиданія съ цадикомъ и его помощниками, какъ-разъ чрезъ девять мѣсяцевъ, еврейская нація обогащается еще однимъ малелькимъ членомъ. Самымъ тяжкимъ больнымъ цадикъ, послѣ исповѣди, даетъ какое-нибудь снадобье, въ родѣ березовыхъ листьевъ, и больные, высыпавъ ему послѣдніе рубли, возвращаются домой совершенно успокоенными. И недаромъ: смерть, въ скорости, успокоиваетъ ихъ навсегда. Отъ подобной неудачи ни мало, однакожь, не страдаетъ слава цадика. „Умершіе навѣрно опять нагрѣшили или не исполнили инструкціи цадика въ точности“. Если же, по натуральному ходу вещей, самъ организмъ устранить тяготящее надъ нимъ зло, если физиологическіе процессы организма сами успѣютъ уничтожить болѣзненный элементъ, то это явленіе приписывается

¹⁾ Польскія длинныя, громадныя телеги. Бывали такіе расточительные цадики, которые позволяли себѣ оковывать колеса своихъ будъ частымъ серебромъ. Это фактъ.

чудотворности цадика и о сверхъестественномъ этомъ чудѣ тру-
бятъ цѣлыя посады, города и губерніи.

Горе тому, кто озлобитъ противъ себя всемогущаго цадика! Если цадикъ его проклянетъ, онъ погибъ. Заклинанія цадиковъ почти всегда сбываются съ изумительною пунктуальностью. „Да нака-
жетъ его Господь огнемъ, какъ Нодовъ въ Авигу (Надавъ и Ави-
удъ)!“ скажетъ цадикъ, и (о чудо!) чрезъ нѣкоторое время иму-
щество несчастнаго, на самомъ дѣлѣ, загорается и превращается
въ пепелъ. „Да обнищаетъ онъ, какъ Іовъ!“ проклянетъ цадикъ,—
и проклятый, въ короткій промежутокъ времени, обѣдняетъ, какъ
церковная крыса, потому что евреи, страшась гнѣва всемогущаго
цадика, немедленно прекращаютъ съ отверженникомъ всякія ком-
мерческія отношенія, кредиторы приступаютъ чуть не съ ножомъ
къ горлу, а должники считаютъ себя въ правѣ не платить ни одно-
го гроша.

Если-бы я пожелалъ рассказать своимъ читателямъ всѣ былинны
о шарлатанствахъ бандитствующихъ цадиковъ, то рассказы эти
наполнили-бы собою цѣлыя томы. Я довольствуюсь только однимъ
анекдотомъ.

У одного очень богатаго арендатора еврея какъ-то, в теченіи
многихъ лѣтъ, рождались все болѣзненные дѣти, которыя въ ко-
лыбели еще умирали. Ни доктора, ни бабки, ни знахарки не мо-
гли помочь этому горю. Осталась еще одна надежда на цадика.
Но цадикъ этотъ свирѣпствовалъ гдѣ-то очень далеко отъ того
мѣста, гдѣ жилъ арендаторъ. Путешествіе туда было сопряжено
съ большими затрудненіями и громадными издержками. Но какія
жертвы не принесетъ чадолюбивый отецъ жизни своихъ дѣтей?
Арендатору нельзя было оставить своихъ дѣлъ, а потому онъ сна-
рядилъ свою супругу въ путь и отправилъ ее одну, разрѣшивъ
не щадить денегъ, лишь-бы исходатайствовать у цадика долго-
лѣтіе своимъ будущимъ дѣтямъ.

Пріѣхавъ въ грязное польское мѣстечко, гдѣ царствовалъ еврей-
скій святой, она останавливается въ самомъ лучшемъ еврейскомъ
постояломъ дворѣ (ахсанѣ). Хозяинъ, клевретъ цадика, обогащаю-
щійся отъ многочисленныхъ пилигримовъ, и за то, съ своей сто-
роны, служащій цадикѣ самымъ вѣрнымъ шпиономъ, ловко выпы-
тываетъ у пріѣзжей цѣль ея пріѣзда, ея горе и прочія подробно-
сти ея прошлой жизни и дѣлъ ея мужа.

— Изумляюсь, говоритъ онъ ей съ притворнымъ сострадані-
емъ,—что вамъ въ голову не приходило до сихъ поръ прибѣг-
нуть къ помощи нашего великаго раби. Теперь врядъ-ли онъ васъ

приметь. Онъ вѣдь своимъ духовнымъ окомъ видитъ все, что творится на землѣ и на небѣ. Онъ, вѣроятно, прогнѣванъ на васъ и на вашего мужа. Вы, должно быть, большіе грѣшники, если Богъ такъ тяжело васъ наказываетъ. Нашъ раби неумолимъ къ грѣшникамъ.

— Ради самого Бога, ради моихъ бѣдныхъ дѣтей, хозяинъ, исходатайствуйте мнѣ свиданіе съ падикомъ! Я вамъ щедро заплачу за это, молитъ глупая еврейка.

— Я? Ой вей миръ! какъ я смѣю предстать предъ его ясныя очи! Я для васъ, но только для васъ могу просить его габе (помощникъ или первый камердинеръ), но ему надобно хорошо заплатить. Я отъ васъ ничего не возьму, сохрани Богъ; вы моя гостыя дорогая.

Проходитъ нѣсколько дней. Корчмарь-хозяинъ представляетъ своей дорогой жилищъ затрудненія за затрудненіями, которые, конечно, мало-по-малу устраняются, благодаря безкорыстному старанію хозяина и уступчивой подкупности габе. Наконецъ, назначается грѣшницѣ желанная аудіенція.

Намолившись, напостившись и наплакавшись, просительница является въ переднюю падика. Долго стоитъ бѣдная на ногахъ, съ замираніемъ сердца слѣдя за многочисленными габонмъ, снующими взадъ и впередъ и пугливо перешептывающимися между собою. Каждый скрипъ двери, ведущей въ святиню, обдастъ ее холодомъ и жаромъ. На нее никто не обращаетъ вниманія. Она терпѣливо ждетъ. Наконецъ, одинъ габе подходитъ къ ней и грубо спрашиваетъ:

— Что тебѣ тутъ нужно?

— Мнѣ обѣщали свиданіе съ раби.

— Кто обѣщалъ? Раби не принимаетъ женщинъ.

Опытная уже просительница достаетъ изъ кошелька что нужно и почти насильно вручаетъ суровому габе. Онъ смягчается.

— Я постараюсь доложить раби и вымолить у него для тебя пріемъ. Ты не забудь положить раби на столъ десять разъ восемьнадцать червонцевъ ¹⁾. Иначе онъ тобою будетъ недоволенъ. Всѣ эти деньги раздадутся нищимъ, во искупленіе твоихъ - же грѣховъ.

¹⁾ Число восемнадцать имѣетъ таинственное значеніе у чудотворовъ, по той причинѣ, что слово хай (живой) заключаетъ въ своихъ двухъ буквахъ цифру восемнадцать.

Часа черезъ два растворяются двери рая. Еврейку грубо вталкиваютъ въ кабинетъ цадика и затворяютъ за нею дверь.

У стола сидитъ надутый, кудлатый шарлатанъ, одаренный импонирующею фізіономіей. На немъ бѣлый атласный кафтанъ, опоясанный такимъ-же поясомъ; на головѣ ермолка изъ бѣлой парчи. Предъ нимъ раскрыта громадная книга, но онъ не читаетъ. Голова его покоится на двухъ жирныхъ лапахъ; глаза закрыты. Онъ не обнаруживаетъ ни малѣйшаго признака жизни; онъ витаетъ гдѣ-то въ высшихъ сферахъ вселенной и бесѣдуетъ съ ангелами. Долго стоитъ просительница, незамѣчаемая цадикомъ, не спуская глазъ съ лица божественнаго человѣка. Вдругъ, неожиданно, быстро, цадикъ поворачиваетъ голову и окидываетъ грѣшницу бѣглымъ, презрительнымъ взглядомъ.

— Вонъ! реветъ онъ:—вонъ, отойди, безбожница! прочь съ моихъ глазъ, шлюха! Вонъ, вонъ!!

Несчастная, полумертвая отъ страха, не знаетъ что дѣлать, куда дѣваться. Но, къ счастью ея, вбѣгаютъ габоимъ, начинаютъ умаливать и упрашивать цадика. Наконецъ, онъ рѣшается уступить и заговорить съ грѣшницей по-человѣчески, хотя очень строго. Деньги давно уже вырваны сердобольнымъ габе изъ трепетныхъ рукъ еврейки и положены предъ цадикомъ. Цадикъ рассказываетъ грѣшницѣ всѣ подробности ея прошлой жизни, исчисляетъ совершенные ею грѣхи; онъ знаетъ всю подноготную и подробности дѣлъ ея мужа, число родившихся и умершихъ ея дѣтей и даже числа, въ которыя всѣ событія эти свершились. Съ неописаннымъ изумленіемъ и ужасомъ внимаютъ еврейка пророческимъ рѣчамъ святаго.

— Поживи здѣсь, несчастная, еще три недѣли. Покайся и спасай свою душу. Три понедѣльника къ ряду являйся ко мнѣ. Я вымолю твое спасеніе.

Три раза является арендаторша къ цадикѣ. Цѣлые дни она возится съ габоимъ и щедрою рукою расточаетъ водочную выручку своего мужа. Наконецъ цадикъ разрѣшаетъ ей уѣхать домой.

— Прощай, говорятъ онъ,—поѣзжай съ Богомъ. Черезъ годъ у тебя будетъ здоровый ребенокъ. Если перестанешь грѣшить, онъ будетъ долговѣченъ; если-же нѣтъ, я самъ прокляну его. Я собираюсь спасти вашъ край. Заверну, можетъ, и къ тебѣ. Передай мое благословеніе твоему мужу. Пусть онъ къ тому времени приготовить мнѣ такую-же сумму, какую ты мнѣ дала для бѣдныхъ!

Возвратилась счастливая арендаторша домой, и не черезъ годъ, а черезъ неполныхъ девять мѣсяцевъ разрѣшилась жирнымъ, здоро-

вымъ ребенкомъ. Родители въ восторгѣ, и отъ своего чада, и отъ великаго цадика. Къ обѣщанному времени удостоилъ ихъ и самъ цадикъ своимъ посѣщеніемъ. Великаго гостя, какъ и многочисленную его свиту, приняли по-царски, кормили, поили на убой и, вдобавокъ, одарили значительною суммою денегъ.

Арендаторъ и арендаторша были на седьмомъ небѣ отъ счастья и рассчитывали долго продержатъ у себя дорогихъ гостей. Но въ одинъ прекрасный день, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, цадикъ закапризничалъ и, несмотря на всѣ молебны гостепріимныхъ хозяевъ, уѣхалъ въ какомъ-то мрачномъ настроеніи духа.

Арендаторъ и арендаторша проводили, по обыкновенію, гостя. Возвратившись домой, они ужаснулись. Ребенокъ кричалъ изо всей мочи, метался во всѣ стороны какъ угорѣлый и не принималъ пищи. Что случилось съ ребенкомъ? не заболѣлъ-ли онъ? Призвали и бабокъ, и знахарей, и фельдшера, а облегченія никакого. Погибаетъ ребенокъ да и только. Что дѣлать?

— Поѣзжай тотчасъ за цадикомъ, приказываетъ арендаторша мужу:—и во что-бы то ни стало вороти его. Мы, вѣроятно, опять нагрѣшили и ребенокъ умретъ, если цадикъ не заступится за него.

Летитъ несчастный отецъ стремглавъ въ догонку за цадикомъ и настигаетъ его гдѣ-то. Настоятельно проситъ онъ его возвратиться и помочь горю, но цадикъ неумолимъ.

— Что я, сторожъ вашихъ дѣтей, что-ли? я свое обѣщаніе исполнилъ: жена родила здороваго ребенка. Если вы его погубили своими грѣхами, то пеняйте на самихъ себя.

Въ концѣ-концовъ цадикъ, однакожъ, уступаетъ обѣщаніямъ арендатора и съ цѣлымъ кагаломъ отправляется къ пациенту. Ребенокъ, между тѣмъ, докричался уже до того, что совершенно потерялъ голосъ и выбился изъ силъ. Цадикъ осматриваетъ его тщательно.

— Въ этомъ злосчастномъ ребенкѣ засѣла кляпа (нечистая сила). Убирайтесь всѣ отсюда и оставьте меня одного съ больнымъ. Кто будетъ подсматривать, за жизнь того я не ручаюсь.

Съ ужасомъ и закрывъ глаза всѣ выбѣгаютъ изъ комнаты. Втеченіи нѣсколькихъ минутъ раздается вдали страшный крикъ ребенка, какъ-будто его рѣжутъ. Всѣ, особенно мать, въ ужасной тревогѣ; но заглянуть туда, откуда раздается крикъ, никто не смѣетъ. Наконецъ, все замолкло и черезъ минуту входитъ торжественно цадикъ, неся на рукахъ успокоеннаго ребенка.

— Бери его! обращается онъ къ оторопѣвшей матери.—Онъ уже здоровъ. Накорми и уложи его спать. Въ первый разъ въ жизни мнѣ пришлось бороться съ такимъ сильнымъ и упорнымъ бѣсомъ!

Цадика осыпають золотомъ. Онъ уѣзжаетъ творить чудеса дальше. Объ этомъ дивномъ, моментальномъ леченіи разлетаются слухи съ электрической быстротою. Тупоумный народъ считаетъ этого святого чуть-ли не самимъ Мессією. Но ларчикъ просто открылся. Черезъ нѣсколько лѣтъ цадикъ этотъ имѣлъ неосторожность выгнать одного слишкомъ уже раскутившагося габе. Изъ мести, уволенный рассказалъ о всѣхъ шарлатанскихъ выходкахъ прежняго своего патрона, а въ томъ числѣ и объ описанномъ выше чудномъ леченіи. А именно: когда цадикъ съ своей свитой распрошались съ хозяевами и вышли садиться въ буду, то въ домѣ остался только спящій ребенокъ. Пользуясь этимъ случаемъ, одинъ изъ габоимъ подкрался къ ребенку и всунулъ ему острое ячменное зерно въ то мѣсто тѣла, для обозначенія котораго потребовалось-бы нѣкое латинское слово... Все леченіе заключалось въ томъ, что зерно было вынуто изъ воспаленнаго мѣста.

Цадики и ихъ безчеловѣчныя дѣянія внушаютъ мнѣ такое непреодолимое омерзеніе, что желательно было-бы за-разъ высказать о нихъ все, что ихъ характеризуетъ, и далѣе уже не касаться этого гнуснаго предмета. Съ этой цѣлью я позволю себѣ рассказать еще одинъ случай, который покажетъ моимъ читателямъ, до чего понятіе еврейской массы о природѣ и ея законахъ извращено, благодаря чудеснымъ явленіямъ, въ родѣ описаннаго выше.

Въ предшествующее царствованіе послѣдовалъ доносъ на рыженскаго цадика ¹⁾. Его обвинили въ шарлатанствѣ, въ эксплуатаціи еврейскаго люда. Цадика заключили въ крѣпость. Рыженскій раввинъ былъ очень богатъ. За него стояли горой всѣ польскіе евреи. Для него дѣлались складчины баснословныхъ размѣровъ. По слѣдствію, доносъ, конечно, оказался ложнымъ... Его оправдали и освободили.

Освобожденіе этого мученика-еврея наполнило восторгомъ всѣ сердца израильскаго стада. Цѣлый длинный рядъ дней извѣстный классъ евреевъ праздновалъ, пьянствовалъ, распѣвалъ самыя дикія пѣсни и плясалъ по улицамъ. Одинъ изъ моихъ знакомыхъ, проѣзжавшій въ ту пору чрезъ одно польское мѣстечко, случайно наткнулся на гурьбу неистовствующихъ польскихъ хасидимовъ.

¹⁾ Цадикъ этотъ былъ одинъ изъ самыхъ элегантныхъ между своей братіи. Онъ жилъ какъ вельможа, одѣвался щегольски, виѣзжалъ роскошно и вообще принадлежалъ къ числу отъявленныхъ бонвивановъ и сибаритовъ духовнаго цеха. Эта декорация, изящная наружность и гибкій житейскій тактъ привлекали къ нему единовѣрцевъ тысячами. Въ него вѣрили, какъ въ оракула.

Ему ничего неизвѣстно было объ этомъ великомъ событіи, а потому, удивившись подобному восторгу въ необычное время, онъ обратился къ толпѣ съ разспросами.

— Что вы, господа, такъ раскутились? сегодня вѣдь не праздникъ. Не свадьбу-ли празднуете?

— Вы кто: еврей или татаринъ?

— Ни то, ни другое. Я нѣмецъ.

— Развѣ нѣмецъ! А то, павѣрное, знали-бы о томъ, что случилось съ нашимъ великимъ рыженскимъ раввиномъ.

— Что-же съ нимъ случилось?

— А вотъ что случилось. На рыженскаго цадика какіе-то доносчики (да сотрутся ихъ имена съ лица земли) написали доносъ. Они обвинили его въ мошенничествѣ (его въ мошенничествѣ!! ой веѣ миръ!) и цадика посадили въ крѣпость. Но онъ у насъ не такой; шутить не любить. Его выпустили надняхъ. Онъ и выходить не хотѣлъ. Его едва упросили.

— Почему же онъ выходить не хотѣлъ?

— Онъ уже очень, очень разсердился.

— Чего-же онъ разсердился?

— Меня, цадика, осмѣлится посадить въ острогъ! кричалъ онъ, и ни за что не хотѣлъ выйти.

— Наконецъ?

— Ну, наконецъ, вышелъ. Его упросили.

— Кто-же упросилъ?

— Полиція и генераль-губернаторъ долго, очень долго просили, но это не помогало. Наконецъ, сами евреи собрались цѣлымъ багаломъ и пошли его умолять.

— Странно, насмѣшливо замѣтилъ мой знакомый:—сколько мнѣ извѣстно, полиція скорѣе проситъ войти, чѣмъ выйти.

— Гм... А знаете, какъ было дѣло?

— Нѣтъ. Расскажите.

— Однажды нашъ великій министръ ѣхалъ куда-то ночью. Вдругъ онъ очутился въ дремучемъ лѣсу. Лошади стали и ни съ мѣста, а у кучера отнялись руки, такъ что и кнута поднять не можетъ. Министръ перепугался до смерти, выскочилъ изъ тарантаса и хотѣлъ бѣжать, какъ вдругъ предъ нимъ огненный ангелъ съ большущею огненною саблею въ рукѣ. „Выпусти изъ тюрьмы моего цадика, вскричалъ ангелъ, или...“ „Ой веѣ, выпущу!“ пообѣщался великій министръ. Теперь вы понимаете, почему и полиція, и самъ генераль-губернаторъ такъ упрашивали цадика выйти изъ крѣпости?

— Да это-то я понимаю, но не понимаю я вотъ чего. Къ чему вы, добрые люди, прибѣгаете къ чудесамъ? Почему не объясните себѣ дѣло гораздо проще? Вашъ рыженскій цадикъ—честный еврей. Его напрасно оклеветали, по слѣдствію онъ оказался невиновнымъ и его освободили.

— Гм... это такъ. Но все-таки съ ангеломъ выходитъ какъ-то *натуральнѣе*.

Но самъ рыженскій цадикъ вѣрилъ въ свою силу гораздо меньше, нежели его приверженцы. Онъ, въ скорости послѣ освобожденія изъ крѣпости, удралъ за-границу, куда-то въ Галицію. Еще недавно сынъ этого цадика волновалъ умы евреевъ, то отрекаясь отъ своего титула святого, какъ отъ преступнаго шарлатанства, то опять хватаясь за него. Евреи не удивлялись его честной борьбѣ съ самимъ собою, а прокричали его сумасшедшимъ.

Продолжаю свой разсказъ.

Уже давно пронеслись слухи о быстромъ приближеніи къ городу Л. холеры. Въ городѣ разносились и раздавались полиціей печатныя инструкціи, указывающія публикѣ образъ жизни, питанія и предохранительныя средства, какія необходимы во время эпидеміи. Полицейскіе агенты ежедневно навѣщали домохозяевъ, справляясь о здоровьѣ жильцовъ и выпивая весь домашній водочный запасъ. Но въ нашей жизни все не было никакой перемѣны. Та-же фасольная похлебка, то-же заутреннее долбленіе.

— Ни холера, ни чума не страшны для тѣхъ, которые посвятили себя Іеговѣ и Его Торѣ, утѣшалъ насъ скупой педагогъ-рестораторъ.

Между тѣмъ холера свирѣпствовала въ окрестности Л. и въ одну прекрасную ночь заявила о своемъ благополучномъ пріѣздѣ въ самый городъ цѣлою сотнею смертныхъ случаевъ. Учитель струслилъ. Онъ далъ отставку и Торѣ, и постной, фасольной похлебкѣ. Мы жили по инструкціи, и жили на славу. Мы пользовались порядочнымъ столомъ, полною свободою и невозмутимымъ сномъ. Учитель былъ занятъ цѣлые дни въ холерныхъ еврейскихъ комптетахъ, гдѣ онъ состоялъ бесплатнымъ членомъ, и за что, ежедневно, приобреталъ изъ еврейской больницы всѣ капли, экстракты для оттиранія и даже чай и сахаръ. Надобно предполагать, что, намучившись долго въ неволѣ, человѣкъ начинаетъ цѣнить свободу выше самой жизни. Несмотря на страшную косовицу, производимую холерой вокругъ насъ, не обращая вниманія на сотни мертвецовъ, съ которыми мы сталкивались на каждомъ перекресткѣ, мы безбоязненно шныряли цѣлые дни по улицамъ

и чувствовали себя совершенно счастливыми. Мысль объ опасности и въ голову не приходила.

Еврейское общество вообще, а холерные его комитеты въ особенности, были необыкновенно дѣтельны въ эту печальную эпоху. За всѣмъ тѣмъ, низшее сословіе еврейскаго населенія мерло какъ мухи. Гуманные дѣтели могли употребить всѣ зависящіе отъ нихъ средства къ подачѣ медицинской и гигиенической помощи заболѣвающимъ, но не въ состояніи были предоставить всѣмъ бѣднякамъ просторныя, чистыя жилища и здоровую пищу. Бѣдность даетъ обширное право на смерть, и бѣдные люди, при всякомъ случаѣ, пользуются этимъ *единственнымъ* своимъ правомъ. Синагоги были цѣлые дни наполнены усердно-молящимися. Говорились частыя проповѣди, учреждались общественные посты и чтанія псалмовъ, но всѣ эти мѣры оставались безсильными противъ орудія кары небесной, противъ опустошающей, страшной смерти. Евреи были въ отчаяніи.

Въ городѣ Л. разнеслись радостныя слухи о скоромъ пріѣздѣ какого-то цадика, хотя еще молодого, но уже прославившагося своими чудодѣянiami по всему еврейскому міру. Особенно онъ славился своей спеціальностью по части изгнанія холеры, которая, по словамъ хасидимовъ, боялась цадика хуже чумы. Поговаривали, что онъ обладаетъ противъ холеры какими-то специфическими, таинственными средствами, отъ которыхъ холера удирала безъ оглядки. Возрадовался еврейскій людъ радостью великою. Общество еврейское послало ему на встрѣчу цѣлую депутацію, которая обязана была ускорить его пріѣздъ и, въ качествѣ почетнаго караула, проводить его до города. Цадику приготовлена была квартира со всѣми удобствами. Для него дѣлались складчины. Наконецъ, насталъ великій день торжественнаго вступленія его во врата города. Евреи высыпали цѣлыми толпами встрѣчать великаго мужа. Въ числѣ любопытныхъ былъ, конечно, и я. Истиннаго значенія цадиковъ я тогда еще не понималъ. Съ чувствомъ робости и страха я осмѣлился поднять глаза на чуднаго Геркулеса, побѣждающаго самого ангела смерти въ лицѣ холеры. Я ожидалъ встрѣтить атлета, и, къ удивленію моему, увидѣлъ маленькаго, изсохшаго еврейчика, съ лицомъ, похожимъ, какъ цвѣтомъ, такъ и формою, на сильно сплюснутый и выжатый лимонъ. Этотъ микроскопическій герой въ своей громадной польской будѣ занималъ столько-же мѣста, сколько занимаетъ муха въ пустомъ пространствѣ большого горшка. Съ нимъ въ будѣ сидѣло два очень толстыхъ и жирныхъ помощника. Съ триумфомъ толпа евре-

евъ довела его до квартиры, и цѣлые дни затѣмъ евреи входили и выходили отъ него. Толпы женщинъ и ребятишекъ, съ утра до вечера, околачивались возлѣ того дома, гдѣ жилъ цадикъ, чтобы какъ-нибудь, хоть мелькомъ, насладиться его лицезрѣніемъ. Холера, между тѣмъ, какъ-будто не замѣчая присутствія своего властелина, продолжала свою свирѣпую работу.

Цадикъ, отдохнувъ дня два отъ дороги, приступилъ къ экспериментамъ по части изгнанія холеры. Эксперименты эти начались великимъ, самымъ строгимъ постомъ, продолжавшимся цѣлые сутки. Впродолженіи этого поста евреи и еврейки почти не выходили изъ синагогъ, усердно молились и распѣвали псалмы. Въ заключеніе цадикъ произнесъ проповѣдь. Проповѣдь цадиковъ ни въ чемъ не похожа на обыкновенныя проповѣди духовныхъ особъ какихъ-бы то ни было религій. Цадики не проповѣдуютъ, а сколастинчаютъ. Они не сочиняютъ своихъ публичныхъ рѣчей, не импровизируютъ и не соображаютъ приводимые тексты съ даннымъ случаемъ,—но вызубриваютъ проповѣдь, оставшуюся отъ отца, дѣда или другого, жившаго за сто лѣтъ передъ тѣмъ, цадика, и пародируютъ эту мудрость впродолженіи цѣлаго духовнаго своего поприща. Все дѣло тутъ въ варіаціяхъ, софизмахъ и каббалистическихъ теоремахъ, которыя испещряются смѣшными гримасами, кривляньями, вздохами и вскрикиваніями. Аудиторія, за исключеніемъ двухъ-трехъ ученыхъ хасидимовъ, ровно ничего не понимаетъ изъ всего этого слобонизверженія. Большею частью не понимаютъ даже и хасидимы, да и самъ цадикъ почти никогда самого себя не понимаетъ, тѣмъ не менѣе еврейская публика приходитъ въ неописанный восторгъ отъ этихъ проповѣдей.

— Ты былъ на проповѣди цадика? спрашиваетъ еврей сапожникъ своего сосѣда, еврея портного.

— Еще-бы! Я да не буду!

— Какъ тебѣ нравится его Тора?

— Какъ мнѣ нравится?—это чудо!

— Да, сосѣдъ. Это истинное чудо. Я подобной мудрой Торы еще никогда не слышалъ.

— И я. Какъ жаль, что я не ученый. По правдѣ сказать, я ничего не понялъ.

— Ты не понялъ? На что понимать? развѣ и такъ не видно?

— Это правда. Я подмѣтилъ, что нашъ знаменитый хасидъ N до того изумился глубинѣ этой Торы, что его выпученные глаза чуть не треснули отъ натуги.

— Какъ не треснуть? помилуй! тутъ голова треснетъ, не только глаза.

— А замѣтилъ ты, какъ потъ лился по лицу цадика?

— Еще-бы! Миѣ казалось, что вотъ-вотъ Богъ приметъ его святую душу.

— Ужась, какъ хорошо!

— Ай вай, ай вай, какъ хорошо!!

Одну изъ подобныхъ Торъ, отъ которыхъ трескаются и глаза, и голова, и всякій здравый смыслъ, произнесъ мизерненькій цадичекъ, и привелъ въ восторгъ всѣхъ сапожниковъ и портныхъ. Еврейскія бабы, прячась за женскою перегородкою синагоги, плакали навзрыдъ. Въ заключеніе спектакля онъ произнесъ какое-то очень крѣпкое и длинное заклинаніе противъ холеры. Онъ выпустилъ публику, увѣривъ ее, что очень часто эпидемія удираетъ уже послѣ этого перваго опыта.

Во время поста, втеченіи цѣлыхъ сутокъ, смертныхъ случаевъ было, относительно, гораздо меньше. Очевидно, холера струсила не только предъ заклинаніемъ цадика, но передъ однимъ его присутствіемъ. Евреи ликовали. Ликовалъ больше всѣхъ самъ цадикъ: ему городская депутація изъяснила не только словесную благодарность, но и денежную. Однако радость евреевъ была преждевременна. Дня чрезъ три холера, съ характеризующею ее порывистостью, заявила себя самымъ варварскимъ образомъ. Тогда кагалъ вновь возопилъ къ своему спасителю—цадику.

Наступила очередь второго опыта. Но для опыта этого требовался мертвецъ, изъ касты когоновъ. Въ цѣлой кастѣ когоновъ города Л. ни одного римскаго Курція не оказалось; никто не хотѣлъ нарочно умирать для блага общества. Наконецъ, сама холера, какъ-бы въ насмѣшку надъ самообольщеніемъ цадика, задушила одного старика когона, горьчайшаго пьяницу города Л. Цадикъ занялся самъ его погребеніемъ. Онъ возложилъ на мертвеца почетное порученіе земного посланника. Долго шепталъ онъ мертвецу на ухо свои изустныя наставленія, какъ долженъ онъ себя вести, явившись предъ верховнымъ судомъ, и въ какихъ выраженіяхъ обязанъ представлять за еврейское общество. Процессъ шептанія продолжался довольно долго. Мертвецъ внимательно, молча его слушалъ. Еврейское общество, обрамливавшее эту оригинальную сцену, съ выпученными глазами смотрѣло на живого человѣка, серьезно бесѣдовавшаго съ мертвецомъ. Цадикъ, окончивъ переговоры съ своимъ посланникомъ, вручилъ мертвецу письменное прошеніе къ верховному суду. Онъ опасался, чтобы

когона не сочли самозванцемъ. Содержаніе этого страннаго письменнаго документа было приблизительно слѣдующее:

„Мы, нижеподписавшіеся, земной судъ, именемъ Творца неба и земли, именемъ Создателя четырехъ стихій, солнца, луны и звѣздъ небесныхъ, именемъ небеснаго Отца всѣхъ ангеловъ, демоновъ, созданій земныхъ, подземныхъ, воздушныхъ и подводныхъ, именемъ Великаго Іеговы, умоляемъ и заклинаемъ тебя, о, Судъ верховный, уничтожить заразительную эпидемію (магефа) и испѣлать сыновъ Израиля отъ всѣхъ недуговъ и злыхъ болѣзней, обративъ таковыя на голову ихъ заклятыхъ враговъ, идолопоклонниковъ, во славу Господа и во славу Израиля, во вѣки вѣковъ. Амины!“

Документъ этотъ былъ скрѣпленъ подписью цѣлаго временнаго суда подъ предсѣдательствомъ самого цадика. Почетный мертвецъ-посланникъ съ необычными церемоніями и экстраординарными обрядами былъ похороненъ, въ присутствіи цѣлаго еврейскаго народонаселенія города, въ восточномъ углу стараго кладбища. Затѣмъ цадикъ, взобравшись на свѣжую насыпь, произнесъ проповѣдь, въ родѣ описанной уже мною. По окончаніи ея онъ повелѣлъ все стадо Израиля обратно въ городъ, напѣвая по дорогѣ цѣлымъ обществомъ псалмы. Евреи, доведшіе цадика домой, уничтожили цѣлое ведро водки и разбрелись по домамъ, въ ожиданіи результата сношенія между земнымъ и верховнымъ судами.

Прошла цѣлая недѣля въ напрасномъ ожиданіи. Выборъ-ли посланника былъ неудаченъ, не посмѣлъ-ли пьяный парламентаръ явиться куда ему приказано было, заснулъ-ли онъ непробуднымъ сномъ послѣ шестидесятилѣтняго пьянства, или прощеніе не было принято, по незасвидѣтельствованію такового въ полиціи,—но и этотъ опытъ цадика оказался недѣйствующимъ. Хомера озлилась и душила евреевъ безъ всякаго милосердія.

Вѣра въ цадика не ослабилась; великій магъ и волшебникъ приступилъ къ третьему опыту. Онъ перенесъ планъ своихъ дѣйствій непосредственно на самое кладбище. Черезъ своихъ помощниковъ нанялъ онъ какого-то отставнаго русскаго солдата и далъ ему слѣдующее порученіе:

— Ты стой цѣлый день у воротъ кладбища. Когда принесутъ мертваго, то спроси: „куда вы?“ тебѣ отвѣтять: „на кладбище“. „Зачѣмъ?“ тебѣ скажутъ: „мертваго хоронить“. „Кто онъ такой?“ тебѣ отвѣтять: „еврей“. Тогда ты крикни: „Вонъ отсюда! для евреевъ здѣсь мѣста нѣтъ!“

— Слушаю-съ, господинъ купецъ, согласился солдатъ, получившій за это цѣлый серебряный рубль.

Гробовщикамъ. (Хевра Кадиша) дана была соотвѣтственная инструкция. Они обязаны были, втеченіи цѣлыхъ сутокъ, нести обратно мертвецовъ, невпускаемыхъ черберомъ-солдатомъ, и хранить ихъ до будущаго дня въ общественной комнатѣ. Опытъ этотъ, однакожь, кончился самымъ скандальнымъ образомъ. Отставной солдатъ, импровизированный швейцаръ кладбища, оказался отъявленнымъ пьяницей и дерзкимъ животнымъ. На полученный рубль онъ успѣлъ такъ напѣзаться, что хотя, по сдѣланной уже привычкѣ, и стоялъ на своемъ постѣ, вытянувшись въ струнку, но роль свою окончательно спуталъ. Принесли мертваго.

— Вы куда ломитесь, каналы? заревѣлъ онъ на гробовщиковъ.

— Мертваго несемъ, отвѣтили ему.

— Врешь. Какого мертваго? спохватился солдатъ, вспомнивъ смутно что-то изъ выученной роли.

— Еврея.

— Жиды? тащи его, братцы! мѣста достаточно. На всѣхъ живовъ хватить!

Еврей, какъ легко себѣ можно вообразить, ошетинился и набросился съ разными упреками и ругательствами на отставного служаку. Военская амбіція закипѣла въ обиженномъ стражѣ; онъ началъ расправу и гробовщики, струсивши, разбѣжались, бросивъ мертвеца у воротъ кладбища.

Еврей ужасно смутился отъ этихъ неудачъ. Нѣкоторые смѣльчаки начали втихомолку сомнѣваться во всемогуществѣ цадика.

— Вотъ несчастье! застоналъ одинъ полундіотъ:—въ другихъ городахъ уходила холера, какъ только цадикъ ей приказывалъ, а тутъ дѣлаетъ и то и другое, а она, проклятая, ни съ мѣста.

— Сомнѣваюсь, слушалась-ли она и въ другихъ городахъ, осмѣлился робко замѣтить одинъ еврейскій факторъ, слышшій вольнодумцемъ.

— Какъ-же ты смѣешь сомнѣваться, поганецъ? Это очевидно. На наше несчастье попались, какъ нарочно, и когонъ-пьяница, и солдатъ-пьяница. Попадись другіе, мы, конечно, давно были-бы свободны отъ нашего горя.

— Если цадикъ видитъ все то, что происходитъ на землѣ и небѣ, какъ увѣряютъ хасидимы, то какъ-же онъ не видѣлъ, кого выбираютъ? какъ-же онъ выбралъ такихъ пьяницъ, испортившихъ все дѣло?

— Не думаешь-ли ты, что цадикъ и въ кабаки станетъ заглядывать?

— Не знаю. Сомнѣваюсь, впрочемъ, чтобы цадикъ былъ сильнѣе холеры.

— Сильнѣе, сильнѣе. Увидишь самъ, что рано или поздно, а холера уйдетъ отсюда.

— Уйдетъ-то уйдетъ, но когда она уйдетъ?

Цадику ничего не оставалось дѣлать для возстановленія своей репутаціи, какъ прибѣгнуть къ новому эксперименту. Онъ приказалъ отыскать двухъ бѣдныхъ сиротокъ, мальчика и дѣвушку, и обвѣнчать ихъ на кладбищѣ. Подобную драгоцѣнность въ еврейскихъ обществахъ никогда не трудно отыскать. Вѣнчаніе назначено было въ пятницу; съ самаго ранняго утра евреи, еврейки, старъ и малъ, стекались со всѣхъ сторонъ къ мѣсту таинственнаго церемоніала. На кладбищѣ служилось молебствіе и пѣлись псалмы, а къ обѣденному времени привели жениха и невѣсту, великолѣпно разодѣтыхъ въ чужія платья. Ихъ обвѣнчалъ подъ балдахиномъ самъ цадикъ. Затѣмъ произнесъ онъ одну изъ своихъ ~~мудравыхъ~~ проповѣдей.

— Братья! воскликнулъ онъ по окончаніи всѣхъ церемоній:— поздравляю васъ, холеры нѣтъ, холеры нѣтъ, холеры нѣтъ! Возрадуемся и возликуемъ. Пейте, ѣшьте и спокойно встрѣчайте наступающій день субботній ¹⁾.

Пошелъ пиръ горой. Не откладывая въ длинный ящикъ, вѣрующіе евреи, предводительствуемые самимъ цадикомъ и хасидимами, принялись тутъ-же, на кладбищѣ, за припасенную сивуху и хватили сразу черезъ край. Новобрачныхъ, съ триумфомъ, въ сопровожденіи оркестра, повели въ назначенную для нихъ временную квартиру. Громадная толпа евреевъ, развеселившаяся и отъ водки, и отъ увѣренности въ избавленіи отъ эпидеміи, распѣвала заунывные пѣсни. На каждомъ шагѣ встрѣчались погребальныя процессіи и русскихъ, и евреевъ. Странно было видѣть однихъ, несущихъ свою горькую скорбь на кладбище, и другихъ — вынесшихъ оттуда-же дикую радость. По субботамъ смертныхъ случаевъ вообще было

¹⁾ Замѣчательный этотъ цадикъ-экспериментаторъ—лицо невымышленное. Онъ явился въ городѣ Каменецъ-Подольскѣ во время холеры пятидесятихъ годовъ и творилъ тамъ описываемыя мною чудеса. Евреи, убѣдившись, наконецъ, въ его шарлатанствѣ, отдали его, какъ *пойманника*, въ рекруты. Но и въ военной службѣ онъ не оставилъ своего магическаго жезла. Онъ, съ разрѣшенія своего непосредственнаго начальника, продолжалъ творить чудеса, привлекалъ и обирая еврейскую толпу, стремившуюся къ солдату-цадику. Въ такомъ видѣ онъ явился въ городѣ П. въ исходѣ пятидесятихъ годовъ.

больше, чѣмъ въ будни; евреи по субботамъ не готовятъ обѣда, а ѣдятъ то, что приготовлено отъ пятницы: понятно, что несвѣжая пища вредно дѣйствовала на этихъ бѣдняковъ. Но въ эту субботу, въ которую большая часть вѣрующихъ въ цадика евреевъ отбросила всякую умеренность въ пищѣ и питьѣ, смертность увеличилась въ десять разъ больше. Поднялся такой гвалтъ въ еврейскихъ кварталахъ, что взволновалъ всѣхъ жителей города.

Чудеса цадика не возымѣли дѣйствія. И онъ, вѣроятно, прибѣгнулъ-бы къ новымъ опытамъ, если-бы не помѣшала административная власть. Нѣкоторые изъ врачей донесли начальнику губерніи о страшномъ вредѣ, причиняемомъ цадикомъ народонаселенію. Начальникъ губерніи командировалъ своего чиновника особыхъ порученій. Нежданно-негаданно, оцѣпили квартиру цадика солдатами, обыскали его, наличныя деньги вручили городничему на вѣчное храненіе, а самого чудотвора схватили и сдали въ этапную команду.

На другой день отправлялся этапъ. Вокругъ полиціи проходу не было отъ евреевъ, глазѣвшихъ съ самаго утра на врата полиціи, которыя должны развертываться предъ цадикомъ-мученикомъ. Когда цадика, скованнаго вмѣстѣ съ какимъ-то бродягой, вывели изъ полицейскаго двора, одинъ факторъ, у котораго въ предыдущую ночь холера уложила жену, съ ядовитой улыбкой приблизился къ арестанту и насмѣшливо спросилъ:

— Раби, кто сильнѣе: холера или цадикъ?

— Квартальный! отвѣтилъ цадикъ, поднявъ глаза къ небу.

Онъ еще что-то сказалъ, но бой барабановъ не далъ разслушать его слова.

VIII.

Баго лесъ (смуты).

15.3.29.

Предсказаніе несчастнаго цадика сбылось: холерный періодъ миновалъ, потому что долженъ-же онъ былъ когда-нибудь миновать. Жизнь города Л. мало-по-малу начала вступать опять въ свою обыкновенную колею. Во все время продолженія эпидеміи мелочныя житейскія заботы притихли и уступили мѣсто всеяльному инстинкту самосохраненія; всякій цѣлко хватался за самую жизнь, забывая о ея мелочныхъ ежеминутныхъ запросахъ, превращающихъ жалкое существованіе бѣдняка въ невыносимую каторгу. Съ минованіемъ главной опасности, опять выступили на сцену суета, бѣ-

готня и гоньба за грошами; опять закружился еврейскій людъ въ вихрѣ мелочныхъ заработковъ и копеечной торговли; опять закружились и наши ученическія головы отъ талмудейской вычурной премудрости. Пока жизнь каждаго висѣла на волоскѣ, никто глубоко не чувствовалъ опустошенія, произведеннаго холерою, но когда успокоилось собственное я, тогда всякій, потерпѣвшій въ этотъ несчастный періодъ какое-нибудь крушеніе, живо почувствовалъ всю глубину потери. Въ одномъ семействѣ не досчитывались отца или матери, или того и другой, въ другомъ недоставало братьевъ и сестеръ, въ нѣкоторыхъ семействахъ исчезли супруги, родственники, друзья и знакомые. Вездѣ раздавался плачъ, вездѣ слышались вздохи, вездѣ воцарилась глубокая грусть и уныніе.

Еврейская община часто сходилась въ синагогу. Обсуждались вопросы, какъ помочь семействамъ, лишившимся опоры, какъ обезпечить сотни сиротъ отъ голодной смерти. Еврейская община города Л. состояла большею частью изъ бѣдняковъ и голышей, но, несмотря на это, бѣдняки дѣлили послѣднимъ грошемъ, послѣдней коркой хлѣба съ тѣми, которые были еще бѣднѣе, еще безпомощнѣе. Подобные примѣры братства и самопожертвованія повторяются сплошь да рядомъ въ еврейскихъ обществахъ до сихъ поръ. Вотъ за что нельзя еврею не любить и не уважать своей націи. За эту великую черту добродѣтели и человѣколюбія да простится ей многое.

Черезъ городъ Л. въ это печальное время проѣзжалъ еврей-подрядчикъ. О его богатствѣ гремѣлъ весь еврейскій міръ; его кошельку придавались какіе-то баснословные размѣры, а потому много разсчитывалось на его щедроту. Депутація общества представилась ему и умолила остаться дня на два для того, чтобы, въ качествѣ умнаго и опытнаго предсѣдателя, руководить окончательными засѣданіями, назначенными для обезпеченія существованія нищихъ. На его умъ, положимъ, никто не разсчитывалъ, да въ немъ и не нуждались особенно; нуженъ былъ его предполагаемо-объемистый бумажникъ. Чванливый подрядчикъ попался на эту удочку и принялъ на себя санъ предсѣдателя засѣданій, не взирая на то, что, по его словамъ, всякая минута для него была дорога, что его призывали срочныя дѣла. Засѣданіе было назначено на другой день утромъ, въ большой синагогѣ, о чемъ немедленно и было сообщено всѣмъ, кому о семъ вѣдать надлежитъ. О предстоящемъ событіи узналъ, конечно, весь городъ.

Учитель мой былъ не только однимъ изъ дѣятелей, но даже однимъ изъ краснорѣчивѣйшихъ членовъ депутаціи. Ко дню настоя-

шаго засѣданія мы, ученики, были распущены на цѣлый день. Въ синагогу валило народу видимо-невидимо. Втиснулся и я туда, и забрался на самое удобное мѣстечко, вблизи эстрады, вцѣпившись за ея рѣшетку и съ стонческимъ терпѣніемъ выдерживая натискъ и толчки взрослыхъ, желавшихъ отодвинуть меня назадъ.

Синагога была биткомъ набита. Сплошная масса не могла двинуться ни въ какую сторону, какъ сардинки въ жестянкѣ. Всѣ стояли на ногахъ, кромѣ малолѣтнихъ сиротъ обоего пола, размѣщенныхъ по скамьямъ и обрамливавшихъ своими блѣдными, изнуренными личиками всю синагогу, какъ черный креплъ — траурную шляпу. Картина была поразительна своимъ грустно-мрачнымъ колоритомъ: на эстрадѣ засѣдали уже дюжины двѣ почетнѣйшихъ членовъ еврейскаго общества, окидывавшихъ взорами толпу и вздыхавшихъ поминутно на различные тоны и лады; толпа, уныло опустивъ головы, молчала, такъ-что во всей синагогѣ не слышно было ни одного звука, кромѣ шуршанія бумажныхъ кафтановъ и топота переминающихся ногъ; сиротки голодно и плачевно смотрѣли на всѣхъ, какъ-будто ожидая немедленной подачи. Въ окнахъ синагоги, съ улицы, виднѣлись десятки женскихъ плаксивыхъ лицъ, блѣдныхъ, беспомощныхъ вдовъ, старавшихся, но безуспѣшно, задуть свои рыданія. Все было готово къ началу засѣданія, ожидали только прихода предсѣдателя-подрядчика, который, для пущей важности, заставлялъ ждать себя. Засѣдавшіе на эстрадѣ съ видимымъ нетерпѣніемъ посматривали на дверь синагоги, не появится ли, наконецъ, великая звѣзда добавочныхъ смѣтъ. А между тѣмъ прислужникъ синагоги откуда-то втащилъ на эстраду мягкое, но обшарпанное и отжившее кресло, коротко знакомое съ присутствіемъ мухъ многихъ поколѣній, выдвинулъ его на самое видное мѣсто, поставилъ на столъ чернилицу, положилъ нѣсколько очиненныхъ гусиныхъ перьевъ и пачку блѣлой бумаги, возлѣ которой помѣстилъ большую жестяную кружку съ прорѣзаннымъ отверстіемъ на крышкѣ.

— Идетъ! Гвиры ¹⁾ идетъ! раздалась радостная вѣсть по синагогѣ.

„Какъ протѣснится онъ?“ подумалъ я, окинувъ взоромъ сплошную массу сотни головъ, наполнявшихъ синагогу.

Но онъ прошелъ. Толпа засуетилась, понатужилась и очистила гостю дорогу. Я здѣсь въ первый разъ убѣдился, до какихъ раз-

¹⁾ Гвиры—магнатъ. Этимъ титуломъ величаютъ еврея своихъ первоклассныхъ богатей.

мѣровъ бѣдность эластична и до чего она способна съжаться предъ богатствомъ...

Въ первый разъ въ моей жизни увидѣлъ я богатаго еврея. Еще въ деревнѣ, въ раннемъ дѣтствѣ, мнѣ часто приходилось слышать отъ мужиковъ и отъ бабъ: „богатъ, какъ жидъ“, но это были, по-видимому, пустыя слова. Съ тѣхъ поръ я перевидѣлъ множество евреевъ и всѣ, какъ нарочно, попадались одинъ бѣднѣе другого. „Гдѣ-же эти богатые жида? думалъ я однажды;—вѣроятно, гдѣ-то очень далеко, тамъ, гдѣ имъ хорошо, привольно и свободно?“ Но существуетъ-ли подобная обѣтованная земля, гдѣ моимъ братьямъ было-бы привольно и свободно, я сомнѣвался тогда, сомнѣваюсь и теперь. Я во многомъ, очень многомъ сомнѣвался съ дѣтства, а созрѣвши убѣдился, что и было въ чемъ усомниться.

Богатый еврей, это восьмое для меня чудо, былъ довольно благообразенъ, одѣтъ роскошно, хотъ платье его и было еврейскаго покроя. Въ манерахъ его обнаруживалась оріентальная важность, въ рѣчахъ—самоувѣренность и безапелляціонность. При появленіи его на эстрадѣ всѣ засѣдающіе съ особеннымъ почтеніемъ встали и привѣтствовали его. Онъ усѣлся на мягкомъ креслѣ.

— Извините, любезные братья, что я заставилъ васъ такъ долго ждать. Я долженъ былъ отправить нѣсколько эстафетъ въ разные мѣста. Вы знаете, что съ казной не шутятъ.

Во время оно подрядчики, на самомъ дѣлѣ, обирали казну не на шутку.

— Помилюйте, гвиръ, смѣемъ-ли мы роптать на васъ за такіе пустяки послѣ той жертвы, которую вы принесли намъ, остановившись для насъ на пути, отвѣтилъ одинъ изъ членовъ.

— Не для насъ гвиръ остановился, а для Бога, для этихъ бѣдныхъ сиротъ, для этихъ скорбищихъ вдовъ! добавилъ одинъ политикъ, указывая рукою на описанную мною выше картину.

Въ синагогѣ слышалось множество глубокихъ вздоховъ, женскія рыданія раздались явственнѣе прежняго.

— Да наградить васъ Богъ за вашу добродѣтель!

— Да увеличится ваше богатство во сто кратъ!

Пожеланія и комплименты посыпались на гвира градомъ и, какъ видно, наэлектризовали его порядкомъ.

— Братья! благодарю, тысячу разъ благодарю васъ! Но не будемъ тратить времени и приступимъ къ дѣлу. Чѣмъ могу я быть вамъ полезенъ?

— Совѣтомъ, мудростью и...

— Деньгами, докончилъ догадливый подрядчикъ.—Да, день-

ги—великая вещь для еврея. Это его сила, права и чины, добавилъ онъ задумчиво.—Я вижу, что вы, господа, умно распорядились. Вотъ кружка, въ которую я вкладу пятьсотъ...

Въ синагогѣ поднялся гвалъ. „Пятьсотъ! пятьсотъ! девятьсотъ, пять тысячъ!“ сообщалось однимъ другому. Сиротки спрыгнули со скамей, выраженіе вдовьихъ лицъ въ мигъ измѣнилось. Подрядчикъ досталъ деньги изъ бумажника и съ разстановкой втиснулъ крупныя ассигнаціи въ отверстіе кружки.

— Братья! обратился онъ къ публикѣ:—послѣдуйте моему примѣру. Каждый чѣмъ Богъ послалъ. Трудовая мѣдная копейка въ глазахъ Бога дороже иной тысячи. Не стѣсняйтесь-же.

Сначала послѣдовали примѣру подрядчика члены засѣданія. Въ числѣ членовъ находился и мой учитель. Я зорко слѣдилъ за нимъ. Къ немалому моему удивленію, онъ на этотъ разъ не прикрылся обычнымъ своимъ лицемѣріемъ, а бросилъ въ кружку три настоящихъ серебряныхъ рубля, показавъ ихъ предварительно всей публикѣ. Затѣмъ вся публика, съ особенной готовностью, начала протискиваться; каждый старался предупредить другого. Тѣ, которые убѣждались въ совершенной невозможности добратся до кружки, передавали свою лепту черезъ другихъ и лепта эта исправно доходила до мѣста назначенія. Въ скорости кружка до того наполнилась, что приношенія влились уже просто на столъ. Открыли кружку и высыпали на столъ всѣ деньги, чтобы ихъ считать.

И—странное дѣло!—въ цѣлой кучѣ монетъ не оказалось ни одной мѣдной. Смотри на эту толпу обшарпанныхъ бѣдняковъ, нельзя было предполагать подобной щедрости. Какъ видно, всѣ до того увлекались братскимъ чувствомъ, что перестали разсчитывать и соображаться съ собственными средствами.

— Братья! сказалъ подрядчикъ, указывая на груду денегъ:—вотъ истинная набожность! Богъ, покровитель вдовъ и сиротъ, вознаградитъ васъ сторицею. Но наше дѣло еще не кончено. Кто желаетъ и чувствуетъ себя въ силахъ, слѣдуй моему примѣру!

Онъ схватилъ перо и расчеркнулся на листѣ бумаги.

— Деньги, собранныя тутъ, еще далеко недостаточны на прокормленіе всѣхъ нуждающихся въ вашемъ обществѣ. Кто желаетъ, пусть подпишется на этомъ листѣ, сколько онъ жертвуетъ еженедѣльно, по крайней мѣрѣ, въ продолженіи года.

Опять началась давка. Всѣ подписывались съ большимъ рвеніемъ. Суматоха эта продолжалась около часа.

— Пустите насъ, ради Бога пустите! раздались гдѣ-то въ сина-

гогѣ грубые голоса. Взоры всѣхъ обратились въ ту сторону, откуда слышны были эти голоса. Черезъ нѣсколько минутъ протиснулось нѣсколько евреевъ самаго дикаго вида, чуть-ли не въ рубищахъ, и взошли на эстраду.

— Говори, Янкель! приказали они одному изъ товарищей, вытолкнувъ его впередъ:—ты лучше насъ скажешь.

— Мы—водовозы, сказалъ Янкель робкимъ, дрожащимъ голосомъ.—У насъ, кромѣ кулаковъ, ничего нѣтъ. Наличной мѣдной копейки при душѣ не имѣемъ. Но мы тоже евреи; запишите же и насъ безграмотныхъ. Каждый изъ насъ беретъ, въ продолженіи года, возить даромъ воду для трехъ бѣдныхъ семействъ.

— Богъ видитъ васъ, добрые люди. Онъ же васъ и запишетъ, а вы исполняйте свое обѣщаніе! отвѣтилъ одинъ изъ членовъ.

Громкое одобреніе пронеслось въ синагогѣ.

— Ну, друзья мои, все, что нужно, сдѣлано, обратился подрядчикъ къ собранію:—теперь остается распредѣлить вспомогательную сумму такъ справедливо и разумно, чтобы однимъ не досталось слишкомъ много, а другимъ мало. Надобно позаботиться, какъ пристроить малолѣтокъ-сиротъ. Но это уже ваше, а не мое дѣло.

Съ этими словами онъ всталъ. Собираясь сойти съ эстрады, онъ окинулъ взоромъ всю синагогу и при видѣ такого множества малолѣтнихъ сиротокъ грустно покачалъ головой.

— Бѣдные! сказалъ онъ:—да, слишкомъ ранніе браки къ добру не ведутъ!

— Что такое говорите вы? спросилъ его одинъ изъ стоявшихъ возлѣ него.

— Я говорю, что указъ о бракахъ скорѣе полезенъ, чѣмъ вреденъ.

— Какой указъ? какіе браки?

— Неужели вы до сихъ поръ не знаете о новомъ указѣ?

— Ровно ничего не знаемъ. Ради-бога объясните, что за указъ.

— Изданъ мѣсяцъ тому назадъ указъ, которымъ строго воспрещается вступать въ бракъ еврейскимъ юношамъ раньше восемнадцати, а дѣвицамъ раньше шестнадцати лѣтъ.

— Можетъ-ли это быть! неслыханно! это ужасно!

— Указъ этотъ подписанъ мѣсяцъ тому назадъ. Не стану-же я рассказывать вамъ небылицы!

— О, Боже, Боже! вскричалъ одинъ изъ собранія, схватившись за голову, съ видомъ крайняго отчаянія. — Вотъ до чего уже доходить, вотъ куда добираются!

— Что такое? что такое? раздавалось со всѣхъ сторонъ.

— Неужели вы такъ близоруки, что не понимаете цѣли этого указа? продолжалъ тотъ-же голосъ.

— Какой цѣли?

— Это ясно, какъ день. Намъ хотятъ окрестить, нашу святую вѣру хотятъ стереть съ лица земли.

— Какъ такъ?

— Въ прежнія времена намъ принуждали бросать вѣру отцовъ огнемъ, мечемъ, пытками и изгнаніями, но убѣдились, что смерть и мученія бессильны противъ твердой вѣры. Теперь придумываютъ средства поделекатиѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и вѣриѣ.

— Какія средства? ради-бога говорите яснѣе!

— А вотъ какія. Наше молодое поколѣніе рано вступаетъ въ бракъ, рано жизнь налагаетъ на него ярмо заботы и горя. У евреевъ нѣтъ свободы юности, слѣдовательно нѣтъ той распущенности и пылкости, которыя въ другихъ націяхъ доводятъ юношей до разврата. Запретъ вступать въ ранніе браки познакомитъ нашихъ сыновей и нашихъ дочерей съ порокомъ и грѣхомъ. У насъ нѣтъ ни публичныхъ домовъ, ни женщинъ, открыто торгующихъ собою; теперь наши сыновья и братья поневолѣ сойдутся съ русскими женщинами; наши дочери и молодыя сестры будутъ соблазняемы офицерами и русскими юношами. И тогда — прощай евреизмъ! прощай вѣра Авраама, Исаака и Іакова навсегда! Поняли-ли вы теперь или нѣтъ?

Со всѣхъ сторонъ посыпались утвердительные отвѣты. Раздались ахи и охи. Прежнее умиленіе, вызванное картиною братской благотворительности, исчезло; всѣ лица выражали какую-то напряженность, готовую разразиться яростью или плачемъ.

— Любезный братъ! скромно возразилъ подрядчикъ: — не преувеличиваете-ли вы? Почему не допустить, что въ указѣ кроется другая цѣль: сохраненіе здоровья нашего юношества, рано запрягаемого, какъ выразились вы, въ ярмо жизни? Медицина...

— Убирайтесь съ своей медициной! вскрикнулъ одинъ изъ возсѣдавшихъ на эстрадѣ, вспрыгнувъ на ноги, какъ-будто его обдали кипяткомъ. — Нашъ талмудъ — самая лучшая медицина. Наши предки были умнѣе и ученѣе всѣхъ вашихъ докторовъ-коноваловъ; если они женились рано и прожили сто лѣтъ, то и наши дѣти проживутъ столько-же. Наша мать Ревекка вступила въ бракъ съ Исаакомъ на третьемъ году своего возраста ¹⁾ и не умерла-же.

¹⁾ Эту нецѣльность утверждаетъ одинъ изъ главнѣйшихъ комментаторовъ библейскихъ.

— Но, настаиваю подрядчикъ, — посмотрите кругомъ себя, много-ли счастливыхъ супруговъ насчитываете вы изъ числа тѣхъ, которые вступили въ бракъ въ дѣтскомъ возрастѣ? Съ экономической точки зрѣнія...

— Господинъ подрядчикъ! жолчно перебилъ его одинъ изъ евреевъ. — Вы изъ Питера привалили, у васъ и идеи питерскія. Мы люди маленькіе, божин, будемъ жить, какъ жили отцы наши.

— Я не навязываю вамъ своихъ убѣжденій, господа! Я только утѣшаю васъ!

— Ну, это мы еще увидимъ. У насъ пока еще указа нѣтъ; мы живо поженимъ нашихъ дѣтей во что-бы то ни стало.

— Это уже дѣлаютъ во многихъ еврейскихъ городахъ, именую время это баголесъ (смутами), но разумно-ли это? бракъ — не башмакъ: обуть легко, а разобуть трудно.

— Мы и своимъ умомъ проживемъ.

— Шпіонъ!

— Питерскій щеголь!

— Подрядчикъ!

— Казнокрадъ!

Подрядчикъ, четверть часа тому назадъ чуть-ли не полубожокъ, былъ свергнутъ съ своего пьедестала; его честили, какъ отступника вѣры, какъ врага націи. Съ улыбкою сожалѣнія, онъ, ни съ кѣмъ не прощаясь, скромно сошелъ съ эстрады и долго, очень долго пришлось ему проталкиваться, пока онъ достигъ выхода. Толпа уже не ежилась предъ нимъ; въ ней забушевалъ фанатизмъ, предъ которымъ пасуетъ даже всесильное богатство. Картина до того быстро измѣнилась, что трудно было повѣрить, чтобы въ этой самой синагогѣ, гдѣ теперь всѣ неистовствовали, разсуждали, горлалили, спорили и угрожали кулаками, — что въ этой самой синагогѣ, не болѣе получаса тому назадъ, было тихо, спокойно и благоговѣнно.

Евреи города Л. засуетились, какъ потревоженный муравейникъ. Шумъ, бѣготня, сборища, совѣщанія и ропотъ возобновились и напомнили собою самое жаркое, холерное время. Мы, ученики, опять пользовались полнѣйшею праздностью; нашъ учитель, чувствуя наживу, сдѣлался главнымъ дѣятелемъ въ это новое, горестное для евреевъ, время.

Евреи города Л. общимъ составомъ рѣшили предупредить ожидаемый страшный указъ.

— Женить дѣтей! женить дѣтей! раздавалось на улицахъ, въ синагогахъ, въ баняхъ, въ домахъ.

— Но какъ женить? спрашивали бѣдняки: — гдѣ взять денегъ для приданого, для гардероба, для свадебныхъ издержекъ?

— Для чего деньги? Намъ теперь не до денегъ и прочихъ глупостей. Наша вѣра дороже всѣхъ богатствъ; ее спасать надо, она въ опасности.

— Мы всѣ братья, сыны одного отца, утверждали бѣдняки, обремененные большимъ количествомъ дочерей: — кто изъ благочестивыхъ евреевъ станетъ думать о приданомъ въ такую страшную пору? развѣ изверги на подобіе питерскаго подрядчика-шпіона.

Впродолженіи трехъ дней выросли изъ-подъ земли, какъ грибы, десятки шадхонимъ (сватовъ), взявшіе на себя за пустячное вознагражденіе брачную страпню на живую нитку. Образовались, такъ-сказать, свадебныя бюро, гдѣ сходились родители разныхъ мастей и гдѣ устраивались партіи въ какихъ-нибудь десять минутъ. Сегодня по рукамъ, а на другой день уже и вѣнчаніе, безъ всякихъ церемоній, безъ музыки и угощенія. Жениховъ и невѣстъ, незнакомыхъ и невидѣвшихъ никогда другъ друга, никто не спрашивалъ. Да и для чего спрашивать субъектовъ семилѣтняго или десятилѣтняго возраста?

Главное брачное бюро устроилось у моего свареда-учителя. Онъ завербовалъ къ себѣ цѣлую дюжину сватовъ и свахъ, которые состояли у него на послыкахъ, шныряли цѣлые дни по городу и вывѣдывали, у кого сколько брачнаго товара, сколько можно слупить приданого, а главное—чѣмъ можно поживиться отъ родителей обѣихъ сводимыхъ сторонъ.

Главный свать—мой учитель, какъ практическій во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ, завелъ въ своихъ оригинальныхъ дѣлахъ порядокъ, сдѣлавшій-бы честь любому нѣмцу. Заведены были списки всѣмъ мальчикамъ и дѣвочкамъ города Л. Въ особыхъ графахъ отмѣчались ихъ физическія и нравственныя свойства, денежныя и прочія условія, а также цифры обѣщаннаго родителями свату вознагражденія за удачное сводничество. Съ самаго утра толкались евреи и еврейки въ домъ брачнаго бюро и осаждали учителя разными справками, вопросами, просьбами и щедрыми обѣщаніями. Онъ чрезвычайно ловко, съ большимъ достоинствомъ, выдерживалъ свою роль; рѣчь его была кратка до лаконизма, рѣзка до грубости или убѣдительно, краснорѣчива и заискивающая, смотря по тому, кто къ нему обращался и каковъ ожидаемый результатъ для собственнаго его кармана. Мой дѣтскій сонъ опять былъ прерываемъ въ самую сладчайшую его пору; меня расталкивали почти до свѣта, чтобы успѣть прибрать и вымести комнаты до нашествія

посѣтителей, являвшихся въ бюро уже съ зарею. Учитель съ нѣкоторыхъ поръ окончательно пересталъ со мною церемониться. И онъ былъ, по-своему, правъ. Отъ моихъ родителей долгое время уже не получалось ни писемъ, ни денегъ, слѣдующихъ за мое жалкое воспитаніе и кормленіе. Я сознавалъ неловкое мое положеніе въ его домѣ и за его столомъ. Съ особенною робостью и застѣнчивостью я опускалъ свою ложку въ мутныя волны пакостной фасольной похлебки, а онъ посматривалъ на меня такими глазами, какъ-будто думалъ въ душѣ: „неужели ты никогда не подавишься, щенокъ?“

Однажды, часовъ въ шесть утра, стоялъ и молился я въ углу залы (если можно такъ назвать неправильную; грязную комнату, лишенную почти всякой мебели, кромѣ хромого стола и нѣсколькихъ искалѣченныхъ, жесткихъ стульевъ). Я молился, то-есть бормоталъ что-то безсознательно, держа предъ носомъ мой толстый молитвенникъ. Глаза слипались, я не прочь былъ завалиться спать, если-бы было гдѣ и если-бы я не боялся педагога. Онъ сидѣлъ уже у стола и перелистывалъ свои списки, дѣлая на нихъ какія-то отмѣтки обрубкомъ пера, опачканнаго чернилами. Распахнулась дверь. Въ комнату вошелъ какой то сгорбившійся чурбанъ. Лицо его было грубо до отвращенія и изборождено оспой. Надъ правымъ глазомъ красовалась какая-то синебагровая шишка, на носу возсѣдала цѣлая группа разнокалиберныхъ бородавокъ. Онъ былъ безобразенъ съ головы до ногъ. Мой сонъ и молитвенное настроеніе мигомъ разсѣялись. Въ горлѣ у меня защекотало, я едва владѣлъ собой, чтобы не прыснуть со смѣху.

— Кто здѣсь шадхенъ? смѣло спросилъ посѣтитель.

— Что нужно? спросилъ, въ свою очередь, учитель.

— Жена нужна. Я вдовъ. За двѣ недѣли умерла жена, восьмеро человекъ дѣтей. Нѣтъ хозяйки. Некому стряпать, проворчалъ своимъ грубымъ, безучастнымъ голосомъ интересный вдовецъ.

Учитель окинулъ его насмѣшливымъ взглядомъ съ головы до ногъ.

— Сколько лѣтъ? рѣзко спросилъ шадхенъ.

— Кто его знаетъ!

— Чѣмъ живешь?

— Я мешоресъ въ ахсаніе (прислужникъ въ еврейской гостиницѣ).

— Деньги имѣешь?

— Приданнаго не нужно, платья—тоже. Отъ первой жены осталось.

- Деньги имѣешь? повторилъ вопросъ учитель.
- И деньги имѣю.
- Сколько?
- Тридцать рублей чистоганомъ имѣю.
- Для тебя невѣсты не имѣю.
- Гмъ! Почему-же?
- Потому что мы заботимся теперь поженить малолѣтокъ. Ты же никогда не опоздаешь.
- А если придетъ царскій указъ?
- Указъ тебя не касается.
- А если тогда нельзя будетъ уже?
- Тебѣ всегда можно будетъ. Проваливай!

Во время этихъ переговоровъ, кошачьей поступью, ^ивкралась въ комнату зашлепанная, ободранная еврейка-сваха, состоявшая въ свитѣ моего учителя. Она остановилась въ дверяхъ и прислушивалась къ разговору. Услышавъ, что главный шадхенъ выпускаетъ изъ рукъ поживу, она выдвинулась впередъ, кашлянула, обратила на себя вниманіе вдовца и разными комическими кривляньями дала ему знать, чтобы онъ слѣдовалъ за нею. Черезъ нѣсколько секундъ она прокралась въ дверь, а вдовецъ вышелъ за нею. Учитель замѣтилъ весь этотъ маневръ.

— Ха-ха-ха! Эка дура! Вздумала меня надувать и отбивать лафу. Ёшь, голубушка, на здоровье! Много стащишь! Тридцать рублей чистоганомъ! Ротшильдъ!

Явился новый посѣтитель. Это былъ еврей сѣдобородый, почтенной наружности и довольно опрятный. Учитель вскочилъ на ноги и побѣжалъ ему навстрѣчу съ подобострастной улыбкой на губахъ.

— Добро пожаловать, добро пожаловать, дражайшій раби Шмуль. Цѣлый день вчера бѣгалъ для васъ, но за то отыскалъ женишка на славу. Жемчужина, а не мальчикъ! Садитесь-же, дорогой мой раби Шмуль, покорнѣйше прошу садиться. Вотъ вамъ мой стулъ. Пожалуйте.

Посѣтитель не торопясь усѣлся.

— Тяжелыя времена! страшныя времена! застоналъ раби Шмуль, нахлобучивъ шапку на глаза и засунувъ оба толстыхъ пальца своихъ рукъ за широкій бумажный поясъ.

— Ну, ужъ времячко! По правдѣ сказать, не лучше временъ Хмельницкаго и Гонты. И за что насъ такъ преслѣдуютъ враги Божіи? Что мѣшаетъ имъ наша вѣра?

— Такъ, видно, суждено свыше! вновь застоналъ раби Шмуль.

— Конечно, выше. Человѣкъ пальца не ушибетъ безъ того, чтобы это не было суждено выше. Это, я думаю, послѣднія времена наступаютъ. Скоро появится и Мессія.

— Дай-то Богъ, дай-то Богъ! а то ужъ не втерпѣжъ стало.

Наступила пауза. Хозяинъ и гость нѣкоторое время молчали. Въ комнату вошелъ одинъ изъ помощниковъ учителя. Послѣдній подошелъ къ нему, пошентался, и вслѣдъ за тѣмъ помощникъ торопливо вышелъ.

— Ну, раби Шмуль, поговоримъ о дѣлѣ. Въ настоящее время медлить нельзя; того и гляди изъ рукъ вырвутъ.

— Отыскали жениха для моей Цивки?

— Отыскалъ, отыскалъ, да еще какого отыскалъ, просто бриллиантъ, смарагдъ, жемчужина!

— Кто-же это, кто?

Учитель развернулъ списокъ.

— Сынъ здѣшняго лавочника, Ицки Краута. Человѣкъ онъ очень богатый. Его дѣдъ приходился троюроднымъ братомъ внуку аптерскаго цадика, царство ему небесное! Благочестивый еврей! Набожный и добрый! Мать жениха—примѣрныхъ правилъ женщина, тоже не изъ простого рода. Дѣтей у нихъ немного, всего семь человѣкъ, кромѣ жениха.

— Но мальчикъ какой?

— Мальчикъ?—это будущая звѣзда евреевъ. Ему всего десять лѣтъ, а знаетъ онъ уже наизусть цѣлыхъ два тома талмуда со всѣми комментаріями; пишетъ по-еврейски—просто чудо, уменъ, молчаливъ, тихъ, мухи не тронетъ. Словомъ, это сокровище. Учись онъ у меня, онъ былъ-бы ученѣе втрое.

— Но здоровье какъ?

Учитель смѣшался на минуту, но скоро, однакожъ, оправился.

— Очень красивый мальчикъ, очень красивый, просто дѣвочка.

— Не о красотѣ спрашиваю васъ. Красота что? О здоровьѣ я спрашиваю. Говорятъ, что онъ страдаетъ падучей болѣзнью, да сохранить насъ Богъ!

— Сохрани Богъ и помилуй! Что вы, раби Шмуль, говорите! Мальчикъ совершенно здоровъ. Блѣдновать маленько. Но это что! не болѣе, какъ деликатность комплекціи. Здоровы одни только водовозы и балагулы (извозчики). Кто сидитъ надъ Торой, тотъ не можетъ имѣть красныхъ щекъ, какъ каменщикъ какой-нибудь. Подходящій, подходящій! утвердительно заключилъ учитель, фамильярно хлопнувъ гостя по плечу.

— Видите-ли, мой дорогой шадхенъ: ученость ученостью, а

здоровье тоже благодать божія. Моей дочери пошелъ уже шестнадцатый годъ. Она росла, полна, румяна и здорова. Какой-же мужъ выйдетъ изъ десятилѣтняго мальчика, да еще хилаго, блѣднаго и больного? Вѣдь глупыя бабы не довольствуются одной ученостію—вотъ что! Не такъ-ли, мой дорогой шадхенъ? ха-ха-ха!

— Раби Шмуль, отвѣтилъ учитель тономъ обиженного человѣка:—не ожидалъ я отъ васъ, признаться сказать, подобныхъ грѣховныхъ рѣчей. Неужели вы ищите для вашей дочери мужа въ родѣ русскаго солдата?

— Ну, ну, не сердитесь, мой милый! Къ слову пришло, ну и сказать.

— То-то къ слову, отвѣтилъ шадхенъ примирительно.—Не до шутокъ теперь. Куй желѣзо, пока горячо.

— А о приданомъ какъ?

— Отецъ жениха беретъ новобрачныхъ на десять лѣтъ на свои харчи ¹⁾. Жениху справятъ богатый гардеробъ. Ему дарятъ талмудъ новаго изданія и различныя дорогія книги.

— А денегъ?

— Денегъ ни гроша. Десять лѣтъ харчей! сосчитайте, раби Шмуль, хорошенько, вѣдь это не шутка.

— Плохо. А отъ меня-же что требуется?

— Отъ васъ? Дюжина зоновыхъ рубахъ, шесть платьевъ ситцевыхъ, шесть платьевъ шерстяныхъ, три платья шелковыхъ, шубу лисью, шелкомъ крытую...

— Ну, это само собою разумѣется! Денегъ сколько?

— Денегъ не мало. Повѣрьте, раби Шмуль, что я три дня къ ряду уже торгуюсь по-цыгански. Стали на крупной цифрѣ, хоть убей ихъ. Ни копейки не уступаютъ.

— Сколько-же? повторилъ раби Шмуль, мрачно наморщивъ лобъ.

— Тысячу... двѣсти рублей ассигнаціями.

— Взбѣсились они, что-ли?

— А чортъ ихъ знаетъ, уперлись—да и только. Говорятъ, не будь такія жаркія времена, и за двойную цѣну не согласились-бы.

— Ну, уперлись, пусть ихъ!

— Раби Шмуль! Что правду таятъ? Вѣдь дочь ваша далеко не

¹⁾ Этотъ обычай существуетъ въ низшихъ еврейскихъ классахъ и до сихъ поръ. Иногда отецъ семейства, посвятившій себя цѣлкомъ зубренію талмуда и каббалы, долго плодитъ дѣтей на счетъ своего теста, богатаго простака.

красавица, да и вдобавокъ шепелявить и совершенно безграмотна. А передніе зубы? Зубы, зубы, раби Шмулы! Это чего стоятъ?

— Что толковать о пустякахъ! оскорбленно отвѣтилъ отецъ невѣсты.—Невѣста не лошадь, въ зубы нечего заглядывать.

— То-то не лошадь. Только даровому коню въ зубы не смотрять, вы же невѣсту не дарите. Десять лѣтъ харчей чего-нибудь да стоять. Корми вашу дочь и будущихъ ея дѣтокъ, а вы спихнули съ плечъ товаръ—и знать ничего не хотите.

— Нѣтъ, тысячи-двухсотъ не дамъ, отрѣзалъ раби Шмуль рѣшительно и всталъ.

— Ай, раби Шмулы! кончайте скорѣе, а то позже и за двойную цѣну не приобретете такого затышку.

— Свѣтъ еще не клиномъ сошелся.

— Вы-бы вспомнили о своемъ клинѣ и образумились-бы.

— О какомъ клинѣ?

— А о племянникѣ-выкрестѣ. Благо, пока никто, кромѣ меня, этого не знаетъ. Это такой изъяснъ въ семействѣ, что и мильёномъ не замажешь.

Раби Шмуль смутился и покраснѣлъ до ушей.

— Любезный шадхенъ, обратился онъ къ учителю задобривающимъ тономъ.—Я общалъ вамъ тридцать рублей за вашъ трудъ; если уломаете подлеца Ицку, дамъ полсотни.

— Душою радъ служить вамъ, мой другъ, но ничего не сдѣлаешь съ этимъ упорнымъ осломъ. А вотъ что, раби Шмуль. Я уломаю его на половину наличными, а другую половину векселемъ.

— Что за разница? по векселю придется-же платить когда-нибудь?

— Никогда платить не будете.

— Какъ такъ?

— Вексель напишемъ на имя будущаго вашего зятя, который, послѣ свадьбы, будетъ моимъ ученикомъ; и я клянусь вамъ своею бородою и пейсами, что склоню его возвратить вамъ вексель послѣ свадьбы. Онъ меня не посмѣетъ послушаться. Дочери вашей прикажите мнѣ содѣйствовать. Онъ такой больной и робкій, что боится мухи.

— Больной, вы сказали?

— То-есть, деликатный, хотѣлъ я сказать, спохватился шадхенъ, видимо досадуя на свою неосторожность.

— Дѣлать нечего, согласенъ.

— Такъ по рукамъ. Вечеромъ изъ синагоги мы отправимся прямо

къ Ицѣ и покончимъ дѣло. Не мѣшало-бы получить отъ васъ задаточекъ. Вы не повѣрите, милѣйшій раби, какъ я нуждаюсь. Всѣ надувають меня, простяка. Вотъ дармоѣды! указалъ онъ на меня:— пьеть и жреть за тронхъ, а его любезные родители уже цѣлый годъ не высылають мнѣ ни копейки.

Какая-то цвѣтная ассигнація перешла изъ рукъ раби Шмула въ руки свата.

По уходѣ одураченнаго покупателя факторъ-шадхенъ прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, потирая руки отъ удовольствія. Возвратился его помощникъ, котораго онъ за полчаса тому назадъ спровадилъ куда-то.

— Что, Шмуль кончилъ?

— Кой чортъ кончилъ! уперся, скряга, хоть убей его. Я разсердился и чуть не выгналъ его вонъ.

„Вотъ шельмы, подумалъ я:—надувають даже другъ друга“.

Вновь распахнулась дверь съ необычайнымъ скрипомъ. Въ комнату ввалился колоссъ радосскій на двухъ толстыхъ лапахъ, съ громаднымъ брюхомъ и бычачьей головой. Учитель съ удивленіемъ посмотрѣлъ на это чучело.

— Шолемъ алейхемъ! затрубилъ колоссъ.

— Алейхемъ шолемъ! Садитесь.

Гость, пыхтя и отдуваясь, опустился на стулъ.

— Кто вы? спросилъ учитель рѣзко-грубымъ тономъ.

— Жара! Вотъ жара! едва передвигаешь ноги. Уфъ!

— Кто вы?

— Я корчмаръ изъ Мандрыковки.

— Ваше имя?

— Тодрешъ Клоцъ.

— Не знаю. Что нужно?

— Женixa нужно для моей дочери. Вы шадхенъ?

— Я. Какого сорта вамъ?

— Самаго перваго.

— Ученаго?

— Ни-ни! Не нужно ученаго. Давайте работающаго, да покрупнѣе.

— Вашей дочери сколько лѣтъ?

— Моей Двосѣ—восемнадцать лѣтъ съ хвостикомъ.

— Что засидѣлась?

— Не послалъ Господь. Живемъ въ деревнѣ—никакая собака не заглянетъ. Ждали, ждали, а вотъ указъ и спугнулъ.

— Да вашей дочери нечего пугаться, она уже перешагнула за шестнадцать; значить, выходи замужъ когда угодно.

— Да, когда угодно, а за кого выдти? До указа повытащутъ всѣхъ жениховъ, а тамъ жди не дождешься.

— У меня крупныхъ жениховъ нѣтъ, все малютки, мелюзга.

— Такихъ моя Двоя и на глаза не пустить. Ей покрупнѣе, въ родѣ вдовца, что-ли.

— Нѣтъ теперь такихъ; были у меня три, но уже повѣнчались.

— Хорошо заплатилъ-бы.

— Радъ-бы душою, да нѣтъ. Подумаю, поищу, авось найдется. Приданого сколько дадите?

— Пять коровъ, пара лошадей, серебряные подсвѣчники, изба и кабакъ вдобавокъ.

— Хорошо. А мнѣ что?

— Каковъ женихъ, такова и плата.

— Постараюсь. Понавѣдайтесь на-дняхъ.

— Прощайте.

— Съ Богомъ.

Колосъ вывалился вонъ.

— Вотъ бугай! всплеснулъ учитель руками:—если дочь на него похожа, то во всемъ околотеѣ не подыскать ей ровни. Надобно, впрочемъ...

— Гдѣ онъ? гдѣ онъ, разбойникъ, обманщикъ, безбожникъ? раздался пискливый женскій голосокъ.

Ворвалась, какъ вихрь, какая-то миниатюрная жидовочка. Лицо ея было желто-блѣдно и измято. Головная повязка сползла въ сторону, верхняя одежда накинута была въ одинъ рукавъ, а другой волочилась по землѣ.

— А! Это вы, честный шадхенъ? Это вы загубили моего ребенка, мою бѣдную дочь? Это вы надули бѣдную вдову? Это вы погубили бѣдную сиротку? А за сколько рублей продали вы еврейскую душу? За сколько рублей...

— Тю-тю-тю! расходилась бѣсовская мельница!

— Мельница! я мельница? ты мошенникъ, плутъ, извергъ, разбойникъ; не еврей ты, татаринъ ты, цыганъ ты! Свелъ, нечего сказать! Надѣлилъ товарцемъ! Колпака какого-то далъ моей дочери, соню, храпуна какого-то, сморкатаго, вонючаго, къ тому еще занку. Фи-фи-фи, тю-тю-тю, ка-ка-ка-ка! Чтобъ ты треснулъ вмѣстѣ съ нимъ! чтобъ вы...

— Молчи, чертовка, не то я тебѣ всѣ ребра пересчитаю. Видѣли очи, что покупали, а мнѣ что?

Еврейка затрещала-было вновь, но ее вытолкали безъ околичностей.

— Ишь, расходилась какъ! Много, небойсь, заплатила! Обѣщала пять рублей и тѣхъ не дала, а еще харахорится.

Такого рода сцены происходили вокругъ меня въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ. Мнѣ этотъ своеобразный рынокъ до того опротивѣлъ, что я, бывало, съ самаго ранняго утра убираюсь вонъ изъ дому и по цѣлымъ днямъ безъ цѣли шляюсь по улицамъ. Такихъ бюро, какъ описанное мною, можно было въ городѣ Л. насчитать цѣлыхъ поддюжины. Ежедневно совершались десятки вѣнчаній, безъ особенныхъ церемоній, безъ музыки, фавеловъ и толпы народа. На улицахъ начали появляться чрезвычайно странные женатые мужчины и замужнія женщины, ростомъ съ ноготокъ, восьми и десятилѣтки. Койничѣ всего были замужнія дѣвочки-дѣти, съ обритыми головками, съ овечьимъ выраженіемъ на своихъ личикахъ. Онѣ, повидимому, не чувствовали никакой перемѣны въ жизни, кромѣ того только, что имъ часто приходилось засовывать свои пальчики подъ головную повязку, чтобы почесать вспотѣвшую бритую голову. Въ жизни ихъ мужей тоже никакой перемѣны не послѣдовало: они такъ-же исправно продолжали ходить въ синагоги и въ хедеры; ихъ продолжали колотить женатыхъ, точно такъ-же, какъ колотили холостыхъ. При этихъ ненатуральныхъ бракахъ происходили также и возмутительныя, безнравственныя сцены. Нерѣдко родители вооружались такимъ цинизмомъ, что дѣлались самолично менторами юныхъ супруговъ въ томъ, чему научаетъ одна природа, безъ посторонней помощи...

Была пятница. До начала вечерней субботней молитвы въ синагогѣ оставался еще добрый часъ. Я плелся по улицамъ, по привычкѣ, безъ особенной цѣли. День былъ невыносимо жаркій. Это былъ одинъ изъ тѣхъ знойныхъ дней, въ которые лучи солнца, непарализуемые ни малѣйшимъ дуновеніемъ вѣтерка, падаютъ на землю растопленнымъ свинцомъ. Солнце собиралось уже закатиться, но никакой прохлады не чувствовалось: до того накалился воздухъ въ продолженіи длиннаго лѣтняго дня. Я уже шлялся болѣе часа, не встрѣчая почти ни одного прохожаго. Только изрѣдка кое-гдѣ встрѣчалась одинокая еврейская корова, прислонившаяся къ перегнувшемуся плетню, въ надеждѣ отыскать хоть какую-нибудь тѣнь. Стояла она, бѣдная, понуривши голову, и если мечтала о чемъ-нибудь, то, конечно, о каширныхъ помояхъ. Съ отрубями и сѣномъ она отродясь не была знакома. Благодаря своему каширному корму, она и была похожа на каширныя, библейскія тощія коровы Фараона. Потъ лилъ съ меня градомъ; я отыскивалъ глазами какую-нибудь тѣнь, чтобы присѣсть и освѣжиться, какъ вспомнилъ, что въ

близнемъ проулкѣ я третьягодня замѣтилъ одинокую, раскидистую вербу, очутившуюся, богъ-вѣсть какими судьбами, у полуразвалившейся еврейской избы: Я направился туда. Завернувъ въ проулокъ, я увидѣлъ группу людей подъ вербою. Говоръ и смѣхъ доносились до меня. Я удвоилъ шаги. Мнѣ представилась слѣдующая картина. Подъ вербою, на песчаной почвѣ, сидѣли двѣ еврейскія дѣвочки семи или восьми лѣтъ. Судя по искусственнымъ холмикамъ, воздвигнутымъ предъ ними, онѣ играли въ *постройки*. Овальныя, смуглыя личики этихъ дѣтей разгорѣлись и зарумянились. Одна изъ нихъ была очень хороша собою. Ея коралловыя губки, красивые, ровные, бѣлые зубы, большіе, черные, блестящіе глаза, изящный носикъ съ горбикомъ и опущенная верхняя вздернутая губа придавали всему ея лицу рѣзкій восточный типъ. Одно ее каррикатурило: ея головка была варварски обрита. Мѣстами лоснился черепъ, какъ отъ положительной плѣши, мѣстами-же онъ чернѣлся, какъ негладко выбритый подбородокъ. „Это замужня“, подумалъ я. Бѣдняжкѣ было жарко подъ хомутообразной головной шерстяной повязкой. Не зная ни обычая, ни своего замужняго положенія, она, побуждаемая инстинктомъ и жаждой къ прохлаждѣ, вѣроятно, сорвала съ себя уборную красу и напаялила ее на одинъ изъ песчаныхъ холмиковъ. Подруга ея, повидимому, моложе ея, была еще не замужемъ, иначе она не обладала-бы такой густой гривой черныхъ нечесанныхъ волосъ. Возлѣ двухъ дѣвочекъ стояли, держась подъ руку, какой-то пожилой баринъ и молодая барыня или барышня. Последняя съ большимъ участіемъ и вниманіемъ разсматривала хорошенькую жидовочку.

— Посмотри, папа, какіе глаза! Это прелесть! просто восторгъ!

— Да. Погибаютъ люди, пропадаетъ даръ Божій. Родись подобная птичка въ другой сферѣ, что-бы изъ нея вышло? И для чего эти олухи ее обрили?

— Вѣроятно, волосы выходили или вслѣдствіе какой-нибудь болѣзни.

Мною овладѣла необычайная смѣлость.

— Вы спрашиваете, баринъ, почему она обрита? спросилъ я барина.

Баринъ и барышня окинули меня подозрительнымъ взглядомъ. Моя личность, вѣроятно, не внушала особеннаго довѣрія.

— Да. По какой причинѣ ее обрили?

— Она замужня.

— Что?

— Она замужемъ.

— Съума ты сошелъ, оборванецъ, или шутить со мною вздумалъ? Я отступилъ нѣсколько шаговъ, приготовившись бѣжать при первомъ движеніи разозлившагося барина.

— Я не шучу. Она недавно вышла замужъ, а потому ее и обрили. Всѣ замужнія еврейки брѣютъ головы. У насъ такой законъ.

Барышня выдернула свою руку изъ-подъ руки барина и захлопала въ ладоши, покатываясь со смѣха.

— Папа! папа! вотъ штука! Замужняя женщина! Посмотри на нее, ради Бога, какъ она конфузится.

Евреечка и не думала конфузиться, она просто испугалась и собиралась ретироваться.

— Куда ты, милашка? спросила ее барышня, схвативъ за руку. — Гдѣ твой мужъ? покажи мнѣ, куколка, своего муженька. Ха-ха-ха! Папа, я непремѣнно хочу видѣть ея мужа. Это курьёзно, это прелесть!

Дѣвочка, подруга замужней, успѣла вбѣжать въ домъ, а замужнюю барышня крѣпко держала за руку. У замужней женщины губки уже дрожали, глаза блестѣли влагою, она собиралась заплакать. Въ это время, впопыхахъ, прибѣжала старая, испачканная, оборванная еврейка. Она подбѣжала къ группѣ и грубо схватила миниатюрную супругу за другую руку.

— Въ комнату ступай, корова ты этакая! Эка безстыдница, какъ опростоволосилась! Ступай, мерзавка, я съ тобою раздѣляюсь!

Барышню озадачила, какъ видно, эта грязная, злая старуха. Она отпустила руку бритушки, а та убѣжала, получивъ отъ старухи на дорогу, порядочный подзатыльникъ. Старуха, ворча, нагнулась за головною повязкою, лежавшею на землѣ.

— За что ты, жиловка, бьешь этого ребенка? спросилъ сурово баринъ.

— Она моя внучка.

— Но за что ты ее ругаешь и бьешь?

— Какъ-же! Она уже двѣ недѣли замужемъ, и не исполняетъ своихъ обязанностей.

Баринъ засмѣялся, а барышня хохотала до истерики.

— Какія-же обязанности она не выполняетъ? спросилъ баринъ насмѣшливо.

— Ей пора уже молиться надъ свѣчами ¹⁾. Замужняя женщина

¹⁾ По пятницамъ и наканунѣ извѣстныхъ праздникоу еврейки зажигаютъ свѣчи и молятся надъ ними, осылая ихъ руками. Послѣ этой церемоніи, хотя бы она и совершилась за два часа до наступленія вечера, суббота или праздни-

не имѣетъ права снимать свой головной платокъ, а она снимаетъ его каждый разъ, эта дура!

— Не знаю, старуха, кто изъ васъ дура: бѣдный-ли ребенокъ, ничего еще не понимающій, или ты и тебѣ подобныя, выдающія замужъ такихъ крошекъ.

— Всѣ наши такъ дѣлаютъ.

— Ну, и значитъ, что всѣ ваши или дураки, или сумасшедшіе. Я скорѣе тебя выдалъ-бы замужъ, чѣмъ такого ребенка.

— Добрая женщина, покажите мнѣ мужа этой милашки! Добивалась барышня.

— Онъ теперь въ школѣ.

— Большой онъ?

— Нѣтъ, лѣтъ десяти.

— Хорошенькій?

— Очень ученый.

— Какъ ученый?

— Онъ цѣлый день въ школѣ. Онъ такой ученый, что не знаетъ что такое *пятакъ* ¹⁾.

— Папа, идемъ. Это какіе-то сумасшедшіе. Я начинаю бояться этой страшной старухи.

— А ты, мальчуганъ, тоже уже женатый человекъ?

— Нѣтъ! отвѣтилъ я и засмѣялся.

— Если онъ не женатъ, то онъ, папа, можетъ быть любовникъ этой замужней козявки. У нихъ, какъ видно, все происходитъ въ миниатюрѣ!

Хохоча, отецъ и дочь пошли дальше.

Я душою былъ радъ, что меня еще не женили. „Если-бы надо мною такъ смѣялись, какъ былъ-бы я несчастливъ!“ подумалъ я. Благодаря тому благотѣльному вліянію, которымъ я былъ обязанъ христіанскому семейству Руинныхъ, я былъ развитѣе всѣхъ моихъ сверстниковъ. Я, какъ нельзя лучше, понималъ всю глупость ихъ поступковъ, но никому не высказывался, зная по опы-

нихъ считаются уже наступившими со всѣми своими строгими нечѣпостями. Число требующихся свѣчей полагается закономъ двѣ, но нѣкоторые набожныя еврейки, особенно обладающія большимъ количествомъ серебряныхъ подсвѣчниковъ, зажигаютъ произвольное число свѣчей, за души умершихъ родителей, родственниковъ и дѣтей.

¹⁾ Чтобы выразить полное отчужденіе цадика или хасида отъ дѣлъ житейскихъ и посвященіе себя высшимъ, надъоблачнымъ цѣлямъ, евреи говорятъ, что такой-то не знаетъ (*циресъ матбеа*), т. е. незнакомъ даже съ образомъ монеты. По правдѣ говоря, я такого святого еще ни разу не встрѣтилъ.

ту, что если не хочешь съ волками быть по-волчьи, то, по крайней мѣрѣ, здорово совсѣмъ молчать. Нельзя сказать, чтобы брачная эпидемія не заразила и меня. Бывали минуты, когда пылкое мое воображеніе разыгрывалось до преступности; благодаря различнымъ соблазнительнымъ картинамъ талмудейскихъ сказокъ (га-года), глубоко врѣзавшимся въ моей памяти. Въ такія минуты кровь клокотала въ моихъ вискахъ, грудь вздымалась, губы засыхали и я часто чувствовалъ то пріятное щебетаніе, которое производило на моихъ губахъ прикосновеніе алыхъ, пухлыхъ, жаркихъ губокъ моей незабвенной Оленьки. Но именно память объ Оленькѣ не пускала меня слишкомъ увлекаться въ той сферѣ, въ которой я прозябалъ. Я сравнивалъ мысленно всякое встрѣчаемое мною молодое женское личико своихъ единовѣрковъ съ ангельскимъ, чистымъ, умнымъ и добрымъ личикомъ моей Оли, и не находилъ никакой парадигмы. Молоденькія еврейскія скорѣе охлаждали, чѣмъ воспламеняли мое воображеніе. При видѣ этихъ женскихъ овечекъ, безъязыкихъ, робкихъ, забытыхъ и часто далеко неизящныхъ, несмотря на ихъ красоту, я отворачивался и совершенно успокаивался.

Учитель мой придумывалъ уже серьезныя мѣры, какъ меня, дармоѣда, спихнуть съ рукъ. Мое положеніе въ его домѣ было невыносимое; мнѣ попрекали каждымъ кускомъ хлѣба, каждымъ глоткомъ воды. Со мною вовсе уже не занимались; я былъ предоставленъ самому себѣ, шныряя цѣлые дни до того, что праздность и свобода мнѣ надоели. Я чувствовалъ, что только теряю время. Мои женатые товарищи безпрестанно смѣялись надо мною и прозвали меня „бобылемъ, чумакомъ, батракомъ и мухобоемъ“. Жизнь мнѣ опротивѣла; я не зналъ, что дѣлать съ собою и съ своимъ временемъ. Наконецъ, судьба сжалилась надо мною. Въ одинъ истинно прекрасный для меня день явился какой-то балагуле (извозчикъ), который передалъ моему учителю письмо отъ родителей и малую толику денегъ. Учитель прочелъ мнѣ вслухъ это письмо. Въ немъ сообщалось, что обстоятельства моихъ родителей внезапно измѣнились къ худшему, что они не въ состояніи за меня платить на будущее время и что просятъ моего опекуна-учителя отпустить меня съ подателемъ письма, который обязался доставить меня домой. О деньгахъ-же было сказано, что часть при этомъ высылается, а остальные будутъ высланы съ благодарностью, не позже, какъ черезъ мѣсяцъ. Моему счастью не было границъ, я готовъ былъ броситься на шею балагуле и облобызывать его осмоленную рожу.

Черезъ день я трясся уже въ неизмѣримой польской будѣ, покрытой радинниой, растянувшись на колючемъ сѣнѣ и съ особеннымъ наслажденіемъ внимая возгласамъ моего возницы, поминутно шелкавшего длиннымъ польскимъ бичемъ и вскрикивавшего какимъ-то фистульнымъ голосомъ: „вью! вью! гичь! вью!“

Черезъ нѣсколько дней я былъ въ объятіяхъ моей матерп.

IX.

ПЕРВАЯ ПОВѢДА МЫСЛИ.

Я опять очутился въ томъ-же густомъ, тѣнистомъ лѣсу, окруженномъ сочными рощами, въ которомъ провелъ свое раннее дѣтство, относительно счастливое и поэтическое въ сравненіи съ послѣдовавшимъ за тѣмъ временемъ. Опять увидѣлъ я знакомый родной ландшафтъ съ винокурней на первомъ планѣ и съ избушками въ перспективѣ. Но ландшафтъ этотъ не жилъ уже прежнею жизнью: мужики и бабы не суетились какъ трудолюбивыя пчелы, снуя взадъ и впередъ; винокурня не выбрасывала въ небо своей копоты и черного дыма; жирные, бражные кабаны не приманивали уже своимъ хрюканіемъ голодныхъ лѣсныхъ волковъ. Все кругомъ было мертво, запущено и пустынно. Мрачная тѣнь, лежавшая на всей окрестности нашего уединеннаго жилища, отражалась и на лицѣ моей матери. Она очень обрадовалась моему появленію, какъ и подростшая старшая сестра моя Сара, но въ глазахъ ихъ поминутно появлялись слезы. По самообольщенію, присущему человѣческой натурѣ, я относилъ эти слезы къ чрезмѣрной радости лицезрѣть меня, красу и гордость семейства (я слишкомъ мечталъ о себѣ), и хотѣлъ отплатить имъ такой-же наглядной нѣжностью, но, при всемъ моемъ желаніи, не могъ...

— Гдѣ отецъ? спросилъ я мать послѣ первыхъ изліяній.

Она вздохнула и опустила глаза.

— Отецъ уѣхалъ. Когда пріѣдетъ—не знаю.

Мать заплакала и Сара тоже.

— Что такое случилось? объясните, не мучьте меня.

— Съ нами случилось большое несчастье. Отецъ, кромѣ этой винокурни, завѣдывалъ еще одной, за сто верстъ отсюда, у помѣщика Д. Такъ-какъ ему приходилось часто отлучаться, то онъ принималъ себѣ въ помощь дальняго родственника З., которому и передалъ наблюденіе за здѣшной винокурней. Этотъ родственникъ

оказался отъявленным лѣнтяемъ и бездѣльникомъ. Благодаря его бездѣйствію, выходы начали съ каждымъ днемъ уменьшаться; то перекисало, то недокисало; ничтожныя въ началѣ поврежденія не исправлялись, а все росли и увеличивались. Дошло до того, что когда владѣлецъ завода однажды вечеромъ явился лично для присутствія при выходѣ, то вмѣсто ста ведеръ спирта нацѣдилось въ кубъ около ведра какой-то кислоты. Помѣщикъ взбѣсился и самъ растопкалъ полухмѣльного З. „Какой выходъ у тебя?“— „Какой выходъ? а вотъ какой. Я, пане, выпилъ, а вы купите себѣ“. Эта дерзость и насмѣшка окончательно вывели владѣльца изъ себя. Онъ рассчиталъ отца, а винокурню до будущаго года совсѣмъ закрылъ. Объ этой исторіи узналъ въ скорости и помѣщикъ „Д. и также отказалъ отцу. Мы остались безъ средствъ къ жизни. Капиталовъ у насъ никогда не было, а тутъ пришлось закладывать все, что только у насъ было, чтобъ не умереть съ голода. Отецъ поѣхалъ искать какихъ-нибудь занятій, и уже болѣе мѣсяца ничего не пишеть.

Мать и Сара совершенно уже расплакались.

— А тутъ еще новая бѣда, продолжала мать, стараясь сдержать свои рыданія:— помѣщикъ гонитъ насъ съ квартиры. Я нашла въ деревнѣ избу у мужика, но она до того похожа на погребъ, что я боюсь туда перебираться. Недостаетъ еще, чтобы все семейство заболѣло. Какъ и чѣмъ я его лечить буду?

Въ прахъ разлетѣлись всѣ мои мечты отдохнуть и пороскошничать дома. Я не нашелъ даже фасольной похлебки; кругомъ меня все было бѣдно, мрачно и почти голодно. Каждый день являлись мужики, посланные помѣщикомъ, чтобы вывести насъ изъ квартиры, каждый день мы переносили грубости, брань и кулачныя угрозы. Дошло до того, что изъ нашей квартиры повынимали окна, сняли двери и приступили, наконецъ, къ разборкѣ печей. Явилась окончательная необходимость переѣхать въ деревню хоть въ избу, хоть прямо въ погребъ.

Деревня отстояла въ десяти верстахъ отъ винокурни. Подводы наши, нагроможденные до самаго верху, тронулись въ путь уже поздно вечеромъ. Я и сестра возсѣдали на какихъ-то кадушкахъ и боченкахъ; вечеръ былъ замѣчательно прекрасный. Хотя луны и не видно было на небосклонѣ, но за то мнѣиы звѣздъ мерцали и блестяли на немъ до того ярко, что ночь можно было скорѣе назвать свѣтлою, чѣмъ темною. Воздухъ былъ только болѣе, чѣмъ прохладенъ, такъ-какъ время приближалось уже къ осени. Сара, болѣзненная отъ природы, дрожала отъ вечерней прохлады и при-

жималась ко мнѣ. Я обнялъ ее одной рукою, а другою—вцѣпился за веревку, которою были увязаны различныя хозяйственныя вещи, и старался сохранить равновѣсіе на шаткомъ нашемъ сѣдалищѣ. Проселочная дорога, по которой плелся нашъ караванъ, была усѣяна холмами, ухабами и косогорами. Волы вяло и флегматично передвигали свои толстыя ноги; фурщики медленно шагали возлѣ возовъ, по временамъ поплеывая и вскрикивая: „цобъ цобе! цобъ, цобъ!“ На одномъ изъ косогоровъ, возъ, на которомъ мы сидѣли, получилъ на ухабѣ такой сильный толчокъ и такъ нагнулся въ сторону, что я съ сестрою чуть не слетѣли. Я кое-какъ удержался, но вмѣстѣ съ тѣмъ почувствовалъ, что изъ-подъ меня что-то выдвинулось и скатилось. Въ то-же время я увидѣлъ небольшой боченокъ, стремившійся по косогору куда-то внизъ.

— Иванъ, Иванъ, стой! Упалъ боченокъ. Смотри, вонъ показился. Лови! крикнулъ я фурщику.

— Самъ лови коли хошь, отвѣтилъ онъ грубо.

— Остановись, я самъ подниму его. Прру...

Волы остановились. Я и сестра соскочили. Я бросился искать боченка, но его уже нигдѣ не видать было. Между тѣмъ остановился весь караванъ. Мужики обступили Ивана.

— Что такое случилось? Что тамъ упало?

Иванъ крестился, ничего не отвѣчая.

— Вѣдьма! прошепталъ онъ наконецъ, указавъ кнутомъ на какой-то предметъ, катившійся съ горы. Всѣ мужики сняли шапки и начали набожно креститься. Я былъ увѣренъ, что это катится именно тотъ самый боченокъ, который выдвинулся изъ-подъ моего сидѣнья. Я пустился бѣжать за нимъ.

— Тю-тю, дурню! куда тебе, чортяка, несе? задавить! назадъ! заорали мужики. Сара расплакалась и кричала, чтобы я возвратился. Мы опять вскарабкались на наше сѣдалище. Обозъ тронулся. Мужики гурьбой шли возлѣ нашего воза. Дорога пошла ровнѣе. Между фурщиками завязался живой разговоръ на мало-россійскомъ нарѣчій, котораго придерживаться я не считаю нужнымъ.

— Что-жь, ты ее видѣлъ?

— Кого? Вѣдьму-то?

— Ну-да, вѣдьму.

— Еще-бы!

— Да какъ-же она показалась тебѣ?

— Да вѣдьмой и показалась.

— А какова она съ виду?

— Сказано вѣдьма, вѣдьма и есть.

— А хвостъ видѣлъ?

— Увидишь тутъ хвостъ, когда она не ходитъ по-человѣчески, а колесомъ кувиркается.

— Такъ она, можетъ быть, и не вѣдьма?

— Да нѣшто я ослѣпъ? сказано, вѣдьма!

— Спаси насъ Господи и помилуй!

Хохлацкая аргументація меня не убѣждала: я привыкъ уже сомнѣваться въ бредняхъ даже вполне систематизированныхъ. Но бѣдная Сара дрожала отъ испуга и все болѣе и болѣе прижималась ко мнѣ. Она инстинктивно чувствовала, что ея хилый братишка, относительно вѣдьмъ и прочихъ сверхъестественныхъ выдумокъ, гораздо храбрѣе и сильнѣе всѣхъ этихъ грубыхъ колосовъ, изъ которыхъ каждый могъ поспорить съ медвѣдемъ въ физической силѣ.

— А знаешь, Иване, кто это была?

— Кто?

— Аксинья Тупогузая, прости Господи!

— Надоть, она.

— Ну, и напакостила-же она вдоволь! Сколько коровъ и парней перепортила она на своемъ поганомъ вѣку!

— А Хайкѣ, шиньаркѣ на слободѣ, какъ искривила жидовскій ротъ, а?

— Ну, за это дай Богъ ей здоровья. Эта проклятая Хайка, хоть тресни въ долгъ не дастъ. И крестись, и божишься— не вѣрять, да и только! А человѣкъ съ похмѣлья, хоть помирай.

— Сказано, жидовская душа!

— Да развѣ у нехристей бываетъ душа?

— Хоть поганенькая, а все-же есть.

Я мысленно былъ благодаренъ мужикамъ за то, что они оставили въ моемъ распоряженіи хоть какую ни на есть душонку.

— А вѣдь Аксинья уже подохла, хлопцы!

— Ой-ли?

— Право-слово, подохла. Холера задавила.

— Туда ей и дорога!

— Такъ она это, стало быть, послѣ смерти мандруетъ?

— Обыкновенно послѣ смерти.

— То-то послушалась-бы меня громада (общество), она-бы теперь не шмыгала по бѣлу свѣту.

— А что?

— А вотъ что. Какъ только холера ее скрутила, она какъ-

будто примерла, но была еще теплехонька совсѣмъ. Наши парни схватили ее да прямо въ яму, какъ бѣшеную собаку, и бросили, только кой-какъ присыпали землю. Ночью мужики пришли въ кабакъ переполошенные и баютъ: шли это они мимо кладбища и наткнулись на свѣжую яму. Одинъ изъ нихъ возьми да и спроси: „чья это могила?“ а въ отвѣтъ ему изъ этой самой могилы: „Охъ, охъ!“ да такъ громко, какъ-будто живой человѣкъ стонетъ. Мужики до смерти испугались. Хотѣли бѣжать, да ноги ни съ мѣста, какъ-будто кто за пятки вцѣпился, а охи и ахи все громче да громче. Какъ вдругъ надоумило Степку Кавуна перекреститься и крикнуть: „Бѣги, ребята, тутъ Аксинька!“ Степка бросился во всѣ лопатки, а за нимъ и другіе мужики. Я какъ-разъ былъ тутъ въ кабацѣ. Судили и рядили долго, да и рѣшили: открыть на утро проклятую вѣдьму, да и вбить ей въ спину осиновый колъ. Это я имъ посовѣтовалъ. Но при томъ и осталось: мужики побоялись начальства.

Разсказъ этотъ произвелъ сильное впечатлѣніе на Сару. Она все тѣснѣе и сильнѣе прижималась ко мнѣ и дрожала. Мое воображеніе тоже разыгралось не на шутку. Память оказала мнѣ при этомъ медвѣжью услугу: вся чертовщина и колдовщина, вычитанная мною изъ книгъ и талмуда, выплыла при этомъ случаѣ наружу и подтверждала возможность подобныхъ явленій. Если не было вѣдьмъ, то для чего-же Моисей повелѣлъ не оставлять ихъ въ живыхъ? Кто и какимъ образомъ вызывалъ тѣнь царя Саула? Талмудъ даетъ даже средство убѣдиться наглядно въ существованіи чорта: стоитъ только взять черную кошку, родившуюся отъ матери такой-же шерсти, умыть ее, сжечь и пепелъ этотъ разсыпать вокругъ кровати экспериментатора; на утро на этомъ пеплѣ видны будутъ ясные слѣды куриныхъ ножекъ тѣхъ чертей, которые имѣютъ привычку посѣщать людей во время ихъ сна. Я вспомнилъ и владыку чертей Асмодея, и соблазнительную ночную Лилисъ ¹⁾ съ ея чертовской свитой. Нервы мои все больше и больше возбуждались. Предъ глазами носились какіе-то фантастическіе образы, приводившіе меня въ трепетъ.

— Сруликъ, я боюсь! прошептала сестра.

— Не бойся, Сара, всѣ они врутъ, отвѣтилъ я сестрѣ, чтобы успокоить ее.

¹⁾ Это—ночная красавица преисподней, закрадывающаяся въ еврейскія спальни и возбуждающая самые непозволительные, соблазнительные помыслы. Лилисъ эта опасна также и для родинницъ.

Наступило долгое молчаніе. Мужики разбѣлились къ своимъ вѣзамъ. Меня ничто не развлекало. Суевѣріе и мысль затѣяли борьбу между собою. Вѣрить-ли на слово или нѣтъ? Столько людей вѣрятъ всему, что имъ ни говорятъ; какое право я имѣю не вѣрить? Вопросы рго и contra кишѣли въ моей головѣ, мысль копошилась долго, и нечаянно попала на логичный путь.

Для чего вѣдьма Аксинька искривила шинкаркѣ Хайкѣ ротъ? Вѣдь не для одного-же удовольствія,—иначе она могла-бы, силою своего всемогущаго колдовства, искривить цѣлую дюжину ртовъ у другихъ евреевъ. Почему вѣдьма избрала въ жертву именно Хайку? Вѣроятно, она мстила шинкаркѣ за то, что та не даетъ водки въ долгъ. Нужно предполагать, что Аксинька просила водки въ кредитъ, а Хайка была неумолима. По какой-же причинѣ вѣдьма вынуждена была унижаться предъ шинкаркой и просить водки въ кредитъ? Вѣроятно, потому, что у ней наличныхъ денегъ не оказалось. Но вѣдь Аксинька могла принимать на себя какой угодно образъ. Доказательство предъ глазами: она недавно обратилась въ бочонокъ. Владѣя такимъ искусствомъ, спрашивается, что стоило-бы Аксинькѣ обратиться въ штофъ, положимъ, и, находясь возлѣ бочки, напиваться сколько душѣ угодно, не испрашивая на то согласія шинкарки? Наконецъ, если Аксинькѣ нужны деньги, то она можетъ принять форму одного изъ мѣшечковъ, лежащихъ у мѣняльныхъ столиковъ, и невидимо загребать со стола деньги, сколько нужно. Это было-бы гораздо удобнѣе и проще, чѣмъ прибѣгать къ милости безсердечной кабачницы. Если же вѣдьма этого не дѣлаетъ, то, значитъ, она не въ состояніи этого сдѣлать. Что-же она за вѣдьма послѣ этого? Гдѣ-же ея сверхъестественная сила, которою она творитъ чудеса для другихъ, а не для самой себя? Додумавшись до этого пункта, я твердо поднялъ голову, смѣло посмотрѣлъ въ ночную даль и невольно прошепталъ: „вздоръ, чепуха!“

Ну, а охи и ахи, раздававшіеся изъ могилы? И это натурально. Мужикъ сказалъ, что парни, обрадовавшись смерти ненавистой Аксиньки, похоронили ее тогда, когда она была совершенно теплая, и присыпали кой-какъ землею. Но, можетъ быть, ее похоронили преждевременно и она въ могилѣ очнулась и звала на помощь тѣхъ, которые въ своей премудрости рѣшили успокоить ее осиновымъ коломъ?

— Да, повторилъ я шопотомъ, и на этотъ разъ еще болѣе рѣшительно:—все это вздоръ, чепуха и ложь!

— Что ты тамъ шепчешь? спросила испуганно сестра.

— Я вздремнулъ немного. Ничего.

Ну, а талмудъ, а тѣнь Саула, а вѣдъмы библейскія? принялся я опять разсуждать. Но прежде, чѣмъ я могъ серьезно подумать о разумномъ отвѣтѣ, мы вѣхали въ деревню. Все спало уже мертвымъ сномъ. Бодрствовали одни только косматыя, громадныя собаки, выбѣгавшія изъ каждаго двора проводить нашъ обозъ своимъ лаемъ. Нашъ возъ, какъ-то неистово скрипнувъ, остановился. Мы пріѣхали.

Наша новая квартира находилась на самомъ противоположномъ концѣ деревни. Это была какая-то жалкая, полуразвалившаяся изба, съ покосившимися, маленькими окошечками, расположенными безъ всякой симметріи. Дворъ былъ совершенно пустой, безъ службъ, и мѣстами обнесенный разрушившимся и повалившимся плетнемъ. Въ избѣ, повидимому, давно уже никто не жилъ. Въ цѣломъ дворѣ даже ни одной собаки.

Я и Сара направились къ избѣ. Сара, продрогшая, добѣжала первая и сильно постучала въ дверь.

— Татьяна, отворяй! прокричала она нѣсколько разъ. Я отсталъ нѣсколько, чтобы приказать подводчикамъ подкатить возы ближе къ избѣ. Я слышалъ, какъ съ визгомъ отодвинулась внутренняя задвижка дверей и какъ сестра, входя въ избу, съ кѣмъ-то разговаривала. Я тоже вошелъ въ сѣни, вслѣдъ за сестрою. Ощупью пробираясь я въ незнакомомъ мѣ, темномъ пространствѣ сѣней. Издали я слышалъ голосъ сестры и осторожно направлялся на этотъ голосъ, протянувъ передъ собою руки.

— Отчего ты не подаешь свѣчи? спрашивала Сара, плохо выговаривая малороссійскія слова.

— А гдѣ я ее возьму? отвѣчаетъ какой-то сильный голосъ.

— Какъ! Неужели у тебя свѣчи нѣтъ?

Отвѣта не послѣдовало.

— Развѣ у тебя свѣчи нѣтъ? повторила Сара.

Молчаніе продолжалось.

— Татьяна! что-жъ ты молчишь? спросила съ досадой сестра.

Опять молчаніе.

Я, между тѣмъ, ощупью добрался до какихъ-то дверей, ведущихъ въ жилую хату, но спотынувшись о высокій порогъ и упавъ. Поднявшись на колѣни, я опять услышалъ голосъ сестры:

— Татьяна...

Но вслѣдъ за этимъ раздался страшный, душу раздражающій крикъ Сары. Я вспрыгнулъ на ноги и, весь дрожа, устремилъ свои испуганные взоры во внутренность хаты.

Сквозь тускляя стекла окошечекъ едва пробивался какой-то сумрачный, колеблющійся полусвѣтъ отъ мерцающихъ на дворѣ звѣздъ. Полусвѣтъ этотъ до того былъ слабъ, что стѣны хаты и вообще внутренность ея совсѣмъ не были видны. Но недалеко отъ одного изъ оконъ, въ который едва пробивалось звѣздное мерцаніе, я замѣтилъ кричащую сестру. Ее обнимало какое-то привидѣніе, высокаго роста, обвитое бѣлымъ саваномъ, и съ распущенными длинными косами. Привидѣніе это, какъ видно, ухватило за горло сестры и все больше и больше душило, потому что крики сестры дѣлались все глуше и хриплѣе. При видѣ этой страшной картины кровь застыла въ моихъ жилахъ, сердце перестало биться и я почувствовалъ, какъ каждый волосокъ на моей головѣ поднимается. Я не могъ ни тронуться съ мѣста, ни сдѣлать малѣйшее движеніе. Наконецъ, нѣсколько мужиковъ ввалились въ хату и остановились возлѣ меня.

— Хлопцы! смотрите, опять Аксинья! крикнулъ одинъ изъ нихъ. Всѣ стремглавъ выбѣжали на дворъ. Я остался одинъ.

Слово „Аксинья“ привело меня къ сознанію. Я твердо проникнулся убѣжденіемъ, что подобныхъ Аксинеѣ быть не можетъ. Я рванулся впередъ и въ одинъ мигъ ухватился за мнимую колдунью. Сестра, увидя меня, нѣсколько ободрилась и обѣими руками, изо всей мочи, оттолкнула отъ себя призракъ. Что-то грохнулось о земляной полъ, и настало мертвое молчаніе. У ногъ моихъ лежало существо въ саванѣ, а нѣсколько поодаль растянула и упавшая въ обморокъ Сара.

Я бросился къ ней, пытался ее поднять, но она была безъ чувствъ и поднять ее было выше моихъ силъ. Видя сестру мою мертвою, я совсѣмъ забылъ о страшномъ существѣ, лежавшемъ тутъ-же. Я выбѣжалъ на дворъ и началъ кричать: „Сара умерла, Сару задушили!“ Но мужики, вмѣсто того, чтобы подать помощь сестрѣ, разбѣжались, завидя меня.

— Бѣги, кричали они мнѣ издали:—а то и тебя задушить.

Я вбѣжалъ обратно къ сестрѣ. Она лежала, попрежнему, безъ движенія, а невдалекѣ отъ нея лежало существо въ бѣломъ.

Я нагнулся къ сестрѣ и толкнулъ ее. Она сдѣлала слабое движеніе.

— Сара! Сара! позвалъ я ее.

Она начала подниматься. Я обрадовался и помогъ ей встать на ноги.

— Пойдемъ, Сара, пойдемъ скорѣе отсюда.

Я ее обнялъ обѣими руками. Она шаталась на ногахъ. Вдругъ

Сара нечаянно повернула голову, увидѣла на полу существо въ бѣломъ и опять начала кричать не своимъ голосомъ. Мнѣ едва удалось вытащить ее на дворъ. Тамъ она опять упала въ обморокъ, но скоро пришла въ чувство и сѣла на землѣ. Я стоялъ возлѣ нея, не зная, что дѣлать и что предпринять. Изъ подводчиковъ не было ни одного.

Прошло болѣе получаса. Наконецъ, до насъ донеслись голоса бѣгущихъ людей. Я съ сестрой побѣжали имъ на встрѣчу.

— Гдѣ она? гдѣ Аксинья? спрашивали насъ какіе-то деревенскіе, полунагіе мужики. Позади всѣхъ слонялись наши трусливые подводчики. При видѣ Сары они ободрились, достали огниво и зажгли лучину. Освѣщая себѣ путь, цѣлая гурьба мужиковъ, съ большою осторожностью, медленно шагая и поминутно крестясь, вошла въ избу. Я хотѣлъ идти съ ними, но сестра вцѣпилась за меня и не давала тронуться съ мѣста. Черезъ нѣсколько минутъ мужики выволокли на дворъ женщину, въ бѣлой длинной рубахѣ, съ распущенными длинными волосами, и бросили на землю, причѣмъ голова этой женщины сильно стукнулась. Она вздохнула и начала поднимать голову.

— Бей ее! бей вѣдьму! закричало нѣсколько мужиковъ.

— Стой, братцы! не трошь! это Танька Ничипуренкова.

— Ишь, и впрямь Танька!

— Встань, бісова дочка.

— Хіба-жь и ты въ вѣдмы пустилась, шкура ты барабанная?

Между тѣмъ одинъ изъ мужиковъ побѣжалъ въ избу, вынесъ оттуда ведро воды и разомъ обдалъ лежавшую еще на землѣ женщину. Она очнулась, поднялась и сѣла, дико озираясь кругомъ.

— Что съ тобою приключилось, Танька? спросилъ ее одинъ изъ мужиковъ съ видимымъ участіемъ.

— Ой, головонька моя! Ой, головонька моя бідная! завопила Татьяна.

Сара ее узнала. Это была наша служанка, которую я видѣлъ только въ первый разъ.

За день до моего пріѣзда домой ее отправили на новую квартиру выбѣлать комнаты и смазать полъ, и она на этой квартирѣ возилась уже больше недѣли. Мало-по-малу служанка пришла въ себя и рассказала слѣдующее:

Зная, что мы на ночь должны переѣхать на новую квартиру, и видя, что комнаты, вслѣдствіе бѣленія, отсырѣли ужъ черезчуръ, она вздумала протопить печи. Протопивши, она немедленно закрыла трубу и завалилась спать. Во снѣ она чувствовала, какъ-

будто ее что-то душить и не даетъ дышать; въ вискахъ у ней сильно стучало; она пыталась поднять голову, но не могла. Въ это самое время сестра моя начала стучать въ дверь и громко звать ее по имени. Она собралась съ силами, съ трудомъ встала, пошла и отворила дверь. Когда она возвратилась съ сестрою въ хату, то почувствовала сильное головокруженіе. Сестра ее разспрашивала. Она сначала отвѣчала, но вдругъ пошатнулась на ногахъ. Чтобы не упасть, она инстинктивно ухватила за сестру. Но какимъ образомъ ухватила и что затѣмъ было, она не помнитъ. Она лишилась чувствъ.

— А кто тебя душилъ во снѣ? спросилъ ее тотъ мужикъ, который совѣтовалъ угостить мертвую Аксиною осиновымъ коломъ.

— Кто-жь его знаетъ, что меня душило?

— То-то, кто его знаетъ! Я-то знаю: все проклятая Аксиныча!

Мужики начали выгружать изъ воевъ. Татьяна, стоная, помогала имъ, но они отъ нея сторонились какъ отъ зачумленной.

Я въ душѣ гордился, что я, слабый, хилый мальчишка, храбрѣ этихъ здоровяковъ. Я тогда уже убѣдился, что мысль храбрѣ всякой физической силы, но что физическая сила сильнѣ всякой храброй мысли. А изъ этого слѣдуетъ, что истинная храбрость, творящая чудеса, соткана изъ того и другого вмѣстѣ.

„Евреи—трусы!...“ Это такой фактъ, спорить противъ котораго было-бы совершенно напрасно и бесполезно. Заикнитесь только однимъ словомъ въ защиту еврейской храбрости—и васъ осыпятъ остроумными плоскими анекдотами о еврейской баснословной трусости. Это не разъ случалось со мною въ жизни. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ одно утро, посѣтило меня нѣсколько русскихъ, хорошихъ моихъ знакомыхъ, принадлежавшихъ къ военному, такъ-сказать патентованному на храбрость, элементу. Они зашли ко мнѣ въ кабинетъ и, къ крайнему изумленію, замѣтили хорошую пару пистолетовъ и двухствольную съ принадлежностями. Они знали, что я не занимаюсь перепродажею старыхъ вещей и не даю денегъ въ ростъ за *умѣренные* проценты, подъ закладъ какого-бы то ни было имущества.

— Неужели вы любитель оружія? спросилъ меня одинъ молодой марсъ.

— Да, я люблю оружіе.

— И вы... началъ другой офицеръ, но заикнулся, покраснѣлъ и замолчалъ.

— Не боптесъ пистолета, хотѣли вы спросить? Пожалуйста, не

стѣсняйтесь. Храбрость не моя профессія и притомъ я не обидчивъ.

— Извините, пожалуйста, сказалъ онъ чрезвычайно вѣжливо: — я хотѣлъ сказать, что вы — исключеніе.

— Вы очень любезны.

— Церемоніи въ сторону, прибавилъ развязно третій офицеръ, защищавшій усердно Севастополь, но, по особенному велѣнію судьбы, не получившій и царапины.—Церемоніи въ сторону. По правдѣ сказать, мнѣ какъ-то не вѣрится, чтобы еврей, самый развитый, не боялся огнестрѣльнаго оружія.

— Почему же это вамъ не вѣрится?

— Не знаю, какъ вамъ это сказать, но трусость еврейская вошла въ пословицу.

— Пословица—не фактъ.

— Это правда, но такъ сложилось ужъ общественное мнѣніе.

— Общественное мнѣніе такой-же вѣрный фактъ, какъ и пословица. Если вѣрить общественному мнѣнію, то всякій шпагоносецъ храбръ, какъ левъ, а вѣдь, согласитесь, господа, мало-ли трусовъ и въ военной средѣ? мало-ли такихъ вѣжливыхъ героевъ, которые кланяются всякой пулѣ?

Севастопольскій герой посмотрѣлъ въ окно и похвалилъ погоду.

— Конечно, тутъ не безъ предразсудковъ. Но чрезвычайно интересные анекдоты рассказываются по этому случаю.

— Ахъ! пусть онъ вамъ расскажетъ анекдотъ о „еврейскомъ разбойникѣ“.

— Я охотникъ до всего интереснаго. Пожалуйста, расскажите, попросилъ я его.

— Вы не обидетесь?

— Ни мало.

— Рассказываютъ, что у одного бѣднаго еврея была жена презлющая...

— Да, это часто случается даже съ небѣдными евреями, согласился я.

— Ну, вотъ, взялась она однажды на своего смиреннаго сожителя, зачѣмъ другія жены живутъ въ довольствѣ и роскоши, а она съ дѣтьми чуть-ли не дохнетъ съ голода. „Лѣнтяй ты, да и только! кричитъ она на мужа,—по мнѣ хотъ разбойничай, да корми семью! Вонъ съ моихъ глазъ!“ И затѣмъ, безъ околичностей, вытолкала мужа въ дверь. Долго ходилъ несчастный мужъ по улицамъ, убитый и унылый, думалъ, думалъ, и, конечно, ничего путнаго не выдумалъ. Наконецъ, рѣшился: что будетъ, то будетъ, а попытаюсь

сдѣлаться разбойникомъ... Вышелъ онъ за городъ, на большую дорогу, спрятался въ лѣсу и сталъ выжидать добычу. Протащился по дорогѣ мужикъ. „Нѣтъ, этого трогать не слѣдъ, подумалъ еврей,—пожалуй, побьетъ и еще послѣдній кафтанишко сниметъ. Самъ похожъ на разбойника!“ Прошла по дорогѣ баба, навьюченная какими-то узлами. Еврей выглянулъ. „До чужихъ женъ дотрогиваться, да еще до христіанскихъ — грѣшно!“ сказалъ онъ самому себѣ. Прокатилъ какой-то франтъ на перекладной. Еврей опять выглянулъ. „Ну, эту птицу не мѣшало-бы маленько пограбить, да жаль, ямщикъ здоровый“. Наконецъ, наступилъ вечеръ и часъ вечерней молитвы. Еврей сталъ усердно молиться. Въ самомъ разгарѣ молитвы онъ замѣчаетъ, что по дорогѣ, шагомъ, плетется проѣзжій еврей, на изнуренной клячонкѣ. „Ну, наконецъ, этотъ — по моимъ силамъ“, обрадовался дебутирующій головорѣзъ. Но положеніе разбойника было очень критическое: онъ не кончилъ еще молитвы,—значить, не имѣлъ права ни сойти съ мѣста, ни заговорить. Онъ началъ махать проѣзжему еврею руками и мычать. Проѣзжій еврей, замѣтивъ молящагося собрата, остановился и терпѣливо ожидалъ. Разбойникъ, окончивъ свою молитву, подбѣжалъ къ проѣзжему, ободряя себя внутренно.

— Добрый вечеръ! обратился онъ къ своей жертвѣ.

— Вечеръ добрый! отвѣтилъ проѣзжій.

— Шолемъ алейхемъ!—Разбойникъ протянулъ проѣзжему руку.

— Алейхемъ шолемъ!—Проѣзжій пожалъ руку разбойника.

— Откуда Богъ несетъ? спросилъ разбойникъ.

Проѣзжій объяснилъ, откуда, куда и зачѣмъ ѣдетъ.

— Нѣтъ-ли у васъ табачку понюхать?

Проѣзжій угостилъ разбойника табачкомъ.

— А знаете-ли вы, кто я таковъ есть? вскрикнулъ загробнымъ басомъ разбойникъ.

— Нѣтъ, не знаю; а кто вы такой?

Разбойникъ отступилъ на два шага и поднялъ кулакъ.

— Я... я... еврейскій... раз... раз... разбойникъ!! загремѣлъ грабитель.

Проѣзжій, ни живъ, ни мертвъ, отскочилъ назадъ.

— Что-же вамъ угодно? спросилъ дрожащимъ голосомъ проѣзжій.

— Подайте мнѣ, ради Бога, завопилъ плаксивымъ голосомъ еврейскій разбойникъ:—жена... девять человѣкъ дѣтей...

Когда анекдотъ кончился, мои гости покатались со смѣха. Я изъ любезности смѣялся съ ними.

— Анекдотъ недурень, сказалъ я,—но онъ доказываетъ только физическую слабость и честность натуры того, который сгоряча взялся не за свое дѣло.

— Я знаю анекдотъ насчетъ еврейской храбрости, вызвался другой офицеръ.

— Рассказывайте, рассказывайте!

— Какой-то нашъ братъ, офицерикъ-кутило, путешествовалъ по Польшѣ. Въ карманахъ его свободно разгуливалъ сквозной вѣтеръ. Всѣ деньги онъ давно уже пропутешествовалъ, такъ что приходилось проѣдать вещи. Послѣ всякой корчмы его тощій чемоданъ все больше и больше облегчался, а наконецъ, и исчезъ. Дошло до того, что кромѣ дорожнаго платья у офицера оставались только пистолеты, которыми онъ очень дорожилъ. Въ одной изъ польскихъ корчемъ, гдѣ, по обыкновенію, королевствовалъ ожирѣвшій еврей, офицеру пришлось такъ круто, что онъ, наконецъ, рѣшился попроститься и съ своимъ любимымъ оружіемъ.

— Шинкары! денегъ у меня нѣтъ! рѣшительно объявилъ онъ, покручивая усы.—Если хочешь, повѣрь честному слову дворянина...

— Ой вей, какъ можно? я бѣдный цоловѣкъ!

— Ну, чортъ съ тобою. Вотъ пистолеты. Спрячь ихъ. Проѣду обратно—выкуплю.

— Нехай буде по-васему, вельможный пани! На-те вамъ гвоздь, вбейте въ стѣну и повѣсьте пистолы. Я боюсь ихъ. Бозе сохрани!

Офицеръ повѣсилъ на гвоздь свое оружіе и уѣхалъ. Еврей, впродолженіи нѣсколькихъ дней, привыкъ къ оружію. Увѣряясь, что оно само не стрѣляетъ, онъ часто подходилъ къ нему довольно близко, чтобы любоваться серебряной насѣчкой, но дотрогиваться никакъ не рѣшался. Тѣмъ не менѣе онъ гордился и своимъ оружіемъ, и своею храбростью. Однажды проѣзжаетъ польскій панъ и заходитъ въ корчму выпить бутылку меда. Панъ удивился висѣвшимъ на стѣнѣ порядочнымъ пистолетамъ. Еврей замѣтилъ это. и еще пуще возгордился.

— Ей, жидзе! кричитъ панъ.

Еврей, засунувъ руки за поясъ и шепая туфлями, рассказываетъ по комнатѣ, не обращая, повидимому, никакого вниманія на пана.

— Эй, пане арендарже! позвалъ его вѣжливо панъ.

Корчмарь подходитъ, гордо поднавъ голову.

— Я самъ панъ орендаръ, что пану нужно? ;

— Чьи это пистолеты?

— Чьи это пистолы? Мон.

— Гдѣ взялъ?

— Гдѣ взял? Купилъ.

— А на что они тебѣ? продай мнѣ.

— Продать пану? Не хочу.

— Почему-же?

— Поцему? Самому нужно.

— Да на что-же они тебѣ нужны?

— На что? А если разбойники придутъ?

Панъ вскакиваетъ внезапно и хватается корчмара за бороду.

— Я самъ разбойникъ!

— Ну, коли ясновельможный самъ разбойникъ есть, то возьми себѣ пистолъ!..

Опять раздался искренній хохотъ моихъ гостей, но на этотъ разъ я уже не смѣялся вмѣстѣ съ ними.

— Слушайте, господа, сказалъ пожилой капитанъ, довольно серьезный человѣкъ.—Не знаю, храбры-ли евреи или нѣтъ, но что они необыкновенно находчивы, въ этомъ я ручаюсь. Нашъ полкъ въ 18... году стоялъ на квартирахъ въ одной изъ губерній, лежащихъ вблизи отъ австрійской границы. Мѣстность, на которой расположился нашъ полкъ, изобиловала лѣсами и частыми болотами, тянувшимися вплоть до границы. Каждый день дезертировали солдатики, а преслѣдовать бѣглецовъ не было никакой возможности. Въ числѣ арестантовъ, находившихся на гауптвахтѣ, содержался подъ самымъ строгимъ надзоромъ дезертиръ, уличенный въ варварскомъ убійствѣ и грабежѣ. Въ одну ночь онъ бѣжалъ вмѣстѣ съ караульнымъ, захвативъ съ собою солдатское оружіе и полную амуницію. Мы преслѣдовали бѣглецовъ всѣми возможными средствами, но они какъ-будто въ воду канули. Черезъ мѣсяцъ послѣ побѣга этихъ двухъ арестантовъ случилась слѣдующая исторія. Какому-то купцу-еврею необходимо было послать срочно пятьсотъ рублей въ одно изъ мѣстечекъ, лежащихъ въ сторонѣ отъ почтоваго тракта. Онъ договорилъ еврея-же водовоза отвезти туда пакетъ съ деньгами. Водовозъ, довольно сильный дѣтина, осѣдлалъ свою клячу, напаялилъ на себя нѣсколько курточекъ и вдобавокъ чекмень и выѣхалъ ночью въ путь. Время было осеннее. Рѣзкій ночной вѣтеръ дулъ прямо въ лицо курьеру, онъ продрогъ, слѣзъ съ лошади и пошелъ пѣшкомъ, чтобы отогрѣться, ведя лошадь подъ уздцы. При поворотѣ въ небольшой лѣсокъ, по которому пролегалъ проселочная дорога, вдругъ выскакиваетъ солдатъ въ полной амуниціи, съ ружьемъ на перевѣсѣ, и хватается водовоза за воротъ. Еврей испугался до смерти, тѣмъ болѣе, что дуло ружья прямо зѣло на него.

— Деньги! прогемѣлъ дезертиръ.

— Вотъ всѣ деньги, которыя имѣю, ваше благородіе, прошепталъ еврей, потерявшій голосъ отъ волненія. Еврей вручилъ солдату пакетъ съ деньгами. Тотъ вскрылъ пакетъ, увидѣлъ кредитные билеты и спряталъ ихъ не считая.

— Сколько тутъ? спросилъ снисходительно разбойникъ.

— Пятьсотъ.

— Маловато. Ну, а больше не имѣешь?

— Ей-богу, ни гроша не имѣю.

— Выворачивай карманы, проклятый жидъ!

Еврей вывернулъ всѣ карманы, а ихъ было не мало: въ чекменѣ два, въ каждой курткѣ по два, не считая панталонныхъ и жилетныхъ.

— Ишь дыръ-то сколько! Скидай шинель!

— Ваше высокоблагородіе...

— Смирно! Ты въ конурѣ спишь, а я на вѣтру. Шинель долой! Дезертиръ шевельнулъ ружьемъ.

— Ваше высокоблагородіе, все отдамъ, только душу оставьте.

Жена больная, десять человѣкъ дѣтей, пощадите!

— Все отдашь—не убью! объявилъ разбойникъ.

— Дай вамъ Богъ здоровье, и чины, и эполеты.

Еврей скинулъ шинель и остановился.

— Скидай куртку!

Еврей скинулъ куртку и опять остановился.

— Давай и другой лайбсардакъ—на онучи пригодится.

Еврей, немного привыкшій уже къ своему положенію, пріободрился. Онъ надѣялся на свою силу и смѣло вступилъ-бы въ борьбу съ дезертиромъ, но ружье, проклятое ружье!

— Ваше благородіе, если вы ужъ такъ милостивы, не убиваете меня, то не заставляйте меня замерзнуть въ степи; оставьте мнѣ ужъ эти тряпки.

— Ну, чортъ съ тобой, проваливай! свеликодушничалъ воинъ.

Еврей еще больше ободрился.

— Ваше высокоблагородіе!

— Что тебѣ?

— Деньги эти не мои, меня наняли отвезти ихъ въ мѣстечко N. Вы ихъ взяли, ну и пользуйтесь ими на здоровье. Но спасите-же и меня. Я возвращусь назадъ безъ денегъ. Мнѣ вѣдь не повѣрятъ, что служивый ихъ у меня взялъ, а скажутъ, что я все это выдумалъ, а деньги припряталъ; меня посадятъ въ острогъ. Жена и дѣти умрутъ съ голода.

— Ахъ, ты песъ этакій! не прикажешь-ли возвратить тебѣ деньги?

— Какъ я смѣю, ваше благородіе, просить деньги!

— Что-жь тебѣ угодно?

— Видите, если-бы ваша милость дали мнѣ росписку, что вы деньги получили, тогда я могъ-бы показать начальству, и меня въ острогъ не посадили-бы.

Дезертиръ сначала выпучилъ глаза, потомъ захохоталъ.

— Ахъ ты шутъ гороховый! Да я отродясь пера въ руки не бралъ. Росписку ему дай!

Еврей приложилъ руку ко лбу, притворившись, что глубоко раздумываетъ.

— Знаете что, ваше благородіе? сказалъ еврей чрезъ минуту.— Я сниму свой лайбсардакъ, повѣшу его на деревѣ, вонъ тамъ, вы его прострѣлите, будетъ дырка; я покажу, по крайней мѣрѣ, начальству, что въ меня стрѣляли.

— Чортъ съ тобой, повѣсь. Пушу пулю, куда ни шла.

Еврей торопливо снялъ другую куртку, повѣсилъ ее на деревѣ, а самъ отошелъ въ сторону и закричалъ:

— Ваше благородіе! постойте, не стрѣляйте. Я зажмурю глаза и заткну уши, чтобы не видѣть огня и не слышать пифъ-пафъ.

Дезертиръ наслаждался трусостью еврея. Чтобы его больше напугать, онъ подбѣжалъ къ трусу и выстрѣлилъ надъ самымъ его ухомъ.

— Ай вай миръ! пискнулъ не своимъ голосомъ еврей. Но въ ту же минуту онъ обхватилъ солдата и стиснулъ его въ своихъ желѣзныхъ объятіяхъ. Онъ повалилъ его, скрутилъ и связалъ поясомъ по рукамъ и ногамъ, взвалилъ на свою влячу и представилъ въ городъ.

Дезертиръ этотъ оказался тотъ самый арестантъ, котораго мы никакъ не могли выслѣдить.

— Умница еврей!

— Молодецъ!

— Господа! сказалъ я:—защищать еврейскую храбрость я не берусь; скажу вамъ только одно: если-бы вы принадлежали къ этой несчастной націи, которую весь міръ одѣлъ въ шутовской кафтанъ и сдѣлалъ цѣлью своихъ насмѣшекъ, и если-бы вы имѣли такой же интересъ, какъ я, вдуматься въ смыслъ анекдотовъ, вами рассказанныхъ, то вы не сочли-бы евреевъ такими отъявленными, природными трусами.

Я счелъ, однакожь, лишнимъ развить свою мысль предъ моими

военными знакомыми, но въ душѣ не могъ не удивляться слѣпому пристрастію цѣлаго міра, до такой степени враждебнаго изгнанникамъ Іерусалима.

Припоминаю теперь довольно характеристическій случай изъ моей жизни, нелишенный, впрочемъ, интереса и для моихъ читателей. Онъ ясно покажетъ тѣмъ лицамъ, которыя хоть сколько-нибудь интересуются вопросомъ о цѣлой націи, на-сколько основательны рутинныя, пошлыя мнѣнія, освященныя вѣковою, враждебною нетерпимостью. Я вполне увѣренъ, что если мои записки попадутся въ руки того лица, которое играло первую роль въ разсказываемомъ мною случаѣ, то лицо это будетъ на-столько добросовѣстно, чтобы не отрицать истины. Я разсказываю быль, а не анекдотъ для краснаго словца.

Это случилось года четыре тому назадъ, въ половинѣ декабря. Я возвращался изъ Петербурга. Верстъ девяносто или больше за Москвою оканчивалась линія желѣзной дороги. До Харькова, гдѣ я оставилъ свой экипажъ, приходилось доѣхать или на перекладныхъ, или-же въ дилижансѣ. Оба средства передвиженія не представляли ничего пріятнаго. На дворѣ стояли уже холода и вьюги. Дорога была ненадежная какъ для полозьевъ, такъ и для колесъ. Я рѣшился изъ двухъ золъ выбрать меньшее и взять изъ конторы дилижансовъ отдѣльный возокъ, чтобы страдать, по крайней мѣрѣ, на свободѣ. Я обратился къ управляющему конторою.

— Можете-ли вы мнѣ дать до Харькова отдѣльный возокъ?

— У насъ, къ сожалѣнію, на лицо только одинъ.

— Я у васъ только одного и прошу.

— Дѣло въ томъ, что пассажиръ, пришедшій за минуту до васъ, заявилъ тоже желаніе на особый возокъ. Хотя онъ еще не договорился, но все-таки, по первенству, онъ имѣетъ преимущество.

— Конечно, согласился я.

— Позвольте васъ спросить, обратился управляющій чрезвычайно вѣжливо къ молодому, очень красивому человѣку къ военной формѣ: — оставляете-ли вы за собою возокъ или нѣтъ? Есть желающіе...

— Оставьте за мной! объявилъ офицеръ рѣшительно: — и отправьте меня чрезъ часъ. Я только позавтракаю и—въ путь.

— Вы желаете непременно отдѣльный возокъ? обратился ко мнѣ управляющій.

— Да, я-бы васъ покорнѣйше просилъ объ этомъ.

— Къ сожалѣнію, вамъ придется дожидаться цѣлые сутки, пока возвратятся возки.

— Жаль, да дѣлать нечего. Обожду.

Офицеръ подошелъ.

— Позвольте! обратился онъ ко мнѣ, слегка поклонившись:— куда вы желаете доѣхать?

— До Харькова.

— Я тоже. Не поѣдемъ-ли вмѣстѣ? Цѣлый возокъ для одного слишкомъ ужъ просторенъ.

— Пожалуй.

Мы вмѣстѣ сѣли за завтракъ, вмѣстѣ потребовали бутылку вина и познакомились. Офицеръ, съ особой гордостью, объявилъ себя княземъ Н., состоящимъ на службѣ гдѣ-то въ Лифляндіи и ѣдущимъ въ Е., чтобы провести рождественскіе праздники у родителей, живущихъ въ имѣніи, Е... губерніи. Мой титулъ, по его невзвучности, я счелъ лишнимъ объявлять; я назвалъ ему только мою фамилію. Тѣмъ не менѣе князь любезно пожалъ мою руку. Я имѣю предубѣжденіе противъ тѣхъ, которые, встати и не встати, хвастаютъ своими громкими отцовскими титулами; но этотъ молодой князекъ своимъ красивымъ, открытымъ, нѣсколько женственнымъ лицомъ мнѣ съ перваго взгляда очень понравился. Я, однакожъ, далъ себѣ слово вести себя съ нимъ въ пути какъ можно сдержаннѣе.

Сначала я и мой спутникъ ограничивались одними вѣжливо-стями. Но заключенные въ одной клѣткѣ сутокъ на четыре или на пять, мы отъ скуки дѣлались съ каждымъ часомъ болѣе и болѣе сообщительны, особенно юный князь, который любилъ-таки поболтать. Русскія почтовые дороги чрезвычайно способствуютъ скорому сближенію пассажировъ между собою: часто приходишь съ своимъ сосѣдомъ въ соприкосновеніе и даже въ столкновеніе, то боками, то лбами. Падая и толкая другъ друга на каждомъ ухабѣ, мы сначала извинялись одинъ предъ другимъ, а потомъ начали смѣяться и разговаривались о всякой всячинѣ. Между этой всячиной теченіе идей наводило нашу мысль и на довольно серьезные предметы.

Мы остановились въ Курскѣ пообѣдать. Въ общей залѣ, кромѣ насъ, обѣдало за сосѣднимъ столомъ нѣсколько пассажировъ, ѣхавшихъ въ Москву. Пассажиры эти разсуждали между собою о непріятномъ приключеніи, случившемся съ ними ночью: дилижансъ опрокинулся и нѣкоторые изъ нихъ порядкомъ ушиблись. Какъ водится, ругали содержателей дилижансоваго сообщенія и порицали непростительную грубость и небрежность кондукторовъ. Между порицателями и недовольными болѣе всѣхъ пѣтушился какой-то франтъ. По акценту, оборотамъ рѣчи и нѣкоторымъ манерамъ

нельзя было не узнать сразу его іерусалимскаго происхожденія. Его хвастливыя угрозы и комичныя выраженія заставляли меня подергиваться пренепріятнымъ образомъ. Я уткнулъ голову въ тарелку, притворясь неслушающимъ его и незамѣчающимъ насмѣшливыхъ и презрительныхъ взглядовъ, бросаемыхъ ежеминутно княземъ на кричащаго еврея.

— Каковъ гусь? обратился ко мнѣ попотомъ князь къ концу обѣда, указывая глазами на франта.

— Жаркое—неудачное, отвѣтилъ я съ притворною наивностью, посмотрѣвъ на остатки гусянаго жесткаго жаркаго, неприбраннаго еще со стола. Спутникъ мой искренно засмѣялся.

Въ дорогѣ князь, неожиданно засмѣявшись, обратился ко мнѣ:

— Что вы хотѣли сказать вашимъ отвѣтомъ на мой вопросъ во время обѣда: „каковъ гусь“?

— Вы спросили мое мнѣніе о поданномъ намъ гусѣ, я отвѣтилъ: что жаркое очень неудачно. Я, право, не понимаю, какъ вы успѣли управиться со своей порціей?

— Ха, ха, ха! я обратилъ ваше вниманіе не на жаренаго гуся, а на живого.

— На какого живого?

— Видно, вы усердно трудились надъ своей порціей, если не замѣтили за сосѣднимъ столомъ франта-жида, презабавно гримасничавшаго и храбрившагося.

— Я ничего не замѣтилъ.

— Жаль, преуморительная птица. Что за народъ!

— Кто?

— Жиды.

— А что?

— Пренепріятные, прескверные люди.

— Да, говорятъ.

— Какъ говорятъ? неужели вы лично никогда не сталкивались съ ними?

— Хранилъ Богъ какъ-то.

— Завидна ваша участь!

— А вы?

— О, меня они надували, по крайней мѣрѣ, сто разъ.

— На чемъ же?

— Мало-ли на чемъ? и на товарахъ, и на займахъ, и даже на клубничкѣ.

— Благоразумный человѣкъ не долженъ себя давать въ обманъ болѣе двухъ разъ.

— Обстоятельства заставляют иногда, что прикажете дѣлать!

— Напримѣръ?

— Ну, проиграешься, прокутишься, денегъ ни гроша, куда обратиться прикажете? Конечно, къ жиду. Ну, и лупить жидъ, что есть мочи.

— Изволите видѣть: жидъ считаетъ проигравшагося или прокутившагося человѣка не слишкомъ надежнымъ плательщикомъ. Онъ рассчитываетъ, что изъ трехъ подобныхъ должниковъ уплатить, можетъ быть, только одинъ, а потому требуетъ, чтобы этотъ одинъ заплатилъ за трое.

— А между тѣмъ платятъ всѣ трое.

— А иногда не платитъ ни одинъ. Шансы равны.

— Но какъ же заниматься подобнымъ ремесломъ?

— Конечно, не похвально. Но въ томъ обществѣ, гдѣ люди проигрываются и прокучиваются, должны, по натуральному ходу вещей, явиться и подобные ростовщики: иначе нельзя было-бы отыгратъ и нельзя было-бы протереть глаза наслѣдственнымъ денежкамъ преждевременно.

Князь улыбнулся.

— Но почему именно жида избрали себѣ это гнусное ремесло?

— Ну, съ этимъ я не согласенъ. Въ столицахъ вы встрѣтите десятки ростовщиковъ чисто-россійскаго происхожденія, которые еще почище жидовъ будутъ.

— Нѣтъ, что ни говорите, а такой падкой на деньги нація, какъ еврейская, и въ мірѣ нѣтъ. Въ деньгахъ концентрированы всѣ ихъ помыслы, всѣ ихъ страсти, всѣ ихъ стремленія. Степени аристократизма у нихъ опредѣляются количествомъ рублей. Тысяча—первый чинъ, десять тысячъ—второй, а сто тысячъ—чуть-ли не генералъ у нихъ.

Князь засмѣялся надъ собственной остротой.

— Да вѣдь у нихъ, кажется, другихъ генеральскихъ чиновъ и быть не можетъ?

— Пустяки, это глѣтяти, шахеръ-махеры и...

— Трусъ?

— Ну, о трусости и говорить нечего. Я въ Польшѣ одного фактора такъ перепугалъ холостымъ зарядомъ, что онъ, кажется, и ремесло свое бросилъ.

— Неужели вся еврейская нація состоитъ изъ однихъ только факторовъ?

— Почти. Знаете-ли, что жидъ во фракѣ гораздо вреднѣе, чѣмъ жидъ въ капотѣ.

— Почему такъ?

— Этоть, по крайней мѣрѣ, знаетъ свое мѣсто, а тотъ еще раздувается, какъ царь лягушекъ и чортъ ему не братъ.

— Можетъ быть, потому, что онъ уже сознаетъ свое человѣческое достоинство?

— Какое тамъ достоинство и какое тамъ человѣческое! У нихъ нѣтъ ни достоинства, ни сердца человѣческаго. Умирай предъ глазами жиды десять человѣкъ — онъ ихъ не спасетъ, если для этого потребуется хоть одинъ рубль.

— Такую характеристику я въ первый разъ слышу; мнѣ говорили, наоборотъ, что жиды — мягкосердны и сострадательны, какъ вообще всѣ робкіе люди.

— Не вѣрьте ничему хорошему, что о нихъ говорятъ. Мнѣ, напримеръ, говорили, что жиловки очень нравственны.

— И что-жь?

— И это ложь. Я неоднократно убѣждался въ этомъ собственнымъ опытомъ.

— Неужели-же вы унизились, князь, до того, чтобы бывать въ еврейскихъ обществахъ?

— Сохрани Богъ!

— Но гдѣ-же и какъ вы пожинали лавры своихъ амурныхъ побѣдъ?

— Знаете-ли, что въ Польшѣ вообще и въ Бердичевѣ въ особенности ко мнѣ приходили съ визитами жены и дочери самыхъ богатыхъ, почетныхъ въ своей средѣ жидковъ.

— Какъ-же вы знакомились съ ними?

— Черезъ посредниковъ и посредницъ.

— А не надували васъ эти благородные дѣятели?

— Нѣтъ! Въ этомъ отношеніи факторы добросовѣстны.

— А! По крайней мѣрѣ хоть въ одномъ.

Я притворился уснувшимъ, чтобы прекратить этотъ непріятный разговоръ.

Въ Харьковѣ я долженъ былъ по одному дѣлу простоять нѣсколько дней. Князь долженъ былъ уѣхать на перекладныхъ. Не знаю, понравился-ли я на самомъ дѣлѣ моему спутнику, или-же онъ предпочелъ доѣхать со мною до Е. въ спокойномъ экипажѣ, чѣмъ трястись на почтовой тележкѣ, но онъ остался въ Харьковѣ и терпѣливо дожидался меня. Мы выѣхали ночью. Часовъ въ шесть утра мы остановились на станціи напиться чаю. Впродолженіи всего пути князь занимался нашимъ общимъ хозяйствомъ и разливалъ чай. Самоваръ давно ужъ былъ поданъ и нетерпѣливо шипѣлъ на

столѣ, а князь, озабоченный и блѣдный, то выбѣгалъ на дворъ, то вбѣгалъ въ комнату, не замѣчая ни меня, ни самовара.

— Что съ вами, князь? Вы нездоровы?

— Еще хуже этого.

— Что-жъ съ вами случилось?

— Представьте ужасъ моего положенія: я потерялъ свой бумажникъ. Не знаю, въ Харьковѣ-ли я его уронилъ или въ пути, ночью, когда я не однажды выходилъ изъ экипажа.

— Развѣ въ бумажникѣ была крупная сумма?

— Сумма, положимъ, не крупная, да вѣдь я остался безъ гроша.

— Цѣль вашего путешествія близка. Со мною вѣдь доѣдете. Перестаньте-же суетиться да будемъ чаевать.

— Воображаю, какъ былъ-бы я хорошъ, если-бы я ѣхалъ одинъ и если-бы случилась со мною подобная исторія. Всю дорогу вы расчитывались за обоихъ, я на послѣдней станціи предъ Е. думалъ расчитаться съ вами. Вотъ и расчитался.

— Все равно. Пожалуйста, не беспокойтесь.

Подѣхавъ къ переправѣ черезъ Днѣпръ, мы узнали отъ паромщиковъ, что переправиться нѣтъ никакой возможности: рѣка не стала еще, вѣтеръ сильно бушевалъ, а по рѣкѣ неслись цѣлыя ледяныя горы.

— Что дѣлать? спросилъ князь.

— Переправиться.

— Но какъ?

— Паромомъ.

— Да вѣдь опасно?

— Опасность эта устраняется десятью рублями.

— Какъ такъ?

Я обратился къ лопманамъ и посулилъ имъ за немедленную переправу красненькую. Лопмана долго не рѣшались, но деньги одолѣли.

— Перевеземъ, что Богъ дастъ! объявили они, почесывая затылки.

— А опасно очень? спросилъ дрожащимъ голосомъ князь.

— Нешто не видите, ваше благородіе, какіе звѣри по рѣкѣ разгуливаютъ? отвѣтилъ атаманъ.

— А бываютъ несчастные случаи? спросилъ князь.

— Какъ не бывать!

— Ну, и что-жъ можетъ случиться?

— Мало-ли что—всяко случается! Этакъ тебя толкнетъ—ну, и паромъ пополамъ. Все бываетъ, ваше благородіе!

— Я не переправлюсь, рѣшительно объявилъ князь.
— Въ такомъ случаѣ, здорово оставаться, князь!
— Неужели вы рѣшаетесь подвергнуться такой опасности?
— Какъ видите.
— Неужели вы не боитесь?
— Ни мало.
— Почему-же?
— Потому, что опасность является большею частью тамъ, гдѣ наименьше ее ожидаешь. Тутъ мы ее ожидаемъ, слѣдовательно она не явится.

— Съ вашей теоріей я не согласенъ.
— На войнѣ вы бывали, князь?
— Это другое дѣло, тамъ необходимость заставляетъ: не показывать-же себя трусомъ!
— Ружья и пистолеты иногда взрываются, а между тѣмъ вы стрѣляете-же безъ боязни?
— Къ этому я привыкъ.
— Такъ вы *трусики*, князь? спросилъ я моего спутника не безъ ироніи.

Онъ прошелся по песчаному берегу раза два и остановился возлѣ меня.

— Переправляюсь съ вами, объявилъ онъ мнѣ, стараясь улыбнуться, но ему это удалось только въ половину.

— Очень радъ.
— Но знаете, почему я измѣнилъ свое намѣреніе?
— Нѣтъ, не знаю.
— Я вспомнилъ, что я вашъ должникъ.
— Пустяки, я въ Е. остаюсь нѣсколько дней. Успѣете еще по квитаться.

— У меня гроша денегъ нѣтъ; какъ тутъ оставаться?

— Я вамъ оставляю денегъ. Сколько вамъ нужно?

Князь опять прошелся нѣсколько разъ по берегу и опять остановился возлѣ меня.

— Переправляюсь съ вами! рѣшилъ онъ.

Паромъ нашъ двинулся на лопманскихъ баграхъ. Сначала все шло хорошо, но въ серединѣ рѣки, гдѣ теченіе было самое бѣшеное, начали налетать на насъ громадныя льдины, угощавшія нашъ ковчегъ такими неистовыми толчками, что паромъ дрожалъ, скрипѣлъ и стоналъ самымъ роковымъ образомъ. Лопманы суетились и крестились. Наконецъ, насъ затерло льдинами. Паромъ, увлекаемый силою теченія и окруженный цѣлами горами льда,

устремился внизъ по теченію съ ужасной быстротою. Въ довершеніе бѣды, въ догонку за нами налетала новая ледяная гора, которая должна была неминуемо настичь насъ и обрушиться на нашъ паромъ всей своей тяжестью. Лоцмана опустили руки и съ явнымъ ужасомъ на лицѣ ожидали крушенія. Я самъ въ этомъ не сомнѣвался. Я быстро сбросилъ съ себя тяжелую шубу и мѣховые сапоги и ухватился за канатъ, имѣя въ виду не пойти сразу ко дну, а держаться на поверхности до послѣдней возможности.

— Князь, послѣдуйте моему примѣру! крикнулъ я, не смотря въ ту сторону, гдѣ находился князь.

Отвѣта не послѣдовало. Я оглянулся. Мой храбрый князь, съ лицомъ, искаженнымъ ужасомъ, блѣдный какъ мертвецъ, ломалъ себѣ руки отъ отчаянія, а крупныя слезы катились по лицу.

— Князь, крикнулъ я еще громче:—сбросьте шубу, идите ко мнѣ и сильно держитесь за канатъ. Ручаюсь вамъ, что во всякомъ случаѣ ко дну не пойдемъ. Если паромъ разобьется, то будемъ плавать на одной изъ его частей, пока подадутъ намъ помощь съ другого берега. Идите-же, не пугайтесь и не теряйте времени.

Но князь меня не слышалъ. Обезумѣвшій отъ страха, онъ сначала молчалъ, но какъ только гора льда, гнавшаяся за нами, была отъ насъ на нѣсколько шаговъ и заслонила собою одну сторону горизонта и виднѣвшагося города, онъ окончательно помѣшался.

— Назадъ! назадъ! караулъ! спасайте! закричалъ онъ какимъ-то дикимъ, нечеловѣческимъ голосомъ.

Вся тревога оказалась напрасною. Гора обрушилась, паромъ нашъ дрогнулъ, нагнулся на бокъ, зачерпнулъ воды, но уцѣлѣлъ. Толчекъ былъ сильный. Всѣ находившіеся на паромѣ устояли, однакожь, на ногахъ; упалъ одинъ только князь. Главная опасность миновалась. Лоцмана ободрились, принялись энергично за дѣло, и чрезъ четверть часа мы достигли другого берега. Князя, лежавшаго безъ сознанія, мы общими силами привели въ чувство. Приѣхавъ въ гостиницу, я напоилъ трусливаго спутника моего чаемъ, и когда онъ пришелъ совсѣмъ въ нормальное состояніе, я послалъ за дрожками, чтобы отправить его къ роднымъ, ожидавшимъ его въ городѣ.

— Большое спасибо вамъ, любезный спутникъ, за дружескую заботу вашу обо мнѣ. Я никогда вамъ этого не забуду.

— Вы, какъ видно, очень боитесь воды, князь?

— Да, отъ непривычки.

— Всякая *трусость* вытекаетъ изъ непривычки, князь.

Отъ слова „трусость“, произнесеннаго мною съ особеннымъ удареніемъ, его покорило. Онъ покраснѣлъ.

— Я удивлялся вашей твердости, сказалъ онъ мнѣ.

— Моя твердость есть слѣдствіе той теоріи, съ которой вы не соглашались, князь: ожидаемая опасность менѣе опасна, чѣмъ внезапная. По крайней мѣрѣ, готовясь къ отраженію ея.

— А все-таки рискуешь жизнью.

— Жизнь такая штука, надъ которой дрожать не стоитъ. Во всякомъ случаѣ, или она уже потеряна, или ее скоро потеряешь.

Князь съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на меня. Нумерной доложилъ, что извозчикъ ждетъ. Князь собралъ свои вещи и уѣхалъ, обѣщаясь заѣхать ко мнѣ на другое утро для окончанія расчетовъ.

Я собрался уже лечь и запереть дверь, какъ ко мнѣ въ нумеръ торопливо и сильно постучались. Я отворилъ. Вбѣжалъ князь, сконфуженный и блѣдный.

— Что съ вами, князь?

— Ну, фатальна-же моя поѣздка!

— Что такое?

— Представьте вы себѣ, отецъ и мать ожидали меня здѣсь до вчерашняго дня. Видя, что я не приѣзжаю и не телеграфирую, когда приѣду, они возвратились въ имѣніе.

— Ну, что за бѣда, поѣзжайте туда одни.

— Да вѣдь я съ вами не считался и доѣхать-то до имѣнія, какъ вамъ извѣстно, нечѣмъ.

— Какъ вы, однакожь, озабочены такой мелочью!

— Что за мелочь? Безъ денегъ просто погибать приходится.

— Сколько мнѣ причтется, вы мнѣ пришлете по адресу, а для дороги берите сколько нужно.

Я подаль ему свой бумажникъ.

— Мнѣ, право, совѣстно.

— Пожалуйста, не стѣсняйтесь такими пустяками.

Онъ взялъ.

— Позвольте мнѣ вашъ адресъ.

Я написалъ ему карандашемъ на клочкѣ бумаги свое имя, отчество, фамилію и городъ, гдѣ я постоянно живу. Онъ долго вертѣлъ въ рукѣ бумажку, желая, но не рѣшаясь меня о чемъ-то спросить. Наконецъ, онъ обратился ко мнѣ.

— Я всегда сохраню о васъ самое пріятное воспоминаніе, но

я имѣю до васъ еще просьбу, которую, надѣюсь, вы не найдете нескромною.

— Какую просьбу, князь?

— Въ адресѣ вашемъ не обозначенъ чинъ, званіе или титулъ, если хотите. Мнѣ хотѣлось-бы имѣть вашъ цѣльный адресъ, безъ недомолвокъ.

— Съ особеннымъ удовольствіемъ, князь. Мой чинъ — стотысячный.

— Вы шутите...

— Позвольте, князь, не перебивайте меня. Мой чинъ—стотысячный... мое званіе—купецъ или шахеръ-махеръ... Мой титулъ—жидъ!

Князь покраснѣлъ до ушей.

— Я, право, не нахожу выражений, какъ извиниться предъ вами за мою глупѣйшую болтовню. Даю вамъ честное слово, что отнынѣ я измѣняю свое мнѣніе.

— О жидовъ, князь?

— Ахъ, нѣтъ, о евреяхъ.

— За вашу любезность, князь, я благодарю васъ лично отъ себя. Цѣлая еврейская нація мало выигрываетъ отъ того, что вы измѣнили о ней свое мнѣніе... Ни вы первый, ни вы послѣдній, который судить о цѣломъ сословіи или народѣ по нѣсколькимъ удачнымъ или жалкимъ образцамъ. Васъ, князь, я увѣренъ, надѣлъ какой-нибудь мелкій торгашъ-еврей, продавецъ спичекъ или ваксы; съ васъ содралъ непомѣрные проценты жидъ-ростовщикъ; вы купили благосклонность нѣсколькихъ еврейскихъ проститутокъ, напугали забитаго факторишку,—и по этимъ образцамъ вы составили себѣ мнѣніе о нравственности и характерѣ цѣлой націи. Во мнѣ встрѣтили вы человѣка не столь грязнаго, какъ знакомый вамъ торгашъ, не столь трусливаго, какъ знакомый факторъ, и вы уже измѣняете свое мнѣніе. Согласитесь, любезный князь, это не совсѣмъ надежно и не совсѣмъ даже лестно. Несчастливая нація, жалкіе судьи!

Князь, въ высшей степени сконфуженный, обнялъ меня, пожалъ молча мою руку и ушелъ. Черезъ нѣкоторое время я получилъ отъ него самое дружеское письмо, полное искренности. О деньгахъ и говорить нечего: онъ ихъ прислалъ съ первою почтою.

Человѣкъ прежде всего—животное привычки; его можно приучить къ трусости и къ храбрости. Все дѣло въ воспитаніи и навѣкѣ. Дайте человѣку въ руки съ ранняго дѣтства огнестрѣльное оружіе, приучите его владѣть имъ и обращаться, и онъ его

бояться не будетъ: человѣкъ боится только того, что ему незнакомо, что онъ не понимаетъ, но знаетъ, что оно можетъ ему повредить, что оно угрожаетъ опасностью его жизни. Вы встрѣтите много записныхъ храбрецовъ, пугающихся чорта, именно потому, что они вѣрятъ въ его существованіе, а между тѣмъ не встрѣчали его лицомъ къ лицу, не узнали его свойствъ и его ахиллесовой пятки. Какъ бороться съ незнакомой силой? Подведите самого храбраго мужика къ громоотводу, объясните ему, что самъ изобрѣтатель, не зная, какъ съ нимъ обращаться, былъ пораженъ на смерть электричествомъ, и посмотрите, струситъ-ли мужикъ предъ этой незнакомой ему силой или нѣтъ? Что удивительнаго послѣ этого, если еврей, недотрогивавшійся во всю свою жизнь до пистолета, незнающій его механизма, а между тѣмъ увѣренный, что это—орудіе смерти, пугается при одномъ видѣ этой незнакомой, пагубной силы? Если что-нибудь достойно осмѣянія, то это не мнимая, природная трусость евреевъ, а глупое, несообразное воспитаніе. Трусость евреевъ—трусость привитая, а не природная—проистекаетъ еще и отъ другихъ причинъ: евреевъ душили, евреевъ угнетали, на нихъ охотились, какъ на зайцевъ, и кто-же?—масса, въ тысячу кратъ сильнѣйшая и многочисленнѣйшая, покровительствуемая сверхъ того мнимымъ законнымъ и религіознымъ правомъ. Какъ тутъ храбриться? Можно-ли назвать тигра трусомъ за то, что онъ бѣжитъ отъ удава? Онъ бѣжитъ отъ силы, превосходящей его силы, и умно дѣлаетъ. Самые умные, добросовѣстные люди, относительно евреевъ, дѣлаются непослѣдовательными въ своихъ сужденіяхъ. Они говорятъ: евреи—трусы. Евреи цѣнятъ деньги выше своей жизни. Евреи—самые отчаянные спекуляторы и аферисты. Если евреи ставятъ деньги выше жизни, если они эти деньги пускаютъ въ рискованныя спекуляціи, нерѣдко лопающіяся, то евреи уже не трусы. Дайте еврею другое, болѣе разумное и здоровое воспитаніе, развейте его мускулы и мышцы физическими упражненіями, кормите его питательной пищей, дайте ему чистаго воздуха вдоволь и не мучьте его дѣтскую голову сухими, бесполезными предметами талмуда,—и, конечно, изъ него выйдетъ и здоровый работникъ, и смѣлый воинъ и славный боксеръ.

Прошу извиненія. Я увлекся. Я люблю свою націю при всѣхъ ея недостаткахъ. Люблю я ее еще больше потому, что въ этихъ недостаткахъ виновата собственно не она, а тотъ жестокій рокъ, который ее преслѣдовалъ и преслѣдуетъ понынѣ, та среда, которая не желаетъ ее радикально перевоспитать, чтобы не лишиться

забавнаго, безвозмезднаго шута; то еврейское духовенство, которое для своих матеріальныхъ интересовъ и мелкаго честолюбія изуродовало, исковеркало своимъ вреднымъ вліяніемъ тѣхъ, которые ему слѣпо вѣрили; виноваты тѣ вліятельные денежные еврейскіе мѣшки, которые, обладая миллионами, не перестаютъ суетиться до гроба объ умноженіи своихъ миллионѣвъ, упуская изъ виду несчастныхъ, нравственно изувѣченныхъ своихъ собратьевъ, которыхъ направить на прямой путь разумной жизни вовсе не такъ трудно, какъ кажется.

Трудно только любить своего ближняго и заботиться о его благѣ.

Х.

Кабинетъ и университетъ.

Цѣлыхъ три мѣсяца страдали мы въ сырой, холодной и затхлой деревенской избѣ. Мы переносили почти голодъ. Отъ отца долгое время не получалось никакихъ извѣстій. Онъ, вѣроятно, сообразилъ, что нѣжныя письма безъ существеннаго приложенія — одна напрасная трата времени и почтовыхъ издержекъ. По моему мнѣнію, онъ былъ совершенно правъ: если человѣку помочь нельзя, то лучше, по крайней мѣрѣ, не лишать его надежды. Моей матери стоило только заикнуться своимъ сосѣдямъ, деревенскимъ корчмарямъ, о своемъ горестномъ положеніи, и ее бы навѣрно поддержали — таковъ ужъ характеръ евреевъ; но отъ природы она была горда и я ее за это очень уважалъ, хотя гордость эта, унаслѣдованная и мною, была причиною многихъ страданій въ моей жизни. Я ползучихъ людей ненавижу: это пресмыкающіяся, которые такъ и норовятъ забраться къ вамъ въ ухо, откуда ихъ и вытащить уже нѣтъ возможности.

Страдала вмѣстѣ съ нами и несчастная Татьяна, попавшая, безъ собственной вины, въ разрядъ вѣдмъ. Мужики и бабы сторонились отъ нея и перешептывались при ея появленіи; даже хлопцы не заигрывали съ нею попрежнему. Въ нашемъ семействѣ тоже косо на нее поглядывали; особенно Сара, дрожавшая при одномъ ея появленіи. Одинъ я былъ убѣжденъ въ ея невинности, и Татьяна очень часто, плача навзрыдъ, жаловалась мнѣ:

— Хібажъ я вѣдма? чего вони мене мучуть? Прийдетьи вирівку на горло, да и годі!

Несмотря на матеріальныя лишенія, переносимыя мною въ сво-

емъ семействѣ, я въ продолженіи времени, проведеннаго мною въ деревнѣ безъ надзора ненавистныхъ мнѣ учителей-опекуновъ, ощущалъ такое счастье, котораго еще въ жизни не испытывалъ. Я пользовался полною свободою, натуральною, здоровой, освѣжающей душу; тамъ меня выгоняли на всѣ четыре стороны, какъ негодную влячу во время недостатка корма, а тутъ я могъ бѣгать по сочнымъ лугамъ и возвращаться подъ родной кровъ, гдѣ меня принимали съ любовью. Луговъ, въ буквальный смыслъ, положимъ, не было—на дворѣ стояла уже суровая зима—но, сидя въ сырой избѣ и дрожа отъ холода, я рыскалъ по обширной еврейской библиотекѣ моего отца, и въ незнакомыхъ мнѣ древнихъ философскихъ книгахъ находилъ совершенно новыя для меня мысли, доставлявшія мнѣ невыразимое наслажденіе. Мезизе¹⁾ — прочелъ я, напримѣръ, въ сочиненіяхъ Маймонида—прибываются къ дверямъ не для того, чтобы черти не входили въ домъ еврея, а для того, чтобы хозяинъ дома, переступающій порогъ своего дома, съ намѣреніемъ повредить своему ближнему, солгать, обмануть, украсть и проч., дотрогиваясь до мезизе, вспоминалъ, что есть Творецъ, наказывающій за дурныя дѣянія, или чтобы тотъ-же хозяинъ, возвратясь въ домъ послѣ совершенія преступленія, при видѣ мезизе ужаснулся своего поступка и раскаялся предъ Господомъ своимъ. Съ каждымъ днемъ и съ каждой прочитанной страницей какой-нибудь здравомыслящей книги кругъ собственнаго моего мышленія все болѣе и болѣе расширялся. Я съ жадностью глоталъ тотъ мнимо-ядовитый умственный бальзамъ, отъ прикосновенія котораго разлагается вся мутная мудрость хасидимскихъ и нѣкоторыхъ талмудейскихъ пустослововъ. Мать моя, набожная до фанатизма и закаленная противница всего нееврейскаго, не препятствовала мнѣ углубляться въ такія книги, при взглядѣ на которыя всякій хасидъ—она ихъ очень уважала—пришелъ-бы въ ужасъ; она видѣла, что книги, мною читаемыя — еврейскія, и была совершенно спокойна. Изрѣдка только надоѣдала она мнѣ своей экзекуторскою назойливостію, когда наступалъ часъ какой-нибудь молитвы, или по субботамъ, заставляя меня читать нараспѣвъ библію²⁾.

¹⁾ Десять заповѣдей, написанныя на пергаментѣ. Этотъ амулетъ или фетишъ, прибываемый къ дверямъ и дѣлуемый евреями при входѣ и выходѣ, предохраняетъ будто-бы жилища евреевъ отъ нечистой силы.

²⁾ Библія распределена на цѣлый годъ, такъ-что на каждую недѣлю приходится одна извѣстная глава. Евреи обязаны, по субботамъ, прочитывать вслухъ текстъ два раза, а одинъ разъ—халдейскій переводъ (Таргумъ). Въ библейскомъ

Наконецъ, судьба сжалилась надъ нами: отецъ прислалъ деньги. Онъ пріютился у богатаго откупщика, на очень небогатомъ жалованьѣ, въ городѣ П. (въ томъ самомъ, гдѣ я подружился съ семействомъ Рунныхъ). Черезъ недѣлю мать распродала наше жалкое хозяйство, и мы, на двухъ мужичьихъ подводахъ, пустились въ путь, къ отцу. Перемена, послѣдовавшая въ нашемъ положеніи, радовала меня не столько перспективой относительно лучшей жизни, сколько надеждою свидѣться съ моими русскими друзьями, съ Марьей Антоновной, съ Митей, а главное съ Оленькой. „Какъ-то они меня примутъ? думалъ я; — обрадуются ли они мнѣ? или я уже забытъ? Какъ выйдеть теперь Оля? Неужели она до сихъ поръ дуется на меня за исторію съ моими пейсами?“ Подобнаго рода мысли волновали меня въ продолженіи всего пути. Я предугадывалъ вопросы и приготовлялъ умные отвѣты на русскомъ языкѣ, который я уже отчасти позабылъ. Внутренняя агитація согрѣвала меня и я на путевой стужѣ дрожалъ отъ холода гораздо меньше остальныхъ членовъ нашей семьи.

Въ П. мы застали уже готовую квартиру, устроенную отцомъ наскоро, съ грѣхомъ пополамъ. Квартира эта находилась въ какомъ-то закоулкѣ, на еврейскомъ подворьѣ, кишѣвшемъ множествомъ испачканныхъ и полунагихъ ребятишекъ. Во дворѣ, заваленномъ, загрязненномъ и засоренномъ, съ самаго ранняго утра до поздней ночи взрослые бѣгали, суетились, бранились, ерничали, а дѣти ревѣли, пищали и дрались. Окна нашей жалкой квартиры выходили во дворъ. Особенно чистымъ воздухомъ наше подворье тоже не щеголяло. Мать моя, привыкшая къ чистому сельскому воздуху, къ нѣкоторому комфорту и опрятности, была въ отчаяніи отъ этого вонючаго Содома. Она плакала къ ряду нѣсколько дней и вымещала свой гнѣвъ на отцѣ и на насъ. Отецъ былъ угрюмѣе обыкновеннаго: онъ сознавалъ горестное положеніе своей семьи, но помочь было выше его силъ.

Человѣкъ ко всему привыкаетъ; и мать, и всѣ мы привыкали постепенно къ жалкому нашему положенію.

Я страдалъ невыразимо. Не отъ квартиры, не отъ тощихъ обѣдовъ, не отъ ночлеговъ на сыромъ, холодномъ, земляномъ полу, не отъ еврейскаго гама, стоявшаго на дворѣ цѣлые дни,—нѣтъ, къ этому я уже привыкъ; я страдалъ оттого, что не могъ выйти

языкъ знаки, замѣняющіе гласныя буквы, помѣщаются подъ согласными, а наверху помѣщаются знаки препинанія, которымъ присвоена извѣстная, нѣсколько дикая мелодія, знаніе которой обязательно для каждаго еврея.

со двора, не могъ освѣдомиться о Руинныхъ, а выйти я не могъ по весьма простой причинѣ: моя обувь совершенно развалилась, да и остальные лохмотья, покрывавшія меня, тоже близки были къ совершенному разложенію. Показаться на улицу въ такомъ видѣ, особенно представиться моимъ опрятнымъ, изящнымъ друзьямъ, не было никакой возможности. Я порывался нѣсколько разъ попросить отца помочь моему горю, но не рѣшался, потому что, по частымъ суровымъ взглядамъ, бросаемымъ отцомъ на мое жалкое облаченіе, я видѣлъ, что онъ самъ хорошо понимаетъ, въ чемъ дѣло. Мать до того была поглощена собственнымъ горемъ, что, казалось, забыла о моемъ существованіи. Приходилось терпѣть и ждать.

Наша бѣдная квартира, лишенная почти самой необходимой мебели, состояла изъ трехъ небольшихъ комнатокъ, мрачныхъ, низкихъ и отчасти сырыхъ, изъ небольшой конурки, исправлявшей должность кухни, и кладовки для дровъ. Эта кладовка, игравшая благотворную роль въ моей жизни, граничила съ самыми благоухоющими мѣстами нашего еврейскаго подворья. Одна изъ трехъ комнатъ нашего жилья служила спальней для родителей; остальные двѣ комнаты днемъ были залой, гостиной, кабинетомъ и столовой, а вечеромъ превращались въ дѣтскія, гдѣ дѣти валялись, гдѣ и какъ кому было угодно, на полу. За дѣтьми никто не надзиралъ: служанки мы не имѣли, а мать и Сара день и ночь возились на кухнѣ; имъ было работы вдоволь, чтобы кормить безостановочно цѣлую семью. Надобно было и на рынокъ бѣгать, и печи топить, и дровъ натаскать. Последнюю обязанность я добровольно взялъ на себя, изъ жалости къ матери и сестрѣ. Такимъ образомъ, я имѣлъ случай познакомиться съ кладовкой, которая впоследствии сдѣлалась моимъ любимымъ уголкомъ.

Я по цѣлымъ днямъ предавался праздности. На меня никто не обращалъ вниманія. Отецъ дни и вечера возился въ подвалахъ съ откупными бочками и шкаликами, а придя домой, усталый и убитый своимъ рабски-зависимымъ положеніемъ, онъ тотчасъ ложился спать, иногда и не посмотрѣвъ на свое чадо и не отвѣчая на жалобы и упреки жены. Мать раздражалась съ каждымъ днемъ все больше и больше. Дѣти, получавшія отъ нея толчки и пинки на каждомъ шагу, боялись и сторонились отъ нея. Я и сестра, какъ болѣе взрослые, особенно чувствовали это плачевное положеніе въ родительскомъ домѣ. Сестра часто мнѣ говаривала:

— Что это за жизнь? чего они злятся и мучатъ дѣтей? Я, кажется, цѣлые дни работаю, какъ послѣдняя служанка, а кромѣ

брани ничего не слышу. Я охотнѣе пошла-бы куда-нибудь служить въ чужимъ, чѣмъ терпѣть такимъ образомъ въ собственной семьѣ.

— Ты, Сара, хоть въ цѣломъ ситцевомъ платьѣ, а я... завидовалъ я сестрѣ.

— Я отдала-бы и платье, и башмаки, лишь-бы меня не бранили напрасно.

— А меня развѣ не бранятъ?

— Ты—другое дѣло.

— Какъ я—другое дѣло?

— Ты, Сруликъ, заслуживаешь.

— Чѣмъ это?

— Ты никогда не вспомнишь о молитвѣ, пока маменька не напомнитъ; за то тебя и бранятъ.

— Увидѣлъ-бы я, какъ молилась-бы ты въ моемъ положеніи.

— Въ какомъ это положеніи?

— Ну, этого тебѣ не понять:

Сара пожимала плечамъ. Я намекалъ на свою одежду и обувь, разрушавшія мою мечту повидаться съ друзьями. Я зналъ, что Сара усвоила себѣ всѣ предубѣжденія матери, а потому боялся откровенничать съ нею, чтобы она какъ-нибудь не проболтнулась о Рунинныхъ при матери. Я зналъ, что, вспомнивъ исторію моихъ пейсиковъ, мать сразу и навсегда отрѣжетъ мнѣ всякій путь къ моимъ развратителямъ. Мать моя была въ полномъ смыслѣ слова фаталистка. Настоящее жалкое наше положеніе она приписывала карѣ небесной за прошлые грѣхи отца. Чтобы умиловить Іегову, она стала обращать вниманіе на самыя мелкія, незначительныя обрядности и глазами аргуса слѣдила за поступками отца и за моими. Тому доставалась на долю супружеская голубиная воркотня и домашнія сцены; мнѣ—болѣе осязательныя доказательства вѣжности. Моя жизнь сдѣлалась невыносимою. Днемъ я съ нетерпѣніемъ дожидался вечера, чтобы забыться сномъ, но вскорѣ и этого блага лишился. Праздность и жизнь безъ движенія и воздуха дурно вліяли на мое и безъ того подорванное здоровье. Я страдалъ отсутствіемъ аппетита и въ юные годы познакомился уже съ бессонницею. Вдобавокъ, тоска объ Рунинныхъ слѣдала меня, желаніе увидѣться съ ними сдѣлалось чуть-ли не маніей, преслѣдовавшей меня неотвязно, какъ днемъ, такъ и ночью.

Въ одну изъ подобныхъ страдальческихъ ночей я услышалъ изъ спальни моихъ родителей слѣдующій разговоръ (я спалъ на полу въ сосѣдней комнатѣ. Внутреннихъ дверей въ комнатахъ не

полагалось. Въ еврейскихъ жилищахъ это всегда бываетъ лишнею роскошью):

— Скажи на милость, Ревекка, чего ты вѣчно вздыхаешь и злишься? допрашивалъ отецъ мою мать недовольнымъ тономъ.

— А по-твоему какъ, радоваться, что-ли?

— Наше положеніе жалкое, это правда, да вѣдь бываетъ и хуже!

— Большое утѣшеніе, нечего сказать.

— Ты всегда ропщешь, а еще набожная!

— Ну, ужъ о набожности лучше молчать-бы, когда другіе молчать.

— Не ты-ли та, которая молчить?

— Если-бы я вздумала говорить, ты не то-бы услышалъ.

— Въ чемъ-же ты можешь меня упрекнуть?

— Еще спрашивать вздумалъ!

— Да въ чемъ-же, въ чемъ? настаивалъ отецъ.

— Не думаешь-ли, что Богъ забылъ прошлые твои грѣхи?

— Какіе грѣхи?

— Да тѣ грѣхи, за которые...

Мать замолчала.

— Да какіе-же?

— Что толковать! Ты самъ хорошо знаешь. Но за что-же я, я-то за что страдаю, Боже мой?

— Ты—дура, что съ тобою толковать!

— Ты-то больно уменъ. Много проку отъ твоего ума. Насмѣхаться надъ вѣрой—немного ума нужно.

— Да когда-же я насмѣхался надъ вѣрой?

— Всегда и при всякомъ случаѣ.

— Повторяю еще разъ, что ты дура, и больше ничего. Я насмѣхался надъ глупостями, а ты эти глупости смѣшиваешь съ вѣрой.

— У тебя все—глупости, а ты своимъ великимъ умомъ и такихъ глупостей не выдумалъ.

— И слава-богу что не выдумалъ: достаточно глупцовъ и безъ меня.

— И сына портишь.

— Чѣмъ-же я сына порчу?

— А вотъ мелешь всякій вздоръ при немъ, вотъ онъ себѣ и забралъ въ голову, что можно и не молиться.

— Отчего-же ты не надзираешь за нимъ? Ты-же знаешь, что у меня свободной минуты нѣтъ.

— Желала-бы, чтобы ты возился цѣлые дни на кухнѣ и съ этими проклятыми дѣтьми.

— Погоди, Ревекка, потерпи, все переѣнится къ лучшему, за-дабривалъ отецъ.

Наступила пауза.

— О моихъ молитвахъ заботятся, а о сапогахъ и кафтанѣ и не вспомнить, проворчалъ я въ носъ.

— Послушай, жена! слышался опять голосъ отца.

— Что?

— Знаешь, что меня больше всего огорчаетъ въ нашемъ бѣдномъ положеніи?

— Что?

— То, что мнѣ совѣстно пригласить кого-нибудь изъ моихъ откупныхъ сослуживцевъ.

— Нашелъ о чемъ беспокоиться! По мнѣ, хоть-бы они всѣ провалились.

— Что такъ?

— Знаю я ихъ. Это безбородники и голозадники. Они такъ-же похожи на евреевъ, какъ я—на турка.

— Но все-таки они мои сослуживцы. Отъ нѣкоторыхъ я завишу. Если захотятъ, меня вытурятъ изъ службы; тогда еще хуже будетъ, Ревекка!

Опять наступила пауза.

— Отчего-же ты ихъ не пригласишь, коли они люди нужные? спросила мать мягкимъ уже голосомъ.

— Какъ-же пригласить въ такую конуру? При томъ дѣти ошарпаны, оборваны—совѣстно. Да и чѣмъ ихъ угостить прикажешь?

Мать глубоко вздохнула.

— Жена, ты не разсердишься? продолжалъ отецъ заискивающимъ голосомъ.

— Чего?

— Нѣтъ, ты скажи мнѣ, разсердишься или нѣтъ?

— Да чего-же я стану сердиться?

— Да кто-же тебя знаетъ. Ты въ послѣднее время просто изъ рукъ вопъ зла сдѣлалась.

— Хотѣла-бы я видѣть другую на моемъ мѣстѣ. Запѣла-бы она тебѣ не то еще. Однако, что хотѣлъ ты сказать?

— Знаешь, Сара наша—дѣвка хоть куда, пора серьезно подумать о ней.

— Еще-бы!

Записки еврея.

— Мнѣ приглянулся одинъ изъ конторскихъ...

— Ни слова. Я этой безбожной сволочи на порогъ не пущу.

— Вотъ уже и разъярилась, еще не дослушавши. Увѣряю тебя, Ревекка, юноша—хоть куда. Красивъ, уменъ, конечно не ученый, да Богъ съ ней съ этой ученостью, лишь-бы Сарѣ хорошо жилось! Приданого вѣдь у насъ—Богъ подастъ; нечего, значить, высоко залетать, а этотъ хорошее жалованье получаетъ, мастеръ своего дѣла, хорошо по-русски пишетъ и говорить.

— Безбородникъ, небось?

— Да у него борода еще и не показывалась.

— Голозадникъ, конечно?

— Что толковать тамъ о пустякахъ! Такая мода пошла, и баста. Притомъ, когда будетъ твоимъ зятюшкой, передѣлаешь по-своему. Ты вѣдь у меня на это мастерица.

Послышался сочный поцѣлуй.

— А его родители? Ты ихъ знаешь?

— Нѣтъ. Какое намъ дѣло до его родныхъ! Нечего заботиться объ ясляхъ, коли конь хорошъ.

— Ну, ужъ за это извини: я изъ незнакомаго роду не приму въ свой домъ.

— Какъ знаешь, отрѣзалъ съ досадою отецъ и замолчалъ.

— Зельманъ! позвола мать. Отецъ не отвѣчалъ.

— Зельманъ! повторила мать.

— Оставь меня, я спать хочу.

— Не бѣсись-же, Зельманъ, задабривала мать.

— Ты и праведника взбѣсишь своимъ глупымъ упорствомъ.

— А такъ-какъ ты не праведникъ, то могъ-бы и не чваниться.

— Что тебѣ нужно?

— Ты вотъ заботишься о Сарѣ, а забываешь, что у насъ есть старшій сынъ; прежде надобно его пристроить.

— Ну, онъ и обождетъ.

— Ты никакъ съ ума спятилъ! Какъ это обождетъ? Слыханное-ли дѣло, чтобы младшій членъ семейства вступилъ въ бракъ прежде старшаго? Развѣ ты такіе порядки заведешь?

— Его я хотѣлъ-бы отдать въ науку.

— Въ какую такую науку?

— Ты-же знаешь давнишнюю мою мечту—сдѣлать сына докторомъ. У него хорошія способности...

— Тсс... ни слова больше. Я скорѣе отдамъ Срулика въ рекруты, скорѣе задушю его собственными руками, чѣмъ сдѣлаю изъ него ренегата (мешумедъ).

— Ишь, злая какая! подумалъ я, еще больше наостривъ уши.

— Ты, Зельманъ, продолжала мать:—пригласи конторскихъ. Если молодой человѣкъ понравится мнѣ, то можно будетъ условиться, а свадьбу все-таки отложимъ до тѣхъ поръ, пока не оженимъ сына. Иначе и думать не смѣй, Зельманъ!

— Пригласи! но какъ пригласить? нужно убрать наше жилище хоть какъ-нибудь, да дѣтей и Сару приодѣть, а денегъ гдѣ взять?

— А ты-бы попросилъ откупщика выдать тебѣ впередъ.

— Попросить? Такъ и дастъ, держи карманъ!

— Объяснишь, какая необходимость, п' дастъ.

Наступило молчаніе.

— Хотѣлось-бы мнѣ знать, что будетъ изъ нашего Сруля, начала мать опять.

— А что?

— Да то, что онъ цѣлые дни баклуши бьетъ. Ты-бы его отдалъ какому-нибудь учителю, а то чортъ знаетъ, что изъ него выйдетъ.

— Ну, ужъ извини, матушка, учителямъ не изъ чего платить намъ.

— Хотя самъ-бы ты съ нимъ позанимался.

— Когда прикажешь: не по ночамъ-ли?

— Ну, хоть товарища ¹⁾ отыскалъ-бы ему—все-таки лучше: по крайней мѣрѣ на глазахъ торчать не будетъ, какъ бѣльмо какое.

— И дровъ таскать тебѣ не будетъ, добавилъ я шопотомъ.

— Я поручу знакомому меламену отыскать ему товарища. Я просилъ уже нашего конторщика поучить Сруля русскому письму и конторской части.

— Этого еще недоставало, тамъ его еще не было!

Разговоръ прекратился и на этотъ разъ не возобновлялся больше.

Меня разговоръ родителей привелъ въ восторгъ. Я изъ него почерпнулъ одно: что въ скорости я буду одѣтъ, обутъ, и слѣдовательно... Отъ этой мысли сердце запрыгало у меня въ груди. Что-же касается до видовъ, какіе имѣютъ на меня родители, это

¹⁾ Хаверъ. По окончаніи талмудейскаго курса, для большаго усовершенствованія, соединяются два-три молодыхъ quasi-ученыхъ и занимаются вмѣстѣ уже на собственный счетъ.

меня ничуть не интересовало. На свой докторскій дипломъ я давно уже махнулъ рукою и вообще о будущемъ не заботился.

Черезъ нѣкоторое время я, къ великой моей радости, былъ одѣтъ и обутъ по послѣдней модѣ. Грубая, бумажная матерія, изъ которой шились еврейскіе кафтаны и изъ которой былъ шитъ и мой новый кафтанишко, имѣла цвѣтъ не чернѣй, лоснящійся, какъ гуттаперчевые плащи, а сизѣй, матовѣй; стоячій воротникъ моего кафтана былъ непомѣрно высокъ и щекоталъ меня подъ ушами; мои нанковые шараварики уже не завязывались тесемками выше колѣнъ, а спускались гораздо ниже и скромно прятались въ нечеренныя голенища моихъ, солдатскаго издѣлія, сапоговъ; въ моемъ кафтанѣ со шлейфомъ обрѣталась лишняя прорѣха, куда можно было засунуть руку для пущей важности. Снаружи прорѣха эта имѣла видъ кармана, но въ сущности это былъ не карманъ, а что-то такое экстраординарное, для меня совершенно непонятное. Впослѣдствіи, когда я пристрастился къ музыкѣ, я нашелъ этому сверхштатному, обманчивому карману должное назначеніе. Еще позже я подмѣтилъ, что еврейскіе *рыцари кармановъ* пользуются этой прорѣхой, чтобы удобнѣе спрятать подъ широкой и длинной полой кафтана сташенную вещь. Въ моемъ кафтанѣ было одно громадное неудобство: рукава были длиннѣе рукъ на цѣлую четверть аршина. Какъ я ни протестовалъ противъ этого, какъ я ни доказывалъ, что эти два длинныхъ мѣшка лишаютъ меня окончательно употребленія рукъ, мать ни за что не рѣшалась укоротить ихъ.

— Жаль матерію портить, объявила она портному, который, по видимому, началъ склоняться на мою сторону:—и притомъ онъ съ каждымъ днемъ растетъ. Подрѣзать во всякое время можно, а прибавить не такъ легко.

Какъ только портной вышелъ, я бросился изъ комнаты съ намѣреніемъ отправиться туда, куда такъ неотразимо влекло меня мое сердце.

— Куда? прикрикнула на меня мать.

— Я... хотѣлъ пойти немного погулять... Сколько времени я изъ комнаты не выхожу.

— Раздѣвайся сейчасъ! скомандовала мать.—Новое платье въ первый разъ надѣваютъ набожныя души въ честь субботы. Не треснешь, если два дня и пообождешь.

Съ бѣшенствомъ я началъ срывать съ себя новое платье. Цѣлый день я угрюмо молчалъ и всѣхъ дичился, но на меня никто не обращалъ вниманія.

Совѣтъ, данный матерью отцу, какъ видно, возымѣлъ свое дѣйствіе: отецъ, вѣроятно, обратился съ просьбою къ откупщику о ссудѣ ему денегъ, и надобно полагать, что откупщикъ не поскупился на этотъ разъ. Дѣтей обули и одѣли, а Сара сдѣлалась такою нарядною, какъ никогда. Я съ большимъ удовольствіемъ на нее посматривалъ.

— Какая ты хорошенькая, Сара! приласкался я къ ней и ущипнулъ ея розовую щечку.

— Убирайся ты! вознегодовала она на меня.—Ты испачкаешь меня и сомнешь платье, а потомъ мнѣ-же достанется.

— А знаешь, Сара, для чего это тебя такъ нарядили.

— Для чего?

— За тебя сватаются...

— Не ври, пожалуйста.

— Ей-богу, сватаются.

— Кто? спросила Сара, заалѣвшись какъ маковъ цвѣтъ.

— Не скажу.

— Голубчикъ, Сруликъ, скажи.

Сестра, въ свою очередь, начала ласкаться ко мнѣ.

— Убирайся, отстань, кафтанъ сомнешь, потомъ мнѣ-же достанется изъ-за тебя, передразнилъ я ее пискливымъ, сердитымъ голосомъ.

— Смотри, пожалуйста, какія радости! прикрикнула на насъ мать, появившаяся внезапно на порогѣ.—Тебѣ, кобыла, больше дѣла нѣтъ, какъ только болтать? Ступай въ кухню. Борщи весь выкипять. Да осторожнѣе: платье новое береги. А ты, батракъ, чего баклуши бьешь? дѣла себѣ не отыщешь?

— Да какое-же дѣло?

— Мало книгъ вонъ тамъ, на полкѣ? Всѣ небойсь наизусть знаешь?

Мать съ каждымъ днемъ дѣлалась сварливѣе, отецъ—угрюмѣе.

Наступилъ жданный канунъ субботы. Какъ только солнце сбросилось къ закату, я влѣзъ въ свои новые сапоги и напялплъ на себя модный кафтанъ. Въ первый разъ въ жизни я съ такимъ нетерпѣніемъ порывался въ синагогу. Я вознамѣрился дойти до нея окольными путями, чтобы хоть издали, мелькомъ посмотрѣть на флигелекъ милыхъ Рунныхъ.

— Куда это ты такъ торопишься? спросила меня мать, когда я собирался перешагнуть порогъ.

— Въ синагогу хочу.

— Ишь какъ приспичило! Обожди, вмѣстѣ пойдемъ.

Въ субботу утромъ я всталъ раньше обыкновеннаго и поторопился опять въ снагогу. Но меня преслѣдовала какая-то невидимая сила, насмѣхавшаяся надъ моимъ преступнымъ нетерпѣніемъ.

— Постой, воспрепятствовалъ отецъ:—со мною вмѣстѣ пойдемъ.

Да простить мнѣ Богъ! я въ эту субботу очень невнимательно молился. Я больше занимался засучиваніемъ своихъ ненавистныхъ рукавовъ, чѣмъ перелистываніемъ толстѣйшаго молитвенника. Рукава эти издавали какой-то звукъ, не то шелестъ, не то скрипъ, и всякій разъ скользили обратно, совершенно погребая мои пальцы въ своихъ нѣдрахъ.

Едва кончился субботній обѣдъ, едва только родители отправились на боковую, какъ я, крадучись, пробрался за дверь и пустился со всѣхъ ногъ бѣжать.

— Сруликъ, постой, куда ты? позвала меня разряженная Сара. Но я притворился неслышавшимъ и быстрыми шагами пошелъ по улицѣ.

Черезъ четверть часа, съ трепетавшимъ сердцемъ и съ прерывающимся дыханіемъ, я приблизился къ жилищу Руинныхъ.

Трудно передать то, что я чувствовалъ въ эту минуту. Всѣ пережитыя мною въ видѣвшемся издали полуразрушенномъ, грязномъ флигельѣ ощущенія, всѣ картины прошлыхъ дѣтскихъ страданій и наслажденій, всѣ рожи уличныхъ, безжалостно преслѣдовавшихъ меня мальчишекъ, всѣ морды дворовыхъ собакъ, бросавшихся на меня, звуки скрипки и фортепіано, ругань ягнбабы, материнскія ласки незабвенной Марьи Антоновны, сладкія губки Оли, искалѣченные пейсы,—всѣ эти образы и впечатлѣнія вдругъ вынырнули изъ моей памяти и закружились предо мною.

Я остановился. Сердце билось въ груди, внутреннія, безотчетныя слезы душили меня и захватывали дыханіе. Чего я волновался? откуда эти болѣзненные ощущенія?—я тогда себя отчета не давалъ.

Видъ руинскаго жилья очень измѣнился. Домикъ снаружи не блестѣлъ уже бѣлой штукатуркой, въ окнахъ не видать было хорошенькихъ занавѣсокъ и горшковъ съ цвѣтами,—словомъ, отъ него вѣяло какой-то мрачною пустынною и запущенною. Я долго смотрѣлъ въ окна недоумѣвающими глазами, теряясь въ предположеніяхъ.

Окно отворилось. Выглянула какая-то старая еврейка. Я подошелъ.

— Чего тебѣ? спросила меня еврейка довольно грубо.

— Тутъ еще Руины живутъ? обратился я къ еврейкѣ, нерѣшительно, на еврейскомъ жаргонѣ.

— Тутъ. А тебѣ на что?

Обрадовавшись, я, не отвѣчая еврейкѣ, вбѣжалъ во дворъ и въ одну секунду былъ уже въ сѣняхъ. Еврейка тоже уже была тутъ.

— На что она тебѣ?

— Нужно. Я давно уже знакомъ.

Еврейка смѣрила меня сердитымъ и презрительнымъ взглядомъ.

— Ого! какъ рано началъ ты уже знакомиться, голубчикъ.

Я вытаращилъ на нее глаза, не понимая, что хочетъ она этими словами сказать.

— Гдѣ, они, скажите мнѣ пожалуйста? попросилъ я еврейку. Она, не отвѣчая мнѣ, отворила дверь въ кухню и позвала:

— Груня!

Вышла какая-то толстая женщина, не то баба, не то дѣвка испачканная, босая, въ хохлацкой плахтѣ.

— А що? спросила эта женщина у еврейки.

— А вотъ какой-то волоцюга тебя спрашиваетъ, Дѣло ишь, имѣть,—славное, должно быть, дѣло! Если ты такая... то топить больше не приходи ¹⁾. Такихъ... мнѣ не нужно.

— Тобѣ що? накинулась на меня разъярившаяся хохлуша. — Яке діло маешъ, бисового сына? Оце, якъ візьму я рогаць, та мазну я тебе по пыці, то будешъ ты памятоваты ажъ до новихъ віниківъ!

Съ этими словами она бросилась въ кухню, вѣроятно за кухоннымъ оружіемъ, а я, не дожидаясь угощенія, бросился бѣжать во всѣ лопатки.

Вышло недоумѣніе: я спрашивалъ Руинныхъ, а еврейкѣ показало, что я подбиваюсь къ ея истопницѣ, Грунѣ.

Нѣсколько дней снѣдала меня грусть по Руиннымъ. Я цѣлые дни бродилъ по улицамъ, отыскивая кого-нибудь изъ школьных товарищей, въ надеждѣ узнать что-нибудь, но изъ прежнихъ друзей и знакомыхъ я никого отыскать не могъ. Городъ П., какъ показалось мнѣ, совсѣмъ перемѣнился, какъ-будто всѣ прежніе люди исчезли. Родители моего бѣднаго друга Ерухима тоже куда-то перекочевали, а мой первый учитель переѣхалъ куда-то

¹⁾ Евреямъ запрещалось закономъ имѣть христіанскую прислугу, а какъ по субботамъ еврейская прислуга не дотрогивается до огня, то поневолѣ приходилось имѣть субботнихъ истопниковъ и истопницъ изъ христіанъ, въ качествѣ подневныхъ работниковъ.

къ своей дочери, послѣ того, какъ его дражайшая Леа отправилась въ Елисейскія поля, вслѣдствіе разлитія желчи.

Я предавался праздности. Товарища мнѣ не назначали. Я свободно бродилъ по улицамъ; никто у меня не требовалъ отчета въ моихъ поступкахъ. Отецъ былъ вѣчный труженикъ, а мать была озабочена приведеніемъ въ порядокъ своего хозяйства въ ожиданіи гостей, въ числѣ которыхъ долженъ былъ явиться и будущій женихъ Сары. Нѣсколько дней къ ряду у насъ въ квартирѣ бѣлили, мыли, скребли и чистили. У насъ (о, роскошь!) появилась даже временная еврейская служанка.

Въ одинъ торжественный вечеръ явились, наконецъ, давно жданные гости. Всѣ они были откупные сослуживцы отца. Между этими евреями только два-три были совершенно похожи на евреевъ, какъ по костюмамъ, такъ и по манерамъ, остальные-же принадлежали уже къ новому еврейскому типу, начавшему зарождаться сначала на откупной почвѣ. Нѣкоторые изъ нихъ были чисто выбриты, въ короткихъ сюртукахъ, въ черношелковыхъ манишкахъ, въ панталонахъ, спускавшихся до самой ступни. Въ первый разъ въ жизни я узрѣлъ еврейскихъ щеголей. Такъ вотъ они, эти безбородники и голозадники, къ которымъ такъ презрительно относилась мать въ своемъ ночномъ разговорѣ съ отцомъ! подумалъ я, удивленно разинувъ ротъ, при видѣ этихъ новыхъ для меня людей.

Между этими людьми бросился мнѣ въ глаза одинъ молодой блондинъ. Это былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати-двухъ, довольно красивый собою, съ чрезвычайно выхоленнымъ лицомъ и съ голубыми, но водянистыми, телячьими глазами. Станъ его былъ очень строенъ, сюртукъ сидѣлъ на немъ какъ вылитый. Сапоги его скрипѣли самымъ пѣвучимъ образомъ, когда онъ ступалъ по землѣ; а ступалъ онъ очень увѣренно, гордо поднявъ голову, напыженную и надушенную. На рукахъ его красовались кирпичнаго цвѣта перчатки. Когда онъ сбросилъ бархатную фуражку, на головѣ его оказалась такая-же феска, съ огромною шелковою кистью.

„Это, должно быть, будущій женихъ Сары. Вотъ красавецъ, такъ красавецъ!“ подумалъ я и невольно началъ охорашиваться. Но проклятые мои рукава, при первомъ движеніи, такъ закрипѣли, что я счелъ за лучшее забиться въ уголъ и совсѣмъ прятаться.

Всѣ дѣти, и Сара въ томъ числѣ, забились въ кухню и не показывали носа. Отецъ и мать суетились вокругъ гостей и угощали чѣмъ Богъ послалъ. Особенно мать хлопотала и острила на каждомъ шагу, глубоко затаивъ свою ненависть къ этимъ голозадникамъ, какъ она ихъ называла.

„Нужные люди, должно быть“, подумалъ я, молчаливо наблюдая за матерью.

Черезъ нѣкоторое время блондинъ какъ-то нечаянно приблизился ко мнѣ. Окинувъ меня удивленнымъ взоромъ, онъ обратился къ отцу.

— Это вашъ сынъ, раби Зельманъ? Какой-же онъ у васъ уже взрослый! Чѣмъ онъ занимается?

— Пока онъ учился въ хедерахъ. Теперь я еще и самъ не знаю, куда его пристроить.

— А русскую грамоту онъ знаетъ? продолжалъ свысока франтъ.

— Нѣтъ, отвѣчалъ отецъ.

— Знаю, вмѣшался я, задѣтый отрицательнымъ отвѣтомъ отца.

— Значить, молодецъ! отнесся ко мнѣ блондинъ покровительственно.

— А знаете, раби Зельманъ, сказалъ одинъ изъ голозадниковъ, подходя къ отцу:—вы бы его отдали къ намъ въ науку. Онъ съ виду расторопный мальчикъ. У него лицо неглупое. Черезъ годика три-четыре онъ могъ-бы кое-чему научиться и быть полезень и себѣ, и вамъ.

— Покорно благодарю. Я, признаться сказать, самъ думалъ уже объ этомъ, да какъ-то не посмѣлъ просить васъ, г. конторщикъ.

— Откупной торѣ онъ еще успѣетъ научиться, вмѣшалась недоброжелательно мать.—До бороды ему еще далеко, добавила она язвительно.—А пока пускай-ка посидитъ надъ торой настоящей.

Отецъ укорительно посмотрѣлъ на мать, неумѣвшую выдержать роли своей до конца.

— Ого, раби Зельманъ, у васъ очень набожная супруга! замѣтилъ съ улыбкой тотъ, кого отецъ величалъ г. конторщикомъ.—И моя жена такая ужъ набожная, что заставляетъ меня молиться чуть-ли не пятнадцать разъ въ день, а по субботамъ и праздникамъ и совсѣмъ житья отъ нея нѣтъ.

Всѣ засмѣялись и мать моя тоже. Непріятное впечатлѣніе было замято.

— А вотъ что, любезная Ревекка, продолжалъ неглупый конторщикъ:—мы такъ устроимъ, что и волкъ будетъ сытъ, и козы цѣлы. Вашъ сынъ можетъ ходить въ хедеръ и продолжать свое дѣло, а послѣ обѣда ходить въ контору и учиться откупной части.

— На это я, пожалуй, согласна, одобрила мать. — Теперь и я вамъ скажу спасибо, добавила она, обязательно усмѣхнувшись.

— Ну, и ладно, будемъ-же друзьями, подшутилъ конторщикъ.—

Вы, добрая Ревекка, пожалуйста не коситесь на мою физиономію за то, что она такая безбородая: я въ мать уродился, оттого безбородый и вышелъ.

Опять всѣ захохотали.

— А что касается до нашихъ короткополыхъ сюртуковъ, продолжалъ конторщикъ: — то за это пеняйте на нашу проклятую профессію: часто сталкиваешься съ чиновниками. Изъ бокового кармана короткаго чернаго сюртука онъ какъ-то вѣжливѣе принимаютъ взятку, а то, пожалуй, и примутъ, да паршивымъ жидомъ вдобавокъ обзовутъ.

Смѣхъ раздался вновь. Мать очень снисходительно начала относиться къ остряку.

— Ревекка! спросилъ отецъ: — гдѣ же Сара?

— Ты знаешь, какая она у насъ застѣнчивая! Прячется отъ чужихъ людей, да и только.

— Скромность въ дѣвушкѣ — свойство хорошее, вмѣшался блондинъ: — но это уже выходитъ изъ моды; теперь въ ходу развязность, добавилъ онъ, гордо закинувъ голову назадъ.

— Какъ для кого... уязвила его мать.

Отецъ шепнулъ что-то матери на ухо. Мать вышла. Я догадался, что она пошла за Сарой. Я послѣдовалъ за нею.

Сколько мать ни урезонивала Сару явиться на сцену, та упорно не соглашалась. Мать пустила въ ходъ брань и угрозы. Это подействовало. Сара, отставая каждый свой шагъ, приблизилась къ двери. Мать внезапно толкнула ее сзади и Сара вдругъ очутилась на сценѣ. Блондинъ подскочилъ со стуломъ въ рукѣ, любезно приглашая ее сѣсть. Сара, не поблагодаривъ вѣжливаго кавалера, какъ-то безсознательно и крайне неловко опустилась на стулъ. Мать недружелюбно посмотрѣла на моднаго любезника.

Сара была необыкновенно мила въ своемъ розовомъ ситцевомъ платьицѣ. Заалѣвшись до кончика хорошенькихъ ушей и опустивъ свои густыя, длинныя, черныя рѣсницы, она въ замѣшательствѣ мала передникъ, не зная, куда дѣвать руки.

На блондина она, повидимому, сдѣлала очень пріятное впечатлѣніе, потому что тотъ схватилъ стулъ и ловко примостился къ ней.

— О, какая же у васъ дочь! Вполнѣ невѣста! сказали хоромъ гости, любясь замѣшательствомъ дѣвушки. Она пуще прежняго покраснѣла, еще ниже опустила головку и съ большимъ азартомъ принялась тиранить свой невинный передникъ.

— Неужели вы никогда не гуляете? спросилъ ее блондинъ:— какъ это я васъ до сихъ поръ ни разу еще не встрѣтилъ?

Сара молчала.

— Вы не гуляете? повторилъ кавалеръ.

— Нѣтъ, отрѣзала сестра полушопотомъ, не поднимая глазъ.

— Отчего-же?

— Такъ.

— Вы читаете что-нибудь?

Сара молчала.

— Книжки какія-нибудь читаете?

— Да.

— Какія?

— Сара! приказала мать:—пойди, милая, узнай, готова-ли закуска.

Сара, вырванная изъ бѣды, не пошла, а побѣжала въ кухню.

— Какая прелестная у васъ дочь! сказалъ блондинъ матери.

— Какъ для кого... отвѣтила мать лаконически.

Видъ Сары, повидимому, привелъ блондина въ розовое настроеніе. Его сердце до того раскрылось, что влюбилъ и меня, брата понравившейся ему дѣвушки.

— Какъ твое имя? спросилъ онъ меня, придвинувъ стулъ свой ко мнѣ, на русскомъ языкѣ, которымъ онъ очень гордился.

— Сруль, отвѣтилъ я.

— Неудобное имя; трудно перевести его на русскій языкъ.

— Зачѣмъ переводить? пусть оно будетъ какъ есть.

— Все какъ-то ловчѣе передъ русскими. Сруль... Сруль... Израиль... никакъ не подберу! Шмерко, напимѣръ—Сергѣй, Іосъ-ка—Осипъ, Іона—Іоганъ; ну, а Сруль? Право, не соображу.

— А васъ какъ звать по-еврейски? осмѣлился я спросить.

— По-еврейски—Палтиэль.

— А по-русски какъ это выходитъ?

— Кондрать.

— Какъ?

— Кондрать.

— Почему-же?

— Вотъ видишь, это имя мнѣ очень нравится: настоящее русское.

— Русскіе меня зовутъ Гришей, объявилъ я въ свою очередь.

— На какомъ-же основаніи?

— На томъ основаніи, что если Палтиэль—Кондрать, то Сруль можетъ быть не только Гришей, но и Вапкой.

Блондинъ засмѣялся.

— Ты, я вижу, очень не глупый малый. Чувствую, что мы скоро будемъ друзьями.

— Я очень радъ.

— Ты порядочно говоришь по-русски. Только *ш* плохо произносишь. При двухъ буквахъ, *ш* и *щ*, необходимо щелкнуть языкомъ. Я тебя этому научу.

— Благодарю васъ.

— Въ контору когда начнешь ходить учиться?

— Не знаю, право.

— Я скажу твоему отцу, чтобъ не откладывалъ.

— Если отецъ позволить, то я готовъ хоть завтра.

— Ну, а книги русскія читаешь?

— Читаль-бы, да не имѣю.

— Я тебѣ дамъ, но за то и ты сослужи мнѣ службу.

— Какую?

— Скажи сестрѣ, что я ее очень люблю.

— У насъ этого нельзя. Лучше какъ-нибудь иначе это устройте.

— Или уговори сестру пойдти съ тобою гулять. Поведи ее мимо конторы, да и дай мнѣ знать. Я выйду, какъ-будто нечаянно, и пойду съ вами.

— Хорошо.

Я зналъ, что мать моя—врагъ всякихъ гуляній, а потому смѣло обѣщалъ то, чего мнѣ исполнить никогда не пришлось-бы.

Поздно вечеромъ гости разошлись. Отецъ и мать очень ласково и любезно проводили гостей. Блондинъ отыскивалъ глазами Сару, но она упорно засѣла въ кухнѣ и не явилась даже попрощаться съ гостями. Она была дика, какъ всѣ еврейскія дѣвушки тогдашняго времени.

— Ну, женишка-же ты выбралъ для дочери! подсмѣивалась мать.

— Отчего-же? спросилъ отецъ.—Чѣмъ нехорошъ? Кажется, красивъ, неглупъ и въ состояніи прокормить жену и дѣтей.

— Онъ скорѣе въ *актеры* и *комедіанчики* годится, чѣмъ въ мужа моей дочери.

— Э! вослѣдствіемъ съ досадой отецъ и махнулъ рукою.

— Сара! спросилъ я сестру, когда родители удалились въ спальню.—Неправда-ли, красивъ?

— Кто?

— Да тотъ.

— Кто тотъ?

— Да этоть, что говорилъ съ тобою.

— Кто его знаетъ!

— Какъ, кто его знаетъ?

— Я его совсѣмъ не видѣла.

— Ну, ужъ врешь, не притворяйся!

— Ей-богу, Сруликъ, не видѣла.

— Отчего-же не посмотрѣла?

— Мнѣ такъ стыдно было, что даже въ глазахъ совсѣмъ темно стало.

— А выйдешь за него, а?

— Это какъ маменькѣ будетъ угодно. Я ничего не знаю.

На другой день я посѣтилъ новаго моего знакомаго Палтизла, онъ-же и Кондратъ. Онъ жилъ въ уютной, боковой комнаткѣ конторскаго дома. Комнатка была, по тогдашнимъ моимъ понятіямъ, убрана съ большимъ шикомъ. На столикѣ красовалось очень много незнакомыхъ мнѣ бездѣлушекъ, флаконовъ, банокъ, щетокъ и коробочекъ, на этажеркѣ покоилось съ дюжину переплетенныхъ книгъ. Хозяинъ меня очень ласково принялъ, хотя эта ласковость не была лишена примѣси нѣкоторой покровительственности. Онъ много болталъ и хвасталъ своими познаніями и положеніемъ, а я внимательно слушалъ и, большею частью, отмалчивался, завидуя въ душѣ его развязности и красотѣ. На прощаніи онъ обратился ко мнѣ.

— Ну, а книги русскія дать тебѣ?

— Пожалуйста, дайте. Я ихъ очень люблю, но давно не имѣлъ.

— Вотъ тебѣ для начала одна, самая занимательная. Только обращайся съ нею осторожно; у меня дешевыхъ книгъ нѣтъ, все дорогія.

Я, не разсматривая книги, радостно опустилъ ее въ одинъ изъ бездонныхъ кармановъ моего кафтана.

— Кстати, ты куришь?

— Нѣтъ.

— Какъ можно не курить? Всѣ русскіе курятъ.

Онъ поднесъ мнѣ набитую дымящуюся трубку, а самъ закурилъ другую.

— Ну, вотъ такъ, одобрилъ онъ, когда я съ какимъ-то ожесточеніемъ засосалъ горькій дымъ, выѣдавшій мнѣ глаза:—теперь по-болтаемъ. Что сестра?

— Ничего.

— Скажи правду: говорила-ли она съ тобою обо мнѣ?

— Нѣтъ.

— Неужели нѣтъ?

— Право, нѣтъ.

Меня затошнило отъ дыму. Я сказалъ, что долженъ спѣшить домой, и ушелъ, избавившись разомъ и отъ хвастуна, и отъ его трубки. На порогѣ нашего дома меня встрѣтила мать.

— Ты откуда такъ поздно? Гдѣ шляешься по цѣлымъ днямъ? пристала она ко мнѣ.

— Я ходилъ въ контору...

— Это что? перебила меня мать. — Отъ тебя несетъ дымомъ, какъ изъ трубы?

Я смутился. Я зналъ, что курить, въ глазахъ матери, было равносильно смертному грѣху. Я совралъ.

— Мнѣ въ конторѣ тошно сдѣлалось, и меня заставили потянуть немного дыму изъ трубы.

— Славное средство отъ тошноты, нечего сказать!

Я собирался уже пройти мимо, чтобы избавиться отъ дальнѣйшихъ допросовъ матери, осматривавшей меня подозрительными глазами съ головы до ногъ, какъ вдругъ она безъ церемоніи запустила руку въ мой карманъ.

— Это что тамъ у тебя?

— Книга.

— Какая книга?

— Это русская, конторская.

Мать, между тѣмъ, вытащила и развернула книгу, держа ее вверхъ ногами. Я былъ совершенно спокоенъ. Мать не знала ни аза, — слѣдовательно, заглянеть-ли она въ книгу или нѣтъ, было для меня все равно.

— Ой, вей миръ! застонала мать, развернувъ книгу. На первой страницѣ бросилась ей въ глаза какая-то иллюстрація, изображавшая какого-то рыцаря и нѣсколькихъ барынь.

— Такъ съ такими-то мудрыми книгами ты вознишься, негодяй! взѣлась она на меня и собиралась изорвать злополучную книгу въ клочки.

— Мама, ради Бога, не рви книги. Она чужая. Это книга откупщика. Мнѣ дали писать съ нея!

— Писать съ нея, съ этой гадости? Тотчасъ отнеси ее обратно, не то я разорву ее, а съ ней вмѣстѣ и тебя самого! прикрикнула мать. Книга полетѣла прямо мнѣ въ лобъ.

Я вышелъ съ твердымъ намѣреніемъ не исполнить требованія матери, а припрятать книгу. Но гдѣ припрятать? Проходя сѣни,

мнѣ бросилась въ глаза зѣявшая на меня открытая дверь кладовки, въ которой хранился нашъ тощій запасъ дровъ. Я бросился туда съ книгой въ рукѣ, осторожно затворивъ за собою дверь. Надобно было посидѣть съ полчаса, чтобы явиться къ строгой матери съ рапортомъ, что книга возвращена ея владѣльцу. Я усѣлся на толстый обрубокъ и, отъ нечего дѣлать, обратилъ вниманіе на щель, куда пробивался дневной свѣтъ. Подставивъ обрубокъ къ досчатой стѣнѣ кладовой, я всталъ на него и рукою началъ ощупывать эту щель. Оказалась на этомъ мѣстѣ маленькая ставень, забитая наглухо двумя гвоздиками. Я всю всю мочь рванулъ ставень, гвозди подались, ставень открылась и въ отверстіе хлынулъ свѣтъ.

Съ біеніемъ сердца я подкрался къ двери, осторожно притворилъ ее и дрожащей рукою вытащилъ книжицу. Я раскрылъ ее. На первой страницѣ узрѣлъ я ту злополучную картинку, которая возмутила невинность моей матери. Картинка, на самомъ дѣлѣ, была соблазнительнаго свойства: нѣсколько женщинъ, молодыхъ и красивыхъ, почти нагихъ, принимали молодого, предѣстнаго юношу въ шлемъ и латахъ.

— „Англійскій милордъ“, прочелъ я.

Объ Англіи и англичанахъ я какъ-то слышалъ, но что такое милордъ—я никакъ не могъ сообразить. Я рѣшился тутъ-же приступить къ чтенію.

Съ первой страницы, заблудившійся рыцарь, гнавшійся за миловидною газелью, меня чрезвычайно заинтересовалъ. Я слѣдилъ за нимъ съ большимъ участіемъ. Но когда онъ очутился въ замкѣ феи, когда его эти голыя женщины, представленныя на картинкѣ начали угощать, нѣжить и баловать, я отъ участія перешелъ къ зависти; пылкое мое воображеніе разыгралось до неопозволительности. Я былъ теоретически опытенъ, благодаря безцеремонности талмудейскаго ученія, называющаго всякую вещь натуральнымъ ея именемъ. Я очень долго читалъ съ полнымъ забвеніемъ цѣлаго міра, пока не услышалъ сердитый голосъ матери:

— Я-жъ ему задамъ! По цѣлымъ днямъ онъ гяцлемъ шатается по улицамъ, не знаетъ даже часа обѣда. Вотъ тебѣ знакомство съ голозадниками: утромъ онъ въ карманѣ притащилъ какую-то гадость—(мать громко плюнула),—а теперь чортъ его знаетъ гдѣ пропадаетъ. Изволь ждать его.

Материнскій діалогъ отрезвилъ меня разомъ. Я припряталъ книжку, притворилъ ставень и явился на божій міръ съ видомъ человѣка, только-что совершившаго тяжкое преступленіе.

Мать бросилась на меня, но отецъ суровѣ обыкновеннаго прикрикнулъ на нее:

— Оставь. Подавай обѣдать. Успѣешь. Мнѣ скоро нужно въ подвалъ. Транспортъ пришелъ.

Впродолженіи всего обѣда мать пилила меня, чести различными эпитетами и предсказывая мнѣ самыя пагубныя послѣдствія... Я машинально ѣлъ, пропуская мимо ушей всѣ ея материнскія нѣжности и наставленія. Мысли мои витали въ фантастическомъ мірѣ англійскаго милорда, гдѣ рождаются на свѣтъ божій такіе прелестныя, ласковыя, добрыя созданія женскаго рода и такіе счастливые рыцари. Я рѣшилъ, во что-бы то ни стало, окончить сегодня же чтеніе.

Послѣ обѣда я возвратился въ кладовую, увѣрившись предварительно, что мать успокоилась на своихъ трехъ пуховикахъ. Я съ жадностью продолжалъ чтеніе и не всталъ съ обрубка до тѣхъ поръ, пока не дочиталъ до конца. Сквозь открытую ставень я замѣтилъ, что солнце собирается уже заходить. Часъ молитвы давно уже наступилъ. Раздраженный голосъ матери тоже не мало пугалъ меня. Чуть онъ приближался къ кладовой, сердце мое замирало отъ страха и я торопливо пряталъ книгу въ кучу щепокъ и сора...

Въ этотъ вечеръ я былъ до того экзальтированъ соблазнительной книгой и необыкновенными приключеніями счастливаго милорда, до того былъ переполненъ новыми для меня ощущеніями, что вечеромъ, когда все улеглось, примостился къ Сарѣ и съ воодушевленіемъ передалъ ей содержаніе прочитаннаго йною. Сара съ напряженнымъ вниманіемъ дослушала до конца, ахая при каждомъ неожиданномъ оборотѣ событій.

— Вотъ сказка, такъ сказка! похвалила она мой рассказъ.

— Какая сказка! Это настоящая правда.

— А развѣ сказка—не правда?

— Конечно, нѣтъ. Сказка—выдумка.

— Сруликъ, помнишь вѣдьму Аксиньку?

— Аксиньки не было. Это ложь.

— А феи бываютъ, Сруликъ? наивно спросила меня Сара.

— Видишь, Сара, это тамъ... гдѣ-то въ Англіи... Можетъ, и бываютъ. Не вездѣ-же одинаково.

На утро я отнесъ книжицу моему новому пріятелю и искренно поблагодарилъ его за доставленное мнѣ удовольствіе.

— Хочешь другую? спросилъ онъ меня и, подойдя къ этажеркѣ, отыскалъ какую-то книгу и торжественно поднесъ ее мнѣ.

Я развернулъ книгу. Картинки не было.

— Двѣнадцать спящихъ дѣвъ! изумленно прочелъ я на заглавной страницѣ, и собрался, не теряя времени, бѣжать въ свой кабинетъ.

Въ короткое время я перечиталъ всю замѣчательную библіотеку моего пріятеля Палтиэла Берковича или, лучше сказать, Кондрата Борисовича, какъ онъ себя величалъ. Я понималъ общій смыслъ разсказа всякой книги, хотя многія слова, выраженія и обороты рѣчи оставались для меня terra incognita. Часто я прибѣгалъ съ разспросами къ моему пріятелю, владѣтелю библіотеки, но онъ рѣдко былъ въ состояніи мнѣ помочь: его познанія въ русской словесности были немногими обширнѣе моихъ.

— Я могъ-бы тебѣ объяснить, но ты все-равно не поймешь меня, оправдывался онъ, когда уже окончательно убѣждался въ своей беспомощности.

Я очень хорошо видѣлъ, что онъ вліяетъ, но обладалъ настолько житейскимъ тактомъ, чтобы смолчать во-время и не облачать его безграмотности. Я какъ-то особенно удачно умѣлъ всегда нащупать слабыя стороны тѣхъ людей, съ которыми въ жизни приходилось мнѣ сталкиваться, и старался не дотрогиваться до этихъ сторонъ безъ крайней необходимости.

Кондратъ Борисовичъ пытался удостоить насъ нѣсколькими визитами, но мать такъ убійственно-холодно, даже грубо принимала его всякій разъ, а Сара такъ тщательно отъ него пряталась—хоть онъ ей и приглянулся,—что онъ счелъ за лучшее прекратить свои посѣщенія. Онъ-было попытался пересылать черезъ меня какія-то записочки Сарѣ, но когда я ему объявилъ рѣшительно, что это ни къ чему не поведетъ, потому что Сара безграмотна, то онъ прекратилъ и эти попытки.

— Знаешь, объявилъ онъ мнѣ однажды:—я никогда не прощу себѣ, что познакомился съ твоей матерью и сестрою. Мать твоя очень злая женщина и грубая, а Сара...

— Сару не брани.—Мы съ нимъ были уже на ты.—Она добрая, но боится матери.

Я пристрастился къ чтенію русскихъ книгъ до того, что идеаломъ счастья воображалъ себѣ громадный шкафъ съ книгами такого свойства, какъ книги моего пріятеля, и чистую комнатку, гдѣ-бы я могъ читать днемъ и ночью. Мой своеобразный кабинетъ-кладовка, вѣчно переполненный вонючими миазмами, въ послѣднее время, когда наступили теплые дни лѣта, сдѣлался до того невыносимъ, что приходилось невыразимо страдать. Тѣмъ не менѣе я продолжалъ чтеніе, сжимая пальцами носъ и вдыхая живитель-

ный воздухъ еврейскаго чернаго двора однимъ ртомъ. Мало-по-малу
я даже привыкъ къ этому воздуху.

Но и для продолженія долбленія талмуда отыскался прилежный
товарищъ, почти однихъ лѣтъ со мною. По странному случаю, то-
варища тоже звали Срулемъ. Это была личность блѣдная, болѣз-
ненная, мягкая, робкая и добрая. Онъ былъ дова въ талмудейской
мудрости, благодаря необыкновенной памяти и необыкновенному
прилежанію. Я съ перваго дня убѣдился, что я — просто школь-
никъ противъ него. Тѣмъ не менѣе товарищъ мой, забитый и за-
давленный бѣдностью и воспитаніемъ, съ перваго-же дня подчи-
нился мнѣ и исполнялъ мою волю. И я злоупотреблялъ его сла-
бостью. Тиранизируемый въ домашнемъ быту, я всю злость выме-
щалъ на этомъ добромъ созданіи и помыкалъ имъ самымъ варвар-
скимъ образомъ, хотя любилъ его не менѣе, чѣмъ онъ меня.

По утрамъ я уходилъ изъ дома будто въ откупную контору для
изученія кабачной мудрости, но чаще забирался въ свой кабинетъ
и читалъ вплоть до обѣда. Только тогда, когда запасъ книгъ Конд-
рата Борисовича кончился, я прилежище началъ заниматься въ кон-
торѣ. Въ короткое время, благодаря вниманію конторщика и его
помощниковъ, уважавшихъ моего отца, я научился разграфливать
самымъ изящнымъ образомъ откупныя табели о продажѣ питей.
Это считалось большимъ искусствомъ въ откупномъ мирѣ. Я на-
учился выкладывать на счетахъ и красиво переписывать канцелар-
скія бумаги. Многоточенные, почти безграмотные повѣренныя, слу-
жившіе на побѣгушкахъ по кабакамъ, начали обращаться ко мнѣ
съ просьбами изготовлять ихъ рапорты, рапортчики и вѣдомости.
У меня завелась своя денюга, хотя и мѣдная. Она была очень
кстати, потому что я уже привыкъ курить.

Послѣобѣденное время посвящалось зубренію еврейскихъ пред-
метовъ. Я съ своимъ товарищемъ занимался иногда въ лачугѣ его
вдовствовавшей матери, или-же у насъ, но когда настали лѣтніе,
жаркіе дни, я рѣшилъ придерживаться метода Сократа и зани-
маться учеными предметами на чистомъ воздухѣ. Гуляя однажды
съ моимъ пріятелемъ Кондратомъ за городомъ (по городу онъ не
рѣшался ходить со мною, стыдился за мой слишкомъ ужъ націо-
нальный костюмъ), мы отырыли въ сторонѣ отъ большой дороги,
въ долинѣ, небольшой, но густой, одичалый лѣсокъ. Лежа на соч-
ной, высокой травѣ подъ листвою раскидистаго дерева и передавая
моему другу впечатлѣнія кабинетнаго моего чтенія, мнѣ невольно
взбрело на мысль сравненіе между моимъ вонючимъ кабинетомъ и

этими прелестными прохладными лѣсомъ, гдѣ дышалось такъ легко и свободно.

— Вотъ мѣсто для чтенія, произнесъ я въ раздумѣ.

— За чѣмъ-же дѣло стало? Можешь каждый день выходить сюда и тутъ читать.

— Боюсь одинъ.

— Чего?

— Могутъ набрести на меня мужики или русскіе мальчишки и побить.

— Это правда. Твой кафтанъ такой мерзкій, жидовскій. Вотъ я такъ этого не боюсь. Меня никто не признаетъ за еврея.

Онъ былъ правъ. Я вздохнулъ и замолчалъ. Идея обратить прелестный лѣсокъ въ мѣсто занятій не давала мнѣ покоя. При первой встрѣчѣ съ товарищемъ Срулемъ я сообщилъ ему объ этомъ.

— Да, это было-бы очень удобно. Наши домашнія мухи не даютъ просто покоя, и такъ больно кусаютъ, что то-и-дѣло отбивайся отъ нихъ. Какое тутъ ученіе!

— Значитъ, ты согласенъ?

Долго отиѣпывался Сруль, но, наконецъ, какъ всегда, подчинился моей волѣ. На слѣдующій день, мы, съ еврейскими книгами подъ мышкой, иршли въ лѣсокъ, расположились на травѣ и съ большимъ удовольствіемъ занимались. Въ головѣ было какъ-то свѣтлѣе, на душѣ—веселѣе. Мы чувствовали, что съ каждымъ движеніемъ нашихъ легкихъ мы вдыхаемъ и новую силу. У насъ проявилось даже непреодолимое влеченіе побѣгать по лѣсу и пошалить, чего съ нами прежде не случалось.

Однажды, окончивъ занятія наши, я уже собралъ книги и всталъ, чтобы возвратиться въ городъ. Сруль лежалъ еще на травѣ, глубоко о чемъ-то раздумывая.

— Ты уснулъ, что-ли? тронулъ я его ногою.—Пойдемъ.

— Садись-ка, Сруликъ.

— Чего тебѣ?

— Садись. Я хочу поговорить съ тобою.

Меня крайне удивила его необыкновенная таинственность. Я сѣлъ.

— Ну?

— Слушай, Сруликъ. Ты читалъ когда-нибудь Кницеръ-шелю?

— Нѣтъ, не читалъ.

— Тамъ я вычиталъ такія вещи, такія вещи...

— Какія-же удивительныя вещи ты тамъ вычиталъ?

— Видишь, книга эта учитъ средству сдѣлаться невидимкой.

— Какъ невидимкой?

— А такъ. Ты все и всѣхъ видѣть будешь, а тебя никто не увидитъ, какъ-будто тебя и на свѣтѣ нѣтъ.

— Хорошая штука.

— Ты понимаешь, что съ такимъ средствомъ сдѣлать можно?

— Еще-бы! Можно сотворить чудеса еще почище англійскаго милорда!

Я засмѣялся. Онъ обидѣлся.

— А ты что сдѣлалъ-бы, будучи невидимкой? продолжалъ я испытывать его.

— Я ночью явился-бы въ полиціймейстеру и сказалъ-бы ему на ухо: „Если съ завтрашняго дня ты строго-на-строго не прикажешь твоимъ квартальнымъ и десятскимъ не обижать евреевъ и не грабить ихъ, то я тебя задушю“.

— А если онъ тебя за шиворотъ да розгами?

— Да вѣдь я-же невидимка!

— Ахъ, да! Я и забылъ объ этомъ.

— Какъ-бы я былъ счастливъ тогда!

Сруль даже прослезился при этой мысли.

— Въ чемъ-же дѣло стало? Попробуйся.

— Легко связать—попробуйся, а какъ?

— Въ той книгѣ описывается-же средство сдѣлаться невидимкою,—ну, и слѣдуй ему.

— Ахъ, это вѣдь трудно!

— Что-жь надобно для этого сдѣлать?

— Надобно строго поститься цѣлые сутки. Это во-первыхъ. Потомъ надобно съ Кавона (сосредоточенно) молиться, потомъ съ большимъ вниманіемъ нѣсколько разъ повторить одинъ извѣстный псаломъ, да надобно еще предъ молитвой очистить себя купаньемъ въ живомъ источникѣ.

— Ну, что-жь, и сотворимъ все это въ аккуратности. Что за важность, вещи все возможные.

— Какъ-же это устроить, Сруликъ?

— А вотъ какъ. Надняхъ у насъ будетъ постъ семнадцатаго тамуза (іюня). Этимъ днемъ мы воспользуемся и будемъ поститься самымъ строгимъ образомъ, даже не полоща утромъ рта водою. Предъ закатомъ солнца мы выкупаемся въ общественной миквѣ ¹⁾, затѣмъ придемъ сюда, помолимся и прочитаемъ псаломъ.

¹⁾ Женская купальня для религіознаго омовенія, по прошествіи четырнадцатидневнаго менструаціоннаго періода.

Такимъ образомъ мы рѣшили испытать средство сдѣлаться невидимками. Обыкновенно я чувствовалъ ужасныя страданія, когда мнѣ приходилось поститься цѣлыя сутки, но на этотъ разъ, въ виду предстоящаго опыта, я собралъ всю свою силу воли и подчинилъ свой желудокъ высшимъ цѣлямъ. Я постился примѣрно, а о моемъ товарищѣ и говорить нечего. Предъ закатомъ солнца мы три раза окунулись въ мутно-зеленоватыхъ струяхъ общественной женской купальни и, съ молитвенникомъ и псалтыремъ въ рукѣ, отправились въ нашъ любезный лѣсокъ. Сруль дрожалъ отъ внутренняго волненія, какъ въ лихорадкѣ. Я ободрялъ его, хотя и самъ нуждался въ ободреніи. Какой-то суевѣрный трепетъ охватывалъ меня при мысли, что я невидимъ и совершаю чудеса. Мнѣ какъ-то и не вѣрилось, и въ то-же время хотѣлось вѣрить. Въ лѣсу мы усердно помолились, глубоко вдумываясь въ смыслъ каждого слова молитвы. Между тѣмъ наступили сумерки; затѣмъ на небѣ кое-гдѣ замерцали далекія звѣзды. Кругомъ стояла мертвая тишина и съ каждой минутой мракъ въ лѣсныхъ кустарникахъ все больше и больше сгущался. Насъ обуялъ какой-то непонятный ужасъ.

— Сруликъ, бросимъ все и уйдемъ отсюда, началъ умолять меня товарищъ.

— Ни за что. Начали и кончимъ. Нечего уже отступать назадъ, коли затѣяли. Что будетъ, то будетъ. Псалтырь читать!

Сруль не смѣлъ ослушаться. Семь разъ повторили мы одинъ и тотъ-же псаломъ, долженствовавшій завершить чудо изъ чудесъ.

Мы читали ровно и кончили разомъ.

— Жмурь глаза, Сруль! скомандовалъ я товарищу.

Мы оба зажмурились.

— Открой глаза, Сруль! скомандовалъ я вторично черезъ минуту.

Мы оба открыли глаза.

— Ты видишь меня, Сруль?

— Вижу, отозвался Сруль полушопотомъ:—а ты?

— Тоже вижу.

— Кого?

— Тебя.

— Что-жь это такое?

— Стой, Сруль, мы, можетъ быть, видимъ другъ друга потому, что мы оба невидимки; посторонній, быть можетъ, и не увидѣлъ бы насъ...

Въ эту минуту что-то зашелестѣло въ ближайшемъ кустѣ, ли-

ствя зашевелились и вѣтви раздвинулись. Мы обмерли со страха, до того, что не могли двинуться съ мѣста.

— Ха, ха, ха! Ослы! Я посторонній человѣкъ и тоже васъ вижу, раздался какой-то необыкновенный голосъ и въ то-же мгновеніе изъ куста выскочилъ человѣкъ и схватилъ насъ за руки.

— Шма Іерозалъ ¹⁾! дико закричалъ мой товарищъ и рванулъ, но напрасно: его крѣпко держали.

Я совсѣмъ потерялся и не дѣлалъ ни малѣйшаго движенія.

— Чего горланишь, чего отмаливаешься, дуракъ? Я не чортъ. Такой-же жидъ, какъ и ты, только поумнѣе.

Съ этими словами человѣкъ этотъ потащилъ насъ за собою до самой окраины лѣска. Мы безсознательно владлись за нимъ.

— Стой, ослятина! Тутъ свѣтлѣе. Смотри на меня: чортъ-ли я или еврей?

Мы подняли глаза. Предъ нами стоялъ еврей, держа насъ крѣпко за руки и насмѣшливо смотря намъ въ глаза. Я былъ убѣжденъ, что чортъ никогда не бываетъ похожъ на еврея; онъ и чернѣе и храбрѣе. Я ободрился и нѣсколько смѣлѣе посмотрѣлъ на этого человѣка, выскочившаго какъ-будто изъ-подъ земли. 153. 24

Онъ былъ низкаго роста, съ широкими, коренастыми плечами, съ горбами спереди и сзади, колченогій, съ непомерно большимъ брюхомъ, съ длинными костлявыми руками, съ громадной головой на короткой и толстой шеѣ. Лицо его было своеобразно не менѣе всей его странной фигуры. Высокій, широкій, выпуклый и бѣлый какъ мраморъ лобъ занималъ большую часть лица, оставляя очень мало мѣста для остальныхъ своихъ сосѣдей. Оттого его широкій носъ, стиснутый высокими скулами, не находя для себя довольно пространства, ринулся какъ-то вверхъ и вздернулся самымъ смѣшнымъ образомъ. Уши его откинулись назадъ и какъ-будто прижались къ затылку, какъ у лошади, собирающейся кусаться. Маленькій угловатый подбородокъ съ одной стороны украшался пучкомъ щетинистыхъ, пыльнаго цвѣта, волосъ. Надъ верхней губой разбросаны были пучки такихъ-же волосъ. Впалыя щеки, противорѣчившія своей страшной худобой громадному брюху, были желтоватаго цвѣта и совершенно свободны отъ волосъ; казалось, что на этой мертвой почвѣ всякая растительность должна была увядать при самомъ ея

¹⁾ «Внеми Израил! Нашъ Іегова есть Богъ единый». Восклищаніе этой чудотворной фразы срывается съ устъ еврея при всякомъ испугѣ. Евреи вѣрятъ, что восклищаніе это парализуетъ всякое дьявольское навожденіе.

зародышѣ. За то толстыя, мясистыя, красныя какъ кровь губы, широкій ротъ, похожій на звѣриную пасть, большіе, бѣлые, правильные зубы, а главное — два сѣрыхъ, выпуклыхъ, блестящихъ большихъ глаза, чуть отгѣненныхъ жидкими, рыжими бровями и рѣсницами, придавали всему его лицу какую-то необыкновенную плотоядность. Вообще лицо это отличалось необыкновенною подвижностью всѣхъ чертъ и какими-то улыбками, порхавшими неуловимо гдѣ-то вокругъ глазъ и укладывавшимися въ незамѣтныхъ складкахъ на переносицѣ, въ то время, какъ губы и ротъ были почти угрюмы. Весь человѣкъ этотъ, общей своей массой, являлъ смѣсь силы и слабости, болѣзненности и геркулесовскаго здоровья, худобы и тучности, ума и идіотства, доброты и злости, комизма и серьезности. Ни прежде, ни потомъ я такого человѣческаго созданія не встрѣчалъ въ жизни. Костюмъ этого человѣка тоже былъ оригиналенъ въ своемъ родѣ. На головѣ или, лучше сказать, на затылкѣ едва держалась маленькая, плисовая, полинялая фуражка съ громаднымъ растрескавшимся козырькомъ, непокрывавшая и половины его плѣшиваго черепа, украшеннаго двумя обрывками тощихъ, рыжихъ пейсиковъ. Воротъ его грубой и грязной рубахи былъ на распашку, такъ что часть волосатой груди свободно глядѣла на божій міръ. Нанковый его кафтанъ, украшенный почти новыми плисовыми каймами и обшлагами, былъ весь въ пятнахъ, и мѣстами съ зіяющими прорѣхами. Грязные чулки съ вытоптанными ступнями и рыжеватые туфли довершали нарядъ.

Съ изумленіемъ, смѣшаннымъ со страхомъ, я долго смотрѣлъ на этого удивительнаго человѣка, не имѣя силъ оторвать своихъ взоровъ отъ его глазъ.

— Ну, что, насмотрѣлся вдоволь, а? спросилъ меня незнакомецъ. — Красивъ я, какъ ты думаешь?

— Нѣтъ, сорвалось у меня съ языка.

— Молодецъ! Люблю. Правду сказалъ.

Онъ выпустилъ наши руки.

— Садитесь, дѣтки, потолкуемъ. Но чуръ не бѣжать. Не то обращаюсь въ домового, догоню и буду верхомъ разбѣзжать на васъ до самыхъ пѣтуховъ.

Мы все стояли въ какомъ-то оцѣпенѣніи. Онъ схватилъ насъ за руки и насильно усадилъ на траву.

— Вы постились?

— Да, отвѣтилъ я.

— Дураки. Вы голодны?

— Да, отвѣтили мы оба.

— Еще-бы! Цѣлые сутки не ѣсть, да еще... Впрочемъ, что я болтаю.

Онъ засуетился, вытащилъ изъ кармана бублики, сушеный сыръ и фрукты, разложилъ ихъ на травѣ, и съ невѣроятнымъ, при его лицѣ и фигурѣ, добродушіемъ началъ насъ угощать.

— Ышьте-же, дѣтки; кушайте на здоровье, я набилъ себѣ уже брюхо: едва дышу.

Онъ сильно хлопнулъ ладонью по своему брюху.

При видѣ сѣдомаго мы оба забыли о странности нашего положенія и жадно начали набивать себѣ рты.

— Ну, теперь отвѣчайте, кто вы такіе?

Сруль назвалъ себя.

— Ты-то—школьная крыса, это по носу видно. Насидѣлъ шишекъ надъ талмудомъ, небойсь. А ты кто таковъ? обратился онъ ко мнѣ.

— Я—Сруликъ, сынъ откупного подвального.

— А, откупной гусь. Ладно. Такъ васъ обоихъ Срулями зовутъ?

— Да.

— Какъ-же васъ различать прикажете? А вотъ какъ: тебя—(онъ указалъ на моего товарища)—я буду называть Сруличекъ; ты слабенькій да плаксивенькій; тебя-же птаха—(онъ взялъ меня за подбородокъ),—я стану называть Срулемъ; ты крупнѣе и забористѣе. Ладно?

— Ну, а васъ какъ звать? осмѣлился я спросить его, въ свою очередь.

— Если ты мнѣ будешь говорить „вы“, а не „ты“, то я тебѣ оборву уши. Ишь, какой откупной модникъ!

Отъ его словъ и движеній вѣяло необыкновенной добротою. Я засмѣялся.

— Меня-то? Идикъ-Шпицикъ, Хайвель-Пайкель, Эли-Гели-Айзикъ-Лайзикъ.

Мы прыснули со смѣху.

— А что, тараканы, весело со мной?

— Очень весело.

— Теперь—по домамъ. Ваши отцы и матери, вѣроятно, ждутъ не дождутся васъ.

Меня кольнуло прямо въ сердце отъ этого напоминанія.

— Если хотите короче со мной познакомиться, приходите завтра предъ вечеромъ. Я тутъ буду съ полными карманами.

Мы взялись за руки и дружно побѣжали въ городъ.

— Какъ тебѣ нравится этотъ человѣкъ? спросилъ я товарища.

— Я увѣренъ, что это вовсе не человѣкъ, отвѣтилъ пресерьезно Сруль.

— А кто-жь это такой, по-твоему?

— Если не самъ чортъ, то, по крайней мѣрѣ, лецъ ¹⁾).

— А вотъ завтра увѣримся. Если онъ придетъ въ лѣсъ послѣ обѣда, то онъ—такой-же человѣкъ, какъ и мы съ тобою: черти и лецы не являются днемъ.

— Увидимъ.

Съ робостью, чуть ступая, перешагнувъ я порогъ родительскаго жилья. Я предчувствовалъ грозу, и предчувствіе не обмануло меня. Отецъ, мать и всѣ члены семейства сидѣли за столомъ и оканчивали уже ужинъ, когда я появился на сценѣ. Отецъ грозно посмотрѣлъ на меня, стукнувъ по столу кулакомъ. Мать вспрыгнула съ мѣста, подбѣжала, схватила меня за руку и яростно притащила къ отцу.

— На, любуйся на своего сына. Вотъ плоды твоей откупной науки.

— Гдѣ ты шлялся? грозно спросилъ отецъ, повернувшись ко мнѣ. Я никогда не видѣлъ его такимъ взбѣшеннымъ. Я началъ бормотать что-то въ свое оправданіе, но онъ меня и слушать не хотѣлъ.

— Молчать! крикнулъ онъ громовымъ голосомъ и въ первый разъ въ жизни поднялъ на меня руку...

Сара заплакала, и это подѣйствовало на отца. Онъ мгновенно отрезвился, опустилъ руку и отвернулся. Мать не унялась. Она подбѣжала вторично ко мнѣ и взглянула мнѣ въ лицо.

— Такъ вотъ какъ, голубчикъ? ты уже и покушать изволилъ спозаранку? Такъ вотъ какъ ты постился? Вишенками? хорошо-жь, дружочекъ. Ужина для тебя я не готовила. Вонъ!

Я дешево отдѣлался отъ матери: всего однимъ толчкомъ, двумя пинками и самымъ жиденькимъ подзатыльникомъ. Я улегся спать безъ ужина. Болѣе всего меня мучилъ поступокъ отца; я его считалъ добрымъ и благоразумнымъ, а онъ поднялъ на меня руку, чтобы угодить матери. Когда все въ домѣ уснуло, Сара подкралась ко мнѣ.

— За что ты, Сруликъ, сердился на маму? Вѣдь ты-же виновать.

¹⁾ Демонъ-сатиръ, который, существенно не вредя людямъ, довольствуется однимъ подшучиваніемъ надъ ними.

— Я не виновать.

— Ты не постился?

— Постился почище твоей мамы.

— Гдѣ же ты пропадалъ до поздней ночи?

Я не выдержалъ и рассказалъ Сарѣ всѣ событія этого дня.

— И что-же, сдѣлались вы невидимками? спросила наивно Сара.

— Если-бы я сдѣлался невидимкою, то могла-ли-бы мать меня видѣть и толкать?

Передала-ли Сара матери мое оправданіе или нѣтъ—я не знаю, но мать на-утро начала ко мнѣ очень мягко подъѣзжать и ласково заговаривать, предлагая какой-то роскошный завтракъ. Я не отвѣчалъ и не посмотрѣлъ даже на нее. Я простилъ-бы ей, какъ всегда, толчки и пинки, полученные мною отъ ея руки, но никакъ не могъ простить ей того, что она подбила отца на меня.

— Что молчишь? прикрикнула она на меня. — Будешь завтракать или нѣтъ? Смотри, пожалуйста, еще просить его нужно.

— Сама ѣшь! отвѣтилъ я рѣзко и грубо.

— А! Такъ ты еще дерзости...

Я не дослушалъ и ушелъ въ контору. Мой характеръ видимо началъ портиться отъ домашняго деспотизма, возмущавшаго меня.

— Отчего-же ты вчера не показывался на глаза цѣлый день? Гдѣ пропадалъ? спросилъ меня Кондрашка. (Я съ нимъ дошелъ уже до фамиллярности).

— Развѣ ты не знаешь, что вчера былъ у насъ постъ?

— А ты, дурачокъ, развѣ цѣлые сутки ничего не ѣлъ?

— А то какъ-же? Конечно, не ѣлъ.

— Глупъ-же ты, какъ посмотрю я на тебя.

Послѣ обѣда, во время котораго отецъ, мать и я были надуты (мать молчала, догадываясь, что она меня вывела уже изъ терпѣнія), а Сара—необыкновенно грустна, мы съ Срулемъ поспѣшили въ нашъ лѣсокъ. Подъ раскидистымъ деревомъ лежалъ нашъ вчерашній незнакомецъ. Подложивъ свои костлявыя руки подъ шарообразную голову, онъ храпѣлъ самымъ варварскимъ образомъ. Мы усѣлись поодаль отъ этого сатира въ образѣ человѣческомъ и смотрѣли на него молча. Черезъ нѣкоторое время онъ потянулся, зѣвнулъ, открылъ свои сѣрые глаза и повернулъ къ намъ голову.

— Ага, вы ужъ тутъ, тараканы? Подойдите-ка поближе.

Мы подошли. Онъ протянулъ намъ руки.

— Подымите-ка меня. Дружно! Ну!

Мы начали тянуть его изо всѣхъ силъ, но вмѣсто того, чтобы его поднять, мы сами попадали къ нему прямо на горбатую грудь.

— Видите, тараканы! такъ всегда бываетъ: видишь лежачаго человѣка и берешься его поднять, а онъ, лежацій-то человѣкъ, еще тебя повалить. Помните-же все, что я вамъ говорю, ослата! Это первый урокъ.

— За что-же ты бранишь насъ? спросилъ я, вставая на ноги:— насъ и дома бранять достаточно.

— Дома бранять тебя ослы, а тутъ бранить тебя человѣкъ. Понимаешь-ли ты?

— Нѣтъ, не понимаю.

— Все равно, послѣ поймешь.—А ты, талмудейская крыса, понимаешь-ли, что говорить? обратился онъ къ Срулю.

— Что говорить—понимаю, но не понимаю, для чего ругаться.

— Скажу—поймешь. Вы выросли на пинкахъ и брани. Отъ этихъ нѣжностей вы оглупѣли. Слѣдовательно, чтобы выгнать дурь изъ вашей головы, надобно опять васъ бранить и опять бить: клинъ клиномъ выбиваютъ. А покуда садитесь-ка, дѣтки, поболтаемъ!

Мы подѣли къ нему. Этотъ страшный человѣкъ обаятельно дѣйствовалъ не только на меня, но и на моего совсѣмъ несообщительнаго товарища.

— Скажите-ка, тараканы, что вы тутъ вчера дѣлали? Только, чуръ, не врать.

Я ему рассказалъ все чистосердечно. Онъ пресерьезно слушалъ.

— Да, это очень хорошая штука быть невидимкой. А что-бы вы сдѣлали, если-бы вамъ и на самомъ дѣлѣ удалось сдѣлаться невидимками?

Сруль повторилъ свою идею о полиціймейстерѣ и о евреяхъ.

— Ты замѣчательно глупъ, крыса. Если-бы тебѣ вздумалось побуждать всѣхъ полиціймейстеровъ міра сего въ пользу евреевъ, то пришлось-бы бѣгать, какъ собаке, день и ночь. Евреи разбросаны по цѣлому свѣту и вездѣ ихъ одинаково давить, какъ клоповъ. Не тронь ихъ. „Не поднимай лежачаго, онъ тебя повалитъ“.

— Ты самъ еврей—и не любишь евреевъ...

— Врешь, я ихъ люблю, только по-своему... Тебѣ этого не понять. Ну, а ты что сотворилъ-бы, будучи невидимкой? обратился онъ ко мнѣ.

Я ему передалъ свою идею объ англійскомъ милордѣ, о спящихъ дѣвахъ и проч.

— Что-то не понимаю. Расскажи-ка мнѣ умное содержаніе сихъ книжицъ.

На переносицѣ у него зашевелилась улыбка. Я передалъ ему, какъ могъ, сюжеты тѣхъ книгъ.

— Ну, и это глупо. Дѣвъ спасать также не слѣдъ. Этотъ народъ самъ себя спасаетъ. Это тоже лежачій. Не тронь—повалить.

— А ты что сдѣлалъ-бы, будучи невидимкой? спросилъ я его, въ свою очередь.

— Я? Я ѣлъ-бы, пилъ-бы, спалъ-бы...

— И только?

— Нѣтъ, бралъ-бы у богатыхъ дармоѣдовъ и раздавалъ-бы...

— Нищимъ?

— Къ чорту нищихъ! ихъ гнать нужно. Я раздавалъ-бы тѣмъ труженикамъ, которые не въ состояніи выработать себѣ насущнаго хлѣба, тѣмъ... Ну, да что съ вами толковать, таракашки! вы еще ничего не смыслите: больно зелены.

— А можно сдѣлаться невидимкою?

— Еще-бы; конечно, можно.

— Какимъ-же образомъ?

— Я даже знаю средство превратить обыкновеннаго человѣка въ пророка.

— Неужели? Какъ-же? полюбопитствовать Сруль.

— Такъ, какъ полиція это дѣлаетъ.

— Полиція дѣлаетъ пророковъ? Какъ-же?

— Очень просто, крыса. Кладутъ человѣка рожей внизъ. Онъ ничего не видитъ, а знаетъ, что наверху дѣлается... потому что его порютъ.

Мы засмѣялись.

— Ну, а невидимкой какъ сдѣлаться?

— Поститься цѣлыя сутки, молиться усердно, прочитать известную главу псалтыря нѣсколько разъ—и дѣло въ шляпѣ.

— Да мы-же вчера все это дѣлали.

— И что-жь?

— Не помогло.

— Не помогло потому, что вы все это дѣлали не во время. Ты гдѣ это вычиталъ?

— Въ Кицеръ-шелю.

— То-то. Тамъ дальше сказано: „Средство это употреблять во время самой важной опасности, напримѣръ: когда нападутъ разбойники“. Видишь, крыса, если на тебя когда-нибудь нападутъ разбойники, ты имъ и скажи: „Господа разбойники! дайте мнѣ сроку сутки, а потомъ разрѣшаю вамъ убить меня и ограбить“.

Эти сутки ты употреби на постъ, молитву, чтеніе псалтыря—и тогда сдѣлаешься невидимкою и, конечно, спасешься отъ смерти.

Я посмотрѣлъ на Сруля, а Сруль на меня. Мы оба разомъ покраснѣли.

— Вотъ видите, ослата, какъ васъ одурачили. Евреевъ всегда дурачили самымъ наглýmъ образомъ. Захотѣлось какой-нибудь си-нагогической голодной крысѣ вдругъ сдѣлаться великимъ раввиномъ, онъ и написалъ толстую книгу, напичкалъ туда всякой чепухи. Будто человѣкъ не можетъ врать перомъ, точно такъ-же, какъ и языкомъ! добавилъ онъ грустнымъ и задумчивымъ голосомъ.

Я еще мало понималъ этого человѣка, но уже сочувствовалъ ему. Онъ говорилъ такъ плавно, такъ убѣдительно-просто, съ такой душевной теплотою, что не вѣрить ему было рѣшительно невозможно. Товарищъ мой, почувствовавшій, вѣроятно, то-же самое обаяніе, что и я, но будучи набожнѣе и трусливѣе меня, испугался грѣховныхъ рѣчей и попытался заткнуть уши. Незнакомецъ замѣтилъ этотъ маневръ, побагровѣлъ и сдѣлалъ угрожающее движеніе.

— Ты чего затыкаешь уши, дуралей? загремѣлъ онъ на него:—непріятная микстура, а? Развѣсь лучше свои ослинныя уши да слушай: одного слова не пророни изъ того, что честные обורванцы, какъ я, тебѣ говорятъ. Такіе даровые уроки рѣдко тебѣ достанутся въ жизни.

— Да вѣдь грѣхъ, попробовалъ Сруль оправдаться.

— Какой грѣхъ? Слушать, говорить, думать, ѣсть, пить и спать—не грѣхъ. Подличать, врать, тратить божію жизнь на пустяки, дурачить человѣчество—вотъ грѣхъ.

— Кто-же тратитъ жизнь на пустяки, кто дурачить? спросилъ я, желая, чтобы онъ продолжалъ горячиться.

— Кто? ты желаешь знать, кто? Тѣ, которые собрали всякую изустную болтовню раввинистовъ въ одну кучу и заставили невѣжественную еврейскую массу стать на колѣни, поклоняться этой кучѣ различнаго сора, какъ золотому тѣльцу, тѣ, которые роются въ этой кучѣ цѣлую жизнь!

Онъ оглянулся. На травѣ лежали двѣ-три книги, принесенныя нами.

— Это что? спросилъ онъ, указывая на книги.

— Талмудъ.

— Какой томъ?

— Нида ¹⁾.

— А! по части акушерства? Пріятное и поучительное чтеніе для такихъ молокососовъ, какъ вы. А это что?

— Кланмъ.

— А! по части землемѣрства и математики? Остроумная штука. Ну, бери-ка, крыса, эти книги, вскрой ихъ наобумъ и прочитай нѣсколько словъ, гдѣ ни попало.

Сруль лѣниво поднялъ книги. Раскрывъ одну на самой ея серединѣ, онъ прочелъ нѣсколько словъ, совершенно невязавшихся между собою. Онъ не началъ съ точки, потому что въ талмудѣ никакихъ знаковъ препинанія не полагается. Не успѣвъ Сруль произнести десяти словъ, какъ незнакомецъ, съ зажмуренными глазами, сталъ продолжать наизусть, безостановочно, какъ-будто читая въ самой книгѣ. Онъ читалъ цѣлую четверть часа, не закнувшись ни разу и гримасничая преуморительно.

— Будеть, остановилъ его Сруль, на лицѣ котораго изобразилось крайнее изумленіе.

— Эта чепуха напечатана на сто двадцать-второмъ листѣ, на правой сторонѣ. Ты началъ читать съ третьяго слова восьмой строки.

Мы окаменѣли отъ удивленія при видѣ такой образцовой памяти.

— Что, крыса, какво? А хотите знать, какъ Раше, Тосфесъ, Маграмъ, Магаршо (комментаріи) умничаютъ при этомъ случаѣ? Извольте, дурачки.

Онъ разсказалъ послѣдовательно, плавно и понятно всѣ хитрые вопросы, силлогизмы и выводы этихъ мудрыхъ разумниковъ, распѣвая принятымъ въ еврейскихъ хедерахъ голосомъ и жестикулируя толстыми пальцами своихъ рукъ.

— Это удивительно, изумились мы.

— А знаете вы, отчего всѣ эти мефоршимъ (комментаторы) взбѣленились? Они, неучи, не знали грамматики талмудейскаго языка. Если-бы они знали, что слово N—(онъ намъ его объяснилъ)—имѣетъ вотъ какое значеніе, а не то, что они думаютъ, то не было-бы ни вопросовъ, ни отвѣтовъ, и у тысячи тебѣ подобныхъ крысъ было-бы теперь одной геморроидальной шишкой меньше.

Сруль, пораженный его высокой ученостью, пришелъ въ неописанный восторгъ. Онъ подбѣжалъ и бросился къ нему на шею.

¹⁾ Менструаціонный уставъ.

— Ахъ, Боже мой, говорилъ онъ:—можно-ли называть глупостью такую ученость, какъ талмудейская! Вѣдь тутъ всевозможныя науки...

— Науки? Какія науки? Медицина, толкующая о чертовщнѣ и колдовствѣ, астрономія, вертящая солнцемъ, акушерство, примѣняемое къ одной скотской похоти брачнаго ложа ¹⁾, физика, трактующая объ одномъ омовеніи новой посуды ²⁾, химія, толкующая о трафномъ и каширномъ, о молочномъ и мясномъ, географія, опредѣляющая положеніе рая и ада, и проч. Хорошія науки!

Трудно передать, какимъ жолчнымъ тономъ онъ произнесъ все это. Онъ отвернулся отъ насъ, опрокинулся на траву лицомъ внизъ и долго лежалъ безъ движенія. Мы мало понимали изъ того, что онъ намъ говорилъ, но увидѣли въ-очію, что имѣемъ дѣло съ человѣкомъ ученымъ. Сруль посматривалъ на меня, пожималъ плечами и разводилъ руками отъ изумленія. Я долго думалъ, что мнѣ дѣлать, какъ выразить чувство, переполнявшее меня. Осторожно подкрался я къ нему, внезапно опустился на траву возлѣ него и схватилъ его руку съ намѣреніемъ поцѣловать.

— Прочь, лапъ моихъ не трогай! Въ такія минуты онъ способенъ задушить тебя. Успѣешь еще и послужить на двухъ собственныхъ лапахъ, и ползать чужія.

Мы не замѣтили, какъ улетѣло послѣбобѣденное время. Наступилъ вечеръ.

— Ну, дѣтки, маршъ по квартирамъ! скомандовалъ незнакомецъ.—Поздно.

— Добрый! милый! приступили мы къ нему, дружно, какъ-будто сговорившись.—Когда мы тебя еще увидимъ?

¹⁾ Во время менструаціи, впродолженіи почти четырнадцати дней, супруги обязаны до того чуждаться, что не имѣютъ права не только прикасаться другъ къ другу, но и взять что-либо одинъ у другого непосредственно изъ рукъ. Менструаціонная кровь въ прежнія времена считалась самою нечистою и оскверняющею. Для отличенія ея отъ обыкновенной крови и для обсужденія вслѣдствій непредвидимыхъ случайностей по этой части написанъ цѣлый объемистый талмудейскій томъ подъ заглавіемъ «Нѣда» и цѣлая куча различныхъ комментарій. Эта полезная и назидательная наука преподается юношеству въ самомъ незамаскированномъ видѣ...

²⁾ Всякая новая посуда должна быть окунута въ живомъ источникѣ и благословлена извѣстной краткой молитвой; иначе она запрещена къ употребленію. Посуда въ родѣ горшковъ, стакановъ и проч. не должна быть опускаема въ воду краями внизъ, потому что давленіе внутренняго воздуха не дастъ водѣ войти внутрь, по физическому закону.

— Если буду свободенъ, буду по послѣбобѣдамъ приходить сюда. Если-же не приду, значить—нельзя.

— Ну, а зовутъ тебя какъ?

— Зовутъ меня Хайкель. А знаете-ли, почему меня такъ зовутъ?

— Почему?

— Потому что я играю на пайкль (бубны).

— Какъ на бубнахъ?

— А вотъ какъ!

Онъ чрезвычайно удачно началъ подражать металлическимъ звукамъ, издаваемымъ мѣдными побрякушками бубенъ, пощелкивая языкомъ и ударяя въ ладоши.

— Нѣтъ, ты все шутишь.

— Не шучу-же, ослята. На будущей недѣлѣ будетъ еврейская свадьба у рѣзника К. Приходите, вы меня увидите тамъ. О, я великій человекъ... Я... батхнъ ¹⁾ при здѣшнемъ еврейскомъ оркестрѣ.

Мы вытаращили глаза. Онъ, скорчивъ гримасу, быстро ушелъ въ противоположную отъ насъ сторону и скоро скрылся.

— Сруль! обратился я къ товарищу:—какъ ты думаешь, вретъ-ли онъ или правду говоритъ?

— Право, не знаю. Я отъ этого человекъ съума схожу.

Возвратившись домой, я не могъ сдержаться, чтобы не подѣлиться моей тайной съ Сарой. Она очень много и очень подробно разспрашивала о батхнѣ.

— Что ты о немъ думаешь, Сара?

— Должно быть, пьяница, рѣшила Сара;—я бы тебѣ совѣтовала раззнакомиться съ нимъ, а то, если мама узнаетъ, она загрызетъ тебя.

— Не загрызетъ. Самъ, небойсь, умѣю уже огрызаться.

Сара сомнительно покачала головою.

Дня три батхнъ Хайкель не являлся.

Мы съ Срулемъ выходили въ лѣсокъ исправно каждый день, выносили туда и наши книги, но ученая работа какъ-то не спорилась. Мы то-и-дѣло оглядывались по сторонамъ, не высочитъ-

¹⁾ Шутъ, паяцъ, клоунъ, имѣющійся при каждомъ еврейскомъ оркестрѣ. Обязанность его состоитъ въ увеселеніи почтеннѣйшей публики, на свадьбахъ, гримасами, остротами, прыжками, импровизаціями, а иногда и коеечными фокусъ-покусами. Въ числѣ этихъ шутовъ попадаются нерѣдко евреи, ученые въ еврейскомъ смыслѣ этого слова, пародирующіе талмудическія изреченія для потѣхи публики.

ли Хайкелъ изъ-за какого-нибудь куста. На четвертый день онъ пришелъ, издали крича:

— Уфъ! чортъ-бы побралъ всѣхъ дураковъ, женившихся съ дуру. Сами въ петлю лѣзутъ.

— Гдѣ ты пропадалъ, Пайкеле? подразнилъ я его.

— Ай крыса, молодецъ, славно прозвалъ. Такъ впередъ меня и называйте.

— Гдѣ пропадалъ? Отвѣчай.

— Прежде вы отвѣчайте, крысы. Почему для похоронъ достаточны два дрючка, а для свадьбы необходимы четыре ¹⁾?

— Кто его знаетъ!

— А потому, что въ первомъ случаѣ хоронятъ одного, а въ послѣднемъ—хоронятъ двоихъ.

— Развѣ на свадьбѣ хоронятъ?

— Похоронятъ и тебя, тогда узнаешь.

— Но гдѣ ты былъ?

— Вы знаете, крысы, что гдѣ-то, тамъ, далеко, очень далеко, существуютъ людоеды?

— Слышали. Говорятъ, что они жарятъ людей живыми и потомъ съѣдаютъ.

— Да, жарятъ. Но чтобы жаркое не слишкомъ кричало, его щекотаютъ подъ мышками и въ пяткахъ.

— И тѣ несчастные смѣются?

— Смѣются и жарятся въ то-же время. То-же самое дѣлаю и я съ женихомъ и невѣстой: ихъ обоихъ хоронятъ, а я ихъ смѣшу.

Онъ легъ и раскинулся на травѣ.

— Послушай, Пайкеле, неужели тебѣ не стыдно быть паяцомъ, когда ты могъ-бы быть великимъ, знаменитымъ раввиномъ?

— А развѣ раввинъ не тотъ-же паяцъ? Я гримасничаю и лгу на свадьбахъ, а онъ гримасничаётъ и врётъ въ синагогѣ. Разница только въ томъ: я доставляю людямъ удовольствіе, а онъ—страхъ; я забавляю и смѣшу, а онъ запугиваетъ и доводитъ до слезъ; я свой хлѣбъ зарабатываю честно, а онъ—подлю.

— Но развѣ ты свое ремесло не считаешь унизительнымъ?

— Ни мало. Другіе считаютъ, а до другихъ мнѣ дѣла нѣтъ. Я самъ себѣ хозяинъ.

¹⁾ Носилки, въ которыхъ экспедируются еврейскіе мертвецы, устроены изъ двухъ дрючковъ, связанныхъ деревянными поперечниками. Вѣчаніе происходитъ подъ балахиномъ, поддерживаемымъ четырьмя дрючками.

— Но какимъ-же образомъ ты дошелъ до этого?

— Убѣрайтесь. Это длинная исторія.

— Нѣтъ, расскажи, голубчикъ.

Онъ долго смотрѣлъ намъ въ глаза молча.

— Ну? ну? понуждали мы его.—Кто были твои родители?

— У меня не было ихъ. Если я только родился отъ кого-нибудь, то не иначе, какъ отъ обезьяны и верблюда. Я похожъ на обоихъ. Я терпѣливъ и горбатъ, какъ мой отецъ, и уродливъ, шкодливъ и золъ, какъ моя черномазая мамаша.

Онъ открылъ свою широкую пасть и такъ звѣрски щелкнулъ зубами, что мы оба невольно откинулись назадъ.

— Ну, вотъ такъ я явился невѣстно откуда, питался чужимъ хлѣбомъ, пока выросъ. А потомъ началъ кусаться собственными зубами и кусаю до сихъ поръ, кого ни попалю.

— Но гдѣ-же ты учился?

— Въ талмудъ-торе ¹⁾, на общественный счетъ. Меня кормили общественною гнилью, одѣвали въ общественныя тряпки и поролли общественными розгами.

— Ты охотно учился?

— Я? охотно? за кого вы меня принимаете? Я терпѣть не могъ книгъ, но всякая дрянь сама мнѣ въ голову лѣзла и приставала тамъ такъ, какъ смола, такъ что и выжить ее уже нельзя было.

— Ну, а потомъ?

— Потомъ, когда въ моей головѣ накопилось на-столько дряни, чтобы прослыть еврейскимъ ученымъ, нашелся какой-то денежный болванъ и нанялъ меня въ мужья своей дочери—уроду. Надоѣла мнѣ тяжкая обязанность, я протеръ глазки приданому жены, и слишкомъ ужъ закусилъ удила, такъ что долженъ былъ удрать... Теперь я вотъ тутъ.

— Ну, а дѣтей у тебя нѣтъ?

— Кажется, есть. Впрочемъ, чортъ ихъ знаетъ. Пусть себѣ другіе нянчатся, мнѣ-то какое дѣло!

— Откуда ты набрался научныхъ пменъ? Въ талмудѣ-же ихъ нѣтъ? полюбопытствовалъ Сруль.

— Я подружился съ однимъ нѣмецкимъ учителемъ, горчайшимъ пьянщицею, а еще болѣе горчайшимъ философомъ. Я его поилъ, а онъ мнѣ вѣчно болталъ. Вотъ я и нахватался вершковъ.

¹⁾ Всякое еврейское общество, мало-мальски благоустроенное, имѣетъ извѣстный источникъ доходовъ для содержанія сиротъ мужского пола и для обученія ихъ еврейской грамотѣ и талмуду.

— А ты развѣ понимаешь нѣмецкій языкъ?

— Еще-бы! Покажи мнѣ хоть одного еврея, незнающаго говорить по-нѣмецки или пѣть! Еврей, вообще, странный народъ.

— Чѣмъ?

— Они цѣлые дни моются и вѣчно запачканы; всю жизнь учатся—и остаются круглыми неучами; вѣчно работаютъ, торгуютъ, шахрують—и умираютъ нищими; вѣчно лечатся—и постоянно больны.

— Отчего-же это?

— Оттого, что во всей жизни еврея, во всѣхъ его нравственныхъ и физическихъ работахъ, нѣтъ ни системы, ни здраваго смысла. Куда вамъ понять меня, крысы!

— По какому случаю ты удралъ изъ родины?

— Еврейчики вздумали меня наказать.

— За что-же?

— Мало-ли за что! за многое: за то, что я смѣлся надъ ними и надъ ихъ мудростью, за то, что я ихъ допекалъ, за то, что я кутилъ въ трактирахъ съ моимъ нѣмцемъ, за то, что я не питалъ любви къ моей законной уродинѣ. Вздумали-было впихнуть меня въ рекрутскую шинель, да горбы мои показали имъ шпиль.

— Такъ что-же заставило тебя бѣжать?

— Сотворилъ крупную штуку. Пустилъ имъ мертвеца.

— Какъ, пустилъ мертвеца?

— А вотъ какъ. Въ городѣ ~~жили~~ еврей, ссорившійся постоянно съ кагаломъ. Этотъ еврей—возьми да и умри. Кагалъ, чтобы отомстить ему, заартачился хоронить его, пока дѣти не уплатятъ круглую цифру за его погребеніе. Цифры этой настѣдники не въ силахъ были уплатить. Трупъ умершаго, обмытый, одѣтый въ за-гробный бѣлый мундиръ, лежитъ день-другой, ждетъ командировки. Но напрасно. Онъ уже протестуетъ особымъ запахомъ, но кагалъ и знать ничего не хочетъ. Я узналъ объ этомъ, и забралъ себѣ въ голову подгадить кагалу. Я имѣлъ нѣсколько друзей, такихъ-же негодяевъ, какъ и я. Мы и обдѣляли дѣльцо. Недалеко отъ еврейскаго стараго кладбища жилъ въ своей хаткѣ на курьихъ ножкахъ одинокій, бѣднѣйшій еврей-мясникъ, называвшійся иногда мертвецки. Это *иногда* случалось съ нимъ семь разъ въ недѣлю, а этотъ *разъ* продолжался сутки. Угадайте теперь, когда былъ онъ трезвъ?

— Никогда, отвѣтилъ наивно Сруль.

— О, умница! Изъ тебя выйдетъ великій математикъ. Вотъ къ этому мяснику и отправился я съ однимъ изъ моихъ друзей, за-

паслись штофомъ крѣчайшей водки и двумя простынями. Зашли мы къ нему въ качествѣ могильщиковъ, собирающихся приступитъ къ своей печальной работѣ. Черезъ часъ мясникъ лежалъ уже мертвецки пьянымъ. Мы раздѣли его, сшили ему саванъ по всей формѣ и одѣли. Этимъ временемъ нѣкоторые изъ нашихъ союзниковъ отправились въ кагалному старостѣ и убѣдили его позволить намъ перенести мертвеца, за погребеніе котораго шелъ еще торгъ, въ общественную сторожку и въ то-же время пустили слухъ о смерти мясника. Какъ только получено было дозволеніе, мы принесли настоящего мертвеца въ хату мясника и положили тутъ ногами къ дверп, какъ водится, а пьянаго мясника отнесли на кладбище и положили въ хатѣ сторожа. Часа черезъ два, когда было все обдѣлано, явился молодой изъ хевра-кадиша (общество погребенія) и, обрадовавшись, что мы совсѣмъ приготовили мнимаго мясника къ погребенію, взвалил трупъ его на телегу, наскоро вырыли яму и похоронили бѣдняка безъ особенныхъ торжественностей. Такимъ образомъ, нелюбимецъ кагала былъ похороненъ кагаломъ-же безъ собственнаго его вѣдома. Мясникъ, между тѣмъ, спалъ своимъ праведника въ хатѣ сторожа, охраняемый однимъ изъ нашихъ ¹⁾. Молодцы, заглянувъ туда, нашли все въ порядкѣ и ушли домой; мы тоже убрались во-свояси. Далеко за полночь мясникъ просыпается и видитъ себя въ нарядѣ мертвецовъ. Долго думаетъ онъ о своемъ странномъ положеніи и рѣшаетъ, наконецъ, что, вѣроятно, онъ уже давно умеръ, а теперь находится на походномъ положеніи (кафакаль) ²⁾. Горько было бѣдняку сознаться въ собственной смерти, а еще хуже, что голова у него трещитъ, а опохмѣлиться нечѣмъ. Долго не рѣшался онъ попытаться встать, но, наконецъ, надобно лежать. Смотритъ—недалеко отъ кладбища еврейскій кабакъ. Онъ

¹⁾ Евреи никогда не оставляютъ своихъ мертвецовъ однихъ, до самаго погребенія; ихъ стерегутъ днемъ и ночью, въ томъ убѣжденіи, что если они останутся безъ охраны, то въ нихъ легко можетъ забраться нечистая сила (клипа), отчего они могутъ ожить во вредъ себѣ и другимъ. Охраненіе мертвецовъ имѣетъ, конечно, похвальную цѣль предохранить отъ гибели мнимоумершихъ. Но цѣль эту облекали въ такую мистическую форму, что она теряетъ все свое значеніе. Однажды—разсказываютъ—одинъ изъ сторожившихъ мертвеца замѣтилъ, что мертвецъ началъ шевелиться. Будучи убѣжденъ, что мертвецомъ шевелитъ нечистая сила, сторожъ схватилъ топоръ и раскрылъ мертвецу черепъ. Этотъ несчастный мертвецъ былъ—мнимоумершій.

²⁾ Евреи вѣрятъ, что души тяжкихъ грѣшниковъ не попадаютъ послѣ смерти непосредственно въ рай или адъ; души, переселяясь въ различныя тѣла людей и животныхъ, скитаются по міру цѣлыя столѣтія, пока какой-нибудь цадикъ не спасетъ ихъ отъ тартара (кафакаль).

отправляется туда, стягиваетъ штофъ водки и, удравъ обратно на кладбище, забирается въ глубокой ровъ, гдѣ и просыпается до слѣдующей поздней ночи. Между евреями пошелъ гвалтъ. Утверждали, что въ мертвеца, оставленнаго на кладбищѣ, въ хатѣ сторожа, безъ надлежащаго надзора, вкралась нечистая сила, а поэтому онъ исчезъ. Затѣялись общественные посты и чтанія псалмовъ въ синагогахъ. Это продолжалось-бы богъ-знаетъ сколько, если-бы сторожъ кладбища, какъ-то нечаянно, не наткнулся на пьянаго мертвеца. Тогда только вся исторія выяснилась; главный зачинщикъ угаданъ и открытъ. Я не захотѣлъ ждать благодарности за свою дѣятельность и наострилъ лыжи. Долго разѣзжалъ я на собственной парѣ, пока не добрался сюда и не зажилъ припѣваючи. Помните, дѣтушки, что только одни пьяные мертвецы разгуливаютъ по бѣлу-свѣту, трезвые же спятъ спокойно, не тревожась ничѣмъ и не трогая никого.

Мы долго потомъ смѣялись съ Срулемъ надъ выходкою Хайкеля и удивлялись его изобрѣтательности. Я отъ души полюбилъ этого добраго, умнаго, веселаго чудака.

Однажды, прощаясь со мной и подавая мнѣ руку, Хайкель замѣтилъ, что мнѣ стоитъ большого труда освободить руку отъ слишкомъ длиннаго, назойливаго рукава.

— Что такъ долго копаешься? спросилъ онъ меня.

— А вотъ никакъ не управлюсь съ проклятымъ мѣшкомъ.

— На кой чортъ ты отростилъ себѣ такіе длинные рукава?

— Маменькѣ жалъ подрѣзать; говорить: подросту—будетъ какъ-разъ въ пору.

— Предусмотрительная-же твоя маменька! Покажи-ка рукавъ.

Съ этими словами онъ со вниманіемъ осмотрѣлъ мой рукавъ.

— Длинные руки на цѣлыхъ десять пальцевъ! рѣшилъ онъ, быстро нагнулся къ рукаву и сразу прогрызъ зубами рукавъ, въ уровень съ моими пальцами.

— Что ты дѣлаешь? вскрикнулъ я.

— Ничего. Объяви твоей умной маменькѣ, что собака на тебя напала (ты не соврешь), и такъ-какъ длинный рукавъ этотъ помѣшалъ тебѣ обороняться, то собака, подскочивъ,хватила тебя за рукавъ и оборвала. Маменька и подрѣжетъ твои неудобные рукава. Подобно твоей умной маменькѣ поступаютъ и великіе раввины. Они правственный догматъ одѣваютъ въ такой непомѣрно-длинный рукавъ обрядности и предохранительныхъ огражденій, что въ-за длиннаго этого мѣшка въра лишается собственныхъ рукъ, для собственной защиты...

Я былъ очень недоволенъ выходкою Хайкеля, но дѣло было уже сдѣлано. Дома мать сразу замѣтила раненый мой рукавъ.

— Уже? Справился и съ новымъ кафтаномъ?

— Чѣмъ я виноватъ? Ты не захотѣла укоротить рукавовъ. Собака напала на меня, длинный рукавъ помѣшалъ обороняться—она схватила рукавъ и оборвала.

— Дуралей! меня благодарн: если-бы не длинный рукавъ, собака непременно схватила-бы твою руку.

Я не разъ рассказывалъ своему пріятелю Кондрату Борисовичу о моихъ встрѣчахъ съ ученымъ шутомъ, подбивая его познакомиться съ нимъ, но онъ считалъ для себя унижительнымъ знаться съ подобной сволочью, какъ онъ выразился. Но когда я ему передалъ исторію о мертвецѣ, эта оригинальная выходка до того ему понравилась, что ему самому захотѣлось посмотрѣть на батхена.

— Сегодня я непременно пойду съ тобою. Увидимъ, что это за шутъ гороховый. Если насмѣшитъ меня, пожалуй, подарю ему что-нибудь. Куда ни шло.

Я внутренно подсмѣивался надъ чванливою заносчивостью моего откупного пріятеля и надъ тѣмъ унижительнымъ пренебреженіемъ, съ которымъ онъ относился заглазно къ человѣку, несравненно выше его по уму и учености,—но считалъ за лучшее смолчать.

Приближаясь къ лѣсу, мы издали замѣтили уже Сруля, сидящаго на травѣ, и Хайкеля, лежащаго подъ деревомъ въ своей любимой позѣ, лицомъ внизъ.

— Это онъ? спросилъ меня Кондратъ, указывая издали тросточкой на Хайкеля и скорчивъ презрительную рожу.—Фу! какой же онъ грязный и обшарпанный, вашъ Соломонъ мудрый!

— Можешь возвратиться, если тебѣ не нравится, отвѣчалъ я ему съ досадою, которую я сдержать не могъ. Я оставилъ Кондрата, побѣжалъ впередъ и со всего размаха навалился на шута.

— Тише, бѣсенокъ. Горбъ раздавишь. Вся талмудейская мудрость разомъ хлынетъ оттуда и ты-же захлебнешься.

— Подними-ка голову, да посмотри кто сюда идетъ.

— Лѣнь. Самъ скажи, кто?

Я ему назвалъ откупного франта.

— А!!! протянулъ онъ, раскрывъ свою пасть, какъ удавъ, собиравшійся проглотить кролика. Онъ вскочилъ на ноги, сталъ въ какую-то смѣшную позу, опустилъ свою уродливую голову на передній горбъ и скорчилъ свое лицо въ какую-то сморщенную, несчастную гримасу.

Кондратъ величественно подошелъ. Окинувъ пищаго горбуна на-

смѣшливымъ взглядомъ, онъ не удостоилъ его даже поклона и нерѣшительно началъ опускаться на траву.

— Ваше высокоблагородіе, обратился къ нему Хайкель униженно и плачевно:—будьте осторожны, можете какъ-нибудь испачкать свое божественное платье и простудиться можете, Боже сохрани! А вотъ я подстелю вамъ свой кафтанъ.

Съ этими словами онъ наскоро сорвалъ съ себя свой кафтанъ и заботливо разостлалъ его на травѣ.

Сруль удивленно смотрѣлъ на унижающагося философа. Я зналъ, что онъ насмѣхается надъ франтомъ, и былъ очень радъ тому.

— Хайкель, зачѣмъ ты называешь его благородіемъ? онъ нашъ-же братъ, еврей, замѣтилъ я ему.

— Врешь, крыса, баринъ этотъ не похожъ на еврея; нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!

— Нѣтъ, я, еврей, подтвердилъ Кондрать на еврейскомъ жаргонѣ, очень довольный, повидимому, тѣмъ, что даже еврей не принимаетъ его за еврея.

— Такъ ты еврей? давай-же кафтанъ назадъ.

Онъ грубо вытащилъ изъ-подъ франта кафтанъ, постлалъ самому себѣ и разлегся какъ у себя дома.

— Сруликъ! ты гдѣ выкопалъ этого павлина? спросилъ онъ меня сердито.

— Я вижу, что ты на самомъ дѣлѣ — шутъ, отнесся къ нему Кондрать, желая его кольнуть. — Вмѣсто грубостей, ты-бы лучше гримасу какую-нибудь намъ состроилъ.

Хайкель не заставилъ себя просить. Онъ сѣлъ, приставилъ руку къ носу такъ, что его лицо раздѣлилось на двѣ части, и обратился фасомъ къ франту. Мы всѣ залились отъ смѣха: одна половина лица шута хохотала, а другая половина плакала.

— Bravo! одобрилъ франтъ и захолопалъ въ ладоши.

— А знаешь ты, павлинушка, что это значить? спросилъ его Хайкель угрюмо.

— Нѣтъ, не знаю.

— Это значить, что одна половина моего я оплакиваетъ меня, а другая половина осмѣиваетъ тебя.

— Не понимаю.

— Постой, объясню: меня оплакиваетъ потому, что человѣкъ принялъ образъ скота, а тебя осмѣиваетъ потому, что скотина приняла образъ человѣка.

— Какъ ты смѣешь?!... всмыкнулъ Кондрать, замахнувшись тросточкой. Горбунъ, не обращая на него вниманія, лѣниво обвелъ

2-ая сцена, кн. 1-я, 4-й акт, 1-й дѣйств. 42 года

воткнулъ себя глазами и, замѣтивъ вблизи молодой отростокъ, вяло протянулъ руку и мигомъ вырвалъ его.

— На, братъ, обратился онъ къ франту, подавая ему отростокъ. — Твоимъ прутикомъ ты только щекотать меня будешь. Я люблю чувствовать, даже тогда, когда меня бьютъ.

— Вотъ чудакъ! улыбнулся франтъ. — Не будемъ ссориться.

— Гм! я не желаю этого: я хочу только свободно говорить и другимъ не запрещаю. Брани меня, только порядкомъ объясни, за что.

— А ты-же за что меня бранишь?

— Хорошо. Ты вѣруешь въ Бога?

— Вотъ вопросъ! Конечно.

— Въ ветхій завѣтъ вѣруешь?

— Вѣрую.

— По ветхому завѣту можно брить бороду?

— Нѣтъ.

— Зачѣмъ-же ты брѣешь?

— Такъ красивѣе.

— То-есть, удобнѣе для тебя?

— Да.

— Значитъ, хотъ брить бороду и нельзя, но ты все-таки брѣешь, потому что тебѣ это пріятно? А то, что тебя будутъ пороть на томъ свѣтѣ—этого ты не боишься, потому что это когда-то еще будетъ? Да?

— Разумѣется.

— Ну, значить ты—дрянь, ты опасная дрянь.

— Почему?

— Ты человѣкъ безъ правилъ: убѣжденъ въ одномъ и дѣлаешь другое. Поступаешь такъ потому, что тебѣ такъ хочется, а не потому, что такъ поступить можно или должно. Я почти всѣхъ людей не люблю: злыхъ—потому, что они вредны, добрыхъ—потому, что они слабы, глупыхъ—потому, что они скучны, умныхъ—потому, что они заносчивы, уродливыхъ—потому, что я на нихъ похожъ, а красивыхъ потому, что я на нихъ не похожъ, но болѣе всего презираю людей безъ характера, людей, дѣйствующихъ не по убѣжденію, а подъ вліяніемъ момента. Это самые опасные люди.

— Ну, а ты-то самъ каковъ?

— Я—тоже дрянь, только другой масти.

— Какой-же масти?

— Некрасивой. И ты, и я—одного поля ягоды, одного орѣшника орѣхи. Только я орѣхъ съ здоровымъ ядромъ и въ грязной

скорлупѣ, а ты—орѣхъ въ скорлупѣ чистой, да свищѣ. Вотъ кабы мое ядро да въ твою скорлупу—тогда вышелъ-бы орѣхъ на славу!

Бѣдному Кондрату Борисовичу, видно, сильно не понравилась безцеремонность Хайкеля. Пользуясь приближеніемъ тучи, заволакивавшей небо, онъ торопливо всталъ и ретировался въ обратный путь, не попрощавшись съ нами.

— Баринъ, ваше благородіе! напутствовалъ его шутъ какимъ-то пѣтушьямъ голосомъ.—Торопитесь домой, дождикъ накрапывается, ножки простудите, глянцевые сапожки испортите...

Павлинъ, павлинушка, павлинчикъ,
Твоя головушка—съ мизинчикъ,
А хвостикъ хоть пригожъ,
За то лапки безъ калошъ.

Послѣ этого свиданія пріятели мои болѣе ужъ не встрѣчались. Я не старался ихъ сблизить, понимая, что въ нихъ затаены какіе-то враждебные элементы, отталкивающіе одного отъ другого. Это—два переходныхъ еврейскихъ типа, слитіе которыхъ должно было породить третій типъ совершеннаго, порядочнаго еврея. Такіе пустые, элегантные свищи, какъ Кондратъ Борисовичъ, и такіе циническіе, но съ дѣльнымъ и трезвымъ содержаніемъ Хайкели, къ сожалѣнію, встрѣчаются еще до сихъ поръ въ изобиліи между евреями. Дай Богъ, чтобы они какъ можно скорѣе выродились или метаморфозировались въ третій, болѣе законченный типъ.

Съ того достопамятнаго дня я почувствовалъ совершенное охлажденіе къ моему щеголеватому пріятелю. Я хотя и сталкивался съ нимъ довольно часто въ откупной конторѣ, хотя и пользовался его книгами, но сознавалъ въ душѣ, что ничего полезнаго отъ него почерпнуть не могу. За то я съ горячностью привязался къ Хайкелю, котораго отъ души полюбилъ. Часто я, бывало, по цѣлымъ часамъ высиживалъ у него въ его убогой, грязной конурѣ. Съ какимъ-бы вопросомъ я къ нему ни обращался, я всегда получалъ самый логичный, искренній и честный отвѣтъ. А вопросы, какъ грибы, выросли въ моей молодой головѣ и рвались наружу, не давая мнѣ покоя. Онъ постепенно, методически развивалъ во мнѣ наклонность къ мысленію и анализу; онъ объяснялъ мнѣ вещи, которыхъ я не могъ-бы въ то время ни услышать, ни вычитать. Онъ познакомилъ меня съ горькою судьбою моей націи, съ ея прошлымъ и настоящимъ. Онъ даже пророчилъ многое, что на моихъ глазахъ ужъ сбылось, и многое, что, вѣроятно, рано или поздно случится...

По мѣрѣ того, какъ дружба наша закрѣплялась, Хайкель, мало-

по-малу отбрасывалъ шутовской тонъ и въ конецъ преобразился въ серьезнаго, глубокомысленнаго профессора, съ горячностью и любовью передающаго все свое нравственное содержаніе любознательному ученику.

— Посмотри, другъ мой, на грязныя стѣны моей собачьей конуры и помни, что это твой *университетъ*. Я—твой первый профессоръ.

— Отчего-же ты не учишь многихъ, такъ точно, какъ меня?

— Не всѣ воспріимчивы къ моей наукѣ. Притомъ, попробуй пересказать евреямъ то, чему я тебя учу, и увидишь, что завтра же мнѣ придется опять бѣжать куда-нибудь. Я усталъ. Будетъ съ меня.

Вѣчная память тебѣ, мой безкорыстный другъ и учитель, научившій меня срывать повязку съ собственныхъ глазъ!

Разставшись вполѣтствіи со мной, онъ весело распрощался слѣдующими словами:

Смотри смѣло,
Думай дѣло.

Въ этихъ четырехъ словахъ выразилась вся нравственная сторона этого замѣчательнаго въ то время еврея—человѣка.

XI.

Кавачный принцъ и музыка.

Однажды мой другъ Хайкель заставилъ меня рассказать себѣ всѣ подробности моей горемычной жизни, со всѣми ея впечатлѣніями и ощущеніями. Я передалъ ему, какъ могъ, все то, что уже извѣстно моимъ читателямъ.

— Да, мой крошечный другъ, сказалъ онъ, когда я кончилъ свое повѣствованіе.—Твоя жизнь не лучше и не хуже тысячи тебѣ подобныхъ. Благодарю Бога и за то, что ты не успѣлъ еще окончательно отупѣть, заглухнуть и потерять всякое стремленіе къ чему-нибудь лучшему, какъ твой несчастный сотоварищъ Сруль, этотъ ходячій талмудейскій трупъ.

— Ну чѣмъ-же все это кончится, Хайкель?

— Но на это довольно трудно отвѣтить, дружище. Кто блуждаетъ безъ цѣли по лѣснымъ, одичалымъ тропинкамъ, тому трудно предсказать, куда онъ придетъ. Можетъ онъ попасть и на большую дорогу, но можетъ и застрять по горло въ болотѣ. Блуждай,

братъ, по дремучему лѣсу еврейской жизни, но собирай по пути все хорошее и полезное, что попадется подъ руку.

— Докторомъ сдѣлаться я не могу? Какъ ты думаешь, Хайкель?

— Развѣ твоя маменька поумнѣла? Развѣ твой отецъ сдѣлался сильнѣе? Выбрось эту дѣтскую, несбыточную надежду изъ головы; поздно. Учись — чему можешь. Все пригодится. Жизнь длинна и терниста вообще, а еврейская—въ особенности.

— Чему-же мнѣ учиться?

— Всему, что тебѣ доступно. Человѣкъ долженъ имѣть хоть поверхностное понятіе обо всемъ. Хорошее и полезное можно примѣнить къ жизни, отъ дурного и вреднаго надобно сторониться, а надъ глупымъ можно и посмѣяться. Но чтобы имѣть возможность различить одно отъ другого, надобно все понемножку понимать.

— Легко сказать: учиться, но какъ? Ты вѣдь знаешь, что мнѣ запрещено даже дотрогиваться до книги, если она не еврейско-религіознаго свойства.

— Но ты-же читаешь разную русскую ерунду?

— Читаю, но прячусь, ты-же знаешь, куда...

— Что нужды. Прячься да читай. Читай только что-нибудь болѣе разумное. Запрещенный плодъ сладокъ. Я тебѣ еврейскія книжки дамъ, съ которыми тебѣ придется прятаться еще подальше, чѣмъ съ русскими.

— Бываютъ вещи, Хайкель, съ которыми и запрятаться некуда.

— Какія такія вещи?

— Вотъ, напримѣръ, музыка: я до безумія люблю музыку. Я разъ какъ-то занкнулся матери, что не прочь былъ-бы поучиться на скрипкѣ. „Что?—накинулась она на меня.—Въ тѣ музыканты хочешь, что напиваются на свадьбахъ, какъ свиньи? Я тебѣ дамъ такую музыку, что трое сутокъ въ ухахъ звенѣть будетъ“. Поди, послѣ этого, учись на скрипкѣ. Съ ней не спрячешься!

— Глупъ-же ты, какъ посмотрю я на тебя. Почему ты прежде не сказалъ мнѣ, что не прочь учиться музыкѣ?

— Что-жъ-бы было?

— А то, что ты давно пилилъ-бы уже на скрипкѣ.

Я бросился обнимать и цѣловать Хайкеля. Я любилъ музыку до страсти; на людей, владѣющихъ сколько-нибудь музыкальнымъ инструментомъ, я смотрѣлъ съ благоговѣніемъ, какъ на созданій высшаго разряда; я съ восторгомъ готовъ былъ подружиться съ первымъ уличнымъ музыкантомъ-бродягой, но учиться музыкѣ мнѣ никогда даже въ голову не приходило: такъ казалась подобная

попытка невозможно и несбыточною. Тѣмъ не менѣе желаніе сдѣлаться музыкантомъ съ нѣкоторыхъ поръ превратилось у меня почти въ манію; оно преслѣдовало меня день и ночь и не давало покоя. Я былъ обиженъ, униженъ, оплеванъ сыномъ хозяина моего отца, откупщика. О, какъ я ненавидѣлъ его, — эту обезьяну въ человѣческомъ образѣ, это гнусное, надменное, хилое, но жестокое животное! Зависть заѣдала меня и отравляла все мое существованіе.

Семья откупщика, у котораго служилъ мой бѣдный отецъ, состояла изъ трехъ персонажей: самого откупщика, его жены и сына. Откупщикъ былъ довольно красивый еврей, съ окладистой, съ просѣдою, бородой, придававшей ему видъ трефоваго короля. Онъ былъ добродушный, ласковый человѣкъ, довольно простой въ обращеніи съ своими подчиненными. Откупщица—его законная супруга, и съ виду, и по характеру была настоящей мегерой. Она вѣчно страдала желтухой, флюсами и грудной болѣзнью; голова ея, склонявшаяся на одну сторону, постоянно тряслась. Откупные служители избѣгали встрѣчи съ нею—до того была она груба, ядовита и надменна въ своемъ обращеніи съ людьми, существовавшими подачками ея кабачнаго супруга. Супругъ ее, конечно, любить не могъ, но, по безхарактерности, давалъ ей волю во всемъ. Эта женщина, казалось, ненавидѣла весь человѣческій родъ, и за то весь запасъ любви, дарованный ей природой, наравнѣ съ прочими самками хищнаго свойства, сосредоточила въ своемъ единственномъ дѣтенышѣ.

Я имѣю полное право называть это человѣческое созданіе дѣтенышемъ, несмотря на то, что это молодое, хищное животное имѣло уже и зубы, и когти, и даже усики,—слѣдовательно, не нуждалось въ посторонней помощи для своего питанія. Но въ то-же время это созданіе было до того избаловано вѣчными материнскими попеченіями, что, казалось, если-бы оно лишилось этихъ заботъ, то въ продолженіи трехъ сутокъ должно-бы подохнуть съ голода,—такъ было оно безпомощно, слабо и хило. Мать кормила и поила своего единороднаго сына собственными руками, въ буквальный смыслъ этого слова, просиживала цѣлыя ночи у постели его, пичкала его сладостями, укутывала его съ головы до ногъ, даже въ такіе жаркіе дни, когда всѣмъ людямъ рубаха на тѣлѣ казалась невыносимымъ бременемъ. Неразумность этой родительской любви отражалась и на его нравственномъ воспитаніи. Желая дать единственному сыну блестящее, европейское воспитаніе, родители до того пересолнили въ этомъ отношеніи, что создали изъ него смѣш-

ного попугая, болтавшего безъ толку на пѣсколькихъ языкахъ, танцовавшего для упражненія своихъ тоненькихъ ножекъ и разбѣжавшаго верхомъ на англизированныхъ, кровныхъ лошадяхъ, въ сопровожденіи двоихъ лакеевъ, для одного только подражанія молодымъ аристократамъ. Этотъ молодой кабачный принцъ, своей сухопарю, чахоточною наружностью, своимъ непомѣрно-горбатымъ носомъ, своимъ картиннымъ парижскимъ костюмомъ, своими чванливыми приемами и вѣчнымъ французичаніемъ возбуждалъ въ каждомъ смѣхъ и отвращеніе. Откупные служители дрожали каждаго его взгляда, будучи увѣрены, что отъ одного его слова зависить ихъ жалкая судьба. Этотъ молодой еврейскій денди былъ окруженъ гувернерами, гувернантками и лучшими учителями. Онъ не вызубривалъ своихъ уроковъ, какъ прочіе смертные; учителя и наставники, посвящая ему цѣлыя дни, самолично повторяли задаваемые уроки безчисленное множество разъ, до тѣхъ поръ, пока, волею-неволею, слова мудрой книги не врѣзывались механически въ памяти обучаемого субъекта; это было не ученіе, а скорѣе дрессировка, за которую дрессирующие получали болѣе, чѣмъ щедрое вознагражденіе.

Свѣжо помнится мнѣ первая, роковая моя встрѣча съ этимъ ненавистнымъ созданіемъ. Черезъ нѣсколько дней послѣ моего вступленія въ откупную науку я плелся по двору откупничьяго дома, направляясь въ контору. Я былъ въ мрачномъ настроеніи духа, послѣ какой-то бурной домашней сцены. Въ раздумьѣ я чуть-было не наткнулся на кабачнаго принца.

— Прочь, болванъ! ошеломилъ меня вдругъ какой-то молодой, металлически-рѣзкій окликъ.

Содрогнувшись, я поднялъ голову. Передо мною, въ граціозно-повелительной позѣ, рисовался будущій повелитель кабаковъ. Первый разъ въ жизни увидѣлъ я его. Какой-то суконный, сѣрый, широкій плащъ съ множествомъ воротничковъ, недоходившій до коленъ, былъ накинута на тощія плечи этого господина; черная, блестящая, цилиндровая шляпа была надвинута на лобъ и изъ-подъ нея блестѣла пара колючихъ карихъ глазъ, выражавшихъ гнѣвъ и отвращеніе; ноги были обуты въ высокіе лакированные ботфорты со шпорами; въ рукахъ, обтянутыхъ пальевыми перчатками, красовался хлыстъ съ серебряной ручкою. Я много слышалъ уже о падменности этого господина и былъ огорошенъ внезапной встрѣчей съ нимъ.

— Проваливай, неучъ! прикрикнулъ онъ вторично, замахнувшись на меня хлыстомъ.

Я отшатнулся и почти убѣжалъ отъ него.

— Эй, ты! крикнулъ онъ одному изъ откупныхъ служителей-лакеевъ, стоявшему на крыльцѣ конторскаго флигеля.—Кто этотъ оборвышъ?

— Это сынъ нашего подвального.

— Зачѣмъ онъ тутъ шляется?

— Онъ учится бухгалтеріи.

Я рѣшилъ на будущее время избѣгать подобныхъ встрѣчъ. Но судьба какъ-бы съ умысломъ натапливала меня на моего врага и я вторично, невзначай, очутился возлѣ принца, проходя мимо.

— Шапку долой, невѣжа!

Съ этими словами онъ сорвалъ съ меня шапку и далеко ее забросилъ. Я дрожалъ отъ ярости, но пересплилъ себя и смолчалъ. Въ третій разъ онъ, замѣтивъ меня издали, повелительно крикнулъ:

— Эй, ты, замарашка! прикажи конюху скорѣе вывести „Лорда“.

Я вопросительно посмотрѣлъ на него.

— Оселъ! Моя верховая рыжая лошадь называется „Лордомъ“. Ну, что зѣваешь?

— Идите сами въ конюшню. Я не лакей вашъ, дерзко срѣзалъ я его.

Онъ прыгнулъ ко мнѣ какъ дикая кошка. Я ошетинился. Онъ струсилъ и отошелъ, погрозивъ мнѣ кулакомъ. Вѣроятно, онъ пожаловался своей матери, потому что въ тотъ-же день, когда я выходилъ изъ конторы, она издали зашипѣла на меня, какъ змѣя.

За мою выходку досталась, вѣроятно, порядочная головомойка отцу. За обѣдомъ онъ мрачно обратился ко мнѣ:

— Ты чего чванишься? Хочешь, чтобы выгнали и тебя, и меня?

Въ свое оправданіе я разсказалъ, какому униженію я подвергаюсь постоянно при встрѣчахъ съ сыномъ откупщика. Но оправданіе это, какъ казалось, не возымѣло ожидаемой силы на отца. Онъ нетерпѣливо меня слушалъ и въ глазахъ его свѣтился приказъ не разсуждать, а повиноваться; но мать моя до того разъярилась, что отецъ, предвидя бурю, во время смолчалъ.

— Какъ, этотъ гнилой, чахоточный поросенокъ, этотъ будущій ренегатъ, этотъ богопреступный модникъ, будетъ издѣваться надъ моими дѣтьми, надъ моимъ бѣднымъ сыномъ? Какъ, я, гордящаяся предками, украшавшими собою еврейскую націю, потерплю такое постыдное униженіе? Да я въ кухарки пойду служить, я собственными руками землю копать стану, а не дамъ дѣтей въ обиду.

И мать расходилась до того, что отецъ, махнувъ рукой, счелъ за лучшее ретироваться скорымъ шагомъ съ свое подземное, кабачное царство, называемое подваломъ. Я горячо поцѣловалъ мать. Она обвила мою шею, лихорадочно прижимала меня къ сердцу, осыпала поцѣлуями и обливала горькими слезами. Все, что накопилось у меня на душѣ противъ моей матери, въ продолженіи многихъ годовъ, все исчезло: я все простилъ ей. Въ эту минуту я обожалъ ее.

Кабачный принцъ учился на фортепіано. Само собою разумѣется, что для этого счастливца былъ выписанъ самый лучший рояль тогдашняго времени. Рояль этотъ помѣщался въ большой залъ второго этажа, пять оконъ которой выходили на улицу. Рояль издавалъ очаровательные, пѣвучіе звуки, казавшіеся еще звучнѣе отъ великолѣпнаго резонанса большой и высокой залы. Музыку преподавали принцу два учителя, чередовавшіеся между собою. И по этой части повторялась та-же самая дрессировка, какъ и по всѣмъ остальнымъ отраслямъ образованія. Учителя наигрывали своему ученику заданный урокъ по сту разъ. Очень часто, соскучившись своимъ однообразнымъ, неблагодарнымъ трудомъ въ продолженіи двухъ или трехъ часовъ, учителя, чтобы разсѣять скуку, принимались за разыгрываніе цѣлыхъ концертныхъ пьесъ, неподходящихъ, конечно, въ программу музыкальнаго преподаванія бездарному ученику. Я замѣтилъ эту манеру учителей и очень часто прислушивался подъ окномъ, возлѣ котораго стоялъ рояль, дожидая, пока прекратится повтореніе одной и той-же гаммы, одной и той-же плоской музыкальной фразы, и польются тѣ живые звуки, которые всегда такъ сладостно потрясали мою первную систему.

Съ тѣхъ поръ, какъ я показалъ кабачному принцу свои острые зубы, онъ, при встрѣчахъ, не помыкалъ уже мною, а довольствовался тѣмъ, что, фликуя меня нагло-презрительнымъ взглядомъ, насмивалъ такимъ образомъ, какъ обыкновенно насмиваютъ при появленіи какой-нибудь забѣглой собачонки.

Однажды, идя мимо дома откупщика, я услышалъ одну изъ тѣхъ музыкальныхъ пьесъ, которыя часто разыгрывались однимъ изъ учителей. Какъ нарочно, пьеса оказалась моей любимцей. Это была какая-то фантазія на темы самыхъ заунывныхъ русскихъ пѣсенъ. Я заслушался и остановился подъ окномъ. Я какъ-то не замѣтилъ, что мой злѣйшій врагъ сидитъ у раствореннаго окна и глазѣтъ на улицу. Въ самомъ патетическомъ мѣстѣ звуки внезапно оборвались и послышался суровый голосъ учителя:

— Вы рады всякому случаю, чтобы не заниматься дѣломъ. Чего вы тамъ не видали? Извольте заняться урокомъ.

— Не хочу! грубо отвѣтилъ ученикъ.

Послышались тяжелые шаги. Я поднялъ голову. Учитель-нѣмецъ стоялъ у окна.

— Что это за отвѣтъ? спросилъ онъ строго.

— Я не могу играть, когда эта свинья слушаетъ.

— Что? недоумѣло спросилъ учитель.

— Я не хочу играть, когда эта свинья тутъ стоитъ и слушаетъ.

Онъ указалъ на меня. Учитель высунулся изъ окна и посмотрѣлъ на меня вскользь.

— Что мѣшаетъ вамъ этотъ бѣдный мальчикъ? Онъ любитъ, вѣроятно, музыку, ну, и слушаетъ. А вы доставьте ему это удовольствие, прибавилъ учитель, улыбаясь прощически.

— Онъ столько-же смыслитъ въ музыкѣ, сколько свинья въ апельсинахъ, съострилъ ученикъ и плюнулъ на меня.

— Такую музыку, какъ твоя, никакая свинья слушать не захочетъ; ты своими фальшивыми звуками любую свинью уворишь, сказалъ я и отошелъ.

Я съострилъ не очень умно, но тогда я былъ очень доволенъ своей находчивостью и наслаждался безсиленною яростью молодого денежника. Если-бы въ эту минуту явился мнѣ Мефистофель, я съ радостью отдалъ-бы ему свою душу, чтобы восторжествовать надъ моимъ врагомъ. Во что-бы то ни стало я долженъ научиться музыкѣ, шепталъ я про себя, я долженъ научиться музыкѣ, чтобы доказать этому негодю, что я выше его. Мое раненое самолюбіе не давало уже мнѣ покоя. Во снѣ и на яву меня неотвязно преслѣдовала одна и та-же мысль, одно и то-же желаніе: учитьсѣ музыкѣ. Если-бы какой-нибудь великій маэстро могъ заглянуть въ мой внутренній міръ, онъ-бы не усомнился въ моемъ высокомъ призваніи, и—увъ! былъ-бы кругомъ обманутъ. Все это музыкальное броженіе проистекало совсѣмъ не отъ призванія, а отъ необузданнаго самолюбія, всецѣло управлявшаго мною. Этотъ все-сильный рычагъ могъ-бы поднять меня на всякую высоту, погрузить въ самую преподную и довести даже до плахи! Понятно, почему я почувствовалъ такую горячую благодарность къ Хайкелю за его готовность осуществить самое завѣтное мое желаніе.

Хайкель сдержалъ слово: онъ представилъ меня главѣ еврейскаго оркестра и его семейству, а чрезъ нѣсколько дней я былъ уже на дружеской ногѣ со всѣмъ музыкальнымъ персоналомъ.

Новая сфера, въ которой я нечаянно очутился, своеобразный колоритъ семейныхъ и житейскихъ отношеній этой среды,—сдѣлали на меня такое странное, но вмѣстѣ съ тѣмъ невыразимо-пріятное впечатлѣніе, что я не могу пройти его молчаніемъ.

Въ самой грязной части города, на самомъ многочисленномъ еврейскомъ подворьѣ, въ самой отвратительной подземной лачугѣ резидировалъ великій маэстро, счастливый обладатель нѣкоторой таинственной „черной скрипки“, глава оркестра, опъ-же дирижеръ и первая скрипка.

День былъ теплый и ясный. Лѣто было уже на исходѣ, но въ воздухѣ носился еще запахъ пахучей садовой травы, благодаря изобильной растительности города П., болѣе похожаго на дачу, чѣмъ на обыкновенный, пыльный, русскій городъ. А потому, переступивъ порогъ подземнаго жилища моего будущаго учителя музыки, я тѣмъ болѣе былъ пораженъ пахнущими на меня сыростью и вонью. Меня разомъ обдалъ зыкъ и крикъ цѣлаго стада грязныхъ, дикихъ, полунагихъ, дѣтей. Свыкнувшись, наконецъ, съ полумракомъ, я съ любопытствомъ осмотрѣлся кругомъ и былъ крайне удивленъ представившеюся глазамъ моимъ картиной.

Комната была до того длинна и узка, что скорѣе имѣла видъ корридора, чѣмъ жилой комнаты. Стѣны были во многихъ мѣстахъ лишены всякихъ слѣдовъ штукатурки и побѣлки. Потолокъ и углы были усыяны паутиной всѣхъ видовъ и размѣровъ. Двѣ или три группы печесанныхъ, немытыхъ ребятишекъ, малъ-мала-меньше, наполняли комнату. Они кувыркались, вѣдпившись въ волосы другъ другу, хохотали, ревѣли и мяукали на всѣ лады, не обращая на насъ никакого вниманія. Большой, ветхій, грязный столъ и три или четыре такіе-же табурета составляли всю меблировку пріемной. По стѣнамъ висѣли разные музыкальные инструменты, въ самомъ живописномъ безпорядкѣ. Между ними, на громадномъ гвоздѣ, висѣлъ кожаный мѣшокъ, хранившій молитвенныя принадлежности. Сверхъ святыни этой, на томъ-же гигантскомъ гвоздѣ, красовался вѣнокъ самага крупнаго лука. Такіе-же поэтическіе вѣнки украшали собою контрбасъ, имѣвшій конструкцію корыта, бубны и цимбалы. У стола, вѣдпившись тоненькой, костлявой ручонкой за ножку стола, шатался и переминался на чахоточныхъ ножкахъ крошечный, болѣзненный ребенокъ. Порванная, испещренная, какъ географическая карта, рубашонка, была поднята и заткнута за воротникъ. Страшно было смотрѣть на болѣзненную худобу этого жалкаго ребенка и на его непомерно раздутое брюшко, совершенно обнаженное. Придерживаясь одной ручонкой за ножку стола, онъ

прижималъ другою къ своему крошечному сердечку громадный калачъ и горько рыдалъ. Ревѣть и роптать на свою жестокую судьбину онъ имѣлъ полное право, потому что къ другой ножкѣ стола былъ привязанъ бѣлый, старый пѣтухъ, и эта воинственная птица клевала несчастнаго своего сосѣда куда ни попало самымъ жестокимъ, кровожаднымъ образомъ.

Я бросился-было спасать бѣднаго ребенка отъ пѣтуха, но Хайкель, схвативъ меня грубо за руку, удержалъ мой великодушный порывъ.

— Если ты осмѣлишься помѣшать пѣтуху, то будешь имѣть дѣло со мною, прошипѣлъ онъ надъ моимъ ухомъ.

— Ты съума сошелъ, что-ли? изумился я.

— Пѣтухъ этотъ имѣетъ полное право мстить; ну, пусть и мститъ по-своему.

— За что-же мстить?

— Его обрekli на смерть за дурацкую человѣческую голову ¹⁾. Какая-нибудь каналья, нагрѣшить, а бѣдному, невинному пѣтуху приходится поплатиться за это жизнью. Онъ предчувствуетъ свою насильственную кончину и вымещаетъ гнѣвъ на этомъ замарашѣ.

— Чѣмъ-же виноватъ ребенокъ?

— За невозможностью клевать своего убійцу, онъ клеветъ его потомство.

— Но справедливо-ли это?

— Конечно. Иначе Іегова не мстилъ-бы людямъ за прегрѣшенія ихъ предковъ; иначе уличные мальчишки не преслѣдовали-бы тебя за то, что во время одно нѣсколько жестокихъ фанатиковъ распяли основателя христіанства. Оставь въ покоѣ пѣтуха, говорю тебѣ!

Кровавымъ замысламъ пѣтуха и Хайкеля не суждено было, однакожь, осуществиться. Въ боковую полуотворенную дверь, какъ буря, ворвалась маленькая, полная, но тѣмъ не менѣе живая, какъ ртуть, старушка. Не замѣтивъ насъ, она, хохоча, бросилась на кучу дѣтей и начала такъ быстро барабанить по головкамъ и спинкамъ маленькихъ дикарей, что въ мигъ писекъ унялся и дѣти,

¹⁾ Наканунѣ суднаго дня евреи очищаютъ свои грѣхи жертвами. Жертвами этими бывають для мужчинъ пѣтухи, преимущественно бѣлые, символъ невинности и безгрѣшности, для женщинъ—курицы. Вертя жертву вокругъ своей грѣшной головы, евреи говорятъ: «я да буду обреченъ на жизнь благополучную и долголѣвную, а ты (жертва) да будешь обречена на смерть». Несчастныя жертвы поѣдаются въ тотъ же день.

вскочивъ на ноги, гурьбой побѣжали и юркнули за дверь. При этомъ неожиданномъ интермеццо пѣтухъ, забывъ о своей мести и поднявъ лапу, съ любопытствомъ повернулъ голову въ нашу сторону. Воспользовавшись этой оплошностью, ребенокъ, своимъ калачомъ, такъ хватилъ врага по головѣ, что тотъ свалился съ ногъ и, въ свою очередь, завопилъ.

— Ишь, какой злой пузанчикъ! вознегодовалъ Хайкель.

Еврейка быстро обернулась къ намъ.

— А, это ты, горбатый бѣсъ? Какъ это я тебя не замѣтила? А этотъ-же кто? добавила она, указавъ на меня пальцемъ.

— Это—будущій ученикъ твоего знаменитаго супруга.

— Добро пожаловать, привѣтствовала она меня.—Но кто-жь онъ такой?

— Сынъ откупного подвального... По имени Сруль... Понимаешь-ли ты, Цирка, какая это будетъ благодать для насъ, особенно для тебя? Водка непокупная, перваго сорта!

Съ этими словами Хайкель вытащилъ цѣлый штофъ изъ своего бездоннаго кармана и съ торжественностью поставилъ на столъ. Затѣмъ, изъ того-же кармана, онъ досталъ крупную соленую чаконъ и бросилъ туда-же.

— Ну, Цирка, убери отсюда и своего замарашку, и пѣтуха, да тащи своего повелителя. Кстати, пошли позвать сюда нашихъ молодцовъ. Водка безъ музыки и музыка безъ водки никуда не годятся.

— Ты у меня умница! засмѣялась Цирка и, потирая руки отъ удовольствія, выбѣжала куда-то.

— Славная женщина, похвалилъ ее Хайкель.—Люблю я ее за то, что она вѣчно жива и весела. Она рѣзвится даже тогда, когда колотить своего повелителя; никогда не хмурится и не сердится. А пьетъ какъ!..

Между тѣмъ явился на сцену самъ хозяинъ дома, въ пестромъ халатѣ, въ башмакахъ на босую ногу. Это былъ очень некрасивый еврей съ подслѣповатыми глазами и обглоданной сѣдой бородкой. Длинный, сухопарый, съ всклооченными, нечесанными волосами, онъ напоминалъ собою царя Саула въ мрачныя его минуты, какъ представляютъ его еврейскія доморощенные картинки.

— Миръ душѣ твоей, великій отче! привѣтствовалъ его Хайкель, фамиллярно хлопнувъ по плечу.

— И тебѣ миръ да будетъ!

— Аминь. Взгляни-ко, раби Левикъ, на сего юношу, жаждущаго вкусить сладостную сладость твоей музыкальной премудрости.

— Слышалъ. Радуюсь.

— Славный онъ у меня малый и понятливъ, какъ слонъ! за-рекомендовалъ меня Хайкель.

— Вѣрю. Кто любитъ святую музыку, тотъ ужъ навѣрно — хорошій человѣкъ.

— Еще-бы!

Влетѣла Цирка, а за нею, застѣнчиво, вошелъ юноша моихъ лѣтъ.

— Тебя какъ зовутъ? обратился ко мнѣ раби Левикъ.

— Сруль.

— Мой сынъ, Сендеръ! отрекомендовалъ отецъ:—прошу любить и жаловать. Играетъ онъ вторую скрипку такъ, что ангелы на седьмомъ небѣ радуются, слушая его.

Скромный юноша опустилъ глаза и покраснѣлъ. Цирка подбѣжала ко мнѣ, посмотрѣла мнѣ прямо въ глаза и, безъ обиняковъ, расцѣловала. Я, въ мою очередь, покраснѣлъ и опустилъ глаза.

— Я всегда цѣлую того, кто мнѣ нравится, оправдалась она, вертясь какъ угорь на одномъ мѣстѣ.

— А развѣ я тебѣ не нравлюсь, Цирка? спросилъ Хайкель.

— Нравишься.

— Отчего-же ты меня не цѣлуешь?

— Ну, ты уже взрослый чурбанъ, тебя цѣловать грѣшно, а тотъ—еще ребенокъ.

Въ комнату вошла дѣвушка, лѣтъ шестнадцати, очень некрасивая собою и поразительно похожая на своего мрачнаго отца. За всѣмъ тѣмъ ея глаза смотрѣли такъ привлекательно и привѣтливо, что она мнѣ сразу понравилась, хотя, изъ скромности и застѣнчивости, я посмотрѣлъ на нее только мелькомъ.

— Это моя дщерь, Хася. Знатная пѣвица.

Хася смѣло и въ упоръ посмотрѣла мнѣ въ глаза и, замѣтивъ мое замѣшательство, улыбнулась.

— Если ты вступаешь въ нашъ домъ ученикомъ, то чуръ не дичиться. Мы безъ церемоній! весело пропищала Цирка, фамильярно ущипнувъ меня за подбородокъ.

— Ты, братъ, видишь предъ собою добрыхъ, честныхъ людей. Это еврейская цыганская орда, которая не воруетъ и не гадаетъ, а живетъ настоящимъ, не думая о завтрашнемъ днѣ. Сухарь, водка, музыка—вотъ наше счастье! пояснилъ Хайкель и началъ угощаться и угощать хозяевъ.

Между тѣмъ выползла откуда-то вся вуча ребятшекъ, только-

что выгнанная матерью. Даже замарашка подползъ на четверенькахъ и вѣднлся какъ репешокъ въ ногу матери. Поднялась прежняя возня, но никто на это не обращалъ уже вниманія. Мнѣ было свѣтло и радостно на душѣ въ кругу этихъ добрыхъ, беззаботныхъ и счастливыхъ людей. Черезъ четверть часа собрались всѣ члены оркестра и пошелъ пиръ горой. Въ первый разъ я увидѣлъ Хайкеля въ своей родной стихіи. Онъ прыгалъ, корчилъ уморительныя рожи, фамильярничалъ до непозволительности и перекидывалъ ребятишекъ, хохотававшихъ во все горло. Когда содержаніе штофа было на половину истреблено, раби Левикъ зычно скома́ндовалъ:

— Молчать! Дѣти—за инструменты! Жена! Чернушку сюда!

— О, счастливѣйшій изъ смертныхъ! ты узришь сію черную скрипку, сіе чудо изъ чудесъ! обратился ко мнѣ Хайкель съ своей шутовской гримасой.

Полетѣли на полъ луковые вѣйки. Контрбасъ, віолончель, цымбалы и прочіе инструменты были сняты со стѣны. Пошла безконечная настройка. Вся дѣтвора засуетилась. Нѣкоторые изъ дѣтей подбродывались къ контрбасу и запускали пальчики между струнъ, но, получивъ ударъ смычкомъ по рукѣ, отскакивали со смѣхомъ въ сторону, засасывая ушибленное мѣсто. Между тѣмъ жена маэстро съ какимъ-то благоговѣніемъ поднесла мужу черную, грязную, запыленную и усѣянную канфолью, какъ пудрой, скрипку. Я съ любопытствомъ посматривалъ на это чудо изъ чудесъ, какъ выражался Хайкель, не понимая, какая достопримѣчательная особенность заключается въ ней.

— Видѣлъ ты что-нибудь подобное? спросилъ меня раби Левикъ, наслаждаясь, повидимому, моимъ удивленіемъ.

— Нѣтъ. Я въ первый разъ вижу черную скрипку; сколько я ихъ ни видѣлъ, всѣ были красноватыя или желтоватыя.

— То-то. Эта скрипка—самого великаго Панини. А знаешь-ли ты, кто такой былъ этотъ Панини?

— Куда ему знать, раби Левикъ! отвѣтилъ за меня Хайкель.

— Панини былъ царь скрипачей. Научился онъ играть на скрипкѣ съ помощью дьявола, которому продалъ свою душу, сидя въ ямѣ, куда его заперли на всю жизнь за то, что онъ убилъ свою жену. Изъ этой ямы освободили его тогда только, когда французскій король, шедшій однажды мимо, услышалъ такіе чудные звуки, какихъ ему не приходилось слышать во всю жизнь. Панини дали свободу, богатства и почести. Но за то игралъ-же онъ, ухъ, какъ игралъ! Лопнетъ, бывало, струна—онъ играетъ,

лопнетъ другая—онъ еще лучше играетъ, лопнетъ третья—онъ еще лучше играетъ...

— Лопнетъ четвертая—онъ еще лучше играетъ, докончилъ Хайкель.—Полно, отче! музыку подавай, пока водка не кончилась.

Долго игралъ оркестръ, дирижируемый страшнымъ топотомъ ногъ раби Левика. Рѣзкій голосъ „чернушки“ покрывалъ весь оркестръ. Раби Левикъ игралъ съ увлеченіемъ, то заливаясь соловьемъ на квинтѣ, то ревя благимъ матомъ на баскѣ. Сердце прыгало у меня въ груди отъ душевнаго наслажденія. Подобнаго музыкальнаго ощущенія я не испытывалъ больше въ жизни. Я былъ безконечно счастливъ. Въ заключеніе концерта раби Левикъ отхватилъ бѣшенаго казака собственной композиціи. Хайкель не выдержалъ. Сорвавъ со стѣны бубны и завертѣвъ ими какъ-то особеннымъ образомъ надъ головою, онъ пустился въ неистовую пляску. Онъ выдѣлывалъ такіа уморительныя па, что Цирка, Хася, я и всѣ ребятишки, въ буквальномъ смыслѣ, повалились со смѣха.

— Дѣти, баста! скомандовалъ раби Левикъ:—инструменты на мѣста! Намъ предстоитъ довольно работы сегодня вечеромъ.

— Раби Левикъ! задушу, если Хася не споетъ! воскликнулъ Хайкель обрывавшимся, хмѣльнымъ голосомъ.

— Хочешь пѣть, Хаська? спросилъ отецъ.

— Хочу, согласилась безъ жеманства дѣвушка.

Она запѣла унисономъ съ акомпаниментомъ скрипки отца, но запѣла такимъ свѣжимъ, серебристымъ, симпатичнымъ голосомъ, что у меня духъ захватило. Въ первый разъ въ жизни я услышалъ женскій голосъ, голосъ мягкій, сладкій до одуренія. Въ эту минуту я безъ памяти былъ влюбленъ въ некрасивую пѣвицу. Хася, вѣроятно, замѣтила это и самодовольно улыбалась, не спуская съ меня глазъ.

Уговорившись насчетъ уроковъ, которые я долженъ былъ брать ежедневно, мы попрощались со всѣмъ обществомъ, при чемъ Цирка обняла и поцѣловала меня, раби Левикъ потрепалъ по щекѣ, а Сендеръ дружески попросилъ какъ можно скорѣе придти опять. Съ Хасей я не прощался: мнѣ было чего-то стыдно. Когда мы вышли въ темные сѣни, мы наткнулись на Хасю, повидимому ожидавшую насъ.

— А что, Сруликъ, хорошо я пою? спросила она.

— Да, согласился я застѣнчиво.

— Чаше, чаше приходи къ намъ; много тебѣ пѣть буду.

— Хаська, не соблазняя ты моего цѣломудренного Іосифа! погрозилъ ей Хайкель.

Хася звонко засмѣялась и убѣжала.

— Славная дѣвчурочка, похвалилъ Хайкель:—добрые люди! Правятся-ли они тебѣ? Правду говори.

— Ужасъ какъ правятся. Я никогда не былъ такъ счастливъ, какъ сегодня.

— Теперь ты понимаешь, почему я предпочитаю быть фигляромъ въ этой доброй, честной средѣ, чѣмъ великимъ раввиномъ въ средѣ ханжей и торгашей? Тутъ я веселюсь и живу, а тамъ я прозябать долженъ, вѣчно оплакивая раззореніе Іерусалима, тогда какъ мнѣ вовсе не жаль его.

Этотъ день былъ однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ и счастливыхъ дней моей жизни. Я сталъ ежедневно посѣщать моихъ новыхъ друзей. Но чѣмъ больше я присматривался къ этой новой для меня средѣ, тѣмъ скорѣе стиралась яркая краска перваго впечатлѣнія. Сколько копеечной мелочности въ этой кажущейся беззаботности, сколько неряшливости и грязи въ этомъ мнимомъ счастьѣ, сколько шероховатой грубости въ этомъ добродушіи, сколько чванливости въ этомъ невѣжествѣ! Неужели это счастье? По размышленіи я утвердительно сказалъ себѣ: „нѣтъ“. Можно позавидовать буйволу, погрузившемуся по уши въ болото и стонущему отъ наслажденія и прохлады, но самому жить въ болотѣ далеко нерадостно. Хася, очаровавшая меня своей натуральной простотою и голосомъ, сдѣлалась противна своей навязчивостію и отсутствіемъ всякой стыдливости. Она, въ буквальномъ смыслѣ, вѣшала на шею. Я былъ остороженъ съ Хайкелемъ и не высказывалъ ему своего настоящаго мнѣнія о его друзьяхъ; я инстинктивно понималъ, что на этомъ пунктѣ мы никогда не сойдемся и что пачкать его святиню было-бы, съ моей стороны, верхомъ неделикатности и неблагодарности. Я исправно бралъ уроки и экзерцировался по нѣскольку часовъ къ ряду. Методы преподаванія у владѣтеля черной скрипки не имѣлось. Послѣ единственной цедурной гаммы я прямо перешелъ къ изученію пѣсенъ и безвычурныхъ пѣсень, причемъ ноть не полагалось. Ноты были китайскою грамотою, какъ для самого маэстро, такъ и для его сподвижниковъ: меня учили наглядно, прямо съ пальцевъ. Тѣмъ не менѣе я дѣлалъ быстрые успѣхи и раби Левикъ гордился мною какъ живымъ доказательствомъ гениальности его методы. Я былъ и самъ очень доволенъ своимъ преуспѣяніемъ въ музыкѣ, и съ радостью отдавалъ всякій грошъ, заработанный мною перепиской

и графленіемъ въ откупной конторѣ. Одно только меня смущало: мнѣ совѣстно и горько признаться, но да искупить это гласное признаніе мой грѣхъ: я сдѣлался воромъ. Для тебя, о, святое искусство, я поппралъ ногами одну изъ святѣйшихъ заповѣдей Іеговы, изъ-за тебя я подвергнулся публичному позору!

Нищенскіе гроши, которыми я платилъ за уроки, не могли удовлетворить жаднаго маэстро. Хайкель справедливо утверждалъ, что „водка безъ музыки и музыка безъ водки никуда не годятся“. Но откуда достать водку, этотъ музыкальный нектаръ? А Цирка, при всякомъ удобномъ случаѣ, напомпала мнѣ обольстительныя слова Хайкеля, сказанныя при первомъ моемъ представленіи: „водка, непокупная, перваго сорта“...

— На то ты и сынъ подвального! заканчивала жена маэстро и многозначительно поглядывала на меня.

Я довольно долго боролся, но не устоялъ и—рѣшился воровать откупное добро, чтобы имъ залить глотку недовольныхъ. Рѣшившись однажды, я уже не пятился назадъ и даже пренебрегалъ всякими предосторожностями. Съ сыновнею любезностью я вызвался помогать, раза три въ недѣлю, моему отцу въ его письменныхъ и отчетныхъ работахъ по подвалу. Отецъ былъ чрезвычайно доволенъ моею быстрой выкладкою на счетахъ, моимъ чистописаніемъ и вообще сметкой; онъ видѣлъ во мнѣ будущую звѣзду откупного горизонта, и радовался. Бѣдный отецъ! онъ не угадывалъ моихъ коварныхъ замысловъ; онъ не замѣчалъ, что я поминутно бросаю преступныя взгляды за перегородку, гдѣ симметрично были разставлены длинные ряды штофовъ, полуштофовъ, бутылокъ и разной мелкой посуды, налитой сивухой и опечатанной. Окончивъ занятія, я оставался нѣкоторое время въ подвалѣ и ждалъ удобнаго момента. Какъ только отецъ и его помощникъ зазѣваются, я съ быстротою карманщика стаскивалъ одинъ изъ штофовъ и, съ видомъ невиннаго агненка, медленно, позѣвывая, выходилъ изъ подвала. Похищеніе большей частью не замѣчалось, а если иногда нарушеніе симметріи и возбуждало подозрѣніе у бдительнаго отца, то оно ко мнѣ не относилось, а взваливалось на различныхъ Ванекъ и Степокъ, во множествѣ работавшихъ въ подвалѣ.

Запыхавшись, приносилъ я украденную водку Циркѣ. Она нѣжно ласкала меня, называя добрымъ, милымъ, ненагляднымъ и проч. Но она была противна мнѣ въ эти минуты, потому что внутренній голосъ назойливо шепталъ мнѣ: „воръ, воръ, воръ!“ Подобное душевное состояніе продолжалось, впрочемъ, недолго; я втянулся,

да и философія Хайкеля не мало содѣйствовала успокоенію моей совѣсти.

— Ты чего сокрушаешься? спросилъ онъ меня однажды, замѣтивъ мое мрачное настроеніе духа.

— Я... ворю, Хайкель, понимаешь-ли ты? Я... воръ!

— Вздоръ!

— Но ты-же самъ, мудрецъ, внушилъ мнѣ отвращеніе къ пороку.

— Да, порокъ—скверная вещь.

— А воровство развѣ не порокъ?

— Крупный, очень крупный порокъ: двоюродный братъ грабежу и убійству.

— Что-же я такое послѣ этого?

— Ты у меня умница!

— Но воръ?

— Нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?

— Что, по твоему мнѣнію, воровство?

— Воровство есть нарушеніе права собственности.

— Ну-да, но что такое собственность?

— То, что принадлежитъ одному, а не другому.

— Такъ. А помнишь-ли ты юридическій законъ талмуда: „ворующій у вора свободенъ отъ наказанія“?

— Помню.

— Ты у кого воруетъ?

— У отца.

— Нѣтъ, врешь. У откупщика.

— Ну, у откупщика.

— А что такое откупщикъ?

— Откупщикъ... продавецъ водки...

— Нѣтъ, откупщикъ—воръ.

— Почему?

— Потому, что онъ присвоиваетъ себѣ такія права, какія никто ему не давалъ,—слѣдовательно, онъ воръ. Талмудъ разрѣшаетъ его обкрадывать.

— Ты самъ первый противникъ талмуда, а тамъ, гдѣ тебѣ удобно, ты...

— Я... руководствуюсь имъ. Надобно-же извлечь изъ него какую-нибудь пользу. Пусть не дармоѣдничаетъ.

Кувшинъ сто разъ ходитъ по воду, а на сто-первомъ разбивается. То-же самое случилось и со мною. Долгое время воровство мое благополучно сходило съ рукъ, но, наконецъ, я позорнымъ

образомъ попался. Скорыми шагами я несъ однажды свою преступную ношу, направляясь къ подворью своего музыкальнаго учителя. Я былъ уже въ двухъ шагахъ отъ цѣли моего шествія, какъ вдругъ, изъ-за угла улицы, выскочило неожиданно трое всадниковъ. Я въ мигъ узналъ кабачнаго принца, моего смертельнаго врага, и его двухъ лакеевъ. Онъ тоже узналъ меня и съ злорадствомъ направилъ свою лошадь прямо на меня, чтобы испугать. Я очень боялся лошадей. Я пустился бѣжать со всѣхъ ногъ и, къ моему великому несчастію, запнулся за что-то и тяжело упалъ. Роковой штофъ съ ужаснымъ звономъ разбился и пахучее его содержаніе въ мигъ выдало меня.

— Стой! скомандовалъ кабачный принцъ и соскочилъ съ лошади.

Лакеи накрыли меня лежащаго.

— Ты что это несъ? грозно обратилось ко мнѣ чудовище.

Куда дѣвалась моя гордость! Я обезумѣлъ отъ стыда.

— Ты куда это тащилъ нашу водку?

— Я... домой несъ, прошепталъ я, желая какъ-нибудь отдѣлаться. Но проклятая дрожь въ голосѣ и во всемъ тѣлѣ обличала мою ложь.

— Ведите его въ контору. Возьмите съ собою разбитый штофъ, а то еще, пожалуй, отопрется, ворышка.

Съ этими словами мой злой гонитель ускакалъ во весь карьеръ. Лакеи потащили меня. Я сначала попробовалъ упираться, но когда одинъ изъ этихъ негодяевъ замахнулся на меня кулакомъ, я присмѣлся и безропотно сдался въ плѣнъ. Позорно было мое торжественное шествіе между двухъ лакеевъ, ведшихъ за собою своихъ лошадей и несшихъ въ рукахъ улики моего преступленія. Къ моему счастью, улицы были совершенно безлюдны и я не подвергся любопытству толпы.

Когда меня привели на откупной дворъ, когда я издали увидѣлъ самого откупщика, его ехидную супругу и моего бѣднаго отца съ понуренной головою, когда я замѣтилъ, какъ кабачный принцъ съ жаромъ что-то рассказываетъ, жестикулируя руками и указывая на меня; когда я обернулъ голову въ другую сторону и встрѣтилъ цѣлый десятокъ вопрошающихъ глазъ откупныхъ служителей, высыпавшихъ на крыльцо,—ноги мои подкосились, голова закружилась, въ глазахъ потемнѣло и дыханіе остановилось въ груди. Я чувствовалъ то-же самое, что чувствуетъ, вѣроятно, осужденный на смерть при видѣ эшафота и плахи. Какъ меня подвели къ грозному судилищу—не помню. Я пришелъ нѣсколько къ созна-

нію тогда только, когда грустный, дрожащій голосъ отца коснулся моего слуха.

— Куда ты несъ водку, несчастный?

Я тупо смотрѣлъ куда-то вдаль.

— Видите, раби Зельманъ! Вотъ гдѣ причина вашихъ непомирныхъ усышекъ по подвалу, строго замѣтилъ откупщикъ.

— У васъ растаскиваютъ мое добро. И кто-же? Ваше собственное семейство.

Этотъ упрекъ подѣйствовалъ на отца, какъ электрическая батарея. Онъ подпрыгнулъ на мѣстѣ и бросился ко мнѣ съ поднятыми руками...

Мнѣ смутно помнится, что я даже не испугался угрожающаго жеста отца: мнѣ казалось, что вся эта сцена не касается меня. Я отупѣлъ или помѣшался. Я дико озирался и бессмысленно шепталъ, перебирая какъ-то странно пальцами:

— Хайкель... Цирка... Хасъка... Водка...

Что было со мною послѣ этого—ничего не помню.

XII.

ДВА ВРАКА.

Страхъ и позоръ произвели такое сотрясеніе во всемъ моемъ существѣ, что, непосредственно за этимъ событіемъ, я впалъ въ нервную горячку, продолжавшуюся около двухъ недѣль и серьезно угрожавшую моей жизни. То была вторая, тяжкая моя болѣзнь. Отецъ и мать провели много бессонныхъ ночей у моей постели. Мой бѣдный отецъ страдалъ больше моего: онъ видѣлъ своего любимаго сына,—будущую, предполагаемую откупную звѣзду,—на краю могилы и считалъ себя до нѣкоторой степени виновникомъ моего опаснаго положенія.

Повѣрятъ-ли мои читатели, что, послѣ такихъ явныхъ уликъ воровства, я былъ не только оправданъ, но и возведенъ еще на степень мученика клеветы и роковой случайности? Когда я очнулся отъ горячечнаго бреда, я самъ не повѣрилъ тому, что услышалъ. Мать заботливо укутывала меня и приговаривала:

— Бѣдное, дорогое дитя мое! Чуть-было не убили тебя эти изверги! Очернили, оклеветали ребенка ни за что, ни про что. Нашли вора! Хорошъ воръ! Онъ у меня тихенькій, какъ голубь; ѣсть не попросить, пока ему не дашь. Онъ воръ! Хорошъ воръ!

А вотъ, кассиръ-то нашъ, небойсь, не воръ! Тридцать рублей въ мѣсяцъ жалованья получаетъ, цѣлую кучу поросятъ имѣеть, а женушка въ шелковыхъ капотахъ разгуливаетъ. Нѣтъ, онъ не воръ, а вотъ ребенокъ—такъ онъ откупное добро растаскиваетъ. Хорошъ и отецъ, нечего сказать: сразу повѣрилъ и накинудся на бѣдняжку. Колпакъ этакой!

Мнѣ показалось, что я брежу. Но я не бредилъ, а на самомъ дѣлѣ слышалъ слова моей доброй матери. Я потомъ узналъ всѣ подробности событія, совершившагося непосредственно за описанной мною сценой.

Въ тотъ моментъ, когда отецъ подскочилъ ко мнѣ съ поднятыми руками, раздался рѣзкій голосъ:

— Сруль! Эй, Сруль! Гдѣ моя водка? куда ты ее дѣвалъ?

Отецъ остановился, обернулся и съ удивленіемъ посмотрѣлъ въ ту сторону, откуда раздался голосъ. Не менѣе отца были удивлены и прочіе члены моего грознаго судилища.

Подбѣжалъ, запыхавшись, облитый потомъ, какой-то неряшливый, уродливый, незнакомый еврей. Не обращая ни на кого вниманія, онъ грубо схватилъ меня за рукавъ.

— Ты куда дѣвалъ мой штофъ? Отвѣчай скорѣй... тамъ ждутъ...

Я стоялъ, какъ истуканъ.

— Смотрите, смотрите! обратился онъ внезапно къ толпѣ, окружившей его.—Мальчикъ шатается на ногахъ... Онъ падаетъ... Онъ ньянъ... Онъ выпилъ мою водку!..

Я на самомъ дѣлѣ падалъ съ ногъ. Меня подхватили и увезли домой на откупныхъ дрожжахъ.

Пока возились со мною, незнакомецъ не переставалъ мотать своей уродливой головой и приговаривать:

— Гмъ!.. Никогда не повѣрилъ-бы, что онъ способенъ на такую штуку! Выпить цѣлый штофъ, шутка-ли!

— О какой водкѣ вы тамъ толкуете? спросилъ его самъ откупщикъ.

— Я встрѣтилъ этого мальчика на улицѣ и попросилъ снести къ нашимъ штофъ водки; но онъ его туда не отнесъ, а выпилъ.

— Вы гдѣ взяли эту водку, о которой хлопчете? спросилъ откупщикъ недовѣрчиво.

— Я купилъ ее въ Разгуляевскомъ кабаѣ.

— Эй! повелѣлъ откупщикъ одному изъ откупныхъ служителей;—потребовать сюда сейчасъ цѣловальника Разгуляевского питейнаго заведенія! А сами вы кто такой? продолжалъ онъ допрашивать незнакомца.

— Музыкантъ здѣшняго оркестра.

— Съ какой стати вы поручили моему сыну нести вашу водку? спросилъ его отецъ сурово.

— Я съ нимъ давно уже знакомъ. Я ему оказывалъ много услугъ, а потому имѣлъ право потребовать и отъ него взаимной услуги. А вы—его отецъ?

— На чемъ основано это странное знакомство и какого рода услуги могли *вы* оказать *моему сыну*? удивлялся отецъ.

— Вы—отецъ Сруля? повторилъ свой вопросъ незнакомецъ.

— Да я—отецъ его.

— Ну, поздравляю. У васъ не сынъ, а сокровище. Я подобнаго понятливаго мальчика въ жизни своей не встрѣчалъ. Представьте вы себѣ, господа! Этотъ мальчикъ какъ-то случайно познакомился со мною въ синагогѣ и выразилъ желаніе учиться на скрипкѣ. Я познакомилъ его въ главой нашего оркестра, раби Левиномъ, и въ какіе-нибудь полгода этотъ мальчуганъ, упражнясь всего раза три въ недѣлю, успѣлъ столько, сколько не успѣетъ какой-нибудь богатый чурбанъ въ пять лѣтъ, платя по дука-ту за урокъ. Но куда же онъ дѣвалъ мою водку? Вотъ что странно!

Между тѣмъ явился и ожидаемый цѣловальникъ.

— Ты знаешь этого еврея? обратился къ нему откупной владыка, указывая на уродливаго незнакомца.

— По имени не знаю, а по лицу знаю: онъ часто забираетъ у меня водку.

— Когда онъ у тебя въ послѣдній разъ покупалъ ее?

— За часъ назадъ онъ купилъ штофъ. А вотъ и мой штофъ, добавилъ онъ, указывая на разбитую посуду, лежавшую тутъ-же невдалекѣ:—я узнаю его.

— Хорошо. Ступай.

— Извините, раби Зельманъ, что мы напрасно обидѣли и васъ и вашего сына. Всею виною непомѣрныхъ вашихъ усышки по подвалу, задобрилъ откупщикъ моего отца.

Обратившись къ своему сыну, онъ, съ гнѣвомъ, вознаграждалъ его усердіе словомъ „дуракъ“ и направился въ покои.

Оказалось, что въ то время, когда кабачный принцъ и его лакеи накрыли меня, Хайкель шелъ туда-же, куда стремился и я. Увидѣвъ несчастіе, меня постигшее, онъ тотчасъ смекнулъ, въ чемъ дѣло. Не теряя времени, побѣжалъ онъ къ коротко знакомому сидѣльцу Разгуляевского кабака и подкупилъ его въ свидѣтели.

Затѣмъ побѣждалъ вслѣдъ за мною и поспѣлъ какъ-разъ во-время, къ великому спасенію моихъ щокъ и моей чести.

По строгому кодексу кабачнаго царства, отецъ мой долженъ былъ лишиться мѣста за нерадѣніе къ откупнымъ интересамъ, и избавился отъ этого наказанія, благодаря исключительно вмѣшательству Хайкеля. Понятно, что отецъ почувствовалъ къ своему спасителю глубокую признательность. Хайкель былъ приглашенъ моимъ отцомъ въ нашъ домъ и, съ свойственною ему ловкостью, приобрѣлъ довѣріе моей строгой и гордой матери. Онъ какъ братъ ухаживалъ за мною во время моей болѣзни и этимъ окончательно приобрѣлъ ея дружбу. Съ отцомъ-же онъ сошелся, удивляя его талмудейскою, каббалистическою и научною начитанностію. Этотъ оригинальный человѣкъ обладалъ особенной хамелеоновскою способностью приспособлять себя ко всякому нравственному цвѣту: онъ могъ серьезничать какъ Конфуцій, дурачиться какъ любой арлекинъ и сантиментальничать какъ любая чувствительная барышня. Быть можетъ, для моего будущаго было бы гораздо полезнѣе, если-бы Хайкель не такъ подружился съ моими родителями. Онъ былъ отъявленный эгоистъ и, дорожа вниманіемъ моихъ родителей, впослѣдствіи совсѣмъ перешелъ на ихъ сторону, а этотъ союзъ, обратившійся въ триумvirатъ, рѣшилъ мою будущую судьбу...

Могъ-ли я предположить въ то время, когда рабы откупщика тащили меня по улицамъ, съ неоспоримыми уликами моей подлости, что мерзкая исторія эта не только не оставитъ клейма на моей репутаціи, но что, наоборотъ, она распространитъ обо мнѣ добрую славу и возбудитъ сочувствіе? А это именно случилось такъ. Преслѣдованіе кабачнаго принца, вмѣсто того, чтобы унижить меня, доставило мнѣ лестную извѣстность въ томъ тѣсномъ откупномъ кружкѣ, въ которомъ я вращался, дотогдѣ незамѣченный никѣмъ.

— Замѣчательный мальчикъ! говорили обо мнѣ:—онъ всему научился самъ, безъ учителей! Какъ онъ хорошо знаетъ талмудъ, какъ онъ читаетъ, пишетъ и говоритъ по-русски, какой дока въ ариѳметикѣ! Да еще музыкантъ, на скрипкѣ играетъ, на самомъ трудномъ инструментѣ!

Меня хвалили и возносили до небесъ, а сердце моей матери прыгало въ груди отъ радости. Я пересталъ прятаться отъ нея. Она собрала послѣдніе гроши и сама купила мнѣ какую-то некрашеную скрипку малороссійскаго издѣлія. Я пилилъ въ ея присутствіи, а она съ удовольствіемъ слушала, особенно тѣ раздирательныя еврейскія мелодіи со вскриками, взвизгами и стонами, которыя

такъ сладко сотрясають всякое набожное еврейское сердце. Отецъ мой, хотъ и горячо любилъ музыку, внималъ моеи игрѣ съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, увѣряя, что тратить слишкомъ много времени на эту дѣтскую забаву не слѣдуетъ и что музыка пріятна только подъ пьяную руку.

Дружбы моеи начали заискивать крупные мужи откупного свѣта, даже самъ тузъ управляющій, обладавшій дочерью, бренчавшей на гитарѣ. Въ довершеніе моего величія, когда я совсѣмъ выздоровѣлъ, я былъ приглашенъ къ откупщику, желавшему собственными ушами убѣдиться въ моемъ талантѣ.

По случаю этого приглашенія происходила бурная стычка между отцомъ и матерью.

— Мой сынъ—не обезьяна и не клезмеръ (музыкантъ по профессіи). Онъ жалованья у твоего откупщика не получаетъ,—слѣдовательно, и не обязанъ забавлять его своей скрипкой! говорила мать.

— Пойми-же ты меня, наконецъ, что это послужить къ чести твоего сына. Нечего задирать носъ: мы люди маленькіе, зависимые.

Но всѣ доводы отца ни къ чему не повели-бы, если-бы тутъ не вмѣшался Хайкель и самъ раби Левикъ, дававшій мнѣ уроки уже на дому. Они убѣдили мать отпустить меня вмѣстѣ съ моимъ учителемъ, чтобы доказать этимъ богатымъ скотамъ, что и мы, молъ, люди, созданные по подобію Божію. Лично я былъ невыразимо счастливъ этимъ приглашеніемъ; мнѣ хотѣлось блеснуть своимъ искусствомъ и ослѣпить имъ моего врага, бездарнаго сына откупщика. Долго возилась со мною мать, охорашивая и наряжая меня, пока осталась довольна моеи наружностью.

— Теперь ступай, мой сынъ, да не робѣй. Они такіе-же евреи, какъ и мы! напутствовала она меня.

Легко сказать — не робѣй! Безсознательно робѣешь, очутившись въ непривычной обстановкѣ, невиданной во всю жизнь. Роскошь комнатъ откупщика, паркетный скользкій полъ, громадныя позолоченныя зеркала, отражавшія мою персону съ головы до пятъ, мягкіе, пестрые ковры, десятки свѣчей въ серебряныхъ гигантскихъ подсвѣчникахъ, — все это разомъ ослѣпило и поразило меня. Я боялся поднять глаза. Мнѣ показалось, что полъ уходитъ изъ-подъ моихъ ногъ, и я чуть не падалъ. Я не зналъ, куда дѣвать мои руки, болтавшіяся то туда, то сюда. Въ довершеніе моей робости и неловкости, я замѣтилъ насмѣшливые и презрительныя взгляды тѣхъ самыхъ лакеевъ, которые тащили меня недавно, какъ вора. Я помню, что въ залѣ сидѣло семейство откупщика и еще

какія-то наряженныя личности обоого пола, но я никому не поклонился. Мнѣ было страшно; я считалъ себя такимъ некрасивымъ и смѣшнымъ...

Должно быть, я возбудилъ къ себѣ состраданіе. Двѣ или три пожилыя женщины приняли меня подѣ свое покровительство и, съ свойственной женщинамъ деликатностью и добротою, обласкали, усадили и начали разспрашивать о моемъ здоровьѣ, о моей матери и сестрахъ. Мало-по-малу я очнулся, пришелъ нѣсколько въ себя, поднялъ глаза и сдѣлался нѣсколько смѣлѣе.

Подали чай. Я взялся-было за поднось вмѣсто чашки. Одна изъ моихъ сосѣдокъ вывела меня изъ затруднительнаго положенія.

— Позволь, дитя мое, я тебѣ помогу.

Я слышалъ, какъ она шепнула своей сосѣдкѣ: „Бѣдный мальчикъ, совсѣмъ растерялся. Какъ мнѣ жаль его! У него такое хорошее лицо“.

Это ободрило меня. Но самымъ отравляющимъ образомъ подѣйствовалъ на меня наглый, насмѣшливый взоръ кабачнаго принца. Самолюбіе расшевелило меня окончательно.

Меня заставили играть и позвали моего учителя раби Левика, торчавшаго въ передней.

Ради такого торжественнаго случая, учитель предоставилъ въ мое распоряженіе свою знаменитую чернушку, самъ-же вторилъ мнѣ на моей бѣлушкѣ. Я игралъ съ жаромъ и увлеченіемъ полонезъ Огинскаго, какую-то безыменную мазурку минорнаго тона и какой-то вальсъ, подѣ названіемъ „Смѣхъ и слезы“. Публика, особенно мои покровительницы, остались очень довольны моей игрой, а вальсъ заставили даже повторить. Я былъ на седьмомъ небѣ, а мой учитель — на четырнадцатомъ.

Ко мнѣ приблизился господинъ. Я тотчасъ узналъ въ немъ музыкальнаго учителя-нѣмца, о которомъ сказано въ предыдущей главѣ.

— А, здравствуй, мой маленькій гордецъ! Bravo! У тебя славный слухъ и хорошія способности. Жаль только, что онъ не учится по методѣ, добавилъ онъ, обращаясь къ раби Левикъ.

Я не зналъ значенія слова „метода“ и полагалъ, что это какой-то музыкальный инструментъ. Вѣроятно, то-же самое полагалъ и раби Левикъ, потому что онъ очень некстати бухнулъ въ отвѣтъ:

— Онъ у меня такой понятливый, что если захочетъ, то и на *метондѣ* будетъ играть.

Публика громко захохотала. Я не зналъ, чему они смѣются.

Откупщица сочла своимъ долгомъ пробормотать мнѣ что-то въ родѣ похвалы. Я не понялъ ея словъ и ничего не отвѣтилъ. Окончательно восторжествовалъ я, когда кабачный принцъ удостоилъ меня нѣсколькихъ словъ, сказанныхъ свысока:

— А что, трудно играть на скрипкѣ?

Я, какъ-будто нехотя, отвѣтилъ:

— Не знаю. Мнѣ легко.

Откупщикъ все время хранилъ молчаніе. Но когда мой концертъ окончился, онъ не выдержалъ:

— Онъ изрядно играетъ, но какъ-то вяло перебираетъ пальцами; нужно-бы его научить шевелить ими скорѣе.

Я далеко не былъ соловьемъ, за то откупщикъ, своимъ приговоромъ въ искусствѣ, какъ-разъ подходилъ къ извѣстной баснѣ Крылова.

Бодрый и счастливый возвратился я домой. Мать разспрашивала меня и была довольна моимъ успѣхомъ. На утро, часовъ около десяти, старый еврей, служившій чѣмъ-то въ откупъ, пришелъ къ намъ съ узелкомъ подъ мышкой.

— Съ добрымъ утромъ! Барыня велѣла вамъ кланяться и передать вотъ это, прохрипѣлъ онъ.

— Что это такое? удивилась моя мать.

— Это—гостинецъ вашему сыну. Плате нашего молодого хозяина, еще не старое.

— Убирайтесь вы съ этимъ тряпьемъ! Мой сынъ не нищій какой! загремѣла на него мать.

— Это заподлинно такъ, одобрилъ еврей порывъ гордости моей матери:—глумятся-таки надъ нашимъ братомъ, служителемъ! Вашъ сынъ—такое золото, что грѣхъ было-бы одѣвать его въ старыя лохмотья. Какъ-же прикажете, Ревекка, насчетъ тряпья-то?

— Отдайте назадъ этой скрягѣ. Намъ не нужно милостыни.

— Ай, ай ай! Боюсь, разсердится, гадюка!

— Пусть ее сердится.

— А не плохо-ли будетъ вашему мужу?

— Чего?

— Вѣдь она его выгонитъ со службы.

Мать призадумалась.

— Что-же дѣлать, однако?

— Что дѣлать. Не надобно принимать, да не нужно и отсылать.

— Да какъ-же?

— Знаете что, я отдамъ это старье моему синишкѣ. Онъ у меня такой паршивенкій, что и этого не стоитъ.

Записки еврея.

— Убирайтесь-же къ чорту! крикнула на эту хитрую тварь мать.

— Ай, ай, ай! какая вы добрая и ласковая еврейка, Ревекка! польстил онъ матери и утащилъ съ собою узелокъ.

Цѣлый годъ жизни прошелъ для меня безъ особенныхъ приключеній. Единственный счастливый годъ моей первой юности! Мать смотрѣла на меня съ нѣкоторымъ уваженіемъ и дала мнѣ нѣсколько больше свободы. Я читалъ все, что мнѣ вздумалось, открыто, при ней. Она только надзирала, чтобы я, чрезъ мои поганыя книжки, не negliжировалъ талмудомъ и молитвами. По субботамъ и праздникамъ книжки мои теряли право гражданства и запрятывались подальше отъ бдительныхъ взоровъ набожной матери.

Поверхность откупного болота, составлявшаго цѣлый міръ для моей семьи, ничѣмъ не была взволнована впродолженіи этого года. Служащіе въ откупѣ почти нищенствовали и тянули лямку по-прежнему, по-прежнему процвѣтали кабаки, а съ ними вмѣстѣ блаженствовали: лагушичій царь болота, откупщикъ, его желтая супруга, кабачный принцъ и чиновный міръ, зорко наблюдавшій за своевременнымъ полученіемъ мѣсячныхъ взятокъ, подъ формой *законнаго жалованья*. Какъ вдругъ въ одно утро все это болото зашевелилось самымъ пріятнымъ образомъ. Зашевелилось оно потому, что въ немъ совершалось одно изъ тѣхъ крупныхъ событій, которыя такъ нетерпѣливо ожидаются всѣмъ подвластнымъ откупнымъ людемъ. Надобно знать, что откупа напоминали собою феодальные порядки среднихъ вѣковъ; они зиждились на мелкой деспотической системѣ, непризнававшей ни права, ни закона. Откупщики такъ-же безжалостно угнетали и эксплуатировали своихъ служащихъ, какъ и феодалы своихъ вассаловъ; откупщики дрались между собою такъ-же, какъ и рыцари среднихъ вѣковъ, но не на турнирахъ, а въ сенатѣ, на торгахъ, не съ копьями въ рукахъ, а съ оцѣночными свидѣтельствами и кредитными билетами въ карманахъ. Бюрократизмъ тогдашняго времени царствовалъ и въ откупныхъ канцеляріяхъ: писались рапорты, отношенія, донесенія, предписанія и приказы, производились формальныя слѣдствія, составлялись письменные вопросные и отвѣтные пункты, обвинительные акты и т. д. Судьями были управляющіе, а верховнымъ безапелляціоннымъ судьей фигурировалъ самъ откупщикъ, нерѣдко вполнѣ безграмотный. Откупщикъ, находя нужнымъ поощрять нѣкоторыхъ служащихъ копеечной наградой, облакалъ свои щедроты въ форму официальныхъ манифестовъ и рескриптовъ. Въ рукахъ

моихъ хранятся и теперь наглядныя доказательства этого комически-надутаго стиля, въ слѣдующемъ родѣ:

„Г. главноуправляющему нашему, ...ой губерніи.

„Милостивый Государь

„N. N.

„Десять лѣтъ вашей радѣтельной и отличной службы на славномъ поприщѣ нашихъ дѣлъ, ваши неутомимые труды по благоустройству и отличному управленію нашими откупными нѣсколькихъ губерній, наконецъ *примѣрно-исправное* продовольствіе вами многочисленныхъ войскъ въ тяжелую годину отечественныхъ бѣдствій, при невыразимыхъ трудностяхъ и непреодолимыхъ препятствіяхъ, доказали намъ болѣе чѣмъ достаточно всю блистательную сторону вашихъ рѣдкихъ способностей, вашу неподражаемую преданность и энергію, признанныя давно уже нашимъ дражайшимъ родителемъ.

„Выражая вамъ за изъясненныя долготѣнія ваши услуги нашу глубочайшую признательность, симъ награждаемъ васъ (цифра) руб. серебромъ и разрѣшаемъ получить таковыя изъ кассы и снести расходомъ подъ надлежащей статьей“.

„Остаемся къ вамъ на-всегда благосклонными, N. N.“

Иногда выдавались награды всѣмъ откупнымъ служащимъ, безъ изъятія, каждому по рангу и достоинству. Подобныя, рѣдкіе случаи совпадали всегда съ семейными событіями откупщиковъ, напримеръ съ его именинами, со вступленіемъ въ бракъ его дѣтей, съ приобрѣтеніемъ титула почетнаго потомственнаго гражданина и проч.

Одно изъ подобныхъ событій совершилось и въ настоящемъ случаѣ, когда откупной людъ зашевелился: кабачный принцъ, будущій обладатель многочисленныхъ російскихъ кабаковъ, единородный сынъ откупщика, вступаетъ въ бракъ. Какъ было не зашевелиться бѣдному откупному люду при перспективѣ на сверхштатную подачку? А что подачка эта воспослѣдуетъ—въ томъ почти никто не сомнѣвался, судя по радостному настроенію духа откупщика и по блистательности партіи, которую дѣлалъ его единственный, любимый сынъ.

Въ нашей средѣ больше ни о чемъ не говорили, какъ только о событіи дня. Всѣ были имъ заинтересованы, даже рабы Левикъ и Хайкель, надѣявшіеся *блистательно смирать вечеринку* у откупщика, когда новобрачные благополучно пріѣдутъ въ П... Откупные служители, а пуще еще ихъ жоны, нѣсколько разъ въ день прибѣгали къ намъ съ различными сообщеніями.

— Слышали-ли вы, Ревекка, откупщикъ дѣлаетъ теперь, предъ отъѣздомъ, вечеринку для всѣхъ служащихъ? Васъ не приглашали еще? спрашивала жена кассира.

— Нѣтъ. А васъ?

— Меня тоже нѣтъ, но мужъ увѣряетъ, что всѣхъ пригласятъ, и васъ.

— Куда намъ! У насъ шелковыхъ капотовъ не водится! уязвила мать;—изъ нашего маленькаго жалованья и ситцевыхъ дѣлать нельзя!

Кассирша покраснѣла.

— Ахъ, Ревекка, что за красавица *наша невеста*, если-бы вы знали! восторгался другой откупной субъектъ женскаго пола.

— Видѣли, что-ли? спрашивала моя мать.

— Гдѣ-жъ мнѣ видѣть! Мужъ сказывалъ.

Откупные служители облизывались напрасно: вечеринки для нихъ не сдѣлали, а общали устроить *кормленіе зѣтрей* по благополучномъ приѣздѣ новобрачныхъ. Все семейство откупщика, въ двухъ дормезахъ, напутствуемое самыми подобострастными пожеланіями подчиненныхъ, уѣхало въ одинъ изъ южныхъ городовъ, изобилующій евреями европейскаго покроя.

Однако мнѣ удалось увидѣть портретъ невесты кабачнаго принца, и я долженъ былъ сознаться, что подобной красоты никогда еще не видалъ. „Боже мой! думалъ я,—за что этому чловѣку столько земныхъ благъ!“ И ворочался отъ зависти съ боку на бокъ въ продолженіи трехъ долгихъ бессонныхъ ночей.

Чувство зависти, издававшее мнѣ покоя при взглядѣ на изображеніе нареченной моего врага, было ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что я почувствовалъ при видѣ оригинала, явившагося блестящей звѣздой на горизонтѣ города П. Въ первый разъ въ жизни я видѣлъ глазами, а не воображеніемъ, красавицу въ обширномъ значеніи этого слова. Юная, изящная, стройная какъ тополь, она своими длинными, золотистыми волосами, прозрачнымъ розоватымъ цвѣтомъ лица и шеи, нѣжною округленностью формъ, мелодичностью голоса и веселымъ смѣхомъ олицетворяла тотъ идеалъ совершенной женской красоты, который я себѣ составилъ, начитавшись до пресыщенія разныхъ романовъ. А увидѣлъ я это очаровательное созданіе въ первый разъ, изъ-за кулисъ, на балѣ откупщика, данномъ по прибытіи новобрачныхъ. Она была царицей бала и умѣла на немъ царствовать. Все увивалось вокругъ нея: и подагрикъ губернаторъ, и офицеры въ эполетахъ и шпорахъ, и блистательные юноши во фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ. Она пере-

ходила изъ рукъ въ руки, танцевала развязно, перекидывалась словами на разныхъ, мнѣ незнакомыхъ, языкахъ и восхищала всѣхъ. Какимъ мелкимъ и ничтожнымъ мальчишкой казался возлѣ нея ея юный чахоточный супругъ съ непомѣрно-горбатымъ носомъ! Я не спускалъ съ нея изумленного взора въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ; я былъ очарованъ этимъ явленіемъ. Неужели она еврейка? вопрошалъ я себя въ сотый разъ.

Мать моя прямо и открыто не хотѣла признавать ее за еврейку; она считала ее позоромъ для еврейской націи.

— Если-бы она меня озолотила, я не взяла-бы ее въ жены моему сыну, негодовала моя мать. — Помилуйте, это стыдъ и срамъ, собственные волосы носить, да еще выставляетъ ихъ напоказъ: „на, молъ, смотри, кто хочетъ, на эту гадость“. А шею, шею-то какъ обнажаетъ, почти до...

И мать отплевывалась, не докончивъ фразы.

На этомъ пунктѣ я не сходилъ съ матерью. Съ какимъ нетерпѣніемъ, сидя въ конторѣ у окна надъ своей сухою работою, я выжидалъ ея появленія. А появлялась она очень часто—то усаживаясь, блестящая и нарядная, съ своимъ ненавистнымъ мнѣ мужемъ въ щегольской экипажъ, то отправляясь съ нимъ подъ руку, то проскакивая амазонкой на богатой лошади. Я обожалъ эту женщину, я боготворилъ ее; это была первая сознательная любовь моей юности, первый пылъ моего горячаго сердца, первый порывъ въ жизни; я любилъ безъ всякихъ земныхъ помышленій, безъ цѣли и стремленія, и не чувствовалъ даже потребности приблизиться къ ней. Я былъ радъ даже, что она меня не замѣчаетъ; я готовъ былъ на нее молиться; это была самая высокая моя любовь и самая безнадежная. Я съ Хайкелемъ былъ совершенно откровененъ, я общалъ ему малѣйшій полетъ моего воображенія. Онъ всегда зналъ состояніе моей безхитростной души и никогда не измѣнялъ мнѣ. Я не скрывалъ отъ него, до какой степени она волнуетъ меня и поглощаетъ всѣ мои мысли. Мнѣ было отрадно говорить съ кѣмъ-нибудь о ней, произносить ея имя.

— Эй, братъ, сказалъ онъ мнѣ однажды:—больно часто начать ты задумываться; тебя женить придется.

Я пропустилъ эту шутку мимо ушей. Но съ тѣхъ поръ отношенія моей матери ко мнѣ сдѣлались скрытнѣе и таинственнѣе обыкновеннаго. Она часто по цѣлымъ часамъ перешоптывалась съ Хайкелемъ и съ какими-то незнакомыми мнѣ евреями подозрительнаго вида. Я хотя и замѣчалъ, что вокругъ меня происходитъ что-то необыкновенное, но мой внутренній міръ былъ такъ

переполненъ собственнымъ содержаніемъ, что въ немъ не оставалось ни малѣйшаго уголка для воспріятія чего-нибудь новаго, неимѣющаго отношенія къ тому, что меня цѣликомъ поглощало. Единственный разъ я какъ-то вскользь спросилъ Хайкеля:

— О чемъ ты тамъ перешоптывался съ матерью?

— Это до тебя не касается. Дѣла ломаемъ.

Черезъ нѣкоторое время я нечаянно подслушалъ разговоръ моихъ родителей, который вполне объяснилъ мнѣ, какого рода дѣла ломаются на мой счетъ.

— Приходилъ шадхенъ (сватъ)? спросилъ отецъ, зѣвая.

— Какже. Сидѣлъ болѣе двухъ часовъ, ожидая тебя, но ты, благодаря своимъ милымъ бочкамъ, забываешь о цѣломъ мірѣ и о своемъ семействѣ.

— Бочки, бочки! Бочки хлѣбъ тебѣ даютъ!

— Но вѣдь и о сынѣ подумать нужно.

— Ты, благодаря Бога, думаешь у меня за двоихъ.

— Если-бы я на тебя понадѣялась, то и Сара просидѣла-бы въ дѣвкахъ до сѣдыхъ косъ.

— Ну, сынъ—не дочь. По-моему, торопиться нечего.

— У тебя одно на языкѣ: „не торопись, не спиши“, а чего ждать?

— А чего спѣшить?

— Ты слѣпи, не видишь, что мальчикъ совершенно созрѣлъ и развился; у него обнаруживаются помыслы не дѣтскіе; того и гляди, бросится въ развратъ, какъ откупной финтикъ Кондрашка.

— Ты всегда видишь то, чего никто не видитъ.

— А я тебѣ скажу вотъ что: ты колпакъ и больше ничего!

— Ну, это, я въ сотый разъ слышу. Ты скажи что-нибудь поновѣе.

— А вотъ что поновѣе. Шадхенъ прочиталъ мнѣ письмо изъ Л. Всѣ условія улажены. Приданого за дѣвицей триста: половина къ вѣнцу, а половина потомъ, подъ вексель.

— Больно мало...

— А ты и этого не даешь; чего чванишься! Харчи дѣтямъ—три года, а мы—два года.

— Ну, на это я совсѣмъ несогласенъ; если ужъ женить мальчика, то, по крайней мѣрѣ, обузы на себя не брать, а то еще невѣстку къ себѣ въ домъ, а тамъ вѣчные крики и ссоры.

— Этого не бойся! Нашъ Сруль не глупецъ какой; въ три года самъ на ноги подыметъ, безъ насъ обойдется. Онъ и теперь могъ бы достать мѣсто въ любомъ откупѣ.

— Что еще?

— Гардеробъ невѣстѣ—приличный...

— *Приличный...* Определить-бы нужно.

— Это ужь предоставь мнѣ: съ матерью невѣсты сама улажу.

Невѣстѣ до свадьбы подарковъ выслать нужно.

— А именно?

— Два шнурка жемчуга...

— Ну, жемчуга мои бочки не даютъ.

— Не безпокойся я свои отдамъ. Потомъ: шаль, серьги...

— А гдѣ ихъ взять?

— Купимъ въ долгъ.

— А платить изъ чего прикажешь?

— Надарятъ-же на свадьбѣ сколько-нибудь денегъ дѣтямъ, мы этимъ и уплатимъ.

— Хитро.

Мать засмѣялась.

— Не мѣшало-бы посмотрѣть невѣсту: можетъ, безносая какая.

— Она красивая дѣвка, я тебѣ говорю. Что, я врагъ своему сыну, что-ли?

— Понравится-ли еще нашъ сынъ?

— Что? *Нашъ сынъ* понравится-ли *имъ*? Свиньи они этакія, они посмѣютъ брезгать моимъ сыномъ?

— Кто знаетъ? можетъ, и посмѣютъ.

— Въ ноги пусть кланяются, что я не брезгаю ими, паршивыми. Мой родъ—и ихъ родъ!.. Если-бы не горькія наши обстоятельства да бѣдность... О-о-охъ!

Мать глубоко вздохнула.

— Когда-же это уладится окончательно? спросилъ отецъ.

— А вотъ я велѣла написать въ Л., что если желаютъ кончить дѣло, то пусть выѣдутъ съ дочерью на половину дороги въ М., а мы приѣдемъ туда съ сыномъ.

— Развѣ я могу уѣхать отсюда?

— Ну, не поѣдешь,—сама поѣду съ сыномъ.

— Да ты-бы прежде поговорила съ Срулемъ!

— Что? согласія спрашивать? Это что за новые порядки!

— Но вѣдь можетъ-же ему дѣвка не понравиться. Не тебѣ-же жить съ нею, а ему.

— Я въ красотѣ и благонравіи больше толку знаю, чѣмъ онъ. Если мнѣ понравится, то уже и ему...

— Да вѣдь вкусы различные бываютъ. Ты вѣдь вотъ черна и

некрасива, а мнѣ, дураку, понравилась; можетъ-же случиться и на-оборотъ.

Раздался мягкій ударъ по нѣжному тѣлу. Отецъ зангrywаль съ матерью.

— Перестань дурачиться... Если смотрѣть на его вкусъ, то подавай ему, пожалуй, такую, какъ невѣста откупщика.

— Губа не дура. Она мнѣ тоже...

— Нравится? Что тамъ можетъ нравиться? бѣла какъ сырая булка, волосы рыжіе, тонка какъ щепка, а безстыдная... тѣфу!

„Такъ вотъ что затѣваютъ на мой счетъ? подумалъ я. — Меня спрашивать нечего? такъ наперекоръ-же имъ, не хочу и не поѣду“. Я дулся цѣлый день на мать, но она этого не замѣчала. Въ этотъ день она шепталась съ Хайкемъ дольше обыкновеннаго. Улучивъ удобную минуту, я грозно сказалъ Хайкею, желая сорвать на немъ досаду:

— Такъ вотъ ты какой другъ! Ты знаешь, что происходитъ у насъ въ домѣ, а мнѣ ни слова не говоришь? Ты самъ, можетъ быть, сводишь, чтобы сорвать десять рублей за сватовство, а потомъ налижаться на моей проклятой свадьбѣ?

— Ты угадалъ, осленокъ, имѣю это намѣреніе, а намѣреніе это я имѣю не для того, чтобы заработать десять рублей,—я плевать хочу на деньги,—а для твоей-же пользы.

— Хороша польза! Ты самъ тысячу разъ проклиналъ евреевъ за то, что они такъ рано вступаютъ въ бракъ.

— Проклиналъ и проклиналъ буду до тѣхъ поръ, пока большинство еврейскаго общества не образумится и не станетъ воспитывать своихъ дѣтей по-человѣчески. Тогда и ранніе браки будутъ невозможны. Но ты и твои родители принадлежите уже къ отсталымъ; тебѣ уже новой дороги нѣтъ, а потому иди по старой и не барахтайся. Кто залѣзъ уже въ болото и не можетъ выкарабкаться, тотъ, по крайней мѣрѣ, долженъ улежся въ немъ какъ можно удобнѣе.

— Какія-же тутъ удобства?

— Жена... Женщина есть уже сама по себѣ удобство, весело отвѣтилъ Хайкель, мигнувъ правымъ глазомъ.—А свобода? что это одно стоитъ? Ты самъ себѣ господинъ, дѣлай что хочешь, читай все, что тебѣ нравится, иди куда тебѣ угодно. Пріятно развѣ быть всегда на веревочкѣ у матери?

Хайкель, къ моему несчастью, былъ замѣчательный софистъ и обладалъ вполне даромъ слова. Если онъ брался доказать что-нибудь, то умѣлъ представлять предметы съ такихъ сторонъ, съ

такихъ новыхъ точекъ зрѣнія, что дѣло выходило ясно, какъ дважды-два-четыре.

— Эхъ, братъ, заключилъ онъ свою рѣчь:—ты вотъ все сидишь надувшись, какъ индюкъ на сѣдалѣ, а чего ты дуешься? Влюбленъ въ эту сырую булку, какъ мать твоя ее называетъ? Какъ-бы не такъ! Природа, братъ, въ тебѣ проснулась, вотъ что.

Черезъ мѣсяцъ послѣ описаннаго разговора я *съѣхался* съ моей невѣстой. Именно *съѣхался*, а не сошелся, потому что, сдѣлавшись женихомъ и проживши цѣлыхъ два дня подъ одной кровлей съ будущей спутницей моей жизни, я не сказалъ съ ней двухъ словъ, даже не смотрѣлъ на нее прямо, а какъ-то украдкой, искоса. Мнѣ было такъ стыдно!

Когда мы пріѣхали въ М. (съ нами былъ Хайкель и шадхенъ) и остановились въ единственномъ еврейскомъ постояломъ дворѣ, ворота котораго украшались ворохомъ сѣна вмѣсто вывѣски, мы уже застали тамъ невѣсту и ея родителей. Изъ трехъ комнатъ, предназначенныхъ къ услугамъ проѣзжающихъ, гости, прибывшіе до насъ, заняли двѣ, а потому въ нашемъ распоряженіи осталась только одна, и та тѣсная, грязная, почти безъ мебели и тюфяковъ. Переступая порогъ нашей комнаты, я дрожалъ и волновался, какъ-будто ожидать какого-то страшнаго скандала. Къ моему счастью, никто изъ пріѣхавшихъ не встрѣтилъ насъ. Дверь между нашей комнатою и жильемъ другихъ проѣзжающихъ была наглухо забита. Тѣмъ не менѣе меня конфузилъ шелестъ женскаго платья, раздававшійся у роковой двери; мнѣ казалось, что оттуда, въ щель, на меня смотрятъ посторонніе глаза, и я боялся посмотреть въ ту сторону.

Черезъ часъ къ намъ явился какой-то сухопарый еврей съ длинной, какъ у жирафа, шеей. Это былъ какой-то прихвостень моего будущаго тестя, хасидъ и талмудейская крыса. Пожелавъ матери добраго дня и спросивъ ее о здоровьѣ, онъ подалъ мнѣ и прочимъ членамъ мужескаго рода свою грязную, холодную и мокрую руку, процѣдивъ при этомъ принятую фразу: „Шодемъ алейхемъ!“ Мать, изъ вѣжливости, освѣдомилась о драгоцѣнномъ здоровьѣ невѣсты и ея родителей.

— Чувствуютъ себя очень нехорошо послѣ утомительной дороги. Они очень деликатнаго здоровья. Ихъ предки были весьма богатые люди, прокартавилъ прихвостень съ намѣреніемъ пустить пыль въ глаза. Но мать моя не спускала подобныхъ штукъ.

— Я и мой сынъ, хотя наши предки знамениты не богатствомъ, а ученостью и набожностью, не менѣе утомлены.

Прихвостень молча проглотилъ эту пилюлю. Хайкель самодовольно улыбался; одинъ только шадхень ежился, опасаясь убыточныхъ для его интересовъ стычекъ.

— Наши съ большимъ нетерпѣніемъ ждутъ вашего пріятнаго знакомства, возобновилъ разговоръ прихвостень, тонко улыбаясь.

— Что-жь, милости просимъ. Я буду очень рада видѣть гостей у себя.

— Почтенная Ревекка, обидѣлся прихвостень:—наши прежде васъ пріѣхали, они уже тутъ, какъ дома, а вы гостья...

— Не прикажете-ли, вознегодовала мать:—не прикажете-ли мнѣ вести своего сына, какъ медвѣдя, напоказъ? Это что за порядки такіе? Женихъ пойдетъ первый къ невѣстѣ,—по-татарски, что-ли?

По поводу этого щекотливаго вопроса пошли безконечныя дипломатическія пренія между прихвостнемъ и нашими адъютантами.

— Перестаньте спорить, господа, рѣшила мать:—я не пойду первая. Мы отдохнемъ и снова уѣдемъ назадъ.

Мать не шутила: это можно было заключить изъ ея рѣшительнаго тона и жеста. Прихвостень побѣжалъ на половицу невѣсты, а за нимъ отправился и грустный шадхень. Черезъ минуту оттуда послышался сердитый женскій голосъ. Это былъ голосъ моей будущей тещи. Она тоже не соглашалась уступить.

Мать моя злилась и ругала чванливыхъ сосѣдей, а больше всѣхъ — шадхена, заварившаго всю эту кашу. Хайкель пасовалъ передъ моей матерью и боялся ее урезонивать. Я, начитавшись романовъ и зная, какимъ почетомъ и уваженіемъ пользуются въ Европѣ женщины вообще, а невѣсты въ особенности, не могъ оправдать каприза моей гордой матери.

— Маменька... мнѣ кажется... началъ я робко:—мнѣ кажется, что...

— Что?! напустилась она на меня, не давъ кончить фразы: — Что? Тебѣ кажется, что я должна идти кланяться твоей будущей женѣ? Браво, мой милый сыночекъ! ты еще въ глаза не видалъ этой цацы, а уже унижаешь мать!

Я посмотрѣлъ въ ту сторону, гдѣ сидѣлъ Хайкель, ожидая его вмѣшательства, но его не было уже въ комнатѣ. Я былъ въ отчаяніи, что опечалилъ мать. Мать плакала и вытирала слезы. Я не знаю, чѣмъ-бы все это кончилось, если-бы вдругъ не раздался страшный трескъ въ нашей комнатѣ, отъ котораго я и мать разомъ вздрогнули. Мы повернули испуганныя лица въ ту сторону, откуда этотъ трескъ раздался; намъ показалось, что ветхій пото-

локъ обрушивается на насъ; но потолокъ оказался на своемъ мѣстѣ. Дѣло объяснилось тѣмъ, что двери, отдѣлявшія насъ отъ нашихъ сосѣдей, были разомъ сорваны съ петель сильной рукой находчиваго Хайкеля. Никогда я не забуду этой комичной минуты, заставившей мою мать покатиться со смѣха. У открытыхъ дверей стоялъ, красный какъ ракъ, Хайкель, таща за руку пожилую еврейку съ морщинистымъ лицомъ и съ черными глазами. Еврейка эта упиралась всѣмъ корпусомъ, какъ норовистая кляча за ней, на второмъ планѣ, обрисовывались сконфуженныя лица сѣдоватаго еврея невысокаго роста, дѣвушки въ ситцевомъ, ваточномъ капотѣ, прихвостня и нашего шадхена. Замѣтивъ смѣхъ моей матери, еврейка начала еще больше упираться и вырывать свою руку изъ желѣзныхъ лапъ Хайкеля. Но мать разомъ прервала эту странную сцену. Она подбѣжала къ двери и, оттолкнувъ Хайкеля, очень любезно протянула сосѣдѣ руку. Еврейка-польщенная этой любезностью, засмѣялась и, безъ околичностей кинулась въ объятія моей матери. Раздались самые звонкіе поцѣлуи, сопровождаемые китайскими церемоніями и стереотипными фразами. Всѣ лица разомъ прояснились.

— Давно бы такъ, пропыхтѣлъ Хайкель. — Недаромъ пословица гласитъ: у женщинъ волосъ длиненъ, а умъ коротокъ.

За эту любезность онъ получилъ порядочный тумакъ отъ матери, развеселившій всю почтеннѣйшую публику. Искреннѣе всѣхъ хотала дѣвушка въ ситцевомъ капотѣ. „Она, какъ видно, совсѣмъ не застѣнчиваго десятка, подумалъ я. — Отчего-же мнѣ такъ неловко?“ Я осмѣлился искоса посмотрѣть на нее, но, встрѣтивъ ея смѣлый взглядъ, опустилъ глаза и больше не рѣшался уже на подобный подвигъ.. Я убѣдился въ одномъ, что она красива той простой, обыденной красотой, которая обусловливается свѣжимъ цвѣтомъ лица, румяными, пухлыми щеками, округлостью правильнаго лица и полнотою формъ тѣла.

Я не хочу пускаться въ подробную рисовку матери и отца моей невѣсты. Скажу только, что будущій мой тесть, приступившій немедленно ко мнѣ съ разными учеными вопросами и разспросами, показался мнѣ добрякомъ; будущая моя теща представлялась грубой и злой.

— Что это ты, мой милый, такой блѣдный? У тебя, кажется, здоровье плохое? приступила она ко мнѣ съ первыхъ словъ.

— Нѣтъ, я здоровъ, отвѣтилъ я нерѣшительно.

— Онъ, кажется, у васъ болѣзненный? замѣтила она моей матери.

— Да, какъ видите, въ дровосѣки не годится, срѣзала ее мать.

— Талмудъ не свой братъ, весело вмѣшался мой будущій тесть: — онъ жиру не придастъ. Что-жь? червямъ меньше достанется.

Эта гамлетовская мысль показалась его супругѣ почему-то неумѣстной.

— Ты всегда съ своими червями, смертью и адомъ.

Супругъ поджалъ хвостъ и обратился къ Хайкелю.

— Не мѣшало-бы проэкзаменовать моего будущего зятюшку, какова сила его въ талмудѣ? Какъ вы думаете, а?

— А кто его экзаменовать будетъ, позвольте спросить? сказалъ Хайкель грубо и сердито. — Не вы-ли?

— Нѣтъ. Сознаюсь, я слабъ на этомъ пунктѣ, хотя и маракую кое-какъ. А вотъ этотъ! указалъ онъ на прихвостня.

— Этотъ? спросилъ Хайкель, презрительно тыкая на него пальцемъ. — Хорошо. Но я, прежде всего, его самого проэкзаменую.

Съ этими словами онъ быстро подошелъ къ прихвостню и пошелъ осыпая его такими вопросами, что тотъ, попробовавши сначала отбиваться отъ своего импровизированнаго экзаменатора, почувствовавъ, наконецъ, полнѣйшее свое безсиліе и, сконфуженный до-нельзя, замолчалъ. Женщины съ большою сосредоточенностью внимали этому ученому диспуту на китайскомъ для нихъ языкѣ и хлопали глазами, а мать моя таяла отъ удовольствія.

— Вы—великій ламденъ (ученый), рѣшилъ мой будущій тесть, подобострастно трясъ Хайкеля за руку.

— Я училъ его, сказалъ Хайкель, указывая на меня. — Понимаете-ли вы? *Я самъ!*

— О! ученика *подобнаю* учителя нечего экзаменовать.

Затѣмъ, мать моя, родители невѣсты и шадхенъ заперлись въ особой комнатѣ.

Я остался съ Хайкедемъ.

— Какъ нравится тебѣ невѣста, Сруликъ?

— Не знаю.

— Врешь, знаешь. Дѣвка просто цимесь (компотъ). Лучшей и желать нельзя.

На другой день я и Хайка были объявлены женихомъ и невѣстой. По щучьему велѣнію, по родительскому хотѣнію, мы *обязаны* были любить другъ друга и множиться, какъ рыбы морскія. Выпили по нѣсколько рюмокъ водки, закусили ржанымъ медовымъ пряникомъ, написали предварительное условіе (тнويمъ), разбили нѣсколько надбитыхъ тарелокъ, и дѣлу конецъ. Хайкель попытался-было сѣдо-

нить мою мать дать мнѣ возможность побесѣдовать съ невѣстой наединѣ, но мать дала ему такой отпоръ, что онъ немедленно попытался назадъ.

— Это еще что? крикнула она сердито: — новыя моды я буду заводить? Успѣютъ еще наговориться до тошноты. Жизнь долга.

Мать пророчила въ эту минуту: мы впослѣдствіи успѣли договориться именно *до тошноты*.

На другой день мы разъѣхались. Первое свиданіе не было радостно, за то и первая разлука не была печальна.

Свадьба моя была назначена чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Я долженъ былъ пріѣхать съ родителями въ городъ Л., гдѣ жила моя невѣста, отпраздновать свадьбу, и остаться уже тамъ на харчахъ у тестя. Но уговорено было, что еще до свадьбы, на праздникъ пасху, родители моей невѣсты возьмутъ меня къ себѣ въ гости на нѣсколько дней, чтобы поближе познакомиться со мною.

По возвращеніи домой къ намъ нагрянули всѣ сослуживцы отца съ ихъ женами и чадами, и на радостяхъ вся честная компанія нализалась до положенія ризъ. Затѣмъ жизнь моя вступила въ обыденную свою колею: то-же хожденіе въ контору, то-же зубреніе талмуда и чтеніе лубочныхъ романовъ, то-же пиленіе на некрашеной скрипицѣ; я такъ-же млѣлъ при появленіи невѣстки откупщика, какъ и прежде. Къ моимъ земнымъ благамъ прибавилась только новая соболья шапка съ хвостиками и серебряныя часы временъ Рюрика, полученные мною въ подарокъ отъ моей щедрой невѣсты.

Сказать-ли правду? Я съ нетерпѣніемъ ожидалъ своей свадьбы. Не потому, что чувствовалъ особенную любовь къ моей невѣстѣ, а изъ потребности какой-нибудь перемѣны въ моей монотонной жизни. Я ни на минуту не забывалъ соблазнительныхъ словъ Хайкеля: „А свобода что стоитъ?“

Поѣздка на пасху къ невѣстѣ въ гости спасла меня отъ большой непріятности. Евреи къ празднику пасхи обязаны запастись новою кухонною и столовою посудой, небывшею еще ни разу въ употребленіи. Эта посуда хранится подъ замкомъ и строго оберегается отъ всякаго соприкосновенія съ хлѣбомъ и прочими будничными съѣстными припасами, называющимися хамецъ. Между прочею посудой, мать въ одно утро принесла съ базара много стакановъ, стаканчиковъ и рюмокъ, и вновь отправилась на базаръ. Я давно уже открылъ акустическую тайну, что стаканы издаютъ самый чистый, опредѣленный звукъ, который понижается по мѣрѣ того, какъ стаканъ наполняется жидкостью. Я горѣлъ нетерпѣ-

ніемъ примѣнить это открытіе къ дѣлу, но число нашихъ домашнихъ стакановъ и рюмокъ было слишкомъ ограничено для этого эксперимента. При видѣ на столѣ такого количества разнокалиберной стеклянной посуды мнѣ пришла роковая мысль пустить мое открытіе въ ходъ. Долго не думая, разставивъ въ порядкѣ стаканы и ихъ меньшую братію, я вздумалъ извлекать изъ нихъ звуки, желая подобрать какую-нибудь правильную музыкальную фразу. Но ничего не выходило: интервалы тоновъ были слишкомъ неправильны. Забывъ о томъ, что это пейзажная посуда, я зачерпнулъ хамецовую воду и началъ подливаніемъ этой воды въ стаканы регулировать интервалы. Я долго трудился, пока мое ученое желаніе увѣнчалось успѣхомъ: ударяя по стаканамъ серебряной ложечкой, я правильно выступивалъ на нихъ цѣлую мазурку не-дурнаго тона. Но, о ужасъ! въ самомъ разгарѣ моихъ занятій я услышалъ голосъ моей матери на дворѣ, и въ мигъ вспомнилъ, что хамецовой водой я отрафилъ всю посуду. Я засуетился, чтобы вылить воду и скрыть слѣды моего богопротивнаго поступка, но такъ торопливо взялся за дѣло, что опрокинулъ столъ. Вся посуда полетѣла и съ страшнымъ звономъ разлетѣлась въ дребезги. Въ эту роковую минуту дверь распахнулась и на порогѣ явилась мать...

Я никогда не видалъ ее такою грозною, какъ въ эту минуту. Юпитеръ, собирающійся метнуть свои перуны на грѣшную землю, не могъ-бы быть грознѣе ея. Я ожидалъ катастрофы, я зналъ, что мой почтенный титулъ жениха не гарантируетъ моихъ шокъ, и приготовился къ воспринятію материнскаго благословенія.. Какъ вдругъ въ комнату ввалился мужикъ съ письмомъ въ рукѣ. Это былъ возница, присланный за мною изъ Л. Онъ, къ моему великому счастью, помѣшалъ грустной развязкѣ описанной мною сцены.

Сборы мои были недолги. Весь мой гардеробъ могъ-бы удобно помѣститься въ глубокихъ карманахъ широчайшихъ холстяныхъ штановъ моего возницы. Все, что потребовало болѣе тщательной упаковки, — это новый бухарскій пестрый халатъ, купленный мнѣ матерью для шика, и сивій кафтанъ, сфабрикованный изъ шелковой покрышки материнской шубы. Мать не хотѣла ударить лицомъ въ грязь и жертвовала своимъ гардеробомъ.

Я провелъ нѣсколько пріятныхъ дней у моей невѣсты. Пріятность эту составляла собственно не ея персона—я, изъ застѣнчивости, избѣгалъ ее—но ея родители, сестры, братья и многочисленные родственники обоого пола, ухаживавшіе за мною съ большимъ вниманіемъ и уваженіемъ. Въ этомъ кружкѣ маленькихъ и крупныхъ невѣждъ я прослылъ молодымъ ученымъ, подававшимъ на-

дежду служить украшеніемъ цѣлой семьи, въ которую я вступалъ роднымъ. Особенно импонировалъ ихъ мой музыкальный талантъ, которому всѣ безъ исключенія платили дань удивленія. Какъ все это льстило моему самолюбію! Невѣста оказывала мнѣ сильное вниманіе, въ границахъ полнѣйшаго приличія, часто заговаривала со мною, но я отмалчивался сколько могъ и дичился ея. Однажды только, въ сумерки, ей удалось выманить меня за ворота. Она была укутана какой-то коротенькой шубенкой и показалась мнѣ особенно хорошенькой. Мы долго молчали, поглядывая въ различныя стороны.

— Скажи пожалуйста, ты хасидъ? спросила она меня.

— А что?

— Ты совсѣмъ не смотришь на женщинъ.

— Отчего-же? Я смотрю.

— Я ни разу не замѣтила, чтобы ты посмотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза.

— Зачѣмъ-же непременно прямо?

— Кто любить, тотъ прямо смотреть.

— Не знаю.

— Ты-бы поменьше учился, да побольше зналъ...

Я обидѣлся и отвернулся.

— Ты все стыдишься, а чего? продолжала она надувшись.

— А тебѣ развѣ не стыдно?

— Чего?

— Мало-ли чего!

— Чего стыдиться? Будешь мужемъ... тогда и стыдись, а теперь...

Я не нашелся, что отвѣчать.

Послѣ праздника паски меня отослали домой. Невѣста прослезилась, прощаясь со мною. Я былъ совершенно равнодушенъ. Мнѣ въ ней многое не нравилось, особенно рѣзкость манеръ и беззащитность, но я смотрѣлъ на бракъ съ дѣтской точки зрѣнія и ни на минуту не задумывался надъ послѣдствіями. Я вообще замѣчалъ въ себѣ какія-то необъяснимыя противорѣчія. Благодаря Хайкелю и прилежному чтенію разныхъ книжекъ, я былъ развитѣе моей среды, мыслилъ и анализировалъ очень здраво, разсуждалъ съ Хайкелемъ и съ самимъ собою очень разумно, но развитіе это я не умѣлъ приложить въ дѣлу или пользоваться имъ на практикѣ. У меня не доставало силы придерживаться своихъ рѣшеній; мой характеръ родительскимъ и учительскимъ воспитаніемъ былъ исковерканъ, раздавленъ и изуродованъ. Мнѣ казалось, что теорія и практика не имѣютъ ничего общаго между собою, не только

для меня, но и для всѣхъ людей въ мірѣ. Смѣется же Хайкель надъ синагогическими рутинными обычаями, а между тѣмъ самъ ходитъ въ синагогу очень исправно. Сознаю-же я самъ глупость и бессмысленность многихъ обычаевъ и обрядовъ, неимѣющихъ ничего общаго съ догматомъ вѣры, а выполняю ихъ буквально. Сознають-же люди, что нашъ квартальный надзиратель и пьяница, и взяточникъ, а все-таки льстятъ и кланяются въ поясъ его высокоблагородію. Что-же это такое? Значить, мысленно мудри сколько хочешь, а поступай такъ, а не иначе. Ну, я и поступалъ такъ, какъ другіе поступаютъ, хотя и ясно сознавалъ, что другіе поступаютъ глупо и вредно для самихъ себя и для другихъ.

Тяжело мнѣ писать эту главу моихъ записокъ. Когда подумаю, что свадьба, бракъ, семейная жизнь толкнули меня въ житейскую преисподнюю, познакомили меня съ новыми, неиспытанными еще мною страданіями, раздорами, лишеніями и униженіями,—когда припомню все это, мое перо выпадаетъ изъ рукъ; мнѣ-бы хотѣлось уничтожить всѣ слѣды этой печальной эпохи моей жизни, вырвать съ корнемъ всякое воспоминаніе о ней.

Въ началѣ осени отецъ, мать я и нѣсколько родственниковъ, въ двухъ польскихъ будахъ, отправились въ городъ Л. отпраздновать мое торжественное вступленіе въ новую жизнь. Я не имѣлъ еще полныхъ шестнадцати лѣтъ, тѣмъ не менѣе мое метрическое свидѣтельство официально гласило о восемнадцатилѣтнемъ моемъ возрастѣ. Я не радовался, но и не печалился. Развѣ овца, ведомая на закланіе, чувствуетъ, куда ее ведутъ? Путешествіе наше было очень веселое: мы везли съ собою собственный оркестръ, раби Левика съ компаніей и съ непремѣннымъ Хайкелемъ, паясничавшимъ во всю дорогу. Насчетъ этого оркестра мать буквально условилась съ родителями моей невѣсты. Матери хотѣлось вознаградить раби Левика за мое дешевое музыкальное образованіе, а Хайкеля—за его преданность, случайными заработками. Городъ Л. славился разгульностью своихъ еврейскихъ обитателей. Мужья, жены и чада, при всякой okazji, напивались тамъ какъ сапожники и отплясывали по улицамъ, какъ бѣшеные, по цѣлымъ недѣлямъ. Какая перспектива для раби Левика, прославившагося въ цѣлой губерніи своими заунывными еврейскими мелодіями и курьезными казачками! Мы ѣхали на долгихъ. Для отдыха и кормленія лошадей останавливались два раза въ день, среди степи. Погода стояла великолѣпная; съѣстныхъ припасовъ мать заготовила кучу, а о водкѣ позаботился самъ отецъ, и позаботился щедро. Каждый нашъ отдыхъ обращался въ пиръ. Музыканты доставали свои

инструменты и воодушевляли сытыхъ и пьяныхъ. Мужики и чумаки, плевшіеся по дорогѣ, останавливались съ разинутыми ртами, завидуя нашему счастью.

— Жидівська свадьба! сообщали они другъ другу.

Мать ласково подзывала ихъ и угощала. Водка имѣетъ космополитическія свойства. Мужики забывали національную вражду, подходили съ шапками въ рукахъ, разсыпались въ благодарностяхъ и поздравленіяхъ. Но съ моею болѣзненной наружностью они никакъ не могли помириться.

— Що винъ у васъ такой хворый, наче лихоманка его трясе?

— Этотъ мужикъ талмуду не учился, подшучивала мать надъ вопрошающимъ: — ишь какой медвѣдь!

Иногда къ намъ приставали проѣзжавшіе незнакомые евреи. Ихъ напивали мертвецки, и они, забывъ о цѣли ихъ путешествія, нерѣдко слѣдовали за нами въ продолженіи цѣлаго дня. Всю дорогу за нами хвостомъ тащился цѣлый кагалъ лизоблюдовъ, къ великой радости моей гостепріимной матери.

Предъ вечеромъ мы благополучно доползли до грязнаго предмѣстья города Л. Насъ встрѣтилъ одинъ изъ шаферовъ невѣсты, верхомъ на лошади, и остановилъ. Мы должны были выждать, пока цѣлый кагалъ въ телѣгахъ, колымагахъ, будахъ, фургонахъ и дрожкахъ не вывалитъ намъ на встрѣчу.

Торжественъ былъ мой триумфальный въѣздъ въ городъ. Мнѣ такъ было непріятно назойливое вниманіе всѣхъ этихъ пьяныхъ рожъ, это притворное уваженіе, оказываемое моею персонѣ, что хотѣлось запрятаться куда-нибудь подальше. Въ довершеніе моей бѣды, мужички какъ-будто напророчили мнѣ *лихоманку*: я чувствовалъ ознобъ во всемъ тѣлѣ и ломоту въ ногахъ. Но я терпѣлъ и молчалъ.

Между прибытіемъ жениха и вѣнчаніемъ въ синагогѣ прошли четыре длинныхъ дня. Каждый день имѣлъ свое свадебное значеніе и наименованіе, но всѣ они приводили къ одному и тому-же результату: напивались до безобразія, суетились, горлапили, ссорились, дрались, мирялись, цѣловались и отплясывали цѣлой гурьбой, прыгая, какъ дикія козы. Церемоній этихъ дней описывать не стоитъ. Во все время я невѣсты не видѣлъ. Мужская половина не смѣшивалась съ женской, гдѣ подружки невѣсты чинно упражнялись въ танцахъ безъ участія кавалеровъ.

Наступилъ послѣдній день, самый торжественный изъ всѣхъ. Въ этотъ день женихъ и невѣста, а верѣдко и ихъ родители, соблюдаютъ строжайшій постъ. Къ полудню церемониально подво-

дятъ жениха къ невѣстѣ, а онъ обязанъ собственноручно, отвернувъ голову въ сторону, набросить на невѣсту подвѣчное покрывало. На обратномъ пути жениха осыпають со всѣхъ сторонъ хмѣлемъ. Затѣмъ невѣстѣ расплетаютъ и заплетаютъ косы. Это совершается послѣдній разъ въ ея жизни, потому что эти косы, составляющія, быть можетъ, единственную красоту невѣсты, должны пасть на другое утро подъ неумолимой бритвой или ножницами. Къ вечеру ведутъ жениха и невѣсту въ синагогу и, при освѣщеніи, вѣнчаютъ подъ балдахиномъ, съ соблюденіемъ, конечно, разныхъ церемоній. Оттуда женихъ ведетъ невѣсту за руку домой, а потомъ начинается пиръ до самаго утра.

Я чувствовалъ себя совершенно разбитымъ и больнымъ. Хотя мое страдающее лицо ясно показывало состояніе моего здоровья, за всѣмъ тѣмъ никому и въ голову не приходило освободить меня отъ тягостнаго поста. Одинъ только Хайкель сжалился надо мною. Улучивъ удобную минуту, онъ подбѣжалъ ко мнѣ и сунулъ въ руку два бисквита.

— Бѣги въ свою комнату, запри накрѣпко двери, да поѣшь, а то ты совсѣмъ дохлый.

— Да вѣдь грѣхъ?

— Пустяки. Не поститься, а шестнадцать разъ покушать надобно въ этотъ великій день. Если бракъ удаченъ, то на радостяхъ умные люди жрутъ, а не постятся; если-же онъ выйдетъ того... то силъ набираться нужно для супружеской борьбы. Ступай!

Я проглотилъ бисквиты съ жадностью. Быть можетъ, этимъ я разозлилъ еврейскаго Гименея, и бракъ мой вышелъ неудачнымъ.

Всякій батхенъ или оркестровый шутъ обязанъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, быть и импровизаторомъ. При покрываніи невѣсты онъ декламируетъ свою импровизацію съ паэсомъ и жестами, подъ аккомпаниментъ цѣлаго оркестра. Стихи эти до того бываютъ глупы и безсвязны, что благоразумному человѣку трудно удержаться отъ смѣха; тѣмъ не менѣе невѣста, всѣ бабы и дѣвы рыдаютъ до обмороковъ. Для образца я попытаюсь перевести нѣсколько хайкелевскихъ стиховъ, надѣлавшихъ тогда большой фуроръ. Послѣ заунывной прелюдіи раби Левика Хайкель всталъ въ ораторскую позу, нѣсколько разъ кашлянулъ, вытеръ потъ, струившійся по лицу, и раздирательнымъ голосомъ запѣлъ подъ наигрываемую мелодію:

Сидишь ты, пташка,
Сидишь, рыдаешь (никто и не думалъ еще рыдать),
А чего рыдаешь,

Сама не знаешь.
Объясню я твое горе:
Предъ тобою—море... море
Жизни, смерти и страданья,
Души грѣшной плачь, стenanья,
И ликъ Божій надъ тобой,
Грозить мощною рукою;
Рукой мощною грозить,
Кромешный адъ тебѣ сулитъ,
За невѣрности супруги,
За невѣрности подруги.
Кайся, кайся и рыдай!
Объщаю тебѣ рай.
Рай тебѣ я общаю,
Но заслужишь-ли? Не знаю...

Публика надрывалась отъ рыданія. Затѣмъ Хайкель перенесъ свою импровизацію на меня. Онъ мнѣ казался до того смѣшнымъ, что я только съ большимъ усиленіемъ могъ сохранить постную рожу.

Подъ балдахиномъ меня обводили вокругъ укутанной невѣсты семь разъ. Какъ-бы я былъ счастливъ, если-бы въ восьмой разъ меня совсѣмъ увели отъ нея на край свѣта! Но не увели, а поставили плотно возлѣ нея и заставили надѣть на ея предупредительный пальчикъ вѣнчальное золотое кольцо. Затѣмъ канторъ си-нагоги пропѣлъ своимъ сильнымъ голосомъ семь благословеній, прочелъ брачный контрактъ (кѣсба), мною, впрочемъ, неподписанный, въ которомъ я обязывался исполнять усердно *все* супружескія обязанности, а въ случаѣ развода отсчитать разведенной супругѣ двѣсти злотыхъ или тридцать рублей чистоганомъ. Меня и невѣсту угостили изъ одного бокала какой-то кислятиной. Мы едва омочили концы нашихъ губъ. Все содержаніе бокала проглотилъ залпомъ канторъ и бросилъ пустой бокалъ мнѣ подъ ноги. По принятому обычаю, я его мгновенно раздавилъ ногою.

— Молодецъ женихъ! похвалили меня близъ стоящіе женщины:—этотъ подъ башмакомъ у жены не будетъ!

Сцѣпивъ мою руку съ рукою моей юной супруги, насъ повели обратно въ домъ невѣсты. Насъ сопровождала громадная пестрая толпа евреевъ и евреекъ, сцѣпившихся за руки и плясавшихъ предъ нами въ присядку вплоть до нашего дома. На порогѣ родители нѣжно перецѣловали насъ нѣсколько разъ, а затѣмъ шаферы усадили за столъ на самомъ почетномъ мѣстѣ и угостили рисовымъ супомъ, называющимся почему-то „золотою ухою“. Съ тѣхъ поръ я возненавидѣлъ всевозможныя рисовыя блюда. По-

крывало моей жены было приподнято, но я на нее ни разу не посмотрѣлъ. Я чувствовалъ непреодолимую усталость. Меня клонило ко сну. Но болѣе всего меня смущали циническіе, незамаскированные намеки, напечатываемые мнѣ поминутно то въ одно, то въ другое ухо безстыдными шаферами и шафершами.

Длинные и узкіе столы были накрыты кое-какъ. Столовое бѣлье не отличалось снѣжной бѣлизною. Ножи, вилки и тарелки (салфетокъ вовсе не полагалось) были разбросаны по столамъ въ самомъ живописномъ безпорядкѣ. Между этими столовыми принадлежностями были нагромождены цѣлыя кучи булокъ и калачей. Число гостей не принималось въ соображеніе при накрытіи столовъ. Кто сильнѣе и ловчѣе, тотъ захватывалъ себѣ мѣстечко, стулъ и приборъ. Слабые и неповоротливые стояли. Безцеремонное угощеніе на еврейскихъ свадьбахъ низшаго класса совершается точно такъ-же, какъ это дѣлаетъ мать-природа, по мнѣнію Мальтуса. Она накрываетъ въ своей всемірной столовой извѣстное число приборовъ, събиваетъ несообразное число гостей и насмѣшливо говоритъ имъ: „Господа, милости просимъ. Угощайтесь на здоровье, только деритесь за мѣста и приборы. Слабые, глупые, неловкіе пусть голодаютъ, пусть подыхаютъ. Мнѣ какое дѣло?“ Мои родители и родители моей невѣсты не садились за столъ, а суетились, бѣгали и угощали гостей. Вокругъ стоялъ страшный шумъ и гамъ, настоящій содомъ. Шумъ утихалъ только періодически, когда вносились блюда. Но за то, при появленіи каждаго блюда, оркестръ, на радостяхъ, поднималъ такой гвалтъ, отъ котораго легко можно-бы оглохнуть. Самую нестерпимую трескотню производилъ пьяный Хайкель своими проклятыми бубнами; онъ вертѣлъ ими надъ головою, билъ въ нихъ кулаками и, скользя по натянутой кожѣ указательнымъ пальцемъ, извлекалъ такое неприятное жужжаніе, отъ котораго мурашки бѣгали по тѣлу.

Ужинъ былъ бурный. Содержаніе многочисленныхъ блюдъ, казалось, поглощалось не людьми, а акулами. Мало-по-малу свадебный ужинъ принялъ характеръ дикой оргіи. Водка лилась рѣкой; одни обнимались и цѣловались, другіе вырывали изъ рукъ сосѣдей яства и питія, третьи кружились и прыгали какъ дerviши, а оркестръ гремѣлъ фортиссимо и заглушалъ всѣхъ и вся. Вся эта кутерьма продолжалась добрыхъ три часа, и тянулася-бы, быть можетъ, до самаго утра, если-бы Хайкель не подбѣжалъ къ гостямъ и не хлопнулъ нѣсколько разъ своей мощной дланью по столу, такъ что всѣ тарелки и миски подпрыгнули. Этотъ сигналъ,

знакомый еврейскому обществу, заставил гостей разом замолчать.

— Милые друзья, знатные господа, почтеннѣйшіе евреи! Подарки жениху и невѣстѣ! Жениху и невѣстѣ подарки! Подарки, подарки, подарки! Раби Левикъ! Знатному, ученому, богатому отцу жениха, раби Зельману—тушъ! заоралъ Хайкель и взлѣзъ на столъ, какъ на трибуну, успѣвъ при этомъ отдавить одному пьяному еврею два пальца.

Раздался тушъ. Отецъ мой что-то вручилъ Хайкелю.

— Отецъ жениха, знатный, ученый, богатый, почтеннѣйшій раби Зельманъ, даритъ своему блистательному сыну, дорогому жениху, цѣлыхъ двѣ серебряныхъ ложки. Работа божественная, серебро чистое, безъ примѣси, семьдесятъ четвертой пробы. Израильтяне, кому угодно полюбоваться?

Ложки переходили изъ рукъ въ руки, пока, наконецъ, ихъ не уложили на приготовленное для этого блюдо.

— Раби Левикъ! продолжалъ горланить Хайкель:—драгоценной, сіяющей, великолѣпнѣйшей, умнѣйшей, добрѣйшей матери жениха Ревеккѣ—тушъ!

Мать вручила что-то Хайкелю.

— Мать жениха, драгоценнѣйшій перлъ евреекъ, великимъ умомъ своимъ прозрѣвъ, что въ потьмахъ ложкой въ ротъ не попадешь, даритъ своему милому сыну и его высокой царицѣ подсвѣчникъ, но подсвѣчникъ не мѣдный, а... кажется, серебряный. Пробы... не имѣется.

Острота эта возбудила неудержимый хохотъ.

— Тсссс.. Молчать, скалозубы! Раби Левикъ—тушъ!

Родители невѣсты положили свои жертвы на алтарь юнаго семейнаго счастья. Примѣру ихъ послѣдовали всѣ родственники и родственницы новобрачныхъ.

— Милые друзья, знатные господа, почтеннѣйшіе израильтяне! Семейные подарки кончились. Очередь за друзьями новобрачныхъ. Покажите свою щедрость, развяжите свою мощну и подайте, что Богъ послалъ; мы невзыскательны, даромъ божіимъ не брезгаемъ. Раби Левикъ—тушъ!

Какой-то еврей, съ брюзгливой фizioноміей, вручилъ Хайкелю свою лепту.

— Другъ жениха и невѣсты, почетный, щедрый, немножко кислый, за то очень сладкій раби Барухъ даритъ жениху и невѣстѣ... цѣлый серебряный рубль. Замѣтьте, ни капельки не обрѣзанный.

Всѣ гости, поочередно, подавали Хайкелю свои подарки. Одинъ

жирный еврей, приобрѣвшій извѣстность своей скарденностью и любовью къ чужимъ блюдамъ, притворился пьянымъ, чтобы избѣгнуть общей дани. Хайкель замѣтилъ этотъ маневръ.

— Раби Левикъ! Трезвому, щедрому, знаменитому и всѣми любимому раби Ицику—тушъ!

Скупецъ не подалъ признаковъ жизни.

— Трезвый, щедрый, знаменитый, гостепріимный и всѣми любимый раби Ицкѣ даритъ дорогому жениху и дражайшей невѣстѣ... что-бы вы думали? Шишку, красующуюся пятьдесятъ лѣтъ на его жирномъ носѣ? Нѣтъ, въ этой шишкѣ сидитъ его святая душа. Онъ даритъ... онъ даритъ... Господа, онъ ничего не даритъ.

Всѣ захохотали, кромѣ самого раби Ицика, притворившагося спящимъ.

Когда церемонія подарковъ кончилась и блюдо, переполненное разными земными благами, было вручено моей тещѣ, попойка началась снова. Теща-же и моя мать вышли вмѣстѣ: онѣ, какъ видно, не довѣряли другъ другу, боясь утайки моего богатства.

— Пусть батхенъ скажетъ что-нибудь, иначе танцевать не будемъ, обратились нѣкоторые изъ гостей къ главѣ оркестра. Хайкель отхватилъ казачка какъ любой клоунъ и подошелъ къ почтеннѣйшей публикѣ.

— Господа! Я вамъ скажу торе (проповѣдь на талмудейскіе тексты), но такую торе, какую вы въ жизни не слыхали. Ставлю я на столъ свои бубны. Кому понравится моя торе, тотъ пусть броситъ малую толику денегъ въ бубны—это, мимоходомъ сказать, для дочери раби Левика; дѣвка давно уже просится замужъ, но она безприданница. Кто денегъ не дастъ, тотъ—осель, непонимающій святыхъ изрѣченій талмуда.

Послѣ этого вступленія Хайкель поднялъ такую талмудейскую трескотню, такъ началъ переплетать, спутывать и уродовать талмудейскія изрѣченія, такъ комично началъ ихъ комментировать и объяснять, что слушатели, понимающіе и непонимающіе, пришли въ неописанный восторгъ, выразившійся щедрыми подарками. Удивительная вещь! Евреи чтятъ талмудъ больше всего въ мірѣ, но при удобномъ случаѣ, подъ веселую минуту, они-же готовы обратить его въ насмѣшку. Талмудъ за подобныя шутки никогда не обижается; онъ досконально знаетъ игривый характеръ своихъ поклонниковъ, онъ знаетъ, что это происходитъ не отъ неуваженія, а отъ рѣзвости...

Хайкель наконецъ замолчалъ.

— Нѣтъ, Хайкель, другъ, еще что-нибудь скажи, посадили его со всѣхъ сторонъ.

— Хорошо, братцы. Вотъ что. Я буду задавать вамъ вопросы, а вы отвѣчайте. Кто не съумѣетъ отвѣтить разумно, тотъ платитъ мнѣ десять грошей штрафу. Всего десять грошей, замѣьте. Это немного.

— Ладно, идетъ; спрашивай, мы согласны.

— Начинаю. Отчего шишка засѣла на носу именно у раби Ицика, а не у раби Баруха? Отчего?

Гроши посыпались въ бубны.

— Не знаете? А вотъ почему. По смыслу талмуда, всѣ евреи—порука другъ за друга ¹⁾, значить: всѣ евреи—одинъ и тотъ-же человѣкъ и интересы ихъ общіе. Шишка и сказала себѣ: если Ицикъ и Барухъ почти одно и то-же лицо, то зачѣмъ мнѣ сидѣть на холодномъ, костлявомъ носу раби Баруха, когда я могу гораздо удобнѣе помѣститься на широкомъ, тепломъ и жирномъ носу раби Ицика?

Общій смѣхъ и аплодисменты.

— Теперь опять спрашиваю. Богъ, создавъ для Адама Еву, изрекъ: да будутъ они оба—одно тѣло. Сказалъ это Богъ или нѣтъ?

— Сказалъ, сказалъ.

— Если Богъ повелѣлъ, то такъ оно и должно быть?

— Должно.

— Мужъ и жена, значить, одно тѣло?

— Одно.

— Отчего-же жена не чешется, когда у мужа зудитъ? Отчего-же мужъ не чихаетъ, когда жена страдаетъ насморкомъ? Отвѣчайте или платите.

Евреи хохотали и платили.

— Эхъ, ничего-то вы не смѣслите. Если-бъ жена чувствовала въ своемъ тѣлѣ всегда то-же самое, что чувствуетъ мужъ, а мужъ—то-же самое, что чувствуетъ жена, то что проку было-бы изъ того, что они поколотятъ другъ друга? Я колочу свою жену и самъ-же плачу отъ боли,—что-жъ тутъ хорошаго!

— Bravo, Хайкель, дѣльно, разумно! Спрашивай еще!

¹⁾ По смыслу талмуда, всякій еврей отвѣчаетъ за грѣхи прочихъ евреевъ. Это служитъ поводомъ всякому еврею слѣдить за религіозной стороною своего собрата по вѣрѣ.

— Господа! продолжалъ Хайкель:—еще одинъ вопросъ, самый мудрый, самый философскій, самый...

— Спрашивай, спрашивай!

— Нѣтъ, господа, это вопросъ дорогого сорта; десять грошей нельзя—себѣ дороже стоять. Кто не съумѣетъ его разрѣшить, тотъ да уплатить двадцать грошей!

— Ну, это ужъ чересчуръ дорого.

— Какъ угодно. Мы свой товаръ упакуемъ для другихъ.

— Куда ни шло, спрашивай.

— Итакъ, двадцать грошей?

— Двадцать, двадцать!

— Какой вопросъ, вопросительнѣе всѣхъ вопросовъ? глубоко-мысленно спросилъ Хайкель, приложивъ палецъ къ носу.

Евреи задумались не на шутку.

— Да, сказали нѣкоторые:—это глубокий вопросъ, каббалистическій.

— Не отвѣчаете? Если вы честные люди, то платите по уговору.

Всѣ расплатились добросовѣстно.

— Ну, объясни-же теперь ты, Хайкель.

— Господа, вы не знаете?

— Не знаемъ, конечно. Мы заплатили.

— Ну, я тоже не знаю и плачу. Вотъ двадцать грошей по уговору.

Онъ тоже положилъ въ бубны свои гроши.

Мнѣ опротивѣлъ и Хайкель, и его остроты. Но я обязанъ былъ сидѣть, пока шаферы не уведутъ меня туда, куда имъ будетъ угодно. Я обрадовался, когда начался послѣдній, офиціальнѣйшій танецъ съ невѣстой. Это такъ-называемый *кашмирный танецъ* или, лучше сказать, еврейскій полонезъ. Родители, шафера и всѣ родственники мужескаго пола, поочередно, чинно водятъ невѣсту по комнатамъ нѣсколько разъ, причемъ руки невѣсты не приходятъ въ непосредственное соприкосновеніе съ руками танцующихъ съ нею мужчинъ, а она держитъ одинъ конецъ платка, а за другой держится танцоръ. Танецъ приближался уже къ концу. Вдругъ у выходной двери, гдѣ тѣснилась цѣлая толпа посторонняго народа, сдѣлалась сильная давка и суета, возбуждавшая всеобщее вниманіе. Моя теща, хозяйка дома, побѣжала туда, испугавшись пожара. Черезъ минуту толпа разступилась и дала дорогу новымъ, неожиданнымъ гостямъ. Я повернулъ голову въ ту сторону и увидѣлъ, что теща тащить за руку какую-то очень молодую барыш-

ню, чрезвычайно изящно одѣтую. За барышней вслѣдъ, съ улыбкою на губахъ и съ военной фуражкой въ рукѣ, осторожно пробирался молоденькій офицеръ въ блестящемъ мундирѣ и серебряныхъ эполетахъ. За этимъ офицеромъ проталкивались еще два или три щегольски одѣтыхъ молодыхъ человека. Теща моя подобоострастно кланялась, улыбалась и вела этихъ незнакомыхъ людей прямо къ намъ.

— Милости просимъ, тараторила теща, — милости просимъ, ясновельможная пани и ясновельможные панове, посмотрѣть нашихъ молодыхъ.

Не знаю почему, но я взволновался при видѣ незнакомыхъ мнѣ людей, принадлежащихъ и къ другой націи, и къ другому общественному классу. „Эти люди идутъ смотрѣть на насъ, какъ на звѣрей, чтобы потомъ насъ-же и осмѣять“, подумалъ я, и не переставалъ на нихъ смотрѣть. Лица нѣкоторыхъ были мнѣ какъ-будто знакомы. Я старался припомнить, гдѣ я ихъ видѣлъ. Теща, между тѣмъ, тащила барышню почти насильно, повторяя: пожалуйста, пожалуйста, очень рады...

— Ради Бога не беспокойтесь. Мнѣ, право, очень совѣстно, что мы вамъ помѣшали. Я хотѣла только издали взглянуть на свадьбу, но братъ насильно затащилъ и...

Этотъ мелодичный, нѣжный голосъ я тотчасъ узналъ: это былъ голосъ моей дорогой, незабвенной Оли. Сильно сжалось мое сердце, завѣса упала съ глазъ, и я узналъ милыя черты Мити въ лицѣ блестящаго офицера. Мнѣ сдѣлалось стыдно, страшно, нестерпимо больно. Я чувствовалъ, что близокъ къ обмороку...

— Мнѣ дурно... Уведите меня, простоналъ я.

Вокругъ меня засуетились. Меня поспѣшно вывели въ другую комнату. Я уткнулъ голову въ мое брачное ложе и горько зарыдалъ.

На другой день я былъ номинально супругомъ. Счастливымъ ли? — объ этомъ рѣчь впереди.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

17.3.29

I.

Новая обстановка.— Первые шипы розы.

Если-бы вы, любезные читатели, увидѣли меня на другое утро послѣ вступленія моего въ законный бракъ, вы, конечно, не могли-бы удержаться отъ громкаго хохота, точно также, какъ я не могу удержаться отъ невольной, хотя и горькой улыбки теперь, когда воспоминаніе это выползаетъ изъ прошедшаго и ложится подъ мое перо. Невинность, потерявшая свой первый цвѣтокъ; добродѣтель, застигнутая на ложномъ шагѣ увлеченія; честный бѣднякъ, обвиняемый, по недоумѣнію, въ самомъ страшномъ преступленіи, не могли-бы быть такъ сокрушены, убиты и сконфужены, какъ я, юный, „невинный супругъ“. Я долго не рѣшался столкнуться лицомъ въ лицу съ живымъ человекомъ: мнѣ казалось, что всѣ съ нетерпѣніемъ ждутъ моего появленія только за тѣмъ, чтобы осыпать меня циническими насмѣшками и грязными намеками. Когда шафера вытащили меня, почти насильно, на сцену, когда я очутился среди полухмѣльнаго общества обоого пола, когда на меня устремился наглый взглядъ всей этой почтеннѣйшей публики, я сгорѣлъ отъ стыда. Опустивши глаза и затаивъ дыханіе, я чувствовалъ трепетъ собственнаго сердца; кровь ежесекундно прилиwała къ головѣ и румянила мои впалыя щеки. Я едва держался на ногахъ. Я былъ необыкновенно смѣшонъ въ своемъ смущеніи и испугѣ. Меня салютовалъ неистовый взрывъ хохота. Шаферши подскочили ко мнѣ и, заливаясь самымъ мѣщанскимъ смѣхомъ, старались приподнять мою поникшую голову и заглянуть прямо въ глаза. Я жмурилъ глаза и закрывалъ ихъ руками. Шаферши силою отрывали мои дрожавшія руки и еще громче хохотали.

— И чего онъ стыдится, чего онъ ежится, этотъ глупенькій цыпленокъ, какъ-будто... Ха, ха, ха, хи, хи, хи!

Въ числѣ хохотавшихъ стояла и моя супруга. Ея голосъ звѣлѣлъ рѣзче и непріятнѣе всѣхъ назойливыхъ женскихъ голосовъ, раздиравшихъ мои уши. Меня это бѣсило.

— Чего еще и она ржетъ, безстыдница? прошептала я.

— Онъ говорить что-то, онъ что-то шепчетъ... ха, ха, ха! Комедія! комедія!.. продолжали подтрунивать надо мною безпощадныя молодыя еврейки.

— Бабье, скомандовалъ мой вѣчный благодѣтель, Хайкель:— оставьте въ покоѣ моего цѣломудреннаго Іосифа!

— Нѣтъ, нѣтъ, пусть посмотритъ въ глаза мнѣ, требовала одна.

— И мнѣ.

— И мнѣ.

Меня еще плотнѣе обступили и теребили со всѣхъ сторонъ. Но Хайкель меня выручилъ.

— Хочу я, людишки, спросить у васъ вопросъ мудреный, запищаль онъ своимъ шутовскимъ голосомъ, скорчивъ паяцкую гримасу.

Публика мигомъ обступила шута. Особенно возрадовались мужчины, начавшіе уже смѣяться на вѣру.

— Если за этотъ вопросъ ты опять потребуешь деньги, по-вчерашнему, то лучше упоковывай свой товаръ: мы не твои купцы сегодня.

— Нѣтъ, сегодня—даромъ.

— Ну, коли даромъ, спрашивай.

— Скажите вы мнѣ, какое сходство между женихомъ и бѣшеной собакой?

— Что ты, что ты, Хайкель?

— Ты никакъ съума спятилъ?

— А вотъ какое сходство. Мало-ли собакъ въ городѣ, а кто ихъ замѣчаетъ? Лаетъ себѣ, ну пусть лаетъ. Но взбѣсись только одна изъ нихъ—и весь городъ начинаетъ ею интересоваться: куда бѣжала бѣшенная собака? За кѣмъ догналась она? Кто преслѣдуетъ ее? Кого она укусила? Кого она напугала? И вотъ обыкновенная собачонка превратилась вдругъ въ страшнаго звѣря. Точно то-же и съ женихомъ. Сколько мальчишекъ бѣгаетъ по городу никѣмъ незамѣчаемыхъ, но пусть одинъ изъ нихъ сдѣлается женихомъ, какъ вырастаетъ на цѣлый аршинъ въ глазахъ тѣхъ, которые прежде не обращали на него никакого вниманія; всякій любопыт-

ствуешь его увидѣть, съ нимъ перекинуть слово-другое, имъ занимаются, имъ интересуются, вслушиваются въ каждое его слово, бабье умильно засматриваетъ ему въ глаза,—однимъ словомъ, *ничто* вдругъ превращается въ важную особу. Такъ-ли?

Это была для меня послѣдняя шутка Хайкеля. Я его въ жизни больше не встрѣчалъ.

Въ тотъ-же день мои родители уѣхали. Мать моя, прощаясь, строго наказала мнѣ быть религіознымъ, не поддаваться тещѣ и не позволять женѣ слишкомъ распоряжаться моимъ носомъ.

Я остался одинъ, въ чужой семьѣ, въ новой сферѣ.

Родители моей супруги принадлежали къ многочисленной семьѣ и роднѣ, неотличавшейся ни еврейскимъ аристократизмомъ происхожденія, ни ученостью, ни богатствомъ. Эта убогая, невѣжественная родня украшалась единственно однимъ родственникомъ, бывшимъ въ свое время откупщикомъ и подрядчикомъ и сошедшимъ уже со сцены своего величія въ то время, когда я косвенно сроднился съ нимъ. Это былъ неглупый человѣкъ, хотъ въ своемъ родѣ невѣжа, сибаритъ и развратникъ мелкаго полета. Третій калачъ, побывавшій нѣсколько разъ въ Питерѣ, приобрѣвшій сноровку ловко подѣзжать къ высшимъ и низшимъ администраторамъ, всосавшій въ себя всю эссенцію тогдашняго мудраго крючкотворства, онъ считался въ еврейскомъ обществѣ города Л. силой несокрушимой. Гордясь своимъ авторитетомъ, онъ, при всякомъ случаѣ, изъ одного чванства, вступалъ въ сутяжническую борьбу съ мѣстными мелкими властями. Къ удивленію, онъ нѣсколько разъ оставался даже побѣдителемъ. По милости его кляузы и доказанныхъ грѣшковъ, были исключены со службы два городничихъ, стряпчій и почтмейстеръ, возымѣвшіе дерзость обращаться съ нимъ такъ-же патріархально, какъ и съ прочими забытыми евреями. Евреи города Л., презиравшіе его въ душѣ за его грязныя дѣла, тѣмъ не менѣе преклонялись предъ симъ свѣтиломъ, отдавали ему всевозможныя почести и давали ему роль главы кагала. Въ то время, когда я сроднился съ экс-откупщикомъ, онъ не занимался уже никакими дѣлами, а жилъ еврейскимъ рантье и состоялъ въ ябедническомъ поединкѣ съ предводителемъ дворянства изъ-за какихъ-то мелкихъ личностей. Я пришелся своему новому родственнику по душѣ, какъ грамотный и скромный юноша, который напишетъ, перепишетъ и не выдастъ тайны. Я всегда писалъ ему бумаги „по титулѣ“ съ его диктовки, положительно не понимая ни смысла дубово-канцелярскаго слога, ни силы приводимыхъ во множествѣ статей закона. Я догадывался только, что еврей обви-

няетъ предводителя, совокупно съ прочими мѣстными властями, въ какихъ-то лихоимныхъ поборахъ, производимыхъ вопреки цѣлой серіи такихъ-то законовъ, а предводитель взводитъ на еврея какія-то уголовныя преступленія, по части клубнички, за незаконное сожителство, да еще съ *христіанками*, и тоже напираетъ на какіе-то законы. Живая и грязная эта ерунда, пересыпанная словами „якобы“, „дондеже“, „поелику“ и проч., вызывала множество слѣдствій, переслѣдованій, устраненіе слѣдователей, и вела чиновниковъ къ наживѣ, а дѣло оставалось *in statu quo* и пережило обоихъ озлобленныхъ сутягъ, высосанныхъ півочнымъ людомъ до мозга костей. Изъ всей новой, многочисленной моей родни единственная эта личность была нѣсколько рельефнѣе прочихъ, остальные-же барахтались въ грязи и нищетѣ и не являли ничего такого, что заслуживало-бы особеннаго вниманія. Къ подобной средѣ я уже успѣлъ присмотрѣться до тошноты и отвращенія. За то родители моей жены, своей нравственною типичностью, возбуждали все мое любопытство.

Семья, въ которой я очутился какъ нахлѣбникъ, поступившій за харчи въ супруги, была обыкновенная, многолѣтняя еврейская семья. У евреевъ небогатаго класса малолѣтнихъ семействъ почти не бываетъ. Почему это такъ, а не иначе, я объяснить не берусь. Впрочемъ, быть можетъ, и потому, что законная любовь—единственное наслажденіе, которое бѣднякамъ достается даромъ... Хайкель однажды сказалъ: „Мнѣ хотѣлось-бы посѣтить то кладбище, на которомъ покоится прахъ двадцатилѣтняго *бездѣтнаго* еврея“. Тотъ-же острякъ Хайкель обрисовывалъ жизненный путь еврея и христіанина нѣсколькими словами, которыя всегда казались мнѣ необыкновенно удачными. „Жизнь еврея, говорилъ онъ, опредѣляется такъ: родиться, жениться, плодиться, нажиться, учиться, разориться“. Поэтому еврей страдаетъ, лѣзетъ изъ кожи всю жизнь и умираетъ недоучкой и нищимъ, оставляющимъ вучу маленькихъ нищихъ. Жизнь христіанина: „родиться, учиться, дослужиться, нажиться, жениться“. Почти тѣ-же глаголы, только въ другомъ порядкѣ поставленные, а результатъ—совсѣмъ противный. Конечно, въ настоящее время, благодаря духу вѣка, небольшое число болѣе благоразумныхъ евреевъ пзмѣнило къ лучшему постановку своихъ жизненныхъ глаголовъ. Но тогда это было иначе.

Тестъ мой былъ честнѣйшій добрякъ невзрачной, добродушной, сантиментальной наружности. Разъ въ жизни разверзлось для него

благодѣтельное небо ¹⁾ и, вслѣдствіе этого, онъ увидѣлъ себя владѣльцемъ нѣсколькихъ тысячъ. Но богатство его скоро ускользнуло изъ неспособныхъ рукъ: онъ, по добротѣ и слабости, не могъ никому изъ единовѣрцевъ отказать въ безпроцентномъ займѣ (гмилесъ хеседъ) и вспомошествованіи. Слѣдствіемъ этой податливости было то, что онъ, въ скорости, очутился совершеннымъ бѣднякомъ, котораго должники, вдобавокъ, прозвали еще дуракомъ, для котораго законъ не писанъ. За это сварливая его супруга, моя теща, и пилила-же его, бѣднаго, на всѣ четыре стороны! Но въ этомъ отношеніи на него ни брань, ни угрозы не имѣли никакого дѣйствія. Вообще, когда въ немъ заговаривала религіозная сторона, этотъ трусливый заяцъ превращался во льва. Простой, неученый еврей, онъ, въ своемъ невѣденіи, перепуталъ смыслъ догмъ, формъ, обрядовъ и обычаевъ; ему казались одинаково святыми и соболья шапка, надѣваемая имъ по субботамъ и праздникамъ, и библия, писанная на пергаментѣ и составляющая главную святыню синагоги. Несоблюденіе поста и убійство, ѣда безъ предварительнаго омовенія рукъ и кража со взломомъ, нѣсколько интимное обращеніе съ чужой женою и явный развратъ—считались имъ одинаково смертными грѣхами и стояли почти на одной и той-же степени преступности. Замѣчательно было въ немъ особенно то, что его запутанныя религіозныя понятія и дикія убѣжденія были совершенно безыскусственны, натуральны, безъ ханжества и подкраски. При видѣ какого-нибудь ничтожнаго отступленія отъ еврейскихъ традиціонныхъ или рутинныхъ обычаевъ онъ метался, болѣзненно охалъ и невыразимо страдалъ; при видѣ-же чьей-нибудь, хоть и напускной, набожности онъ умилялся до слезъ и блаженствовалъ. Признаюсь, что, при всемъ моемъ уваженіи къ этой дѣтски-цѣльной натурѣ, я никогда не доставлялъ ему моментовъ умиленія и блаженства, а напротивъ... Тѣмъ не менѣе, онъ меня лю-

¹⁾ Еврейская толпа вѣритъ, что два раза въ году, когда евреи, по обычаю, просяживаютъ цѣлую ночь напролетъ надъ молитвенною книгою, небо на мгновеніе разверзается. Тому счастливцу, которому удастся подмѣтить это мгновеніе, стоитъ только пожелать чего-нибудь—и небо безпрекословно исполнитъ его желаніе въ точности. По поводу этого сложилась слѣдующая легенда: какой-то еврей, подмѣтившій раскрывшееся небо, хотѣлъ вскрикнуть «Кол-тувъ» (всякое благо), но языкъ его какъ-то занулся и прозвнесъ «Кол-тунъ». Съ тѣхъ поръ небо наградило, какъ этого несчастнаго просителя, такъ и его многочисленное потомство, роскошными колтунами. Вотъ почему евреи, живущіе у богатыхъ низменныхъ мѣстностей, страдаютъ колтунами: всѣ они—потомки того загнузшагося еврея.

билъ и считалъ умнѣе и ученѣе не только себя, но и многихъ другихъ. Попытался онъ было сначала завербовать меня въ адъютанты къ какому-то мѣстному цадіку, таскать меня раза по три на день въ скучную и мрачную синагогу и привить ко мнѣ свои дикія взгляды на жизнь и окружающій міръ, но, встрѣтивъ рѣшительный отпоръ, онъ сразу отсталъ отъ меня, понявъ, что тутъ ничего не подѣлаешь. Изрѣдка только онъ обдавалъ меня однимъ изъ самыхъ глубокихъ вздоховъ, сопровождаемыхъ грустно-укорительными взглядами. Вздохи эти и взгляды сначала смѣшили меня, а потомъ я и совсѣмъ ихъ пересталъ замѣчать—до того я сдѣлался равнодушнымъ къ его полуидіотскимъ протестамъ. Смѣшнѣе всего онъ былъ наканунѣ субботы и праздниковъ. Его фізіономія совсѣмъ перерождалась въ какую-то, ему одному свойственную, торжественно-сіяющую образину. Въ тѣ дни онъ поднимался на ноги чуть заря, суетился и копошился цѣлый день безъ усталости; самъ выметалъ въ комнатахъ, перечищалъ подсвѣчники, ножи и вилки, спозаранку приготавливалъ къ столу, сервируя его самымъ тщательнымъ манеромъ. Съ полудня уже онъ палилъ на себя праздничный, шелковый съ заплатами, кафтанъ, нахлобучивалъ свою облезлую соболью шапку съ оглоданными, тощими хвостиками, и влѣзалъ въ свои туфли, которыми не переставалъ уже шлепать до окончанія торжественныхъ дней. Теща моя, въ гнѣвъ своемъ, утверждала, что ея сожителъ родился бабой-кухаркой, но что ангелъ, присутствовавшій въ качествѣ акушера при его рожденіи, неправильно щелкнулъ новорожденного ¹⁾ и—вышелъ на свѣтъ божій *недоконченный* мужчина. Слушая подобное замѣчаніе, тесть мой добродушно улыбался и продолжалъ шлепать и суетиться, сталкиваясь съ своей озлившейся супругой тамъ, гдѣ она наименьше его ожидала. Эти неожиданныя встрѣчи, въ кладовой, въ погребѣ, въ кухнѣ и даже въ самой печи, выводили тещу изъ себя; она ругалась и отплевывалась, а тесть продолжалъ совать свой носъ во всѣ горшки и кадучки, въ честь яствъ, приготавливаемыхъ для божьяго дня. Какъ *недоконченный* мужчина, онъ ничѣмъ не содѣйствовалъ прокормленію многочисленной семьи, а состоялъ на побѣгушкахъ у жены, занимался домашнимъ курошупствомъ, раз-

¹⁾ По мнѣнію еврейской толпы, при всякомъ рожденіи присутствуетъ извѣстный ангелъ. При появленіи на свѣтъ божій новорожденного ангелъ приводитъ его къ жизни щелчкомъ подъ носъ, отчего и образуется углубленіе надъ верхней губой. Отъ ловкости этого щелчка зависитъ удачность новорожденного и даже его полъ.

ливалъ чай, прислуживалъ женѣ, молился и бѣгалъ то въ баню, то въ синагогу. Всѣ минуты досуга онъ посвящалъ своимъ стѣннымъ часамъ, съ которыми возился съ особенною любовью.

Не могу я умолчать объ этихъ замѣчательнѣйшихъ часахъ, которые ежеминутно разстраивали нервы всей семьи. Часы эти были, повидимому, обыкновенные рублевые часы древне-россійскаго издѣлья. Когда-то на нихъ возсѣдала кукушка и куковала исправно и весело, но, съ незапамятныхъ временъ, птица эта притихла навсегда. Изрѣдка только, періодически, по какимъ-то невѣдомымъ механическимъ комбинаціямъ, мертвая кукушка издавала какой-то звукъ, не то скрипъ, не то скрежетъ зубовой. На этотъ звукъ мой тестъ торопливо подбѣгалъ къ своимъ любимымъ часамъ и радостно-выжидательно смотрѣлъ на испаранную кукушку. „Воскресла, бѣдненькая, ожила, говорили его глаза, вотъ-вотъ закукуетъ, какъ въ прежніе, счастливые годы“. Но предательская птица, какъ видно, подтрунивала только надъ старымъ ребенкомъ: скрипнеть, заскрежестъ и вдругъ оборветъ, какъ шарманка, внезапно остановленная среди куранта. Очень часто, съ быстротою молніи скользянуть, бывало, гири, висѣвшія на шнуркахъ, и такъ грохнутся объ полъ, что, пока я не привыкъ къ этому стуку, мнѣ мерещилось всякій разъ, что потолокъ обрушился на чью-нибудь несчастную голову. Особенно потрясающе дѣйствовало паденіе тяжелыхъ гирь въ глухую полночь. Но тестъ не пугался этого стука; будь это днемъ или ночью, онъ глубокомысленно подходилъ къ часамъ, бралъ кусокъ мѣла, лежавшій, на всякій случай, тутъ-же, на полу, подъ часами, и методически натиралъ имъ шнурки, такъ, какъ натираютъ смычокъ канифолью, встегивалъ гири, давалъ толчокъ неуелюжему, почернѣвшему отъ времени маятнику—и часы шагали вновь. Маятникъ никогда не придерживался ровнаго темпа: въ одну сторону онъ лѣнливо, нехотя, тянулся и стучалъ чрезъ двѣ секунды, а въ другую—торопился. Неправильность эта не мѣшала, однакожъ, согнутымъ стрѣлкамъ указывать подобающіе часы на растрескавшемся циферблатѣ. Тестъ мой жаловался, что часы его старѣютъ и что съ каждымъ годомъ гири все больше и больше слабѣютъ и теряютъ свою тяжесть, а потому ихъ надобно поддерживать присообщеніемъ какой-нибудь увѣсистой вещицы. Когда я въ первый разъ познакомился съ часами моего тестя, на ихъ гирихъ висѣли уже три тяжелыхъ, заржавленныхъ ключа, два замка безъ сердечекъ, пестъ отъ чугунной ступы и старая подкова. Современемъ заржавленный внутренній механизмъ потребовалъ новую подвѣску подъ гири. Тестъ мой, долго не думая, утащилъ изъ

кухни какую-то сковороду и умудрился прицепить и ее къ часовому арсеналу, но этимъ онъ только ускорить кончину своихъ милыхъ часовъ. Теща, провертѣвшаяся цѣлый часъ за отыскиваніемъ исчезнувшей сковороды, замѣтивъ ее на часахъ, разозлилась до того, что однимъ взмахомъ ножницъ перехватила разомъ обѣ артеріи въ видѣ шнурковъ, на которыхъ зиждился весь старческій механизмъ; гири грянули въ послѣдній разъ, да такъ и остались. Съ тѣхъ поръ злосчастные часы совсѣмъ присмирѣли, хотя и продолжали висѣть по-прежнему, хотя кусокъ мѣла и продолжалъ лежать по-прежнему, какъ безнадписный камень на могилѣ усопшаго бѣдняка. Съ какимъ нѣмымъ сожалѣніемъ и горькимъ укоромъ тесть мой, бывало, переноситъ свои грустные взоры отъ милыхъ останковъ экс-веселой кукушки на свою законную ястребицу!

Теща моя, когда-то очень красивая польская еврейка, знавшая досконально всѣ льстивые обороты польской рѣчи, хитрая, пронырливая, дѣятельная, энергичная, сварливая, мстительная и злопамятная, заправляла всѣмъ домоу. Если мой тесть былъ *недоконченнымъ* мужчиной, то за то моя теща была ужъ *слишкомъ законченною* женщиною. Она не только заправляла всѣмъ домашнимъ хозяйствомъ, но снискивала сверхъ того средства къ прокормленію цѣлой семьи. Теща была настоящій торгошъ въ юбкѣ. Она содержала первое питейное заведеніе въ городѣ и Bier-Halle подъ вывѣскою „Лондонъ“. Этотъ кабакъ и пивная, благодаря любезности и утонченной предупредительности ловкой хозяйки, были всегда биткомъ набиты. Заработки выпадали знатные. Сверхъ этого моя теща вела разношерстную мелочную торговлю. Она ничѣмъ не брезгала: старья вещи, зерновой хлѣбъ, овчины, льняное сѣмя, мелкій жемчугъ, бриліантовые вещицы, коровье масло и простѣйшій деготь, — все входило въ районъ ея коммерческихъ оборотовъ, все покупалось и быстро перепродавалось. Присмотрѣвшись въ послѣдствіи къ ея многостороннимъ дѣламъ, я смекнулъ, что она не стѣснялась и такими дѣлывками, за которыя приходилось, на всякій случай, угощать мелкотравчатыхъ полицейскихъ чиновъ и подчинковъ и расточать имъ самыя сладостныя улыбки. Въ городѣ существовала казенная запасная аптека. Разные фельдшера и прочій служащій людъ кутили въ „Лондонъ“ на славу, бесплатно. Часто о чемъ-то таинственно перешоптывалась съ этими гостями теща, и на другое утро приносились какіе-то пахучіе узелки и стеклянки: было ясно, что переводились казенные медикаменты, и быстро, безслѣдно сбывались моей ловкой тещей, но когда, кому

и какъ—я не могъ разгадать. Тестъ мой отплевывался и отмахивался руками отъ такихъ дѣлъ. За то теща обзывала его пузыряремъ, тряпкой. При всей находчивости и дѣятельности этой женщины, она копейку на черный день скопить не могла; всѣ заработки поглощались дюжиной желудковъ, въ числѣ которыхъ состоялъ и я. И надобно отдать справедливость моей тещѣ — она содержала домъ въ опрятности, продовольствовала семью, принимала чужихъ, не въ примѣръ прочихъ евреевъ города Л. Меня она очень любила и нѣжила, кормила разными вкусными яствами и питіями, желая выхолить для своей любимой Хайки здороваго и жирнаго мужа. Бѣдная! Она по опыту знала, что значить имѣть мужемъ *недоконченнаго* мужчину! Всѣ ея заботы, однакожь, не вознаграждались желаемымъ успѣхомъ: я истреблялъ и яства и питія и оставался такимъ-же поджарымъ, какъ и прежде.

Собственно моя жизнь пошла послѣ брака гораздо свободнѣе и лучше. Меня поили и кормили наотвалъ. Жилъ я съ женой въ двухъ келейкахъ на концѣ многолюднаго *лондонскаго* двора. Цѣлые дни я читалъ и занимался удовольствіемъ своей любознательности, стремившейся проглотить всю премудрость міра сего. Премудрость эта, по моему мнѣнію, помимо талмуда, таилась въ растрепанной русской библіотекѣ родственника, бывшаго откупщика и подрядчика. Я жадно принялся за нее, глоталъ всякую литературную гниль, разжигавшую мое юное воображеніе, не обогащая разсудка. Тутъ я уже не прятался, а читалъ открыто. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобы мой тестъ никогда не протестовалъ противъ моего опаснаго направленія; напротивъ, онъ въ первое время неоднократно пытался искоренить мое руссофильство, но я оскалилъ зубы, и онъ отсталъ. Храбрость моя опиралась на протекцію тещи, а протекція тещи вытекала изъ рекомендаціи сутяги-родственника, хвалившаго меня за мое нѣсколько европейское настроеніе. Если тестъ слишкомъ ужъ надоѣдалъ мнѣ своими вздохами и нѣжными укорами, то я апеллировалъ къ тещѣ. Въ такихъ случаяхъ она всегда обдавала мужа цѣлымъ потокомъ обидныхъ рѣчей, въ слѣдующемъ родѣ:

— Ты чего, пузырь, вяжешься къ зятю? Тебѣ, знать, завидно, что онъ умнѣ тебя, что онъ хочетъ хоть перомъ и языкомъ зарабатывать кусокъ хлѣба? Не думаешь-ли ты, что всѣ мужья для того только и созданы Богомъ, чтобы плодить дѣтей, бѣгать въ баню, въ синагогу, да совать свой носъ въ горшки, какъ ты!

— Бейла, ай Бейла, не гниви Бога. А смерть, а адъ, а верховное судилище?

— Ты—наиверховнѣйшій дуракъ, Гершко, возражала практичная теща.—Можнобыть и набожнымъ, и человѣкомъ способнымъ въ одно и то-же время, а не такою святою тряпичей, какъ ты.

Тестъ пожималъ плечами, вздыхалъ и отступалъ. Затѣмъ мы опять жили съ нимъ мирно. Онъ не былъ злопамятенъ. Но моя женушка дулась на меня послѣ каждой подобной сцены. Она бого-творила своего набожнаго отца и была убѣждена, что не только наша семья, но весь грѣховный городъ держится однѣми молитвами ея отца. Я, съ своей стороны, подсмѣивался—и въ результатѣ выходили сцены. На нашемъ медовомъ горизонтѣ постоянно, изъ-за суевѣрія, изъ-за мелкихъ обрядностей и глупѣйшихъ обычаевъ бродили мрачныя тучки, и тучки эти иногда раздражались цѣлымъ потокомъ колюстей, жалобъ и упрековъ. Я въ этихъ супружескихъ стычкахъ игралъ всегда пассивную роль: больше отмалчивался, уткнувъ носъ въ ту самую книгу, изъ-за которой нерѣдко возникала неприятность. Это еще больше бѣсило мою супругу; болѣе-же всего ей досадно было; что я, такой, повидимому, слабосильный мальчишка, не даюсь ей въ руки, отношусь къ ея убѣжденіямъ съ обидною насмѣшливостью, какъ-будто считая ее набитой дурой.

— Ты ему говоришь дѣло, а онъ молчитъ и ухмыляется, какъ будто богъ-знаетъ какая умная голова, а разобрать-то тебя, такъ ты и мизинца моего отца не стоишь. Вотъ что!

— Разбери, если умѣешь, отвѣчалъ я, продолжая улыбаться.

— Большая важность! Поумнѣ тебя видала.

— Видала, да все-таки не разобрала.

— Уткнетъ голову въ книгу и дрыхнетъ. Иной подумалъ-бы; что онъ червонцы изъ книги выколупываетъ, а онъ читаетъ какъ Васыка Таньку полюбилъ.

— Ну-да. Отчего-же Васыка Хайку не полюбилъ? Знать, Танька была умнѣ Хайки.

— Тѣфу на тебя и твою Таньку, закончить моя юная подруга жизни и, уходя, такъ хлопнетъ дверью, что всѣ стекла задрожать.

Иной разъ она пристанетъ ко мнѣ:

— Сруликъ, пойдемъ въ гости.

— Куда?

— Къ теткѣ Басѣ.

— Иди сама.

— А ты отчего не хочешь?

— Мнѣ тамъ скучно.

— Важная ты птица! А твоя мамаша не скучна?

— Мнѣ она не скучна, а ты можешь и не ходить къ ней—я тебя не заставляю.

— Нѣтъ, ты потому не хочешь идти со мною, что трудно разстаться съ проклятою книгою, чтобы она сторѣла.

Я смолчу. Она надуется и уйдетъ къ теткѣ Басѣ, видъ которой всегда наводилъ на меня тошноту.

Это происходило въ самомъ разгарѣ медового мѣсяца. Къ этимъ маленькимъ размолвкамъ я относился съ замѣчательнымъ хладнокровіемъ. Я никогда не мѣшалъ моей женѣ дуться сколько ей угодно. Я, впрочемъ, не злобствовалъ: заговорить—отвѣчу такъ естественно, какъ-будто между нами ничего такого не происходило, молчитъ она—молчу и я; приласкается—я не протестую, но перваго шага къ примиренію ни за что не сдѣлаю. Я не затѣваю ссоръ—значить, и не мое дѣло заискивать мира. Жена, казалось, очень любила меня,—конечно, по-своему. Любила она, кажется, больше ту *потребность любить*, которая жила въ ней самой, чѣмъ мою особу. Да и что она могла любить во мнѣ? Тошій до чахоточности, некрасивый, молчаливый, застѣнчивый, нелюдимый, холодный, вѣчно копошащійся въ ненавистныхъ ей книгахъ,—какой интересъ могъ я внушить простой женщинѣ, совершенно незнакомой съ нравственною или умственною фізіономіею человѣка? Ей доставляло удовольствіе, когда меня расхваливали; это было видно по счастливому выраженію ея лица, когда она мнѣ передавала заглазные комплименты; но мнѣ казалось, что она точно такъ-же обрадовалась-бы, если-бы похвалили вообще какую бы то ни было изъ вещей, ей принадлежавшихъ. Это было удовлетвореніе мелкаго самолюбія — и больше ничего. Она мнѣ не была противна какъ *женщина*, но я темно сознавалъ уже, что любить ее, въ *книжномъ* смыслѣ слова, любить какъ друга, съ которымъ можно подѣлиться мыслью, помечтать, я не могъ. Всякій разъ, когда она надувалась, мнѣ приходило на мысль, что будь на ея мѣстѣ Оля или жена кабачнаго принца, то я не могъ-бы такъ равнодушно смотрѣть на надутое личико.

Между литературнымъ хламомъ нерѣдко я нападалъ и на что-нибудь дѣльное, научное, надъ чѣмъ стоило призадуматься. Уяснивъ себѣ какую-нибудь мысль, расширявшую мой умственный кругозоръ, распутавъ какое-нибудь узловатое противорѣчіе, разрешивъ трудную, по моимъ ограниченнымъ силамъ, математическую задачу, естественно хотѣлось подѣлиться съ кѣмъ-нибудь моимъ сокровищемъ. Но съ кѣмъ подѣлиться? Въ окружающей меня средѣ не было ни одной живой личности, которая поняла-бы меня. Въ

такія-то минуты, думалось мнѣ, какъ быть-бы я счастливъ, если-бы моя жена была хоть сколько-нибудь грамотна! Съ какимъ удовольствіемъ я читалъ-бы вмѣстѣ съ нею, дѣлился-бы съ нею моими умственными пріобрѣтеніями!

Въ такія минуты я ласкался къ женѣ нѣжнѣе обыкновеннаго и зайскивалъ ея взаимныхъ ласкъ и довѣрія. Она была очень довольна моею теплотою, отвѣчала на мои ласки съ избыткомъ и, казалось, была совершенно счастлива. Удобный моментъ, думалъ я, и съ порывистостью своей натуры тотчасъ-же приступалъ къ дѣлу.

— Хайка...

— Что, Сруликъ?

— Ты любишь меня?

— Конечно, да.

— Очень?

— Еще-бы! Развѣ можно мужа не любить?

Безсмысленный этотъ отвѣтъ обдавалъ меня холодомъ. Но я не унывалъ.

— Такъ ты меня любишь?

— Что съ тобою? Я сказала уже: да.

— Если-бы я попросилъ тебя о чемъ-нибудь, ты сдѣлала-бы это для меня?

— Скажи, что.

— Нѣтъ, отвѣчай, сдѣлала-бы?

— Если только можно, почему-же нѣтъ? Да, впрочемъ, я даже и догадываюсь.

— Что?

— Ты, вѣрно, хочешь попросить, чтобы мама спила тебѣ новый кафтанъ. Я уже ее объ этомъ просила. Мнѣ самой стыдно видѣть мужа такъ нищенски одѣтымъ. Хороши твои родители—знатно спровадили сына въ чужую семью!

— Оставь моихъ родителей; они бѣдны. Я не кафтанъ у тебя прошу.

— Ну, а что-жь? Не понимаю.

— Вотъ видишь, мой другъ. Теперь настали для евреевъ другія времена. Между евреями, хоть изрѣдка, проявляются уже люди образованные. Образованность—набожности не помѣха.

— Какъ-разъ! Всѣ образованные—распутники и эпикурейцы.

— Ты не говори того, чего не понимаешь. Ты знаешь, кто былъ Эпикуръ?

— Я ихъ видѣла нѣсколько разъ. Всѣ они—съ обстриженными

пейсами, бритыми бородами, въ короткихъ кафтанахъ, безъ поясовъ и ермолокъ.

На это не стоило и возражать. Я прекращаю разговоръ.

— Да о чемъ-же ты меня просить хотѣлъ, Сруликъ? начинается жена.

— Не стоитъ продолжать.

— Да скажи-же. Какой ты, право, капризный!

Я молчу. Жена удваиваетъ ласки. Меня опять подстрекаетъ надежда на успѣхъ.

— Хайка, учись русской грамотѣ. Я самъ тебя учить буду. Повѣрь мнѣ, дружокъ, это легко. А начнешь читать, ты не въ состояніи будешь оторваться. Это интереснѣ всякой сказки изъ Тысячи одной ночи.

— Ха, ха, ха, Сруликъ! Въ своемъ-ли ты умѣ? мнѣ учиться грамотѣ! Вотъ смѣшно!

— Что-жъ тутъ смѣшного?

— Я въ семь лѣтъ едва выучилась еврейской азбукѣ, которая мнѣ надоѣла хуже горькой рѣдьки, и теперь, послѣ свадьбы, буду еще учиться *русской* грамотѣ. Какъ-бы не такъ!

— Но, увѣрю тебя, ты научишься въ мѣсяцъ. Попробуй.

— Оставь ты меня въ покоѣ. У меня и такъ памяти почти нѣтъ, а онъ еще и остальную пришибить вздумалъ.

— Хайка, ты не можешь себѣ вообразить...

— Перестань, пожалуйста, глупости городить. Я вышла уже изъ тѣхъ лѣтъ, въ которыя учатся. Я, слава-богу, не дѣвочка.

— Для женщины образованіе еще болѣе необходимо.

— Я—еврейка, а не благородная дама.

— Будешь грамотна—и дамой будешь.

— Не хочу я быть дамой и не хочу учиться этой гадости. Мнѣ нѣтъ надобности умѣть вертѣться на одной ножкѣ и щурить глазки по-дамски. Надѣюсь нравиться тебѣ и безъ грамоты.

— А если это *мнѣ* пріятно? Неужели моя просьба для тебя ничего не значитъ?

— Я русской книги въ руки не возьму. Если-бы эти поганые книжки не были чужія, то я бы ихъ ужъ давно сожгла—такъ онѣ мнѣ опротивѣли.

— Ну, этого ты, положимъ, сдѣлать не посмѣла-бы.

— Но посмѣла-бы? Пш... Посмѣла-бы и посмѣю. Увидишь.

— Увидимъ.

— И увидишь, если не отстанешь отъ своей привычки цѣлые дни и вечера ковыряться въ этихъ распутныхъ книгахъ.

Температура моей супружеской любви понижалась до точки замерзания.

Проходила недѣля, другая. Подъ вліяніемъ нравственно-счастливой минуты я опять приступалъ къ женѣ съ той-же самою просьбою.

— Оставь ты меня въ покоѣ со своей образованностью. Если я такъ, какъ есть, тебѣ не нравлюсь,—не нужно. Я родилась еврейкой и умру еврейкой. Вотъ и все. Глупостями заниматься не хочу.

Концы, значить, обрѣзаны. Дальше идти некуда.

Первая серьезная ссора, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ свадьбы, вышла у насъ... изъ-за гороха.

По слабости-ли моего исковерканнаго организма или по особенному устройству желудка, я не могъ выдерживать суточный, варварскій постъ. Наканунѣ всякаго поста я твердо рѣшался, во избѣжаніе нареканій, сдержать себя до урочнаго часа. Наканунѣ всякаго поста я набивалъ свой желудокъ до *pes plus ultra*, желая задать моему деспоту такую египетскую работу, чтобы отбить у него всякую охоту къ воспринятію новаго матеріала. Но это ни къ чему не вело. На утро мой волчій аппетитъ протестовалъ уже противъ принятаго рѣшенія и вступалъ въ ожесточенную борьбу съ моей волей. Воля не сдавалась до обѣденнаго часа. Обыкновенно оба противника, уставшіе въ безсильной борьбѣ, къ тому времени бросали оружіе и обращались къ моей особѣ, какъ къ мировому судѣ, за разрѣшеніемъ ихъ спора, по закону или по внутреннему убѣжденію. Задача была очень трудная: законъ говорилъ одно, а мое убѣжденіе — другое. Чтобы разрѣшить эту дилемму, я поступалъ какъ одинъ знакомый мнѣ мировой судья, попавшій, по велѣнію рока, въ мировые судьи. Въ такихъ случаяхъ онъ заставлялъ самихъ тяжущихся подыскивать и цитировать законы, а затѣмъ, окончательно отуманенный словонизверженіемъ тяжущихся, онъ слагалъ всѣ свои надежды на письменоводителя, который, за приличную мзду, рѣшалъ уже дѣло по крайнему разумѣнію его кармана. Точно такъ-же поступалъ и я. Призывалъ разсудокъ и велѣлъ ему рѣшать споръ. Его резолюція была лаконическая: „Законъ—природѣ не указъ“. Дѣло рѣшалось въ пользу желудка, съ *предварительнымъ исполненіемъ*. Предварительнымъ исполненіемъ занимался уже я самъ, въ качествѣ судебного пристава: отправлялся на обыски, и все, что встрѣчалось мнѣ удобоѣдкое, я вручалъ истцу, который тутъ-же и проглатывалъ вручаемое.

При одномъ подобномъ исполненіи рѣшенія я былъ пойманъ на

мѣстѣ неправильнаго дѣйствія моею строго-религіозною половиною. Въ спальнѣ моей тещи, на кровати, былъ разсыпанъ для просушки отсырѣвшій горохъ. Забравшись туда и увѣрившись, что за мною никто не подсматриваетъ, я жадно захватилъ цѣлую пригоршню зуболомнаго продукта и набилъ имъ ротъ. Въ этотъ злополучный моментъ быстро отворилась дверь и на порогѣ показалась Хайка.

— Чтѣ-ты тутъ дѣлаешь, Сруликъ?

Я что-то промывчалъ, повернувшись спиной къ вопрошающей. Туго набитый ротъ не позволялъ мнѣ произнести ни единого слова.

— Чтѣ съ тобою? встревожилась моя Хайка, подбѣжавъ ко мнѣ и заглянувъ прямо въ лицо. Я, какъ полагать должно, ужасно гримасничалъ, стараясь въ эту минуту проглотить горохъ, а слѣдствіемъ моей торопливости было то, что я поперхнулся и страшно закашлялся, причѣмъ часть гороха, запятаннаго за щеками, выскочила на свѣтъ божій и выдала мой смертный грѣхъ.

Нѣсколько горошинъ стрѣльнуло въ Хайку и ранило ея религіозное чувство въ самое сердце. Она ахнула и всплеснула руками.

— Хорошо! Славно! Чудесно... Ахъ, я несчастная!... И это мой мужъ!

Я управился уже съ проклятымъ горохомъ, но, сконфуженный, продолжалъ безмолвствовать.

— Такъ ты вотъ какой! Такъ у тебя, значить, и Бога ѣнѣтъ, вскричала моя озлобленная жена.

— Пожалуйста не горлань, а то сбѣгутся всѣ, какъ на пожаръ.

— Пусть всѣ сбѣгутся, я этого и хочу; пусть всѣ увидятъ, какая я несчастная, какъ загубилъ ты мой вѣкъ.

— Ужъ и загубилъ! Чѣмъ я это загубилъ, не горохомъ-ли?

— Смотри, пожалуйста, онъ еще смѣется, шутить, еретикъ этакой!

Хайка подняла гвалтъ и ревъ такой, что сбѣжалась вся семья. Къ счастью, тестъ куда-то завалился спать. Теща прибѣжала первая, переполошенная и встревоженная.

— Ради самого Бога, что тутъ такое происходитъ?

Я угрюмо молчалъ, Хайка рыдала. Наконецъ, послѣ настоятельнаго требованія нѣжной матери о разъясненіи дѣла, возмущенная дочка спустила со своры свой язычокъ. На меня посыпалась самая площадная брань, перемежанная упреками и тяжелыми обвиненіями.

— Съ кѣмъ связали вы мою жизнь? перенесла Хайка свои упреки на мать. Посмотри ты на него, на этого еретика, на этого

будущаго ренегата. Лучше ты отдала-бы меня портному, водовозу, но не такому.

Я выбѣжалъ. Жолчъ подступила къ горлу и душила меня. Я ушелъ въ свою келью. Три часа къ ряду я, какъ дикій звѣрь, метался изъ угла въ уголъ. Уставши и успокоившись нѣсколько, я повалился на кровать и заснулъ глубокимъ сномъ.

Стемнѣло уже, когда служанка растолкала меня, чтобы звать къ ужину.

— Я не голоденъ. Пусть безъ меня ужинаютъ.

Черезъ нѣсколько минутъ явилась теща своей особой.

— Перестань дурачиться, Сруливъ. Иди ужинать.

— Отдайте мою порцію своей милой дочекѣ. Она строго постилась, а я нѣтъ; пусть-же она жретъ за двоихъ.

— Какъ тебѣ не стыдно! Вѣдь Хайка кругомъ права, а ты виновать. Я уже молчу о моей личной обидѣ.

— Я виновать, а Хайка права? — ну, и накормите-же вашу святую, въ награду.

Ни просьбы, ни увѣщанія, ни резоны не подѣйствовали на меня. Я не пошелъ.

Черезъ четверть часа прибѣжалъ запыхавшійся тестъ, съ тарелкой супа и ломтемъ хлѣба.

— Бѣдный, ты болѣнь? Ну, ничего, это, вѣроятно, послѣ поста. Божій постъ никому повредить не можетъ. Доктора, для здоровья, даже велятъ какъ можно чаще поститься. Скушай-же супцу, дитя мое!

Ясно, отъ него скрыли мое преступленіе. Добрякъ меня такъ долго и искренно упрашивалъ, что я уничтожилъ мигомъ и супъ, и хлѣбъ. Аппетитъ мой потребовалъ еще чего-нибудь, посущественнѣе, но я осилилъ его и остался вѣренъ своей роли пациента.

Хайка пришла. Я ни разу не посмотрѣлъ на нее. Я перебрался въ другую клѣтку и устроился тамъ на ночь. Она не протестовала. Нѣсколько дней мы жили врозь, не перекинувшись ни однимъ словомъ. Попала коса на камень. Съ большими трудами тещѣ удалось примирить насъ. Теща, видимо, благоволила ко мнѣ. Мое упорство и симптомы твердаго характера ей очень нравились; именно этого недоставало у ея *недоконченнаго* мужа. Она, для будущей пользы своей дочери, боялась высказаться на этотъ счетъ, но я замѣтилъ это по ея глазамъ и довольнымъ улыбкамъ.

Удивительно, какъ свобода благотѣльно дѣйствуетъ на чело-вѣка! Съ тѣхъ поръ, какъ я вышелъ изъ-подъ угнетающей опеки моихъ родителей и наставниковъ, я разомъ почувствовалъ твердую

почву подъ ногами, и на этой почвѣ, балансируя какъ неопытный ребенокъ, старался найти центръ собственной тяжести и крѣпко держаться на ногахъ.

Супружеская моя жизнь потекла по-прежнему, съ ея шероховатостями, съ ея мелкими стычками и размолвками изъ-за глупыхъ взглядовъ и убѣжденій моей жены. Я сознавалъ въ душѣ, что счастье, рисуемое въ романахъ, съ такою женщиною немислимо, но и за всѣмъ тѣмъ мирился съ моимъ жребіемъ. Куда я ни бросалъ свои наблюдательные взоры, въ еврейской средѣ я не встрѣчалъ, лучшихъ жонъ. Драчливая семейная жизнь тогдашнихъ евреевъ, фанатизмъ, вѣдшійся въ кровь и плоть, невѣжество отцовъ и полнѣйшая одичалость матерей, должны были производить на свѣтъ божій именно такихъ жонъ, какъ моя. Я счастливъ, утѣшалъ я себя, хоть тѣмъ, что меня не связали съ какой-нибудь чахоточною уродиною.

Наши размолвки, какъ я сказалъ выше, происходили, большей частью, изъ-за пустяковъ. Я слишкомъ усердно копался въ нечестивыхъ книжкахъ—ссора; я мало разговаривалъ съ своей женою—ссора; я не хотѣлъ выслушивать ея злословія на сверстницъ, съ которыми она нѣжно цѣловалась при всякой встрѣчѣ,—упреки; я не хотѣлъ посѣщать плаксивую тетюшку Басю — нареканія; я отступалъ отъ какого-нибудь безсмысленнаго мелкаго обряда или отжившаго обычая — распри. Но чрезъ нѣкоторое время у насъ вышла и серьезная исторія, изъ-за такой штуки, изъ-за которой люди, не намъ, дѣтямъ, чета, душатъ и терзаютъ другъ друга немилосердно,—изъ-за вспышки той бѣшеной страсти, которая задаетъ не мало работы палачамъ и населяетъ сибирскіе рудники каторжниками. Моя жена заревновала, и заревновала съ присущей ей необузданностью и придирчивостью. А я былъ чистъ, какъ небесная роса, какъ горный снѣгъ, и такъ-же, какъ снѣгъ, холоденъ къ той, къ которой меня ревновали. Какъ не возмутиться подобною несправедливостью!

На томъ-же самомъ, густо населенномъ, *лондонскомъ* дворѣ блаженствовала другая парочка новобрачныхъ голубковъ, постарше насъ лѣтами. Новобрачные эти были, какъ это часто у евреевъ случается, сродни другъ другу, и оба приходились также близкими родственниками моей женѣ, а слѣдовательно и мнѣ. Супругъ, кузенъ моей жены, принадлежалъ къ мягчайшимъ, неразвитѣйшимъ субъектамъ міра сего, а супруга, кузина моей жены, нѣсколько выдвигалась изъ общаго уровня тогдашнихъ еврейскихъ женщинъ. Дочь того самаго родственника, бывшаго откупщика и подрядчика,

привыкшая съ дѣтства къ нѣсколькой европейской обстановкѣ, она сталкивалась довольно часто съ русскими господчиками, посѣщавшими домъ ея отца, и встрѣчалась, поэтому, съ молодыми людьми другого вида, другихъ манеръ, другой костюмировки, съ обладателями блестящихъ пуговицъ, шпоръ и эполетъ, снисходившими иногда до діалектическаго заигрыванія съ свѣженькой, быстроглазой жидовочкой. Слѣдствіемъ этого было то, что, съ одной стороны, она приобрѣла навыкъ къ нѣкоторому кокетству и заботливости о своей смазливенькой наружности, а съ другой—составила себѣ понятіе о такой любви и сердечномъ героѣ, какого, въ тогдашнее время, въ средѣ еврейскихъ недорослей и со свѣчей отыскать было невозможно. Несмотря на возвышенно-романтическое настроеніе, она, волей-неволей, должна была вступить въ законный бракъ съ далеко неромантичнымъ и неинтереснымъ кузеномъ. Она выросла съ нимъ вмѣстѣ на одномъ дворѣ. Еще дѣтьми они больше дрались, чѣмъ играли, и въ этихъ дѣтскихъ дракахъ живая дѣвочка всегда оставалась побѣдительницей надъ плаксивымъ, трусливымъ мальчишкой-однолѣткомъ. Инстинктивно будущая характерная женщина глубоко презирала будущее мужское *ничто*, а съ лѣтами къ этому презрѣнію присоединилась и ненависть именно за то, что это *ничто* считалось нареченнымъ ея женихомъ. Но отецъ ея, самодуръ и деспотъ, не соображался съ чувствами дочери и, поэтому, всѣ робкіе протесты ея повели только къ ускоренію ненавистнаго брака. За то и дочь, вынужденная къ этому союзу, съ перваго-же дня супружества стала вымещать свою ненависть на несчастномъ мужѣ. Она, не стѣсняясь ни предъ еѣмъ, явно и громогласно заявляла свое презрѣніе къ мужу, насмѣхалась надъ нимъ, колола, пилила и держала его въ приличной дистанціи отъ себя. Всѣ родственники сочувствовали несчастному мужу, изумляясь, какъ можно не любить такого мягкаго, добраго и покорнаго человѣка. На жену-же, бунтующуюся противъ закона, клеветали, упрекая ее въ поползновеніи къ разврату. Она знала объ этихъ клеветахъ, страдала отъ нихъ въ душѣ, но измѣнить свои отношенія къ ненавистному мужу было выше ея силъ.

Въ такомъ положеніи были супружескія отношенія той парочки, которая пришлась мнѣ родственною по женѣ. Я жилъ въ дружбѣ съ обоими супругами, на *ты*, а жена моя относилась сочувственно только къ кузену, презирая жену его за ея мнимую грѣховность, но въ то же время скрывала это подъ личиной родственной любви. Двойственность натуры моей жены я переварить не могъ, чего и не скрывалъ отъ нея при всякомъ удобномъ случаѣ. Это, конечно,

вело къ ссорамъ, въ которыхъ я и моя неподатливая подруга стояли каждый на своемъ.

— Желала-бы, говорила моя жена, всегда въ заключеніе спектакля:—отъ души желала-бы, чтобы Белла была твоей супругой; она посбила-бы твою спѣсь и умничаніе.

— Врядъ-ли это случилось-бы, отвѣчалъ я. — Белла такъ разумна, что восприняла-бы отъ меня все то, что я никогда не могу привить къ тебѣ, при всемъ моемъ умничаніи.

— Хорошая парочка вышла-бы, нечего сказать! А я таки-жа-дѣю, что я не на мѣстѣ Беллы. Вотъ съ какимъ мужемъ я была-бы совершенно счастлива!

Я въ душѣ и самъ это признавалъ и сожалѣлъ, что добрый кузень не на моемъ мѣстѣ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, я не чувствовалъ особенной охоты быть на мѣстѣ моего злосчастнаго кузена. Многое мнѣ не нравилось въ навязчивой Беллѣ; она далеко не подходила къ тѣмъ женскимъ идеаламъ, которые витали въ моей головѣ.

Съ перваго дня знакомства Белла, видимо, заблаговолила ко мнѣ, несмотря на то, что ея мужъ былъ и красивѣе меня, и болѣе изысканно одѣтъ. Это благоволеніе возрастало съ каждымъ днемъ, по мѣрѣ увеличенія нашей родственной короткости. Застѣнчивый и молчаливый съ людьми, мнѣ незнакомыми, я, въ томъ кружкѣ, гдѣ чувствовалъ себя какъ дома, становился развязнымъ и говорливымъ. Говорилъ я яснѣе и послѣдовательнѣе многихъ изъ моей среды; обороты моей еврейской рѣчи и выраженія, благодаря нѣкоторой начитанности, были и округленнѣе, и опредѣлительнѣе. Я не лазилъ въ карманъ за острымъ словомъ, ловко подмѣчалъ смѣшную и глупую сторону моихъ близкихъ и встати выводилъ ее на сцену. Белла всегда слушала меня съ большимъ удовольствіемъ, хохотала и хвалила мою находчивость. Очень часто, по вечерамъ, она приходила къ намъ съ работой. По просьбѣ ея, я иногда ей и женѣ передавалъ какой-нибудь прочитанный интересный рассказъ, стараясь всѣми фокусами записныхъ рассказчиковъ возбуждать любопытство слушательницъ и оставлять его неудовлетвореннымъ до развязки. Белла жадно меня слушала, волнуясь, кипятилась и забѣгая своими нетерпѣливыми вопросами впередъ. Мнѣ доставляло это большое удовольствіе. Иногда я предавался музыкѣ, и тогда Белла, любившая музыку до безумія, была въ восторгѣ. Случалось также, что нить разговора наводилась на какой-нибудь серьезный вопросъ или предметъ, тогда я развертывалъ всю свою мыслительную способность, обсуждалъ и рѣшалъ всякія затрудне-

нія съ большимъ апломбомъ. Белла вѣрила мнѣ слѣпо и безусловно принимала мои мнѣнія. Ясно, Белла меня любила больше, чѣмъ навязаннаго ей родственника-мужа. Я убѣдился въ этомъ только въ послѣдствіи, когда ея пылкіе взоры, не стѣсняясь, жадно искали моихъ, когда ея родственные, безгрѣшныя поцѣлуи,—допускаемые еврейскими обычаями при извѣстныхъ торжественныхъ случаяхъ,—были жарки до жгучести и длинны до непозволительности. Но въ первое время я этого не сознавалъ, а не сознавалъ, быть можетъ, потому, что она меня не на-столько интересовала, чтобы возбудить мою наблюдательность съ этой стороны. Мое равнодушіе къ Беллѣ, какъ къ женщинѣ, не мѣшало мнѣ, однакожъ, глубоко уважать ее какъ одну изъ болѣе живыхъ моихъ родственницъ. Я ее любилъ также и за то, что она мою особу и мои таланты ставила такъ высоко. Это пріятно щекотило мое самолюбіе и льстило мнѣ. Бывали моменты, когда я невольно сравнивалъ ее съ моей женой, и всегда, при этомъ сравненіи, жена много проигрывала въ моихъ глазахъ. Въ самомъ разгарѣ моего ораторства, напримѣръ, когда глаза Беллы жадно впивались въ мое лицо, когда, со сложенными на груди руками, нагнувшись всѣмъ корпусомъ впередъ, она вслушивалась въ мою рѣчь, прозаическая моя жена, бывало, такъ музыкально зѣвнеть, что мой голосъ вдругъ оборвется, какъ лопнувшая струна, а увлеченная Белла вздрогнетъ и выпрямится, какъ человѣкъ, пробужденный внезапнымъ, сильнымъ стукомъ отъ глубокаго сна.

— Ахъ, Хаечка, какъ ты испугала меня! зашѣтитъ Белла.

— Скучно. Спать хочу, процѣдить Хайка сквозь зубы, зѣвая и лѣниво потягиваясь.

— Неужели тебя не занялъ рассказъ твоего мужа? Какой интересный—просто, чудо!

— Я не слушала, что онъ тамъ рассказывалъ тебѣ.

— Отчего-же?

— Надоѣло уже. Угадай, Беллочка, что я поѣла-бы теперь?

— А что?

— Холодную, очень холодную рыбу съ такимъ крѣпкимъ хреномъ, который ударилъ-бы прямо въ носъ.

Наступить молчаніе. Я сконфуженъ и не знаю, куда глаза дѣвать. На хитромъ и продувномъ личикѣ Беллы бродитъ насмѣшливая и злорадная улыбочка.

Къ несчастію, Белла не принадлежала къ подобному сорту слушателей, какъ моя жена. Я говорю: къ несчастію, потому что хотя ея вниманіе и льстило мнѣ, но, съ другой стороны, она недоста-

362 с
3710
3742

точно обладала женскимъ тактомъ, чтобы своими назойливыми па-негириками, кстати и не кстати, и своимъ черезчуръ уже родствен-нымъ обращеніемъ не навлечь подозрѣнія и вспышекъ ревности, какъ въ своемъ пришибленномъ мужѣ, такъ и въ моей недоувѣрчи-вой женѣ. Слѣдствіемъ этой безтактности вышло то, что ей часто начали запускать ядовитыя шпильки, а мнѣ приходилось выслуши-вать милые упреки и грязныя клеветы на Беллу. Защищая ее, я еще больше вредилъ ей, но молчать при этомъ я никакъ не могъ. Достаточный поводъ для супружескихъ сценъ. Я началъ уклоняться отъ общества Беллы и избѣгать ее. Это ее видимо раздражало она еще сильнѣе погналась за мною.

— Сруль! остановила она меня однажды, неожиданно, на улицѣ. Лицо ея пылало, грудь волновалась. Она прерывисто дышала.

— Откуда ты, Белла, взялась? Я тебя и не замѣтилъ, спросилъ я ее, почему-то озираясь кругомъ и потупивъ глаза. Я не могъ вынести пылости взоровъ ея зеленоватыхъ глазъ.

— Ахъ, оставь. Отвѣчай мнѣ. Ты сердишься на меня, Сруликъ?

— Что за мысль, Беллочка! За что мнѣ сердиться на тебя?

— Ты неправду говоришь, лгунишка.

— Увѣряю тебя, кузина, что я и не думалъ сердиться на тебя. Да и за что?

— Отчего-же ты сталъ убѣгать, когда я прихожу, ни разу не посмотришь на меня и какъ-будто говорить со мною не хо-чешь?

— Это тебѣ показалось, Белла.

Но житейскій опытъ не научилъ еще меня ловко врать, гдѣ нужно. Я покраснѣлъ.

— Врешь. Это по лицу твоему видно!

Я смѣшался еще больше.

— Я тебѣ... когда-нибудь объясню, Белла.

— Почему-же не теперь?

— Это длинная исторія.

— Не люблю я ждать...

На улицѣ показалась какая-то испачканная еврейка. Белла ушла торопливыми шагами въ противоположную сторону, не докончивъ начатой фразы.

Встрѣча эта меня озадачила. Въ этотъ вечеръ я былъ задумчи-вѣ обыкновеннаго. Мнѣ показалось, что Беллѣ что-нибудь на меня насплетничали. Мнѣ было досадно. Мы собрались уже лечь спать, какъ вбѣжала къ намъ Белла. Она весело поздоровалась съ нами и поцѣловала мою, нѣсколько надувшуюся, жену.

- Что такъ поздно, Белла? удивилась жена.
- Поздно? Что ты?
- Мы ужъ спать собрались.
- Развѣ я виновата, что вы ложитесь въ одно время съ курами? Я посидѣть къ тебѣ пришла. Мнѣ такъ скучно, Хаечка; ахъ, какъ скучно!
- А мужъ твой гдѣ?
- Кто его знаетъ!
- Белла скорчила презрительную гримасу.
- Какъ тебѣ не стыдно, кузина?
- Что?
- Почему ты мучишь своего мужа? Онъ тебя такъ любитъ.
- Ну?
- Ну?.. ты сама знаешь, что...
- Ха-ха-ха! Хаечка, какая ты смѣшная, право!
- Ты грѣшишь, Белла. Богъ тебя накажетъ за твое обращеніе съ бѣдненькимъ мужемъ.
- Пусть наказываетъ. Не я выбрала себѣ *бѣдненькаго* въ мужа.
- Мало-ли что. Я мужа своего тоже не выбирала, а родители; такъ по-твоему...
- Ну, твой мужъ—другое дѣло.
- Я, повидимому, углубился въ чтеніе, но не проронилъ ни слова изъ разговора молодыхъ женщинъ, хотя онѣ и вели его довольно тихо.
- Всѣ мужа одинаковы. Повѣрь мнѣ, Белла.
- Нѣтъ, душечка, не повѣрю.
- Главное, чтобы мужъ былъ добръ и послушенъ и любилъ-бы жену, вотъ что.
- Нѣтъ, Хаечка, главное—чтобы мужъ былъ неглупъ и чтобы *жена* его любила.
- Но твой мужъ — хорошенькій, тоже не глупъ и какой добрый! Я его, право, очень люблю.
- Поздравляю тебя, душечка. Но я его не люблю.
- Почему-же, скажи?
- Ахъ, оставь этотъ скучный разговоръ; мнѣ ужъ опротивѣло объясняться съ каждымъ по поводу этого предмета.
- Наступило молчаніе.
- Ахъ, да, начала Белла:—я и забыла, зачѣмъ пришла. Я на тебя, Хаечка, сейчасъ пожалуюсь мужу. Сруликъ, обратилась Белла ко мнѣ весело:—брось книгу да иди къ намъ.
- Что такое? спросилъ я небрежно, не отрывая глазъ отъ ми-

мага чтенія и не трогаясь съ мѣста. Мнѣ было досадно на Беллу. Она своей безтактностью подливала масла въ чувство ревности моей жены.

— Я хочу пожаловаться на твою жену. Представь себѣ, мой муженекъ по десяти разъ на день бѣгаетъ къ твоей женѣ, а я одна скучаю. О, я умираю отъ ревности.

— Что-жь? оправдывалась моя жена:—ему, бѣдненькому, грустно, онъ и приходитъ ко мнѣ отвести душу.

— Мнѣ тоже грустно, мнѣ тоже хочется излить свое горе. Отчего-же твой мужъ ко мнѣ не приходитъ? Вотъ уже болѣе мѣсяца, какъ онъ къ намъ не ступилъ ногой.

— Да онъ съ своими милыми книгами разстаться не можетъ; сидитъ сиднемъ; вотъ почему и не приходитъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, это ты ему запрещаешь, ехидная ревнивица.

— По-моему, пусть даже хотъ на житье къ тебѣ переберется. Мнѣ все равно.

Белла, какъ-будто не понявъ смысла обиднаго намека, весело обратилась ко мнѣ:

— Правда, Сруликъ, что она запрещаетъ тебѣ посѣщать насъ?

— Мнѣ ничего никто запретить не можетъ, возмущился я.

— Увидимъ. Я хочу попросить тебя, Сруликъ, переговорить кое о чемъ съ отцомъ, отъ моего имени. Я съ нимъ въ ссорѣ. Зайди завтра утромъ ко мнѣ. Зайдешь?

— Что за секреты! Можешь и при мнѣ говорить, обидѣлась жена.

— Секретовъ тутъ никакихъ нѣтъ. Это длинная исторія, притомъ неинтересная для тебя. Дѣло идетъ о приданомъ, которое отецъ до сихъ поръ не выдаетъ мнѣ. Однако я засидѣлась у васъ. Спать пора.

Белла поцѣловала жену и, прощаясь со мною, добавила серьезно, прося меня глазами:

— Приходи-же, пожалуйста, завтра утромъ.

Я понялъ Беллу. Она *не любила ждать* и хотѣла скорѣе выслушать объясненіе, о которомъ была рѣчь утромъ на улицѣ. Я рѣшился не идти къ ней. Я любилъ миръ и спокойствіе болѣе всего. Всякіе раздоры, а тѣмъ болѣе съ лицомъ, съ которымъ приходилось вѣчно торчать вмѣстѣ, были мнѣ противны.

— Дрянь! угостила жена свою кузину, какъ только затворилась за нею дверь. Я не выдержалъ.

— За что ты ругаешь ее, Хайка?

— А тебѣ жаль голубушку?

— Мнѣ все равно. Любопытно только знать, за что ты ее ругаешь? Въ глазахъ цѣлуешься, а за глазами...

— Она вѣшлась ко всѣмъ офицерамъ на шею, когда была еще въ дѣвкахъ, а теперь... Тьфу!

Я счелъ за лучшее прекратить разговоръ, который началъ меня злить.

— Ты завтра *не смѣй* къ ней ходить!

— *Не смѣть*? Это что за выраженіе?

— Повторяю: не смѣй!

— А если *посмѣю*?

— Увидишь, что будетъ.

— Я, признаться, и не думалъ къ ней идти. Но за то, что ты позволяешь себѣ начальническій тонъ со мною, я, наперекоръ, пойду.

— Попробуй только.

— Конечно, попробую.

Вызовъ на войну былъ сдѣланъ и принятъ. Воюющія стороны разошлись: одна въ широкую кровать, а другая—на узкую, ухаби-стую софу, чтобы собраться съ силами къ предстоящей борьбѣ.

На другое утро мы дулись, конечно, другъ на друга. Я, сообра-зивъ хорошенько, рѣшился отстать отъ своего намѣренія идти къ Беллѣ. Часовъ въ одиннадцать жена вдругъ обратилась ко мнѣ съ торжествующимъ лицомъ:

— Отчего-же ты не идешь къ твоей милой *родственницѣ*? Кстати, мужъ ея только-что вышелъ со двора.

Меня взорвало. Я швырнулъ перо, которымъ писалъ, схватилъ шапку и побѣжалъ къ Беллѣ. Жена выбѣжала за мною и слѣдила злыми глазами до тѣхъ поръ, пока я не скрылся за дверью маленькаго флигелька, гдѣ жила Белла.

Заагѣвшаяся Белла встрѣтила меня на порогѣ.

— Ахъ, кузенъ, какъ я благодарна тебѣ, что ты исполнилъ мою просьбу и пришелъ. Садись-же. Что ты такой нахмуренный, какъ-будто злой?

— Что ты хотѣла мнѣ сказать, Белла?

— Нѣтъ, ты отвѣчай прежде, что ты такой пасмурный?

— Мнѣ что-то нездоровится.

— Не ври. Ты, вѣрно, поссорился съ Хаечкою изъ-за меня.

— Послушай, Белла! Ты-бы лучше къ намъ не приходила.

Белла испуганно посмотрѣла на меня.

— Я знаю, что они всѣ бранятъ меня. Но за что? Что я имъ сдѣлала? Въ чемъ я провинилась?

Белла горько зарыдала. Я угрюмо молчалъ.

— Ахъ, другъ мой, если-бы ты зналъ, какъ я несчастна, если-бы ты увидѣлъ мое израненное, бѣдное сердце, ты пожалѣлъ-бы меня.

— Я и такъ жалѣю тебя, Белла.

— Какъ я люблю тебя за это! Только въ твоёмъ присутствіи я отвожу душу. Если-бы ты зналъ, съ какимъ удовольствіемъ я, всякій разъ, говорю съ тобою, слушаю тебя; если-бы ты зналъ, какъ я... завидую Хаечкѣ... ты-бы былъ внимательнѣе ко мнѣ, ты-бы... быть можетъ... Ахъ! Хаечка сюда идетъ.

Она сидѣла у окна, очень близко ко мнѣ. Завидѣвъ приближающуюся жену, она быстро перескочила на самый отдаленный отъ меня стулъ и торопливо вытерла передникомъ глаза. Лицо ея въ мигъ изъ печальнаго, сокрушеннаго, преобразилось въ спокойное, серьезное, дѣловое.

— Я ужасно боюсь твоей ревнивицы, оправдала она свою метаморфозу и начала говорить о приданомъ, о несправедливости отца, — словомъ, понесла околесную. Пора была лѣтняя. Окно, у котораго я сидѣлъ, было полуотворено. Я слышалъ, какъ подкравшись къ окну и осторожно его открыли. Я зналъ, кто шпионить, и притворился внимательно слушающимъ дѣловыя объясненія Беллы и незамѣчающимъ маневра ревнивой жены. Белла, съ виду, тоже ничего не замѣчала и продолжала безостановочно, съ жаромъ, жаловаться на жестокость своего отца, прося меня замолвить, при случаѣ, слово о ней. Белла, среди фразы, какъ-будто невзначай, приподняла голову и, замѣтивъ голову моей жены, просунувшуюся въ окно, искусственно вздрогнула и вскрикнула:

— Ахъ! Хаечка, какъ ты испугала меня, противная! Зайди-же въ комнату.

— Нѣтъ, Беллочка, я только хотѣла позвать мужа. Онъ нуженъ маменькѣ.

— Ничего; не экстренно, возразилъ я сурово. — Я еще посижу у Беллы. Я еще не понялъ, въ чемъ дѣло.

Жена хлопнула окномъ и ушла. Белла вѣнстово захохотала, подбѣжала ко мнѣ и схватила мою руку.

— Какой ты умница, Сруликъ! Ты еще такъ молодъ, а уже настоящій мужчина. Ахъ, какъ мнѣ это нравится.

Мое самолюбіе погладили по шерсти. Я поднялся пдти.

— Куда-же ты торопишься, недобрый?

— Пора.

— Струсилъ уже? спросила она презрительно.

— Не говори этого, Белла. Я никого не боюсь; я уже не ребенокъ.

— Такъ отчего-же не посидишь еще минутку?

— Не хочу подавать повода къ злымъ толкамъ на твой счетъ. Тебя и такъ довольно пачкаютъ всѣ твои родные.

— Пусть пачкаютъ. Отъ этого я не сдѣлаюсь грязнѣе. Лишь-бы ты меня... жалѣлъ. Ну, иди себѣ съ Богомъ.

Дома жена встрѣтила меня цѣлымъ браннымъ фейерверкомъ. Я не удостоилъ ее ни однимъ словомъ; я, со злостью въ душѣ, принялся за обычные свои занятія. Въ тотъ день мнѣ, однакожъ, ничто въ голову не лѣзло. Я злился на всѣхъ и вся. Образъ бѣдной Беллы носился предъ глазами.

Я полагалъ, что послѣ такихъ ревнивыхъ манифестацій наружные знаки родственной дружбы между женой и ея кузиной прекратятся. Но не тутъ-то было! Женская дипломатія имѣетъ свои особенные законы. Жена продолжала любезничать съ Беллой въ глаза и поносить ее за глазами, а Белла продолжала насъ пощипывать по-прежнему, держась со мною нѣсколько осторожнѣе.

Черезъ нѣсколько недѣль послѣ описанной мною послѣдней сцены, въ одинъ бурный вечеръ, я сидѣлъ въ своемъ жильѣ у окна и читалъ съ большою сосредоточенностью. Жены не было дома: она пошла съ матерью куда-то въ гости. Я, по обыкновенію, отказался имъ сопутствовать. Наступилъ уже поздній часъ. Вечеръ принадлежалъ къ тѣмъ мрачнымъ ночамъ, которыя въ Малороссіи именуются почему-то *воробьиными*. Темнота была непроницаемая. Небо, черное какъ чернила, изрыгало цѣлые потоки дождя. Поминутно разсѣвалось оно ярко-огненною, извивающеюся полосой молніи, а изъ дальнихъ сферъ доносился глухой рокотъ грома. Несмотря на ливень, ночной воздухъ не только не освѣжился, но какъ-будто дѣлался еще удушливѣе и свинцомъ ложился на легкія. Я растворилъ окно и, не обращая вниманія на усиленную дѣятельность стихій, въ буквальномъ смыслѣ слова зачитался. Я читалъ одинъ изъ тѣхъ безцѣльныхъ, неосмысленныхъ романовъ стараго покроя, безъ направленія и безъ всякой зрѣлой идеи, которые, казалось, создавались единственно для того, чтобы расшевеливать лѣнивое воображеніе засыпающей публики. Мое воображеніе, и безъ того довольно крылатое, подъ вліяніемъ вычурнаго сюжета романа разыгралось до уродливости. Рѣчь шла о какомъ-то привидѣніи въ женскомъ образѣ, явившемся въ глухую полночь къ герою романа.

Вдругъ за окномъ послышался шорохъ женскаго платья. Я вздро-

гнулъ. Я не рѣшился повернуть голову къ окну, да и не имѣлъ времени, потому что, непосредственно за шорохомъ, двѣ женскія, обнаженные руки обвили мою шею и сильно стиснули ее. Я невольно вскрикнулъ и быстро повернулъ голову. Мое лицо столкнулось съ улыбающимся личикомъ Беллы. Я раскрылъ ротъ, чтобы упрекнуть ее, но Белла не дала мнѣ произнести ни слова. Она еще разъ стиснула мою шею и такъ впиалась своими пылающими губками въ мои губы, что у меня духъ захватило и по всему моему тѣлу скользнуло какое-то необыкновенно-пріятное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и незнакомое мнѣ ощущение...

— Ага, застала я васъ, наконецъ, голубчиковъ! раздался пискливый крикъ моей жены.

Белла отскочила на два шага и убѣжала. Я, сконфуженный до крайности, посмотрѣлъ по направленію голоса. На порогѣ, вытянувшись во весь небольшой свой ростъ, стояла Хайка. Лицо ея пылало, глаза метали молніи, руки были протянуты впередъ, какъ будто собираясь на кулачную расправу. Однимъ скачкомъ она очутилась подлѣ меня.

— Такъ вотъ какъ? Такъ до этого уже дошло? Такъ вотъ почему ты, негодяй, остаешься дома по вечерамъ и посылаешь жену одну? Такъ ты не только еретикъ, но и развратникъ, распутный?

Я началъ оправдываться и оправдывать несчастную Беллу. Я старался убѣдить разсвирѣпѣвшую ревнивицу, что все это была необдуманная шалость со стороны кузины, что она хотѣла меня напугать только. Я вралъ не ради себя, а для бѣдной Беллы, которую ожидалъ страшный скандалъ. Но всѣ мои хитрыя оправданія ни къ чему не повели. Жена моя неистовствовала напролетъ цѣлую ночь. Мнѣ было досадно на Беллу, заварившую всю эту кашу, но въ душѣ я страдалъ болѣе за нее, чѣмъ за себя. Ея необузданная любовь ко мнѣ, ясно выразившаяся въ ея смѣломъ поступкѣ, чрезвычайно льстила моему самолюбію.

Съ бѣдненькой кузиной отнынѣ были пресѣчены всякія отношенія. Вся эта исторія, однакожь, благодаря разсудительной тещѣ, не была предана гласности. Ссора наша съ женою продолжалась долго, пока теща, убѣжденная въ моей певности, не умаслила свою ужъ чересчуръ расходившуюся дочку.

Такимъ образомъ, фундаментъ нашего супружескаго счастья былъ заложенъ въ первый годъ брака, по всѣмъ статьямъ, такъ основательно, что онъ въ послѣдствіи не только ужъ не пошатнулся, но крѣпчалъ съ каждымъ годомъ все больше и больше. На этомъ прочномъ фундаментѣ построилось наше семейное гнѣздо, а въ

этомъ гнѣздѣ поселился, вмѣстѣ съ нами, и тотъ демонъ супружества, который спеціально занимается науськиваніемъ супруговъ другъ на друга.

Повѣрьте, любезные читатели, этому демону не скучно было жить съ нами...

II.

Музыкальная теща.

На дворѣ стояла плаксивая осень. Хмурое, сѣрое небо виолѣ гармонировало съ моимъ мрачнымъ настроеніемъ духа. Былъ одинъ изъ тѣхъ тоскливыхъ дней, въ которые ипохондрики и страдающіе сплиномъ охотно подводятъ итоги своей постылой жизни. Я былъ въ разладѣ съ женою вслѣдствіе какой-то придирки съ ея стороны. Семейныя ссоры, хотя съ виду мелочныя и непродолжительныя, если онѣ часто повторяются, получаютъ характеръ страшной пытки. Казалось-бы, что значить одна капля воды, падающая на крѣпкій черепъ здороваго человѣка съ извѣстной высоты? Но если эта капля падаетъ разъ, другой, сотый, миллионный и пойдетъ стучать по одному и тому-же мѣсту,—этотъ крѣпкій черепъ затрещитъ подъ тяжестью ударовъ этой одной легкой капли. Вооружившись житейскою философіею, я долго сносилъ придирки моей половины, относясь къ нимъ, какъ взрослый человѣкъ относится къ дѣтскимъ капризамъ. Я видѣлъ, что меня и жену раздѣляетъ цѣлая пропасть и что эту пропасть можно пополнить только тогда, когда кто-нибудь изъ насъ рѣшится бросить туда свои убѣжденія и свой характеръ. Но всѣ наши диспуты ни къ чему не вели; всякій цѣпко держался своего мнѣнія, а пропасть зіяла по-прежнему, поглощая постепенно наше спокойствіе и счастье. Хандражи, съ которою я всталъ съ постели, или сѣрое, хмурое небо, угрюмо смотрѣвшее въ маленькія окошечки нашего жилья, навели меня на дурныя мысли, но я былъ въ этотъ день мраченъ, какъ гроза. Какъ вихрь ворвалась къ намъ теща. Лицо ея сіяло счастьемъ, глаза искрились радостью. Она широко улыбалась.

— Поздравьте меня, дѣти!

Она любовно поцѣловала дочь и бросилась-было ко мнѣ. Я отступилъ.

— Ой, да какой ты сегодня нахмуренный, зятюшка! Что случилось?

— Мама, да говори-же скорѣе, съ чѣмъ тебя поздравить? перебила ее жена.

— Наборъ, дочь моя, наборъ. Понимаешь-ли ты?

— Какой наборъ? полюбопытствовалъ я.

— Рекрутскій наборъ, рекрутскій!

— Съ чѣмъ-же васъ поздравить прикажете?

— Да съ наборомъ-же этимъ самымъ и поздравь.

Недоумѣвающими глазами посмотрѣлъ я на тещу.

— Эхъ ты, простачокъ, какъ не понять такой простой вещи? А „Лондонъ“? А выручка? Понялъ?

— А!!

— Да. Впрочемъ, развѣ ты знаешь, что такое нашъ милый „Лондонъ“? Вотъ ты его увидишь въ полномъ блескѣ. Три года—шутка-ли, цѣлыхъ три года—рекрутовъ не было у насъ. Вотъ что поправить мои обстоятельства, такъ поправить!

— Да вѣдь рекруты—бѣдный народъ!

— Рекруты? Тьфу! Это голыши. Что съ нихъ возьмешь?

— Отъ кого-же вы ждете поживы?

— Наемщики, охотники—вотъ нашъ народецъ!

Теща, обрадовавъ насъ счастливою вѣстью, убѣжала, вѣроятно, обрадовать еще кой-кого.

Во время обѣда она была необыкновенно говорлива и весела. Ко мнѣ чуть-ли не ласкалась. Я не могъ понять этого внезапнаго приливъ нѣжности.

— А какъ тебя вчера расхваливали, Сруликъ, если-бы ты только зналъ!

— Кто и за что?

— А вотъ я на тебя сержусь. Чужимъ доставляешь удовольствіе, а роднымъ нѣтъ.

— Какое удовольствіе?

— Ты у Б. часто на скрипкѣ играешь вмѣстѣ съ нимъ и другими, а у насъ—никогда. Чужіе наслаждаются, а насъ какъ-будто совсѣмъ презираешь.

— Да изъ всей вашей семьи никто музыки особенно не любить.

— Что ты, что ты! Я-то музыки не люблю? Да я готова не ѣсть, не спать, а только слушать.

— Все это по случаю набора? замѣтилъ я насмѣшливо.

— Еще-бы! Это великое счастье.

— Не хочу... не хочу я этого счастья, робко вмѣшался тесть.— Грѣхи только на душу берешь...

Теща окинула его презрительнымъ взглядомъ.

— Ты, пузырь, все о моей душѣ безпокоишься. Ты-бы лучше о моихъ башмакахъ позаботился. Вотъ какіе: посмотри, полюбуйся!

— Ну, ну, ну. Полно, полно, Бейла. Не ругайся только. Буду молчать.

— То-то. Не вмѣшивайся куда не слѣдуетъ. А вотъ что, Сруликъ, я хочу тебѣ предложить: собери товарищей, да у насъ, въ „Лондонъ“, и играйте. По вечерамъ никого не бываетъ, а если и придетъ кто—въ другихъ комнатахъ примемъ. Тутъ вамъ будетъ свободно и привольно, а я хоть издали слушать буду. Я просила уже и Б., и прочихъ. Всѣ общались.

Въ городѣ Л. два-три молодыхъ еврей-аматера профанировали искусство. Одинъ кое-какъ надувалъ флейту, другой царапалъ скрипку, а третій безсильно боролся съ корытообразною віолончелью, которая, подъ его неуклюжими пальцами, издавала самые неблагопристойные звуки. Всѣ они были самоучки. Этотъ-то оркестръ завербовала себѣ теща. Я не противорѣчилъ ея желанію, во-первыхъ, потому, что мнѣ было безразлично, гдѣ ни упражняться, во-вторыхъ потому, что я въ матеріальномъ отношеніи былъ цѣликомъ зависимъ отъ моей тещи и ссориться съ ней было бы чрезчуръ накладно для моей себялюбивой натуры.

Итакъ, нѣсколько разъ въ недѣлю нашъ жалкій квартетъ по вечерамъ собирался въ „Лондонъ“ и услаждалъ нашъ собственный слухъ. Теща, большею частью, выходила изъ дому, а если и была дома, то возилась по хозяйству, въ самыхъ отдаленныхъ закоулкахъ, такъ-что къ ней не долеталъ ни одинъ изъ звуковъ нашей дѣтской музыки. Чего-же она добивалась? Отвѣтъ на вопросъ не замедлил послѣдовать. Черезъ недѣли двѣ-три городишко Л. оживился стеченіемъ деревенскаго люда. Городъ Л. былъ назначенъ центральнымъ пунктомъ для сгона изъ всѣхъ окрестностей рекрутъ, а отсюда ихъ отправляли уже въ губернской городъ для сдачи въ рекрутское присутствіе. Число рекрутъ было довольно значительно. Кромѣ того ихъ провожали въ городъ отцы, матери, сестры, братья, жены или невѣсты. По улицамъ встрѣчались цѣлыя гурьбы мужиковъ и женщинъ съ понуренными головами, съ заплаканными глазами. Всѣ эти толпы стремились въ кабаки размыкать горе. „Лондонъ“, съ своей вычурной вывѣской, украшалъ собою всю базарную площадь—самое видное мѣсто въ городѣ. Непосредственно у дверей этого виднаго кабака начинался обжорный рядъ со всѣми его прелестями. Мелочныя лавочки и стой-

ки съ сельскимъ краснымъ и галантерейнымъ товаромъ умильно глядѣли прямо на „Лондонъ“ и, казалось, просили зарекомендовать ихъ гостямъ, стекающимся туда отвести душу и облегчить мошну. Всѣ эти удобства выдвигали кабакъ моей тещи изъ ряда обыкновенныхъ водочныхъ вертеповъ. Удивительно-ли, что грустные и веселыя толпы стремились, съ своими закусками подъ мышкой, большею частью въ „Лондонъ“, на радость моей тещи, разсыпавшейся передъ ними мелкимъ бѣсомъ?

Въ одинъ вечеръ, когда нашъ квартетъ, въ отведенной для нашихъ музыкальныхъ упражненій особенной комнатѣ, наигрывалъ какіе-то вальсы, мазурки, экосезы и казачки, мы услышали въ смежной комнатѣ топотъ пляшущихъ подъ тактъ нашей музыки людей. Сначала мы не обращали на это особеннаго вниманія и продолжали наше дѣло. Но топотъ и дикія выкрикиванія черезъ нѣкоторое время усилились до того, что покрывали собою нашъ оркестръ и оглушали насъ. Продолжать не было возможности. Мы прекратили нашъ концертъ.

— Кончено, обратился я къ своимъ товарищамъ: — больше мы здѣсь играть не будемъ, до тѣхъ поръ, пока рекруты не уйдутъ изъ города.

Всѣ согласились со мною. Мы спрятали инструменты и собрались уже разойтись по домамъ, какъ вдругъ въ комнату ворвалась цѣлая четверка молодыхъ парней, сопровождаемыхъ моей подобоострастной тещей. Молодцы были мертвецки пьяны, еле держась на ногахъ.

— Музыка, грай! Штроментъ побью! крикнулъ одинъ, подскочивъ къ испуганному виолончелисту и размахнувшись объемистымъ кулакомъ, съ видимымъ намѣреніемъ исполнить свою угрозу.

— Грай, кажу тобі, заревѣлъ другой: — грай! гроші дамъ. До черта маю! похвасталъ онъ, ударяя по своему карману и звеня серебряными рублями.

— Сруликъ! неужели вы больше играть не будете? приступила ко мнѣ теща съ умоляющимъ видомъ.

— Помилуйте! передъ этими пьяницами заставляете вы меня играть?

Лицо тещи поблѣднѣло отъ злости. Она устремила на меня ядовитый взоръ.

— Прошу покорно, какая фанаберія! прошипѣла она. — Мнѣ, несчастной, прилично возиться съ этими пьяницами, а ему — нѣтъ! Когда онъ набиваетъ свой желудокъ, онъ, небойсь, не задается вопросомъ: откуда что берется, какими кровавыми трудами, какими

униженіями теща пріобрѣтаетъ средства къ прокормленію цѣлой семьи. На что ломать себѣ голову надъ подобными мелкими вопросами! Онъ себѣ читаетъ да почитываетъ, да живетъ въ свое удовольствіе. А теща? Ну, да чортъ ее побери, пусть изъ кожи лѣзетъ, пусть...

Теща зарыдала такъ, что у меня сердце дрогнуло въ груди.

„Она права“, подумалъ я, и съ азартомъ бросился къ скрипкѣ. Товарищи не отстали. Я самъ изумлялся тѣмъ бѣшено-раздражительнымъ звукамъ, которые издавала моя слабогрудая скрипка. Звуки эти магнетически подѣйствовали какъ на моихъ сотоварищей, такъ и на охотниковъ-рекрутъ, закрутившихся въ неистовой пляскѣ подъ забиравшую до глубины сердца комаринскую. Лицо тещи прояснилось. Хотя на ея рѣсницахъ и висѣли еще прозрачныя капли слезъ, но то были уже дождевыя капли, повисшія на листьяхъ, озаренныя яснымъ солнцемъ, послѣ утихшей лѣтней грозы. Когда-же расходившіеся гуляки потребовали на радостяхъ шипучки (донское вино въ бутылкахъ) и когда это импровизированное шампанское полилось, въ буквальный смыслъ, ручьями по полу, то моя теща окончательно оживилась и съ благодарностью посмотрѣла на меня, виновника неожиданной выручки.

Я усталъ и вознамѣрился спрятать мою скрипку.

— Нѣтъ, врешь, крикнулъ одинъ изъ забіякъ:—взялся за гуфъ, не говори, что не дюжъ. Валяй! Вотъ тебѣ!

Онъ швырнулъ серебряный рубль къ моимъ ногамъ. Другіе охотники сдѣлали то-же.

— Берите, сказалъ я тещѣ, самодовольно и гордо.—Деньги вамъ принадлежать.

— Милый! нѣжно произнесла теща и собрала деньги въ свой передникъ.

Если я продолжалъ увеселять охотниковъ-рекрутъ своей музыкой, то дѣлалъ это только въ угожденіе тещѣ, изъ страха семейныхъ ссоръ, изъ любви къ собственному я. Притомъ я заинтересовался отношеніями охотниковъ къ нанIMATEЛЯМЪ, въ особенности между евреями.

Еврей, пожелавшіе поставить за себя или за свое семейство охотника, должны были, по закону, отыскать охотника, непременно еврея, изъ того-же самаго сословія, къ которому нанIMATEль самъ принадлежалъ, и непременно приписаннаго къ тому-же самому обществу. Еврей-охотникъ глубоко сознавалъ тотъ шагъ, на который онъ рѣшался, и горькія послѣдствія этого шага, но, отпѣтый воръ, пьяница, преслѣдуемый и изгоняемый своимъ обществомъ, онъ со

злобою въ сердцѣ видѣлъ одинъ исходъ изъ своего отчаяннаго положенія—продаться въ рекруты. Этотъ исходъ онъ считалъ, однакожь, вынужденнымъ, насильственнымъ, а потому и относился враждебно не только къ нанявшему его, но и къ обществу, толкавшему его въ эту пропасть. Сверхъ того онъ сознавалъ свое исключительное положеніе и цѣнилъ свою особу очень высоко. Еврейскій охотникъ получалъ въ десять разъ болѣе, чѣмъ русскій, и въ сто разъ болѣе капризничалъ и издѣвался надъ безропотнымъ, покорнымъ нанимателемъ.

Въ числѣ охотниковъ, дѣлавшихъ своимъ посѣщеніемъ честь „Лондону“, былъ только одинъ еврейскій охотникъ. Это былъ чахлый человѣчекъ средняго роста, сутуловатый, съ испитымъ, болѣзненнымъ лицомъ, изрытымъ оспой, съ полуплѣшивой головой. Его новый костюмъ отличался какимъ-то своеобразнымъ арлекинизмомъ. Онъ не брался съ прочими охотниками, а держался особнякомъ, забившись въ уголъ. Сначала русскіе охотники взѣлись-было на него, придираясь и цѣпляясь за каждый случай, за каждое его слово, чтобы натѣшиться по-своему надъ жидомъ, рѣшившимся пойти по одной дорогѣ съ ними; но когда этотъ жидъ, разщедрившись, началъ ихъ заливать разными питіями, то не только перестали съ нимъ враждовать, но, напротивъ, стали оказывать ему нѣкоторое уваженіе. Еврейскій охотникъ никогда не буянилъ, не бранился, не горланилъ пѣсень, не отплясывалъ казачка, а какъ-то тупо относился ко всему его окружающему. Онъ пропивалъ свою будущность, какъ-будто на зло, наперекоръ судьбѣ, и пропивалъ ее въ одиночку, съ грустью и сосредоточенностью въ самомъ себѣ. Какъ тѣнь, вѣчно сопровождалъ его наниматель, грустный, блѣдный, пожилой еврей, унижавшійся передъ спасителемъ его сына, оберегавшій этого спасителя, какъ зеницу ока, и безропотно исполнявшій всѣ прихоти охотника, какъ-бы онѣ дикіи ни были. Сердце надрывалось, глядя на нанимателя-мученика и на мучителя-охотника. Оба были одинаково несчастны, одинаково озлоблены, съ тою только разницею, что наниматель скрывалъ свою ненависть подъ личиною ласки и терпѣнія, а охотникъ не маскировался, громко называлъ своего патрона душепродавцемъ, дьяволомъ-искусителемъ и тиранилъ его съ рафинированною жестокостью.

- Эй, лохматый песъ! кликнетъ вдругъ охотникъ нанимателя.
- Что, мой другъ? подобострастно отзовется наниматель.
- Мнѣ скучно.
- Что-же дѣлать, душа моя?
- Прокатиться хочу.

— Изволь, мой милый, я сейчас найму бричку. Поѣдемъ.
— Бричку?! И безъ тебя нанять могу.
— На чемъ-же ты прокатиться хочешь?
— На плечахъ.
— На плечахъ?
— Да, на плечахъ, и непремѣнно на твоихъ плечахъ.
— Смилуйся, другъ мой. Какъ это можно?
— А какъ это можно, чтобы на моихъ плечахъ катались разные солдатюги цѣлые двадцать-пять лѣтъ изъ-за твоего плюгаваго сына?

— Ты вѣдь деньги за это получилъ. И какія еще деньги! Охъ!

— Ха, ха, ха, деньги! А гдѣ онѣ, эти деньги? Половины ужъ нѣтъ.

— Я-же не виноватъ, что ты ихъ на вѣтеръ сѣешь. Я кровными денежками заплатилъ. Зачѣмъ разбрасываешь цѣлыми пригоршнями?

— Будь онѣ прокляты, твои деньги, вмѣстѣ съ тобою, искусителемъ. За каждый твой грошъ я получу сто фухтелей.

Нельзя себѣ вообразить, какія адскія мученія претерпѣвалъ несчастный наниматель отъ тираніи своего наемника, и ту унижительную роль, которую онъ разыгрывалъ со слезами на глазахъ и болѣзненной улыбкою на устахъ. Изъ любви къ сыну онъ все переносилъ безропотно. Но надобно было видѣть лицо этого мученика наканунѣ дня, назначеннаго для отправки рекрутъ въ губернское рекрутское правленіе! Драма приближалась къ развязкѣ. Для нанимателя предстояло разрѣшеніе вопроса: быть или не быть. Охотникъ, вопреки всѣмъ подмазкамъ, могъ быть признанъ негоднымъ, а тогда—погибъ любимый сынъ, погибли и деньги, большею частью растратившіеся уже расточительнымъ охотникомъ. Съ лихорадочнымъ волненіемъ и съ тяжелой душой на челѣ еврей-наниматель угощалъ своего охотника въ «Лондонѣ», обнимая и напутствуя его самыми искренними благословеніями. Съ такой-же тяжелой душой на испытаніи лицъ, молчаливо-угрюмо принималъ охотникъ ласки своего покупателя. Я наблюдалъ эту сцену съ напряженнымъ любопытствомъ. Наступалъ уже вечеръ, когда хозяинъ-еврей поднесъ охотнику послѣднюю рюмку и деликатно напомнилъ о томъ, что пора идти домой приготовиться на завтра въ дорогу.

— Въ дорогу? вскрикнулъ охотникъ. — Въ какую такую дорогу?

— Какъ? робко замѣтилъ наниматель. — Ты забылъ развѣ, что завтра всѣхъ рекрутъ отправляютъ въ губернію?

— А мнѣ что до этого за дѣло?

— Какъ? Ты шутишь?

— Дуракъ, неужели ты думаешь, что я на самомъ дѣлѣ пойду въ рекруты за твоего сына?

Наниматель вздрогнулъ и поблѣднѣлъ, какъ стѣна. Охотникъ видимо наслаждался мученіями своего собесѣдника.

Подобно мнѣ, за этой непріятной сценой слѣдилъ какой-то русскій зажиточный мѣщанинъ, поившій на прощанье своего охотника тутъ-же, въ „Лондонѣ“. Онъ не выдержалъ.

— Ты, еврей, чего поблажку даешь твоему батраку? Ты его по-людски — за чуприну. Чего ерепенится? Денежки забралъ, а теперь на попятный дворъ! А вотъ я тебѣ помогу, коли самъ не умѣешь.

Мѣщанинъ всталъ, съ явною рѣшимостью помочь своему ближнему. Но еврей схватилъ мѣщанина за руку и началъ умолять.

— Спаснбо, добрый человѣкъ. Ради Бога, не трогай его. Мы не можемъ такъ поступать, какъ вы, русскіе. Прошу тебя, если хочешь мнѣ сдѣлать добро, — не трогай моего охотника.

— Самъ чортъ васъ тамъ разберетъ, процѣдилъ сквозь зубы мѣщанинъ, махнулъ рукою, плюнулъ и отошелъ прочь.

Мое расположеніе духа шло какъ-то въ разрѣзъ съ расположеніемъ духа моей чувствительной тещи. На другой день по выходѣ изъ города рекрутъ лицо тещи опять омрачилось, какъ въ до-рекрутскія времена, морщины торговой изобрѣтательности улеглись опять на ея лбу, опять слышались вздохи и сѣтованія на горькую судьбу, на негодность мужа, на дармоѣдство семьи, на пустынность „Лондона“, впавшаго въ апатическое, сонливое состояніе. Я, напротивъ, видимо повеселѣлъ. Музыкантская роль передъ полудивными, пьяными слушателями, возложенная на меня тещей, такъ опротивѣла мнѣ, такъ унижала меня въ собственныхъ глазахъ, что избавиться отъ этой скверной роли я считалъ верхомъ блаженства.

Наступила зима съ ея вьюгами и снѣжными заносами. Я почти не выходилъ изъ дома, зарывшись въ свои книги, и былъ-бы совершенно доволенъ и счастливъ, если-бы не частые зѣвки моей половины. Услышавъ зѣвокъ, я со вздохомъ бросалъ интересное чтеніе и принимался развлекать зѣвающую; но мои рассказы не развлекали ее, а раздражали. Очень часто вечеръ оканчивался ссорой или размолвкой.

Однажды, когда я подсѣлъ къ женѣ, она обратилась ко мнѣ съ вопросомъ:

— У тебя сегодня никого не было?

— Кому быть у меня?

— Мало-ли кому!

— Да кому-же? Ты знаешь, что, благодаря вашей любезности, у насъ никто не бываетъ.

— А, о Беллѣ, голубчикъ, скучаешь? Бѣдненькій, какъ я жалѣю тебя! уязвила жена.

На другой день теща тоже спросила меня, не было-ли кого-нибудь у меня, но кто могъ посѣтить меня—ни за что объяснить не хотѣла, какъ я ее ни упрашивалъ. Въ полдень въ мою квартиру явился будочникъ. Появленіе въ моемъ мирномъ гнѣздѣ полицейской власти меня удивило и нѣсколько обезпѣковало.

— Ты такой-то? грубо спросила меня полицейская власть.

Я отвѣтилъ утвердительно.

— Его высокоблагородіе требуетъ тебя, сейчасъ, сію минуту.

Волей-неволей я пошелъ за стражемъ. Проходя по двору, я увидѣлъ издали тещу.

— Теща! меня тащутъ къ городничему. Не знаете-ли, зачѣмъ это?

— Откуда мнѣ знать? отвѣтила она какъ-то игриво, захохотала и вбѣжала въ домъ.

Черезъ нѣсколько минутъ я уже переминался на ногахъ въ мрачной передней блюстителя закона. Я простоялъ добрый часъ, пока меня потребовали въ залу.

У круглаго стола, заткнувъ салфетку за галстухъ, городничій, пожилой, пріятной наружности человѣкъ, аппетитно уписывалъ какое-то сочное блюдо, уткнувъ голову въ тарелку. Какіе-то два сухощавыхъ чиновника тоже усердно работали зубами. Я, какъ видно, попалъ во время завтрака. Дамъ не было.

Нѣсколько минутъ я простоялъ у дверей, какъ-будто никѣмъ не замѣченный. Мой почтительный поклонъ ни у кого не вызвалъ взаимнаго привѣта. Я чувствовалъ себя въ крайне неловкомъ положеніи человѣка, призваннаго къ строгому слѣдователю невѣдомо для чего и вслѣдствіе какого дѣла.

— А! развѣянно промывалъ городничій, какъ-то невзначай остановивъ на мнѣ свой взоръ. — Это ты зять лондонской казначницы?

Я растерялся отъ этого нелестнаго титула и ничего не отвѣтилъ.

— Это онъ самый и есть, ваше высокоблагородіе, отвѣтилъ за меня стражъ, представившій меня.

— А вотъ что, братецъ, обратился ко мнѣ ласково городничій.—Желаю я, братецъ ты мой, задать вечеринку къ именинамъ жены; вечеринку, знаешь, съ плясами. А такъ-какъ ты и еще нѣкоторые еврейчики наигрываете на какихъ-то скрипкахъ или цымбалахъ, то не согласитесь-ли вы услужить начальству и отколотъ у меня вечеринку, а?

Въ просьбѣ городничаго мнѣ послышался повелительный тонъ. Я вознамѣрился увернуться какъ-нибудь.

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе, куда намъ играть на барской вечеринкѣ?

— А что?

— Да мы играемъ по-дѣтски. Подъ нашу безтактную музыку врядъ-ли и танцевать можно.

— Это ничего. Тамъ какъ-нибудь. Лишь-бы пицало, да свистѣло, да бурчало, а бабѣ пусть само такъ подбираетъ. Такъ значить, рѣшено—играешь?

Я замаялся.

— Ну, братецъ, безъ церемоній. Не люблю я чванства.

Униженный и взбѣшенный этимъ безапелляціоннымъ тономъ, я безъ поклона вышелъ изъ залы. Но голосъ городничаго меня остановилъ вторично.

— Передай твоей тещѣ мое спасибо.—Услужливая, право, жиловка, докончилъ городничій, рекомендуя мою тещу своимъ гостямъ.

Я рассказалъ своимъ читателямъ этотъ ничтожный случай собственно потому, что онъ былъ причиною полного разлада между мною и тещею.

Съ яростью въ душѣ я пришелъ домой. На порогѣ встрѣтили меня жена и теща. Послѣдняя широко улыбалась.

— А что, Сруликъ? Это я тебѣ устроила такой почетъ. Узнала я, что городничій даетъ балъ, а музыкѣ нѣтъ, и подумала, что вотъ случай показать своего милаго зятюшку. Знай, молъ, нашихъ!

Я старался сдерживать себя, чувствуя, что жолчь душитъ меня.

— Сколько вы берете у городничаго за то, что я буду въ передней пилить цѣлую ночь? спросилъ я ядовито.

— Что ты, Сруликъ, съума сошелъ? Я буду брать деньги... у городничаго?

— Что-же, честь, что-ли, вздумали вы доставить мнѣ?

— Это одно. А другое—начальство. Все-же лучше быть у него въ милости; неровень часъ. Иногда... знаешь...

— Знаю, очень хорошо знаю. Вы мною хотите замазать свои грѣшки, вы мною торгуете, какъ вашимъ товаромъ, вы меня принимаете, какъ батрака. Кто, да въ вамъ право распоряжаться мною, какъ своею вещью?

Мое лицо, должно быть, имѣло не кроткое выраженіе. Теща отступила на два шага отъ меня. Жена только не испугалась меня; она, пылающая, стояла на мѣстѣ, какъ вкопанная, устремивъ на меня такой упорный, пронизательный взоръ, какой укротитель хищныхъ звѣрей устремляетъ на расхажившее чудовище.

— Вотъ тебѣ и спасибо за мою нѣжную любовь къ нему! всплеснула теща руками;—вотъ тебѣ и благодарность за мою хлѣбъ-соль и заботу...

— Городничій шлетъ вамъ спасибо, будетъ съ васъ. Отъ меня получите уже разомъ благодарность тогда, когда пошлете меня играть въ трактиры, погребѣ и въ мѣста еще почище... Почему-же? Отдавайте меня въ наемъ. Это такъ удобно и прибыльно.

— Мама, онъ пьянъ! заступилась за меня жена.

— Нѣтъ! съ яростью воскликнула теща:—онъ не пьянъ. Онъ дерзокъ и грубъ. Это—волченокъ: какъ его ни корми, а онъ въ лѣсъ смотритъ.

— Да, въ лѣсъ, въ любое болото, но подальше отъ васъ и вашихъ харчей. Вы попрекаете меня каждымъ кускомъ хлѣба. Вашъ хлѣбъ горекъ и противенъ мнѣ.

— Коли мой хлѣбъ горекъ, то поищи себѣ послаще.

— И поищу, и отыщу.

Я хлопнулъ дверью и ушелъ къ себѣ. Я твердо рѣшился написать моимъ родителямъ и просить ихъ дать моей женѣ пріютъ до тѣхъ поръ, пока я не отыщу для себя какихъ-нибудь занятій. Я былъ вправѣ не только просить, но и требовать, такъ-какъ скоро наступала ихъ очередь содержать насъ въ продолженіи извѣстнаго періода времени. По правдѣ сказать, я и самъ не зналъ, на какія занятія, на какіе заработки я имѣю право рассчитывать. Я считалъ себя ни къ чему практичному неспособнымъ.

Рѣшившись однажды на что-нибудь, я никогда своего рѣшенія не откладывалъ въ длинный ящикъ и не пятился отъ него назадъ. Я досталъ листъ бумаги и сѣлъ писать. Вошелъ тестъ.

— Что случилось, дитя мое? спросилъ онъ меня своимъ груст-

нымъ, добрымъ голосомъ.—Бейла до того взбѣшена, что я счелъ за лучшее упрятаться отъ нея.

— А вотъ что, тестъ. Я рѣшился не оставаться у васъ. Я буду имѣть собственный хлѣбъ.

Тестъ сомнительно покачалъ головою.

— Не сомнѣвайтесь. Не знаю, гдѣ и какъ, но я самъ себя пристрою.

— Дай-то Богъ! О, если-бы и я могъ достать себѣ собственный кусокъ хлѣба, какъ возблагодарилъ-бы я Всевышняго! Но Бейла говоритъ, что я ни къ чему неспособенъ, кромѣ бани и синагоги, и, кажется, она права... И если-бы ты зналъ, дитя мое, какъ горекъ женинъ хлѣбъ...

Онъ опустился на стулъ и свѣсилъ свою голову на грудь. Крупная слеза упала на его сѣдую бороду. Жаль было смотрѣть на этого забитаго, приниженного, безпомощнаго человѣка.

Окончательная размолвка моя съ тещей не спасла меня, однакожь, отъ вечеринки у городнича. Мой паспортъ былъ просроченъ, новаго пока мнѣ не выслали; ссориться съ начальствомъ не подобало. Притомъ я зналъ, что, откажись я отъ роли музыканта—меня потащили-бы насильно. Что дѣлать? Противъ силы не пойдешь. Итакъ, нашъ жалкій квартетъ, въ урочный часъ, очутился въ тускло освѣщенной передней начальника города.

Не знаю, каково было на душѣ у моихъ товарищей, но я въ этотъ роковой вечеръ чувствовалъ такое глубокое униженіе, какого не испытывалъ болѣе въ жизни. На насъ смотрѣли, какъ на наемныхъ дровосѣковъ, обращались какъ съ крѣпостными. Даже полуцыгане и оборванные лакеи позволяли себѣ съ нами какія-то дерзкія и наглыя фамиллярности. Не будь я въ такомъ мрачномъ расположеніи духа, меня, можетъ быть, заняла-бы новизна незнакомой мнѣ обстановки русскаго аристократизма (я былъ на-столько наивенъ, что имѣлъ глупость считать и городничаго города Л. великимъ аристократомъ), но во мнѣ бушевало возмущившееся самолюбіе и набрасывало непривлекательное покрывало на всѣхъ и на все. Я искоса и злобно поглядывалъ на свѣженькія, разрумянившіяся личики барынь и барышень. Всѣхъ этихъ очаровательницъ я считалъ моими личными врагами. Ихъ обнаженные, красивыя плечи казались мнѣ верхомъ неприличія и цинизма, ихъ вертлявость и щебетаніе я считалъ наглостью и нахальствомъ, а счастливые кавалеры, увивавшіеся вокругъ нихъ, внушали мнѣ полнѣйшее отвращеніе. Я отвернулъ

ся отъ ненавистной мнѣ картины и вымещалъ свой гнѣвъ на моей слабогрудой скрипичѣ, которая какъ-то болѣзненно пицала подъ непомѣрно-нажатый смычкомъ.

Я былъ-бы еще относительно счастливъ, если-бы и мои товарищи, подобно мнѣ, отворачивались также отъ этой соблазнительной картины. Но, къ крайнему моему прискорбію, случилось иначе. Мой оркестрный молодой персоналъ, въ жизни не видавшій ни русскихъ балльных танцевъ, ни обнаженныхъ женскихъ формъ, ни кокетливыхъ манеръ ловкихъ барынь, увлекся непривычнымъ зрѣлищемъ до того, что совершенно сбился и понесъ въ первой-же французской кадрили такую ахинею, что всѣ мои усилія навести его на мотивъ и тактъ остались тщетными. Наконецъ, музыкальное столпотвореніе дошло до такого смѣшенія голосовъ и фальшивыхъ звуковъ, что танцующіе должны были остановиться среди фигуры. Поднялся самый неистовый хохотъ въ залѣ. Я былъ сконфуженъ, какъ Блондентъ, сорвавшійся съ каната.

Съ пылающими глазами, съ поднятымъ кулакомъ начальство подскочило ко мнѣ.

— Скоты! Вы шутите со мною? Я вамъ пропишу такую музыку, что вы три дня у меня чесаться будете. Начинай снова!

Я предпринялъ самыя строгія мѣры, чтобы избѣгнуть новаго скандала. Я повернулъ свой оркестръ лицомъ къ стѣнѣ, а спиной къ соблазнительницамъ,—немножко, правда, невѣжливо, но за то удобно и надежно. Топотъ моей ноги для указанія подобающаго такта замѣнилъ вполне барабанъ и сдѣлать-бы честь любой лошади. Мѣры оказались успѣшными и наша музыка потекла мѣрно и плавно.

Пытка моя продолжалась цѣлую ночь напролетъ. Особенно мучительными показались мнѣ послѣдніе два часа этой сквернѣйшей ночи, когда остались одни только мужчины. Кутежъ принялъ размѣры самой бѣшеной оргіи. Пошли въ ходъ и казачки. и комаринская. Быстрый темпъ этихъ танцевъ совершенно измучилъ меня, тѣмъ болѣе, что мой оркестръ истомился до того, что его аккомпаниментъ выражался однимъ только слабымъ бурчаніемъ и я долженъ былъ выносить все одинъ, на собственныхъ плечахъ. Въ довершеніе моего несчастья, городничій и его гости залюбезничали со мною въ концу и начали заливать меня насильно какими-то винами и наливками, которыя быстро начали меня разбивать на тощій желудокъ.

Чѣмъ кончилась вся эта исторія, какъ очутился я на утро дома—до сихъ-поръ не знаю. Меня привелъ десятскій. Жена уложила

меня и я, проспавъ до вечера, поднялся разбитымъ, больнымъ, съ головной болью и страшной тошнотой.

Черезъ мѣсяць ~~послѣ~~ разсказаннаго мною случая я получилъ отъ моихъ родителей отвѣтъ на мое письмо. Оно въ переводѣ гласило слѣдующее:

„Омнѣ мой (писалъ отецъ), я, конечно, не могу не пожалѣть о тебѣ и твоёмъ непріятномъ положеніи, но помочь ничѣмъ я не могу. Ты знаешь наши обстоятельства, при плохихъ теперешнихъ заработкахъ и при многочисленности нашей семьи. Я далъ тебѣ воспитаніе и оженилъ,—другими словами, я далъ тебѣ все то, что могъ. Я долженъ теперь исключительно заботиться о другихъ моихъ дѣтяхъ. Пора тебѣ самому позаботиться о себѣ и не только не обременять отца, но, напротивъ, посильно ему помогать. Новый паспортъ тебѣ высылаю и остаюсь вѣчно молящимся за твое благоденствіе“, и проч.

Прочитавъ это письмо, я горько улыбнулся.

— Онъ далъ мнѣ воспитаніе, онъ женилъ меня! Ощастливилъ, нечего сказать!

Я принялся читать нечеткія еврейскія каракули, приписанныя матерью на оборотѣ письма.

„Дорогое дитя мое! я украла это письмо у отца, чтобы приписать тебѣ нѣсколько словъ. Прошу тебя скрыть эту приписку отъ отца. Не слушай ты его и пріѣзжай. Онъ имѣетъ привычку вѣчно жаловаться и роптать на Провидѣніе. Наши обстоятельства гораздо лучше прежняго...“

— Эгоисты! прошептала я и продолжалъ читать:

„...Наши обстоятельства гораздо лучше прежняго. Я работаю за троихъ и имѣю право помочь тебѣ, мой милый сынъ. Я ссорилась изъ-за тебя съ твоимъ ворчливымъ отцомъ. Онъ сказалъ: „звать его не стану, а пріѣдетъ съ женою — не выгону: своя кровь!“ Итакъ, мой дорогой сынъ, пріѣзжай немедленно. Последнюю кроху хлѣба я готова тебѣ отдать. Я люблю тебя больше своей жизни. Деньги на путевыя издержки вышлю тебѣ въ скорости,—конечно, тайкомъ отъ отца. Ты какъ-нибудь не проговорись, когда пріѣдешь. Цѣлую тебя безчисленное множество разъ“.

Черезъ нѣкоторое время мать моя радостно рыдала въ моихъ объятіяхъ и цѣловала мою жену такъ нѣжно, какъ родную дочь, а серьезный отецъ строго унималъ дѣтей, расходившихся на радостяхъ до того, что имъ угрожала экстраординарная, повальная экзекуція тою чахлою плеткою, которая такъ услужливо выглядывала изъ-за маленькаго святаго кивота.

III.

С в о й х л ѣ в ъ.

Мать моя писала правду. Обстоятельства моих родителей далеко улучшились противъ прежняго: изъ мелкаго откупного. служаки отецъ мой превратился уже въ миниатюрнаго арендатора-откупщика.

Въ тѣ времена, въ бездонномъ омутѣ откупа, какъ въ недосигаемыхъ пучинахъ океана, вели между собою постоянную, эксплуатационную войну безчисленное множество чудовищъ, гадовъ и хищныхъ рыбъ различной величины. Откупщики-киты загребали цѣлые округи въ свое откупное содержаніе и эксплуатировали меньшую братію, снимавшую у нихъ откупа по губерніямъ. Эти губернскіе аллигаторы высасывали до мозга костей крупныхъ откупныхъ рыбъ, овладѣвавшихъ поуѣздною монополіею. Уѣздные хищники глотали мелкихъ рыбокъ, угнѣздившихся въ одиночныхъ пунктахъ уѣздовъ. Откупная эта мелюзга, въ свою очередь, пожирала алчныхъ кабачниковъ, а кабачники питались моллюсками—народомъ, вѣчно тянувшимъ откупную пахучую водицу и никогда ненапивавшимся досыта. Длинная цѣпь этого взаимнаго пожиранія, винтообразный насосъ, вытягивавшій народные соки, начинались въ средѣ крѣпостного люда и оканчивались въ утробахъ откупныхъ чудовищныхъ китовъ, размахисто разгуливавшихъ по поверхности житейскаго моря и съ хвастливымъ шумомъ изрыгавшихъ въ Россіи и заграницей цѣлые каскады народнаго благосостоянія. Но и эти чудовищные киты враждовали между собою, пожирали другъ друга на торгахъ и поочередно погибали. Только нѣкоторые изъ этихъ колоссальныхъ, обжорливыхъ экземпляровъ уцѣлѣли до настоящаго времени...

Отецъ мой сдѣлался маленькимъ откупщикомъ какихъ-то небольшихъ деревень. Его, какъ и другихъ ему подобныхъ, высасывалъ, конечно, уѣздный откупщикъ, но все-таки кое-что перепало и отцу, а этого кое-что хватало на прокормленіе семьи. Этимъ относительнымъ счастьемъ отецъ мой былъ обязанъ смѣтливому сослуживцу своему, выдвинувшемуся изъ мелкихъ откупныхъ писцовъ въ управляющіе и попавшему на службу къ откупщику того самаго уѣзда, гдѣ жилъ теперь отецъ, переселившійся изъ П. по вызову того-же счастливаго сослуживца.

По рѣшенію семейнаго совѣта, я долженъ былъ остаться у родителей, помогать отцу въ его трудахъ и надзирать за дѣйствіями кабачниковъ. Особенно добивалась этого моя мать, нежелавшая разстаться со мною. Но я наотрѣзъ отказался. Мнѣ хотѣлось собственного хлѣба. Мысль сдѣлаться самостоятельнымъ превратилась у меня въ манію и толкала меня невѣдомо куда. По поводу моего упорства начались препирательства между мною, матерью и женою. Пошли опять семейныя дразги и несогласія; но я стоялъ на своемъ, подкрѣпляемый единомысліемъ отца, искренно желавшаго, повидимому, пустить меня на вольный воздухъ, чтобы избавиться отъ лишней обузы.

Случай выпуталъ меня изъ затруднительнаго положенія. Откупщики, или арендаторы одиночныхъ пунктовъ уѣзда, были постоянно на веревочкѣ у уѣзднаго откупщика. Имѣя названія откупщиковъ, первые скорѣе были служителями, чѣмъ арендаторами. Они служили на двухъ лапахъ, подчинялись строгой откупной субординаціи, ежедневно получали приказы и предписанія отъ уѣздной откупной конторы, на которые обязаны были отвѣчать рапортами; они часто штрафовались или совсѣмъ изгонялись, а залоговъ ихъ конфисковались. Въ организованномъ произволѣ, называвшемся *откупомъ*, существовала одна грубая, беспощадная сила, поработившая всякое человѣческое и законное право.

Удивительно-ли послѣ этого, что отецъ мой, получивъ однажды какой-то пакетъ съ большою откупною печатью, засуетился и растерялся совсѣмъ.

— Не ожидалъ, вотъ не ожидалъ! ворчалъ смущенный отецъ, бѣгая по комнатѣ. — Давно-ли!.. давно-ли ревизовали, и уже опять!.. А тутъ книги запущены, подвалъ въ безпорядкѣ!.. Боже мой, что дѣлать?..

— Что случилось, Зельманъ? спросила мать, не такъ легко терявшаяся.

— Случилось то, что я получилъ предписаніе готовиться къ ревизіи. *Самъ ѣдетъ*.

— Ну, ужъ эти ревизіи! только слава, что самъ ты хозяинъ собственной аренды, а на дѣлѣ еще хуже откупного батрака: того выгнали п—баста, а тутъ еще послѣднюю рубаху стянуть! сѣтовала мать.

Отецъ глубоко вздыхалъ и продолжалъ суетиться.

— Неужели-таки *самъ ѣдетъ*? добивалась мать.

— То-то и горе, что *самъ*. Будь Рановъ, я и не тузилъ-бы.

Это — душа-человѣкъ. А то нагрянетъ эта лошадиная морда и богъ-знаетъ что натворить.

Рановъ—была фамилія управляющаго, сослуживца и протектора отца.

Я принялся помогать отцу съ полнымъ усердіемъ. Владѣя русскимъ языкомъ, я грамотно и четко завелъ и подвелъ его откупныя книги. Избавившись отъ этой трудной формалистики, отецъ устроилъ все что нужно и въ подвалахъ. Кабаки были выбѣлены, коварныя жестяныя мѣры заблестѣли новою полудою,—словомъ, все одѣлось въ парадную форму. Отецъ хотя нѣсколько и успокоился, но душа его повремениамъ все-таки уходила въ пятки.

— Все, кажется, въ отличномъ порядкѣ; арендная плата тоже готова... а все-же... богъ-вѣсть... какъ-бы не случиться бѣдѣ, горевалъ отецъ.

— Ну, тебѣ вѣчно мерещатся бѣды да несчастія, упрекала мать.—Коли все въ порядкѣ, то чего-же бояться?

— Ты когда-нибудь видѣла *его*? гнѣвно спросилъ отецъ.

— Кого?

— Его самого.

— Гдѣ могла я его видѣть?!...

— То-то. Молчи-же да не разсуждай!

Напрасно силилось мое воображеніе нарисовать *лошадиную морду* и полный образъ *самого*. Я съ нетерпѣніемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и со страхомъ, ожидалъ пріѣзда грознаго откупщика.

Мы сидѣли за ужиномъ. На челѣ отца бродили тучи. Мать говорила мало, и то полушопотомъ; она, какъ видно, тоже перестала храбриться. Даже дѣти притихли и какъ-то вяло ѣли. Раздался вдали звонъ колокольчика, а на дворѣ — топотъ скачущей въ галопъ лошади. Отецъ поблѣднѣлъ и вскочилъ на ноги.

— Это онъ! вскрикнулъ отецъ и бросился въ двери.

Навстрѣчу ему вбѣжалъ запыхавшійся нижній чинъ корчемной стражи, командированный отцомъ, еще днемъ, навстрѣчу откупному начальству.

— Ыдетъ! торопливо доложилъ вѣстникъ, едва переводя духъ.

Отецъ безъ шапки выбѣжалъ на улицу; мать засуетилась. Въ секунду она стащила недоконченный ужинъ со стола, вытолкала куда-то дѣтей и приготовилась принять властелина, стоя у дверей, раскрытыхъ настежъ.

— Славно жить откупщикамъ! позавидовалъ я въ душѣ и выбѣжалъ на дворъ.

Ухарски влетѣлъ въ растворенные ворота тарантасъ. Ямщикъ

мастерски осадилъ лошадей. Изъ тарантаса выпрыгнулъ человѣкъ еще молодой. Отецъ, не обращая вниманія на прїѣзжаго, бросился къ тарантасу и, повидимому, приготовился помочь вылѣзть еще кому-то.

— Здравствуйте, раби Зельманъ! весело привѣтствовалъ отца молодой прїѣзжій.— Идите-же сюда. Кого вы тамъ ждете?

— А Гвиръ? нерѣшительно спросилъ отецъ.

— Ха-ха-ха! Гвиръ остался дома. Я одинъ.

Отецъ въ моментъ переродился. Съ распростертыми объятіями онъ бросился къ прїѣзжему. Они обнялись. Прибѣжала и мать, радостно привѣтствуя прїѣзжаго, какъ стараго друга. Его фамиліарно ввели въ домъ. Я вошелъ за ними. Хотя первый разъ въ жизни увидѣлъ я лицо этого прїѣзжаго, но сразу призналъ его за управляющаго Ранова, друга моего отца. О немъ мои родители такъ часто говорили, такъ часто восхваляли и его пріятную наружность, и его душевныя качества, что я по этимъ заглазнымъ панегирикамъ уже составилъ себѣ понятіе о немъ и о его лицѣ. Въ самомъ дѣлѣ, трудно было себѣ представить лицо болѣе симпатичное, доброе и умное, хотя далеко не красивое.

— Переполошились вы, не бойсь, бѣдный раби Зельманъ, получивъ предписаніе о прїѣздѣ нашего Тугалова, а?.. насмѣшливо замѣтилъ прїѣзжій, опускаясь на стулъ.

— Еще-бы! Какъ не пугаться! Его-бы не мѣшало прозвать не Тугаловымъ, а Пугаловымъ, скаламбурничалъ отецъ, развеселившійся уже окончательно.

— Потихе говорите, предостерегъ серьезно Рановъ отца, озираясь испуганно кругомъ.

— А что? обезпокоился отецъ.

— Онъ спитъ въ тарантасѣ, онъ пьянъ; но можетъ каждую минуту проснуться и услышать, тогда... Однакожь, пойду посмотрю, не проснулся-ли онъ въ самомъ дѣлѣ.

Рановъ торопливо всталъ и направился къ двери. Отецъ въ эту минуту напоминалъ собою несчастную жену Лота. Онъ, казалось, приросъ къ полу. Рановъ, посмотрѣвъ на обомлѣвшаго отца, не могъ продолжать своей роли и звонко разсмѣялся.

— Не пугайтесь, раби Зельманъ, я пошутилъ. Его нѣтъ.

— Можно-ли, раби Акива, такъ зло шутить? упрекнулъ отецъ, опять оживившійся.

— Какъ видите, раби Акива, мужъ мой не отличается особенною храбростью, подшутила мать, желая показаться бой-бабой.

Пошли чай, ужинъ и различныя угощенія.

— Какими судьбами Богъ избавилъ меня отъ посѣщенія Тугалова? спросилъ отецъ Ранова.

— Вы-же сами сказали: Богъ избавилъ, отвѣтилъ улыбающійся управляющій.

— Но какими путями?

— Вишневкою.

— Какъ вишневкою?

— Очень просто. Нашъ откупщикъ, какъ вамъ извѣстно, часто наливывается. Для этого удовольствія онъ, по скарденности своей, всегда избираетъ тѣ наливки или настойки, которыя начинаютъ сильно киснуть и портиться. Въ подвалѣ стояла бочка вишневки, которая еще въ прошломъ году покрылась плесенью на два пальца. Этой-то прелестью онъ такъ нарѣзался, что его молоденькая жена-кухарка не на шутку собиралась овдовѣть. Онъ залегъ въ постель и, надѣясь, пролежить еще долго, на великую радость откупныхъ служителей, молящихъ милосердаго Творца о его... скорѣйшей кончинѣ.

Всѣ искренно захохотали.

— Долго вы прогостите у насъ, раби Акива? полюбопытствовала мать.

— А что, скорѣе избавиться хотите?

— Помилуй Богъ, что вы! Вы нашъ благодѣтель, который...

— Полно, полно! Я знаю, что вы мнѣ рады, добрѣйшая Ревекка. Я завтра поѣду дальше. Много работы впереди.

— А ревизія? справился отецъ.

— Богъ съ ней. Я знаю, что у васъ все исправно, тѣмъ болѣе что вы ожидали *ею*. Притомъ, что изъ того, что я открою у васъ безпорядки? Все равно, не донесу. Я, однакожь, поверхностно загляну въ ваши книги сегодня еще.

Отецъ заторопился. Я принесъ цѣлую кучу брюхатыхъ книгъ, вычурию разграфленныхъ и напичканныхъ цифрами. Управляющій нѣсколько минутъ перелистывалъ книги, сличалъ ихъ и дѣлалъ отцу какіе-то непонятные для меня вопросы. Какъ видно, Рановъ былъ знатокъ своего дѣла. Отецъ изумлялся быстротѣ его сообразительности.

— Кто это такъ чисто и красиво ведетъ ваши книги? полюбопытствовалъ управляющій.

— Мой сынъ,—вотъ этотъ! Рекомендую! указалъ на меня отецъ не безъ родительской гордости.

— А! Ты грамотѣй, какъ вижу.

Рановъ любезно поговорилъ со мною нѣсколько минутъ и расхвалилъ меня.

Я въ этотъ вечеръ былъ чрезвычайно доволенъ собой. Я не спалъ всю ночь. Мнѣ въ голову забралась гордая мысль: воспользоваться расположеніемъ Ранова и вступить въ многочисленный цехъ откупныхъ служителей.

Цехъ этотъ принималъ въ свою среду почти все, что было грамотнаго и способнаго между еврейскимъ сословіемъ. Откупная служба съ ея повышеніями и деградациями, съ ея значительными окладами и наградами, съ ея казенно-подражательною формалистикою привлекала еврейское юношество, инстинктивно чувшее въ воздухѣ приближеніе новой эпохи и порывавшееся скинуть съ своихъ рукъ и ногъ тяжелые путы фанатической рутинѣ, мѣшавшей всякому вольному движенію къ сліянію съ русскимъ элементомъ. Откупъ представлялъ евреямъ единственную карьеру для достиженія кое-какого общественнаго положенія, порядочной жизни умственнымъ трудомъ безъ капитала и шахерства, а главное, для эманципированія себя отъ еврейскаго общественнаго мнѣнія, существенно душнившаго всѣхъ дѣйствовавшихъ и жившихъ не по общепринятой программѣ. Цехъ этотъ, за рѣдкимъ исключеніемъ, большею частію разочаровывался съ своихъ блестящихъ ожиданій: онъ попадалъ изъ огня да въ полымя. Вырвавшись изъ фанатической неволи, онъ попадалъ въ откупную кабалу, изъ которой не могъ уже выкарабкаться во всю жизнь. Получая извѣстное жалованье, онъ приучался къ нѣкоторой роскоши и такъ улаживалъ свою семейную жизнь, что проѣдалъ и проживалъ не только настоящіе свои заработки, но и будущіе. Этой расточительности отчасти содѣйствовала и неизбѣжная многочисленная еврейская родня, нападавшая на каждого откупнаго дѣятеля съ беспощадностью голодной, всепожирающей саранчи. Откупные служащіе, какъ жалкія проститутки, вѣчно были въ долгу у своихъ хозяевъ и, волей-неволей, должны были слѣпо повиноваться и тянуть лямку, нерѣдко даже впроголодь. Откупные служащіе играли у откушниковъ ту-же самую роль, что почтовые лошади у почтосодержателей: ихъ кормятъ потому, что не покормивши не поѣдешь, исправнымъ не будешь и барышей не получишь; но жизнь и здоровье этихъ лошадей дороги только до окончанія срока содержанія станціи, до перепродажи изувѣченныхъ и искалѣченныхъ животныхъ барышникамъ-цыганамъ... Бываютъ такіе почтосодержатели, которые вполне убѣждены въ томъ, что чѣмъ скуднѣе кормишь лошадей, тѣмъ онѣ легче на ходу, тѣмъ усерднѣе пробѣгаютъ станцію

въ надеждѣ на утоленіе голода. Такихъ убѣжденій бывали и откупщики: они держали своихъ служащихъ въ черномъ тѣлѣ для усиленія ихъ стремленія къ достиженію чего-то недосягаемаго. Эти несчастные служащіе гонялись вѣчно за собственною цѣпью, вертѣлись, какъ бѣлка въ колесѣ, надѣясь и голодая, а колесо, помимо ихъ вѣдома, исправно вертѣлось и приводило въ движеніе весь мерзкій откупной механизмъ, вырабатывавшій милліоны. Таковы были матеріальныя выгоды откупного цеха. Что-же касается до его общественнаго положенія, то оно было самое незавидное, жалкое и даже опасное. Еврейская нація косилась на короткокафтанниковъ, безбородыхъ голозадниковъ; ихъ считали чуть-ли не отступниками, полуренегатами, нравственною заразою. Русская общественная и административная сферы смотрѣли на этихъ несчастныхъ, какъ на орудіе откупщицкихъ интригъ, какъ на главное подспорье разорительной системы; а на самомъ дѣлѣ, эти бѣдняки выгребали изъ огня каштаны только для откупщиковъ, которые, въ благодарность, швыряли несчастнымъ одну пустую скорлупу. За то лишенія, нравственныя униженія и даже уголовная отвѣтственность доставались на долю откупныхъ вассаловъ. Если наглость откупщиковъ переходила всѣ границы закона, если никакія интриги и подмазки не помогали, то вся вина взваливалась на непосредственныхъ дѣятелей—служителей, а откупщики притались за стереотипною фразою своихъ довѣренностей: „что законно учините, приму за благо, спорить и прекословить не буду“. Открывалось, напримѣръ, уголовное преступленіе, совершенное по приказанію откупщика; начиналось слѣдствіе лицомъ или вѣдомствомъ неподкупнымъ; откупщикъ задавался вопросами: „кто сіе учинилъ?“ Учинилъ непосредственно не я, а мой повѣренный. — „На основаніи чего онъ сіе учинилъ?“ — На основаніи довѣренности. — „Что гласить сія довѣренность?“ — Что законно учините, приму за благо. — „Учинилъ-ли мой повѣренный то и то законно?“ — Нѣтъ! — Слѣдовательно... И десятки бѣдняковъ-повѣренныхъ отправлялись въ безсрочную тюрьму прежнихъ временъ, подвергались тѣлесному наказанію, ссылались въ Сибирь, семьи ихъ умирали съ голоду, а откупщики вербовали новыя руки для загребанія жара и съ чистою совѣстью жирѣли и богатѣли. Къ стыду моей націи, я долженъ сказать, что подобныя безсердечныя откупщики водились большею частію между евреями; русскіе откупщики несравненно человѣчнѣе относились къ своимъ сотрудникамъ.

Въ ту безсонную ночь, когда мною овладѣла мысль вступить въ описанный мною цехъ откупныхъ служителей, я увидѣлъ медаль

съ ея блестящей стороны и увлекся этимъ обманчивымъ блескомъ.

На утро, собравшись съ духомъ и улучивъ минуту, когда Рановъ былъ одинъ, я попросилъ его дать мнѣ какое-нибудь мѣсто въ управляемой имъ конторѣ. Какъ только я заговорилъ объ этомъ, пріятное, улыбающееся лицо управляющаго нахмурилось до суровости.

— Еще одинъ! процѣдилъ онъ сквозь зубы разсѣяннo, какъ-будто думая вслухъ.

Я не понялъ его и остановился на половинѣ фразы. Мы оба замолчали и какъ-то странно посмотрѣли другъ на друга.

— Юноша, ты просишь мѣста въ откупѣ?

— Да, отвѣчалъ я, робѣя.

— И увѣренъ, что если достигнешь этого блага, будешь безконечно счастливъ? Да?

— Не знаю, я буду стараться...

— Нѣтъ, произнесъ Рановъ рѣзко:—ты не будешь счастливъ, какъ ни старайся. Ищи что-нибудь понадежнѣе.

— Я ни къ чему неспособенъ болѣе, замѣтилъ я, краснѣя.

— Ты еще очень молодъ. Приспособь себя къ чему-нибудь другому.

— Поздно—у меня жена...

— Скоро и ребенокъ будетъ! Несчастные евреи!..

Рановъ сострадательно посмотрѣлъ на меня и вздохнулъ.

Я былъ въ крайне-неловкомъ положеніи.

Вошелъ мой отецъ.

— Вашъ сынъ проситъ мѣста въ откупѣ.

— Онъ предупредилъ меня; я только-что хотѣлъ васъ объ этомъ самомъ попросить.

— Но вѣдь вы, раби Зельманъ, испытали уже это счастье. Неужели вы посоветуете вашему сыну этотъ гнусный хлѣбъ?

— Что-же дѣлать, другъ мой, когда другого нѣтъ?!

— Найдется. Пусть ищетъ. Вы-же себя отыскали!

— Благодаря вамъ. Но развѣ мой хлѣбъ питательнѣе и надежнѣе? Одинъ капризъ пьянаго Тугалова можетъ меня пустить по міру съ семьей. Я тотъ-же откупной лакей, только съ болѣею отвѣтственностью и рискомъ.

— За то и съ болѣею независимостью. Знаете-ли, раби Зельманъ, я, я самъ, великій управляющій, готовъ съ вами помѣняться; я вамъ отъ души завидую.

Всѣ разомъ притихли. Каждый думалъ свою думу.

— Вотъ что, молодой человѣкъ. Если ты неизмѣнно рѣшился испытать откупное счастье, то я тебѣ посодѣйствую.

— Значить, я могу надѣяться...

— Не торопись надѣяться. Права мои ограничены; служащихъ принимать я своею властью не могу: это дѣлаетъ самъ Тугаловъ. Я только могу тебѣ посодѣйствовать словомъ и совѣтомъ. Приѣзжай въ Е. къ тому времени, когда я возвращусь изъ объѣзда, и явись ко мнѣ. Постараюсь.

Отецъ разсыпался въ благодарностяхъ.

О моей радости я сообщилъ женѣ, но она не поздравила меня и побѣжала къ моей матери и долго съ ней совѣщалась и шепталась.

Когда Рановъ уѣхалъ, въ нашей семьѣ поднялась страшная гроза. Мать напала на отца и на меня; на меня-же напала и жена.

— Ты сатаиѣ продаешь душу сына, горланила мать на отца:— чтобы избавиться отъ харчей, ты его гонишь въ адъ! Да ты лучше окрестить его совсѣмъ, — скорѣе дѣло будетъ, скаредъ ты этакій! Порядочные отцы, рискуя жизнью, спасаютъ дѣтей отъ ренегатства, а онъ...

Отецъ увидѣлъ, что дѣло плохо, и удралъ въ подвалъ. Мать накинута на меня.

— Такъ вотъ какъ ты платишь матери за ея любовь? Такъ ты опозорить ее вздумалъ? Хорошъ сыночекъ, нечего сказать!

— Не даромъ онъ надъ книжками торчалъ день и ночь: вотъ и дочитался, добавила моя супруга, всплеснувъ руками.

— Молчи! прикрикнулъ я на жену.—Ты вѣдь не мать!

— Она на тебя еще больше правъ имѣетъ, чѣмъ я, поддержала ее маменька.

— Именно поэтому-то она и молчать должна. Отыскивать хлѣбъ обязанъ я, а не она; пусть-же ѣстъ готовый и не разсуждаетъ.

— Наѣшья твоимъ хлѣбомъ поскуднымъ! Вбилъ себѣ въ голову „свой хлѣбъ“. Имѣлъ хлѣбъ готовый,—нѣтъ, противень ему хлѣбъ моей матери!

— Ну, ужъ ты молчала-бы лучше о хлѣбѣ твоей матери: онъ былъ для моего сына не очень-то сладокъ! озлобилась мать на невѣстку.

— Да и вашъ-то не слаще, дерзко уязвила жена.

Началась женская свалка. Я улизнулъ, оставивъ дѣйствующихъ лицъ на сѣденіе другъ другу. Я любилъ мою мать, но когда на нее находилъ припадокъ фанатизма, я ненавидѣлъ ее. Все прошлое разомъ являлось передъ моими глазами: щипки и пинки за мо-

литвы и обряды, страданія моего дѣтства, потерянный навсегда докторскій дипломъ,—словомъ, вся изуродованная моя жизнь въ полномъ объемѣ.

Сцены, въ родѣ описанной мною, повторялись каждый день. Мать пилила отца и меня, а жена довольствовалась одной жертвой — мною. Но мое рѣшеніе было непоколебимо. Легко представить себѣ послѣ этого мою радость, когда въ одно туманное утро я очутился въ степи, на проселочной дорогѣ, извивавшейся между жидкими лѣсками и тонкими болотами, на дорогѣ, пролежавшей между деревней—мѣстомъ жительства родителей—и городомъ Е.—центромъ моихъ заветныхъ надеждъ. Моя фантазія опережала черепашій шагъ двухъ полудохлыхъ кляченокъ со свинными рылами, сонливо тянувшихъ скрипучій хохладскій возъ, на которомъ дремалъ мой полупьяный мужикъ-возница и на которомъ я предвкушалъ заманчивый запахъ той сивушной стихіи, въ которую собирался окунуться съ головою. Воображеніе такой чародѣй, который любое лягушечье болото превратитъ въ чертогъ, населенный божественными феями. Подъ вліяніемъ разыгравшагося воображенія я вступалъ уже въ этотъ чертогъ, но увъ!—проснулся въ болотѣ: возъ, во время моего полусна, опрокинулся у края топкой лужи... Вскочивъ испуганно на ноги и вытирая лицо, опачканное жидкою грязью, я не догадался, что это мелкое событіе аллегорически рассказало мнѣ исторію откупной карьеры... Съ трепетомъ надежды въ сердцѣ я явился къ Ранову. Отъ него, какъ я полагалъ, зависѣло рѣшеніе моей участи.

Онъ принялъ меня ласково.

— Упорный-же ты человѣкъ, какъ я замѣчаю! сказалъ онъ мнѣ улыбаясь.—Ты все-таки не отстаешь отъ своего намѣренія вступить въ число откупныхъ нищихъ?

— Все равно, лишь-бы я имѣлъ свой хлѣбъ, отвѣталъ я рѣшительно.

— Ладно, я уже замолвилъ за тебя слово-другое.

— Что-же?

— Ничего еще вѣрнаго тебѣ сообщить не могу. Приходи завтра, только какъ можно пораньше. Я представлю тебя лично *ему*. Все зависитъ отъ того расположенія духа, на которое мы понадемся.

Съ неописаннымъ нетерпѣніемъ я ждалъ этого рокового завтра, а время растягивалось въ безконечность. Я въ эти сутки лишился и аппетита, и сна. Мои нервы не выходили изъ возбужденнаго состоянія. Воображеніе работало безъ усталости, рисуя мнѣ сцену зав-

трапняго представленія. Я представлялъ себѣ вопросы, которые долженъ задать мнѣ откупщикъ, и измышлялъ удачныя отвѣты, которые показали-бы меня съ самой выгодной стороны.

До зари еще я былъ на ногахъ. Тщательно умывшись и причесавшись, я выбралъ изъ моего тощаго гардероба все, что было наряднаго и праздничнаго, и напялилъ на себя. Посмотрѣвшись въ суздальское зеркальце, висѣвшее въ бѣдной, грязной коморкѣ еврейскаго постоялаго двора, я остался отчасти доволенъ своей прилизанной физиономіей. Правда, худощавое мое лицо было нѣсколько лимоннаго цвѣта, носъ и ротъ какъ-то неестественно косились въ различныя стороны, но въ своемъ самообольщеніи я эти ненормальности взваливалъ на дживость нешлифованнаго стекла, и былъ на этотъ счетъ спокоенъ.

Когда я явился къ Ранову, онъ пресерьезно измѣрилъ меня глазами съ головы до ногъ и неистово разсмѣялся. Я сконфузился не мало.

— Что ты, другъ мой, съума сошелъ, что-ли?

— Что такое?—не понимаю...

— Для чего ты, скажи на милость, такъ нарядился?

— Надобно же прилично...

— Какое тамъ „прилично“? Ахъ, да! Откуда-же тебѣ и знать, бѣдненькому, добавилъ онъ серьезно.—Ты вѣдь воображилъ, что идешь къ богачу, къ знатному откупщику, утопающему въ роскоши; что вступишь въ раззолоченныя хоромы по мягко-шелковымъ коврамъ; ты не хотѣлъ обидѣть эстетическое чувство еврейскаго денди грязнымъ бѣльемъ и испачканнымъ сюртукомъ. Ты все это воображилъ себѣ, неопытный юноша, не такъ-ли?

— Нѣтъ. Но...

— И ты ошибся, другъ мой, горько ошибся! Ты представишь-ся не человѣку, а животному, скоту, грязной свиньѣ,—вотъ что! Нашъ Тугаловъ, продолжалъ онъ, какъ-то особенно злобно:—нашъ богачъ Тугаловъ не любитъ франтовъ, ненавидитъ человѣка съ смѣлымъ взглядомъ и словомъ, людей съ развязными манерами. Подобныхъ людей онъ считаетъ неблагонадежными и даже опасными. Онъ утверждаетъ, что благообразіе несомнѣнный признакъ сибаритства; сибаритство ведетъ къ мотовству и расточительности; расточительность же угрожаетъ откупной выручкѣ. Смѣлые глаза и свободное слово—вѣрные симптомы дерзости и болтливости, угрожающихъ откупной дисциплинѣ и сохраненію конторскихъ тайнъ. Ты видишь, другъ мой, что въ томъ видѣ, въ какомъ ты приготовился предстать передъ Тугаловымъ, ты нигде не го-

дишься. Ты получишь самый грубый отказъ, а мнѣ изъ-за тебя достанется самая обидная нахлобучка.

— Что-же мнѣ дѣлать?

Рановъ посмотрѣлъ на часы.

— Еще довольно рано. Отправься-ка на квартиру, надѣнь свое дорожное платье, грязное бѣлье и истоптанные сапоги, затѣмъ приходи сюда. Имѣй въ виду, что чѣмъ бѣднѣе, грязнѣе и скромнѣе ты покажешься, тѣмъ скорѣе ты получишь мѣсто.

Съ стѣсненнымъ сердцемъ я поплелся вспать. Характеристика и своеобразная логика откупщика-оригинала не предвѣщали ничего хорошаго.

Черезъ полчаса я явился къ Ранову почти грязнымъ оборвышемъ.

— Ну-да, одобрительно кивнулъ Рановъ головою, улыбувшись. — Теперь ты похожъ на настоящаго откупного кандидата. Если ты еще съумѣешь скромно опускать глаза, ежиться, дичиться, краснѣть и отмалчиваться, то я могу теперь уже поздравить тебя съ мѣстомъ.

— Но вѣдь это пытка постоянно притворяться!

— Что-же дѣлать, мой милый? Люди на канатѣ отплясываютъ, хлѣба ради. Ты, впрочемъ, не пугайся: это притворство и нищенскія декорации необходимы только въ началѣ. Тугаловъ, принявъ кого-нибудь разъ на службу, рѣдко ему отказываетъ. Чѣмъ больше пороковъ и недостатковъ онъ открываетъ въ своихъ служащихъ, тѣмъ болѣе онъ ими дорожитъ. Этого я узналъ уже за вора, — разсуждаетъ онъ по-своему, — за лгуна, за лѣнтяя, за дурака, и знаю какое порученіе ему дать, знаю, на-сколько могу ему довѣрять и на чемъ его накрывать, а новаго прійми — пока узнаешь его слабости, онъ тебя сто разъ надуетъ и все перепортитъ.

Сознаюсь, если-бы не самолюбіе, я попытлся-бы назадъ и бѣжалъ-бы безъ оглядки, — до того испугала меня нравственная фпзіономія перваго откупщика, съ которымъ мнѣ приходилось серьезно столкнуться лицомъ къ лицу. Но мысль возвратиться къ родителямъ ни съ чѣмъ, явиться трусомъ, сдѣлаться нахлѣбникомъ у отца и опять приняться за роль недоросля — унижала меня въ собственныхъ глазахъ. Скрѣпя сердце, я ступилъ въ переднюю откупщика, вслѣдъ за своимъ протекторомъ, Рановымъ.

Тугаловъ жилъ на самомъ концѣ города, на краю самой болотистой улицы, въ самомъ мрачномъ камышовомъ домишкѣ. Мизантропія, цинизмъ и скупость разъединили Тугалова совсѣмъ съ обществомъ. Онъ нигдѣ не бывалъ, кромѣ своей конторы, нахо-

дившейся на противоположномъ концѣ города, и никого у себя не принималъ, кромѣ откупныхъ служащихъ, и то по дѣламъ службы. Весь городъ его презиралъ, а онъ всѣхъ ненавидѣлъ. Его грубость и невѣжество вошли въ пословицу. Онъ прятался отъ людей еще и по другой причинѣ: имѣя уже взрослыхъ дѣтей отъ первой жены, умершей нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ вступилъ въ новый бракъ съ своей кухаркой, самой грубой, невѣжественной женщиной, пользовавшейся, сверхъ того, дурной славой. Поступокъ подобнаго рода, довольно рѣдкій между евреями, возмущалъ его дѣтей, явно враждовавшихъ съ отцомъ и мачихой, и возбуждалъ противъ него мнѣніе еврейскаго общества. Онъ чувствовалъ позоръ своего положенія, прятался подальше, часто напивался, деспотствовалъ и вымещалъ свою злобу на безпомощныхъ служащихъ. Этотъ свирѣпый тиранъ находился, однакожъ, подъ неограниченнымъ вліяніемъ своей законной супруги кухарки.

Въ мрачной и грязной откупщицѣея передней, лишенной почти всякой мебели, стоялъ, согнувшись какъ-то болѣзненно и прислонившись къ сырой стѣнѣ, какой-то оборванный еврей низенькаго роста, съ одутловатымъ, морщинистымъ лицомъ, опущеннымъ рыжей съ просѣдью бородкою, и длинными, колтуноватыми рыжими пейсами. Полы его непомерно-длиннаго кафтана съ прорѣхами различныхъ формъ украшались широкой бахромой присохшей грязи, образовавшей на истрепанныхъ краяхъ цѣлѣ своеобразные грозды. Съ виду человѣкъ этотъ принадлежалъ къ разряду самыхъ отчаянныхъ попрошайекъ. Тѣмъ болѣе поразило меня то, что Рановъ подалъ ему руку и что рыжій еврей такъ фамильярно заговорилъ съ Рановымъ. Глаза нищаго удивили меня еще больше: они выражали столько самоувѣренности и наглости, что я сразу долженъ былъ отстать отъ перваго моего предположенія насчетъ благородства его профессіи.

— Почтеннѣйшій раби Зорахъ, видѣли вы уже Гвира? спросилъ Рановъ.

— Нѣтъ еще. Онъ, кажется, не совсѣмъ здоровъ. Что вы сегодня такъ поздно явились? спросилъ, въ свою очередь, рыжій.

— Молодой человѣкъ этотъ меня нѣсколько задержалъ, отвѣчалъ Рановъ, указавъ на меня глазами.

— Кто онъ такой? спросилъ нахально рыжій.

— Это сынъ нашего арендатора, раби Зельмана, если знаете.

— А! промывалъ какъ-то небрежно рыжій. — Что-же ему угодно?

— Кстати, раби Зорахъ. Этотъ молодой человѣкъ ищетъ мѣста

по откупу. Я обѣщала выхлопотать ему какое-нибудь мѣстечко по письменной части... Пожалуйста, не повредите... Его отецъ...

— Объ отцѣ лучше не говорите: я не изъ числа его почитателей... Для васъ, однакожъ, раби Акива, я буду молчаливъ какъ рыба.

Рановъ сошелъ въ моихъ глазахъ съ своего пьедестала. „Такъ вотъ онъ, всемогущій управляющій, подумалъ я:—такъ моя участь зависить отъ этого рыжаго оборванца! Я съ любопытствомъ поднималъ глаза на мнимаго нищаго, желая по какимъ-нибудь нагляднымъ признакамъ узнать настоящее положеніе этого съ виду ничтожнаго человѣка, въ которомъ управляющій явно заискивалъ. Но въ эту минуту скрипнула какая-то боковая дверь; я повернулъ голову въ ту сторону.

Въ переднюю, медленными шагами, шлепая громадными туфлями, вошелъ человѣкъ длиннаго роста, широкоплечій, въ испачканномъ халатѣ и съ трубкою въ зубахъ. Краснобагровое лицо его, непомерно-длинное, съ громадными скулами, съ мутными, бессмысленными глазами, имѣло въ себѣ что-то лошадиное. Я сразу догадался, что это самъ Тугаловъ, во всей своей красѣ. Я обратилъ свой взоръ на рыжаго. Онъ, казалось, сдѣлался еще ниже ростомъ, еще болѣзненнѣе согнулся, еще плотнѣе прильпился къ сырой стѣнѣ. Рановъ поклонился, но поклонъ его остался незамѣченнымъ.

— Ты, голодранецъ, отчего вчера вечеромъ не явился? грозно спросилъ Тугаловъ рыжаго какимъ-то реющимъ басомъ и странно шепелявя.

— Цѣлый вечеръ, по вашему-же приказанію, по кабакамъ бѣгалъ, подсылы дѣлалъ.

— Ты все по кабакамъ бѣгаешь, а на самомъ дѣлѣ дрыхнешь гдѣ-нибудь на печи, дармоѣдъ!

— Клянусь бородой и пейсами, до полуночи бѣгалъ. Вотъ даже слѣды, скромно указавъ рыжій на грязную бахромъ своего кафтана.

— Не ври, лѣвтай: эта грязь еще прошлаго года.— Ну, что, Рановъ, есть что-нибудь новое? обратился откупщикъ къ управляющему нѣсколько ласковѣе.

— Все обстоитъ благополучно. За приказаніями явился...

— Пойдемъ. А это что за фигура? обратился откупщикъ ко мнѣ, измѣняя меня мутными, воспаленными глазами.

— Это сынъ нашего арендатора, раби Зельмана. Ищетъ мѣста по откупу. Пишетъ отлично, поторопился отрекомендовать меня Рановъ.

Я молчалъ, потупивъ застѣнчиво глаза. Ничего не видя, я внутреннимъ чутьемъ чувствовалъ, какъ взоръ Тугалова пронизывалъ меня насевозъ. Онъ, казалось, считалъ прорѣхи на моемъ испачканномъ сюртукѣ и осматривалъ всѣ заплаты на моихъ истоптанныхъ сапогахъ.

— Служилъ онъ уже гдѣ-нибудь? спросилъ Тугаловъ по окончаніи осмотра.

— Нѣтъ еще.

Откупщикъ и его управляющій ушли въ боковую дверь. Рыжій подбѣжалъ ко мнѣ. Онъ былъ неузнаваемъ: въ одну минуту онъ выросъ на цѣлую четверть аршина, станъ его выпрямился и глаза заискрились дерзостью.

— Жалованья не получишь: я напередъ знаю резолюцію. О, лучше меня *сю* никто не знаетъ!

— Какъ-же безъ жалованья служить?

— Неудобно — ну, и проваливай отъ насъ подальше. У насъ такъ...

Въ эту минуту боковая дверь опять заскрипѣла. Рыжій стоялъ уже въ прежней смиренной позѣ у стѣны. Рановъ знакомъ пригласилъ меня въ кабинетъ. Нѣсколько дрожа, я вступилъ въ это кабачное святилище.

Кабинетъ откупщика былъ такъ-же грязенъ и мраченъ, какъ и передняя. Онъ отличался только тѣмъ, что въ немъ находились какая-то жесткая кровать, прикрытая безцвѣтнымъ одѣяломъ; письменный ветхій столъ съ множествомъ ящиковъ, на которомъ были разбросаны въ живописномъ беспорядкѣ цѣлыя кипы бумагъ и счетныхъ книгъ; на полу была симметрически разставлена опечатанная крупная и мелкая стеклянная посуда, издававшая сивушный запахъ; разныя гардеробныя принадлежности небрежно валялись по стульямъ.

Я остановился у дверей.

— Ты будешь принять въ канцелярію, милостиво объявилъ мнѣ Тугаловъ.—Рановъ беретъ тебя пріучить. Современемъ и жалованье получишь, если заслужишь. Но смотри въ оба. У меня строгіе порядки. Чуть того—какъ щепку вышвырну. Ну, чего еще ждешь? Ступай!

Я упалъ съ седьмого неба. „Современемъ и жалованье получишь“. Вотъ тебѣ и *свой хлѣбъ*, подумалъ я, горько подсмѣиваясь надъ самимъ собою, надъ своими сангвиническими надеждами, и съ поникшей головой поплелся безъ цѣли по ухабистой улицѣ. Рановъ догналъ меня.

— А что, хорошъ онъ? спросилъ меня Рановъ, заливаясь смѣхомъ.—Ты, братъ, однакожь, не тужи: чрезъ мѣсяцъ, много два тебѣ будетъ назначено жалованье. За это я ручаюсь, лишь-бы ты понималъ дѣло.

Я нѣсколько ожилъ.

— Кто такой этотъ противный рыжій еврей, который торчитъ въ передней?

— О, братъ, это у насъ самый главный. Съ нимъ ссориться опасно.

— Что-же онъ такое?

— Онъ, собственно говоря, никакой должности или обязанности не имѣетъ. Онъ—единственный любимецъ Тугалова. Онъ собираетъ всѣ городскія сплетни и сообщаетъ ихъ своему патрону, онъ—ходячая газета откупщика; онъ, глазами аргуса, слѣдитъ за всѣми поступками откупныхъ служителей и даже за ихъ домашнею жизнью. Онъ какими-то таинственными путями узнаетъ, что стряпаютъ у каждого изъ его сослуживцевъ къ обѣду, и о всякой малѣйшей роскоши доноситъ Тугалову. Если роскошь эта хоть сколько-нибудь превышаетъ средства служащаго,—виновный подвергается брани и даже побоямъ, а въ иныхъ случаяхъ немилосердно изгоняется.

— Отчего-же человѣкъ не имѣетъ права на заработанныя деньги позволить себѣ нѣкоторую роскошь?

— Тугаловъ утверждаетъ, что роскошь ведетъ къ расточительности, а расточительность—родная сестра мошенничеству; мошенничать-же, по его мнѣнію, имѣютъ право одни только откупщики, но не ихъ служащіе. Недавно онъ потребовалъ къ себѣ на судъ одного изъ нашихъ служащихъ по доносу рыжаго, но требуемый, предвидя кулачную расправу, отказался отъ службы, а явиться не захотѣлъ. И за что-же, ты думаешь?

— За что?

— За кашу.

— Какъ за кашу?

— Очень просто. Рыжій донесъ, что этотъ повѣренный ежедневно ѣстъ гречневую кашу съ подливкою гусинаго жира, довольно цѣннаго матеріала у евреевъ.

— И сколько получаетъ рыжій за свою обязанность?

— Всего нѣсколько рублей въ мѣсяцъ. Но онъ пользуется взятками отъ каждого кабацника, отъ каждого откупного служителя. Онъ накопилъ уже нѣсколько тысячъ, которыя пускаетъ въ ростъ. Предъ откупщикомъ онъ притворяется забытымъ, униженнымъ, ни-

цнмъ, голодающимъ. Онъ вмѣстѣ съ прислугой пользуется объѣздами отъ откупщичьяго стола, ползаетъ предъ откупщицею и ея роднею. Но его хлѣбъ тоже горекъ: онъ цѣлыя ночи напролетъ стоитъ у дверей кабинета, когда Тугаловъ тянетъ прокисшую вишневку, и по заказу бесѣдуетъ въ этомъ пьяницеѣ. Нерѣдко достаются ему и жестокія потасовки. Онъ все терпѣливо переноситъ и копить деньги.

— Это ужасно!

— Еще не то увидишь. Не напрасно я тебѣ отсовѣтывалъ принимать этотъ откупной, скверный хлѣбъ.

Пока я еще и сквернаго хлѣба не имѣлъ; я его видѣлъ только въ перспективѣ, поступивъ ученикомъ по бухгалтерской части. Я работалъ, какъ волъ, цѣлыя дни и вечера. Благодаря расположенію управляющаго и заботливости моихъ сослуживцевъ, полюбившихъ меня за мой усидчивый характеръ и трудолюбіе, я быстро усвоивалъ откупную науку, для которой требовались одна азбука и первыя четыре правила арифметики. Я, молодая, свѣжая, горячая почтовая лошадь, бѣжалъ, не щадя силъ, лишь-бы скорѣе добратъся до станціи, въ ожиданіи корма...

Мѣсяца черезъ два я добѣжалъ до жданнаго корма. Правда, это была одна солома, казенное канцелярское жалованье, но *нѣчто* все-таки лучше, чѣмъ ничто. На это нѣчто можно было уже купить хлѣбъ, а хлѣбомъ, хоть и черствымъ, можно уже кое-какъ прожить въ ожиданіи лучшихъ временъ. Я рѣшился на эти скудные средства зажить собственнымъ домомъ. Я написалъ родителямъ и просилъ мать пріѣхать и привезти съ собою мою жену. Доброта матери сказала и при этомъ случаѣ. Она немедленно пріѣхала, наняла для меня въ концѣ города дешевенькую избушку, устроила на собственные деньги мое діогеновское хозяйство, затѣмъ уѣхала и прислала мнѣ жену съ собственной служанкой. Вслѣдъ за женою притащилась громадная телѣга, биткомъ набитая разными сельско-хозяйственными продуктами и съѣстными припасами. Въ кошелекѣ моей жены оказалась пара десятковъ серебряныхъ рублей, подаренныхъ ей моей матерью на новое хозяйство. Мы скоро устроились.

Какъ велико было мое счастье въ первые дни! Какъ сладокъ показался мнѣ первый кусокъ хлѣба, добытый собственнымъ трудомъ! Каждая щепка, принадлежавшая къ моему хозяйству, была мнѣ дорога. Я собственноручно *каждое* утро стиралъ пыль съ моей мебели, окрашенной желтой масляной краской. Я интересовался каждой картофелиной, входилъ во всѣ хозяйственные мело-

чи, считалъ себя какимъ-то собственникомъ, дѣятелемъ, семьяниномъ, будущимъ главой многочисленнаго потомства; я чувствовалъ то-же самое, что чувствуетъ, вѣроятно, молоденькій воробей, устраивающійся въ первый разъ въ жизни съ своей юной подругой въ слѣпленномъ имъ самимъ гнѣздышкѣ. На душѣ было весело и свѣтло. Настоящее и будущее мнѣ улыбалось. Улыбалась даже и жена; она, впрочемъ, имѣла достаточную причину улыбаться. Я не дотрогивался до русскихъ книжекъ, все досужее отъ службы время посвящалъ домашней жизни, пускался съ женою въ длинные разсужденія по хозяйственной части, изобрѣталъ для сведенія концовъ какія-то оригинальныя экономическія теоріи, которыя своей непримѣнностью на практикѣ возбуждали неудержимый смѣхъ жены, болѣе опытной въ этомъ дѣлѣ, — словомъ, я цѣлкомъ забрался въ сферу этой простой, неразвитой женщины, и она торжествовала, считая меня совершенно обращеннымъ на путь истинный. Я разыгрывалъ какую-то дѣтскую идиллію, воображалъ себя пастушкомъ, чувствовалъ потребность бѣгать объ руку съ моею пастушкой по горамъ и доламъ. Моя пастушка, однакожъ, не опьянялась подобно мнѣ: на прогулкахъ она не давала мнѣ руки, потому что еврейское общественное мнѣніе тогдашняго времени считало неприличнымъ такую публичную короткость, даже между мужемъ и женой.

Супруга моя торжествовала, однакожъ, недолго. Первое мое счастливое ощущеніе скоро притупилось. Новизна моего положенія, частица воображаемой независимости занимали меня мѣсяцъ, другой, и затѣмъ я отрезвился совершенно. Мой хлѣбъ показался мнѣ черезчуръ нищенскимъ, мои радости представились дѣтскими и мелочными. Сверхъ того, мой хлѣбъ оказался только мнимымъ, — я жилъ, собственно говоря, не моимъ крохотнымъ жалованьемъ, а подарками моей матери, пользовавшейся каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы присылать намъ, тайкомъ отъ отца, цѣлыя грузы съѣстныхъ припасовъ. Ходули, которыя подставило мнѣ мое воображеніе, разомъ выскользнули изъ-подъ моихъ ногъ, и я изъ гиганта превратился снова въ безпомощнаго пигмея. Моя служба была тяжела и горька. Десять разъ на день, при самой скверной погодѣ, я обязанъ былъ, какъ главный помощникъ конторщика (бухгалтера), тащить къ откупщику на квартиру цѣлыя кипы безграмотныхъ бумагъ, для прочтенія и подписи. Откупщикъ, большею частью пьяный, обращался со мною грубо и дерзко. Свой грязный, оборванный костюмъ, въ которомъ я представился въ первый разъ и который мнѣ внушалъ отвращеніе, а ему довѣріе,

я бросилъ тотчасъ по вступленіи въ дѣйствительную службу и одѣлся хоть не щегольски, но довольно чисто и прилично. За это откупщикъ измѣнилъ свое мнѣніе обо мнѣ и прозвалъ меня *щеголемъ*. Произносилъ онъ слово „щеголь“ съ такой презрительной ироніей, сопровождалъ онъ эту кличку такимъ ядовитымъ взглядомъ, что я всякій разъ краснѣлъ отъ досады и злости, но молчалъ и терпѣлъ по необходимости. По мѣрѣ того, какъ я разочаровывался въ своемъ мнимомъ счастьи, по мѣрѣ того, какъ я началъ неглижировать мелочами моего микроскопическаго хозяйства, по мѣрѣ того, какъ я опять принялся за свои старыя привычки корпѣть въ досужее время надъ русскими или еврейскими запрещенными книгами, жена моя все чаще и чаще меня упрекала и пилила по-прежнему. Наше семейное счастье полетѣло кувиркомъ туда, куда улетаетъ большая часть семейныхъ счастій женатаго, бѣднаго, неразвитаго человѣчества. Сознаюсь, я самъ подаль поводъ къ такому превращенію. Увлечшись своимъ новымъ положеніемъ и жаждая полного домашняго спокойствія, я поддался женѣ самымъ неразумнымъ образомъ и приносилъ ей жертвы, которыя она не хотѣла или не умѣла цѣнить; я потворствовалъ ея убѣжденіямъ, вынесеннымъ изъ фанатической сферы ея отца; я часто началъ ходить въ синагогу, исполнять всѣ обряды и на каждомъ шагу произносить короткія и длинныя молитвы. Сначала моя напускная набожность радовала жену, строго слѣдившую за моими поступками, но мало-по-малу она начала игнорировать мою деликатность, сдѣлалась взыскательною до невыносимости и относилась мой образъ дѣйствій къ такимъ причинамъ, которыя меня оскорбляли.

— Вотъ видишь, говорила она при видѣ моей притворной набожности:—сколько ты ни смѣялся надъ моимъ отцомъ, сколько ни умничалъ, а прозрѣлъ, наконецъ. Теперь сознаешь и самъ, что отецъ далеко умнѣе тебя, что жить надобно не такъ, какъ ты жилъ, а такъ, какъ онъ живетъ.

— А ты хотѣла-бы, чтобы я жилъ такъ, какъ онъ живетъ? спросилъ я насмѣшливо.

— О, я этого только и добиваюсь. Я молю Бога...

— Хорошо. Я буду жить, какъ твой отецъ: буду бѣгать къ цадикъ, въ баню, въ синагогу, буду по пятницамъ чистить подсвѣчники, ножи и вилки. Но ты устрой себѣ кабакъ подъ фирмою „Лондонъ“, ломай дѣла, какъ твоя маменька, корми меня и будущихъ нашихъ дѣтей.

— Ты чего упрекаешь меня маменькой? Жралъ, жралъ ея хлѣбъ, а теперь еще издѣваться надъ нею вздумалъ?

— Я не издѣваюсь. Я доказываю тебѣ только одно: если я послѣдую примѣру твоего отца, то тебѣ придется трудиться какъ твоей матери, чтобы прокормить семью.

— А теперь *ты* кормишь?

Жена скорчила презрительную гримасу.

— Конечно, не ты.

— Всякій сапожникъ, всякій водовозъ больше твоего зарабатываетъ. Нечего чваниться.

— Но вѣдь мы живемъ-же?

— Живемъ? Хорошая жизнь! Питаемся, какъ нищіе, обѣдками твоей матери. А она, хитрая, рада-радехонька, что такъ дешево отдѣлывается.

Неблагодарность жены къ моей матери вызвала, конечно, продолжительную ссору. Мы съ женою долгое время играли въ молчанку. Она скучала и съ каждымъ днемъ больше и больше злилась, а я глоталъ книжку за книжкой, глоталъ съ такою жадностью, какъ никогда. Моя любознательность вынырнула опять на поверхность, да къ тому, впрочемъ, имѣлись особыя причины.

Я, къ счастью моему, попалъ въ среду сослуживцевъ, молодыхъ евреевъ, вполне сходявшихся со мною въ религіозныхъ и житейскихъ мнѣніяхъ. Всѣ они происходили изъ такой-же туманной сферы, какъ и я; всѣ они прошли ту-же грустную житейскую школу, какъ и я, съ различными, конечно, оттѣнками, всѣ жаждали европейскаго образованія, сознавая, что старая гниль, которою напичкали ихъ мозги, составляетъ лишь бремя бесполезное, негодный балластъ, выбросить который за бортъ скорѣе полезно, чѣмъ вредно; всѣ они понимали и твердо рѣшились перевоспитать себя и выработать убѣжденія, болѣе подходящія къ живой истинѣ, чѣмъ къ мертвому ханжеству. Во главѣ насъ сталъ управляющій Рановъ, человекъ зрѣлый, разумный, начитанный, съ теплымъ сердцемъ и свѣтлой головой. Всѣ мы сошлись, какъ родные братья, и смотрѣли на нашего коновода-Ранова, какъ на старшаго брата. Рановъ вполне понялъ свою благородную роль и мастерски ее выполнялъ. Во время откупной службы онъ былъ управляющій, которому мы съ большимъ уваженіемъ подчинялись, но какъ только часы нашей службы истекли, мы, по вечерамъ, собирались въ грязноватый кабинетъ Ранова и образовывали вокругъ него самую внимательную, любознательную аудиторію. Онъ, впрочемъ, не игралъ абсолютную роль нашего учителя,—онъ только былъ президентомъ нашего ма-

ленькаго кружка либераловъ. Въ этомъ кружкѣ обсуждались самые серьезные вопросы религіозной и экономической жизни евреевъ, предлагались разные утопическіе способы къ искорененію національных недостатковъ, къ перевоспитанію евреевъ, къ испрошенію у правительства расширенія правъ для евреевъ,—словомъ, этотъ миниатюрный кружокъ безсильныхъ юношей мечталъ вслухъ объ осуществленіи различныхъ переворотовъ въ еврейскомъ бытѣ. Когда мы ужъ черезчуръ увлекались, Рановъ насъ отрезвлялъ однимъ холодно-разумнымъ замѣчаніемъ, однимъ логическимъ выводомъ, которому умѣлъ придавать полную неопровержимость. Кружокъ этотъ, сверхъ того, образовывалъ, такъ-сказать, умственную ассоціацію: всякое индивидуальное умственное достояніе принадлежало всѣмъ намъ, имъ дѣлились по-братски, всякій изъ насъ отдавалъ кружку все то, чѣмъ былъ богатъ или на что претендовалъ. Рановъ былъ относительно силенъ въ русской словесности и читалъ кружку все, что появлялось разумаго, дѣльнаго въ отечественной литературѣ. Одинъ изъ кружка, обладавшій необыкновенною памятью и зазубрившій наизусть цѣлый лексиконъ иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ русскій языкъ, служилъ намъ живымъ лексикономъ; другой изучилъ грамматику, риторику и логику, и весь кружокъ пользовался его готовыми свѣденіями; третій читалъ еврейскія философскія книги и передавалъ кружку всѣ замѣчательныя мысли сей туманной мудрости,—словомъ, каждый изъ членовъ обязанъ былъ, какъ пчела, высасывать извѣстные книжные цвѣтки и вырабатывать по мѣрѣ своихъ силъ медъ для всѣхъ. Здѣсь работали не только теоретически, но и практически: задавались литературныя темы, разсматривались сочиненія, задавались и разрѣшались математическія задачи, и проч. Черезъ нѣкоторое время нашъ кружокъ обогатился еще однимъ замѣчательнымъ членомъ, внесшимъ въ нашу общую жизнь новыя элементы и новую жизнь. Это былъ русскій богословъ, давнишній другъ Ранова, весьма развитый, богатый основательными познаніями, рьяный утопистъ и міропреобразователь. Рановъ уступилъ ему первенство. Мы ему почти поклонялись. Нашъ новый глава смотрѣлъ на матеріальную жизнь не съ еврейской точки зрѣнія. Онъ былъ нѣсколько эпикурейцемъ: любилъ плотно покушать и выпить, нерѣдко даже чрезъ мѣру. Наши вечернія бесѣды часто кончались умѣренной попойкой. Въ описанномъ мною кружкѣ я былъ самый младшій годами и самый бѣдный познаніями. Я чувствовалъ свое безсиліе и самолюбіе мое не мало отъ этого страдало. Вотъ почему я съ такою жадностью опять

набросился на книги и книжки, къ крайнему прискорбію моей половины.

Прошло послѣ вступленія моего въ откупную службу больше года. Я усвоилъ уже всю откупную премудрость и сдѣлалъ въ моей карьерѣ шагъ впередъ. Конторщикъ, при которомъ я состоялъ помощникомъ, отказался отъ своей должности и перешелъ на новую службу въ другую губернію. Тугаловъ, относившійся ко мнѣ небрежно, нашелъ меня, однакожь, способнымъ занять вакантное мѣсто конторщика. Онъ согласился на это еще больше потому, что меня онъ награждалъ гораздо меньшимъ окладомъ жалованья, и, слѣдовательно, достигалъ цѣли съ меньшими издержками, даже послѣ ничтожнаго возвышенія моего гонорарія. Я-же и послѣ этой прибавки продолжалъ страдать и почти нищенствовать, тѣмъ болѣе, что уже сдѣлался отцомъ... Прибавка въ моемъ семействѣ не сдѣлала меня счастливѣе, а наоборотъ. Я не питалъ никакого чувства любви къ крошечному пискуну, недававшему мнѣ ни спать, ни заниматься, спутавшему всѣ мои финансовыя разсчеты и возложившему на меня какія-то новыя обязанности, которыя я не понималъ и исполнялъ нехотя, какъ-бы по приказу. Жена моя, сдѣлавшаяся матерью, видѣла въ этомъ событіи какой-то особенный, геройскій подвигъ, требовала какого-то особеннаго матеріальнаго и нравственнаго вознагражденія, норовила крѣпко вцѣпиться въ мой носъ и круто пригнуть мою голову подъ свой башмакъ. Я героизма ея не признавалъ. Ссоры сдѣлались постоянными, упреки сыпались на меня ежеминутно, домашняя жизнь мнѣ опротивѣла и я чаще прежняго убѣгалъ отъ крикливой матери и пискливаго сына, чтобы забыться дѣломъ или отвести душу въ нашемъ дружескомъ кружкѣ, гдѣ и я получилъ въ это время уже нѣкоторое значеніе.

Въ такомъ положеніи были мои домашнія дѣла, когда я, по повелѣнію судьбы и по собственной неосторожности, возбудилъ гнѣвъ Тугалова и попалъ къ нему въ немилость. Я нажилъ себѣ смертельнаго врага въ рыжемъ любимцѣ откупщика и задѣлъ самолюбіе и грязныя интересы самого Тугалова. Я почувствовалъ къ рыжему негодю такое отвращеніе съ перваго взгляда на него, что никакъ не могъ пересилить себя и сойтись нѣсколько съ нимъ, какъ другіе мои сослуживцы, болѣе меня практичныя. За то онъ строго слѣдилъ за мною, вѣрно доносилъ на меня и я подвергался постояннымъ выговорамъ и даже брани. Сначала брань эта меня возмущала и обижала, но когда мои сослуживцы начали смѣяться надъ моими огорченіями и дали понять, что бранью пьяна-

го не стоитъ обижаться, я приучилъ себя равнодушно, безучастно переносить грубыя нападки откупщика.

Въ одно дождливое утро я явился къ откупщику съ разными счетами. Тугаловъ, завернувшись въ свой испачканный халатъ, задумчиво плепалъ по комнатѣ взадъ и впередъ.

— Слушай, обратился онъ ко мнѣ, принимая изъ моихъ рукъ счеты:—слушай! Мнѣ вчера читали какую-то русскую книжонку. Я слыхалъ, что ты, щеголь, ужасный книгоѣдъ. Скажи ты мнѣ на милость, правду-ли эта книжка рассказываетъ или вретъ?

— Позвольте узнать, о какой книжкѣ вы спрашиваете?

— Чортъ ее знаетъ, какая она. Но она рассказываетъ страшную исторію о какомъ-то праотцѣ нашемъ Абраамѣ. Ты знаешь, кто былъ таковъ этотъ Абраамъ?

— Это первый, самый старшій нашъ патриархъ.

— Ну, такъ проклятая книжка эта рассказываетъ о немъ страшную, невѣроятную вещь.

— Какую?

— Что будто этотъ Абраамъ хотѣлъ зарѣзать собственнаго сына, Исаака.

— Это совершенная правда.

— Правда? Что ты? Значить, этотъ Абраамъ—разбойникъ!

— Нѣтъ. Иегова хотѣлъ испытать послушаніе Абраама, повелѣлъ ему принести въ жертву родного сына, Исаака. Но когда Абраамъ собирался уже исполнить это велѣніе, Иегова остановилъ его чрезъ своего ангела. За это послушаніе Иегова благословилъ и Абраама, и его потомство.

— Я въ первый разъ слышу объ этой страшной исторіи. Откуда ты это знаешь, щеголь?

— Да вѣдь вы каждый день, по утрамъ, рассказываете сами въ своей молитвѣ эту исторію, называющуюся по-еврейски „Акейда“.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Увѣряю васъ.

— Гм... Страшная исторія... Отецъ, родной отецъ, собирается зарѣзать собственнаго сына! Неслыханно!

Я крѣпился всѣми силами, чтобы не прыснуть со смѣха. Осалъ этотъ дожилъ до сѣдыхъ волосъ, каждый день набожно молился и не зналъ, о чемъ онъ бормоталъ такъ усердно. Тугаловъ хотъ и читалъ древне-еврейскій языкъ, но не понималъ изъ него ни слова, какъ и большая часть евреевъ, бессмысленно молящаяся. Тѣмъ не менѣе рѣдко можно встрѣтить такого грубаго еврея, которому не

была-бы известна такая популярная легенда, какъ жертвоприношение Авраама.

Я прибѣжалъ въ контору и съ громкимъ смѣхомъ передалъ весь мой разговоръ съ Тугаловымъ, стараясь представить глупое выражение его лошадиной рожи, подражая его голосу и шепелянью. Мнѣ показалось страннымъ, что всѣ мои сослуживцы, слушая мой рассказъ, не только не смѣются вмѣстѣ со мною, но, напротивъ, находятъ незнаніе начальника очень натуральнымъ. Я понялъ притворное равнодушіе моихъ слушателей только тогда, когда изъ за двери выползъ рыжій доносчикъ, незамѣченный мною до его появленія.

— Ты, голубчикъ, осмѣливаешься насмѣхаться надъ нашимъ благодѣтелемъ? Хорошо-же! Я отобью у тебя охоту смѣяться. Ты у меня заплачешь, щеголь!

Я оторопѣлъ отъ этой неожиданности и не сказалъ ни слова.

Мои сослуживцы съ этой минуты считали меня уже выбывшимъ изъ ихъ строя. Я ожидалъ полной отставки. Прошла, однакожь, цѣлая недѣля благополучно. Я бывалъ ежедневно у откупщика, но ничего особенно враждебнаго не замѣтилъ. Я нѣсколько успокоился, убѣждая себя, что рыжій не привелъ въ исполненіе свои угрозы. Я горько ошибался.

Однажды я былъ призванъ къ Тугалову.

— Мнѣ нужны, для моихъ соображеній, всѣ вѣдомости прошлаго года. Слышишь, щеголь, всѣ до единой!

— Слушаю. Онѣ готовы.

— Черновыя?

— Да.

— Самъ ты ѣшь черновыя, мнѣ бѣловыя подай. Я не стану слѣпить себѣ глаза твоими черновыми.

— Въ такомъ случаѣ, я перепишу.

— Переписать и представить мнѣ послѣ-завтра вечеромъ, не премѣнно. Ступай!

Переписать двѣнадцать толстыхъ вѣдомостей въ два дня—вещь невозможная. Я обратился за совѣтомъ къ Ранову.

— Это онъ мститъ тебѣ за твои насмѣшки. И по дѣломъ: будь осмотрительнѣе впередъ.

— Но подобную работу... въ два дня...

— Во что-бы то ни стало, а переписать нужно. А вотъ я тебѣ посодѣйствую.

Рановъ созвалъ нашъ интимный кружокъ и раздѣлилъ между членами всѣ черновыя вѣдомости. Всякій, кто только владѣлъ изъ

ряднымъ почеркомъ, охотно взялъ на себя трудъ переписки. Мы работали двое сутокъ почти день и ночь, не разгибая спины. Работа была окончена къ сроку.

Довольный, съ цѣлой дюжиной толстѣйшихъ вѣдомостей подъ мышкой я въ урочный вечерній часъ явился къ деспоту. По моему мнѣнію, я совершилъ геркулесовскую работу, а потому и имѣлъ такой-же гордый видъ, какъ и Геркулесъ послѣ своихъ пробныхъ работъ.

— Ну, что, переписалъ? грозно спросилъ меня Тугаловъ.

— Вонъ онѣ!

Я подаль ему тетради. Онъ скверно улыбнулся, а тетрадей не принималъ.

— То-то. Смѣлъ-бы ты, щеголь, ослушаться! Подай-ка мнѣ очки!

Я отыскалъ его громадные очки въ мѣдной оправѣ и подаль ему.

— Нагнись-ка, щеголь, подъ кушетку и достань мою вишневку.

Я досталъ и поставилъ на столъ. Онъ систематически, медленно, съ разстановками вытеръ очки и осѣдлалъ имъ носъ, такъ-же медленно налилъ вишневки въ рюмку, поднесъ рюмку къ свѣчѣ и сквозь очки долго любовался бурнымъ цвѣтомъ напитка, затѣмъ залпомъ опрокинулъ рюмку въ свою пасть.

— Чего-же ты еще ждешь? спросилъ онъ меня, посмакивая и шелкая языкомъ.

— Вѣдомости...

— Унеси ты эту дрянь съ собою. На что онѣ мнѣ? Я ихъ назусть знаю.

— Зачѣмъ-же...

— Тѣ спрашиваешь, зачѣмъ-же я велѣлъ ихъ такъ поспѣшно переписать? Я хотѣлъ посмотрѣть, такъ-ли ты, щеголь, прытокъ руками, какъ языкомъ: Ступай, я доволенъ тобою.

Съ бѣшенствомъ въ сердцѣ, я почти выбѣжалъ изъ кабинета. Въ передней я встрѣтился лицомъ къ лицу съ рыжимъ подлецомъ. Онъ нагло посмотрѣлъ мнѣ въ глаза и залился ядовитымъ смѣхомъ, похожимъ на старческій кашель.

— Доносчикъ! угостилъ я его и выбѣжалъ на улицу.

Ночь была мрачная. Густой туманъ окуталъ и проникъ меня насквозь. Липкая, глубокая грязь всасывала мои ноги почти до колѣнъ. Проклиная и Тугалова, и рыжаго, и свою горькую судьбу, я ощупью пробирался. Путь предстоялъ далекій; надо было въ бродъ по грязи пройти весь городъ въ длину до противоположнаго конца. Тугаловъ видимо мстилъ мнѣ, истощая мои молодые силы

въ безплодной работѣ. Я подвергся той участи, какой, говорятъ, подвергаются на каторжныхъ работахъ самые тяжкіе преступники, заставляемые скапывать гору и переносить ее на другое мѣсто безъ всякой полезной цѣли.

Я прошелъ уже три четверти длиннаго пути, какъ слышалъ за собою чваніе скачущей въ галопъ по грязи лошади. Кто-то звалъ меня:

— Конторщикъ! конторщикъ!

Я остановился. Подскочилъ ко мнѣ кучеръ Тугалова, верхомъ, обдавъ меня грязью съ головы до ногъ.

— Хозяинъ зоветъ. Возвратитесь какъ можно скорѣе.

Я произнесъ какое-то проклятіе, но послушаться не посмѣлъ. Я едва переводилъ духъ отъ усталости. Чтобы избавиться отъ лишней ноши, я швырнулъ всѣ бѣловны тетради въ самую глубокую лужу.

Когда я опять явился въ кабинетъ Тугалова, рыжій сидѣлъ уже рядомъ съ своимъ патрономъ. Тугаловъ, облокотившись одной рукою, другой выводилъ какіе-то узоры по столу, размазывая пальцемъ разлитую вишневку. Штофъ былъ опорожненъ.

— Ага, ты тутъ уже, щеголь?

— Что прикажете? спросилъ я хриплымъ голосомъ.

— А вотъ что, мой голубы! Ты вѣдь у меня ученый, не правда-ли?

Я молчалъ.

— Представь ты себѣ, цѣлый часъ я спорю съ этимъ рыжимъ псомъ. Разрѣши ты, кто изъ насъ правъ.

Я продолжалъ молчать. Владѣй я силою Геркулеса, я схватилъ-бы за ноги рыжаго пса и его подлою головою размозжилъ-бы черепъ пьянаго тирана.

— Эта собака утверждаетъ, продолжалъ Тугаловъ, не обращая на меня вниманія: — эта собака утверждаетъ, что всякій еврей, какъ-бы онъ ни былъ честенъ и набоженъ, какъ-бы ни былъ безгрѣшенъ, а годикъ все-таки еще ему придется прохладиться въ аду для окончательнаго очищенія. Я нахожу это несправедливымъ и спорю противъ этого. Какъ твое мнѣніе на этотъ счетъ? Ты вѣдь у меня ученый.

— Не знаю, отвѣтилъ я рѣзко.—Изъ талмуда я помню только одно, что доносчикамъ придется очень жутко на томъ свѣтѣ. Талмудъ разрѣшаетъ убивать всякаго доносчика, какъ бѣшеную собаку, даже въ великій судный день.

— Видишь, рыжій песъ? Сколько разъ я предостерегалъ тебя,

дурака, не доносить на своихъ сослуживцевъ? Вонъ съ моихъ глазъ, баналья, не то...

Тугаловъ схватилъ пустой штофъ и собрался-было пустить его прямо въ доносчика, но тотъ успѣлъ уже улизнуть:

— Это я за тебя отомстилъ, щеголь. Ступай домой. А языкъ держи впередъ на привязи.

Было уже за полночь, когда я прилепился домой, испачканный, разбитый тѣломъ и убитый духомъ.

— Безстыдникъ, распутникъ! привѣтствовала меня жена. — Шляешься со своими друзьями по цѣлымъ ночамъ, а я одна, вѣчно одна. Того и гляди, что меня когда-нибудь зарѣжутъ тутъ, въ глуши.

— Ручаюсь за твою долговѣчность, отвѣтилъ я язвительно.

— Онъ весело проводить себѣ вечера, а я...

— Дай Богъ тебѣ провести такой-же пріятный вечеръ, какъ я провелъ этотъ! пожелалъ я женѣ искренно, отъ всего сердца, и завалился спать.

Да не заподозрять меня читатели въ преувеличеніи: я рассказываю совершенную истину, безъ всякихъ прикрасъ. Злая судьба наталивала меня очень часто на странныхъ, оригинальныхъ, необыкновенныхъ субъектовъ, оказавшихся теперь очень пригодными для моихъ записокъ; такъ, къ слову, служа у своеобразнаго Тугалова, я имѣлъ случай столкнуться съ одною весьма оригинальною административною личностью.

Столкновение это произошло во время отсутствія управляющаго Ранова. Въ казенной палатѣ было взведено на откупъ какое-то крупное обвиненіе, пахнувшее большою отвѣтственностью. Хотя всѣ дѣятели палаты и состояли, по обыкновенію тогдашняго времени, на жалованьи у откупа, но жалованье это, при оказіяхъ, выходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ, оказывалось иногда недостаточнымъ. При такихъ оказіяхъ выдавались экстраординарныя взятки, въ видѣ единовременныхъ наградъ. Съ одной изъ самыхъ крупныхъ взятокъ Тугаловъ, къ несчастію, командировалъ къ главной власти казенной палаты меня. Тугаловъ не снабдилъ меня надлежащей инструкціей, поручилъ только передать пакетъ председателю лично, прося его о прекращеніи извѣстнаго дѣла. Я не только не былъ знакомъ съ этою сильной личностью, но до того ни разу ея даже не видалъ.

Я явился къ председателю на домъ, утромъ, и просилъ доложить о себѣ, какъ о посланномъ Тугалова. Меня ввели въ длинный, очень узкій кабинетъ и велѣли ждать. Всѣ стѣны этой ком-

наты были обставлены шкапами и шкафчиками. Во всемъ кабинетѣ стояло только одно кресло, у стола, покрытаго зеленой скатертью. По всѣмъ угламъ кабинета висѣли цѣлыя группы образовъ изящной работы, въ дорогихъ оправкахъ; на особомъ, великолѣпной отдѣлки, кругломъ столикѣ стояло на малахитовомъ пьедесталѣ распятіе изъ слоновой кости и лежало Евангеліе въ позолоченномъ переплетѣ. Я стоялъ у дверей и съ робостью ждалъ появленія его превосходительства.

Черезъ нѣкоторое время вышелъ ко мнѣ предсѣдатель, одѣтый во всей формѣ, съ множествомъ орденовъ на груди. Это былъ высочій, но нѣсколько согбенный, сухоточный старикъ съ однимъ клокомъ сѣдыхъ волосъ на затылкѣ, съ сѣрыми впалыми глазами и съ беззубымъ, ввалившимся ртомъ. Онъ медленно подошелъ ко мнѣ, конвульсивно двигая челюстями, какъ-будто что-то пережевывая. Я поклонился.

— Тебѣ... что? прошепталъ онъ старчески.

— Я посланъ къ вашему превосходительству г. Тугаловымъ.

— Ты кто?

— Его бухгалтеръ.

— Ну?

— Онъ прислалъ...

— По дѣлу... какому?

— Въ казенной палатѣ...

— Гмъ!.. Ну, что-же?

— Просить...

— О чемъ?

— О прекращеніи...

— Прекращу, любезный, прекращу... не дѣло, нѣтъ, не дѣло, а его мошенничества. Такъ ты ему и скажи: „Прекратятъ, молъ, его превосходительство не дѣла ваши, а ваши мошенничества“. Такъ ты и передай, любезнѣйшій.

— Слушаю-съ.

— Ступай.

— Ваше превосходительство!

— Что еще?

— Г. Тугаловъ прислалъ...

— Что?

— Пакетъ-съ...

— Съ чѣмъ?

— Съ... съ... съ деньг...

— Съ деньгами? Взятку?! Мнѣ?! какъ ты смѣешь, негодяй? Эй!

Предсѣдатель схватилъ колокольчикъ и зазвонилъ какъ на пожаръ. Я стоялъ ни живъ, ни мертвъ отъ страха. Я не зналъ еще тогда, что нынѣ взяточники такъ-же церемонны, какъ и нынѣ проститутки.

Вошелъ, не торопясь, съ ноги на ногу переваливаясь, старый, плѣшивый, небритый лакей съ какимъ-то птичьимъ лицомъ.

— Вонъ его!.. веди... Представь! приказалъ предсѣдатель съ пѣной у рта, указывая на меня дрожащимъ, крючкообразнымъ пальцемъ.

Лакей, какъ-то особенно улыбаясь, не торопясь приблизился ко мнѣ, дернулъ за рукавъ и шепнулъ:

— Положь!

Я не понялъ и стоялъ оторопѣлый.

— Скатерть вонъ! шепнулъ онъ сердито и прибавилъ вслухъ:

— Чего стоишь еще? Приказано идти, оглохъ что-ли?

Я сначала вытащилъ изъ кармана пакетъ, но, не совсѣмъ понявъ лакея, зашагалъ къ двери. Лакей грубо вырвалъ пакетъ изъ моихъ рукъ и, осмотрѣвъ его со всѣхъ сторонъ, сунулъ подъ зеленую скатерть.

Предсѣдатель какъ-то безучастно, молча, слѣдилъ за этой сценой. Когда пакетъ поконился уже подъ сукномъ, онъ приблизился къ столу, на которомъ стояло распятіе, упалъ на колѣни и громко и набожно произнесъ:

— О, Господи, накажи и покарай ты Іуду искусителя, яко со-
вратителя моего, и помилуй мя, смиреннаго раба твоего!

Я вышелъ, тащимый за рукавъ лакеемъ. Въ передней лакей ласково усадилъ меня.

— Ну, присядь, милый, оправься маненько, а то испужался больно. А пужаться-то, понастоящему, и нечего: они у насъ лаять-то точно залаютъ, а кусаться—ни-ни: смирные!

— Коли пакетомъ не брезгаютъ, то за что-же они на меня кричать изволили? осмѣлился я спросить камердинера.

— Дурачтъ маненько. Сказано—барство. Да и то сказать, глуповатъ и ты. Чего подъ носъ прямо и суешь? Разъ бары берутъ? Имъ положь... Вотъ што! Ну, а нашъ братъ... напрямикъ этакъ. На руку, молъ, прямо...

Лакей протянулъ ко мнѣ руку. Я понялъ намекъ и положилъ собственный мой полтинникъ.

— Благодарствую. А ты доложи своему хозяину, что дѣло сдѣлано будетъ. Мой старина на эвототъ счетъ завсегда въ акуратѣ.

За обиду, нанесенную моими насмѣшками самолюбію Тугалова,

я дешево отдѣлался, но я задѣлъ еще и его интересы. Это повело къ болѣе серьезнымъ послѣдствіямъ.

Тугаловъ содержалъ откупъ не одинъ, а въ компаніи съ однимъ евреемъ. Компаньонъ Тугалова былъ человекъ хорошій, честный. Соединивъ свои интересы съ интересами Тугалова, безсовѣстнаго плута, компаньонъ его оградилъ себя тѣмъ, что имѣлъ отдѣльный штатъ служащихъ, особое отдѣленіе конторы, особый подвалъ и проч. Словомъ, онъ старался не впасть въ лапы Тугалову, зная по опыту, что наживетъ процессъ и останется въ накладе. Вражда и недовѣріе, питаемое, однакожъ, откупщиками-компаньонами другъ къ другу, не распространялись на ихъ служащихъ, жившихъ между собою въ большой дружбѣ. Служащіе враждебныхъ сторонъ очень часто дѣлали одолженія и займы другъ другу конфиденціальнымъ образомъ, и честно, добросовѣстно рассчитывались между собою, не доводя до свѣденія принципаловъ.

Однажды кассиру Тугалова не хватило крупной суммы къ срочному взносу въ казну. Кредитомъ отъ частныхъ лицъ плутоватый Тугаловъ не пользовался. Чтобы остаться исправнымъ предъ казною, кассиръ Тугалова одолжился у кассира компаньона его, до сбора выручки, значительною суммою. Тугаловъ пронюхалъ объ оплошности кассира его компаньона и строго приказалъ своему кассиру денегъ этихъ не платить до окончанія имъ, Тугаловымъ, какихъ-то личныхъ счетовъ съ компаньономъ. Оба кассира были въ отчаяніи: одному, довѣрившему деньги своего вѣрителя безъ разрѣшенія, угрожали удаленіе отъ должности, тюрьма и уголовная отвѣтственность какъ за захватъ, а другой сознавалъ себя единственною причиною несчастія своего друга. Случай этотъ возмущилъ всѣхъ насъ до глубины сердца. Подъ предсѣдательствомъ Ранова собрался весь нашъ кружокъ, чтобы держать совѣтъ, какъ спасти и выпутать обоихъ кассировъ. Сколько ни судили, а трудную дилемму эту разрѣшить никакъ не могли. Если кассиръ-должникъ не уплатитъ занятыхъ денегъ, то погибнетъ кассиръ-кредиторъ, въ противномъ же случаѣ Тугаловъ загубитъ своего кассира; одинъ изъ кассировъ, очевидно, долженъ былъ пострадать, но кто именно долженъ пасть жертвой?

— Господа! сказалъ послѣ долгаго размышленія Рановъ:—я, кажется, нашелъ средство спасти обоихъ кассировъ.

Всѣ съ любопытствомъ попросили его объяснить свою мысль.

— А вотъ что: пусть нашъ конторщикъ выдастъ кассиру-кредитору заднимъ числомъ формальную квитанцію въ полученіи заимообразно денегъ, съ обязанностью уплатить къ извѣстному сроку.

Тугаловъ противъ такой квитанціи, подтверждаемой нашей кассовой книгою, спорить не посмѣетъ и, волей-неволей, прикажетъ заплатить.

Совѣтъ этотъ былъ одобренъ всѣми, исключая меня.

— Что-жь это такое, господа? Вы приносите меня въ жертву? Вѣдь я за это отвѣчать буду.

— Послушай, другъ, успокой меня Рановъ:—ты отвѣчать не будешь, потому что квитанцію эту ты, яко-бы, выдалъ въ то время, когда еще не послѣдовало приказанія Тугалова объ удержаніи этихъ денегъ. Понимаешь?

— Квитанцію эту можетъ выдать и самъ кассиръ; зачѣмъ же именно я?

— Кассиръ имѣлъ глупость уже объявить, что онъ никакихъ документовъ не выдавалъ.

Я не могъ рѣшиться на подобный рискованный шагъ, при всемъ моемъ состраданіи къ участи несчастныхъ кассировъ.

— Послушай, обратились ко мнѣ товарищи.—Ты рискуешь подвергнуться только брани, а кассиры рискуютъ уголовною отвѣтственностью и, по меньшей мѣрѣ, лишеніемъ хлѣба.

— А я развѣ не могу лишиться хлѣба?

— Нѣтъ. Но если-бы даже и такъ, то у тебя всего одинъ только грудной ребенокъ; у тебя отецъ арендаторъ, у котораго ты можешь, въ крайнемъ случаѣ, хоть временно пріютиться, а у этихъ несчастныхъ цѣлая куча дѣтей. По удаленіи ихъ отъ должности, они на другой-же день не будутъ имѣть на что пообѣдать.

Я все еще колебался. Мой собственный хлѣбъ висѣлъ на волосѣхъ.

— Я считалъ тебя благороднѣе и добрѣе, сказалъ Рановъ, съ упрекомъ посмотрѣвъ на меня.

Я выдалъ требуемую квитанцію. Деньги были уплачены; кассиры были спасены. Но о той брани, которой я подвергся за поступокъ, отлично понятый хитрымъ откупщикомъ, мнѣ гадко и страшно припоминать теперь....

Съ этого дня мой собственный хлѣбъ сдѣлался ненадежнымъ. Тугаловъ, очевидно, держалъ меня только до тѣхъ поръ, пока явится другой, свѣдущій по откупной счетной части, способный замѣнить меня. Мнѣ сдѣлались отвратительны и Тугаловъ, и его нищенскій хлѣбъ, и вся откупная казенщина. Куда-нибудь, лишь-бы подальше отъ этого вертепа мошенничества и деспотизма! мысленно рѣшилъ я въ это время.

Я твердо вознамѣрился не дожидаться той унизительной минуты,

когда подлый Тугаловъ меня позорно выгнать; я рѣшился уволиться своей волей и какъ можно скорѣе. Но что было дѣлать? что предпринять? чѣмъ жить? — всѣ эти и подобные вопросы неотступно тяготили меня, и я, сколько ни думалъ, не умѣлъ найти имъ хотя сколько-нибудь удовлетворительнаго рѣшенія.

IV.

Единственный.

Послѣ позорной сцены, сдѣланной мнѣ Тугаловымъ за выданную квитанцію, я нѣсколько дней дулся на всѣхъ членовъ нашего кружка, впутавшихъ меня въ эту скверную исторію. Но потомъ я опять вошелъ въ прежнюю колею дружбы и согласія, совершенно примирившись какъ со своими друзьями, такъ и съ неутѣшительною будущностью, меня ожидавшею. Этому скорому примиренію содѣйствовало, во-первыхъ, то, что я на каждомъ шагѣ, во очію, видѣлъ безпредѣльную благодарность кассировъ, окружавшихъ меня необыкновеннымъ вниманіемъ и любовью, и высокое уваженіе всѣхъ моихъ сотоварищей, оцѣнившихъ мою жертву, а во-вторыхъ, и то, что мое горе сдѣлалось общимъ горемъ. Эгоистическая натура человѣка такъ уже устроена, что при видѣ общаго страданія собственныя горести дѣлаются болѣе сносными; страдалъ же не я одинъ, но и нѣкоторые изъ моихъ сослуживцевъ. Исторія описаннаго мною займа, плутовскія намѣренія Тугалова, выдача мною квитанціи заднимъ числомъ, въ пиву плуту, не остались въ тайнѣ, а разгласились и надѣлали шуму. Огласка эта повредила не только мнѣ и обоимъ кассирамъ, но даже и управляющему Ранову. Компаньонъ Тугалова, узнавъ, что его кассиръ осмѣливается, вопреки приказаніямъ своего вѣрителя, выдавать капиталы на рискъ, потерялъ къ нему всякое довѣріе и гласно объявилъ, что не можетъ быть впередъ спокойнымъ, пока касса не перейдетъ въ болѣе благонадежныя руки; Тугаловъ, признавъ своего кассира дуракомъ, неумѣющимъ служить его интересамъ, тоже собирался вытурить его со службы; Рановъ, по доносу рыжаго, былъ обвиняемъ въ потворствѣ моему безчестию, якобы, поступку и былъ объявленъ Тугаловымъ неблагонамѣреннымъ и негоднымъ къ управленію. Всѣ попавшіе въ немилость къ своимъ хозяевамъ видѣли предъ собою одинаковую грустную перспективу. Нашъ кружокъ собирался, какъ и прежде, по вечерамъ въ каби-

нетъ Ранова, но не для философствованія и взаимнаго обученія, а для горькаго размышленія и изысканія общимъ совѣтомъ средствъ къ жизни, послѣ потери нашихъ мѣстъ, дѣлавшейся съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе вѣроятною. Предлагаемы были разные пути къ достиженію насущнаго хлѣба; но, по зрѣломъ обсужденіи, всѣ они оказывались безплодными или неосуществимыми, или же недостижимыми. Сверхъ того, наша братская дружба была такъ велика и искренна, что мы рѣшились не разставаться, а найти такого рода занятія или такой промыселъ, которые не заставляли-бы насъ разсѣяться въ разныя стороны, а позволили-бы жить въ одномъ и томъ-же городѣ. Но сколько мы ни придумывали, такихъ занятій не представлялось.

Тѣмъ не менѣе, въ концѣ-концовъ, мы напали на очень оригинальную мысль, дотолѣ неприходившую никому изъ насъ въ голову, а именно: образовавъ маленькую колонію, исходатайствовать у правительства кусокъ земли, поселиться тамъ и посвятить себя земледѣльческому труду. Мы знали, что смотритель нѣмецкихъ колоній Редлихеръ, подъ вѣденіемъ котораго состоятъ и немногія еврейскія земледѣльческія колоніи, человекъ хорошій, добрый и честный, что онъ, на первыхъ порахъ, наряжаетъ для каждой еврейской колоніи учителей-нѣмцевъ; нѣкоторые изъ насъ даже знали Редлихера лично. Съ величайшимъ энтузіазмомъ взяли мы за эту мысль и торжественно поклялись посвятить нашу жизнь хлѣбопашеству и сельскому хозяйству, не отставать другъ отъ друга и жить братьями. Не знаю, какъ было на душѣ у другихъ, но на моей душѣ было свѣтло и празднично. Мое пылкое, услужливое воображеніе рисовало уже прелестныя картины будущей сельской жизни. Все читанное мною по идиллической части, всѣ собственныя деревенскія впечатлѣнія ступпировались разомъ и манили меня къ себѣ. Всѣ чувства были возбуждены: я уже слышалъ, казалось, далекій, глухой лай деревенской собаки, я видѣлъ колеблющееся мерцаніе далекаго огонька—маяка нашихъ необозримыхъ степей; я внималъ пѣснямъ деревенскихъ красавицъ и вдыхалъ ароматъ полевыхъ цвѣтовъ и свѣжей травы. Я блаженствовалъ.

Я имѣлъ благоразуміе скрыть свое восторженное состояніе отъ моей ворчливой половины, зная по опыту, что она не замедлитъ обдать меня холодной водою. Эти вспрыскиванія не успокаивали, а раздражали меня еще больше, а потому я приучился къ скрытности и замкнутости. Въ нравственномъ отношеніи мы сдѣлались совершенно чужими другъ другу людьми. Когда, послѣ этого рѣшенія, нашъ кружокъ опять собрался вмѣстѣ, я имѣлъ радость

убѣдиться, что ни одинъ изъ нашихъ будущихъ колонистовъ не поколебался въ своемъ намѣреніи,—напротивъ, всѣ еще больше утвердились въ немъ.

Разсуждали и спорили цѣлую ночь, и на этотъ разъ планъ дѣйствій былъ установленъ окончательно. Мы должны были обратиться цѣлой массой съ прошеніемъ къ подлежащей мѣстной власти объ отводѣ удобнаго мѣста для колонизаціи на общихъ основаніяхъ, льготахъ и выгодахъ, на которыхъ въ то время колонизировались евреи. Черезъ нѣкоторое время должна была прибыть въ городъ очень вліятельная административная личность, командированная спеціально по предмету поселенія евреевъ, отвода имъ земель, постройки избъ и проч. Къ этой личности мы рѣшили отправить депутацію объ испрошеніи нѣкоторыхъ экстраординарныхъ милостей. По отводѣ намъ земли и по постройкѣ избъ, что, по нашему соображенію, не должно было замедлиться, мы обязаны были продать все наше наличное хозяйство и даже гардеробъ, а деньги употребить на сельскохозяйственное обзаведеніе. Между же тѣмъ одинъ изъ нашихъ долженъ былъ немедленно командированъ къ смотрителю нѣмецкихъ и еврейскихъ колоній Редлихеру съ письмами, для испрошенія у него совѣта и содѣйствія въ нашемъ предпріятіи. При чемъ обозрѣть, кстати, и большую еврейскую колонію, подъ вѣденіемъ Редлихера состоящую, и узнать, можно-ли приступить къ хозяйству при томъ казенномъ вспоможеніи, которое было оказано поселенцамъ-евреямъ, и каковъ результатъ ихъ труда. Для этой командировки Рановъ выбралъ меня. Въ заключеніе было условлено, до осуществленія нашего плана, хранить его въ строгой тайнѣ, не сообщая о немъ ни знакомымъ, ни роднымъ, ни даже женамъ.

Черезъ нѣкоторое время я былъ командированъ Тугаловымъ для подробной ревизіи той части уѣзда, гдѣ резидировалъ Редлихеръ. Снабженный рекомендательными письмами, я явился къ смотрителю нѣмецкихъ колоній и имѣлъ удовольствіе быть принятымъ имъ чрезвычайно ласково и любезно. Любезность эта простиралась до того, что, помимо моего вѣдома, онъ распорядился перенести мой тощій чемоданъ изъ нѣмецкой Wirthshaus, помѣстилъ меня у себя въ свѣтлой, комфортабельной комнатѣ и представилъ своему семейству въ весьма лестныхъ выраженіяхъ.

— Рекомендую тебѣ, Mütterchen, представилъ онъ меня своей супругѣ, жирнѣйшей нѣмкѣ:—рекомендую одного изъ новыхъ евреевъ, признающихъ пользу земледѣльческаго труда. Авось, наконецъ, перестану имѣть только *единственного*...

Я почтительно поклонился, нѣмка сдѣлала пансіонскій книксенъ и протянула мнѣ руку. Въ первый разъ встрѣтилъ я власть съ такимъ простымъ, человѣческимъ обращеніемъ. Со сколькими чиновниками мнѣ ни приходилось сталкиваться, всѣ они, болѣе или менѣе, относились ко мнѣ гордо, небрежно или покровительственно, хотя и состояли на жалованьѣ у откупа.

Прочитавъ мои рекомендательныя письма, Редлихеръ ничего не сказалъ, а только улыбнулся. Вплоть до самаго ужина онъ былъ занятъ.

Чтобы убить время, я гулялъ по нѣмецкой колоніи и любовался чистотою, порядкомъ, тишиною и спокойствіемъ, царствовавшими на улицахъ и въ дворахъ, тогда какъ сотни нѣмецкихъ рукъ работали всюду, методически, не торопясь. Лица всѣхъ встрѣченныхъ мною людей дышали здоровьемъ и невозмутимостью. Я воображалъ себѣ нашу будущую маленькую колонію и напередъ уже гордился и восхищался ею.

Когда меня пригласили къ ужину, я, признаюсь, нѣсколько колебался. Еще ни разу я не пробовалъ пищи, приготовленной не еврейскою, каширною кухнею. Я очень трезво смотрѣлъ на этотъ предметъ, сознавалъ всю нелѣпость подраздѣленій пищи, былъ убѣжденъ, что всякая свѣжая и питательная пища одинаково угодна Богу, но привычка сильнѣе всякихъ убѣжденій. Мнѣ казалось, что говядина, невымоченная и невысоленная по еврейскому закону ¹⁾, что цыпленокъ, зажаренный не на жирѣ, а на сливочномъ маслѣ ²⁾, должны непременно произвести тошноту и

¹⁾ Употребленіе въ пищу крови запрещено Моисеемъ; поэтому евреи обязаны вымачивать и тщательно высаливать говядину въ сыромъ видѣ. А евреи не переставали обвинять въ употребленіи въ пищу крови, да еще человѣческой!

²⁾ Моисей, желая искоренить всѣ языческіе обычаи, привившіеся къ евреямъ во времена египетскаго рабства, запретилъ, между прочимъ, «варить козленка въ молокѣ его матери». Подобное блюдо приносили язычники въ жертву своимъ идоламъ. Талмудисты, не зная настоящаго смысла Моисеева запрета или не желая его знать, вывели уродливое заключеніе, что Моисей запрещаетъ вообще смѣшеніе молочнаго и мясного. На этомъ основаніи, талмудисты и раввинисты, съ присущимъ имъ *незнаніемъ мѣры*, запретили смѣшеніе это до того строго, что если молочное нечаянно попадетъ въ мясное, то вся смѣшанная масса пищи признается трафною и подлежитъ истребленію; также признается трафною и столовая посуда, прикоснувшаяся къ смѣшанной массѣ. Еврей, поѣвши мясной пищи, лишается права употребленія молочнаго въ продолженіи шести часовъ, предполагаемыхъ достаточнымъ періодомъ времени для сваренія

рвоту. Тѣмъ не менѣе я сѣлъ за столъ съ твердою рѣшимостью преодолѣть мое отвращеніе. Я сообразилъ, что необходимо-же къ этому привыкнуть, тѣмъ болѣе, что въ будущей нашей колоніи мы общимъ голосомъ рѣшили, между многими нововведеніями, замѣнить еврейскую кухню европейскою, какъ болѣе дешевою и, слѣдовательно, болѣе доступною. (Рѣзника ¹⁾ раввина и кантора мы имѣть въ колоніи не намѣревались). Ужинъ кончился для меня благополучнѣе, чѣмъ я ожидалъ; я ѣлъ съ большимъ аппетитомъ и нашелъ трафную пищу вкуснѣе и на видъ привлекательнѣе каширной.

Впродолженіи всего ужина Редлихеръ и вся семья ѣли молча, серьезно, запивая каждое блюдо пивомъ и накладывая на мою тарелку гигантскія порціи. По окончаніи ужина, когда нѣмка, поцѣловавшись съ мужемъ, и дѣти, облобызавъ мозолистую руку отца, убрались спать, Редлихеръ пригласилъ меня въ свой кабинетъ.

— Ну, теперь я свободенъ. Садитесь, потолкуемъ. Но, прежде всего, закуримъ сигару. Торопиться не слѣдуетъ: *langsam und gelassen*—всегдашній мой девизъ.

Пока я раскуривалъ копеечную сигару, нѣмецъ глубокомысленно прочелъ еще разъ мои рекомендательныя письма.

— Итакъ, *junger Mann*, васъ нѣсколько человѣкъ желаетъ сдѣлаться колонистами, хлѣбопашцами?

— Да. Насъ наберется человѣкъ пятнадцать.

пищи въ желудкѣ. На этотъ случай написанъ дѣльный пространный уставъ съ комментаріями, подъ именемъ: «Гилхесъ босерь-б-холовъ».

¹⁾ Въ смыслѣ гигиеническомъ, Моисей запретилъ употребленіе въ пищу «трафъ», то-есть падалъ или животное, растерзанное хищнымъ звѣремъ. Талмудъ, на этомъ основаніи, невѣдомо почему, запретилъ въ пищу мясо животного, убитого не посредствомъ перерѣзанія горла. Рѣзникъ долженъ быть непременно спеціалистъ, сдавшій извѣстный экзаменъ. Свойства употребляемаго имъ ножа и обряды, сопровождающіе операцію «перерѣзанія горла», установлены сотнями параграфовъ. Странное противорѣчіе! Великій обрядъ «обрѣзанія» избавленъ отъ подобной щепетильности: тутъ всякій желающій, безъ подготовки, имѣетъ право сдѣлаться операторомъ, на пагубу несчастныхъ дѣтей, нерѣдко погибающихъ отъ невѣжественной руки импровизированнаго хирурга. Такая непослѣдовательность со стороны талмудистовъ, толкователей Моисеева закона, является во многихъ отношеніяхъ. Диквенные проценты, напримѣръ, строго запрещены Моисеемъ. Но талмудъ не только не усилилъ этого закона, по своему обыкновенію, но, напротивъ, далъ средство обойти этотъ неудобный запретъ посредствомъ письменнаго условія (Гетеръ—иске).

— Это очень хорошо, очень хорошо. Но чѣмъ могу я быть полезенъ? Я не совсѣмъ понимаю, чего отъ меня просить.

— Мы прежде всего желали-бы состоять подъ вашимъ начальствомъ и попеченіемъ.

— Zu dienen!

— Мы слышали, какъ вы заботитесь о несчастныхъ еврейскихъ колонистахъ, какъ вы имъ помогаете, какъ вы ихъ учите...

Нѣмецъ недовольно покачалъ головою.

— Nein! воскликнулъ онъ, махнувъ рѣшительно рукою:— Diese armen sind verlogen, изъ нихъ ничего не выйдетъ путнаго. Я усталъ уже съ ними возиться!

— Развѣ они лѣнны? полюбопытствовалъ я.

— Нѣтъ, напротивъ, они слишкомъ дѣятельны и суетливы, слишкомъ неусидчивы и нетерпѣливы; поэтому изъ нихъ хорошихъ земледѣльцевъ никогда не создать. Они этого дѣла не любятъ.

— Зачѣмъ-же они принялись за него?

— Зачѣмъ? А зачѣмъ, чтобы избавиться отъ рекрутской повинности, отъ подушной платы, чтобы выйти изъ какого-то четвертаго разряда. Они желали-бы только именоваться земледѣльцами, на самомъ-же дѣлѣ только шлаться и шахровать имъ хочется.

Редихеръ расходился и цѣлый часъ не переставалъ рассказывать о томъ, какъ онъ сначала принялъ близко къ сердцу дѣло еврейской колонизаціи, какъ онъ въ буквальный смыслъ слова обиралъ своихъ нѣмцевъ для пополненія нуждъ еврейскихъ колонистовъ, какъ онъ снабжалъ ихъ безвозмездными учителями изъ зажиточныхъ нѣмцевъ, какъ онъ имъ выстроилъ и бани, и синагоги; какъ онъ ихъ кормилъ нѣмецкими общественными запасами и проч. и проч.

— И ваши усилія увѣнчались успѣхомъ?

— Behüte der Himmel! Все напрасно; иные разбѣжались и гдѣ-то бродяжничаютъ, а другіе — хотя и сидятъ на мѣстѣ, но никуда не годятся. Я собралъ у моихъ болѣе богатыхъ нѣмцевъ штукъ двадцать швейцарскихъ коровъ съ тѣмъ, чтобы раздѣлить ихъ между еврейскими колонистами, наиболѣе многодѣтными. Но между этими коровами были, конечно, и лучшія, и худшія. Какъ тутъ сдѣлать совершенно справедливый раздѣлъ? Вотъ я и назначилъ жребій. На рогахъ всякой коровы наклеилъ номеръ, за тѣмъ положилъ въ мою фуражку свернутые въ трубочки билетикъ съ такими-же номерами по числу коровъ. Всякій вынулъ изъ фуражки билетикъ и попавшійся номеръ указалъ ему вмѣстѣ съ

тѣмъ и нумеръ коровы. Билетики были разобраны и евреи отправились за своими коровами, ожидавшими своихъ новыхъ хозяевъ въ особомъ загонѣ. Дѣло было послѣобѣденное и я прилежъ отдохнуть. Но едва успѣлъ я вздремнуть, какъ вдругъ страшный гамъ, крикъ и споръ разбудили меня. Я бросился на дворъ. Необыкновенный гвалтъ раздавался въ загонѣ. Я побѣжалъ туда. Вообразите-же, что я увидѣлъ! Евреи обратили загонъ въ скотный рынокъ: одни покупаютъ коровъ, другіе—продаютъ, громко расхваливая свой товаръ; одни мѣняютъ своихъ коровъ на худшія, получая рублевья додачи; въ одномъ углу загона два еврея вцѣпились другъ другу въ бороды, дерутся, а жены, крича караулъ, разнимаютъ ихъ... Я человѣкъ вообще сдержанный, но тутъ не вытерпѣлъ, схватилъ палку и началъ лупить кого ни попало, всѣхъ безъ разбора. Затѣмъ я повторилъ жребій, самъ роздалъ коровъ по нумерамъ и предостерегъ, что если у кого-нибудь окажется не та корова, которая ему досталась по жребію, то я, какую найду, отниму. Недавно узнаю однакожь, что одинъ изъ колонистовъ продалъ свою корову русскому мужику. Я бѣгу къ нему: „Веди меня въ хлѣвъ, покажи твою корову“, говорю я ему. Еврей прехладнокровно приводитъ меня въ хлѣвъ. „Вотъ она!“— „Да вѣдь это коза!“— „Нехай коза“, отвѣчаетъ равнодушно еврей.— „Гдѣ-же твоя корова?“— „Все равно, ваше благородіе, что коза, что корова; коза только меньше лопаетъ и смириѣ донтса. Мои дѣтки любятъ больше козье молоко, чѣмъ коровье“. Я плюнулъ и ушелъ. Что съ нимъ подѣлаешь?

— Удивляюсь евреямъ, замѣтилъ я нѣсколько сконфуженно.

— Нечего удивляться. Иначе и быть не можетъ. Есть тутъ много причинъ, но я ихъ какъ-то объяснить не могу. Я васъ познакомлю съ моимъ любимцемъ *единственнымъ*. Онъ вамъ это растолкуетъ.

— Кто-же этотъ „единственный“?

— Увидите сами. — Но возвратимся къ дѣлу. Такъ вы хотите поселиться въ моемъ районѣ?

— Да. Мы просимъ васъ покорно указать намъ мѣстечко, гдѣ-нибудь у рѣки.

— Такихъ мѣстъ много у меня.

— Потомъ посоветуйте, къ кому обратиться и какъ повести дѣло?

— Все это нетрудно. Я вамъ все въ подробности растолкую. Все, что отъ меня зависитъ, сдѣлаю. Но... изъ вашего предпріятія... все-таки ничего не выйдетъ.

— Почему-же? изумился я.

— Да, ничего. Впрочемъ, отложимъ это до завтра.

Этотъ честный чиновникъ очаровалъ меня своей простотою и добротою. Тѣмъ болѣе грустно было мнѣ услышать отъ него такое роковое предсказаніе нашему предпріятію. Я, впрочемъ, не придавалъ большого значенія этому предсказанію, относя его къ недовѣрію, питаемому всѣми къ способности евреевъ трудиться физически. Какъ мнѣ хотѣлось доказать этому нѣмцу на дѣлѣ, что расовыхъ или національных недостатковъ нѣтъ, что всѣ люди одинаково созданы, только неодинаково воспитаны исторіей, ласкавшею однихъ, какъ родная мать, и оттапливавшею другихъ, какъ жестокая мачиха.

Я поднялся съ зарею; но Редлихеръ предупредилъ меня: онъ уже цѣлый часъ работалъ въ своемъ садикѣ.

— Ага! So! so! хлѣбопашецъ долженъ дорожить разсвѣтомъ, воскликнулъ хозяинъ, завидѣвъ меня издали. — Я скоро кончу. Напьемся кофе и поѣдемъ посмотрѣть, что дѣлается въ полѣ.

Солнце во всей своей величественной красѣ озаряло уже утреннее безоблачное небо, бросая цѣлые снопы жгучихъ лучей во всѣ стороны, когда Редлихеръ и я, въ нѣмецкомъ покойномъ фургоны, рысцой, пробирались между нивами, волновавшимися густою массою колосьевъ. Жатва была въ самомъ разгарѣ. Сотни нѣмцевъ съ покрытыми головами и съ засученными рукавами, множество нѣмцевъ всякаго возраста, въ широкополыхъ соломенныхъ шляпкахъ, трудились какъ муравьи, не разгибая спины. Редлихеръ дружески привѣтствовалъ каждого труженника, называя его безъ церемоніи Johan или Jakob. Ему отвѣчали такимъ-же привѣтствіемъ, не отрываясь ни на минуту отъ работы. Мы проѣзжали безостановочно. Широкое, добродушное лицо нѣмца-начальника сіяло удовольствіемъ.

— Tüchtige Burschen, fleissige Arbeiter! выхвалялъ онъ своихъ земляковъ.

Черезъ часъ мы выбрались изъ нѣмецкой территоріи и спустились съ невысокаго холма. Панорама вдругъ приняла другой видъ.

Въ недалекомъ разстояніи виднѣлись двѣ шеренги грязныхъ, ошарпанныхъ избушекъ съ полуразрушенными соломенными крышами. Нѣкоторыя изъ этихъ жалкихъ лачугъ полуразвалились, нѣкоторыя пошатнулись на бокъ. Всѣ ограды были въ брешахъ. Большая часть стеколъ въ окнахъ замѣнялась грязными, изодранными подушками или безцвѣтными лохмотьями. Это была еврей-

ская колонія. Въ цѣлой колоніи ни души не видно было, а между тѣмъ изъ нѣкоторыхъ трубъ клубился дымъ. Если-бы не эта живая струя дыма, то легко можно-бы подумать, что тутъ недавно похозяйничала цынга, холера или чума. Меня вдругъ обдало какимъ-то ощущеніемъ пустынности и разоренія. Всякая хижина, казалось, молча рассказывала свою грустную исторію, сѣтуя на кого-то или на что-то... Я вопросительно посмотрѣлъ на Редлихера.

— Ja wohl, утвердилъ онъ, понявъ мой сконфуженный взглядъ и насупивъ густыя брови.— Die Elenden! прибавилъ онъ и отвернулся отъ этого грустнаго зрѣлища.

Я съ горькимъ любопытствомъ взглянулъ еще разъ на еврейскую колонію. Мой взоръ бродилъ безутѣшно отъ одного конца улицы до другого. Только въ полверстѣ отъ колоніи открылся маленькій оазисъ въ этой пустынѣ. Небольшая, хорошенькая избушка съ новою соломенною крышею, обнесенная низкой, ровной оградой, разныя службы среди небольшого дворика, куполообразная зеленая крыша колодца и щегольски отдѣланная голубятня весело выглядывали изъ-за молодыхъ акацій и тополей. Нѣсколько поодаль, на просторномъ четырехугольникѣ, обнесенномъ правильнымъ рвомъ, симметрически были разставлены нѣсколько стоговъ и скирдъ. На небольшомъ лугу, довольно далеко отъ избы, паслась маленькая отара простыхъ овецъ, нѣсколько козъ и десятка два рогатаго скота. Избушка эта стояла на небольшой возвышенности, отъ которой змѣялась тропинка внизъ, къ узкой рѣчкѣ, опушенной рѣдкимъ кустарникомъ и нѣсколькими вербами.

— Это—нѣмецкое? спросилъ я Редлихера.

— Нѣтъ, это—гнѣздышко моего *единственнаго*.

Я вооружился нѣмецкимъ терпѣніемъ и сдержанностью и не хотѣлъ надоедать разспросами о загадочной личности, называемой *единственнымъ*.

— Если-бы не дымъ, замѣтилъ я,—то я подумалъ-бы, что во всей еврейской колоніи ни одной живой души нѣтъ.

— Сегодня пятница. На шабашъ готовятъ.

Мы повернули вправо. За версту отъ колоніи опять потянулись нивы. Но, Боже, какая разница между этими жалкими нивами и тѣми, которыя я видѣлъ за полчаса тому назадъ! Еврейскія нивы были рѣдкія, полуистоптанныя, избитыя, иногда совершенно плѣшивыя. Мѣстами валялись снопы, небрежно связанные, а между ними — лохмотья какой-то одежды и испачканныя подушки. Ни одной души кругомъ. Только вдали, на холмикѣ, виднѣлось нѣ-

сколько фигуръ еврейскихъ бабъ съ ребятишками на рукахъ, оглашающими окрестность раздирательнымъ ревомъ и пискомъ. На этомъ-же холмикѣ красовалось множество корытъ, замѣнявшихъ колыбели.

— Но куда-же спрятались эти черти? вскрикнулъ сердито мой спутникъ, хлестнувъ бичомъ въ воздухъ и нетерпѣливо понукая лошадей.

Въ лощинѣ, открывшейся глазамъ моимъ, представилась довольно оригинальная картина: десятка три-четыре колонистовъ-евреевъ разнаго возраста, окутанныхъ шерстяными, полосатыми, запятыми покрывалами, съ заголенными лѣвыми руками, обвитыми ремнями ¹⁾, скучились въ одну тѣсную группу и громко, нараспѣвъ, молились, шатая верхнюю часть своихъ туловищъ туда и сюда. Нѣсколько поодаль одинъ здоровый молодецъ, нажимая толстымъ пальцемъ свою глотку, представлялъ собою кантора и считалъ святой обязанностью выкрикивать громче всѣхъ и изрыгать такія дикія рулады, отъ которыхъ всѣ овражки приходили въ ужасъ. Стоило только зажмурить глаза, чтобы почувствовать себя въ самой ортодоксальной синагогѣ.

Нѣмецъ разъярился до того, что спрыгнулъ съ фургона на ходу, подбѣжалъ къ группѣ молельщиковъ и поднималъ такую ругань, какой я за нимъ не могъ подозрѣвать.

Евреи, не прерывая молитвы, переполошились однакожь, засуетились и поторопились долетѣть до конца общественной молитвы на курьерскихъ. Прыткоязыкіе подпрыгивали, отплеывались ²⁾ и обрасывали молитвенную аммуницію раньше другихъ.

¹⁾ Во время утренней молитвы евреи надѣваютъ «тфилинъ». Это четырехугольные кожаные коробочки, содержащія внутри священные изрѣченія, писанныя на пергаментѣ. Кожа, изъ которой коробочки эти изготовляются, волокна, которыми онѣ сшиваются, ремни, которыми прикрѣпляются ко лбу и лѣвой рукѣ, пергаментъ, на которомъ пишутся изрѣченія, готовятся особымъ образомъ, при разныхъ обрядахъ. Въ образѣ изготовленія «тфилинъ» крупный авторитетъ, «Рабейну Таамъ», не могъ сойтись въ мнѣніи со своими коллегами и повелѣлъ изготовлять коробочки нѣсколько иначе. Набожные хасидимы, нежелающіе разобидѣть Таама, совершаютъ половину молитвы въ тфилинъ его противниковъ, а другую половину въ тфилинъ Рабейну Таама. Объ этихъ хасидимахъ евреи выражаются въ шутку, что они молятся *нашпицъ*, то-есть цугомъ. По увѣренію талмуда, и Іегова одѣваетъ каждое утро тфилинъ, но на пергаментѣ, заключающемся въ нихъ, написаны не заповѣди, а комплиментъ избранному народу: „Кто еще такой *единственный* народъ на свѣтѣ, какъ мой Израиль?“

²⁾ Евреи въ патетическихъ мѣстахъ молитвъ нѣсколько подпрыгиваютъ, выражая этой мимикой желаніе приблизиться къ Богу. При чтеніи регистра грѣ-

— Съ разсвѣта прошло уже болѣе трехъ часовъ, а вы, лѣн-
тяи, еще и за работу не принимались! упрекнулъ ихъ смотритель.

— Нѣтъ, мы уже работали, оправдывались евреи.

— Врете. Вы даже вчера ничего не сдѣлали. Третьяго-дня
поля ваши были въ такомъ-же видѣ, какъ и теперь.

Евреи молчали, посматривая другъ на друга и почесывая въ
пейсахъ, усѣянныхъ пухомъ.

— Вѣдь вы съ голоду подохнете зимою! Не думаете-ли, что я
васъ вѣчно буду кормить общественными запасами? Голодъ у нихъ
на носу, а они распѣвають! добавилъ смотритель, обращаясь
къ мнѣ.

— Ваше благородіе! Мы не распѣваемъ, мы молимся! оправдалъ
своихъ одинъ изъ болѣе смѣлыхъ.—Развѣ уже и молиться за-
претите?

— Мы всѣ молимся, но молитва не должна мѣшать спѣшной
работѣ.

— Э! возразилъ импровизированный канторъ, небрежно махнувъ
рукою.—Мы—евреи!

— Ну, такъ что-жь?

— Ничего... отвѣтилъ канторъ, многозначительно пожавъ пле-
чами.

Смотритель разогналъ ихъ по мѣстамъ, заставилъ каждого взять-
ся за жатвенныя орудія и не отошелъ, пока работа не закипѣла
подъ его командой. У неловкихъ работниковъ онъ часто выры-
валъ серпъ и толково, наглядно училъ всѣмъ приѣмамъ, необхо-
димымъ для успѣшной работы. Онъ провозился цѣлый часъ.

— Смотрите-же! наказалъ онъ имъ, взбираясь въ фургонъ. —
Работать до самаго вечера. Завтра вѣдь шабашъ: работать не
будете. Солнце такъ жжетъ, что, чего добраго, весь вашъ хлѣбъ
сгорить.

Грустное впечатлѣніе произвели на меня эти бѣдняки, взяв-
шіеся за нелюбимое и почти невозможное для нихъ дѣло. Ни ма-
нера, ни одежда, ни привычки не соответствовали ихъ занятію,
требующему силы, быстрыхъ движеній и ловкости. Я отъ души
пожалѣлъ этихъ несчастныхъ, исковерканныхъ людей.

ховъ, составленнаго по алфавиту, еврей обязанъ ударить кулакомъ по своей гру-
ди при каждомъ исчисляемомъ грѣхѣ. Въ концѣ каждой молитвы еврей отпле-
вывається. Плевки эти адресуются язычникамъ, не признающимъ *Единого* Бога.

Редлихеръ повернулъ въ противоположную сторону.

— Посмотримъ теперь, что дѣлаетъ der Meinige, сказалъ онъ.— О, я увѣренъ, что тамъ все обстоитъ благополучно.

Лицо нѣмца опять озарилось добродушною улыбкою, когда мы начали переѣзжать поляну, на которой хлѣбъ былъ уже убранъ и тщательно сложенъ въ разныхъ мѣстахъ.

— Вотъ молодцы! Всего три пары рукъ, а сколько сдѣлано и какъ все сдѣлано! Но гдѣ-же они?

Между двумя громадными кучами сноповъ, бросавшими широкую тѣнь, сидѣла маленькая группа. Редлихеръ соскочилъ съ фургона и весело пригласилъ меня слѣдовать за собою.

Изъ группы отдѣлилось двое мужчинъ и медленно пошли намъ на встрѣчу.

— Guten Morgen, alter Jungel! привѣтствовалъ Редлихеръ одного изъ нихъ, старика, и сердечно пожалъ ему руку. Другого, молодого человѣка, онъ дружески хлопнулъ по плечу.—Nun, wie geht's?

— Отлично, хорошо, отвѣтилъ старикъ по-русски, съ той неправильностью произношенія, которыми отличаются нѣмцы, не усвоившіе себѣ русскаго языка съ дѣтства.

Редлихеръ взялъ старика и молодого человѣка подъ руки и пошелъ съ ними, сдѣлавъ мнѣ знакъ головою не отставать.

Нѣсколько поодаль, стоя на колѣнкахъ, молила, стройная женщина, просто, но опрятно одѣтая, возилась съ кофейникомъ, тарелками и стаканами.

— Was machst du da, Lenchen? вгрово спросилъ Редлихеръ женщину, протягивая ей руку.

— Какъ видите. Завтракъ przygotowляю.

— А меня пригласишь?

— Я васъ *заставлю* позавтракать съ нами.

— Заставишь? какъ ты это сдѣлаешь?

— А вотъ какъ!

Женщина однимъ скачкомъ очутилась на ногахъ и схватила Редлихера за обѣ руки.

— Погоди, Lenchen!—Вотъ этотъ молодой человѣкъ желаетъ съ тобою познакомиться, представилъ меня смотритель старика.

Старикъ окнулъ меня недовѣрчивымъ взглядомъ съ головы до ногъ и въ упоръ посмотрѣлъ мнѣ въ глаза.

— Alter Jakob, не дичись, успокоилъ его нѣмецъ.—Этотъ не изъ тѣхъ... прибавилъ онъ, указавъ рукою въ ту сторону, гдѣ работали еврей-колонисты.

Старикъ привѣтливо улыбнулся и дружески пожалъ мнѣ руку.

— А вотъ—мой сынъ Анзельмъ и моя дочь Лена, представилъ мнѣ старикъ молодыхъ особъ, кивнувшихъ мнѣ головою фамильярно и дружелюбно.

Лена беззабѣчиво попросила меня сѣсть на снопяхъ возлѣ себя. Всѣ усѣлись, смѣясь и шутя, вокругъ мѣднаго кофейника, блиставшаго на солнцѣ; Лена ловко разлила кофе въ стаканы, наръзала большіе ломти ржаного хлѣба и намазала ихъ толстымъ слоемъ масла.

Не сказавъ еще ни одного слова съ гостепріимными хозяевами, я чувствовалъ себя уже какъ дома,—такое радушіе, простота и довольствіе были разлиты кругомъ этихъ простыхъ, добрыхъ людей.

Во время безмолвнаго завтрака я имѣлъ время присмотрѣться къ моимъ новымъ знакомымъ. Старикъ Якобъ имѣлъ типичное южное лицо. Изъ-за густыхъ сѣдыхъ бровей умно смотрѣла пара большихъ, еще довольно молодыхъ, черныхъ какъ смоль глазъ. Тонкій, нѣсколько горбатый и крючковатый носъ, узкій, но высокій, выпуклый лобъ, тонкія губы, впалыя щеки и рѣзкія черты лица вообще сразу выдавали тайну его національнаго происхожденія. Я говорю *тайну* потому, что, судя по его широкимъ плечамъ, выпуклой груди, мускулистымъ и мозолистымъ рукамъ, по отсутствію пейсиковъ, ермолки и вообще по сѣльскому нѣмецкому платью, его нельзя было принять сразу за еврея. Дочь его, Лена, была вѣрная копія отца. Но, какъ всегда бываетъ съ женскими лицами, лицо дочери носило отпечатокъ чего-то болѣе мягкаго и нѣжнаго. Лена, въ строгомъ смыслѣ слова, была далеко не хороша; но за то складъ лица, глаза, рѣшительность манеръ и голоса обнаруживали силу, умъ, сознаніе независимости, пріятно поразившіе меня въ еврейской женщинѣ. Третій членъ семьи, Анзельмъ, загорѣлый, полнощекій блондинъ, ни въ какомъ отношеніи не былъ похожъ на отца и сестру и не имѣлъ въ себѣ ничего еврейскаго по типу, покрою платья и манерамъ. Съ виду это былъ истый, нѣсколько туповатый нѣмчикъ.

Вся семья съ большимъ трудомъ объяснялась по-русски, но вполне владѣла нѣмецкимъ языкомъ. Понимая нѣсколько, какъ и всякій еврей, нѣмецкій языкъ, я на ихъ отвѣты конфузливо отвѣчалъ на еврейскомъ жаргонѣ.

— Не стѣсняйтесь, молодой человѣкъ, ободрилъ меня любезный старикъ, замѣтивъ нерѣшительность моихъ отвѣтовъ. — Мы, живя съ этими (онъ указалъ пальцемъ на видѣвшуюся издали еврейскую колонію), научились уже понимать ихъ странное нарѣчіе.

Редлихеръ, насытившись и закуривъ сигару, объяснилъ старику подробно, кто я, съ какой цѣлью пріѣхалъ къ нему и что именно мы затѣваемъ.

— Atler, какъ ты думаешь, будетъ-ли прокъ изъ этого, а?

Старикъ пожалъ плечами.

— Я долженъ кое-о-чемъ поразспросить этого молодого человека прежде, чѣмъ выражу свое мнѣніе. Теперь минуты дороги, работать спѣшимъ. Оставайтесь погостить у насъ черезъ субботу, если вы имѣете время. Мы короче познакомимся и потолкуемъ.

Я охотно согласился остаться. Редлихеръ, уѣзжая, наговорилъ кучу любезностей хозяевамъ и дружески пожалъ имъ руки.

— Пока мы займемся работой, что-же вы станете дѣлать? спросилъ меня, улыбаясь, старикъ.

— Если вы позволите, я попробую вамъ помогать, насколько хватить силъ и умѣнья.

— Вся сила и все умѣнье заключается въ любви къ труду. Трудъ даетъ и силу, и сноровку къ работѣ.

— Не хотите-ли помогать мнѣ? спросила, смѣясь, Лена.—Я, слабая женщина, сама не управлюсь, а папа и братъ и безъ помощниковъ обойдутся.

— Охотно, если у васъ хватить терпѣнія не смѣяться надъ моей неловкостью.

— Ну, за это не ручаюсь.

Однако, послѣ перваго толковаго ея наставленія я началъ приносить маленькую пользу и заслужилъ похвалу. Отецъ и братъ Лены работали въ разныхъ пунктахъ, переговариваясь крикливо между собою. Лена о каждомъ моемъ успѣхѣ рапортовала то отцу, то брату. Въ ея обращеніи со мною было столько простоты и добродушія, что невинныя насмѣшки не только не раздражали моего самолюбія, но, напротивъ, какъ-бы служили доказательствомъ ея вниманія. Это вниманіе подстрекло мое усердіе до того, что, проработавъ серпомъ около трехъ часовъ, я не могъ разогнуть спины отъ боли въ поясницѣ.

— Однако, другъ мой, вы слишкомъ усердно принялись сразу за работу, замѣтилъ приблизившійся къ намъ старикъ.—Этакъ далеко не уѣдете. Горячія лошади скоро пристають. Баста, Лена, обратился онъ къ дочери.—Солнце на зенитѣ, работать теперь уже неудобно. Поѣдемъ домой.

Анзельмъ запрягъ между тѣмъ пару воронихъ лошадокъ въ нѣмецкій фургоны. Мы отправились.

Дорогой старикъ выпытывалъ у меня о томъ ощущеніи, которое

я вынесъ изъ перваго моего урока, а Лена, весело смѣясь, осматривала и ощупывала мои загорѣвшія руки, слегка замозолившіяся.

Какъ ни привлекательна казалась издали наружность жилища Якова, но она далеко уступала деревенскому изяществу внутренняго устройства. Камышевый домикъ заключалъ въ себѣ три комнаты. Одна изъ нихъ, очень просторная, свѣтлая, съ красивой печью и чугунною плитою, служила и пріемною, и столовою, и кухней. У стѣнъ стояло дюжины двѣ сосновыхъ некрашенныхъ табуретовъ, а въ самой серединѣ комнаты такой-же большой круглый столъ на солидныхъ ножкахъ. Нѣсколько рядовъ полокъ, тоже некрашенныхъ, были уставлены кухонною мѣдной и глиняной съ глазурью посудой и дешевыми столовыми, чайными и кофейными принадлежностями. Какъ стѣны, такъ и всѣ предметы, находившіеся въ этой комнатѣ, облитые свѣтомъ палящаго солнца, блистали чистотою и опрятностью. Полъ, выложенный кирпичами, казалось, былъ совершенно новъ. Въ восточномъ углу изъ простого полуотвореннаго шкафика выглядывало нѣсколько книгъ, опрятно переплетенныхъ. Отъ плиты раздавалось тихое шипѣніе и хлопотаніе. Дѣятельный шумъ плиты покрывался звучнымъ, мѣрнымъ стукомъ маятника нѣмецкихъ дешевыхъ стѣнныхъ часовъ, красовавшихся у входной двери.

— Вотъ мы, наконецъ, и дома, воскликнулъ, весело потирая руки, старикъ.

— Ну-съ, молодой гость нашъ, прошу быть запросто. Особой комнаты я предложить вамъ не могу. Мы всего имѣемъ двѣ спальни. Одну занимаетъ моя дочь, а въ другой помѣщаюсь я съ сыномъ. Мой молодецъ, однакожь, до наступленія осени спитъ на вольномъ воздухѣ. Часть комнаты принадлежитъ вамъ.

Я поблагодарилъ хозяина, но объявилъ, что охотнѣе присосѣжусь къ его сыну и предпочту ночную прохладу на дворѣ постели въ душевой комнатѣ.

Вошла низенькая, чистенькая старушка съ добродушнымъ морщинистымъ лицомъ, и поклонилась мнѣ. Старикъ слегка потрепалъ ее по щекѣ.

— Ну, старушка, готовься угощать. Чувствую волчій аппетитъ; а на вечеръ—лишнее блюдо, ради гостей.

Старушка, улыбаясь, кивнула головою.

— Эта старушка—нашъ ангелъ-хранитель. Она къ намъ привязана какъ родная, а мы всѣ обожаемъ ее, отрекомендовалъ мнѣ старикъ.

— Она—ваша родственница? еврейка? полюбпытствовалъ я.

— Ни то, ни другое. Она живетъ въ нашемъ семействѣ уже болѣе двадцати лѣтъ и такъ сжилась, что чувствуетъ себя родною въ нашей семьѣ. Она, кажется, забыла даже о томъ, что мы для нея иновѣрцы.

Лена принялась накрывать на столъ. Братъ ея выпрыгалъ и возился съ лошадьми. Старикъ пошелъ провѣдать птичникъ и голубятню. Кухарка суетилась около плиты. Я остался одинъ.

Отъ нечего дѣлать я началъ разсматривать книги въ шкафикѣ. Ихъ было тамъ около дюжины. Нѣкоторые оказались нѣмецкими, остальные—библія и пророки на еврейскомъ языкѣ съ нѣмецкимъ переводомъ.

— У васъ порядочная для деревни библіотека, польстилъ я хозяину, заставшему меня у шкафика.

— Да. Я имѣю подъ рукою все, что люблю, изъ духовнаго свойства.

— Я у васъ не замѣчаю молитвенниковъ.

— Наши молитвы такъ просты и коротки, что ихъ нетрудно помнить и наяву. Мы молимся по собственному сердечному внушенію.

Я съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на него. Онъ, повидимому, понялъ мой вопросительный взглядъ, но улынулся и ничего не отвѣтилъ.

Мы наскоро пообѣдали. Обѣдъ состоялъ изъ двухъ самыхъ простыхъ, но очень питательныхъ блюдъ не каширнаго свойства.

— Благодарю Тебя, Господи, за хлѣбъ, за соль, произнесъ старикъ по-нѣмецки, поднявшись изъ-за стола. Дѣти воскликнули: „аминь“.

Старикъ Якобъ и сынъ его Ансельмъ легли отдохнуть. Лена и я остались вдвоемъ.

— Если хотите отдохнуть, я могу вамъ уступить на-время мою постель. Это награда за помощь оказанную мнѣ сегодня, предложила мнѣ Лена.

— Я еще не сдѣлалъ привычки спать днемъ.

— Признаться, я очень рада этому: мнѣ не такъ скучно будетъ. Я тоже никогда днемъ не сплю. Но что же мы станемъ дѣлать? Ахъ, да! хотите помочь мнѣ?

— Охотно, если съумѣю.

Лена выбѣжала куда-то и принесла корзинку съ крупными вишнями.

— Вотъ вамъ булавка, обратилась она ко мнѣ весело, поставивъ
Заниски елреа.

корзинку на столъ.—Этой булавкой проковыряйте каждую вишню, вотъ такъ.

— Для чего эта операція?

— Не разсуждайте, а дѣлайте, что вамъ приказываютъ. Вотъ любопытный! добавила она, погрозивъ мнѣ кокетливо пальцемъ.

— Сознаюсь, въ этомъ отношеніи я неисправимъ. Мнѣ даже любопытно было-бы узнать еще кое-о-чемъ.

— Напримѣръ?

— Неужели вамъ не скучно тутъ безъ общества?

— Поговоримъ о чемъ-нибудь другомъ, попросила меня Лена, глубоко вздохнувъ.

Мы оба замолчали.

— Вы имѣете родныхъ? спросила меня Лена, потупивъ глаза.

— Имѣю отца и мать.

— И съ ними живете?

— Нѣтъ. Я самъ зарабатываю свой хлѣбъ, похвасталъ я не безъ гордости.

— Отчего-же вы живете не съ родными?

— Я... имѣю собственную семью.

Лена вспрыгнула съ мѣста.

— Неужели вы уже женаты? спросила она меня, пытливно заглядывая мнѣ въ глаза.

— Давно уже, отвѣтилъ я какъ-то нерѣшительно, опустивъ глаза и певольно вздохнувъ.

— О чемъ-же вы вздыхаете?

— Скажу вамъ откровенно, я считъ-бы себя болѣе счастливымъ, если-бы женился не такъ рано.

— Не напрасно мой добрый отецъ увѣрялъ меня, что бракъ—это жребій, въ которомъ люди рѣдко выигрываютъ. Я не повѣрила ему и поплатилась счастьемъ всей моей жизни.

Лена закрыла глаза руками.

— Неужели и вы...

Но я не кончилъ своего вопроса: старикъ въ эту минуту подошелъ къ намъ, а Лена выбѣжала куда-то.

— Мы ѣдемъ, сказалъ онъ,—а вы тутъ похозяйничайте съ Леной. Къ закату солнца мы вернемся.

Черезъ нѣкоторое время Лена возвратилась.

— Мы кончили нашу работу. Теперь пойдемте со мною. Покормимъ птицъ, а потомъ пройдемъ на лугъ провѣдать нашъ скотъ и побесѣдовать съ маленькимъ Іоганомъ.

— Это-же кто такой?

— Это внучекъ старушки нашей, Маргариты; славный мальчуганъ. Онъ нашъ пастухъ.

— Лена, началъ я нерѣшительно:—вы выбѣжали изъ комнаты, когда отецъ вашъ вошелъ. Мой вопросъ остался безъ отвѣта.

— Къ чему вамъ знать это?

— А къ чему вамъ было знать, женатъ-ли я или нѣтъ?

— Хорошо. Я удовлетворю ваше любопытство. Имѣйте-же терпѣніе.

Мы приблизились къ стаду. Маленькій, опрятный, круглолицый и бѣлобрысый мальчикъ побѣждалъ на встрѣчу Ленѣ; но, увидѣвъ чужого, остановился. Лена, погладивъ его по стриженной головѣ, успокоила на этотъ счетъ.

— Не вонфузъся, дѣтка, это—нашъ!

Мы спустились по тропинкѣ къ болотистой, узенькой рѣченкѣ. Лена отыскала раскидистую вербу у самого берега, опустилась на траву и пригласила меня сѣсть возлѣ себя.

— Итакъ, вы тоже несчастливъ? обратилась она ко мнѣ.

— *Тоже?* Развѣ и вы... Но гдѣ-же вашъ мужъ?

— Ахъ! не спрашивайте. Я страдаю при одномъ воспоминаніи о немъ, отвѣтила она, вздохнувъ и поблѣднѣвъ.

— Это грустная исторія, Лена?

— Вы хотите ее узнать? Заслужите прежде мою откровенность.

— Чѣмъ-же? Я готовъ заслужить.

— Будьте откровенны со мною. Вы не любите свою жену?

— Я этого не сказалъ. Я сознаю только, что былъ-бы гораздо счастливѣе, если-бъ меня не женили такъ рано! отвѣтилъ я уклончиво.

Затѣмъ я разсказалъ грустную исторію моей жизни и сообщилъ мои планы на будущее. Она слушала меня съ сосредоточеннымъ вниманіемъ, изрѣдка прерывая краткими замѣчаніями. Въ ея глазахъ теплилось такое глубокое сочувствіе и просвѣчивала такая искренняя доброта, что ея некрасивое лицо преобразилось въ глазахъ моихъ во что-то привлекательное и неотразимое. Вѣроятно, почувявъ женскимъ инстинктомъ мое необыкновенное настроеніе, она покраснѣла и поспѣшно отодвинулась отъ меня.

— Какъ мнѣ жаль васъ и какъ я сострадаю вашей бѣдной женѣ!

— Горю помочь нечѣмъ. Приходится терпѣть.

— И вы — мужчина? произнесла она иронически, сдѣлавъ презрительную гримасу: — я женщина, и не захотѣла-бы терпѣть.

— Я вамъ расскажу всю нашу исторію, начала она послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія.—Мы вѣдь не русскіе евреи.

— Но вы русскіе подданные?

— Теперъ, да. Но наши предки, даже мой дѣдъ и отецъ родились и жили въ Швейцаріи. И я тамъ родилась и воспитывалась. Мы переселились въ Россію всего нѣсколько лѣтъ.

— Что-же васъ заставило оставить родину?

— Это грустная и длинная исторія. Мой дѣдъ и отецъ должны были бѣжать отъ какого-то очень опаснаго преслѣдованія. Мы наскоро продали нашу ферму, все имущество превратили въ капиталъ и успѣли спастись бѣгствомъ въ Россію.

— Значитъ, вы и въ Швейцаріи занимались сельскимъ хозяйствомъ?

— Наша ферма была основана съ незапамятныхъ временъ. Она переходила въ нашемъ родѣ отъ одного поколѣнія къ другому. Въ нашемъ родѣ водились и богачи, и равнины, и ученые, но всѣ они не только не гнушались земледѣліемъ, но еще гордились имъ.

— Какъ-же вы попали въ число колонистовъ, если у васъ были собственныя средства?

— Мы прибыли въ Россію съ твердою рѣшимостью основать новую ферму по образцу нашей швейцарской. Мой дѣдъ со всей семьей вступилъ въ русское подданство. Такъ-какъ наша семья не скрывала своего еврейскаго происхожденія, то она, натуральнымъ образомъ, подпала подъ тѣ-же законы и ограниченія, какъ и всѣ русскіе евреи. Сколько наши ни хлопотали о дозволеніи приобрѣсти землю, имъ это не было дозволено, не знаю почему. Между тѣмъ проходили мѣсяцы, а мы проживали наши деньги, ничего не зарабатывая. Убѣдившись въ невозможности обзавестись поземельною собственностью, наши затѣяли какую-то торговлю, которая впослѣдствіи ихъ разорила. Мы совсѣмъ обѣдиѣли. Къ тому времени былъ обнародованъ указъ о колонизаціи евреевъ. Мы пристали къ прочимъ и поселились вонъ въ той еврейской колоніи, которая видна отсюда. Въ нашихъ единовѣрцахъ мы полагали найти братьевъ и друзей, но ошиблись. Мы долго и страшно страдали, пока добрались сюда. Тутъ мы застали не жилую избу, а сырую, еле держащуюся конуру. Все, что намъ дали казеннаго, готоваго, было никуда негодное, на живую нитку сдѣланное. Добрый дѣдушка захворалъ и умеръ, не добравшись сюда. И къ лучшему: онъ былъ бы въ такомъ-же отчаяніи, какъ и мой бѣдный отецъ, при видѣ своей лачуги и полудохлой пары воловъ. Никогда я не забуду, какъ я и братъ мой зарыдали при видѣ нашей мрачной, жалкой

зачуги съ маленькими, тусклыми окошками, къ которой мы едва добрались, утопая въ липкой грязи. Мой отецъ, однакожь, не изъ числа тѣхъ людей, которые въ несчастіи опускають руки и теряють бодрость. Погрустивъ и позлившись, онъ, при помощи послѣднихъ рублей и неимовѣрныхъ трудовъ, исправилъ жилье и устроилъ наше маленькое хозяйство. Добрый Редлихеръ помогаль и покровительствовалъ намъ на каждомъ шагѣ. Богъ благословилъ наши усилія. Въ то время, какъ еврей-колонисты нищенствовали, разбѣгались и вымаливали подавнія у городскихъ единовѣрцевъ, мы работали день и ночь. Не прошло еще полныхъ три года, какъ отецъ, окончательно поссорившійся съ прочими колонистами, приобрѣлъ уже кой-какія средства. Онъ испросилъ чрезъ Редлихера разрѣшеніе построить на собственный счетъ отдѣльно, вдали отъ колоніи. Мало-по-малу мы устроили наше новое хозяйство и, благодаря Бога, живемъ. Какъ была-бы и я счастлива, если-бъ не пошла наперекоръ отцу!

Лена замолчала, опустивъ въ глубокомъ раздумьѣ голову на грудь. Я счелъ нескромнымъ допрашивать ее, хотя горѣлъ нетерпѣніемъ узнать еще больше.

— Я рѣшилась рассказать и расскажу вамъ все, начала опять Лена. — Отецъ мой, по любви къ единовѣрцамъ, всѣми силами старался возбудить въ товарищахъ-колонистахъ рвеніе къ труду, бранилъ ихъ за фанатизмъ, лѣнь, неряшество и бродяжничество, но его любовь не только не была оцѣнена и понята, а, напротивъ, возбудила еще вражду и зависть къ нашему семейству. Кончилось тѣмъ, что мы принуждены были совсѣмъ разойтись съ населеніемъ еврейской колоніи. На насъ указывали пальцами, осыпали въ лицо бранью и насмѣшками, вредили вездѣ и въ чемъ только могли. Отецъ и братъ поочередно сторожили наше добро цѣлыя ночи напролетъ, опасаясь поджога и воровства. На отца подавали доносы. Какъ ни защищалъ насъ смотритель, онъ не могъ избавить насъ отъ неоднократныхъ наѣздовъ полицейскихъ властей, обходившихся каждый разъ не дешево. Кто писалъ эти доносы—мы никакъ не могли разузнать. Однажды передъ вечеромъ сидѣла я подѣ этой самой вербой и что-то шила. Вдругъ услышала я у себя за спиною шелестъ. Я повернула голову и увидѣла молодого блѣднаго еврея, смиренно и застѣнчиво на меня смотрѣвшаго. „Что вамъ угодно?“ спросила я его, поднимаясь съ мѣста. — „Лена, сказалъ онъ, опустивъ глаза,—я желаю вамъ и отцу вашему добра“. — Голосъ молодого человѣка дрожалъ. Я внимательнѣе посмотрѣла на него. Лицо его показалось мнѣ добрымъ и честнымъ. „Кто вы?“ спро-

сила я его. — „Все-равно. Вы меня не знаете. Поведите меня къ отцу. Я имѣю ему сообщить важное извѣстіе“. Я его пригласила въ домъ. Онъ долго разговаривалъ съ отцомъ наединѣ, въ его комнатѣ. Когда я ихъ послѣ разговора увидѣла вмѣстѣ, то отецъ пожималъ руки незнакомца и искренно благодарилъ, называя его нашимъ спасителемъ. „Лена, сказалъ мнѣ отецъ, — этотъ молодой человѣкъ спасъ насъ отъ бѣды. Помни, что мы ему обязаны нашей свободой и честью. Онъ всегда долженъ быть нашимъ дорогимъ другомъ, гостемъ“. Я пожала его руки и спросила о его имени. И, дѣйствительно, онъ спасъ насъ отъ страшной опасности. Враги отца, два-три негодяя изъ колонистовъ, подсунули подъ соломенную крышу нашей избы пачку какихъ-то фальшивыхъ ассигнацій и донесли въ то-же время полиціи, что отецъ мой промышляетъ этимъ товаромъ и потому такъ быстро и загадочно богатѣетъ. Но этотъ молодой еврей, общественный писарь сосѣдняго города, узнавъ какъ-то случайно объ этой интригѣ, предупредилъ отца до наѣзда полиціи. Подсунутую пачку вытащили изъ-подъ крыши и сожгли. На другой день налетѣла полиція, обшарила весь домъ и дворъ, перевернула все наше хозяйство вверхъ дномъ, но ничего, конечно, не отыскала и уѣхала ни съ чѣмъ. Недѣли двѣ я не видѣла нашего друга. Сознаюсь, онъ мнѣ очень понравился... Опять, какъ въ первый разъ, онъ неожиданно явился передо мною на этомъ-же самомъ мѣстѣ: Я испугалась при его внезапномъ появленіи. „Опять несчастье?“ вскрикнула я. Онъ безъ моего приглашенія опустился на траву возлѣ меня. „Да, Лена, опять несчастье, только не для васъ, а для меня...“ — „Что съ вами случилось?“ встревожилась я. — „Лена, я безъ васъ жить не могу!“ произнесъ онъ отчаяннымъ голосомъ. Я убѣждала отъ него и перестала приходить сюда. Между тѣмъ сердце влекло меня къ нему. Я все рассказала отцу и брату. Отецъ взялся короче поразвѣдать объ человѣкѣ. Видя, что отецъ и братъ не прочь отъ этого союза, я перестала бороться съ самой собою и вся отдалась моему счастью. Іуда или Юліанъ, какъ я его прозвала, пріѣзжалъ очень часто къ сестрѣ своей, жившей въ колоніи, и оставался по цѣлымъ недѣлямъ. Мы видѣлись почти каждый день. Никогда я не буду такъ счастлива, какъ въ эти дни. Съ каждымъ свиданіемъ я все болѣе и болѣе убѣждалась въ его умѣ, добротѣ и безграничной любви ко мнѣ. Онъ влялся бросить свое писарское ремесло, пристать къ намъ и посвятить себя земледѣлію. Какая счастливая будущность представлялась мнѣ въ кругу отца, брата и горячелюбимаго мужа! Мы съ Юліаномъ въ скорости были уже жени-

хонъ и невѣстой. Но однажды отецъ, возвратившись изъ города, гдѣ онъ прожилъ болѣе недѣли, былъ необыкновенно угрюмъ и пасмуренъ. „Что случилось съ вами, отецъ?“ встревожился я и братъ.— „Лена, сказалъ грустно отецъ, обнявъ меня:—Лена, я люблю тебя больше жизни. Юліанъ... не можетъ быть твоимъ...“ Я упала-бы, если-бъ братъ не поддержалъ меня. „Что это значитъ?“ вскрикнулъ братъ, приводя меня въ чувство.— „Я все узналъ... угрюмо произнесъ отецъ.—Иуда—кагальный писарь, скверный человѣкъ, негодяй и доносчикъ! Вотъ почему онъ до сихъ поръ не могъ жениться и остался холостымъ до двадцати пяти лѣтъ; ни одно порядочное еврейское семейство не желаетъ вступить съ нимъ въ родство“. Я возмущилась противъ оскорбительныхъ словъ отца до того, что не могла произнести ни одного слова; я только горько зарыдала. Братъ возмущился не менѣе моего: „Вы вѣрите *тѣмъ*... упрекнулъ онъ отца. — Спросите *ихъ* мнѣніе о насъ: *они* насъ величаютъ трафиками, безбожниками и самыми вредными людьми. Неужели и это правда?“ Цѣлыхъ два мѣсяца прошло въ борьбѣ между мною и отцомъ. Братъ былъ на моей сторонѣ. Отецъ уступилъ. Насъ обвинчали въ городѣ и я осталась съ мужемъ погостить у его матери. Обстановка была противная, грязная, нищенская, но горячая любовь мужа вознаграждала меня за все. Недѣли чрезъ двѣ послѣ нашей свадьбы Юліанъ прибѣжалъ однажды домой, сіяя отъ радости. „Леночка! крикнулъ онъ еще издали:—какое счастье! ты получила богатство!“ Въ самомъ дѣлѣ, я получила въ наслѣдство отъ моей тетки, умершей въ Швейцаріи, тысячи двѣ талеровъ. Наслѣдство это было выслано черезъ консула къ губернатору для передачи мнѣ. Надобно было отправиться въ губернский городъ, куда я вызывалась полиціей, но Юліанъ нашелъ эту поѣздку затруднительною и неудобною для меня; онъ отправилъ меня къ отцу, изготовивъ какія-то бумаги, которыя я подписала по-нѣмецки, не зная ихъ содержанія. Юліанъ уѣхалъ въ губернский городъ одинъ. Мое небольшое приданое, подаренное мнѣ отцомъ, онъ тоже захватилъ съ собою, чтобы помѣстить его въ благонадежныя руки...

Лена замолчала и закрыла глаза руками.

— Что-же? не вытерпѣлъ я.

— Юліанъ уѣхалъ получать мои деньги и... пропалъ безъ вѣсти.

— И вы до сихъ поръ не перестаете любить вашего Юліана?

— О, нѣтъ. Я презираю и ненавижу его. Отецъ мой былъ правъ. Мы потомъ уже узнали, что всѣ доносы на отца писалъ онъ-же

самъ, съ вѣдома своего шурна и сестры, что фальшивые билеты они-же сами къ намъ подбросили, что они-же на насъ донесли, а Юліанъ насъ спасъ собственно для того, чтобы вкратѣсь къ намъ въ довѣріе. Онъ узналъ о моемъ наслѣдствѣ, притворился влюбленнымъ, чтобы вѣрнѣе завладѣть моимъ состояніемъ.

— И отецъ вашъ не преслѣдовалъ негодяя?

— Гдѣ-же отыскивать прикажете?

— Но вѣдь его сестра тутъ-же, въ колоніи, живетъ?

— Я съ отцомъ разъ отправились къ сестрѣ его. Она, завидѣвъ насъ издали, выбѣжала къ намъ на встрѣчу. При видѣ ея я не могла удержаться отъ слезъ. „Плачь, плачь, безбожница! Вотъ тебѣ за то, что увлекла моего бѣднаго брата въ вашу проклятую семью. И ты думала, что честный еврей можетъ быть мужемъ дочери херемника ¹⁾!“ Сказавъ это, она выбѣжала въ избу и хлопнула за собою дверь. Отецъ обращался и къ полиціи, и къ смотрителю, но напрасно.

Въ эту минуту раздался голосъ старика Якоба, звавшаго дочь. Мы незамѣтно пробесѣдовали до заката солнца. Старикъ пытливо взглянулъ намъ въ глаза, когда мы вошли въ избу.

— Держу пари, обратился онъ къ сыну, усмѣхаясь,—держу пари, что Лена успѣла уже выболтать все нашему гостю.

— Да, отецъ. Я все рассказала.

— Я неопасенъ для Лены, успокоилъ я старика. — Я не Иуда, и притомъ я... отецъ семейства.

Старикъ тепло пожалъ мнѣ руку.

Маргарита, между тѣмъ, суетилась. Она накрыла на столъ чистую скатерть, поставила приборы и вообще убрала столъ праздничнымъ образомъ. На столѣ появились и бутылка вина. Всѣ члены семейства разошлись по своимъ комнатамъ. Черезъ четверть часа они опять собрались въ столовой, умытые, причесанные, въ свѣжемъ бѣлѣ и праздничномъ платьѣ. Старикъ набожно сложилъ руки и съ чувствомъ произнесъ:

¹⁾ Херемъ, или анаема, налагался въ прежнія времена кагаломъ или падишахи. Съ херемникомъ прекращались всякія житейскія и коммерческія отношенія. Херемъ заключалъ въ себѣ, въ одно и то-же время, и родъ отлученія отъ синагоги, и лишеніе правъ состоянія. Неудивительно, что херема боялись какъ ваторги... Несчастные херемники, большею частію, превращались въ нищихъ и невозвратно погибали. Русскій законъ обратилъ, наконецъ, вниманіе на это зло. Съ тѣхъ поръ рѣдко прибѣгаютъ къ херему, но и то таинственнымъ и подпольнымъ образомъ.

— Господи, благодарю тебя за будничный, здоровый трудъ и за наступающій сладкій отдыхъ святой субботы! Дай намъ, о Господи, здоровье и силъ трудиться, благослови нашъ трудъ и одари насъ разумомъ, дабы пользоваться твоими благами и любить своихъ ближнихъ.

Всѣ весело усѣлись за столъ. Даже лицо Лены какъ-то прояснилось. Меня усадили между отцомъ и дочерью. Маргарита съ своимъ внукомъ усѣлась тоже за столъ. Я почувствовалъ, какъ въ моемъ сердцѣ шевелилось нѣчто особенно хорошее, честное, спокойное, что-то такое, что словами передать невозможно. Я мысленно проходилъ различныя знакомыя мнѣ сферы еврейской жизни и ощущалъ свѣжесть новой, разумной среды.

— О чемъ вы такъ глубоко задумались? спросилъ меня старикъ.

Я отпустилъ ему какой-то комплиментъ.

— Похвалу вашу принимаю, только не на свой счетъ. Если въ нашей семьѣ есть что-нибудь хорошее, то мы обязаны этимъ моему дѣду-раввину и бѣдному отцу, положившему свои страдальческія кости въ Россіи. Нѣсколько десятковъ лѣтъ сряду они выбивались изъ силъ, чтобы избавить своихъ братьевъ отъ различныхъ тягостныхъ бредней, вредныхъ житейскихъ правилъ и дикихъ обычаевъ, но успѣли привить свои взгляды только собственнымъ дѣтиямъ. Единовѣрцы возстали противъ нихъ. Дошло до того, что отцу моему и нашей семьѣ пришлось бѣжать изъ родины, чтобы скрыться отъ опаснаго преслѣдованія.

— Могу-ли узнать, въ чемъ именно заключались тенденціи вашихъ предковъ, такъ благотѣльно отразившіяся на вашей семьѣ?

— Тенденціи эти легко по пальцамъ сосчитать: „Богъ есть единый. Онъ требуетъ много дѣла и мало словъ. Что непріятно тебѣ, того не причиняй своему ближнему. Въ поступкахъ и образѣ жизни человека скрываются его рай и его адъ. Въ потѣ лица приобрѣтай свой хлѣбъ“. Я далеко не философъ, не теологъ и не еврейскій ученый, но мнѣ кажется, что въ этихъ немногихъ словахъ заключается весь катихизисъ истаго еврея и человѣка и вся сущность ученія Моисея и пророковъ.

— Что-же по-вашему талмудъ?

— Талмудъ заключаетъ въ себѣ много хорошаго. Талмудъ съ своими силлогизмами, аналогіей и изворотливыми комбинаціями—очень полезная экзерциція для молодого мозга. Смотра на талмудъ съ этой точки зрѣнія, ученіе его можетъ быть признано плодотвор-

нымъ. Къ сожалѣнію, евреи не умѣютъ трезво смотрѣть на свой талмудъ, а потому нерѣдко извращаютъ его тенденціи и съ умысломъ примѣняютъ ихъ къ безнравственнымъ цѣлямъ. Не могу я безъ горькаго смѣха вспомнить о выходкѣ одного распутнаго юноши-еврея, нахватавшагося талмудейскихъ вершковъ. Однажды юноша этотъ, вечеромъ, сорвалъ шаль съ несчастной уличной женщины. Когда знакомые начали упрекать его въ подломъ поступкѣ, онъ оправдывался тѣмъ, что талмудъ разрѣшаетъ *содратъ кожу съ падали среди улицъ, но не прибѣгать къ помощи своихъ ближнихъ*. Талмудъ этимъ изрѣченіемъ, очевидно, имѣлъ въ виду облагородить всякій честный трудъ, какъ-бы онъ ни былъ грязенъ, и опозорить всякое попрошайничество, а негодяи примѣнили это изрѣченіе къ своей низкой цѣли — завладѣть чужою собственностью явнымъ грабежомъ.

Я обрисовалъ моему хозяину ученаго шута Хайкеля съ его взглядами на талмудъ и на характеръ евреевъ, полагая нѣкоторое сходство между его взглядами и взглядами Якова.

— Нѣтъ, отрѣзалъ старикъ:—вашъ философъ мнѣ не нравится. Онъ человѣкъ желчный. Насмѣшками не излечить больного; для этого требуются радикальныя средства и братскій уходъ. Сердиться на невѣдающаго или наказывать нравственно-уродливаго человѣка—глупо и бессмысленно, даже грѣшно, если это нравственное уродство систематически привито къ нему чужимъ вліяніемъ.

— Зачѣмъ-же вы сами махнули на колонистовъ-евреевъ рукой и отдѣлились отъ нихъ вмѣсто того, чтобы излечить невѣдающихъ отъ нравственнаго недуга?

Старикъ глубоко вздохнулъ.

— Я убѣдился, что безсиленъ, и притомъ бѣжалъ отъ видимой опасности. Я бѣжалъ отъ нихъ, но все-таки утверждаю, что они скорѣе несчастные, чѣмъ виновные.

— Почему?

— Можетъ-ли существовать человѣкъ вообще, а земледѣлецъ въ особенности, при такихъ ложныхъ понятіяхъ объ обязанностяхъ человѣка, при тысячѣ ежесекундныхъ обрядовъ, неудобно примѣняемыхъ къ практикѣ, къ жизни, при безконечныхъ молитвахъ, повторяемыхъ нѣсколько разъ въ день? Эти обряды и эти молитвы, обязательныя для всякаго еврея, безъ различія, кто онъ и чѣмъ онъ занимается, поглощаютъ все его время до того, что земледѣльцу и ремесленнику не остается достаточнаго времени для своего дѣла. Знаете-ли вы, за что еврей-колонисты возненавидѣли меня и моихъ бѣдныхъ дѣтей?

— Нѣтъ.

— Уже за одинъ покрой нашего не еврейскаго платья мое семейство попало къ евреямъ въ немилость; но когда они еще услышали наши несложныя молитвы на языкѣ не древнееврейскомъ, то окончательно отшатнулись отъ насъ. Два случая довершили разрывъ. У меня однажды, наканунѣ субботы, сбѣжала моя единственная казенная пара воловъ. Лишиться этой рабочей силы значило лишиться хлѣба. Я въ субботу утромъ сѣлъ верхомъ на свою кляченку и цѣлый день проѣздили, пока нашелъ пропажу. Это первый смертный грѣхъ мой ¹⁾. Затѣмъ чрезъ нѣкоторое время, какъ разъ въ судный день (іомъ кипуръ), на краю колоніи молнія заглянула избу. Хотя изба эта и была пуста, но мнѣ жалъ было отдать годный матеріалъ безъ борьбы въ добычу огня, и притомъ вѣтеръ дулъ въ такомъ направленіи, что пожаръ могъ распространиться по всей колоніи. Мы съ сыномъ бросились тушить и потушили. Это второй смертный грѣхъ ²⁾. Далѣе, евреи не могутъ намъ простить того, что у насъ не еврейская кухня. Мы не обращаемся къ еврейскому рѣзнику и вообще въ нашихъ обычаяхъ не руководствуемся поступками другихъ евреевъ. За это меня и моихъ дѣтей предали анафемѣ (херемъ). Скажите, что могъ я сдѣлать послѣ этого для нихъ?

— Неужели это не измѣнится никогда?

— Пока евреи-тузы будутъ коснѣть въ своемъ грубомъ эгоизмѣ, пока образованный классъ евреевъ не перестанетъ отчуждаться, пока не образуется раввинская комиссія для пересмотра религіозно-

¹⁾ Ызда въ субботу запрещена, изъ опасенія, что ѣздохъ сломитъ вѣтку для употребленія ея вмѣсто бича. Не только ѣзда во всѣхъ видахъ запрещена, но и образъ пѣшаго ходенія разрѣшенъ только въ двухверстной чертѣ отъ мѣста поселенія (тхумъ-шабашъ). Эту крайнюю черту еврей не имѣетъ права переступить. Продукты, привозимые въ день субботній изъ за „тхумъ-шабашъ“, называются „мукце“ и запрещены къ употребленію. Къ нимъ даже дотронуться нельзя до прошествія субботы. Нашелся въ талмудѣ такой умникъ, который задался слѣдующимъ вопросомъ: „если голубь былъ пойманъ охотникомъ въ день субботній, въ тотъ самый моментъ, когда первый стоялъ одной лапкой по сю сторону, а другою по ту сторону тхумъ-шабаша, то можно-ли употребить въ пищу голубя этого въ субботу?“ Умникъ забылъ, что въ субботу запрещено рѣзать,—слѣдовательно, голубя этого во всякомъ случаѣ въ субботу употребить въ пищу невозможно.

²⁾ Ни для какихъ имущественныхъ интересовъ, какъ-бы велики они ни были, евреи не имѣютъ права нарушить безконечный субботній уставъ. Одно спасеніе человѣческой жизни пользуется исключеніемъ въ этомъ случаѣ.

обряднаго кодекса, тормозящаго жизнь еврея,—до тѣхъ поръ евреи будутъ несчастны, гонимы и презираемы.

— Но евреи—я подразумѣваю толпу — врядъ-ли допустить какія-нибудь нововведенія въ религіозно-обрядной ихъ жизни и обычаяхъ.

— Раввинисты въ одномъ отношеніи заявили себя либералами: они разрѣшили каждому вѣку образованіе комиссіи изъ ста наличныхъ раввиновъ, для пересмотра религіозно-обряднаго кодекса и для отмѣны того, что не соотвѣтствуетъ уже цѣли и духу времени.

— Но, быть можетъ, время и образованіе возьмутъ свое и безъ всякаго содѣйствія?

— Можетъ быть; но когда? Теченіе событій черезчуръ медленно. Тотъ не ботаникъ, кто не умѣетъ вырастить салатъ въ зимнее время. Именно такихъ ботаниковъ въ средѣ русскихъ евреевъ и не оказывается. Вотъ въ чемъ кроется несчастіе. Однако, молодой человѣкъ, мы съ вами толчемъ воду. Леночка моя начинается, кажется, уже засыпать, слушая насъ.

Мы поднялись изъ-за стола и отправились въ садикъ, гдѣ расположились на травѣ между молодыми акаціями и тополями въ ожиданіи кофе. Вечеръ былъ восхитительный. Полная луна обливала горизонтъ серебристымъ свѣтомъ. Кругомъ стояла невозмутимая тишина. Легкій свѣжій вѣтерокъ тихо перебиралъ волнистую бороду полулежавшаго старика и шелестилъ въ листьѣхъ молоденькихъ деревьевъ.

— Леночка, попросилъ ласково Якобъ:—принеси-ка, дитя мое, твою цитру и спой намъ одну изъ пѣсень нашей дорогой Швейцаріи.

Лена не заставила упрашивать себя. Она побѣжала, принесла цитру, ловко и быстро ее настроила и свѣжимъ контръ-альто затянула подъ аккорды своего инструмента совершенно чуждую моему слуху мелодію. Черезъ нѣсколько минутъ Ансельмъ присоединился къ сестрѣ со своимъ баритономъ.

— Какъ-бы мнѣ хотѣлось быть вашимъ братомъ, Лена! шепнулъ я моей сосѣдкѣ при первомъ удобномъ случаѣ.

Она вздохнула.

— Бѣдненькая жена ваша! она, вѣроятно, очень скучаетъ.

На этотъ разъ пришлось вздохнуть и мнѣ. Какое-то мягкое, нѣжное чувство заговорило въ моей молодой груди, но, испуганное словами Лены, запряталось куда-то и замерло.

— Это — тоже одинъ изъ нашихъ смертныхъ грѣховъ, усмѣхнулся старикъ, поднимаясь съ мѣста. — Лена прослыла безбожни-

цею еще и за то, что она по субботамъ и праздникамъ играетъ на цитрѣ и къ тому еще поетъ ¹⁾). Бѣдняжки! ихъ увѣрили, что отдыхъ и спокойствіе заключаются въ одномъ лежаніи на боку; имъ вмѣнили въ грѣхъ даже радости искусства.

— Они толкуютъ слово „трудъ“ въ буквальный и тѣсномъ его смыслѣ, замѣтилъ я:—а такъ-какъ никакое искусство не дается безъ физическаго труда, то...

— Это-то именно и вредно. Хлѣбъ тоже не достается безъ физическаго труда,—слѣдовательно, и его не слѣдовало-бы употреблять въ субботу. Удивляюсь, какъ мудрые стряпатели субботняго устава не наложили запрета и на пережевываніе пищи, даже на пищевареніе. Развѣ это было-бы болѣе нелѣпно, чѣмъ запрещеніе носить по субботамъ носовой платокъ въ карманѣ ²⁾), чтобы заставить еврея сморкаться въ кулакъ или въ длинную полу его единственнаго кафтана?

Лена и Ансельмъ пожелали намъ спокойной ночи и ушли. Старики Якобъ, попавъ однажды на свою любимую тему, не умолкалъ. Я завелъ какъ-то рѣчь о томъ, что равноправность могла-бы двинуть еврейскую массу впередъ скорѣе, чѣмъ всякая реформа ихъ религіозно-фанатической жизни.

— Это вопросъ чрезвычайно запутанный, замѣтилъ мой собесѣдникъ.—Евреи говорятъ: дайте намъ полную равноправность, позвольте селиться, гдѣ намъ угодно, и заниматься, чѣмъ угодно; предоставьте намъ возможность улучшить нашу экономическую и социальную жизнь,—и тогда вы убѣдитесь, что намъ вовсе не присущи отъ природы тѣ недостатки, которые вы намъ приписываете, на которые вы смотрите сквозь увеличительное стекло исторической неприязни. Евреямъ отвѣчаютъ: „это смѣшно; вы добиваетесь кафедры прежде достиженія ученой степени профессора... Заслужите равноправность—и вы ее тотчасъ получите“. Кто послѣдовательнѣе, кто правѣе?

— На этотъ вопросъ приходится воскликнуть талмудейское „тейку“ ³⁾! перебилъ я Якоба и прервалъ бесѣду.

¹⁾ Женскій голосъ и волосы считаются до того опаснымъ соблазномъ, что обнаруженіе того или другого при мужчинѣ признается въ еврейской женщинѣ вернымъ динизма и наглости.

²⁾ Вслѣдствіе этого запрещенія, евреи поизмываютъ шею или ногу своимъ носовымъ платкомъ въ субботу, какъ-будто отъ этого маневра уменьшается тяжесть носимаго платка!

³⁾ Слово „тейку“ образовалось изъ начальныхъ буквъ слѣдующей фразы: «Тимби (Илья пророкъ) разрѣшитъ вопросы и недоумѣнія». Когда талмудисты

Я не забылъ и о миссии, возложенной на меня. Цѣлый день субботній толковалъ я съ опытнымъ, толковымъ моимъ хозяиномъ о нашемъ предпріятіи. Онъ былъ за него и пророчилъ блестящіе результаты. Онъ охотно вызвался посвятить нѣкоторое время для установленія порядковъ въ нашей будущей юной колоніи. Мое прощаніе съ милымъ семействомъ было самое дружеское. Съ меня взяли слово навѣщать ихъ, хотя изрѣдка. Лена вызвалась посѣтить меня, когда я поселюсь въ колоніи, чтобы познакомиться съ моею женою.

Полный надеждъ и блестящихъ упованій, явился я къ Редлихеру.

— Ну, что? каково мнѣніе Якова о вашей затѣѣ? были первыя слова смотрителя.

— Онъ вполне за нее.

— Можетъ быть, онъ и правъ, согласился не безъ нѣкоторой ироніи Редлихеръ.—Дай Богъ, чтобы онъ не ошибся, какъ увлекаетесь, быть можетъ, и вы сами. А каковъ мой старина Яковъ и его семья?

— Теперь только я вполне понялъ, почему вы Якова прозвали *единственнымъ*.

Когда, возвратясь въ городъ, я передалъ нашему кружку о вынесенныхъ мною изъ моей поѣздки впечатлѣній, то экзальтаціи и радости моихъ единомышленниковъ не было границъ.

— Вотъ живой, наглядный образецъ разумнаго земледѣльца, вотъ модель нашей милой колоніи! воскликнули наиболѣе разгоряченные.

Кружекъ нашъ строго сохранялъ тайну. Это служило самымъ надежнымъ ручательствомъ твердой и непоколебимой рѣшимости, не мало удивлявшей насъ въ нѣкоторыхъ субъектахъ, отличавшихся болтливостью, слабостью характера и полнѣйшею подвластностью своимъ женамъ. Подобное утѣшительное положеніе дѣла скоро, однакожъ, измѣнилось.

Не прошло и недѣли со дня моего возвращенія изъ командировки, какъ мы уже успѣли изготовить самое вычурное прошеніе, выработать подробный проектъ устава для нашей будущей еврейской колоніи и подать то и другое мѣстной власти, отъ ко-

запутаются въ своей схоластикѣ, когда вопросы, разрѣшенія, силлогизмы и сопоставленія противорѣчащихъ талмудейскихъ теоремъ заузлятся до неразрѣшимой дилеммы, то этотъ гордіевъ узелъ разсѣвается словомъ «тейку»—«имѣйте терпѣніе до прибытія Ильи пророка». Было-бы очень грустно, если-бы евреи пришлось ждать и равноправности до тѣхъ норъ.

торой, по нашему мнѣнію, зависѣло полное разрѣшеніе. Мы тѣмъ болѣе надѣялись на удовлетворительный и быстрый успѣхъ, что власть эта состояла въ экстраординарномъ откупномъ спискѣ¹⁾, подъ извѣстнымъ номеромъ,—слѣдовательно, не могла не покровительствовать до нѣкоторой степени Ранову, вручавшему ей каждое первое число объемистый запечатанный пакетецъ... Прошеніе наше начиналось подробнѣйшимъ исчисленіемъ причинъ, препятствующихъ фанатику-еврею посвятить себя земледѣлію. Далѣе, желая блеснуть своими научными познаніями, авторъ прошенія коснулся исторической судьбы евреевъ вообще и польскихъ въ особенности, наглядно доказывая, подъ вліяніемъ какого давленія евреи изолировались отъ прочей массы враждебнаго имъ человечества. Средневѣковыми преслѣдованіями и частыми изгнаніями евреевъ мотивировалось отсутствіе наклонности въ еврей къ осѣдлой жизни и поземельной собственности. Затѣмъ прошеніе гласило, что мы-де, нижеподписавшіеся, проникнутые духомъ лучшаго, новаго времени, вполне постигшіе необходимость сліянія евреевъ съ прочимъ народонаселеніемъ, рѣшили устранить тѣ вредныя причины, которыя въ настоящее гуманное время потеряли уже всякую цѣль и здравый смыслъ; что зло это должно быть устранено введеніемъ устава по проекту, при прошеніи представляемому. Напыщенное прошеніе оканчивалось патетическимъ восклицаніемъ: „Нещастная, гонимая, презираемая нація въ лицѣ нашемъ вызываетъ о милосердіи и спасеніи. Благоволите...“ и проч.

Подача этой неотразимой петиціи была довѣрена депутаціи, состоявшей изъ Ранова и меня. Мы долго простояли въ официальной пріемной, въ числѣ прочихъ многочисленныхъ просителей, пока

¹⁾ Постоянные взятки, въ видѣ жалованья, чиновникамъ записывались по откупнымъ книгамъ подъ рубрикой „экстраординарный расходъ“. Всякій чиновникъ именовался номеромъ и подъ своимъ номеромъ или цифрой онъ числился въ спискахъ. Такимъ образомъ, при строгихъ слѣдствіяхъ, когда власть раскрывала откупныя книги именемъ закона, чиновники и откупщики избѣгали уликъ въ лихоимствѣ и лихоимствѣ. Я зналъ отца и сына изъ крупныхъ чиновниковъ, состоявшихъ на жалованьи у откупа и вмѣстѣ съ тѣмъ находившихся подъ безграничнымъ вліяніемъ одной красивой кокетки, пользовавшейся, вслѣдствіе этого, тоже значительнымъ окладомъ жалованья изъ откупа. Этотъ достойный триумфировать числился въ спискахъ дробью ¹/₂₃. Единица была она, а подъ ней, у ея ногъ такъ-сказать, цифра 2 обозначала поклонника ея, молодого, цифра-же 3 обозначала стараго волокиту. Одинъ крупный чиновникъ, устранившій откупъ, даже послѣ потери своего мѣста продолжалъ получать жалованье, а по спискамъ числился просто нулемъ.

крупная мѣстная власть не выплыла съ величественностью животворящаго солнца. Замѣтивъ коротко знакомаго Ранова, власть направилась прямо къ нему и милостиво приняла бумаги. Развернувъ прошеніе, заключающее въ себѣ нѣсколько листовъ мелко исписанной бумаги, власть непріятно поморщилась и рѣзко спросила:

— О чемъ?

Рановъ старался объяснить въ сжатыхъ выраженіяхъ суть и благую цѣль нашей просьбы. Власть, видимо, наскучило слушать, тѣмъ болѣе, что она изволила кидать многозначительные взгляды и покрывалась въ сторону, гдѣ скромно, опустивъ голову, дожидалась своей очереди молоденькая и хорошенькая просительница въ черномъ платьѣ. Власть безцеремонно осадила Ранова среди самой краснорѣчивой фразы:

— Словомъ, вы желаете вступить въ число колонистовъ? Просите вспомошествованіе казны?

— Да... Только на нѣсколько другихъ основаніяхъ.

— Хорошо-съ, разсѣянно кивнула головою власть. — Имѣйте хожденіе, добавила она и направила собственное хожденіе туда, куда именно притягивалъ ее магнитъ въ черномъ платьѣ.

Мы поочередно имѣли старательное хожденіе. Каждый день, за исключеніемъ воскресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ, кто-нибудь торчалъ въ передней извѣстной канцеляріи и возвращался ни съ чѣмъ. Мѣсяца черезъ два только намъ объявили чрезъ полицію, что прошеніе наше, въ числѣ другихъ, будетъ представлено на благоусмотрѣніе такого-то сіятельства, ожидаемаго въ скорости. Отъ этой административной личности зависѣла теперь наша судьба. Легко себѣ представить, съ какимъ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ждали мы приѣзда этой крупной административной звѣзды!

Нетерпѣніе наше имѣло еще и другое немаловажное основаніе. При подачѣ нашего прошенія и при словесномъ объясненіи Ранова съ мѣстной властью, присутствовало нѣсколько евреевъ-просителей. Не понявъ ясно, въ чемъ дѣло, эти евреи, однакожъ, смекнули, что мы затѣваемъ что-то такое, что не совсѣмъ согласно съ религіознымъ духомъ рутинистовъ. Въ тотъ-же день распространилась о насъ молва по городу. Молва эта, переходя изъ устъ въ уста, въ нѣсколько дней выросла до самыхъ уродливыхъ размѣровъ. Утверждали, что мы затѣваемъ какой-то расколъ, что мы выступаемъ изъ среды евреевъ, что мы создаемъ какую-то новую ересь. Еврейки, провюхавшія объ этой плачевной затѣѣ, сочли долгомъ предупредить вашихъ женъ въ самыхъ темныхъ выраже-

ніяхъ, совѣтуя имъ принять строгія мѣры къ обузданію мужей. Наша тайна лопнула вдругъ. Начались домашнія сцены, допросы, аресты, слезы, упреки, угрозы и ругань. Болѣе твердые изъ насъ или отмалчивались, или-же, откровенно сообщивъ женамъ о твердомъ своемъ намѣреніи, предоставляли имъ свободный выборъ между мужемъ и разводомъ, но слабые наши сотоварищи поколебались и начали вилать. Нѣкоторые изъ членовъ нашего кружка даже перестали посѣщать наши сходки. Будущая наша Аркадія видимо умирала до рожденія. Тѣ, которые цѣлко держались своихъ намѣреній, не унывали однакожъ.

Какъ всякому человѣческому ожиданію, наступилъ конецъ и нашему. Черезъ нѣсколько недѣль прибыла та административная личность, отъ одного мановенія руки которой зависѣло разрѣшеніе вопроса „быть или не быть“ для будущей нашей колоніи.

Никогда я не забуду того тоскливаго, сердечнаго трепета, с которымъ мы явились въ приемную залу крупной власти. Само собою разумѣется, что приемная была биткомъ набита просителями и что намъ пришлось дожидаться своей очереди.

Сіятельство торжественно приближалось къ каждому изъ ожидавшихъ просителей, величественно принимало бумагу изъ трепетныхъ рукъ и, не развертывая, передавало ее другому лицу, подобострастно слѣдовавшему за нимъ на цыпочкахъ. Дошла, наконецъ, очередь и до насъ. Начальство приняло изъ рукъ Ранова докладную записку и, передавая ее своему секретарю, уже повернуло въ противоположную сторону, но, услышавъ нѣсколько дрожавшій голосъ Ранова, остановилось.

— Мы убѣдительно просимъ ваше сіятельство осчастливить насъ скорымъ разрѣшеніемъ нашего прошенія. Желая посвятить себя сельскому хозяйству, мы черезъ замедленіе просимаго разрѣшенія рискуемъ потерять цѣлый годъ времени.

Сіятельство окинуло насъ бѣглымъ взглядомъ.

— Въ чемъ состоитъ просьба этихъ людей? спросило сіятельство у своего секретаря, торопливо пробѣгавшаго между тѣмъ глазами нашу докладную записку.

— Просятъ разрѣшенія той... того... страннаго прошенія и устава, о которыхъ я вчера имѣлъ честь докладывать.

— А!!! воскликнуло какъ-то насмѣшливо сіятельство, сдѣлавъ ловкій пируэтъ и измѣривъ насъ прищуренными глазами.— Вы домогаетесь разрѣшенія того... дурацкаго прошенія, которое вы подали мѣстному начальству?

Записки еврея.

Отъ подобнаго лестнаго отзыва о нашемъ образцовомъ произведеніи мы онѣмѣли.

— Вы, любезнѣйшіе, добиваетесь какихъ-то особенныхъ правъ и преимуществъ? Какая-нибудь горсть чудаковъ вздумала осчастливить Россію своею готовностью обрабатывать ея поля и имѣть наглость...

— Ваше сіятельство, пролепеталъ Рановъ:—вамъ, быть можетъ, представили нашу покорнѣйшую просьбу не въ томъ свѣтѣ, какъ мы...

— Молчать! грозно прикрикнуло сіятельство, топнувъ ногой. — Вы вздумали затѣвать расколъ, сектаторство, какую-то реформу? Знаете-ли вы, чѣмъ подобныя штуки пахнутъ?

— Мы полагали...

— Прошу не полагать! Если вамъ угодно пойти въ колонисты, то припишитесь къ прочимъ евреямъ, на общемъ основаніи, безъ всякихъ выдумокъ и умничанья. У насъ нѣтъ *ни лучшихъ, ни худшихъ*: всѣ вы одинаковы; чваниться нечего.

Униженные, оплеванные, осмѣянные въ собственныхъ глазахъ, мы выбирались изъ пріемной, понуривъ головы изъ боязни встрѣтить насмѣшливые взоры многочисленной публики, присутствовавшей при нашемъ пораженіи. До самаго конторскаго дома мы плелись молча, словно тяжело раненные съ поля проиграннаго сраженія.

На встрѣчу намъ высыпали товарищи, закидавшіе насъ вопросами.

— Неудача, все погибло, отказано, оповѣстилъ я нетерпѣливыхъ.

Такимъ мыльнымъ пузыремъ лопнуло наше намѣреніе. Въ довершеніе нашего позора, смѣшная исторія нашего проекта и унижительная сцена, которой подверглась наша депутація, сдѣлались въ тотъ-же день извѣстными всему еврейскому обществу. Жены, родственники и знакомые торжествовали и при каждомъ удобномъ случаѣ запускали шпильки въ самое чувствительное мѣсто нашего самолюбія.

Но попытка наша была непродолжительна.

На еврейскій людъ къ тому времени обрушилось крупное несчастье. Евреи забыли о насъ, пораженные собственнымъ горемъ.

V.

Изъ огня въ полымя.

Евреи роптали и плакали навзрыдъ оттого, что законодательная власть вздумала преобразовать ихъ наружную оболочку; оттого, что сила закона коснулась ихъ пейсиковъ и ермолокъ; оттого, что ихъ женамъ запрещалось стричь или брить головы; оттого, что чужая воля наложила руку на ихъ традиціи...

Въ предшествовавшее царствованіе выпалъ на долю евреевъ такой періодъ времени, когда законъ считъ полезнымъ вмѣшаться въ частную жизнь евреевъ, подвергнуть строгому контролю ихъ дѣятельность и выработать начала преобразованія.

Вся еврейская нація, живущая въ Россіи, по образу и роду занятій каждого, была подраздѣлена на четыре разряда. Люди первыхъ трехъ разрядовъ: купеческое сословіе, ремесленный и приказчикій цехи, признавались полезными гражданами, всѣ-же остальные, невходившіе въ составъ первыхъ трехъ разрядовъ, считались трутнями, тунеядцами и паразитами; они составляли четвертый, вредный разрядъ. Этотъ послѣдній разрядъ долженъ былъ подвергнуться усиленной рекрутской повинности, во избѣжаніе которой необходимо было избрать полезный родъ дѣятельности или-же приспособить себя къ правильному труду, т. е. къ земледѣлію. Правительство охотно колонизировало желающихъ, предоставляя имъ льготы, отводя бесплатно земли, снабжая средствами для перекочеванія въ мѣста назначенія и предметами первоначальнаго сельско-хозяйственнаго обзаведенія.

Сортировка эта сначала испугала евреевъ не на шутку: въ четвертый разрядъ долженъ былъ попасть весь пролетаріатъ, то-есть большая часть евреевъ тогдашняго времени. Но, благодаря порядкамъ того-же времени, мѣра эта не достигла желаемой цѣли. Значительное число зажиточныхъ евреевъ, принадлежавшихъ по своей неопредѣленной дѣятельности къ четвертому разряду, перешагнуло въ дешевый третій рангъ купечества; многіе купили себѣ изъ ремесленныхъ управъ свидѣтельства о ремесленной ихъ дѣятельности, а многіе, фиктивно, приписались приказчиками и повѣренными къ своимъ единовѣрцамъ купеческаго сословія. Свидѣтельства изъ ремесленныхъ управъ выдавались желающимъ за извѣстную плату, преимущественно на такія ремесла, незнаніе которыхъ

меньше угрожало обнаруженіемъ подлога. Если-бы кому-нибудь вздумалось составить тогда статистику ремесленного еврейскаго сословія, то онъ изумился-бы баснословному изобилію стекольщиковъ, красильщиковъ, пивоваровъ, впокуронъ и переплетчиковъ, превосходившему втрое число остальныхъ ремесленниковъ.

Легко себѣ представить послѣ этого, каковы были тѣ, которые уже никакими путями не могли обойти законъ! Въ самомъ дѣлѣ, въ четвертый разрядъ попали только личности, которыя стояли одиночными на свѣтѣ, которыя съ колыбели породнились съ нищетою, тѣ, которыхъ сами евреи считали подонками своего общества. И вотъ эти-то человѣческіе подонки были предназначены для колонизаціи, и эти колонисты должны были служить назидательнымъ примѣромъ своимъ единовѣрцамъ! Каковъ могъ быть результатъ?

Сначала описанная мною мѣра взбудоражила евреевъ, но постепенно явившаяся возможность ускользнуть отъ угрожающаго четвертаго разряда окольными путями, мало-по-малу, повліяла успокоивающимъ образомъ. Далеко не такъ легко отнеслись евреи къ посягательству на пейсы, ермолки и національный костюмъ.

Едва молва о преобразованіи наружности евреевъ начала распространяться, какъ еврейскіе муравейники взволновались и зашумѣли. Большая часть евреевъ, впрочемъ, относилась скептически къ этой странной молвѣ, — до того казалась она невѣроятною. Вскорѣ, однакожъ, обнаружилась страшная дѣйствительность; молва превратилась въ несомнѣнный фактъ: указъ объ измѣненіи одежды евреевъ былъ обнародованъ и прочитанъ мѣстнымъ начальствомъ въ переполненныхъ синагогахъ.

Завопили евреи воплемъ отчаянія. Обойти новый законъ, установленный указомъ, не было никакой возможности: наружность спрятать нельзя, и потому полиціи были неумолимы и подкупы оказались недѣйствительными. Случай этотъ и въ полицейскомъ мірѣ тогдашняго времени выходилъ изъ ряда обыкновенныхъ и ставилъ въ тупикъ самыхъ опытныхъ полицейскихъ чиновъ.

— Каверзная штуkenціа! сѣтовалъ любезный квартальный надзиратель нашего участка. — Полицействую я цѣлыхъ тридцать лѣтъ, посѣдѣлъ въ мундирѣ и треуголкѣ, а такой невидальщны еще не испытывалъ. Желалъ-бы помочь, да не могу. Рожа — не свой братъ: не скроешь; торчитъ, проклятая, и мозолить глаза высшему начальству. Ничего придумать не умѣю. Придется обрубить жидовскіе пейсики и обрывать длинные кафтаны.

Чины злились на безприбыльную штуkenцію и злость свою вымещали на бѣдныхъ евреяхъ. Евреевъ тащили въ полицію къ

стрижеѣ, какъ барановъ. Нерѣдко полицейскіе чины самолично исполняли обязанность цирюльниковъ; нерѣдко будочники обрубали еврейскіе пейсики тупыми топорами. Жестокая, беспощадная рука пьянаго чина зигзагами обрывала полы единственного кафтана бѣдняка. Съ еврейскихъ женщинъ грубая рука безцеремонно срывала головныя повязки среди улицъ, на базарной площади; стриженныхъ или бритыхъ тащили въ полиціи и запирали въ ямы...

Ни въ свирѣпое холерное время, ни въ печальные дни „бегонь“ не раздавалось такихъ болѣзненныхъ криковъ, не слышалось такихъ частыхъ и глубокихъ вздоховъ, какъ въ періодъ переодѣванія. Синагоги цѣлые дни были биткомъ набиты, совѣщаніе слѣдовало за совѣщаніемъ. Дѣлались баснословныя складчины. Сочинялись краснорѣчивѣйшія прошенія къ высшей власти и посылались депутаціи. Законъ оставался несокрушимымъ.

Общества еврейскія раздѣлились на партіи. Небольшое число было за законъ, видѣло въ немъ существенную пользу и начало лучшихъ временъ для евреевъ; большая-же часть религиозныхъ пессимистовъ была противъ закона и пророчила безконечно-длинную цѣнь національных бѣдствій. Партіи на общественныхъ сходкахъ горланили, спорили, доказывали, доходили чуть не до драки, но, въ концѣ концовъ, каждая оставалась при своихъ убѣжденіяхъ.

Волненія эти происходили, въ большей или меньшей мѣрѣ, почти во всѣхъ еврейскихъ кагалахъ, но ближе другихъ къ сердцу принимали новый законъ польскіе евреи. Ихъ подстрекали польскіе цадики и хасидимы.

Одинъ изъ моихъ знакомыхъ, проживавшій въ описываемое время въ одномъ изъ губернскихъ городовъ, населенномъ почти одними польскими евреями, рассказалъ мнѣ впослѣдствіи объ одной характеристической сходкѣ, на которой онъ присутствовалъ лично.

Въ томъ губернскомъ городѣ резидировалъ раввинъ-фанатикъ, какихъ мало. До славы цадика онъ не успѣлъ еще дойти, хотя перешагнулъ уже за седьмой десятокъ; но всеобщая молва о его искренней, пуританской набожности выдвинула его изъ ряда обыкновенныхъ раввиновъ. Съ виду онъ напоминалъ собою египетскую мумію,—до того строгіе посты, молитвы и бессонныя ночи, проведенныя надъ талмудомъ и молитвами, изсушили его тѣло. Онъ вѣчно болѣлъ и страдалъ постоянными флюсами, а потому, и зимою и лѣтомъ, большую часть времени проводилъ въ кровати, на своихъ жиденькихъ, ничѣмъ не покрытыхъ пуховикахъ, самъ укутанный пуховикомъ-же до подбородка. Одна голова его сообщала

лась съ комнатнымъ воздухомъ, и то не вся: до бровей она утопала въ ваточной, собольей, хвостатой шапкѣ. На улицу онъ выходилъ не иначе, какъ только подвязавъ предварительно щеки заячьимъ мѣхомъ.

Подъ предсѣдательствомъ этого стараго чудака была устроена сходка, на которой предстояло рѣшить вопросъ о переодѣваніи. Сходка была въ синагогѣ, конечно. Народу была тѣмъ-тѣмъ. Кромѣ важности самаго вопроса, cadaго интересовалъ диспутъ, предвидѣвшійся между раввиномъ и однимъ старикомъ-евреемъ, стяжавшимъ себѣ извѣстность вѣчной оппозиціей противъ мнѣній раввина. Этого старика-еврея, впрочемъ, не любили, считая его скрытымъ атеистомъ, но въ глаза лстили ему, ибо онъ былъ богатъ и былъ однимъ изъ крупныхъ коммерческихъ дѣятелей города.

— Братья! началъ разбитымъ, старческимъ голосомъ раввинъ. — Вѣра праотцевъ нашихъ въ большой опасности. Что дѣлать намъ?

— Ничего не дѣлать, а повиноваться. Талмудъ гласитъ: „законъ царя—законъ Божій“, рѣзко отвѣтилъ за всѣхъ оппозиторъ раввина.

— Да. Но святой талмудъ гласитъ также: „пожертвуй жизнью, но не измѣняй вѣрѣ“.

— Какое отношеніе между вѣрой и ермолкой?

— Какъ? изумился раввинъ.

— Рабби, выслушайте меня до конца. Я хочу высказаться разомъ. Я обязанъ это сдѣлать. Потомъ рѣшайте, какъ знаете.

— Я слушаю васъ, согласился раввинъ не безъ вздоха, чувствуя сильную оппозицію.

— Маймонидъ сочинилъ цѣлую книгу подъ заглавіемъ: „Тайне гамицвезъ“ (Мотивы религіозныхъ постановленій); самой книгой этой нашъ великій авторитетъ доказалъ, что и мы не лишены права доискиваться до подобнаго рода мотивовъ. Этимъ правомъ я и воспользуюсь.

— Маймонидъ... началъ-было ворчать раввинъ, но оппозиторъ не далъ ему продолжать.

— Вы обѣщали выслушать меня; не перебивайте-же моей рѣчи, продолжалъ оппозиторъ. — Пейсиками и бородой законодатель Моисей пожелалъ отличить наружность своего племени отъ прочихъ племенъ, враждебныхъ новому ученію; идолопоклонство въѣлось въ плоть и кровь тогдашняго человѣчества до того, что малѣйшее сближеніе между освобожденными рабами Египта и язычниками могло легко потушить въ первыхъ ту слабую искру вѣрованія въ

Единого Іегову, которую удалось Моисею зажечь въ своемъ народѣ. Но тѣ времена уже далеко за нами. Теперь мы живемъ въ Европѣ, въ странѣ, гдѣ язычника и со свѣчей не сыщешь. Спрашивается: къ чему теперь это оригинальное отличіе наружности, выдающее еврея въ цѣлой толпѣ народа? Не для того-ли, чтобы недруги легче могли узнать жида и смѣлѣе осыпать его насмѣшками и оскорбленіями?

— Насмѣшки и оскорбленія посылаются намъ свыше, возразилъ раввинъ, закативъ набожно глаза.—Мы въ изгнаніи... Намъ Іерусалимъ...

— Мы не въ Іерусалимѣ, а въ Россіи, рабби. Я утверждаю, что Моисей самъ освободилъ-бы свой народъ въ настоящія времена отъ тѣхъ особенностей, которыя потеряли уже свою первоначальную цѣль.

— Боже великій! Какую ересь онъ проповѣдуетъ! возмущился раввинъ.

— А ермолки? Кому мѣшаютъ наши бѣдныя ермолки? спросилъ одинъ изъ толпы.

— Ермолка—тоже одна изъ безцѣльныхъ особенностей. Да и не Моисей ее выдумалъ. Ермолка занесена предками нашими изъ Азіи—изъ жаркихъ странъ, гдѣ человѣку часто угрожаетъ солнечный ударъ; тамъ она необходима. Но мы живемъ въ умѣренномъ климатѣ; мы скорѣе радуемся солнцу, чѣмъ пугаемся его. Спросите медика, и онъ вамъ докажетъ, какъ вредна ермолка, подбитая толстой кожей, для головки золотушного ребенка.

— Ой вей миръ! ермолка вредна! изумились нѣкоторые изъ присутствующихъ.—И длинный кафтанъ, и соболя шапка тоже вредны? Ха, ха, ха!

— Знаете-ли вы, что такое вашъ національный костюмъ, ваши кафтаны и хвостатыя мѣховыя шапки? Это—ваше униженіе, ваше клеймо.

— Что, что?

— Да. Въ тѣ ужасныя времена, когда феодалы, смѣясь, приколачивали ермолку гвоздемъ къ черепу живого еврея, въ тѣ безчеловѣчныя времена, когда убіеніе жида наказывалось польскимъ уголовнымъ уложеніемъ штрафомъ въ пятьдесятъ гульденовъ, евреевъ, для унижительнаго отличія, польскій законъ заставлялъ плыть на себя этотъ безобразный, шутовской кафтанъ, эту смѣшную шапку. Была такая пора, когда еврей, сверхъ того, обязанъ былъ зашивать кусокъ доски въ спинку своего верхняго платья и носить знакъ своего позора, какъ каторжники носятъ клеймо сво-

его преступленія. И это клеймо вы считаете святыней, и съ этимъ воспоминаніемъ своего позора вы боитесь разстаться? Мнѣ стыдно за васъ, братья!

— Стыднѣе не быть похожимъ на еврея, стыднѣе одѣваться голозадникомъ! сердито вскрикнулъ раввинъ, терявшій хладнокровіе.

— Покрой платья и манера носить его характеризуетъ образъ занятій человѣка и его жизни, продолжалъ оппозиторъ.—Такъ-называемый національный костюмъ еврейскій былъ какъ нельзя болѣе въ пору тому несчастному еврею, для котораго онъ былъ созданъ. Забитый, гонимый, преслѣдуемый, трусливый еврей, пугаясь собственной тѣни (а пугаться было тогда чего), спрятавшись въ свой длинный до пятокъ балахонъ, всунувъ голову въ глубокую шапку, затенувъ руки за свой широчайшій поясъ, считалъ себя какъ-бы укрытымъ, защищеннымъ отъ насилія, гнавшагося за нимъ по пятамъ. Но тѣ страшныя времена прошли, а еврею и до сихъ поръ какъ-то неловко укоротить длинныя полы своего кафтана: ему кажется, что кто-нибудь таѣ и вцѣпится зубами въ его обнаженныя икры.

Раздался звонкій смѣхъ. Смѣялись единомышленники либерала. Ихъ было очень немного. Смѣхъ этотъ вывелъ раввина окончательно изъ себя.

— Братья! Израильтяне! вспомните, что приказано намъ Богомъ: „по слѣдамъ другихъ народовъ не идите“. Эти слѣды могутъ довести васъ до гибели. Съ національнымъ костюмомъ многіе изъ васъ сбросятъ съ себя и вѣру, и тору, и Бога. Мы обязаны пожертвовать нашей жизнью, но устоять. Вспомните нашихъ великихъ мучениковъ и будьте достойными сподвижниками этихъ столбовъ вѣры, этихъ святыхъ мужей, убиенныхъ и сожженныхъ за вѣру праотцевъ нашихъ.

— Что-же по-вашему остается дѣлать, рабби? спросили многіе, склоняясь видимо на его сторону.

— Заявить, что мы ни за что на свѣтѣ не переодѣнемся по-кацапски, пусть насъ всѣхъ хоть перерѣжутъ!

— Рабби, серьезно обратился оппозиторъ къ фанатику.—Если вы такъ смотрите на переодѣваніе, то вамъ остается одно: для примѣра принести себя перваго въ жертву.

— И принесу себя въ жертву. Что я долженъ сдѣлать? Говорите! Я все сдѣлаю.

— Идите сію минуту, немедленно, къ губернатору и рѣшительно объявите, что вы первый не повинуетесь новому закону.

Примѣръ заразителенъ: мы всѣ послѣдуемъ за вами. Идите-же, идите!

— Идите-же, идите! возразилъ съезжившійся раввинъ, какъ-то комично почесывая указательнымъ пальцемъ подъ ермолкой.— Идите. А если меня сочтутъ бунтовщикомъ и... Боже сохрани, запрячутъ въ яму?

Раздался гомерическій смѣхъ. Смѣялись уже не только сподвижники оппозитора, но и поклонники раввина.

Какъ ни исключительны казались защитники пейсиковъ и ермолокъ, но ихъ мнѣнія все-таки брали перевѣсъ надъ мнѣніемъ либераловъ. Масса польскихъ евреевъ и до настоящаго времени не можетъ отрѣшиться отъ своего костюма и пушистыхъ пейсиковъ. Невыразимо грустно было видѣть, какъ ухитрялись евреи, когда полиція насильно, при барабанномъ боѣ, превращала ихъ въ европейскихъ франтовъ. Многіе умудрялись поднимать свои длинные пейсы къ верху и завязывать ихъ узломъ на темени, подъ шапкою; къ шапкѣ-же или фуражкѣ они пришивали коротенькіе пучки чужихъ волосъ, чтобы надуть бдительность начальства. Иные подгибали полы своего кафтана, на манеръ солдатской шинели во время похода, превращая, такимъ образомъ, кафтанъ, якобы, въ короткій сюртукъ. Еврейскія женщины украшали свои виски шелковыми начесами. Полиціи замѣчали всѣ эти дѣтскія продѣлки, но, наконецъ, утомившись бесплоднымъ преслѣдованіемъ, плюнули и махнули рукою.

Но возвращаюсь къ частной моей жизни.

Откупщика Тугалова общественныя и національныя событія не отвлекали ни на одну іоту отъ его кабачнаго міра, въ который онъ былъ погруженъ тѣломъ и душою. Онъ первый узналъ о нашей колонизаторской затѣѣ, но, опасаясь въ одно прекрасное утро очутиться безъ служащихъ, притворялся ничего невѣдающимъ, старался умаслить насъ менѣе грубымъ обращеніемъ и не столь строгою дисциплиною, дѣлая видъ, что исторія о квитанціи давно уже забыта. Но когда проектъ нашъ кончился полною неудачею, онъ тотчасъ сбросилъ съ себя овечью шкуру и, болѣе чѣмъ когда-либо, принялся насъ душить. Правда, онъ никого не удалялъ отъ службы (это было не въ его правилахъ), но за то служащимъ, казавшимся болѣе виновными, онъ убавлялъ жалованья, пользуясь безвыходностью ихъ положенія. Въ число пострадавшихъ такимъ образомъ попалъ, конечно, и первый, какъ главный виновникъ. Мое положеніе было самое жалкое. Жена моя собиралась сдѣлаться матерью вторично, мое тѣсное жильѣ необходимо было замѣ-

нить нѣсколько болѣе обширнымъ. Къ тому-же я задолжалъ; жизненные продукты къ предстоящей зимѣ съ каждымъ днемъ дорожали, а тутъ послѣдовала убавка жалованья. Жена осыпала меня упреками, сваливала всю вину на мою глупую гордость, непозволившую мнѣ явиться къ откупщику съ повинною головою и съ мольбой о прощеніи.

— Что не сдѣлаетъ любящій мужъ для своей жены? упрекнула она меня въ сотый разъ. Я, наконецъ, потерялъ всякое терпѣніе.

— Любящій... быть можетъ, укололъ я ее.

— Развѣ ты меня не любишь? приступила она ко мнѣ, побавровѣвъ отъ злости.

— Развѣ ты заслуживаешь любви? спросилъ я въ свою очередь, зло улыбаясь.

— Дай мнѣ разводъ, если такъ.

— Хоть сію минуту.

— А, ты и радъ, голубчикъ? Барышню подцѣпить желательно, книжницу, пѣвицу, плясунью, у которой тоже нѣтъ Бога, какъ и у тебя? Нѣтъ, погоди у меня; измучу я тебя, прежде въ гробъ уложу, а развода не возьму; барышнѣ не видать тебя, какъ своимъ поганыхъ ушей.

— Молчи, пожалуйста. Если-бы ты и впрямь потребовала развода, то у меня нѣтъ средствъ обезпечить тебя. Я нищій, а вытолкать тебя безъ средствъ счелъ-бы варварствомъ.

— Конечно, ты—нищій. Но чего-же ты чванишься? Иди къ откупщику, проси, моли на колѣняхъ, авось простить.

— И пойду къ нему, только не просить, не молить, а плюнуть въ его пьяную рожу и отказаться отъ должности!

Въ эту минуту мой ребенокъ, первенецъ, подползъ къ матери и, младенчески улыбаясь, ухватился ручонкою за ея колѣно, намѣреваясь подняться на ножки, но мать такъ грубо и сильно толкнула своего ребенка, что онъ, бѣдненькій, упалъ навзничъ и хлопнулся головкою объ полъ, съ такой силой, что, въ первую минуту, замеръ на мѣстѣ. Никогда еще я не чувствовалъ такой ярости и ненависти къ подругѣ моей горькой жизни, какъ въ эту минуту.

Я былъ пораженъ этой скверной сценой до мозга костей. Я чувствовалъ, что въ моемъ сердцѣ какъ-будто что-то оборвалось; это была послѣдняя нить моей законной привязанности, послѣдняя искра моей казенной любви. Слово «разводъ», однажды сорвавшееся съ языка, надавало уже мнѣ покоя; оно постоянно звучало въ мо-

ихъ ухахъ, составляло центръ всѣхъ моихъ помысловъ, служило цѣлью моей жизни.

— Разводъ... разводъ... прошепталъ я, выбѣжавъ на улицу.— Но какъ развестись? гдѣ средства, гдѣ деньги? Ее обезпечить нужно. А скандалъ, еврейская сплетня, суды да пересуды, ропотъ родныхъ, нападки друзей, непрошенные совѣты?... Но это все вздоръ: перенести можно. Деньги, главное — деньги, гдѣ ихъ взять?

Глупецъ, я мечталъ о крупной суммѣ для выкупа моей свободы, моей личности, моей будущности, а въ карманѣ звенѣло нѣсколь-ко серебрянныхъ мелкихъ монетъ, а въ записной книжкѣ кололи глаза нѣсколько минусовъ въ видѣ долговъ. Какъ-то безсознательно ноги несли меня по направленію къ гнѣзду Тугалова. Только въ виду этого ненавистнаго мнѣ гнѣзда я очнулся и остановился, какъ вкопанный.

— Зачѣмъ я иду туда? спросилъ я самого себя. — Просить? Но развѣ это послужить къ чему-нибудь, развѣ это животное способно на состраданіе?

Со скрипомъ растворилось окно въ домѣ Тугалова.

У окна сидѣла откупщица, молодая еврейка съ жирнымъ лицомъ дюжинной прачки; она няньчила грудного ребенка и кутала его въ шелковыя одѣяла. Молодая кормилица и нянька-старуха стояли тутъ-же и предлагали ребенку цѣлую кучу дѣтскихъ игрушекъ; ребенокъ хваталъ игрушки и швырялъ ихъ куда-то, заливаясь звонкимъ дѣтскимъ смѣхомъ. Служанки улыбались, а счастливая мать вторила хохоту своего сына.

Я чувствовалъ то, что чувствуетъ, вѣроятно, негръ, впроголодь прислуживающій у сытнаго стола своего властелина, то, что испытываетъ несчастный рабочій людъ при видѣ жирныхъ, здоровыхъ, пресыщенныхъ дѣтей фабриканта.

— Тебѣ что нужно, щеголь? слышалъ я голосъ Тугалова, звучавшій веселой нотой (я не замѣтилъ откупщика, стоявшаго за спиною счастливой матери и улыбавшагося во всю ширь своей пасти при видѣ радости своего дѣтища).

Отступать было поздно; я вошелъ въ его грязный кабинетъ. Онъ не замедлилъ туда явиться.

— Что нужно? спросилъ онъ меня уже обыкновеннымъ, грубымъ и рѣзкимъ басомъ.

— Г. Тугаловъ, вы убавили мое жалованье...

— Гм... Убавилъ. Что-же?

— Мнѣ и прежде жить было нечѣмъ, а теперь и совсѣмъ

умирать съ голода приходится. Я ожидалъ прибавки. Вы не разъ общались.

— Вообрази, щеголь, что ты еврейскій колонистъ: такъ и живи.

— Но вѣдь я не колонистъ. Я живу въ городѣ, квартира необходима, топить тоже нужно, ѣсть и одѣваться.

— По мнѣ хоть въ одной рубахѣ щеголай, въ моихъ глазахъ все щеголемъ останешься. Ха, ха, ха...

— Вѣдь я не одинъ... вообразите...

— Знаемъ, знаемъ, пѣсня не новая. Дороговизна, долги, дѣти, жена беременная. Кто виноватъ? Занимайся дѣломъ, не твори дѣтей. Ха, ха, ха!

Кровь прилила къ головѣ, въ вискахъ застучало, кулаки конвульсивно сжались.

— Вы... подлецъ! сорвалось у меня съ языка. Я выбѣжалъ вонъ.

Въ тотъ самый день я сдалъ откупной архивъ Ранову. Тугаловъ, желая наказать меня за дерзость, хотѣлъ подвести меня подъ какой-то параграфъ питейнаго устава, подъ какую-то уголовщину за несдачу какого-то отчета, за какой-то небывалый захватъ откупной выручки, — словомъ, хотѣлъ сотворить ту самую подлость, къ какой прибѣгали откупщики, иногда самые крупные, для вымещенія своего гнѣва на несчастныхъ служащихъ; но, благодаря дружбѣ Ранова и свойству моей обязанности, заключавшейся въ одной запискѣ мертвыхъ цифръ, ему это не удалось.

Я остался безъ средствъ. Существовать было нечѣмъ. Я рѣшилъ отправить семью къ моей матери въ деревню, самому-же остаться въ городѣ и, перебиваясь кое-какъ, отыскать частную службу. О намѣреніи своемъ я объявилъ женѣ.

— Я не поѣду отсюда, съ мѣста не тронусь. Ты избавься отъ меня вздумалъ, пожупровать на свободѣ захотѣлось? рѣшительно осадилъ меня жена.

— Чѣмъ-же мы жить будемъ?

— Это не мое дѣло. Ты обязанъ кормить, ты на то мужъ.

— Обязанъ! Но если нечѣмъ?

— Всѣ не имѣютъ, а достаютъ. Ты ни къ чему не способенъ, ты книжникъ. Горькая моя доля! лучше-бы я вышла за сапожника, за водовоза, только не за тебя.

— Да, лучше было-бы, согласился я.

На другой день посѣтилъ меня Рановъ.

— Я, братъ, къ тебѣ съ радостной вѣсточкой.

— А что?

— Подрядчикъ Клопъ ищетъ грамотнаго помощника. Работы мало, а вознагражденіе хорошее. Для тебя это мѣсто тѣмъ болѣе сподручно, что тутъ ты избавишься отъ всякой глупой дисциплины и отъ личныхъ оскорбленій, которыя переварить не умѣешь.

— Что это за личность этотъ Клопъ? Судя по фамиліи...

— Фамилія некрасивая. Но она, однакожь, не мѣшаетъ Клопу быть однимъ изъ самыхъ хитрыхъ, изворотливыхъ подрядчиковъ. Онъ умница большой руки, но плутъ, какихъ мало.

— Дѣла мутныя, конечно?

— Конечно, не прозрачныя. Но для тебя это безразлично, надѣюсь, лишь-бы жалованье...

— Противно. какъ-то.

— Оставь, пожалуйста! Подрядчики созданы изъ того-же самаго тѣста, какъ и откупщики. Послѣдніе продаютъ воду вмѣсто водки, первые строятъ казенныя зданія изъ мусора вмѣсто камня; какъ-тѣ, такъ и другіе, выѣзжаютъ на плутняхъ, взяткахъ и чиновникахъ.

Клопъ былъ человѣчекъ маленькій, худенькій, съ миниатюрной, черномазой рожицей, съ коротенькими ручками и ножками. Маленькіе, черненькіе, какъ у мышенка, глазки искрились хитростью и воровскою наглостью. Носъ имѣлъ форму и цвѣтъ варенаго птичьяго желудка, за что чиновники въ шутку и звали его «Пупикусъ». Онъ отличался вкрадчивостью рѣчи и манеръ, вѣчно заливался смѣхомъ и никогда, ни въ какомъ критическомъ положеніи не терялся. Подобно казенному имуществу, онъ ни въ огнѣ не горѣлъ, ни въ водѣ не тонулъ. Онъ всегда выходилъ сухъ, благодаря своей геніальной изворотливости и находчивости. Еврейская и чиновничья среды любили его за веселый нравъ, за хлѣбосолюство, за широкую натуру. Онъ имѣлъ только единственнаго врага въ лицѣ одного еврея — ростовщика и донощика.

Рановъ представилъ меня Клопу.

— Вотъ тотъ молодой человѣкъ, котораго я вамъ рекомендовалъ, Маркъ Самойловичъ.

Подрядчикъ любилъ разыгрывать человѣка, проникнутаго руссизмомъ, любилъ, чтобы его называли по имени-отчеству, хотя былъ едва грамотенъ и прѣскверно объяснялся по-русски.

— А, очень радъ, очень радъ, сказалъ онъ, весело пожимая мнѣ руку и потирая собственныя отъ удовольствія.

— Въ чемъ будетъ состоять моя обязанность? спросилъ я подрядчика. — Быть можетъ, я не способенъ къ ней. Я по подрядной части совсѣмъ несвѣдущъ.

— Ха-ха-ха! несвѣдущъ... Подрядная часть... Обязанность... какая тутъ часть? какая тутъ обязанность? ха-ха-ха!

— Извините, Маркъ Самойловичъ, я васъ не понимаю.

— Нечего тутъ и понимать. Вы будете получать жалованье и дѣлать то, что я самъ дѣлаю.

— А именно?

— То, что потребуютъ обстоятельства, но большею частью ничего.

— За что-же вы мнѣ платить станете?

— Другъ мой, вы у кабачниковъ привыкли въ ярмѣ ходить и при этомъ голодать. Мы, подрядчики, — другіе люди. Я ищу скорѣе грамотнаго товарища, чѣмъ служителя. Я люблю веселую жизнь, а одному какъ-то скучно. Надѣюсь, вы понимаете меня, мой другъ?

Я его совсѣмъ не понималъ. Я видѣлъ, что онъ хитритъ и вилаетъ. Но его обращеніе мнѣ польстило, а щедрость еще больше. Онъ сразу назначилъ мнѣ такую цифру жалованья, какая мнѣ и во снѣ не снилась, и выдалъ нѣкоторую сумму впередъ, чтобы я нѣсколько лучше устроился.

— Я люблю, чтобы сотрудники въ моихъ дѣлахъ были довольны и веселы. Жизнь коротка, ею пользоваться нужно.

Я аккуратно приходилъ къ подрядчику каждый день утромъ и оставался у него до вечера, больше въ качествѣ гостя, чѣмъ служащаго. Онъ и его семья считали меня, не знаю почему, какимъ-то образованнымъ, чуть-ли не ученымъ, гордились моею подчиненностью, которой я, впрочемъ, и не замѣчалъ, — такъ просто и безцеремонно всѣ относились ко мнѣ. Клопъ жилъ просторно и роскошно, на широкую ногу, ни въ чемъ не отказывалъ себѣ. Я чувствовалъ себя въ какомъ-то ложномъ положеніи, потому что получалъ значительныя деньги за какое-то *dolce far niente*.

— За что вы платите мнѣ? спросилъ я его однажды, въ откровенную минуту.

— Не торопитесь, мой милый; скоро будемъ и писать, и считать, и бѣгать; наработаемся до тошноты.

— Что-же предвидится?

— Торги на казенныя зданія, на земляныя работы. Мало-ли что!

— Возьмете-ли ихъ еще? это вопросъ.

— Непремѣнно возьму.

— А если цѣны сойдутъ до...

— Все равно, возьму.

— Хоть на убытокъ?

— Всѣ почти подряды берутся на убытокъ. Это ничего.

— Какъ ничего?

— Пора объяснить вамъ. Вы человѣкъ, какъ я вижу, скромный; это главное достоинство, которое я въ васъ цѣню. Знаете-ли вы, что такое подрядчикъ?

— Объясните, пожалуйста.

— Подрядчикъ—это человѣкъ, живущій безъ разсчета и живущій на счетъ этой самой безразсчетности.

— Какъ такъ?

— Если ему удастся только снять подрядъ, онъ уже обезпеченъ на извѣстное время. Задаточною суммою этого подряда онъ затыкаетъ дыры прежнихъ дѣлъ.

— Ну?

— Онъ затыкаетъ окончаніе этого подряда до наступленія новыхъ торговъ, до взятія новаго подряда. Новой задаточной суммою онъ окончить первый подрядъ и затыкаетъ дѣло до третьяго подряда и такъ далѣе.

— А дефицитъ растетъ и увеличивается?

— А чиновники для чего поставлены? А добавочныя смѣты? А экономія въ работѣ и матеріалахъ? Такимъ-то образомъ подрядчикъ, какъ канатный плясунъ, эквилибрируетъ и затыкаетъ дыры до самой смерти, не давая ни себѣ, ни другимъ отчета и пуская пыль въ глаза довѣрчивымъ глупцамъ. А тамъ... пусть казна сама сводитъ счеты, пусть залогодатели и кредиторы чешутся, какъ знаютъ. Пройдетъ десятка два-три лѣтъ, власти испишутъ нѣсколько стопъ бумаги, продадутъ нѣсколько залоговъ за безцѣнокъ и кончится тѣмъ, что „за смертью такого-то подрядчика и за неотысканіемъ имущества, недоимку исключить со списковъ, а дѣло предать забвенію“.

— Игра небезопасная, однакожь, замѣтилъ я.

— Какъ всякая игра. Надобно немножко умѣть карты подтасовывать и встать вольтъ пустить. Вы скоро увидите, какъ мы дѣлаемъ дѣла.

Чрезъ нѣсколько недѣль были назначены торги на земляныя работы. Требовалось скопать гору и землю вывезть за городъ для засыпки какого-то глубокаго провала. Вся трудность и цѣнность этихъ работъ заключалась именно въ перевозкѣ земли къ провалу. Хотя провалъ этотъ, по прямой линіи, былъ не въ дальнемъ разстояніи отъ горы, предназначенной къ скопкѣ, но строящіеся о ту пору казармы пересѣкали эту прямую линію, такъ что землю приходилось возить кругомъ, окольными улицами, на значительное раз-

стояніе. Казармы были уже вчернѣ готовы. Ихъ строилъ съ под-
ряда тотъ-же Клопъ.

Со всѣхъ концовъ смежныхъ губерній стеклось множество под-
рядчиковъ. Чтобы не понижать и не обрѣзывать цѣнъ, затѣяли, по-
обыкновенію, стачку. Одинъ только Клопъ не соглашался на уча-
стіе въ этой стачкѣ, несмотря на всѣ убѣжденія цѣлой массы
подрядчиковъ.

— Я считаю подлостью всякія стачки, твердилъ Клопъ. — Бу-
демъ торговаться. Кто предложитъ самую меньшую цѣну, за тѣмъ
пусть и остается.

Ни одинъ изъ подрядчиковъ не вѣрилъ, конечно, напускной
честности Клопа, но угадать тайную цѣль его никакъ не могли.

Земляныя работы остались за Клопомъ за баснословно-дешевую
цѣну. Подрядчики злорадствовали, что вогнали упорного коллегу
въ явную несостоятельность. Убытки предвидѣлись громадные. Но
Клопъ продолжалъ смѣяться по-прежнему.

— Ослы, олухи! Я имъ покажу, кто умнѣе, они-ли или я!
сказалъ мнѣ подрядчикъ, потирая самодовольно руки.

Я сказалъ выше, что казармы строилъ Клопъ. Онѣ были вчернѣ
готовы, а къ будущему лѣту Клопъ былъ обязанъ окончить ихъ
и сдать. Къ тому-же самому времени онъ долженъ былъ окончить
и земляныя, новыя работы.

Однажды Клопъ поручилъ мнѣ написать прошеніе на имя под-
лежащаго вѣдомства, слѣдующаго содержанія:

„Будучи побуждаемъ вѣрноподданническимъ чувствомъ и желая
улучшеніемъ строимыхъ мною казармъ предоставить большія удоб-
ства войску, для котораго казармы эти предназначаются, я возна-
мѣрился сдѣлать значительныя добавочныя, упущенныя въ смѣтѣ
работы бесплатно. Почему, представляя при семъ планъ и смѣту
измѣненій, улучшеній и новыхъ цѣнныхъ работъ, покорнѣйше
прошу таковыя мнѣ разрѣшить и о семъ пожертвованіи моемъ
довести до свѣденія высшаго начальства. При чемъ честь имѣю
присовокупить, что такъ-какъ добавочныя, бесплатныя мои работы
потребуютъ не мало времени, то я учинить таковыя иначе не
могу, какъ только въ томъ случаѣ, если въ окончаніи постройки
казармъ и сдачѣ таковыхъ въ вѣденіе казны будетъ мнѣ допу-
щена годичная отсрочка, о разрѣшеніи каковой прошу сдѣлать
представленіе куда надлежитъ“.

Власти, прочитавъ прошеніе, изумились безкорыстію и велико-
душію выжиги-подрядчика.

— Пупикусы! спрашивали его члены строительной комиссиі, стоявшіе на фамиллярной ногѣ съ Клопомъ:—что съ тобою?

— Медальку получить захотѣлось. Жена все глаза колетъ.

Пожертвованіе было, конечно, принято. Получилъ Клопъ и благодарность, и отсрочку. Последняя для него была самымъ главнымъ. Имѣя въ своемъ распоряженіи казармы на цѣлый лишній годъ, онъ разобралъ часть постройки, открылъ новый путь и землю перевезъ къ провалу не далекой, окольной дорогой, а по прямой линіи, что обошлось ему необыкновенно дешево. На этой перевозкѣ онъ жирно заработалъ.

— Ишь, плутъ, спохватилась прозрѣвшая власть:—какую штуку откололъ!

— Шельма! досадовали подрядчики. А Клопъ смѣялся самодовольно, потиралъ руки и набивалъ карманъ. Но карманъ Клопа, какъ и карманы всѣхъ подрядчиковъ, былъ похожъ на бочку Данаидъ: что ни входило туда, тотчасъ-же и уходило на затыканіе широкихъ дыръ по прежнимъ подрядамъ.

Нѣсколько мѣсяцевъ мнѣ отлично служилось у Клопа. Жалованье получалъ я хорошее. Правда, получалъ я его не всегда во время, но за то, когда водилась денъга, я бралъ разомъ за два, за три мѣсяца. Службы и дисциплины я почти не чувствовалъ. Работать приходилось очень рѣдко. Счетныхъ книгъ Клопъ не имѣлъ, по той естественной причинѣ, что идеалъ счастья для Клопа составляло жить безъ разсчета. Отписывался-же мой принципаль очень рѣдко. Большую часть корреспонденціи онъ бросалъ въ ящикъ изящнаго письменнаго стола нераспечатанною. Онъ какъ-то узнавалъ содержаніе получаемыхъ писемъ по наружной ихъ оболочкѣ; повертнуть, бывало, письмо въ рукахъ, посмотреть на печать, захохочетъ и швырнетъ въ ящикъ.

— Отъ залогодателя дурака. Для чего читать и къ чему отвѣчать? Я вѣдь знаю, что онъ требуетъ преміи за залогъ или освобожденія залога. И онъ знаетъ напередъ мой отвѣтъ: „Вышлю, освобожу при первой возможности“. А это отъ кредитора? Ну, этотъ и совсѣмъ глупъ. Я съ глупцами и переписываться не намѣренъ.

Но, постепенно, мое положеніе дѣлалось неловкимъ. Чѣмъ болѣе Клопъ благодушествовалъ со мною, тѣмъ болѣе я чувствовалъ угрызеніе совѣсти, что ѣмъ даровой хлѣбъ.

— Хоть-бы этотъ человѣкъ капризничалъ со мною, пожаловался я какъ-то въ присутствіи моей супруги:—я-бы нѣсколько утѣшился хоть тѣмъ, что мнѣ платитъ богатый чудакъ за удов-

летвореніе его капризамъ, а то онъ вѣчно смотритъ мнѣ въ ротъ, какъ своему дядькѣ, а я вѣдь отлично сознаю, что ему не приношу пользы ни словомъ, ни дѣломъ.

— Въ какой кацапской книжкѣ ты вычиталъ эту совѣстливость? срѣзала меня жена, сверкнувъ глазами.— Бери, благо даютъ. Ты всѣмъ и всѣмъ недоволенъ: не даютъ—плохо, даютъ—тоже плохо.

Я пересталъ жаловаться, но не переставалъ чувствовать двусмысленность своего положенія. А потому чрезъ нѣкоторое время, улучивъ удобную минуту, откровенно высказался моему принципалу.

— Маркъ Самойловичъ, я служу у васъ сложа руки; я просто дармоѣдничаю. Мнѣ это непріятно. Отказаться отъ васъ мнѣ почти невозможно: жалованье, которое вы мнѣ даете, единственный ресурсъ мой. Позвольте-же мнѣ, по крайней мѣрѣ, заступить у вашихъ дѣтей мѣсто учителя. Хотя я и не больно ученъ, но для начала могу быть имъ полезенъ.

Мое искреннее предложеніе, повидимому, тронуло Клопа. Онъ какъ-то удивленно посмотрѣлъ на меня.

— Вы честный молодой человѣкъ, похвалилъ онъ меня, хлопнувъ дружески по плечу.

— Я съ сегодняшняго дня начну заниматься съ вашими дѣтьми.

— Гм... А вы развѣ и по-французски умѣете? спросилъ онъ меня съ ироніей.

— Нѣтъ, но... замялся я.

— А если нѣтъ, то чему-же вы моихъ дѣвочекъ учить станете? Вотъ если-бы вы умѣли говорить по-французски или танцовать, тогда совсѣмъ другое дѣло. Если за мною останутся новые подряды, я непременно выпишу и француза, и танцмейстера. Я покажу этимъ чванливымъ чиновникамъ, каковы бываютъ жидовочки, непременно покажу.

Я прискорбно опустилъ голову. Мнѣ было досадно убѣдиться, что ничѣмъ я не могу быть полезенъ этому еврейскому самодуру. Клопъ понялъ мое молчаніе.

— Вы, другъ мой, напрасно беспокоитесь. Если я вамъ плачу жалованье, то, повѣрьте, не даромъ. Придетъ время, и вы будете мнѣ полезны, лишь-бы вы захотѣли.

Чрезъ нѣкоторое время прибѣжалъ ко мнѣ вечеромъ Клопъ, блѣдный и разстроенный.

— Что съ вами? встревожился я.

— Прочитайте мнѣ вотъ эту бумагу, торопливо попросилъ меня Клопъ.

Онъ суетливо вытащилъ изъ бокового кармана исписанный листъ.

бумаги и подаль его мнѣ, держа кончиками двухъ пальцевъ, какъ-будто бумага прожигала его руки.

— Читайте, повторилъ онъ свою просьбу.—На меня поданъ доносъ. Чиновникъ канцеляріи довѣрилъ мнѣ эту бумагу на самое короткое время.

Это былъ самый безграмотный, но самый ожесточенный безымянный доносъ на имя губернатора. Въ немъ указывалось на всѣ фальши, допущенныя Клопомъ при постройкѣ казармъ вообще и подваловъ подъ казармами въ особенности.

Съ трудомъ, едва удерживая смѣхъ, дочиталъ я курьезную бумагу, написанную еврейскимъ ябедническимъ слогомъ.

— Ужасный доносъ! простоналъ пораженный Клопъ.

— Что-же вы такъ испугались этой глупой бумаги? Вы вообще, кажется, не трусь въ дѣлахъ съ казною.

— Обыкновенныхъ прошеній и бумагъ я не боюсь; но тутъ... доносъ... ябеда...

— Не знаете-ли, кто написалъ этотъ доносъ?

— Какъ не знать! Это мой вѣчный врагъ, проклятый процентщикъ.

— За что-же онъ съ вами враждуетъ?

— За что собака кусаетъ? На то она собака.

— Вы-бы лучше примирились съ нимъ: неровенъ часъ.

— Охъ! нижніе подвалы казармъ ужасно пугаютъ меня: тамъ... маленькая экономія допущена. Если хватятся—бѣда. Познакомьтесь съ этимъ подлецомъ: не сведете-ли насъ какъ-нибудь на миръ. Вотъ вамъ случай быть мнѣ полезнымъ.

Прежде, чѣмъ заговорить съ процентщикомъ о мирѣ, я началъ собирать справки объ этой личности. Все еврейское общество презирало его и ненавидѣло, хотя не всѣ евреи показывали ему это. Онъ прослылъ богачемъ, краснобаемъ, нахальнымъ и отличнымъ писакой. Его считали силой и побаивались.

По отзывамъ, услышаннымъ мною, онъ являлся въ очень некрасивомъ свѣтѣ. За нимъ признавали глубокое знаніе талмуда и древне-еврейскаго языка, но считали его вмѣстѣ съ тѣмъ ханжою, фразеромъ и преступникомъ по всѣмъ почти заповѣдямъ Моисеева закона. Правиль у него никакихъ не существовало: для него ничего не значило подкупить ложнаго свидѣтеля, ограбить самаго близкаго человѣка и въ то-же время увѣрять всѣхъ и каждого, что онъ всѣхъ богаче совѣстью.

Я чувствовалъ отвращеніе къ этому человѣку по однимъ уже

заглазнымъ аттестаціямъ, но, желая услужить моему принципалу, я, однакожъ, пересилилъ себя и отправился къ нему на домъ.

Ростовщикъ жилъ въ обширномъ собственномъ домѣ, довольно по-европейски устроенномъ. Несмотря на это, его узенькій, маленький кабинетъ былъ испачканиѣ и грязнѣе даже безцвѣтнаго халата, въ которомъ я его засталъ. Стулья были покрыты толстымъ слоемъ пыли; на столѣ и на полу, въ самомъ хаотическомъ безпорядкѣ, валялись скомканныя, перепутанныя кипы разныхъ гербовыхъ и негербовыхъ бумагъ, писемъ и документовъ. Въ обширномъ коридорѣ слонялись и горлачили какія-то бабы и опаршанные евреи. Все это толкалось, спѣшило въ переднюю, чего-то просило, требовало и претендовало. Гаденькій еврейскій лакей дѣлалъ видъ, что не выпускаетъ назойливыхъ посѣтителей, но на самомъ дѣлѣ подстрекалъ ихъ кричать погромче или отправиться съ жалобою въ полицію.

Самъ хозяинъ, своею личностью, манерами и льстивыми рѣчами, сразу внушилъ мнѣ отталкивающее чувство. Его низкій лобъ, попурая голова съ щеткообразной, подстриженной бородой и злые глазки придавали ему видъ стараго, разсвирѣпѣвшаго быка, готоваго ринуться на своего противника; необыкновенно развитой затылокъ говорилъ въ пользу его грубыхъ, животныхъ наклонностей. Говорилъ онъ быстро, неудержимо, захлебываясь отъ напора словъ, жестикуюлируя и поминутно жмурия глаза.

Я назвалъ ему мою фамилію. Онъ разсыпался мелкимъ бѣсомъ, на еврейскомъ жаргонѣ.

— Слышалъ, слышалъ! очень пріятно, даже лестно. Ваши предки были, кажется, знаменитыми раввинами. Вы самъ отличный талмудистъ. Вы мастеръ писать тоже. Конечно, талмудистъ на все способенъ. Вся мораль въ мозгу, а безъ талмуда развѣ можетъ существовать мозгъ? Кто не учился талмуду, у того въ головѣ не мозгъ, а солома! затрещалъ неудержимо ростовщикъ, любезно усаживая меня.

— Я не согласенъ съ вами, возразилъ я, улыбаясь: — мнѣ кажется, что можно быть толковымъ человѣкомъ и безъ знанія талмуда. Напротивъ...

— Молчите, что вы? Все, падъ чѣмъ ломаютъ головы ученые и философы, давно уже разгадано и разрѣшено нашими великими талмудистами. Талмудъ—это бездонное море: сколько хочешь черпай, его не исчерпаешь. Посмотрите на всю природу... небо, звѣзды, солнце... это талмудъ, это самъ Богъ!

Я попытался прервать расхваливавшегося талмудиста.

— Нѣтъ, дайте мнѣ договорить. Ну, хоть вы, напимѣрь. Я вѣдь льстить не мастеръ. Я говорю надняхъ губернатору: «Ваше превосходительство! вы вѣдь нашъ вице-король». Онъ, представьте себѣ, принялъ это за лесть. Но вѣдь я не льстилъ. Вѣдь сила какая!

— Я къ вамъ по дѣлу...

— Нѣтъ позвольте. Вы, напимѣрь, или хоть я самъ. Мы вѣдь ничему не учились, кромѣ талмуда, а вѣдь заткнемъ за поясъ хоть кого, не правда-ли? Намъ все ни почемъ, за словомъ въ карманъ не подѣземъ, а написать, даже по-русски—тоже никого не попросимъ. Я покажу вамъ прошеніе, написанное мною губернатору. Я нарочно избралъ день его рожденія. Пишу: «Ваше превосходительство! Вы родились на славу, на радость отечества, а мы родились, чтобы преклоняться предъ вами». Сегодня подамъ. Увидимъ, что скажетъ.

— Я къ вамъ по дѣлу.

— Позвольте узнать.

— Я служу у Марка Самойловича Клопа.

— У казнокрада Мордки Клопа?

— Къ чему вы ссоритесь и вредите другъ другу? Не лучше-ли бы...

— Примириться? Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ. Не могу. Этотъ воръ грабить казну, а „законъ царя—законъ Божій!“ Всѣ мы должны свято блюсти законъ, говорить талмудъ. Этотъ негодяй общалъ мнѣ уступочныхъ и надулъ. Я—вѣрнопопдаанный, а чувствую то благо, которымъ наша нація пользуется въ Россіи.

— Но что пользы отъ этой ссоры? Будете вредить другъ другу—оба останетесь въ накладѣ.

— Что-же дѣлать? Мой главный недостатокъ, скажу вамъ по секрету, тотъ, что я слишкомъ довѣрчивъ и простъ. Но отъ правды не отступлю: правда — это моя жизнь..

— Но вѣдь злопамятствовать и мстить грѣшно.

— Нѣтъ; талмудъ гласитъ: „тотъ не талмудъ хахамъ (талмудскій мудрецъ), кто не умѣетъ жалить и мстить, какъ змѣя“. Извините, пожалуйста, если я васъ попрошу о мошенникѣ Клопѣ со мною не говорить.

Въ кабинетъ ворвалось нѣсколько евреевъ и бабъ.

— Вонъ всѣ! свирѣпо затопалъ ростовщикъ. — Не до васъ теперь. Къ губернатору спѣшу.

Я вздохнулъ свободно, когда вырвался изъ этого омута.

Еще нѣсколько разъ пытался я умиротворить этихъ двухъ бо-

дающихся козловъ, но всѣ мои усилія не имѣли успѣха. Оба противника вѣчно сталкивались между собою то на торгахъ, то на синагогической или кагалъной аренѣ. Эти еврейскіе „Мантекки и Капулетти“ жалили другъ друга и дожидили доносами, взятками, на радость чиновниковъ.

Предчувствіе не обмануло Клопа: какъ ни глупъ былъ безымянный доносъ, онъ все-таки возымѣлъ свое дѣйствіе на начальника губерніи. Губернаторъ былъ человѣкъ безкорыстный и съ особенной желчью преслѣдовалъ казнокрадовъ; евреевъ-же онъ и безъ того не очень жаловалъ.

Когда до свѣденія Клопа дошло, что надъ нимъ наряжено слѣдствіе, да еще подъ предсѣдательствомъ молодого правовѣда, чиновника особыхъ порученій, славившагося своею неподкупностью, онъ струхнулъ не на шутку.

— Знаете? сказалъ онъ мнѣ откровенно:—мое положеніе почти безнадежное. Одинъ Богъ только можетъ меня спасти.

Клопъ, разыгрывавшій роль человѣка, которому море по колено, въ сущности дрожалъ передъ всякимъ будочникомъ. Онъ надѣялся только на свое умѣнье изворачиваться и дѣйствовать всецѣльнымъ рычагомъ взятки. Въ экстренныхъ случаяхъ онъ цѣликомъ обращался къ Богу и дѣлался суевѣренъ какъ любой изычникъ.

Благодаря связямъ и чиновничьему покровительству, Клопу былъ извѣстенъ всякій шагъ, предпринимаемый слѣдователями противъ него. Цѣлые дни и вечера Клопъ бѣгалъ, суется, шушукался съ какими-то темными, полупьяными личностями въ кокардахъ и въ изорванныхъ вицъ-мундирахъ. Сошелся онъ и съ лакеемъ чиновника особыхъ порученій. По всему видно было, что подрядчикъ подводитъ какія-то мины, роется гдѣ-то, какъ кротъ, но, судя по его неутѣшной рожицѣ и челу, покрытому мрачными тѣнями сомнѣнія, онъ мало надѣялся на успѣхъ.

— Ничто не удастся, повторялъ онъ мнѣ каждый день, глубоко вздыхая и набожно закатывая глаза. Вѣчный смѣхъ его исчезъ; руки свои онъ уже не потиралъ отъ удовольствія, а скорѣй ломалъ съ видомъ отчаянія.

Несмотря на волненіе и постоянно возбужденное состояніе, Клопъ наканунѣ дня, опредѣленнаго для осмотра комиссіей казенныхъ работъ, глядѣлъ совершенно спокойно и рѣшительно. Онъ былъ похожъ на полководца, вступающаго въ борьбу съ болѣе сильнымъ непріателемъ, сознающаго вполнѣ опасность, почти безнадежность будущаго дня, но понимающаго также и сокрушающую силу необходимости вступить въ эту наравную борьбу.

— Кажется, Маркъ Самойловичъ, вы имѣете надежду вывернуться изъ бѣды? замѣтилъ я Клопу.

— Человѣкъ всегда надѣется. Увидимъ, вывезетъ-ли на этотъ разъ мой умишко. Конечно, все отъ Бога. Я—что? Червь ничтожный; Богъ захочетъ — раздавить. А жаль. Мнѣ хотѣлось-бы устроить какое-нибудь благотворительное, богоугодное дѣло, больницу или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Клопъ, видимо, хотѣлъ схитрить и съ Богомъ.

На другой день, за часъ до обѣденнаго времени, явилась слѣдственная коммиссія на мѣсто казенныхъ работъ. Она вся почти состояла изъ членовъ строительной коммиссіи, друзей Клопа. Одинъ губернаторскій чиновникъ былъ какъ бѣльмо на глазу у подрядчика и его друзей. День былъ ясный и знойный. Чиновникъ, человѣкъ довольно еще молодой, былъ тщательно выбритъ, раздушенъ. Онъ былъ весь въ бѣломъ, съ щегольскимъ хлыстикомъ въ рукѣ.

Въ ту минуту, когда собирались приступить уже къ осмотру, черѣпахой подползла какая-то рессорная колесница, имѣвшая сомнительную форму фаятона, но загрязненная, ошарпанная и полусломанная. Колесница эта была влекома парой полудохлыхъ воронихъ клячъ въ изорванной сбруѣ, — клячъ, которыя своей испачканностью и безнадѣжными мордами какъ нельзя лучше гармонировали и съ квазі-фаятономъ, и съ замарашкой-вучеромъ, полудежавшимъ на ветхихъ козлахъ. Я не обратилъ-бы вниманія на это обстоятельство (я былъ весьма поглощенъ результатомъ будущаго осмотра), если-бы Клопъ, дернувъ меня тихонько за рукавъ, не указалъ глазами на экипажъ.

— Это онъ... подлецъ. Пригѣзъ полюбоваться моимъ несчастьемъ.

Я внимательно посмотрѣлъ на экипажъ, остановившійся на дорогѣ у самыхъ казармъ. Верхъ фаятона былъ поднятъ. Изъ-за изорваннаго, кожаннаго фартука, согнувшись дугою, злорадно выглядывалъ доносчикъ, заварившій эту невкусную кашу.

Осмотръ начался. Вся коммиссія, предводительствуемая губернаторскимъ чиновникомъ, отправилась во внутренность построекъ. Чиновникъ былъ серьезенъ; члены строительной коммиссіи имѣли какія-то кислыя фizioноміи; одинъ только Клопъ былъ веселъ, развязенъ и предупредителенъ. Онъ безпрестанно болталъ, тащилъ чиновника во всѣ темные углы, закоулки и даже на чердаки, обращая вниманіе коммиссіи на всякую мелочь, которую провѣрять имъ и въ голову не приходило.

— Ваше высокородіе! сказалъ онъ чиновнику тономъ обиженной невинности, ударивъ себя кулакомъ въ грудь:—если ужъ его превосходительство дастъ вѣру доносу такихъ мерзавцевъ, какъ ростовщикъ, то я прошу и даже требую, чтобы осмотръ былъ сдѣланъ самымъ подробнѣйшимъ, тщательнымъ образомъ.

Чиновникъ какъ-то странно посмотрѣлъ на подрядчика, а остальные члены комиссіи, зная, гдѣ раки зимуютъ, отвернулись и тихонько пожали плечами, бросая другъ на друга тревожные взгляды. Я удивлялся наглости Клопа. У меня сердце замирало при мысли о томъ, что скоро должно открыться.

Всѣ работы до роковыхъ подваловъ были осмотрѣны по всѣмъ статьямъ и занесены въ протоколъ.

— Пока доносъ, поданный на тебя, оказывается неосновательнымъ, обрадовалъ Клопа чиновникъ. — Увидимъ, братецъ, что дальше будетъ.

— Не ѣла душа чесноку—и вонять не будетъ, отвѣтилъ Клопъ, гордо задравъ свой пупообразный носикъ.

Шестіе направилось въ подземное царство Клопа. Когда чиновникъ занесъ ногу, чтобы ступить внизъ, вслѣдъ за нижнимъ чиномъ, освѣщавшимъ путь фонаремъ, Клопъ поблѣднѣлъ и бросилъ такой взглядъ на зіяющую дверь подваловъ, какой, вѣроятно, бросаетъ тяжкій грѣшникъ на врата преисподней.

— Фу, какъ сыро! послышался голосъ чиновника.

— Ахъ, да. Ваше высокородіе, вскрикнулъ торопливо Клопъ:—позвольте!

— Что такое?

Клопъ стремительно побѣжалъ куда-то и въ минуту прилетѣлъ обратно, держа въ рукахъ какой-то широкій плащъ.

— Одѣньте, ради Бога, эту шинель.

— На что?

— Извольте видѣть... такъ лучше будетъ. Позвольте.

— Да на что мнѣ твоя грязная хламида?

— Какъ-бы вамъ это выразить?... Вамъ будетъ очень неприятно... безъ шинели.

— Да, да, да, поддержалъ подрядчика одинъ изъ членовъ комиссіи.—Въ подвалы безъ облаченія идти не подобаетъ.

— Гм... замѣтилъ другой членъ: — какъ-будто это поможетъ? Все равно, насадутъ.

— Объясните, пожалуйста, наконецъ, въ чемъ дѣло? потребовалъ франтъ-чиновникъ.

— Въ этомъ проклятомъ подвалѣ столько блохъ, что въ нѣ-

сколько минут онъ покрываютъ собою человѣка съ ногъ до головы, сказалъ одинъ изъ чиновниковъ.

Франтъ выскочилъ изъ подвала, какъ обваренный. Клопъ бросился очищать его отъ мнимыхъ насѣкомыхъ.

— Уфъ, проклятыя... уже успѣли! злился предупредительный Клопъ на невидимыхъ враговъ, быстро очищая руками спину и бѣлые панталоны чиновника особыхъ порученій.

— Откуда набралась сюда эта мерзость? удивился чиновникъ.

— Богъ его знаетъ! отвѣчалъ тотъ-же чиновникъ. — Я какъ-то, намереваясь, провозился тутъ часа два. Прихожу домой, а жена, увидѣвши меня, ахнула и всплеснула руками. Эти проклятыя насѣли на меня въ такомъ множествѣ, что бѣлыя даже не видать! Пришлось отправиться въ конюшню и пережѣнить бѣлье.

— А вѣдь я отсюда на званый обѣдъ общался. Будутъ дамы.. Какъ-же быть-то?

— Шинель широкая—закроетъ. Ей-богу, не пристанутъ, увѣрялъ Клопъ франта.

— Нѣтъ ужъ, покорно благодарю. Пожалуйста, безъ меня. Если что-нибудь откроется, тогда—дѣло другое, волей-неволей...

Черезъ четверть часа подвалы были осмотрѣны и протоколъ подписанъ. Работы найдены удовлетворительными.

Когда чиновникъ особыхъ порученій умчался на званый обѣдъ, Клопъ залился неистовымъ смѣхомъ.

Легко себѣ вообразить, въ какомъ розовомъ настроеніи духа Клопъ явился къ встревоженной женѣ.

— Счастливая случайность, замѣтилъ я.

— Какая тамъ случайность? Все это я самъ подготовилъ. Я поразвѣдалъ и узналъ, что проклятый губернаторскій чиновникъ ухаживаетъ за одной барыней. Я познакомился съ мужемъ этой голубки, подружился съ нимъ и далъ ему взаимны сотенную. Въ-сто процентовъ онъ обязался пригласить франтика моего на обѣдъ, именно въ день осмотра работъ. Я съ самаго начала построилъ свой планъ на блохахъ. Вышло, съ помощью Божіей, удачно.

Черезъ нѣсколько времени наступили торги на новыя, крупныя казенныя постройки. Работы отдавались не общою цифрою, а урочнымъ порядкомъ, т. е. торговались на каждого рода строевой матеріалъ и на каждую работу. Подрядъ долженъ былъ остаться за тѣмъ, цѣны котораго въ сложности образуютъ наиболѣе выгодную цифру экономіи для казны. Опять, какъ голодные волки на писекъ поросенка, сбѣжались подрядчики изъ близкихъ и дальнихъ трущобъ; опять началась возня, бѣготня, разговоры, переговоры

и устройство ладовъ (техническое названіе стачекъ); но опять Клопъ упорно уклонился и въ стачку идти не захотѣлъ. Кончилось тѣмъ, что за нимъ остались всѣ работы по такимъ цѣнамъ, которымъ изумлялись всѣ члены присутствія. Клопъ былъ невозмутимъ, хохоталъ и потиралъ руки отъ удовольствія.

— Подрядчики пророчатъ вамъ бѣду неминуемую, сообщили я Клопу.

— Ну, а вы какъ думаете? спросилъ онъ меня, насмѣшливо прищуривъ глазки.

— Я не компетентный судья въ этомъ дѣлѣ. Но судя по цѣнамъ, по которымъ за вами остались матеріалы и работы, вы сдѣлали плохое дѣло.

— Э!! успокоилъ меня Клопъ, махнувъ рукой.— Кто умѣетъ выѣзжать на блохахъ, тотъ и на цѣнахъ выѣдетъ. Учитесь, молодой человѣкъ. Вы увидите, какъ я работаю. Я нарочно для этого возьму васъ съ собою.

Для заключенія контракта съ подлежащимъ вѣдомствомъ нужно было предварительно сдѣлать вычисленіе: какіе именно матеріалы и рабочіе и въ какомъ количествѣ требовались отъ подрядчика; затѣмъ нужно было сосчитать, какая причтется подрядчику сумма въ подробности и въ итогѣ. Чиновникъ, которому поручено было сдѣлать это вычисленіе, работалъ у Клопа на дому и совместно съ подрядчикомъ. Это дѣлалось по дружбѣ, домашнимъ образомъ.

— Завтра отправимся къ членамъ повѣрку учинять по всѣмъ правиламъ науки... Приходите пораньше, наказалъ мнѣ Клопъ на прощаньи.

Для меня подрядная часть, со всѣми ея изгибами, уловками и отгѣнками, была *terra incognita*. Я не понялъ, въ чемъ состояло *учиненіе повѣрки по всѣмъ правиламъ науки* и для чего Клопъ тащить еще и меня съ собою.

Часовъ въ девять утра щегольскіе дрожки подрядчика подкатали къ крыльцу. Клопъ долго суетился, выносилъ какіе-то кульки, узлы, свертки и укладывалъ то подъ сидѣнье, то подъ фартукъ, то подъ ноги кучеру.

— Что это вы нагружаете, Маркъ Самойловичъ? удивился я.

— Повѣрочные матеріалы, невинное дитя!

Съ шикомъ подкатали мы къ крыльцу красивенькаго домика. Клопъ смѣло позвонилъ. Горничная отворила дверь.

— Какъ здравствуетъ Аделаида Сигизмундовна? умильно спросился Клопъ, ущипнувъ горничную за пухлый подбородокъ.

— Что имъ дѣлается! Вѣстимо—здоровы.

— Ахъ, да, Дуняша! Я было и позабылъ. Посмотри-ка, какія сережки?

— Важнецкія! похвалила Дуняша.

— Нравятся? Бери, носи на здоровье. При случаѣ поцѣлуешь меня, а?

— Вы все шутите. Какъ вамъ не стыдно?

— Слушай, Дуняша, доложи барынѣ сейчасъ, что я ее видѣть хочу, сію минуту, да передай ей вотъ это.

Клопъ досталъ изъ экипажа длинный свертокъ и крупный кулекъ, въ которомъ зазвенѣли стеклянныя посуды.

Черезъ минуту Дуняша тайносно пригласила Клопа въ боковую дверь. Я остался ждать въ передней.

Когда Клопъ возвратился черезъ четверть часа въ переднюю, то лицо его сіяло радостью. Онъ взялъ подъ мышку толстый портфель и направился безъ доклада въ залу.

— Идите за мною. Прошу васъ безъ вопросовъ; дѣлать все, что я ни прикажу.

Мы прошли большую залу и повернули влѣво. Клопъ смѣло отворилъ дверь и мы очутились въ маленькой комнатѣ, загроможденной кипами бумагъ. На столахъ были разбросаны разные планы, книги и какія-то модели; стѣны были увѣшаны картами различной величины и формы. На кушеткѣ лежалъ толстый, плѣшивый господинъ съ сѣдыми усами и бровями, съ дюжиннымъ солдатскимъ лицомъ. Онъ былъ въ бухарскомъ поношенномъ халатѣ и въ бархатныхъ вышитыхъ туфляхъ съ кисточками, далеко не гармониравшими съ его слонообразной ногой. Онъ курилъ изъ длиннаго черешневаго чубука, обвитаго бисерными шнурами, и пускалъ правильныя кольца дыма изо рта, образуя при этомъ губами какую-то широкую, круглую дыру, извергавшую копотъ.

— Это ты, Пупикусъ? привѣтствовалъ господинъ Клопа, вало повернувъ къ нему голову.—Что, братецъ, спозаранку?

— Смѣтку провѣрьте, Захаръ Захарычъ. Вотъ что.

— Приспичило? Къ спѣху, что-ли? Успѣемъ. Ну-ка, садись.

— Нѣтъ, Захаръ Захарычъ, не задерживайте меня, вы знаете вѣдь, сколько времени уйдетъ, пока все провѣрять... потомъ утвержденіе, контрактъ... задаточная сумма. А вѣдь матеріалъ заблаговременно заготовить нужно. Съ меня-же взыскивать станете. Ужъ ваша строгость у меня вотъ тутъ застѣла!

— Подай; посмотримъ, что навралъ. Ты вѣдь у меня плутъ знатный.

— Обижаете, Захаръ Захарычъ!

— Нѣтъ, братецъ, люблю. Умница ты у меня. Блохи, ха-ха-ха-хо-хо-хо! Это одно чего стоитъ. Выдумалъ-же!

Я досталъ изъ портфеля смѣту и подалъ Клопу.

— Это мой секретарь, отрекомендовалъ меня Клопъ. — Грамотѣй, какъ любой чиновникъ, похвалилъ онъ меня.

— Ай-да Клопикъ! Ишь, и секретаремъ обзавелся. Ну-съ, а блохъ умѣешь ужъ пускать, г. секретарь? Хо-хо-хо!

— Нѣтъ, съострилъ на мой счетъ Клопъ. — Онъ у меня пока однимъ мухоловствомъ занимается.

Уступая настоятельнымъ просьбамъ Клопа, Захаръ Захарычъ поднялся съ кушетки, сѣлъ къ столу, осѣдлалъ свой носъ и началъ разсматривать смѣту, на выдержку сличая и соображая цифры съ цифрами какихъ-то счетовъ и бумагъ.

— Кажись, безъ фальши.

— Провѣрьте-же итоги и скрѣпите подписью. Слѣшу Ивана Ильича захватить еще дома. — Клопъ посмотрѣлъ на часы. — Боже мой, всего полчаса времени имѣю, а завтра и послѣ-завтра — праздникъ.

— Ну, ну, подай счеты.

Захаръ Захарычъ началъ сосчитывать, сопя, вряхтя и отдуваясь и диктуя себѣ подъ носъ всякую цифру.

— Боже мой! Этому конца не будетъ, метался Клопъ. — Опоздаю, непременно опоздаю.

— Да ну тебя къ чорту! Не торопи. Слѣшная работа вдвое длится.

— Захаръ Захарычъ, позвольте. Пусть онъ диктуетъ цифры — (Клопъ указалъ на меня), — я сосчитывать буду, а вы слѣдите за мною. Скорѣе дѣло будетъ.

— Пожалуй. На, считай! только отчетливо.

Клопъ началъ сосчитывать по моей диктовкѣ. Захаръ Захарычъ слѣдилъ за его пальцами. Клопъ медленно и отчетливо выкладывалъ. Итогъ приближался уже къ концу.

Въ это самое время, шурша накрахмаленными юбками, какъ буря влетѣла низенькая, кругленькая, свѣженькая и миловидненькая молодая блондинка въ бѣломъ пеньюарѣ и измятомъ чепчикѣ на роскошной коронѣ золотистыхъ волосъ.

— Папочка, душечка, смотри, что за прелесть! пискнула барыня, ткнувъ подъ самый носъ Захара Захарыча толстый кусокъ голубой шелковой матеріи.

— Это что, это откуда достала, Далечка? спросил изумленный Захаръ Захарычъ.

— Вотъ кто! радостно указала блондинка на Клопа пальчикомъ, любовно посмотрѣвъ на него. — Не правда-ли, что душка? Просто, такъ и расцѣловала-бы его... А знаешь, папа, какъ я отдѣлаю мое платье? Ты помнишь на балу у губернатора... эта французенка, какъ бишь ее?... съ воланами, буфами и съ закрытымъ лифомъ! Какъ хочешь, папка, а закрою!

— Не закроешь, знаю я тебя, сама не закроешь, хоть-бы попросили.

Далечка залилась звонкимъ, дѣтскимъ смѣхомъ. Захаръ Захарычъ привлекъ очаровательную супругу въ свои жирныя объятія и влѣпилъ въ ея щеку пудовый поцѣлуй.

— Да, спохватилась Далечка, вырываясь изъ супружескихъ объятий. — А матерія для отдѣлки, а кружева, а за фасонъ? Ну-ка, папочка, раскошеливайся!

Захаръ Захарычъ обратилъ свои вопрошающіе глаза на Клопа.

— Если-бы я смѣлъ, то попросилъ-бы васъ, Аделаида Сигизмундовна, приказать Захару Захарычу скорѣе окончить повѣрку. Я сижу какъ на иголкахъ, тороплюсь. А о матеріи и прочемъ посоветуюсь я съ вами, если позволите.

— Bravo! всплеснула барыня хорошенькими ручками. — Папка, кончай скорѣе, не то ущипну! погрозила она по-дѣтски мужу и, припавъ, выбѣжала изъ кабинета, посылая Клопу ручкой поцѣлуй.

Клопъ не упустилъ случая. Во время супружескихъ изліяній онъ прибавилъ нѣсколько тысячныхъ косточекъ. Итогъ оказался вѣрнымъ до мельчайшихъ дробей. Захаръ Захарычъ наговорилъ кучу любезностей, подмахнулъ смѣтку и отпустилъ насъ съ Богомъ.

— Уфъ! вздохнулъ свободно Клопъ, когда мы отправились дальше учинять повѣрку *по вѣсьмъ правиламъ*. — Уфъ! гора съ плечъ свалилась!

— Развѣ вы сомнѣвались? Онъ вѣдь, кажется, очень друженъ съ вами?

— Да. Онъ дружно беретъ; но чтобы сдѣлать что-нибудь по-человѣчески—ни-ни.

— За что-жъ вы ему даете?

— Только за то, чтобы не слишкомъ копался.

— Однако, если не ошибаюсь, вамъ удалось провести его на итогъ?

— Хорошо, что удалось!

— А если-бы открылось... что тогда?

— Ха-ха-ха! Ничего; ошибка да и только; итог выходит 61,958. $33\frac{3}{4}$, а писец хватилъ 69,158. $33\frac{3}{4}$. Двѣ цифры перемѣнились нечаянно мѣстами... Развѣ не случается? И люди иногда попадаютъ не на свое мѣсто. Развѣ этотъ солдатюга на своемъ мѣстѣ? Развѣ прелестная Далечка на своемъ мѣстѣ?

— Ну... а если-бы это открылось потомъ, вполсѣдствіи?

Клопъ окинулъ меня подозрительнымъ взглядомъ.

— Что-жъ? Развѣ я обязанъ питать недовѣріе къ казнѣ? Цифра подведена, утверждена; мнѣ какое дѣло?

Мы заѣхали въ какой-то тѣсный, грязный переулочъ и остановились у сломанныхъ воротъ.

— Пойдемъ, пригласилъ меня Клопъ.

— Лучше-бы я ожидалъ васъ въ экипажѣ. Вѣдь я вамъ никакой пользы не приношу.

— Пойдемъ, приказалъ Клопъ нѣсколько повелительно. — Учись — пригодится; можетъ, самъ подрядчикомъ будешь когда-нибудь. Притомъ тутъ цѣлая свора злющихъ собакъ—боюсь одинъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ только заскрипѣла ветхая калитка, на насъ накинuloся нѣсколько свирѣпыхъ собакъ, но выбѣжавшій ошарпанный лакей насъ благополучно проводилъ.

Внутренность дома была такая-же грязная, какъ и самый переулочъ. Въ первой комнатѣ завтракалъ хозяинъ, въ виц-мундирѣ. Это былъ худой человѣкъ съ лицомъ, напоминающимъ съ перваго взгляда бульдога.

Не отвѣчая на наши поклоны, бульдогъ свирѣпо повернулъ голову и уставилъ грозный взоръ на Клопа.

— Послушай, проклятая пуповина, я тебя обрѣжу тупымъ ножомъ. Новорожденного изъ тебя сотворю, ты—архиканалья...

— Ха-ха-ха! Не сердитесь-же, Иванъ Ильичъ. Страдалъ маленько засухой въ карманѣ. Разжился и принесъ... даже съ процентами.

Клопъ подаль какой-то пакетецъ.

— Ну, ладно. Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ. А это-же кто? спохватился бульдогъ, вытаращивъ на меня глаза.

— Свой... секретарь.

— Ну, садись, пупочекъ! Не прикажешь-ли водочки? Доложу тебѣ—забористая, матушка!

— Нѣтъ. Вы мнѣ смѣтку скрѣпите.

— Какую такую смѣтку?

— Да на новый подрядъ.

— Да развѣ ты ею распоряжаешься?

— Я ее взялъ, чтобы скорѣе прошла, да и на утверждение. Времени дорого, матерьялъ вздорожалъ.

— А Захаръ Захарычъ?

— Копался, копался цѣлое утро, да сто разъ по пальцамъ сосчитывалъ, пока скрѣпилъ.

— Ну, коли скрѣпилъ, то и я не прочь.

— Теперь главное сдѣлано. Остается еще мелюзга, шваль, сказалъ Клопъ, усаживаясь на дрожки.—Поѣзжайте уже сами. Кучеръ знаетъ, куда. Порекомендуйтесь моимъ секретаремъ и передайте кульки; кучеръ вамъ скажетъ, кому какой.

— Я, право, не берусь. Могутъ провѣрить и открыть.

— Нѣтъ. Коли тузы скрѣпили, то имъ для чего-же повѣрять?

— А если?

— А если... то возьмитесь выкладывать на счетахъ и взмахните ровно на 7,200 цѣлковыхъ. Вы видѣли, какъ я это дѣлаю.

— Нѣтъ... у меня ловкости не хватаетъ.

Клопъ посмотрѣлъ на меня какъ-то мутно. Куда исчезла его вѣчная радость и улыбочка; лицо его было неузнаваемо.

— Для пользы у васъ ловкости не хватаетъ, а для того, чтобы брать жалованье даромъ цѣлый годъ совѣсти хватаетъ?

Онъ сердито высадилъ меня изъ дрожекъ и умчался самъ безъ меня.

За всю мою службу у Тугалова я не чувствовалъ такого униженія, какое испыталъ въ одинъ этотъ день. Тотъ издѣвался надо мною, морилъ голодомъ, но, по крайней мѣрѣ, не заставлялъ влѣзать въ чужіе карманы и рисковать своей шкурой. Меня до глубины сердца оскорбляло сознаніе, что у подобнаго мазурика я бралъ подаваніе цѣлый почти годъ. Если-бы я не боялся грозной домашней сцены, я готовъ былъ-бы сію минуту оставить Клопа навсегда.

На другое утро Клопъ прислалъ за мною. Я нашелъ подрядчика въ хорошемъ расположеніи духа, смѣющимся и потирающимъ руки отъ удовольствія, по обыкновенію.

— Прошла смѣта благополучно. Сегодня на утверждение отправляется. Я уже совсѣмъ спокоенъ.

Я молчалъ. Клопъ замѣтилъ мою угрюмость.

— Что вы хмуритесь? я на васъ не сержусь. Вчера вспылилъ маленько: живой человекъ! Сообразилъ потомъ, что куда-же вамъ съ вашимъ застѣнчивымъ характеромъ возиться съ чиновниками. Ну, помиримся.

Клопъ обнялъ меня за талю и игриво началъ бороться.

Прошло нѣсколько дней. Клопъ, казалось, совсѣмъ забылъ о нашей минутной размолвкѣ, но я уже не переставалъ смотрѣть на него недовѣрчиво и подозрительно.

— Я вѣдь уѣзжаю, знаете-ли? спросилъ меня Клопъ.

— Куда?

— Далеко. Меня утвердили директоромъ одного крупнаго банка. Теперь просторъ будетъ.

Мнѣ тогда еще не были знакомы ни свойства, ни цѣль банковъ,—слѣдовательно, я не зналъ, что за просторъ будетъ новому директору Клопу.

— Вы какого званія? спросилъ меня какъ-то небрежно Клопъ.

— Мѣщанскаго.

— Гм... скверное званіе. Мой секретарь не долженъ быть мѣщаниномъ, это неприлично. Вы должны записаться въ купцы, да еще въ первую гильдію, вотъ какъ!

— Что вы, Маркъ Самойловичъ, шутить изволите? Гдѣ мнѣ взять деньги на такія громадныя издержки? Да и для чего мнѣ быть купцомъ, когда я ничѣмъ не торгую?

— Купцомъ удобно быть, даже ничѣмъ не торгуя. Попался ты, напримѣръ, въ уголовной штукѣ, тебя драть не могутъ, потому—ты первой гильдіи. Обругалъ тебя кто или влѣпилъ печать въ фізіономію, непременно въ отвѣтъ будетъ, ибо ты купецъ!

— Я въ почетные не лѣзу, преступленія не совершу, для чего-же я стану тратить деньги понапрасну, а тѣмъ болѣе, когда ихъ не имѣю?

— Я васъ, другъ мой, такъ полюбилъ, что, куда ни шло, самъ за васъ гильдейскія деньги внесу!

— Я вамъ очень благодаренъ, но... для чего-же? я у васъ и такъ цѣлый годъ бралъ жалованье почти даромъ... вы сами это сказали; зачѣмъ-же швырять опять деньги напрасно?

— Какой-же вы, однакожь, злопамятный! Я васъ успокою. Первогильдейцемъ вы можете быть и мнѣ полезнымъ.

— Какимъ это образомъ?

— Видите-ли. Я, конечно, какъ и всякій, даже крупный капиталистъ, нуждаюсь иногда на короткое время въ наличныхъ деньгахъ. Чтобы имѣть всегда подъ рукою ресурсы, я успѣлъискodataйствовать должность директора одного банка. Этотъ банкъ выдаетъ деньги въ заемъ исключительно купеческому сословію, подъ вексель. На вексель должны быть подписаны два лица непременно. Если вы сдѣлаетесь купцомъ, то мы оба подпишемъ

векселя, чтобы, въ случаѣ надобности, взять кое-какія деньги на короткій срокъ и то, если ужъ очень нужно будетъ, чего я, впрочемъ, и не ожидаю.

— Для чего-же послужить моя подпись?

— Видите. Купецъ, напримѣръ, какъ я, имѣетъ обыкновенно расчеты съ другими купцами,—положимъ, хотя съ вами. Вы состоите мнѣ должнымъ по векселю. Я обращаюсь въ банкъ и говорю: я имѣю получить отъ такого-то купца такую-то сумму, къ такому-то сроку, но, нуждаясь, между тѣмъ, въ капиталъ, требую, чтобы банкъ выплатилъ мнѣ между тѣмъ за моего должника, подъ закладъ того-же векселя и за извѣстные проценты, и во времени истеченія срока того векселя я обязываюсь уплатить, въ чемъ ручаюсь своею подписью или жиромъ.

— А если вы не уплатите въ банкъ?

— Вы меня обижаете: какъ можно, чтобы я не уплатилъ?

— Ну, а если?

— Тогда со мною поступать по всей строгости законовъ.

— А со мною?

— Какъ-же они смѣютъ придирааться къ чужому человѣку? Развѣ у насъ безсудная земля, что-ли?

— Позвольте мнѣ подумать.

Я обратился за совѣтомъ къ Ранову.

— Сохрани тебя Богъ подписывать этому плуту векселя. Онъ на нихъ получить деньги изъ банка, не уплатить, обанкротится, и тебя, раба божія, притянутъ къ отвѣтственности, какъ неисправнаго должника Клопа, а такъ-какъ платить у тебя нечѣмъ, то придется тебѣ и съ тюрьмою познакомиться.

Я вздрогнулъ отъ этой прелестной перспективы.

— Развѣ ты имѣешь понятіе о томъ, что подобныя мазурики, какъ Клопъ, будущій директоръ банка, творять? Я зналъ одного директора, который записывалъ въ гильдію первыхъ встрѣчныхъ евреевнищихъ. Однихъ онъ превращалъ въ векселедателей, а другихъ— въ векселепредъявителей или жирантовъ. По векселямъ этихъ нищихъ онъ получалъ изъ банка громадныя деньги въ свой карманъ, а благородныхъ своихъ подставныхъ снабжалъ нѣсколькими сотнями и отправлялъ въ Іерусалимъ на вѣчное, безвыѣздное богомолье. Богомольцы были уже рады-радехоньки и тому, что ихъ костамъ не придется совершать неудобное путешествіе послѣ смерти ¹⁾.

¹⁾ Евреи вѣрятъ, что кости каждаго еврея послѣ смерти, по очищеніи души отъ грѣховъ, должны перекочевать въ Іерусалимъ какими-то подземными путями. Это называется „гилъ адоместь“.

Благодаря практичному другу Ранову, я проникъ весь гнусный замысль Клопа и твердо рѣшился не поддаваться ему. Придя домой, я запискою увѣдомилъ Клопа о томъ, что отказываюсь отъ предлагаемаго мнѣ первоиздѣйскаго почетнаго званія и что если я ничѣмъ, кромѣ этого, не могу быть ему полезнымъ, то прекращаю и мою службу у него. Во избѣжаніе сцены, я скрылъ передъ женою всю эту исторію.

На другой день чуть свѣтъ прибѣжалъ ко мнѣ Клопъ. Онъ былъ разстроенъ, его воровскіе глазки искрились яростью.

— Такъ вотъ какъ вы изволите благодарить меня за хлѣбъ-соль, за дружбу и доброту; такъ вы, значитъ, меня надули, ограбили?

Я сдержанно объяснилъ Клопу, что никогда его не надувалъ, что, напротивъ, онъ старается меня надуть и довести до несостоятельности, до тюрьмы, до погребелъ.

— Нѣтъ, крикнулъ онъ на меня.—Вы плутъ, вы даже доносчикъ. Вы пзмѣнили мнѣ. Вы предали меня въ руки моему врагу. Вы ему рассказали всю исторію повѣрки смѣты... Онъ уже готовитъ новый доносъ на меня.

— Вы врете, не выдержалъ я.—Я никогда не былъ ни подрядникомъ, ни плутомъ,—слѣдовательно, не имѣлъ повода сдѣлать-ся казнокрадомъ и доносчикомъ.

— Я тебѣ покажу, кто я такой, пригрозилъ Клопъ. — Вѣдь подложные итоги ты самъ подѣлалъ. Я вѣдь ничего не знаю. Пойдешь ты у меня въ Сибирь, эхидъ ты эдакій!

Прошипѣвъ эту страшную угрозу, Клопъ внѣ себя выбѣжалъ вонъ.

Послѣ ухода Клопа, жена, какъ разъяренная тигрица, подскочила ко мнѣ съ сжатыми кулаками.

— Опять швырнулъ отъ себя кусокъ хлѣба! Опять напакостилъ, опять тебя выгоняютъ со службы! закричала она на меня.

— Умѣрь свой тонъ, жена; не раздражай. Я не могу служить у этого мерзавца-карманщика. Я еще слишкомъ молодъ для тюрьмы.

— Болванъ ты книжный, угостила меня моя голубица.—Жить съ порядочными, добрыми людьми не умѣешь. Бери-же своихъ дѣтей, своихъ щенковъ, и отправляйся съ ними по міру.

Моя голова закружилась, сердце какъ-будто остановилось въ груди, въ глазахъ запрыгали и вихремъ завертѣлись какія-то огненные точки. Я протянулъ руки... къ счастью, никто и ничто не попало между нихъ...

Я стремительно выскочилъ на улицу и, какъ угорѣвшій, жадно началъ вдыхать въ свои легкія живительную прокладу осенняго, яснаго утра.

VI.

Кто виноватъ?

Мое положеніе сдѣлалось опять жалкимъ, почти безвыходнымъ: жить было нечѣмъ и частной службы не предвидѣлось. Одни откупщики или, изрѣдка, подрядчикъ какой-нибудь нуждались въ грамотныхъ служащихъ, прочій-же торгующій и спекулирующій еврейскій людъ искалъ людшекъ подешевле, позабитѣе, которые довольствовались - бы заплѣсневѣлымъ сухаремъ и нищенскимъ рубищемъ, которые, вдобавокъ, умѣли-бы, при случаѣ, въ пользу своихъ хозяевъ обсчитать, обмѣрить и обвѣсить кого слѣдуетъ.

Во что-бы то ни стало я долженъ былъ отправить мою семью къ родителямъ, въ деревню, чтобы пріобрѣсти временную свободу уѣхать куда-нибудь въ другое мѣсто для отысканія какой-нибудь частной службы. Но упорная жена моя наотрѣзъ отказалась тронуться съ мѣста.

— Корми какъ знаешь, твердила она съ непоколебимымъ упорствомъ: — на то ты мужъ. Куда ты, туда и я.

Чтобы образумить упрямыцу, я выписалъ мою мать. Все время я скрывалъ отъ матери какъ несчастную мою семейную жизнь, такъ и скверную мою службу; я зналъ, что она моему горю пособить не можетъ; къ чему-же огорчать ее и безъ пользы умножать ея собственныя горести?

Меня не было дома, когда мать моя пріѣхала. Я безъ цѣли шлялся по улицамъ, лишь-бы не видѣть вѣчно угрюмаго лица жены и не слышать ея безконечныхъ упрековъ. Мнѣ опротивѣлъ и мой домъ, и моя семья. По правдѣ сказать, я и дѣтей своихъ не любилъ; я ихъ ласкалъ не подъ вліяніемъ натурального родительскаго чувства, а подъ вліяніемъ чувства состраданія и жалости къ этимъ несчастнымъ твореньцамъ, вѣчно хныкающимъ и плачущимъ, вѣчно ругаемымъ и наказуемымъ матерью.

Когда я возвратился домой и засталъ мою мать въ слезахъ, а жену что-то съ необыкновеннымъ жаромъ рассказывающею и жестикулирующею руками, я сразу понялъ, что моя супруга успѣла

уже передать матери обо всемъ, и передать, конечно, въ томъ ложномъ и изуродованномъ видѣ, въ которомъ она всегда старалась выставить самыя простыя мои поступки.

— Я всегда буду съ нимъ несчастна. Мы вѣчно будемъ нищенствовать. Онъ ни съ кѣмъ ужиться не можетъ. Его глупая гордость...

Завидѣвъ меня, она оборвалась на половинѣ фразы. Мать бросилась ко мнѣ въ объятія и зарыдала.

— Какой ты несчастный, бѣдный мой Сруликъ! Всѣ обвиняютъ тебя! пожалѣла она меня.

— Кто-же это всѣ, матушка?

— Ну, хоть-бы жена твоя.

— Выслушайте прежде меня и затѣмъ судите: виновать-ли я въ томъ, что съ нами случилось.

Я заботливо усадилъ мать и подробно разсказалъ ей то, что уже извѣстно моимъ читателямъ. Жена прерывала меня на каждомъ словѣ, но мать не обращала на нее никакого вниманія и сосредоточенно дослушала меня до конца.

— Посудите теперь, матушка, могъ-ли я поступить иначе, могъ-ли я оставаться у плута, вздумавшаго, вдобавокъ, опутать меня векселями?

— Векселями?! передразнила меня жена, состроивъ презрительную гримасу.—Банкиръ важный, тоже векселей боится! Много съ тебя взяли-бы?

— Ты дура, и притомъ злая дура! срѣзала ее мать. Ты честно и умно поступилъ, сынъ мой; я горжусь тобою. Богъ воздастъ тебѣ; повѣрь, что рано или поздно, но Богъ вознаградитъ прямодушныхъ. Вспомни слова святаго писанія: „Я не видѣлъ праведника, дѣти котораго молили-бы о хлѣбѣ насущномъ“.

Но разсчитывая на краснорѣчіе моей матери, я горько ошибся. Ни убѣжденія, ни просьбы, ни угрозы ея не подѣйствовали на мою жену. Она твердила одно:

— Не поѣду я безъ него, не дамъ ему воли. Запрягся—пусть и тянетъ лямку, какъ всѣ мужья. Что онъ за паца такая?

Мать провозилась съ невѣсткой цѣлыхъ два дня къ ряду, и провозилась даромъ, безъ успѣха.

— Противъ такого закоснѣлаго упорства я средствъ не имѣю, сказала мнѣ мать на третій день.—Мнѣ кажется, что было-бы всего лучше, если-бы ты съ ней вмѣстѣ переселился въ деревню, къ намъ.

— Миѣ переселиться въ деревню? что вы, матушка? Чѣмъ-же мы жить будемъ? что я тамъ дѣлать стану?

— Мой сынъ, послушайся моего совѣта, оставь откупщиковъ и подрядчиковъ и живи такъ, какъ многіе евреи живутъ. Одѣнься просто, по-еврейски, выбрось изъ головы кичливость, вспомни, что ты—самый обыкновенный еврей; вѣдь маленькое знаніе русской грамоты не богъ-знаетъ какая мудрость.

— Чѣмъ-же я жить стану?

— Отецъ уступитъ тебѣ лучшей кабаѣ...

— Что вы, маменька? Я... въ кабатчики? Ха-ха-ха! Что вы?

Мать замѣтила язвительный характеръ моего смѣха. Она грустно опустила голову и какимъ-то нерѣшительнымъ, притихшимъ тономъ сказала:

— Не знаю, сынъ мой, что въ моемъ предложеніи смѣшного; знаю только одно, что въ каждомъ ремеслѣ человѣкъ, если захочетъ, можетъ быть честнымъ. Скажи, чѣмъ Тугаловы и Клопы лучше кабатчиковъ? Не тѣмъ-ли только, что они богаче?

— Трудно быть честнымъ кабатчикомъ, маменька. Необходимо воду въ водку подливать, обмѣривать, обсчитывать и... воровскими вещами шахровать.

— Необходимо, говоришь ты? Кто заставляетъ?

— Нужда; иначе насущнаго куска хлѣба имѣть не будешь.

— Вздоръ. Твой отецъ торгуетъ водкой, и торгуетъ честно, ругаюсь тебѣ.

— Вѣрю. Но онъ не кабатчикъ, а маленькій откупщикъ,—это совсѣмъ другое дѣло. Нѣтъ, питаться кабакомъ не желаю; лучше съ голоду умру.

— Ты не имѣешь права такъ разсуждать: у тебя жена и дѣти.

— Знаю, и знаю, что этимъ счастіемъ я тебѣ обязанъ.

Вѣроятно, въ моихъ послѣднихъ словахъ скрывалось много желчи. Лицо матери передернулось и крупныя слезы повалились по блѣднымъ щекамъ. Миѣ стало жаль ее. Я приласкался къ ней.

— Извини, дорогая, я увлекся. Ты тутъ не причемъ. Ты поступила, какъ всѣ поступаютъ, не такъ-ли?

— Нѣтъ, я загубила тебя и казнюсь передъ тобою. Я во многомъ была глупа и несправедлива. Сознаюсь тебѣ, что я въ послѣднее время много поняла изъ того, чего прежде не понимала, такъ что даже отецъ твой, въ шутку, величаетъ меня по временамъ еретичкой.

За это искреннее признаніе я горячо поцѣловалъ мою мать.

— Слушай, сынъ мой. Я накопила, тайкомъ отъ отца, тысячен-

ку, другую. Я намѣревалась сохранить ихъ на черный день. Но твое скверное положеніе, въ которомъ я отчасти сама виновата, я считаю чернѣйшимъ днемъ въ моей жизни. Съ радостью я отдамъ тебѣ эти деньги. Ты купишь себѣ въ деревнѣ домикъ—я уже имѣю такой на примѣтѣ—и устроишь себѣ лавочку. Честно шинкуя и торгуя, ты будешь имѣть кусокъ хлѣба и докажешь, что можно быть и честнымъ кабатчикомъ, и честнымъ крамаремъ. Не такъ-ли?

Я молчалъ. Внезапный наплывъ чувства сдавилъ мнѣ горло; я боялся заплакать. Но въ концѣ концовъ, разумѣется, я согласился.

Жена не была при этомъ разговорѣ. Я объявилъ ей о нашемъ рѣшеніи. Она даже не поблагодарила свекровь.

Черезъ нѣсколько дней мы перетащили весь нашъ скарбъ въ деревню. Мать моя, между тѣмъ, купила для меня деревенскій камышевый домикъ на базарной площади, привела его въ порядокъ и позаботилась объ устройствѣ нашего хозяйства.

Когда я свидѣлся съ отцомъ, онъ хлопнулъ меня по плечу и похвалилъ.

— Молодецъ ты у меня, Сруль! Мать сказывала, что ты у Клопа успѣлъ накопить кругленькую сумму. Очень радъ, очень радъ. Жаль только, что ты такъ поторопился его бросить; вѣдь на подобные случаи не каждый день наткнешься.

Мнимая моя способность копить деньги внушила отцу особенное уваженіе ко мнѣ. Онъ смотрѣлъ уже на меня какъ на дѣльнаго человѣка и пересталъ опекать, чему я былъ безконечно радъ. Я пересталъ быть зависимымъ отъ другихъ и зажилъ свободно и, относительно, счастливою жизнью, благодаря добротѣ и щедрости моей матери.

Домишко мой, состоявшій изъ двухъ комнатокъ, кухни, кладовой и сѣней, лѣпился въ углу деревенскаго, маленькаго, густаго но одичалаго садика; за садикомъ тянулся небольшой лужокъ, до самыхъ окраинъ болотистой рѣчки. Дворъ заключалъ въ себѣ обширное пустопорожнее мѣсто, тянувшееся до самой базарной площади. На концѣ двора я выстроилъ, на скорую руку, деревянную лавочку подъ соломенной крышей и землянку для кабака. При содѣйствіи матери я накупилъ разнаго деревенскаго лавочнаго товара. Тутъ были и яркія ленты, и гигантскіе гвозди, и деготь, и конопляное масло, подковы, чоботы, медъ и купоросъ, иголки, селедки, орѣхи и пряники, подошвы и ситецъ,—однимъ словомъ, полное крамарское *tutti-frutti*. Смѣсь эту я, однакожъ, при-

велъ въ строгую систему, расположилъ на полкахъ по роду и свойству продуктовъ и товаровъ. Кабакъ снабдилъ значительнымъ количествомъ пьянаго матеріала въ боченкахъ и стеклянной посудѣ и посадилъ цѣловальницу, старую хохлушу. За устройствомъ моей торговли, осталась еще часть наличныхъ денегъ и для мелкой спекуляціи. Толковая мать руководила мною какъ опытный, но безгласный компаньонъ, но хозяиномъ всѣхъ этихъ благъ именовался я.

Впродолженіи длинной, суровой зимы я не переставалъ тосковать въ глуши. Новыхъ книгъ я не имѣлъ, достать было негдѣ, съ живымъ человѣкомъ, съ которымъ можно было-бы перекинуться интереснымъ словомъ, я не сталкивался. Мужики, даже престарѣлый деревенскій попъ, день и ночь копошились въ гумнахъ. Торговля шла копеечная, мелкая, противная. Я сначала попытался повести торговлю безъ торгу, но мужики осмѣяли меня.

— Ишь, что выдумалъ! указывали они на меня узловатыми пальцами:—не торговаться! Гдѣ-же это водится? Въ губерніи и то добрые люди торгуются, а онъ новые порядки заводить вздумалъ! Сказано: молодозелено.

Волей - неволей приходилось запрашивать въ три - дорога; мнѣ сулили въ три-дешева и, послѣ цѣлыхъ потоковъ словонизверженій, упрашиванія, увѣренія и божбы, сходились въ цѣнѣ. Все это было отвратительно до тошноты. Кабакъ причинялъ мнѣ тоже не мало горя. Я строго-на-строго воспретилъ цѣловальницѣ обмѣривать потребителей; она аккуратно выполняла мои приказанія, и каждую налитую мѣрку подносила подъ самый носъ покупателя, чтобы увѣрить его въ своей добросовѣстности. Но это не спасало ни ее, ни меня отъ обидныхъ подозрѣній.

— Что-то ужъ черезъ край хватается. Вѣдьма, должно быть, воду льетъ въ бочку, потому самому и не жалѣетъ.

Вздумалъ-было я не отпускать водки въ долгъ, но поднялся такой бунтъ, что я не зналъ куда дѣваться.

— Кабакъ разнесемъ! Ишь ты, опохмѣлиться не даетъ! Да естли у тебя душа, бусурманъ, нехристь ты этакій?

Пришлось и въ кредитъ отпускать.

Грустно было жить и по-волчьи выть. Навѣдаешься, бывало, къ роднымъ, и тамъ тоска смертная. Отецъ вѣчно возится съ своими откупными пузатыми книжницами, мать въ хлопотахъ по хозяйству. Посидишь, назѣваешься вдоволь и поплетешься обратно въ свою конуру, отмахиваясь во всю дорогу отъ косматыхъ деревенскихъ

собакищъ. Придешь домой—еще горестнѣе. Съ женою не о чемъ толковать, а заговоришь для очистки совѣсти—услышишь. непременно такую дичь, выраженную такимъ самоувѣреннымъ, безапелляціоннымъ тономъ, что только озлишься и кровь себѣ испортишь. Я измѣнилъ всѣ свои городскія привычки: легся съ курами, вставалъ съ пѣтухами; обѣдалъ въ десять часовъ утра. Къ торговлѣ я относился вяло, почти апатично. На душѣ было пасмурно, туманно, сонливо. Иногда трехсуточная вьюга превратитъ деревню въ какую-то безлюдную пустыню, гдѣ въ продолженіи цѣлыхъ сутокъ не увидишь даже хрюкающей свиней морды. Въ такое бѣсовское время одинъ кабакъ оглашался отъ времени до времени бессмысленными монологами или хриплою заунывною пѣснью въ одиночку запивающаго горе мужичка.

Мать замѣчала мою грусть и при каждомъ случаѣ утѣшала.

— Тебѣ скучно, сынъ мой, знаю. Это отъ непривычки. Конечно, городъ совсѣмъ не то... Тамъ ты имѣлъ друзей. Да что-жъ дѣлать? хлѣбъ не легко достается. Потерпи, наступитъ весна, лѣто, садикъ твой зацвѣтетъ, лужокъ покроется зеленью. Мы расплодимъ птицу. купишь себѣ коровку и лошаду. Въ лавченку прибавимъ товарцу краснаго, изъ первыхъ рукъ; станешь по ярмаркамъ разѣзжать, совсѣмъ не то будетъ. Вотъ увидишь.

И точно, съ наступленіемъ весны духъ мой обновился; вмѣстѣ съ первою зеленью зародилась какая-то радостная надежда въ моемъ молодомъ сердцѣ. Моя лавочка была единственною въ деревнѣ. Торчать въ ней цѣлые дни не было никакой надобности: кому что нужно, тотъ придетъ ко мнѣ на домъ и позоветъ. Итакъ, я имѣлъ довольно свободнаго времени. Я обзавелся и коровою, и лошадей, и разной птицей, и голубятней. Я началъ съ того, что нанялъ пожилого трезваго мужика въ услуженіе, опытнаго по сельско-хозяйственной части. Совмѣстно съ нимъ мы возобновили плетень около двора, выбѣлили строеніе, исправили крыши, очистили садикъ, окопали фруктовыя деревья, раскопали удобное мѣсто для огорода. Я физически работалъ наравнѣ съ моимъ работникомъ, засучивъ рукава. Я сладко ѣлъ и еще слаще спалъ послѣ дневного труда. По мѣрѣ того, какъ я втягивался въ физическій трудъ, внутренній мой разладъ съ самимъ собою и порядкомъ вещей обращался въ довольство самимъ собою. Сотни сомнѣній и запросовъ поочередно исчезали куда-то и вмѣсто нихъ приходили не крупные, но тѣмъ не менѣе довольно важные интересы. Я, видимо, перерождался въ селянина, для котораго рожденіе теленка и смерть курицы составляютъ событія дня. Я

дѣлался какъ-то проще, и чѣмъ далѣе шло мое превращеніе, тѣмъ больше и больше хотѣлось мнѣ привязаться къ своей женѣ, втянуть ее въ наши общіе интересы, возбудить въ ней какую-нибудь страсть, хоть въ расплачиванію цыплятъ и гусятъ. Сначала дѣло шло на ладъ; она низошла до того, что работала вмѣстѣ со мною въ саду, смазывала своеручно глиняный полъ, стряпала мои любимыя блюда; но скоро она пуще прежняго заснула тѣломъ и духомъ, сложила руки и пошла меня угощать воркотней и кислой физиономіей.

Судьба, однакожь, помогла мнѣ. Старый деревенскій попъ приказалъ долго жить, а самъ отправился къ предкамъ. На мѣсто покойнаго поступилъ молодой священникъ, пѣвецъ и гитаристъ. Я сразу съ нимъ сошелся; мы оба любили музыку. Въ короткое время мы полюбили другъ друга. Молодой священникъ страстно любилъ литературу и не любилъ попадью, читалъ много и имѣлъ много книгъ свѣтскаго содержанія. Все досужее время мы, большею частью, проводили вмѣстѣ и много читали, и очень часто сами смѣялись надъ нашей оригинальной дружбой.

— Какъ странно, право, удивлялся священникъ:—попъ и жидъ—друзья!

— Пожалуйста, не предавай-же меня анаемѣ! просилъ я его въ шутку.

Я полюбилъ деревню отъ всего сердца. Я забросилъ свое городское платье и одѣлся по-деревенски, несмотря на всѣ протесты моей жены и родителей. Разъѣзжалъ я безъ кучера, научился всѣмъ деревенскимъ приѣмамъ, ѣздилъ верхомъ, на неосѣдланной лошади, десятки верстъ, таскалъ на собственныхъ плечахъ тяжести. Мои мускулы съ каждымъ днемъ крѣпли больше и больше, я наслаждался своей физической силой и почти гордился ею. По мѣрѣ возрастанія этой силы и укрѣпленія моего здоровья, уменьшалась и моя привитая воспитаніемъ трусость. Я чувствовалъ себя въ силахъ вступить въ борьбу, не опасаясь быть раздавленнымъ сразу.

Я былъ польщенъ и въ другомъ отношеніи. Какъ ни подозрительно относились ко мнѣ мужички сначала, они все-таки, вполнѣдствіи, начали уважать меня. Они убѣдились, что я ихъ не обижаю, не обираю и не обчитываю. Довѣріе ихъ дошло, наконецъ, до того, что при расчетахъ они перестали пускаться со мною въ подробности.

— Да ты, братъ, посмотри въ книгу и скажи, сколько тамъ слѣдуетъ. Нечего рассказывать. Ты у насъ человѣкъ аккуратный, не обманешь.

Нерѣдко случалось, что знакомые мужички, не сладивъ въ какомъ-нибудь дѣлѣ или расчетѣ, выбирали меня почетнымъ медиаторомъ. Въ такихъ случаяхъ мои рѣшенія исполнялись обѣими сторонами безпрекословно.

Одного только мужички не могли простить ни мнѣ, ни попу, это то, что мы гнушались *ильновать*.

— Что это за попъ и что это за шинкаръ такой? Чарки отъ нихъ никогда не увидишь.

Ильнованіе въ Малороссіи и Новороссіи заключается въ томъ, что шинкари, крамари, чины сельской полицейской власти и даже священники, въ воскресные или праздничные дни, отправляются на домъ къ деревенскимъ жителямъ съ запасомъ водки, которою угощаютъ всѣхъ членовъ семьи. Въ награду за подобное вниманіе всякій выпившій обязанъ сдѣлать подарокъ щедрому гостю. Кто подаритъ мѣшочекъ пшенички, кто ржи, кто проса, кто курицу, кто яичко. Ильнующій, израсходовавъ боченокъ водки въ продолженіи дня, возвращается къ вечеру съ полно-нагруженной разнымъ добромъ телѣгою. Безсовѣстная эта эксплуатація обратилась въ такой незыблемый обычай, что неильнующіе считаются гордецами, людьми невнимательными.

Торговля по лавкѣ пошла у меня тоже лучше прежняго. Я отправился на большую ярмарку и накупилъ свѣжаго товара изъ первыхъ рукъ, на значительную сумму, частью на наличныя деньги, а частью въ кредитъ. Мой „крамъ“ прославился въ околосѣ; наѣзжали изъ близкихъ и дальнихъ деревень, чтобы отдать честь моей лавкѣ. При чемъ очень часто обнаруживалась моя неопытность. При покупкѣ бумажныхъ матерій или платковъ, я руководствовался собственнымъ вкусомъ, выбиралъ цвѣта понѣжнѣе; на дѣлѣ-же оказывалось, что я купилъ негодное.

— Да что ты мнѣ суешь? возмутится, бывало, деревенская красавица или сельскій парубокъ-девь. — Ты подай такое, чтобы издалека видно было.

Чтобы сбыть негодный товаръ, я началъ разъѣзжать отъ времени до времени по ярмаркамъ и, для экономіи, своеручно строилъ свой балаганъ. Нерѣдко случалось, что знакомые, знавшіе меня во время моей откупной службы, завидѣвъ меня въ деревенскомъ костюмѣ, съ заступомъ или топоромъ въ рукѣ, отворачивались отъ меня съ насмѣшкой или притворялись незнающими. Сначала подобныя выходы меня огорчали, но въ скорости я привыкъ и относился къ нимъ съ равнодушіемъ или презрѣніемъ.

Евреи вообще относятся враждебно къ тѣмъ, которые осмѣли-

ваются думать собственной головою, поступать по собственной волѣ, не соображаясь съ рутиною большинства. Всякое вольнодумство—религіозное-ли, житейское-ли—осуждается, преслѣдуется и наказывается. Въ одной изъ ярмарочныхъ моихъ экскурсій я нечаянно подслушалъ неслестное сужденіе о моей особѣ.

— Ты видѣлъ тамъ, на площади, въ балаганѣ, бывшаго откупного франта? спросилъ одинъ еврей другого, назвавъ меня по имени.

— Да. Онъ одѣтъ по-мужицки, да и рожа-то у него сдѣлалась какая-то нееврейская совсѣмъ.

— Его выгнали со службы, онъ и пошелъ мужиковать.

— За что-же выгнали?

— Сплутовалъ, квитанцію укралъ, что-ли. Онъ было окреститься вздумалъ да въ мужики въ деревню записаться; хотѣлъ, да не приняли.

— Не приняли?

— „У насъ у самихъ безпутныхъ много“, сказали ему.—„Ты намъ честныхъ евреевъ подавай, а такихъ, какъ ты, не надо“.

Я ужился въ деревнѣ и чувствовалъ себя совершенно счастливымъ. Возвышенные идеалы улетучились, какъ ночныя видѣнія при восходѣ лучистаго, яркаго солнца. Даже неудовлетворенное молодое сердце, жаждавшее другой жизни, болѣе теплой, болѣе нѣжной, утомилось при этой прозаической обстановкѣ, звѣнѣвшей мѣдными копейками, довольствовавшейся ржаной, отрубистой коркой хлѣба. Около двухъ лѣтъ прожилъ я спокойною жизнью, какой не испытывалъ уже никогда. Дѣла мои шли отлично. Я приобрѣлъ довѣріе крупныхъ торговцевъ, мать не хотѣла брать слѣдовавшихъ ей дивидендовъ.

— Нѣтъ, уклонялась она всякій разъ, когда я предлагалъ ей часть пользы.—Разширай лучше свою торговлю на этотъ капиталъ. Все равно, на старости лѣтъ тебѣ-же насъ кормить придется. Богатѣй-же, пока везетъ.

Мое счастье было на самомъ зенитѣ, когда бѣдныхъ деревенскихъ евреевъ, и меня въ томъ числѣ, постигла неожиданная бѣда. Законъ внезапно воспретилъ евреямъ проживать въ деревняхъ и селахъ. На насъ набросилась цѣлая стая старшинъ, волостныхъ головъ и писарей, станowychъ, исправниковъ и окружныхъ начальниковъ. Насъ прижимали, выжимали и изгоняли. Мы откупались на-время, расплачивались своими карманами. Мы выжимали изъ себя послѣдніе соки, но не могли насытить свору гончихъ и ищеекъ, нападавшихъ на насъ ежедневно. Мы выбивались изъ

силъ и разорялись, чувствуя, что долго такимъ образомъ не продержавшись, что за тѣмъ тебѣ уже пардона не будетъ. Болѣе разсудительные ликвидировали немедленно свои дѣла и переселялись въ мѣста, гдѣ *евреямъ жительство дозволяется*. Я рѣшился послѣдовать этому примѣру. Но для ликвидаціи моихъ дѣлъ требовалось время; необходимо было предварительно взыскать долги, распродать товары и имущество и разсчитаться съ кредиторами, посматривавшими уже на еврейскую деревенскую торговлю какъ на ненадежную, угрожающую рано или поздно неизбежнымъ банкротствомъ.

Евреи изгонялись изъ деревень и селъ, какъ эксплуататоры деревенскаго пьянаго люда. Не смѣя вполне отрицать основательность этого убѣжденія, во имя котораго темный людъ и въ наше время нападаетъ, грабитъ и разоряетъ безпомощныхъ евреевъ, среди бѣлаго дня, среди многолюднаго европейскаго города, я хочу только слегка коснуться вопроса, кто былъ, во время оно, виноватъ въ этой настоящей или мнимой эксплуатаціи. Кто давалъ первый импульсъ тому безобразію, которое взваливалось цѣликомъ на однихъ евреевъ? Я рѣшаюсь коснуться этого важнаго вопроса только въ прошломъ; въ настоящемъ-же предоставляю этотъ вопросъ на рѣшеніе болѣе глубокихъ наблюдателей.

Я разскажу читателямъ былой случай изъ жизни знакомаго мнѣ деревенскаго еврея, изъ жизни двухъ негодяевъ, принадлежавшихъ къ различнымъ сферамъ. Предоставляю рѣшить другимъ, кто виноватъ: еврей или....

На поселянахъ одной мѣстности накопилась громадная податная недоимка. Поселяне были бѣдны, благодаря голоднымъ годамъ и безкорыстію сельскихъ чиновниковъ. Чтобы очистить хоть часть недоимки, поселянъ сотнями выгоняли на работы, на сооруженіе какой-то шоссейной дороги. Время было тяжкое, требовавшее какого-нибудь утѣшенія, хоть минутнаго, искусственнаго. Горемыки заили пуще обыкновеннаго. Благо, шинкаръ Хаимко отпускалъ въ счетъ будущихъ благъ, обмѣривая наполовину и присчитывая по десяти на каждую единицу. Хаимко рисковалъ, но рисковать стоило: взыщи онъ хоть сотую долю долга съ своихъ безхитростныхъ должниковъ, онъ былъ-бы уже въ барышахъ. Итакъ, мужики или да пили, а Хаимко записывалъ да записывалъ, въ ожиданіи урожайнаго года.

Однажды наѣзжаетъ исправникъ и останавливается у корчмара. Кстати у корчмара имѣлась въ запасѣ, для начальства, удобная комната со столомъ и чаемъ, и все это вдобавокъ предлагалось

радушно даромъ. Исправникъ къ тому-же былъ падохъ на еврейскую фаршированную рыбу съ картофелемъ, лукомъ и цѣлымъ моремъ перцованной ухи.

— Что новаго, ваше высокородіе? спрашиваетъ фамиллярно Ханмко, накормивши и напоивши начальство.

— А вотъ налетѣлъ выгонять батраковъ на шоссе, отвѣчаетъ исправникъ, потягивая крѣпчайшій пуншъ и поглаживая отяжелѣвшее брюхо.

— Боже, что со мною теперь будетъ!

— А что?

— Я несчастнѣйшій человѣкъ, я теперь — нищій: всѣ батраки мнѣ должны; всѣ долги лопнуть.

— А долги за что? за водку?

— Нѣтъ... но...

— Не ври, мошенникъ! Ну, водочные долги твои, какъ есть, фу! Развѣ не знаешь, что водку въ долгъ отпускать запрещено закономъ?

Еврей поникъ головою и заломалъ руки. Водарилось молчаніе.

— А много долга? спросилъ исправникъ чрезъ нѣсколько минутъ.

Еврей назвалъ круглую цифру.

— Имѣешь росписки на должникахъ?

— Какія тутъ росписки! Развѣ не знаете, что мы на слово вѣримъ.

— Ну, значитъ, пиши, Ханмко, пропало.

— Если-бы ихъ не выгоняли... разсуждалъ задумчиво шинкаръ.

— То что было-бы?

— Уплачивали-бы понемножку. Кстати и хорошій урожай предвидится.

— А что дашь, если взыщу твои долги?

Ханмко затрепеталъ отъ радости.

— Дашь половину—возьмусь! рѣшительно объявилъ исправникъ, укладываясь на еврейскіе пуховики.

Дѣло уладилось.

На другой день, чуть заря, деревня зашевелилась и ходуномъ заходила отъ ужаса. Сотскіе бѣжали какъ угорѣлые изъ улицы въ улицу, изъ дома въ домъ, и сгоняли народъ какъ на пожаръ. Бабы сопровождали своихъ мужей и сыновей и голосили навзрыдь. Вся толпа сгонялась къ управѣ. Слухи разнеслись, что, прямо изъ управы, неисправныхъ податныхъ плательщиковъ погонять на ка-

зенныя и частныя работы, куда-то въ страшную даль, за тридцать земель. О распространеніи этихъ страшныхъ слуховъ поставался, по наставленію самого исправника, ловкій Ханько.

Народъ, сплошной толпой, съ обнаженными головами, долго ждалъ появленія начальства, переминаясь съ ноги на ногу и шопотомъ сѣтуя на свою судьбину.

При появленіи исправника толпа поклонилась въ поясъ. Нѣсколько стариковъ выступило впередъ и бухнуло въ ноги строгому начальству.

— Не губи, батюшка, не губи родимый, завопила депутація.

— А что? спросилъ надменно исправникъ.

— Не гони насъ на работы! Богъ милостивъ, хлѣбецъ народится, все уплатимъ, до копеечки уплатимъ. Нешто платить не хотимъ? Нemoжется, родимый, видить Господь—нemoжется.

— Да что вы, ребята? Я совсѣмъ по другому дѣлу наѣхалъ; по дѣлу радостному—вотъ что!

Мрачныя лица толпы въ мигъ озарились надеждою.

Исправникъ направился въ сельскую управу, позвавъ за собою толпу.

— Вѣдомо-ли вамъ, ребята, что жиновъ изъ деревень гнать велѣно?

— Чули это мы, отозвались одни.

— Давно-бы такъ, нехристей! одобрили другіе.

— Водку въ долгъ не отпускать жидамъ строго было заказано. Объ этомъ знаете вы?

— Ни-ни, сего не вѣдаемъ.

— Такъ вѣдайте-же!

— Значить, и платить не надо? спросилъ какой-то забуддыга, выдвинувшись изъ массы.

— Не только, что платить не надо, но жида, отпускаяшіе свою поганую водку въ долгъ, вопреки закона, должны еще платить громадамъ штрафу столько-же, на сколько имъ народъ задолжалъ. Штрафъ этотъ пойдетъ на податную недоимку — вотъ что. Поняли?

— Какъ не понять, батюшка!

Поднялся восторженный говоръ и шумъ.

— Молчать! гаркнулъ исправникъ. — Что расходились? забыли, при комъ стоите?

Настало глубокое молчаніе.

— Пиши! скомандовалъ исправникъ, обращаясь къ писарю сельской управы. — Нужно составить списокъ, сколько деревня задол-

жала жиду, чтобы опредѣлить количество штрафа, предстоящаго ко взысканію въ пользу деревни. А вы, обратились исправникъ къ толпѣ, — говорите, сколько каждый долженъ шинкарю Хаимкѣ; только, чуръ, не врать.

Писарь, чуть замѣтно ухмыляясь, взялся за перо.

— Стой! остановилъ его исправникъ. — Притащить сюда жиду съ его расчетной книжкой.

Нѣсколько сотскихъ бросилось со всѣхъ ногъ за несчастнымъ, якобы, жидомъ. Черезъ нѣсколько минутъ явился еврей съ толстою, растрепанною книгой подъ мышкой. Еврей имѣлъ растерянный и до смерти испуганный видъ.

— Укажи, шинкарь, сколько кто тебѣ долженъ денегъ.

— Ваше высокородіе! пролепеталъ еврей: — они... занимали различные деньги... для посява...

— Укажи, кто долженъ и сколько! грозно прервалъ шинкаря исправникъ.

— Вотъ... онъ, указалъ шинкарь трепещущей рукою на одного изъ мужиковъ.

— Долженъ? допросилъ исправникъ мужика.

— Долженъ, батюшка, какъ не долженъ! отвѣтилъ радостно мужикъ.

— Сколько? продолжалъ исправникъ допрашивать жиду.

Еврей развернулъ свою книгу.

— Пять рублей съ полтиною.

— Признаешь? спросилъ исправникъ мужика.

— Нѣтъ, родимый, чего врать: я долженъ ему девять рублей съ полтиною.

Еврей отскочилъ изумленный на два шага.

— Не знаю... можетъ, забылъ записать... замямлилъ онъ.

— Стало быть, забылъ, утвердилъ мужикъ. — Нешто не помнишь, когда я съ Сильвестромъ...

— Запиши! приказалъ исправникъ писарю.

Поочередно еврей указывалъ на своихъ должниковъ. Долги безпрекословно признавались. Но удивительно было то, что большая часть должниковъ спорила съ своимъ кредиторомъ о томъ, что цифры ихъ настоящаго долга гораздо значительнѣе цифры, записанной за ними въ шинкарской книгѣ, убѣждая еврея разными предположеніями и доказательствами, что онъ ошибся, забылъ записать. Нашлись, однакожъ, и такіе мужики, которые ни за что не хотѣли признать себя должниками. Сосѣди ихъ лукаво подбавля.

— Чего отпираться? вѣдь долженъ? злорадно усовѣщивали ихъ лукавые сосѣди, подмигивая глазами и подталкивая локтемъ.

— Не могу я грѣха на душу брать. Стало быть, не долженъ— и шабашъ.

Когда списокъ долгамъ былъ такимъ образомъ составленъ, исправникъ велѣлъ прочитать его вслухъ.

— Вѣрно тутъ написано? спросилъ исправникъ поименованныхъ лицъ.

— Вѣрненько! утвердили вопрошаемые.

— Грамотные, подпишите и за себя, и за неграмотныхъ.

Приказаніе было исполнено. Поселяне, довольные, разбрелись по домамъ. Бѣдняки радовались, что однимъ ударомъ убили двухъ мухъ разомъ: избавились отъ назойливыхъ домогательствъ шинкаря-кредитора и отчасти отъ податныхъ недоимокъ. А на радостяхъ набросились на водку Ханмена и пили на послѣдніе гроши. Ханменко, повидимому, былъ разъяренъ и въ долгъ уже не отпускалъ больше.

Заручившись личнымъ признаніемъ и подписью должниковъ, мудрый исправникъ смастерилъ актъ, что, вслѣдствіе прошенія мѣщанина Ханма N о томъ, что такіе-то и такіе-то, занявъ у него наличныя деньги на посѣвы и проч., отказываются нынѣ отъ уплаты, имъ, исправникомъ, лично были спрошены подлежащіе лица, кои словесно признали и подписью утвердили основательность и законность требованій просителя Ханма N. Основываясь на этомъ актѣ, исправникъ строго предписалъ сельской управѣ принять самыя принудительныя полицейскія мѣры ко взисканію денегъ съ кого слѣдуетъ, коими и удовлетворить просителя.

Исторія кончилась тѣмъ, что съ мужиковъ выжали послѣднее. Исправникъ получилъ львиную долю добычи, а чрезъ нѣкоторое время онъ-же выгналъ еврея Ханма изъ деревни, а несчастныхъ мужиковъ погналъ на шоссейныя работы.

Я и отецъ страдали отъ чиновныхъ обиралъ относительно меньше другихъ деревенскихъ евреевъ. Отецъ мой, какъ мелкій контрагентъ Тугалова, состоялъ подъ покровительствомъ откупа, откупъ состоялъ подъ покровительствомъ тѣхъ, предъ которыми исправники, а тѣмъ болѣе чиновная мелкота, и пикнуть не смѣли. Отецъ мой занимствовалъ свѣтъ и теплоту у Тугалова, а я тоже грѣлся на этомъ фальшивомъ солнышкѣ. Но откупной терминъ приближался къ концу; торги на новые откупа висѣли на носу. На откупъ Тугалова оказывалось много претендентовъ. Самъ Тугаловъ не рассчитывалъ удержаться на своей откупной почвѣ. Въ

ожиданіи скорого наступленія радикальныхъ перемѣнъ, мы съ матерью рѣшили покончить нашу торговлю въ деревнѣ и перенести ее, какъ можно скорѣе, въ близлежащій городокъ, гдѣ евреямъ дозволялось жить и торговать. Городская торговля требовала уже другихъ товаровъ, для чего я и накупилъ значительные запасы болѣе цѣнныхъ продуктовъ. По поводу этого я влѣзъ въ несравненно большіе долги у оптовыхъ торговцевъ. Всѣ мои запасы я складывалъ въ моей переполненной лавчонкѣ. Переѣздъ въ городъ я опредѣлилъ къ тому времени, когда узнаю, за кѣмъ остался откупъ Тугалова на будущее четырехлѣтіе.

Однажды, въ глухую полночь, меня разбудилъ осторожный стукъ въ окно и тихій говоръ нѣсколькихъ человѣкъ. Я перепугался со сна, тѣмъ болѣе, что съ нѣкотораго времени начали проявляться крупныя воровства и грабежи въ окрестностяхъ и даже въ самой деревнѣ. Я до того не былъ спокоенъ насчетъ моей лавчонки, что специально для нея нанялъ ночного сторожа. Меня до сихъ поръ никто не беспокоилъ по ночамъ: на товары съ заката солнца не было уже запроса, а о кабачныхъ посѣтителяхъ заботилась сама цѣловальница, безъ моего личнаго участія. Понятно, что тихій говоръ въ такую пору у окна моего жилья, стоявшаго вдали отъ прочихъ сосѣднихъ жилищъ, какъ-то особнякомъ, не предвѣщалъ ничего хорошаго. Я не зналъ, что дѣлать, и, въ нерѣшимости, продолжалъ лежать, дрожа всѣмъ тѣломъ. Стукъ въ окно раздался въ другой и третій разъ. Проснулась жена и вцѣпилась въ мою руку.

— Разбойники! прошептала она чуть внятно и потянула одѣяло черезъ голову.

Я рѣшился встать и подойти къ окну.

— Не ходи! удерживала меня жена.

Стукъ въ окно сдѣлался настоятельнѣе. Кто-то называлъ меня по имени. Я соскочилъ съ постели и приблизился къ окну.

Ночь была бурная, темная. Лило какъ изъ ведра. Вдали раздавался рокотъ грома. Вѣтеръ бушевалъ въ саду и грозно завывалъ въ трубѣ. Непосредственно у окна я замѣтилъ неясный силуэтъ нѣсколькихъ человѣкъ. Нетвердымъ голосомъ я рѣшился спросить:

— Кто тамъ? что пужно?

— Да отопри дверь, чего боишься! Люди свои, знакомые; нешто не узнаешь! отозвались два-три молодца.

Я узналъ одного изъ нихъ, молодого, довольно зажиточнаго парубка деревни, вѣчно гулявшаго и плѣнявшаго красотокъ своей

Записки еврея.

удалью и безшабашностью. Это былъ левъ и сердцеѣдъ, знаменитый во всей деревнѣ.

— Что вамъ отъ меня нужно?

— Дѣло есть. Не бойся, баба. Кабы дурное сдѣлать захотѣли, нешто спрашивали-бы тебя. На вотъ, смотри!

Съ этими словами раздался сильный звонъ. Рама цѣликомъ была вырвана сразу. Рѣзкій, сырой вѣтеръ со свистомъ ворвался въ оконное отверстіе; дождь крупными, холодными каплями обдалъ меня съ головы до ногъ. Жена закричала не своимъ голосомъ.

— Уйми бабѹ! чего кричить! Вотъ тѣ крестъ святой—ничего дурного не сдѣлаемъ. Запали свѣчу да отворяй; а я тѣмъ временемъ прилажу окно.

Дѣлать было нечего. Скрѣпя сердце, я зажегъ свѣчу и впустилъ ночныхъ гостей.

Четыре молодыхъ парня, всѣ болѣе или менѣе знакомые, торопливо вошли въ комнату, неся на плечахъ чѣмъ-то наполненные мѣшки. Сбросивъ ношу на полъ и отряхнувшись, какъ собака, выскочившая изъ воды, они усѣлись.

— Ну, чего пугаешься? Не зарѣжемъ, не бойсь. А ты дай намъ водки—щедро заплатимъ.

Волей-неволей пришлось угощать.

Въ нѣсколько минутъ былъ опорожненъ полный штофъ. У одного изъ посѣтителей лицо было испаряно и онъ примачивалъ раны водкой. Пока гости пили, я всматривался въ ихъ лица. Не замѣтивъ ни малѣйшаго признака недоброжелательства ко мнѣ, я нѣсколько ободрился.

— Скажите-же, наконецъ, что вамъ нужно? спросилъ я ихъ твердо.

— Купи, братъ, товарцу, вонъ тамъ! указали мнѣ на мѣшки, валявшіеся на полу.

— Какой товаръ?

— А чортъ его знаетъ, какой онъ тамъ! Въ потьмахъ развѣ разглядишь.

— Полотно хорошее, сукно и еще много кое-чего.

— А гдѣ вы... это добро взяли? дерзнулъ я спросить.

— А тебѣ, жидъ, что за дѣло? Дешево—ну, и покупай. Что дашь?

— Нѣтъ, хлопцы, я... такого товару и даромъ не возьму!

— Какого товару?

— Ночного... Я этимъ не занимаюсь.

— Ишь, что выдумалъ! Шинкаръ, а товару не покупаетъ! А кто-же его купить?

— Продайте, ребята, тѣмъ, которые до сихъ поръ у васъ покупали, а я не купецъ!

Ночные продавцы, какъ-бы сговорившись, вскочили съ мѣстъ и подступили ко мнѣ. Лица ихъ горѣли яркимъ румянцемъ, въ глазахъ просвѣчивала злость и угроза.

— Не купишь? спрашивали они меня сильнымъ голосомъ и все болѣе напирала на меня, сжавъ кулаки. Но я нѣсколько уже свыкъ съ своимъ положеніемъ и не потерялъ присутствія духа.

— Нѣтъ, не куплю; не могу! Дѣлайте со мною, что хотите. Я въ вашихъ рукахъ. Вы четверо, я одинъ.

Парубки отошли въ сторону и начали шушукаться. Я приблизился къ нимъ.

— Хлопцы! вы боитесь, что я васъ выдамъ? клянусь, что я постараюсь даже забыть о томъ, что вы у меня были.

— А твоя баба?

— Ручаюсь вамъ за нее. Она будетъ нѣма, какъ рыба.

— И попу не скажешь?

— Сохрани Богъ!

— Ну, смотри. Выдашь—задушимъ какъ курицу. Давай еще водки, выпьемъ и уйдемъ.

Водки больше не было. Я отыскалъ бутылку русскаго рома. Они мигомъ покончили съ ней.

— Заяцъ ты, заяцъ! Посылаетъ тебѣ Господь скорбь, а ты руками отпихиваешь.

Угрожая мнѣ кулаками на случай измѣны, воры забрали свою добычу и ушли. Я вышелъ въ слѣдъ за ними понавѣдаться къ лавкѣ и отыскать сторожа.

— Ты куда за нами? грозно спросили они меня.

— Къ лавкѣ посмотрѣть.

— Чего смотрѣть! Все цѣло, чортъ ее не взялъ. Лѣзь въ нору назадъ, не то...

Я повернулъ оглобли. Черезъ нѣкоторое время я, однакожь, осмѣлился выйти опять. Вѣтеръ улегся, небо нѣсколько прояснилось, кое-гдѣ, между обрывками темно-сѣрыхъ облаковъ, замерцали далекія звѣзды. Въ деревнѣ стояло мертвое затишье. Я обошелъ весь дворъ. Все обстояло благополучно. Сторожа моего не оказалось. Я напролетъ просидѣлъ всю ночь.

Чуть зарумянилась утренняя заря, какъ въ деревнѣ поднялась тревога. Два зажиточныхъ мужика были обворованы ночью, при

чемъ была придушена женщина, спавшая въ коморѣ, куда вломились ночные рыцари. Сельская полиція зашевелилась. Мужики ей содѣйствовали. Начались обыски. Къ вечеру открылась часть уворованныхъ вещей у какого-то бобыля съ пзраненнымъ лицомъ. Его арестовали. Онъ отпирался самъ и никого не выдавалъ. Наѣхалъ становой приставъ и пошло формальное слѣдствіе. Дѣло было серьезное, сопряженное съ убійствомъ; за него принялись энергически. Черезъ нѣсколько дней злоумышленники были открыты, но они уже исчезли изъ деревни. Уличителемъ явился мой сторожъ. Онъ показалъ, что воры, ночью, приходили ко мнѣ съ ношей на плечахъ, что онъ, предчувствуя нечистое дѣло, испугался и удралъ. Меня привлекли къ слѣдствію и намѣревались арестовать. Къ счастью, мой другъ священникъ былъ коротко знакомъ съ слѣдователемъ и уладилъ дѣло. Я крупно заплатилъ однакожъ. Сначала я далъ справедливое показаніе, рассказалъ, какъ было на самомъ дѣлѣ; отпираться, чтобы рыцарски сдержать слово, данное убійцамъ, и самому впутаться въ уголовное дѣло, я считалъ глупостью. Слѣдователь, однакожъ, сорвалъ съ меня крупную дань и, желая выгородить меня совсѣмъ изъ дѣла, посоветовалъ взять назадъ свое первое показаніе и дать новое. Онъ приказалъ мнѣ рѣшительно отпереться по всѣмъ статьямъ.

— Ты, братецъ, даешь только зацѣпку, за которую въ острогѣ сгніешь, пока еще судъ да дѣло. Скажутъ велѣ знакомство и хлѣбосольство съ разбойниками, зналъ и не донесъ, значить: „самъ подстрекать, укрывать и принималъ участіе“. Лучше всего: „знать не знаю, вѣдать не вѣдаю“.

Я выпутался изъ этого дѣла; но, Боже мой, сколько горя и страха за свою судьбу, сколько горькихъ слезъ было пролито моей бѣдной матерью, сколько ночей провелъ я безъ сна! Я пересталъ думать о своихъ дѣлахъ и ликвидаціи. Мнѣ мерещился мрачный острогъ, слышалось бряцанье тяжелыхъ цѣпей, предъ глазами носились образы полубритыхъ арестантскихъ головъ, сермяжниковъ съ заплатой на спинѣ и... плеть палача. При одной мысли о страшной плети кровь застывала въ моихъ жилахъ. Не разъ приходили мнѣ на память преимущества купческаго сословія, исчисленные когда-то Клопомъ: „попадешься ты, напримѣръ, въ уголовной штукѣ, тебя драть не могутъ“, сказалъ практическій подрядчикъ. А я еще такъ самоувѣренно отвѣтилъ: „я преступленія не совершу“! Человѣкъ не имѣетъ права ни за что ручаться, и нѣтъ такого положенія, въ которое не могла-бы судьба или рокъ внезапно поставить его.

Слѣдствіе давно уже кончилось. Арестанты, кромѣ одного, были пойманы и давно уже отправлены въ губернскую тюрьму. Я нѣсколько поуспокоился и съ большимъ рвеніемъ принялся за ликвидацію своей деревенской торговли, какъ однажды, возвращаясь отъ родныхъ, въ туманные сумерки, наткнулся на какого-то парня въ кожухѣ, съ нахлобученной на глаза шапкой. Я не обратилъ-бы на незнакомца вниманія, если-бы не почувствовалъ сильного толчка отъ его локтя, отъ котораго я едва удержался на ногахъ. Толкнувшій меня быстро побѣжалъ и исчезъ въ туманѣ. Меня удивилъ этотъ случай, но я не придавалъ ему особенной важности. По предположенію моему, это былъ пьяный, пошатнувшійся на ногахъ при встрѣчѣ со мною и нанесшій мнѣ толчокъ нечаянно.

У себя дома я засталъ священника. Я рассказалъ ему объ этомъ случаѣ.

— Вы всмотрѣлись въ этого пьянаго человѣка? спросилъ меня безпокойно священникъ.

— А что?

— Поговариваютъ, что одинъ изъ бѣжавшихъ убійцъ (помните?) возвратился и тайкомъ шляется у насъ по деревнѣ. Берегитесь. Я слышалъ, что родные арестованныхъ негодяевъ обвиняютъ васъ и вашего сторожа въ томъ, что вы донесли на виновныхъ, что вы ихъ выдали. Какъ-бы они вамъ не сказали спасибо, по-своему!

Я встревожился не на шутку. Въ эту ночь я ворочался съ боку на бокъ, но заснуть не могъ. Мысли одна мрачнѣе другой толпились въ моей разболѣвшей головѣ, какое-то тяжелое предчувствіе сжимало сердце. Въ ночной тишинѣ протяжно и жалобно завывала собака; мнѣ мерещились какіе-то тихіе шаги у моихъ оконъ. Я подошелъ къ окну и выглянулъ. Никого не оказалось.

— Позови въ комнату сторожа, мнѣ страшно! упрашивала жена.

Вооружившись толстымъ дрючкомъ, я вышелъ на дворъ. Кругомъ было спокойно и тихо. Я отыскалъ сторожа, исправно спавшаго подъ деревомъ, на травѣ, растолкалъ и привелъ его въ комнату, гдѣ онъ растянулся на полу и немедленно заснулъ какъ убитый. Нѣсколько успокоенный, я впалъ въ тяжелый сонъ.

Долго-ли мы спали—не знаю, какъ вдругъ бѣготня, топотъ, шумъ, крикъ и говоръ разбудили насъ.

— Бѣгите! вставайте! кричали со двора, колотя въ двери и окна:—скорѣе... горить... пожаръ!

Мы выскочили на дворъ въ однихъ рубахахъ, босикомъ... Меня

била лихорадка, зубы стучали, въ глазахъ трепло. Ночь была темная, небо покрыто тучами, вѣтеръ былъ сильный. Громадное зарево вырѣзывалось на черномъ фонѣ ночного неба какимъ-то гигантскимъ, уродливымъ, красно-багровымъ пятномъ. И это пятно, какъ показывалось моимъ помутившимся глазамъ, багрово-до гдѣ-то бесконечно далеко, на самомъ краю горизонта. Я удивился, что, несмотря на страшную даль зарева, я явственно слышу рѣзкій свистъ и трескъ пожирающей стихіи, что дымъ, заносимый вѣтромъ, выѣдаетъ глаза, что я на своемъ лицѣ ощущаю какой-то жгучій жаръ... Я, какъ помѣшанный, дико обвелъ глазами и остановилъ свой взоръ на окружавшей меня суетящейся толпѣ.

— Гдѣ горитъ? спросилъ я.

— Да твой-же крамъ горитъ... нешто не видишь?

Что затѣмъ было—не помню...

Я очнулся въ объятіяхъ моей матери. Она и жена моя истерически, захлебываясь, рыдали; отецъ, вытирая кулаками слезы, стоялъ тутъ-же, мрачный какъ туча; полунагія дѣти пищали и хныкали. Я все видѣлъ, все чувствовалъ, но, не будучи въ состояніи шевельнуть пальцемъ, лежалъ безмолвный, бездыханный, какъ человѣкъ въ летаргическомъ снѣ, въ которомъ мнимый трупъ съ полнымъ сознаниемъ присутствуетъ на собственныхъ похоронахъ, слышитъ, чувствуетъ все происходящее, но не имѣетъ силы крикомъ или движеніемъ протестовать противъ страшной участи...

Все сгорѣло, все было истреблено огнемъ. Я остался нищимъ, неоплатнымъ должникомъ-банкротомъ. Я ограбилъ свою бѣдную мать.

Я опускаю завѣсу на мои чувства, на мое внутреннее я въ тѣ минуты невыразимаго горя и крайняго отчаянія; мнѣ страшно переживать еще разъ это прошлое даже мысленно.

Но молодость вынослива, живуча.

И въ бреду самаго свирѣпаго пароксизма охватившей меня нервной лихорадки, и въ то время, когда я началъ исподоволь поправляться, во снѣ и на яву, неотразимо мучили меня вопросы, неотступно вертѣлись въ моемъ мозгу:

— Кто виновенъ въ моемъ несчастіи? За что-же жестокій рокъ меня преслѣдуетъ? Кто изуродовалъ мою жизнь? За что?

Съ какой стороны ни взглянулъ-бы я на свою жизнь,—пройду-ли воспоминаніемъ горькое прошлое, стану-ли лицомъ къ лицу съ безуспѣшнымъ настоящимъ, воображу-ли себѣ вѣроятное будущее,—вездѣ и всюду я наталкиваюсь на неразрѣшимый вопросъ: кто виновать?

Конечно, прежде всего я самъ виноватъ: я—еврей!

Быть евреемъ—самое тяжкое преступленіе; это вина ни чѣмъ не искупимая; это пятно ни чѣмъ не смываемое; это клеймо, напечатлѣваемое судьбою въ первый моментъ рожденія; это призывный сигналъ для всѣхъ обвиненій; это кайнскій знакъ на челѣ неповиннаго, но осужденнаго заранѣе человѣка.

Стоить еврея ни въ комъ не возбуждаетъ состраданія. Подѣломъ тебѣ: не будь евреемъ. Нѣтъ, и этого еще мало! „Не *родись* евреемъ“.

— Но вѣдь я имѣлъ уже это несчастіе — родиться? могу-ли я это совершившееся сдѣлать несовершившимся?

Мнѣ отвѣчаютъ: „это не наше дѣло“.

— Не ваше? такъ-ли? А взваливать все на еврея цѣликомъ, безъ провѣрки, ваше дѣло?

Кто кого подстрекаетъ: укрыватель краденныхъ вещей вора или воръ—укрывателя?

Кто убійца: топоръ-ли, наносящій непосредственный ударъ, или разумная сила, направляющая орудіе гибели на голову жертвы?

Если-бы я хотѣлъ задаться вопросами, робко прячущимися за кулисы *невозможнаго*, то этимъ вопросамъ не было-бы конца. Я сконцентрирую ихъ въ одинъ сжатый общій:

— Кто виноватъ?

Разрѣши кто можетъ, кто смѣетъ; я не берусь.

VII.

Отецъ и сынъ.

Пропускаю нѣсколько лѣтъ...

Подробности и мелкія событія этого періода времени не представляютъ ничего новаго; та-же борьба за существованіе, тотъ-же приливъ и отливъ горя, страданія и несчастія, тѣ-же грубые толчки рока, тѣ-же царапины, ссадины и раны, наживаемыя безпомощнымъ человѣкомъ, пробирающимся, путаясь и блуждая, въ тернистомъ лѣсу, называемомъ жизнью.

Для послѣдовательности я сдѣлаю, однакожъ, сжатый очеркъ времени между послѣдними событіями и тѣмъ моментомъ, когда я начинаю вновь мой рассказъ.

Въ томъ отчаянномъ положеніи неоплатности, грозившемъ мнѣ лишеніемъ свободы, въ которое поставила меня дикая месть без-

пощаднаго убійцы, я благословлялъ судьбу ужъ и за то, что она вновь представила мнѣ случай закабалить себя откупу. Какія униженія, какой неестественный трудъ, какой произволъ, какія лишенія пережилъ я, слоняясь въ мелкихъ должностяхъ, пока создалъ себѣ нѣкоторую позицію, трудно даже вообразить. Меня поймутъ только тѣ, которые подобно мнѣ тянули откупную лямку, которые подъ плетью семейной нужды, неумолимаго голода исполняли страшную роль негровъ у плантаторовъ пьянства и разврата. Я безропотно переносилъ все, пока рассчитался съ моими, довольно снисходительными, кредиторами. Служба была трудная, шестнадцатичасовая въ сутки. Заработной платы не хватало на самую скромную жизнь. Но я находилъ время и силы работать за многихъ сослуживцевъ, малограмотныхъ, но занимавшихъ, однакожъ, видныя, доходныя мѣста. За этотъ сверхштатный трудъ я получалъ въ три раза больше моего собственнаго скуднаго жалованья; кромѣ того, я давалъ единовѣрцамъ уроки русской грамоты и музыки. Я изъ кожи лѣзъ, пока очистился отъ долговъ; не доѣдалъ, не досыпалъ, но кормилъ семью. А семья увеличивалась съ каждымъ годомъ, и семейная жизнь, въ нравственномъ смыслѣ, дѣлалась невыносимѣе съ каждымъ днемъ. Мое лицо было вѣчно на-смурно, угрюмо, на лбу вырѣзалась та глубокая черта между бровями, которую фizioномистъ съ перваго взгляда называлъ-бы чер-~~тою борьбы~~. Два раза перенесъ я опасное воспаленіе легкихъ. Я былъ худъ какъ щепка, длиненъ какъ восклицательный знакъ, желтъ какъ лимонъ. Но я все вынесъ и уцѣлѣлъ. Въ юности уже я былъ, какъ мнѣ казалось, старцемъ. Сознавая вполнѣ свою неволю, свое житейское желѣзное ярмо, я душилъ свои юныя страсти. Онѣ сначала порывались наружу, бунтовались въ моемъ молодомъ сердцѣ, но мало-по-малу склонились передъ обстоятельствами, какъ и я самъ. Только неугомонное воображеніе, развившееся на почвѣ вычурныхъ романовъ, изрѣдка, и то подъ сурдиною, напѣвало мнѣ иную, сладкую пѣсню. Невольно вслушивался я въ эту обаятельную, страстную мелодію, поддавался ей на мгновеніе, но быстро отрезвлялся и отрицательно качалъ головою. Я ломалъ себя безбожно. Какъ только я очистился отъ долговъ, я приподнял голову. Свыкшись съ нуждою, съ лишеніями, я пересталъ ихъ бояться. Раздражительный мой характеръ и нервность не переваривали только унижительнаго обращенія. Я съ горечью сознавалъ, что люди, поставленные въ той сферѣ, гдѣ я прозябалъ, выше меня, стоятъ, въ нравственномъ значеніи, неизмѣримо ниже меня...

Я часто мѣнялъ своихъ хозяевъ, свое откупное начальство. Я ни разу не былъ ни уволенъ, ни выгнанъ со службы: я самъ покидалъ скверное, гоняясь за мнимо-лучшимъ.

Но какъ выдвинуться безъ протекціи, безъ покровительства на бесплодномъ, невзрачномъ поприщѣ письменной и счетной части въ которой я погрязъ?

Случайно прочелъ я въ какой-то газетѣ объявленіе:

„Въ... книжный магазинъ поступило на продажу руководство къ изученію итальянской двойной бухгалтеріи. Иногородные благоволятъ адресоваться...“ и проч.

Я слышалъ о существованіи какой-то двойной бухгалтеріи, но что это за наука и въ чемъ она заключается—мнѣ никто объяснить не могъ. Чтобы удовлетворить своей любознательности, я написалъ сію книжицу.

Предисловіе сулило золотыя горы. Я съ жадностью набросился на изученіе этой мудрости. Я зналъ счетную часть съ одной практической ея стороны, со стороны откупной рутинны. Мои балансы высчитывались вѣрно и не грѣшили противъ арифметической правды; но добивался я конечнаго результата сложныхъ цифръ и комбинацій какъ-то оцѣпью, въ потьмахъ, какъ мужикъ, высчитывающій не менѣе вѣрно, чѣмъ и грамотный человѣкъ, но высчитывающій по пальцамъ, въ потѣ лица. Въ методѣ-же итальянской бухгалтеріи меня сразу поразила автоматичность, стройность и округленность всѣхъ счетныхъ приѣмовъ, отношеній и положеній; этотъ методъ показался мнѣ какою-то разумною машиною, ведущею своими колесными оборотами къ непогрѣшимой цѣли. Хотя машина эта, какъ мнѣ сначала показалось, и не годилась въ кабачную сферу, но, тѣмъ не менѣе, она внушала мнѣ большой интересъ сама по себѣ. Упражняясь прилежно и освоюсь съ приѣмами этой науки, я пришелъ къ счастливой мысли примѣнить ее къ откупу. Я напрягалъ свои мозги долгое время, пока додумался, наконецъ, до такихъ примѣненій, которыя, не измѣняя сущности двойной бухгалтеріи, могли-бы сдѣлать возможнымъ примѣненіе ея къ откупной части. Съ этой минуты я ввелъ радикальную реформу въ счетной части и пересоздалъ все на новый ладъ. Новизна бросилась въ глаза. О моей способности распутывать самые сложные расчеты заговорили. Я прославился какъ ученый бухгалтеръ. Богачи-купцы запутавшіеся въ своихъ счетахъ, или компаньоны, желавшіе проконтролировать другъ друга, обращались ко мнѣ. Я былъ всякій разъ щедро вознаграждаемъ. Моя бухгалтерская слава росла съ каждымъ днемъ.

Мнѣ наступилъ двадцать пятый годъ. Я былъ отцомъ нѣсколькихъ человѣкъ дѣтей, малъ-мала-меньше. Кромѣ моей маленькой славы счетчика, у меня ничего не было. Мои родители обѣднѣли. Я послѣднее дѣлилъ съ матерью, несмотря на всѣ протесты моей половины. Нужно было избавить нашу многочисленную семью отъ угрожавшей рекрутской повинности. Я выписался въ купцы. Но милый кагалъ за этотъ переходъ изъ мѣщанства въ купечество содралъ съ меня три шкуры разомъ. Все это вмѣстѣ поглощало всѣ мои трудные заработки, какъ значительны они ни были. Дѣти были маленькія, и, благодаря материнской небрежности и беззаботности, робкія, забитыя, дикія и неряшливыя. Съ какимъ горькимъ чувствомъ зависти я поглядывалъ на чистенькихъ, изящно одѣтыхъ чужихъ дѣтей, смѣлыхъ, развязныхъ! Съ какою болью сердечной я посматриваю, бывало, на моихъ угрюмыхъ, нелюдимыхъ замарашекъ!

— Ты-бы обратила вниманіе на дѣтей, обращался я грустно-ласково къ женѣ.

— А что?

— Да то, что они болѣе похожи на дѣтей записныхъ нищихъ, чѣмъ людей, зарабатывающихъ довольно крупныя деньги, какъ мы съ тобою.

— А гдѣ твои крупныя деньги? Скажи-ка лучше, для какого дьявола ты выписалъ всю свою семью въ купцы?

— А для того, что если-бы одному изъ братьевъ моихъ пришлось идти въ рекруты, то мать наложила-бы на себя руки.

— Погляди, пожалуйста, какія нѣжности!

— А ты не огорчилась-бы, если-бы отняли у тебя одного изъ твоихъ сыновей?

— Мои сыновья маленькіе, я не боюсь.

— Но вѣдь они подростутъ?

— Пока подростутъ, Мессія придетъ.

Наступало молчаніе.

— Пока Мессія придетъ, ты, нѣжная мать, обмыла-бы, причесала-бы да приодѣла-бы чистенько дѣтей, научила-бы ихъ управляться съ собственнымъ носомъ, не бродить босикомъ по лужамъ.

— Давай деньги—я и въ бархатъ одѣну.

— Къ чему ты приплетаешь бархатъ? Вода и простое мыло не дорого стоятъ. А одѣться чисто можно и безъ бархата.

— Да отвязись ты отъ меня!

Въ этомъ родѣ велись разговоры, а дѣти оставались такими-же, какъ и прежде.

Сознавая уродливость того воспитанія и направленія, которыя были мнѣ даны въ дѣтствѣ, я рѣшился вырвать изъ тины хоть одного изъ моихъ братьевъ, котораго и взялъ къ себѣ. Я посвящалъ ему часть моего свободнаго времени и занимался съ нимъ въ качествѣ домашняго учителя. Мальчикъ былъ тихій, сосредоточенный, нѣсколько угрюмый.

Онъ понятливо и довольно прилежно занимался. Я радовался его успѣхамъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, его пасмурное и грустное лицо меня огорчало. Я часто его допрашивалъ о причинѣ грусти. Онъ большею частью отмалчивался или увѣрялъ въ противномъ.

— Бѣдный мальчикъ! сказала я однажды женѣ, указывая глазами на брата, стоявшаго вдали отъ насъ, у окна.

— А что? спросила меня жена торопливо, какъ-будто испугавшись чего-то, и покраснѣвъ до ушей.

— Вѣчно убитъ, грустный такой. Скучаетъ, видно, по матери.

— За чѣмъ-же остановка? Отправь его.

— А его занятія?

— Ты вездѣ суешь свой носъ, встати и не встати. Что тебѣ за дѣло до чужихъ дѣтей?

— Онъ не чужой.

— Чего добраго еще заболѣеть... Умреть, а на меня поклепъ будетъ.

— Съ какой стати на тебя?

— Скажутъ, что я его замучила, пояснила моя собесѣдница, опустивъ глаза и пуще прежняго покраснѣвъ. Въ мое сердце закрадось подозрѣніе, и оно было не напрасно.

Впослѣдствіи я узналъ, что мой несчастный братъ третируется въ моемъ домѣ, какъ поджидышъ, что съ нимъ обращаются какъ съ паріей. Я поторопился избавить его отъ пытки и отправилъ къ родителямъ.

Въ такомъ незавидномъ положеніи была моя экономическая, служебная и семейная жизнь, когда непостоянное колесо фортуны толкнуло меня въ другую сторону.

Оканчивался одинъ откупной терминъ и наступалъ другой, когда на откупномъ горизонтѣ появилось новое, хотя еще не крупное, созвѣздіе. Это были *отецъ и сынъ*, имена которыхъ въ первый разъ были занесены въ анналы откупной хроники.

Въ подробности исторіи отца и сына, выступившихъ на откупную арену, я пускаться не намѣренъ. Довольно будетъ сказать, что личности эти принадлежали къ невысокой сферѣ, къ бѣдному классу людей. Они долгое время состояли въ числѣ откупныхъ

служакъ, на дешевой жалованьѣ. Случай далъ имъ небольшіе залоги и нѣкоторыя средства. Они рискнули снять съ торговъ маленькій откупишко, который, благодаря именно своей миниатюрности, угрожалъ подорвать сосѣдній гигантскій откупъ, забравшись къ нему, какъ комаръ въ ухо льва. Гигантъ струсилъ и дорого заплатилъ за свое спокойствіе. Заручившись крупнымъ кушемъ и подстрекаемые первою блестящею удачею, отецъ и сынъ ринулись на откупное поприще очертя голову. Имъ повезло.

Они сняли много откуповъ на западѣ и югѣ. Фирма ихъ была общая. Нѣкоторыми откупами распорядился молодой, а нѣкоторыми старикъ. Къ послѣднему попалъ въ управляющіе мой старый другъ Рановъ, а по его протекціи былъ выписанъ туда въ бухгалтеры и я.

При первомъ свиданіи Рановъ озадачилъ меня.

— Я выписалъ тебя. Старикъ благоволитъ нѣсколько ко мнѣ и отчасти вѣрить моей рекомендаціи. Но дѣло далеко еще не кончено.

— Какъ такъ?

— Я не могу еще утвердительно опредѣлить, принять-ли ты или нѣтъ. Дѣло въ томъ, что старикъ престранный человѣкъ. Онъ почти безграмотенъ. Онъ служащихъ оцѣниваетъ не по ихъ служебнымъ достоинствамъ, а по ихъ физіономіи и рѣчи. Необходимо ему лично понравиться. И этого еще мало: нужно понравиться его молодой, длинноносой супругѣ, но и этого недовольно: нужно понравиться и его фавориту-кучеру. Отъ послѣдняго зависить все.

Я оторопѣлъ отъ подобныхъ курьезныхъ обстоятельствъ.

— Ты не пугайся однакожь: понравиться имъ не такъ трудно. Я изучилъ этотъ триумвиратъ, узналъ ихъ слабости. Я помогу тебѣ совѣтомъ и, надѣюсь, все уладится къ лучшему.

Въ эту минуту открылась дверь и на порогѣ явился человѣкъ въ нахлобученной шапкѣ, съ краснобагровою, пьяною рожей, въ синей поддевкѣ, съ коротенькой, дымящейся трубкою въ зубахъ. Не снимая шапки, онъ лѣниво вынулъ чубучекъ изъ рта, чиркнулъ въ сторону полнымъ плевкомъ и грубо-повелительно обратился къ Ранову:

— Идите. Баринъ требуетъ. Сію минуту.

Рановъ какъ-будто и не замѣтилъ грубости человѣка, звавшаго его.

— Иду, Сенька, иду. А вотъ, посмотри, Сенька! Это нашъ новый бухгалтеръ, представилъ меня Рановъ.

Я догадался, что это самъ фатальный кучеръ. Я съ любопытствомъ посмотрѣлъ на него.

Кучеръ окинулъ меня бѣглымъ взглядомъ съ головы до ногъ и вперилъ въ меня такой дерзко-наглый взоръ, что я покраснѣлъ отъ злости и опустилъ глаза.

— Изъ далеча прикатилъ? спросилъ Сенька Ранова, небрежно указавъ на меня пальцемъ.

Чиркнувъ въ другой разъ, онъ вышелъ, переваливаясь, вмѣстѣ съ Рановымъ.

Я забѣгалъ по комнатѣ въ ожиданіи возвращенія Ранова. Скверныя, унижительныя думы поднимались въ головѣ.

Черезъ нѣсколько минутъ пришелъ Рановъ, улыбающійся насмѣшливо.

— Ты, право, счастливецъ! въ галошахъ, видно, родился.

— А что?

— Представь, пресловутый фیزیономистъ Сенька съ перваго раза одобрилъ тебя, каково?

Рановъ повелъ меня къ старику.

— Ты съ старикомъ держись вѣжливо, но совершенно свободно. Онъ нѣсколько побаивается смѣльчаковъ и оцѣниваетъ ихъ высшей нормой. Онъ болтливъ, любитъ общество, хлѣбосолюбно принимаетъ и обращается за-просто, безъ величавыхъ откупщичьихъ замашекъ. Но если онъ кого-нибудь не возлюбитъ, то дѣлается неукротимъ и страшенъ.

Съ трепетомъ сердечнымъ переступилъ я порогъ пріемной старика. Онъ полулежалъ на мягкой софѣ. Я поклонился ему. Онъ ласково подозвалъ меня, подалъ руку и усадилъ.

Мой новый принципалъ былъ человекъ лѣтъ шестидесяти, замѣчательной красоты. Его прекрасное лицо, обрамленное бѣлою какъ снѣгъ бородою, черная бархатная феска съ громадною кистью, широкій бѣлый воротъ рубахи, черный шелковый халатъ, ниспадавшій широкими, тяжелыми складками, изящныя туфли, вышитыя золотомъ, на красивой, стройной ногѣ, придавали старику видъ патріарха. Только одно вредило полному эффекту: яркій румянецъ во всю щеку, красныя, чувственныя губы и масляные, хотя и красивые глаза, съ перваго взгляда обнаруживали бонвивана. Впрочемъ, послѣднее обстоятельство ему нисколько не мѣшало быть похожимъ на любого непогрѣшимаго папу.

Онъ долго разспрашивалъ меня, гдѣ я служилъ, кто мои родители. Узнавъ, что я по происхожденію принадлежу къ раввинскому роду, къ теократической еврейской аристократіи, онъ казался очень

довольнымъ. Рановъ присутствовалъ тутъ-же. По пріятной улыбкѣ, несходившей съ его умнаго лица, я догадывался, что онъ моимъ отвѣтамъ и манерою держаться совершенно доволенъ. Въ заключеніе старикъ обрадовалъ меня.

— Ты, молодой человѣкъ, можешь считать себя почти принятымъ на службу. Я говорю *почти* потому, что желаю тебя испытать прежде. Рановъ! поручите ему сочинить то прошеніе, о которомъ мы вчера трактовали. Увидимъ, каковъ онъ.

Я откланялся и направился въ переднюю, какъ вдругъ распахнулась боковая дверь и зашуршало шелковое платье. Я оглянулся. Шелковое платье игриво подбѣжало къ старику, обхватило его красивую шею и напечатлѣло нѣсколько звонкихъ поцѣлуевъ на его лоснящейся плѣши.

— Молодой человѣкъ! позвалъ меня старикъ. Я остановился.

— Дитя мое, обратился старикъ къ шелковому платью, — хочешь взглянуть на нашего новаго бухгалтера?

Платье повернулось ко мнѣ лифомъ. Въ этомъ роскошномъ платьѣ сидѣла молодая, худая женщина, а въ лифѣ — плоская, впалая грудь. Женщина была высокаго роста, стройная брюнетка съ черными, какъ смоль, косами, съ смугло-блѣднымъ цвѣтомъ лица, съ длиннымъ крючковатымъ носомъ, съ прекрасными зубами, съ парю черныхъ глазъ. Всѣ черты дышали хитростью, проницательствомъ, поддѣльною сладостью. По типу, это было лицо чистокровн^{ой} еврейки. Будь она красивѣе, свѣжѣе, роскошнѣе въ своихъ формахъ, художникъ не могъ-бы найти лучшей модели для Юдн^{ой}.

Я поклонился откупщицѣ. Она подозвала меня и ласково усадила.

— Имѣете-ли вы жену? спросила она меня съ какимъ-то теплымъ участіемъ.

Я отвѣчалъ утвердительно.

— Это очень похвально. Я ненавижу холостыхъ: это развратники, которымъ грѣшно предоставить кусокъ хлѣба! произнесла откупщица съ какимъ-то ханжествомъ. — А дѣтей имѣете?

— Имѣю.

— И много? спросила она, кокетливо посмотрѣвъ на меня.

— Нѣсколькихъ... отвѣтилъ я, конфузясь.

— Нѣтъ, сколько именно? продолжала она любопытствовать, наслаждаясь, повидимому, моимъ замѣшательствомъ.

Я удовлетворилъ ея любопытству. Она умильно посмотрѣла на меня, перенесла грустный, задумчивый взоръ на старика и глубоко вздохнула.

Бѣдняжка! Ей, утопающей въ довольствѣ и роскоши, жаждущей прибрать къ рукамъ достояніе стараго мужа послѣ его смерти, Господь не дастъ наслѣдника, а бѣдняки какіе-нибудь одарены цѣлой массой этого дешеваго добра!

Я вторично началъ откланиваться.

— Вы хорошій музыкантъ?

— О, совсѣмъ нѣтъ, отперся я, предчувствуя бѣду.

— Не вѣрьте ему, вмѣшался Рановъ.

— Вы, конечно, у насъ часто играть будете, рѣшила за меня откупщица.

— Вы, молодой человѣкъ, приходите къ намъ посидѣть, отобѣдать, чаю выпить, когда вздумаете, безъ церемоній. Я у себя дома не откупщикъ, а радушный хозяинъ, ласково пригласилъ меня старикъ на прощаніи, потрепавъ по плечу.

— Въ первый разъ встрѣчаю я такого простого, негордаго откупщика, удивился я, когда остался съ Рановымъ наединѣ.

— Пальца въ ротъ однакожь не клади: неровень часъ — уку-
сить.

— Какое прошеніе долженъ я сочинить? спросилъ я, вспомнивъ о предстоящемъ испытаніи.

— Къ предсѣдателю казенной палаты. Пустяки какіе-то. Возьми готовое: я уже самъ написалъ; перечерни собственною рукою и прочитай старику. Имѣй только въ виду одно, что черезъ каждыя нѣсколько строкъ необходимо влѣпить, кстати и некстати, титулъ превосходительства. Старику надобно читать трогательнымъ, подобо-
бострастнымъ голосомъ.

— Ну, врядъ-ли я буду на это способенъ.

— Это нетрудно. Вотъ такъ!

Рановъ досталъ исписанный сѣрый листъ бумаги, сталъ въ просительную позу, скорчилъ кислую фізіономію и началъ читать меланхолическимъ голосомъ:

„Небезызвѣстно *Вашему Превосходительству*, что, обращаясь неоднократно къ *Вашему Превосходительству* съ покорнѣйшими просьбами объ оказаніи *Вашимъ Превосходительствомъ* начальничьяго покровительства, откупъ имѣетъ въ виду“ и т. д.

— Неужели вы, въ самомъ дѣлѣ, сочинили это прошеніе? спросилъ я Ранова.

— Помилуй Богъ! я только учу тебя читать вслухъ. Старикъ по числу *превосходительствъ* судить объ убѣдительности или неу-
убѣдительности прошеній. Это, какъ видишь, не маловажное обстоятельство для удачности экзамена.

Я блистательно выдержалъ экзамень.

— Очень хорошо, очень хорошо, одобрилъ старикъ. — Теперь переписи ты эту бумагу, да покажи мнѣ; я хочу посмотреть, красиво-ли ты пишешь.

Я переписалъ на гербовой. Моимъ почеркомъ остались довольны.

— Ну, теперь отнеси ты эту бумагу его превосходительству, вручи и приди передать мнѣ отвѣтъ.

— Ну, что? спросилъ старикъ, когда я исполнилъ послѣднее порученіе.

— Отдалъ.

— Что сказали?

— Постараются сдѣлать все для васъ.

— Для меня? они такъ и сказали?

— Да. Велѣли вамъ кланяться.

— Неужели велѣли?

— Велѣли.

— Какъ-же это было? Расскажи съ самаго начала.

— Я передалъ бумагу...

— Нѣтъ. Какъ было съ начала?

— Я пришелъ.

— Ну?

— Велѣлъ доложить. Меня приняли. Я поклонился. Предсѣдатель спрашиваетъ, что угодно.

— А ты ему что?

— „Г. откупщикъ поручилъ мнѣ поднести вашему превосходительству сіе покорнѣйшее прошеніе“. Они приняли и со вниманіемъ прочли.

— Со вниманіемъ, говоришь ты?

— Съ большимъ вниманіемъ. Затѣмъ поручили вамъ кланяться и сказать, что они сообразятъ и сдѣлаютъ для васъ все возможное.

— И больше ничего?

— Я поклонился, поблагодарилъ отъ вашего имени и вышелъ.

— Благодарю, ты расторопный малый.

Я сдѣлалъ шагъ къ двери.

— Постой, удержалъ меня старикъ. — Его превосходительство, г. предсѣдатель казенной палаты, кажется, попечитель дѣтскаго пріюта?

— Да, кажется.

— Скажи Ранову, чтобы онъ имъ отвезъ, отъ моего имени, сію минуту пятьсотъ рублей на пріютъ. Такимъ начальствомъ дорожить надобно.

Я былъ утвержденъ въ должности. Но положенное жалованье далеко не соотвѣтствовало ни громкому служебному титулу, ни громадному головоломному труду. Кучеръ Сенька, одобряя меня, сказалъ однажды между прочимъ: „Нашъ новый бухгалтеръ молодецъ; жаль только, что сухотка. Ну, да это что: откормимъ“. Любопытно было-бы посмотрѣть, какъ Сенька кучеръ умудрился-бы *откармливать* меня такимъ жалованьемъ, которымъ едва можно было *прокормиться*. Кромѣ горя отъ *прокормленія*, я страдалъ и отъ интригъ, и отъ зависти. У старика былъ достойный фактотумъ, полуграмотный жидокъ. Не знаю почему, но эта личность тоже считалась гениальнымъ бухгалтеромъ. Легко представить, какую пѣсню запѣлъ фактотумъ при видѣ уничтоженія всѣхъ порядковъ, введенныхъ имъ до меня. Начались интриги, доносы, ибеды, подстрекательства канцелярскихъ къ неповиновенію, но въ концѣ концовъ я одолѣлъ и остался побѣдителемъ.

Одно, чего я переварить не могъ,—это безцеремонной ласковости старика и радушія его молодой супруги. На-сколько казалась пріятна простота обращенія откупщика сначала, на-столько я началъ ея бояться впослѣдствіи, когда нѣсколько ближе присмотрѣлся къ моему принципалу. Онъ, казалось, жить не могъ безъ фаворитовъ, но былъ такъ капризенъ и непостояненъ, что фавориты недолго могли удерживаться на этой лестной почвѣ. Переходъ отъ крайняго расположенія къ смертельной ненависти былъ вещь самой обыкновенной у старика. И горе тому любимцу, который попадалъ въ немилость: патронъ въ своемъ преслѣдованіи и гнѣбѣ не зналъ границъ. Только два-три отъявленныхъ негодя пользовались неизмѣннымъ его расположеніемъ. Они такъ ловко ползали и подличали, такъ совершенно изучили безхарактерность и слабости своего властелина, такъ искусно умѣли льстить молодой откупщицѣ, что ихъ лакейская позиція была навсегда упрочена. Я гнушался лакействомъ и шпионствомъ, а потому трепеталъ при одной мысли попасть въ число мимолетныхъ фаворитовъ.

Понятно послѣ этого, что чувствовалъ я при видѣ особенной ласки старика ко мнѣ. Я сталъ избѣгать его обѣдовъ, его вечеринокъ, его общества, подъ сотнею предлоговъ, не обращая вниманія на его лестные упреки. Единственно этой разумной осторожности я обязанъ былъ тѣмъ, что выслужилъ благополучно около года. Отъ молодой откупщицы я страдалъ не мало. Она, къ крайнему моему несчастію, страстно любила музыку вообще и визгливые звуки скрипки въ особенности. Я обязанъ былъ являться иногда по вечерамъ, когда ей вздумается, со скрипкою подъ мыш-

кой, какъ бродячій музыкантъ, чтобы улаждать слухъ кабачной королевы. Любила она исключительно плачевныя національныя еврейскія мелодіи, со вздохами, руладами и дикими взвизгами. Я долженъ былъ по заказу вдохновляться, и вдохновеніе это должно было длиться до тѣхъ поръ, пока слушательницѣ не надоѣстъ. Изрѣдка присутствовалъ на этихъ концертахъ и старикъ, покоясь на колѣняхъ своей подруги. Невыразимое отвращеніе къ самому себѣ чувствовалъ я въ подобныя минуты. Унижая свою скрипку въ *Лондонѣ*, кабакъ моей тещи, я, по крайней мѣрѣ, помогать этимъ семьѣ; тутъ-же я разыгрывалъ роль фигляра, роль нищаго, вертающаго ненавистную шарманку изъ-за случайнаго, копеечнаго подаянія.

Я даже собирался бросить службу и поискать чего-нибудь по-лучше, какъ къ тому времени пріѣхалъ сынъ и компаньонъ старика погостить нѣсколько дней у отца. Между отцомъ и сыномъ изъ-за молодой мачихи существовали натянутыя отношенія. Молодой откупщикъ пользовался славой отличнаго дѣльца, понимающаго откупное дѣло во всѣхъ его изгибахъ, человека, прошедшаго огонь и воду. Ожидалась строгая ревизія. Неудивительно, что она наполнила многія сердца страхомъ и надеждою. Я былъ въ числѣ надѣющихся. Если онъ на самомъ дѣлѣ такой опытный дѣлецъ—думалъ я—то онъ оцѣнитъ и мои порядки, и мое искусство; а тамъ...

Никогда не забуду той минуты, когда я представился пріѣзжему молодому принципалу. Сердце замирало отъ разнородныхъ чувствъ; лицо, которому я былъ представленъ и которое я съ настоящей минуты буду называть просто *сыномъ*, былъ бржнеть, лѣтъ тридцати-пяти, средняго роста, стройный, замѣчательно хорошо сложенный. Красивое лицо его имѣло нѣсколько надменное, жесткое выраженіе, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, каждая черта этого лица дышала необыкновеннымъ умомъ, рѣшительностью и энергіей. Лицо это было-бы несравненно красивѣе и изящнѣе, если-бы его не портили холодные, нѣсколько болѣзненные глаза, черные какъ смоль, но прилизанные волосы, подстриженные по-русски, въ скобку, окладистая купеческая борода и слишкомъ румяный цвѣтъ лица. Болѣе всего непріятно видалась въ глаза серебряная серьга въ ухѣ, которая, вмѣстѣ съ длиннополымъ суконнымъ сюртукомъ, придавала ему видъ зажиточнаго, простаго русскаго кучины.

Отецъ представилъ меня сыну въ довольно лестныхъ выраженіяхъ.

— Вы, сколько мнѣ извѣстно, ввели новую методу бухгалтеріи? спросилъ меня какимъ-то строгимъ, металлическимъ голосомъ сынъ.

Я молча поклонился.

— Обревизую и отчетную часть. Приготовьтесь къ завтрашнему утру. Если останусь доволенъ... Впрочемъ, увидимъ, сказалъ мнѣ сынъ въ замѣчаніе.

Я цѣлую ночь провозился съ моей канцеляріей. А сердце такъ и трепетало отъ сладкой надежды. Самоувѣренность моя была не напрасна: сына поразили порядокъ, цѣлой дюжины книгъ, письменныхъ, бухгалтерскихъ дѣлъ и переписокъ. Особенно изумился онъ незнакомой ему системѣ, различными ключами которой справки, повѣрки и контроль совершаются быстро и точно. Онъ сосредоточенно ревизовалъ, спрашивалъ, требовалъ объясненія того, что ему было непонятно. Я видѣлъ улыбку удовольствія на его замѣчательно умномъ лицѣ, но этого удовольствія онъ ничѣмъ болѣе существеннымъ не выражалъ.

Окончивъ ревизію, онъ ушелъ, не сказавши ни слова.

Я волновался цѣлый день. Тысячи предположеній, надеждъ и сомнѣній толпились въ моей головѣ. Воображеніе поднимало меня на какой-то пьедесталъ богатства... Я увлекался и строилъ воздушные замки, которые въ мигъ лопались, какъ мыльные пузыри, и съ быстротою мысли воздвигались вновь.

Я въ тотъ день былъ въ такомъ напряженномъ состояніи, что совершенно лишился аппетита.

— Что съ тобою? Почему ты не обѣдаешь? спросила жена своимъ брюзгливо-повелительнымъ голосомъ, когда я отказался отъ обѣда.

— Не чувствую голода.

— Это что за новости еще? Перехватилъ, конечно, гдѣ-нибудь, у милыхъ друзей, и брезгаешь своимъ обѣдомъ. Тутъ голодаешь цѣлый день и ждешь голубчика, а онъ по гостямъ рассказываетъ.

— Оставь, прошу тебя. Я въ гостяхъ не былъ и росинки во рту не имѣлъ. Я въ тревожномъ состояніи послѣ ревизіи... Потерялъ аппетитъ.

— А что? скверно кончилось?

— Напротивъ, хорошо. Я жду переменъ къ лучшему: прибавки жалованья, награды или повышенія.

— Справишь мнѣ лисью шубу, когда дадутъ награду? справишь, Сруликъ, а? лстиво спросила жена.

— Лисью шубу! Рубахъ не пѣть, стула порядочнаго въ домѣ нѣтъ, а она о лисьихъ шубахъ хлопочетъ, упрекнулъ я жену.

— Рубашку я никому не показываю: не осудать, а шубу...

Продолженію разговора помѣшали. Меня потребовали къ сыну.

Сынъ, въ шелковомъ халатѣ, въ бархатной фескѣ, утопалъ въ мягкомъ креслѣ. На мой поклонъ едва отвѣтилъ, сѣсть меня не пригласилъ. Онъ въ упоръ посмотрѣлъ мнѣ въ глаза. Я сконфузился.

— Ну-съ, что скажете? (сынъ никому почти не говорилъ „ты“, — это была рѣдкая черта вѣжливости между откупщиками тогдашняго времени).

— Вы изволили меня требовать, робко отвѣтилъ я, конфузясь еще больше.

— Ахъ, да, я и забылъ... Я хотѣлъ вамъ сказать, что я доволенъ вами.

Я поклонился въ знакъ благодарности.

— Я васъ перевожу въ мою главную контору въ ..., произнесъ онъ безапелляціонно.

Я молчалъ.

— Что? вы недовольны?

— Я, право, не знаю... Это зависитъ...

— Итакъ, приготовьтесь сдать дѣла, прервалъ онъ повелительно и отпустилъ меня.

Съ скрежетомъ зубовымъ припелся я домой, чувствуя всю унижительность обращенія со мною.

— Ну, что моя лисья шуба? милостиво спросила жена, выбѣжавъ на встрѣчу.

— Пока шуба твоя еще поконтится на живыхъ лисицахъ, отвѣтилъ я рѣзко, и въ продолженіи вечера не сказалъ больше ни слова.

Меня перевели въ ..., почти не спросясь моего согласія и не установивъ прочныхъ условій. Сынъ далъ мнѣ звучный титулъ „главнаго“, но за то возложилъ на мои плечи каторжный трудъ.

Въ прахъ разлетѣлись мои надежды. Въ первый-же день моего пріѣзда на мѣсто новаго назначенія я почувствовалъ болѣе, чѣмъ когда либо, унижительность моего положенія. Цѣлые часы простоялъ я въ передней откупщикаго уполномоченнаго Дорненцверга, пока доложили, пока меня приняли. Со мною обращались не какъ съ человѣкомъ, въ познаніяхъ и трудахъ котораго нуждаются, а какъ съ нищимъ, котораго собираются одарить, какъ съ вольношатающимся лакеемъ, котораго можно поднять на любой улицѣ.

— Вы новый бухгалтеръ? спросилъ Дорненцвергъ, нагло измѣривъ меня глазами съ головы до ногъ.

— Да.

— Вы увлекаетесь какими-то новыми методами, слышалъ я?

— Метода не новая; я ее примѣняю только...

— Я никакихъ нововведеній не допускаю. Я самъ счетную часть понимаю и, безъ сомнѣнїя, не меньше вашего. Вы будете придерживаться моей методы, а не вашей.

— Я не знаю...

— Такъ знайте же. Идите въ контору и примите дѣла.

Я заѣхалъ за тысячи верстъ, въ карманѣ было всего нѣсколько монетъ,—могъ-ли я не повиноваться?

Главная контора помѣщалась въ какомъ-то смирномъ, нижнемъ сводчатомъ этажѣ, похожемъ скорѣе на тюрьму, чѣмъ на человеческое жилье. Контора эта, особенно когда бушевалъ въ ней свирѣпый Дорненцвергъ (а это случалось нѣсколько разъ въ день), напоминала собою царство Плутона, въ которомъ, угрюмыя, блѣдныя, истощенныя лица служащихъ, сидѣвшихъ согнувшись въ три погибели, съ перьями въ рукахъ, не выражали ничего, кромѣ апатїи и загнанности. Эти несчастные обитатели подземнаго царства были скорѣе похожи на застывшія тѣни грѣшниковъ, чѣмъ на живыя существа.

При появленїи свѣжаго человѣка нѣкоторые изъ тѣней какъ-бы оживились, вяло поднялись съ мѣстъ и обступили меня. Я имъ отрекомендовался.

— Господа, укажите мнѣ бухгалтера, попросилъ я.

— Какого? у насъ тутъ цѣлыхъ три.

Мнѣ указали бухгалтеровъ.

— Мнѣ приказано принять счетныя дѣла, сказалъ я.

— Ради Бога, принимайте эту мерзость хоть сію минуту, сказалъ одинъ изъ бухгалтеровъ съ просїявшимъ лицомъ.

— Господа, прошу васъ не смотрѣть на меня, какъ на человѣка, сознательно лишающаго кого-нибудь куска хлѣба. Я вѣдь не зналъ, что мнѣ придется кого-нибудь смѣстить. Я полагалъ найти вакантное мѣсто...

— Да вы не безпокойтесь, отвѣтили мнѣ искренно. — Мы смотримъ на васъ, какъ на нашего спасителя.

Я недоумѣло посмотрѣлъ на отвѣтнвшаго.

— Да, здѣсь не служба, а адъ; тутъ людей тиранятъ и пытаютъ.

— У насъ управляющій не человѣкъ, а палачъ.

Меня приняли радушно, съ тѣмъ натуральнымъ сочувствіемъ, съ которымъ обжившіеся въ неволѣ арестанты встрѣчаютъ новичка.

Не знаю почему, но я въ своихъ новыхъ сослуживцахъ возбудилъ сразу довѣріе и откровенность. Меня на первыхъ-же порахъ познакомили съ законами подземнаго царства и съ характеромъ откупничьяго фактотума Дорненцверга. Я слышался такихъ ужасовъ, какіе мнѣ никогда и не воображался. Увлечшись бесѣдою, я безсознательно досталъ папиросу изъ кармана и попросилъ огня. Меня схватили за руку и испуганно спросили:

— Что вы дѣлаете?

— Курить хочу.

Мнѣ указали на объявленіе, приклеенное на стѣнѣ, на видномъ мѣстѣ. Объявленіе это вершковыми буквами гласило: „куреніе, книгочтеніе и разговоры строго воспрещаются“.

Наступали сумерки. На дворѣ стояла сѣрая осень. Въ подземельѣ было холодно, сыро и мрачно, какъ въ могилѣ. Я пригласилъ новыхъ знакомыхъ въ чайную, отогрѣться чаемъ. Только два-три смѣльчака последовали за мною.

Едва успѣли мы пропустить въ горло нѣсколько глотковъ горячаго чая, какъ вбѣжалъ запыхавшійся нижній откупной чинъ.

— Вы Бога не боитесь. Какъ смѣли вы оставить контору не въ урочный часъ? Бѣгите скорѣе, Дорненцвергъ такое творить, что Боже упаси.

Мои сослуживцы стремглавъ бросились вонъ. Я удержалъ на минуту посланца.

— Что тамъ такое дѣлается?

— Нашъ извергъ способенъ выгнать ихъ со службы за несвоевременную отлучку.

— Когда-же у васъ можно отлучаться?

— Когда Дорненцвергъ позволитъ. Мы не смѣемъ уходить изъ конторы, пока онъ не пришлетъ сказать, что можно идти. Иногда онъ забудетъ и мы просиживаемъ далеко за полночь. Рѣшаемся-же уйти только тогда, когда онъ уже давно спитъ.

— Неужели вы въ такой постоянной неволѣ?

— Именно въ неволѣ. Бываетъ иногда посвободнѣе, улыбнулся мой болтливый собесѣдникъ.

— Когда-же это бываетъ?

— Когда запахнетъ сырымъ, человѣческимъ мясомъ.

— Что?

— Вотъ видите. Дорненцвергъ страдаетъ фистулою въ боку.

Когда онъ слишкомъ уже разсвирѣпѣеть, фистула и разгуляется. Тогда доктора укладываютъ его на нѣсколько дней въ постель и выжигаютъ болячку раскаленнымъ желѣзомъ.

Я захохоталъ.

— Вы смѣетесь, а я въ серьезъ говорю. Для насъ нѣтъ лучшаго праздника, какъ тогда, когда его жарятъ живьемъ.

Невыразимую грусть навѣяла на меня болтовня нижняго чина. Въ первый разъ въ жизни я потребовалъ рому къ чаю. По мѣрѣ того, какъ разгорячалась моя кровь, подъ вліяніемъ опьяняющаго напитка, мое придушенное человѣческое достоинство поднимало голову. Я поклялся не потворствовать Дорненцвергу, а имѣть собственную волю, хоть-бы мнѣ, чрезъ это пришлось лишиться мѣста. Я отправился на квартиру, не завернувъ въ контору, сдѣлавшуюся мнѣ ненавистною съ перваго дня.

Только-что собрался я лечь спать, какъ тотъ-же нижній чинъ прибѣжалъ ко мнѣ.

— Идите сію минуту. Дорненцвергъ васъ требуетъ.

— Скажите вашему Дорненцвергу, что я усталъ съ дороги, спать хочу.

— Что вы затѣваете? идите, пожалуйста.

— Убирайтесь, я не пойду.

Нижній чинъ вытаращилъ глаза, развелъ руками и вышелъ молча.

Проснувшись на другое утро, я удивился перемѣнѣ, совершившейся во мнѣ. Моя рѣшимость, зародившаяся подъ вліяніемъ рома, осталась непоколебимою. Я ничего знать не хотѣлъ. „Будь что будетъ, а я не поддамся!“ сказалъ я себѣ и отправился къ управляющему.

Дорненцвергъ вставалъ съ зарею и, съ самаго ранняго утра, начиналъ мучить подчиненныхъ. Онъ по цѣлымъ часамъ заставлялъ людей работать безъ пользы, толочь воду, переливать изъ пустого въ порожнее, лишь-бы лишить ихъ свободы и отдыха. Это былъ мучитель по природѣ, по инстинкту.

Я засталъ его въ щегольскомъ кабинетѣ, у письменнаго стола, что-то пишущимъ. У дверей слонялись какіе-то пріѣзжіе служащіе, съ робкими, заспанными физіономіями.

Я поклонился; поклонъ остался незамѣченнымъ. Я стоялъ добрый часъ на ногахъ. Дорненцвергъ обращался къ другимъ, а меня какъ-будто и не видѣлъ. Тутъ только, въ первый разъ, я имѣлъ достаточно времени всмотрѣться въ наружность этого свирѣпаго чловека.

Это была мужчина замѣчательной красоты, низенькаго роста, но хорошо сложенный, съ блѣднымъ, матовымъ цвѣтомъ лица, съ окладистой черной бородой. Въ складѣ его лица было что-то напоминающее итальянскій типъ. Когда Дорненцвергъ молчалъ, опустивъ глаза, то его лицо можно было принять за обликъ добраго, простодушнаго человѣка, но когда онъ открывалъ глаза и обращалъ ихъ на кого-нибудь, то чувствовался сразу какой-то токъ ядовитости и свирѣпой злости, неудержимо проникавшій въ сердце того, на кого глаза эти были устремлены. Его странно звучавшій голосъ, особенно его смѣхъ, напоминали рѣзкій хохотъ тигра при видѣ неизбежной добычи.

Чѣмъ больше я всматривался въ это лицо, чѣмъ больше я вникалъ въ затаенный смыслъ этихъ красивыхъ чертъ, тѣмъ больше я проникался ненавистью къ нему. Рѣшимость моя возросла до того, что я, наскучивъ стоять и переминаться на ногахъ, осмѣлдился опуститься на стулъ, не дожидаясь приглашенія.

Я замѣтилъ, какъ Дорненцвергъ вздрогнулъ въ ту минуту, когда я нарушилъ строгую кабацкую дисциплину, но онъ все-таки смолчалъ. Было ясно, что онъ оторопѣлъ отъ моей неожиданной дерзости и въ первую минуту не нашелся.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ внезапно всталъ, повернулся ко мнѣ всѣмъ фасомъ и строго, презрительно спросилъ:

— Что вамъ угодно?

Я, въ свою очередь, всталъ.

— Вы изволили меня требовать вчера.

— А вы изволили уже выпастъ съ дороги?

— Благодарю васъ за вниманіе.

— Ступайте. Вы мнѣ не нужны.

Съ довольною улыбкою на лицѣ я вышелъ. Въ конторѣ суетились, приготовляя дѣла къ сдачѣ мнѣ. Дѣлать было пока нечего. Я отправился на квартиру, досталъ изъ моего запаса книгъ одну, пришелъ обратно въ контору и сѣлъ читать, закуривъ при этомъ папиросу. На меня посмотрѣли какъ на революціонера, какъ на отчаяннаго человѣка, и старались держаться отъ меня подалеже. Черезъ нѣсколько минутъ Дорненцвергъ накрылъ меня надъ книгою и съ папиросою въ зубахъ.

— Это еще что? крикнулъ онъ мнѣ, позеленѣвъ отъ ярости, какъ ящерица.

— Приготовляютъ дѣла къ сдачѣ, — мнѣ дѣлать нечего, отвѣтилъ я съ наружнымъ хладнокровіемъ.

— Такъ вы мою контору въ читальню и курильню превратили?
Я пожалъ плечами.

— Лучше-же что-нибудь дѣлать, чѣмъ ничего, оправдался я
спокойнымъ голосомъ.

Дорненцвергъ, взбѣшенный, съ пѣною у рта, убѣжалъ въ кабинетъ. Я продолжалъ читать и курить. Черезъ часъ Дорненцвергъ, чтобы не встрѣтиться со мною, вышелъ изъ конторы другимъ ходомъ. Я выдержалъ характеръ.

Никогда я не забуду того удивленія, чуть не благоговѣнія, съ которыми подступили ко мнѣ забытые мои сослуживцы. Мнѣ пожимали руки, меня осыпали комплиментами, на меня смотрѣли, какъ на откупного Гарибальди. Я самъ былъ доволенъ собою.

Съ перваго-же дня Дорненцвергъ и я возненавидѣли другъ друга. Онъ былъ силенъ своимъ близкимъ родствомъ съ откупщикомъ, своимъ богатствомъ, а я былъ силенъ своимъ знаніемъ, которымъ мой новый принципаль дорожилъ и которое онъ, повидимому, высоко цѣнилъ.

Дорненцвергъ вставлялъ на меня окончаніе всѣхъ старыхъ дѣлъ и отчетовъ, но при этомъ не далъ мнѣ въ помощь ни одного писца, даже не отвелъ мѣста для занятій. Я, при головокружной и запутанной работѣ, продолжавшейся нерѣдко шестнадцать часовъ въ сутки, не имѣлъ ни отдѣльной комнаты, ни стула. Стоя на ногахъ у низкой конторки, въ темномъ углу мрачной конуры, оглашавшейся говоромъ и шумомъ суетящагося люда, я долженъ былъ ежеминутно нагибаться до пола и поднимать десятки тяжелыхъ, безграмотныхъ, бессмысленныхъ книгъ, составлявшихъ основу моей египетской работы.

Я безропотно переносилъ все въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, пока привелъ въ порядокъ дѣла. Затѣмъ, почувствовавъ свое значеніе и полезность, я явился къ откупщику и смѣлѣе обыкновеннаго заговорилъ.

— Прошу васъ сказать мнѣ прямо, довольны-ли вы мною? спросилъ я:—ожидаете-ли вы пользы отъ моего труда?

— Вы просьбу какую-нибудь имѣете ко мнѣ? спросилъ, въ свою очередь, принципаль уклончиво-ласково.

— Вы угадали.

— Если вы хотите хлопотать о прибавкѣ жалованья, то знайте, что хотя вы и свѣдущи въ своемъ дѣлѣ, но еще ничего такого не сдѣлали, чтобы имѣть право...

— Я прибавки просить не намѣренъ.

— Въ такомъ случаѣ... да, я вами очень доволенъ, польстилъ меня откупщикъ.

— Если такъ, то избавьте меня отъ вліянія Дорненцверга; я его обращенія переносить не могу. Я знаю, моя просьба слишкомъ смѣла. Если она не можетъ быть удовлетворена, то прикажите уволить меня.

Къ удивленію, смѣлость моя понравилась. Откупщикъ разспросилъ меня въ чемъ дѣло, я ему откровенно рассказалъ все.

— Я переговорю съ Дорненцвергомъ. Пришлите его сюда.

Между откупщикомъ и его уполномоченнымъ произошла бурная сцена. Возвратившись чрезъ часъ къ себѣ, Дорненцвергъ былъ блѣднѣе обыкновеннаго, губы его были покрыты синевою, голосъ дрожалъ отъ кипѣвшей въ груди ярости. Онъ ядовито посмотрѣлъ на меня, но ничего не сказалъ.

На другое утро сбѣжались всѣ эскулапы города къ заболѣвшему извергу. Тотъ день былъ великимъ праздникомъ въ плутоновомъ царствѣ: запахло сырнымъ, человѣческимъ мясомъ...

Благодаря вниманію принципала, мнѣ дали и помощниковъ, и канцелярскихъ, отвели сносное помѣщеніе и не смѣли систематически мучить, какъ прежде. Я ввелъ человѣческіе порядки въ моему отдѣленію. Съ семи часовъ утра закипала работа; трудились, не разгибая спины, до трехъ часовъ пополудни; затѣмъ канцелярія запиралась и труженики распускались до другого дня. Возставалъ, протестовалъ Дорненцвергъ противъ моего неслыханнаго самоволія, но ему ничего не помогало.

Съ трехъ часовъ, за исключеніемъ экстренныхъ случаевъ, я былъ свободенъ и независимъ, въ то время, какъ другіе мои сослуживцы продолжали сидѣть по ночамъ, дожидаясь разрѣшенія Дорненцверга на отпущекъ домой. У меня оставалось много свободного времени, чтобы пользоваться жизнью. Прошу, однакожъ, не понимать этого выраженія въ его прямомъ смыслѣ. Жить, что называется, было не на что. Чтобы дожить длинный мѣсяцъ до конца, приходилось нерѣдко отправлять свою единственную полдюжину серебряныхъ ложекъ къ ростовщику на временное пребываніе. Считая чужія сотни тысячъ, я у себя не могъ насчитать запасныхъ копеекъ. Но все-таки я жилъ съ сознаниемъ нѣкоторой свободы, я не работалъ, какъ животное, для одного только корма. Въ это свободное время я много читалъ и работалъ для собственного саморазвитія. Я освоился съ нѣмецкимъ языкомъ, его беллетристической и популярно-научной литературой и утопалъ въ блаженствѣ, окунувшись въ этотъ живительный источникъ мысли. Я сошелся съ

старикомъ полякомъ, другомъ великаго Лепинскаго, посвятившимъ всю свою пеструю, романическую жизнь любви и музыкѣ. Онъ полюбилъ меня какъ родного и безвозмездно занялся моимъ музыкальнымъ образованіемъ.

Съ перваго дня службы у сына я сдѣлался почти общимъ другомъ моихъ многочисленныхъ сослуживцевъ. Во мнѣ признали характеръ, силу воли и степень образованія, которую бѣдные, забытые люди черезчуръ преувеличивали. Особенное удивленіе и изумленіе возбудилъ я къ себѣ, выйдя побѣдителемъ изъ неравной борьбы съ мнимымъ Голіаѳомъ, Дорненцвергомъ. Вокругъ меня сплотилась партія униженныхъ и оскорбленныхъ. Ко мнѣ прибѣгали за совѣтомъ. Я часто ходатайствовалъ у откупщика за другихъ и рѣдко получалъ отказъ. Часто, по вечерамъ, собирались ко мнѣ пріатели и, за чашкою блѣднаго чая или за горшкомъ варенаго картофеля, мы бесѣдовали далеко за полночь.

Горожане-еврей, считая меня еретикомъ и вольнодумцемъ, не менѣе того уважали. Я никому никогда не отказывалъ въ услугѣ, въ бесплатномъ написаніи прошенія по титулѣ и безъ титула, ходатайствовалъ въ полиціи (гдѣ имѣлъ нѣкоторое значеніе, благодаря откупу) за евреевъ, стѣсняемыхъ произволомъ мелкой власти. Еврейскіе купцы, имѣвшіе дѣла съ откупомъ, обращались ко мнѣ къ слезнымъ моленіямъ спасти ихъ отъ придирокъ и грабительскихъ начетовъ Дорненцверга. Я старался быть имъ полезнымъ, насколько хватало силы и вліянія.

Меня всѣ почти хвалили и уважали, пока я бѣдствовалъ и нищенствовалъ, но впослѣдствіи, какъ только мнѣ повезло нѣсколько въ жизни, на меня накинута цѣлая свора негодяевъ, безбожно меня обиравшихъ, но въ то-же время осуждавшихъ, порицавшихъ и копавшихъ яму подъ моими ногами. Враги выростали кругомъ меня какъ грибы, и преимущественно изъ тѣхъ, которымъ я оказывалъ болѣе или менѣе важныя услуги...

Однажды является ко мнѣ на домъ знакомый купецъ еврей.

— Помогите мнѣ спастись отъ несчастія и банкротства.

— Въ чемъ дѣло?

— Я поставлялъ въ . . . большую партію спирта, на своихъ фурахъ. Это было прошлою осенью. Грязь была невылазная, соломы и сѣна, по случаю неурожая, по дорогѣ не оказывалось или продавалось на вѣсъ серебра. Воли передохли. Бочки со спиртомъ лежали разбросанныя по дорогамъ, въ различныхъ пунктахъ, долгое время. Я собралъ послѣднее, что у меня было, влѣзъ въ неоплатные долги, но окончилъ поставку. Въ бочкахъ оказались большія

недостачи; нѣкоторыя совсѣмъ лопнули. Дѣло дошло, наконецъ, до разсчета. Я долженъ получить нѣсколько тысячъ рублей, но Дорненцвергъ не только не платитъ, но еще съ меня требуетъ какихъ-то пятнадцать тысячъ рублей, угрожая искомъ.

— На какомъ-же это основаніи?

— За неявку спирта; онъ считаетъ не по стоимости продукта, а по тѣмъ цѣнамъ, по которымъ продаютъ его въ откупѣ. Вы знаете вѣдь, какія это цѣны. И это-бы еще не бѣда, но Дорненцвергъ насчиталъ на меня штрафы и неустойки, за несвоевременную доставку спирта на мѣсто, какъ-будто я виноватъ въ томъ, что Богу угодно было наслать на насъ голодъ и слякоть.

— А въ контрактѣ что сказано?

— Развѣ я знаю, что они тамъ въ контрактѣ написали?—я почти безграмотенъ. Имѣя дѣла съ своимъ братомъ-евреемъ, могъ-ли я допустить, что меня захотятъ ограбить?

— Попробую, но обѣщать не могу...

— Побойтесь Бога, помогите, я вамъ уже пару серебряныхъ подсвѣчниковъ...

Взятка была въ ходу и въ откупной сферѣ.

— Къ моему убогому хозяйству, какъ видите, серебряные подсвѣчники будутъ не совсѣмъ кстати. Оставьте ихъ у себя. Постараюсь за словесное „спасибо“.

Я отыскалъ контрактъ и счета этого несчастнаго поставщика. Миновавъ Дорненцверга, я обратился прямо къ принципалу.

— Необходимо покончить эти счета, чтобы занести ихъ въ гроссбухъ, доложилъ я.

— Въ чемъ-же остановка? спросилъ принципаль.

— Надо порѣшить прежде, кто кому долженъ: вы-ли поставщику или онъ вамъ.

Принципаль со вниманіемъ прочелъ контрактъ и просмотрѣлъ счета, испещренные лживыми примѣчаніями Дорненцверга.

— Судя по этимъ выводамъ, намъ слѣдуетъ отъ поставщика до пятнадцати тысячъ; такъ и запишите.

— Позвольте. Выводы эти—придирчивы, несправедливы.

— А! благодаріе!..

— Нѣтъ, справедливость только. Позвольте мнѣ сдѣлать возраженія противъ этихъ отмѣтокъ.

Я объяснилъ положеніе несчастнаго, наконецъ сообщилъ о цифрѣ блестящаго результата отъ этой поставки для откупа.

— Контрактъ, добавилъ я, — въ этомъ случаѣ имѣетъ одинъ только юридическій смыслъ.

— А вы какого смысла доискиваетесь въ контрактахъ?

— Контрактъ не долженъ противорѣчить совѣсти...

Откупщикъ загадочно посмотрѣлъ на меня.

— Совѣсть... справедливость... общественное мнѣніе, процѣдилъ онъ сквозь зубы, скорчивъ крайне-презрительную гримасу. — Велите заплатить ему, рѣшилъ онъ рѣзко.

Бѣднякъ былъ спасенъ.

Какъ Тугаловъ далъ мнѣ кличку „Щеголь“, такъ откупщикъ-сынъ, не знаю почему, прозвалъ меня философомъ. Но въ голосѣ послѣдняго при произнесеніи этого насмѣшливаго титула не слышалось того презрѣнія, какое чувствовалось въ кличкѣ „Щеголь“. Откупщикъ-сынъ далеко меня не презиралъ; онъ смотрѣлъ только на меня тѣми глазами, какими смотреть дѣловой, ожесточившійся въ борьбѣ, опытный старикъ на увлекающагося юношу. Я въ душѣ считалъ его человѣкомъ черствымъ, безсердечнымъ и скупымъ, но уважалъ его и восторгался его необыкновенными способностями, замѣнявшими ему образованіе. Впослѣдствіи, когда я набрался побольше житейскаго опыта, я его еще больше оцѣнилъ.

Во время моихъ разъѣздовъ съ принципаломъ, гораздо позже, мы однажды остановились въ маленькомъ городкѣ. Прогуливаясь, отъ нечего дѣлать, по грязнымъ улицамъ, я наткнулся на еврейскаго мальчика, продающаго крендели. Я заговорилъ съ нимъ, спрашивая о чемъ-то.

— Какимъ случаемъ попалъ ты сюда? спросилъ я мальчика.

— Я сирота. Меня, какъ лакея, завезъ сюда еврейскій купецъ, а потомъ разсердился и бросилъ тутъ. Я имѣлъ тогда капиталу два злотыхъ и началъ торговать кренделями.

— И что-же?

— Ничего, живу, слава-богу.

— Давно уже торгуешь?

— Болѣе года.

— А большой капиталъ успѣлъ уже составить? спросилъ я его, смѣясь.

— Прожилъ вѣдь! Капиталу тоже имѣю свыше карбованца.

— Неужели весь этотъ товаръ стоитъ только одинъ цѣлковый?

— О, нѣтъ, тутъ болѣе, чѣмъ на два карбованца. Мнѣ пекаръ вѣрнѣе въ долгъ на цѣлый карбованецъ.

— И ты доволенъ своей судьбою?

— Отчего-же? доволенъ. Конечно, будь капиталу побольше... кредита было-бы больше; совсѣмъ иначе торговля пошла-бы. Я былъ-бы счастливъ. Да гдѣ взять?

— А при какомъ капиталѣ ты считалъ-бы себя совершенно счастливымъ? полюбопытствовалъ я, заинтересовавшись толковымъ выраженіемъ мальчугана.

— Имѣй я... три карбованца собственныхъ... Гм... Да что объ этомъ и говорить!

Я достала изъ путевыхъ денегъ принципала три серебряныхъ-блестящихъ рубля и положилъ ихъ въ корзинку торговаго мечта, теля. Мальчуганъ до того оторопѣлъ отъ неожиданности, что не могъ произнести ни слова.

Во время обѣда я, улыбаясь, обратился къ принципалу.

— Вашими тремя рублями осчастливилъ я сегодня человѣка, такъ, какъ никогда не будетъ счастливъ Ротшильдъ со своими миллиардами.

— Но почему именно вы благодѣтельствуете моими деньгами, а не своими?

— Я самъ почти нуждаюсь въ благодѣянїи.

Затѣмъ я передалъ весь мой разговоръ съ юнымъ спекулянтѣмъ.

Лицо принципала приняло самое насмѣшливое выраженіе.

— Глупости! Вы думаете, что вы его осчастливили? Вы его теперь сдѣлали несчастливѣмъ на всю жизнь.

— Не понимаю вашей мысли.

— Прежде этому дураку хотѣлось имѣть три рубля; нашелся чудакъ, который ему ихъ далъ. Дураку легко досталось. Теперь, имѣя четыре рубля, онъ возмечтаетъ о четырнадцати. Онъ будетъ напрасно мечтать и выжидать: философы, подобные вамъ, не часто развѣзжаютъ по бѣлу свѣту для услады уличныхъ негодяевъ.

Въ этихъ немногихъ словахъ вылился весь человѣкъ, съ его сухо-практическимъ взглядомъ на людей и жизнь.

Въ страшную эпоху пойманниковъ ¹⁾ я посвящалъ большую часть своего досужаго времени писанію просьбъ и докладныхъ записокъ тѣмъ изъ несчастныхъ евреевъ, которые попадались въ разставленные имъ силки. Моя канцелярія охотно работала вмѣстѣ со мною. Многихъ мы спасли. Я сдѣлался популярнѣе между евреями. Ко мнѣ обращались смѣло. Въ личномъ трудѣ я никому не отказывалъ. Уважая меня какъ человѣка, еврей, въ то-же время, презирали меня, какъ еврея. На меня указывали пальцами, какъ на пугало. Я пользовался репутаціей отпѣтаго еретика.

¹⁾ Эта эпоха изъ еврейской жизни пятидесятихъ годовъ изображена авторомъ въ отдѣльномъ разсказѣ, появившемся еще въ печати. Лет.

Одна удачная выходка сдѣлала меня окончательно коноводомъ моихъ сотоварищей по службѣ.

День рожденія Дорненцверга праздновался съ торжествомъ. На торжественный этотъ вечеръ приглашался, въ числѣ прочихъ гостей, и весь конторскій персоналъ, отъ мала до велика. Приглашенные служители на этихъ вечерахъ играли самую жалкую роль, слонялись робко, боязливо по отдѣльнымъ угламъ, не смѣя присѣсть; ихъ никто изъ тузовъ не ободрялъ, ни словомъ, ни вниманіемъ. Довольствовались однимъ тѣмъ, что, накормивъ звѣрей, отпускали ихъ домой, не протянувъ даже драгоцѣнной руки на прощанье. Возмутительнѣе всего было то, что праздникъ этотъ для служителей-горемыкъ начинался не съ утра, а съ поздняго вечерняго часа. Ихъ заставляли работать до обыкновеннаго урочнаго времени; имъ не дарили ни одной минуты труда. Измученные, разбитые, полусонные, они обязаны были отправляться на вечеръ, чтобы образовать не изящную декорацію у ногъ своего погонщика. У нихъ отнимали драгоцѣнные часы единственнаго ихъ блаженства—сна.

Наступилъ радостный день рожденія великаго Дорненцверга.

— Сегодня мы, по заказу, должны радоваться, сказали мнѣ нѣкоторые сослуживцы.

— Какъ, радоваться? Но кто-же заставляетъ? удивился я.

— Вечеромъ мы будемъ приглашены для трехъ-часовой стоянки на ногахъ и для изліянія поздравленій.

— И вы пойдете?

— Мы *обязаны* идти.

Цѣлыхъ два часа я бился съ ними и убѣждалъ бѣдняковъ. Я истощилъ все мое убогое краснорѣчіе, рисуя имъ картину ихъ униженія, возбуждая въ нихъ чувство сознанія человѣческаго достоинства.

— Вы боитесь потерять свой хлѣбъ? убѣждалъ я ихъ.—Чудаки! въ насъ больше нуждаются, чѣмъ мы въ нихъ. Поймите, мы зарабатываемъ имъ богатства, а они насъ кормятъ соломой и нравственно бичуютъ какъ животныхъ. Сегодня вечеромъ вамъ предлагаютъ сѣно и плетъ.

Мои слова подѣйствовали. Было рѣшено, что вечеромъ всѣ соберутся у меня.

Мы пили чай вечеромъ. Я и еще два-три болѣе рѣшительныхъ хотали, болтали, стараясь разсѣять страхъ, ясно выразившійся на лицахъ нѣкоторыхъ слабыхъ сотоварищей.

Прибѣжалъ запыхавшійся лакей Дорненцверга.

— Хорошо, что я васъ всѣхъ засталъ вмѣстѣ, обрадовался онъ.— Идите къ уполномоченному, сію минуту; всѣхъ требуютъ.

— Ночью никакой службы нѣтъ, рѣзко отвѣтилъ одинъ изъ бунтовщиковъ.

— На вечеръ, къ ужину васъ требуютъ. Нешто не знаете, что сегодня день рожденія нашего барина?

— *Нашего* барина?—*твоего* барина. Мы не лакеи.

— Лакеи не лакеи, а *требуютъ*! повторилъ грубо и дерзко слуга.

— Доложи барину твоему, во-первыхъ, что въ гости просятъ, а не требуютъ; во-вторыхъ, что приглашенія дѣлаютъ съ утра, а не съ полуночи, и въ-третьихъ, что я самъ сегодня именинникъ; товарищи у меня въ гостяхъ и я ихъ не отпущу. Ступай! сказала я твердо оторопѣвшему лакею.

Онъ грозно посмотрѣлъ на меня и ушелъ.

Черезъ четверть часа прибѣжалъ онъ снова.

— Баринъ приказали вамъ сію минуту явиться всѣмъ.

— Пошелъ вонъ! накинута на лакея цѣлая гурьба обиженныхъ, начинавшихъ входить въ свою роль не на шутку.

Лакей опять ретировался. Но вскорѣ явился другой лакей, болѣе вѣжливый.

— Господа! уполномоченный приказалъ васъ просить на вечеръ къ себѣ.

— Передай барину твоему нашу великую благодарность за лестное вниманіе; но скажи, что мы устали отъ работы и ложимся уже спать послѣ собственнаго ужина.

— Какъ бушевалъ и ругался Дорненцвергъ въ этотъ незабвенный для него вечеръ!

Моя служба протекала мирно и плавно. Мною были довольны. Но былъ-ли доволенъ я—объ этомъ мало беспокоились. Дѣти мои подрастали, надо было серьезно подумать о ихъ воспитаніи; старикамъ-родителямъ надо было пособлять; скромное жалованье приходилось разрывать на клочки. Я жилъ почти отшельникомъ, нигдѣ не бывалъ. Моя жена не подвигалась нисколько въ своемъ развитіи, я на каждомъ шагѣ краснѣлъ за ея фразы, за ея манеры, за ея дикій образъ мыслей; дѣти тоже продолжали быть готтентотиками, хотя старшія были уже порядочные подростки.

Какъ глубоко чувствовалъ я свое несчастіе, въ семейномъ отношеніи! Мой домъ былъ не больше, какъ квартирой для меня. Были у меня всегда люди болѣе или менѣе развитые; жена, бывая въ этомъ обществѣ, присутствуя при нашихъ бесѣдахъ, не

усвоивала себѣ ни одной мысли, ни одного порядочнаго выраженія. Полная презрѣнія къ женщинамъ, стоявшимъ выше ея въ умственномъ отношеніи, она избѣгала всѣхъ знакомствъ, которыя могли-бы на нее повліять къ лучшему. Нравственные наросты, вынесенные ею изъ дѣтства, съ каждымъ днемъ росли. Домъ мой сдѣлался сборищемъ сплетницъ, гнѣздомъ еврейской клеветы и злословія. Я невыразимо страдалъ и терпѣлъ. Ни увѣщанія, ни ссоры, ни сцены не дѣйствовали. Разойтись съ нею или развестись не позволяли ни матеріальныя средства, ни зависимое мое положеніе, ни мой характеръ, на-столько еще не окрѣпшій. Я махнулъ на все рукою. Иногда, отъ ожесточенія, я дѣлался нѣмъ, какъ рыба, на цѣлые мѣсяцы; въ своемъ домѣ, въ своей семьѣ я не произносилъ ни слова, садился къ столу съ книгой въ рукѣ и съ книгою засыпалъ. Жена, съ своей стороны, перестала обращать на меня вниманіе и продолжала жить и поступать по-своему.

На мигъ блеснула мнѣ надежда на перемѣну обстоятельствъ къ лучшему. Правитель канцеляріи и русскій корреспондентъ откупщика умеръ, въ самомъ разгарѣ запутанныхъ, небезопасныхъ процессовъ и слѣдственныхъ дѣлъ. Подъ рукою не кѣмъ было замѣстять вакантное мѣсто. Меня считали за наиболѣе грамотнаго.

Впредь до отысканія способнаго человѣка взвалили на меня и эту тяжкую обязанность.

Я съ радостью усложнилъ свой трудъ. Не прошло еще нѣсколько мѣсяцевъ, какъ во мнѣ признали особенную способность къ новой, добавочной должности. Я такъ тщательно вдумывался въ дѣла и отношенія моего принципала, что зналъ напередъ, что ему придется писать и къ кому. Я заготовлялъ бумаги прежде, чѣмъ онъ вспомнитъ и прикажетъ написать. Я нѣсколько шарлатаничалъ. Прикажетъ, напримѣръ, принципалъ изготovitъ какую-нибудь важную бумагу или документъ, надъ которымъ необходимо подумать и сообразить,—не проходитъ и четверти часа, какъ я уже приношу требуемое. Онъ изумляется ненатуральной писательской моей быстротѣ и не догадывается, что бумага эта давно уже припасена мною и дожидается своей очереди въ моей конторкѣ. При такомъ вниманіи къ своему принципалу и его интересамъ, я имѣлъ право рассчитывать на благодарность и улучшение моего положенія. Но не тутъ-то было. Меня благодарили рублевой наградой и то изрѣдка. Я работалъ за двоихъ, а жалованье получалъ за одного. И это было тогда, когда довольный

мною богачъ былъ на зенитѣ своихъ удачъ, когда милліоны падали къ нему какъ снѣгъ на голову.

Разсчитливость откупщика относительно несчастныхъ тружениковъ была баснословная. Всѣ его служащіе были имъ крайне недовольны. Но крупныхъ откупщиковъ было мало, въ русскіе откупа евреевъ очень рѣдко принимали, а потому служащіе евреи рады были пріютиться хоть кое-какъ. Мой принципаль принималъ многихъ, но платилъ необыкновенно дешево. Въ его передней всегда толкались цѣлыя толпы жаждущихъ кандидатовъ, но между ними нельзя было отыскать почти ни одного совершенно сытаго, довольнаго, обеспеченнаго.

Откупщикъ, въ присутствіи одного еврея остряка, похвастался однажды, что ни у одного откупщика нѣтъ столько служащихъ, какъ у него.

— Неудивительно, серьезно замѣтилъ острякъ.

— Почему неудивительно, думаете вы?

— Скажите мнѣ вотъ что: для чего великому Іеговѣ такое безчисленное множество ангеловъ?

— Не знаю. Объясните вы! улыбнулся откупщикъ, предчувствуя острое словцо. Онъ за удачную остроту никогда не сердился, какъ и всякій умный человѣкъ.

— Ангелы не пьютъ, не ѣдятъ, жалованья тоже не получаютъ, что-же за бѣда, будетъ-ли ихъ больше или меньше? Пусть летаютъ въ свое удовольствіе.

Надъ откупщикомъ остряки, на него роптали, плакались, но порядокъ вещей отъ этого нисколько не измѣнялся. Служащіе продолжали уподобляться ангеламъ, по-прежнему.

Я тоже ропталъ, имѣя на это право болѣе многихъ. Сознавая, что просьбы и напоминанія ни къ чему не поведутъ, я день и ночь измышлялъ новыя средства, чтобы еще больше понравиться принципалу, чтобы еще болѣе возбудить его вниманіе. Я, какъ въ *туаловскія* времена, опять, какъ почтовая лошадь, напрягалъ свои послѣднія силы, чтобы добѣжать до станціи, до полныхъ яслей, но ясли эти витали только въ моемъ воображеніи...

Усталый отъ напрасныхъ усилій, истощенный отчаянными, безплодными стремленіями, духъ мой начиналъ уже засыпать, когда неожиданный случай далъ всему моему существу сильный толчекъ.

Мое сердце серьезно, настойчиво заговорило...

VIII.

Медвѣжья услуга судьбы.

Былъ какой-то великій православный праздникъ. День выпалъ почтовый. Къ почтѣ подгонялась цѣлая куча экстренныхъ циркуляровъ. Ни одного изъ русскихъ писцовъ не было въ канцеляріи, только я и два старшихъ моихъ помощника, изъ евреевъ, торопливо и усидчиво работали скрипучими перьями. Я былъ необыкновенно озабоченъ спѣшнымъ дѣломъ.

— Какая-то жиловка васъ спрашиваетъ, доложилъ мнѣ полупьяный отставной солдатъ, исполнявшій должность швейцара въ моемъ отдѣленіи.

— Мнѣ некогда. Кто такая? Что ей нужно? спросилъ я нетерпѣливо, не отрывая глазъ и рукъ отъ бумаги.

— Говорить, очень нужно, позови-моль; ну, вотъ я и тово-сь...

Я вышелъ въ полутемную переднюю. Тамъ, у дверей, стояла испачканная и оборванная дѣвчонка.

— Что тебѣ?

— Письмо. Сказали передать сюда.

Дѣвчонка вытащила изъ-подъ ваточныхъ лохмотьевъ маленькое письмо, сложенное треугольникомъ, запечатанное облаткой. Я посмотрѣлъ на адресъ. Письмо было на мое имя. Почеркъ на конвертѣ—незнакомый, четкій, красивый, бисерный. Я сорвалъ печать.

Пріѣзжая просить васъ, милостивый государь, потрудиться уведомить, гдѣ теперь находится служившій въ конторѣ N N Николай Игнатьевичъ Пржинскій.

Подписи не было.

— Кто прислать? коротко спросилъ я подательницу.

— Развѣ я знаю? отвѣтила посланная съ еврейскою манерою отвѣчать вопросамъ на вопросы и съ свойственнымъ польско-еврейскому жаргону тягучимъ напѣвомъ.

— Тебѣ-же вручилъ кто-нибудь эту записку?

— Я служу въ N N ахсанѣ (постояломъ дворѣ). Пріѣхала какая-то паненка. Хозяйка и велѣла отнести записку.

Я на этой самой запискѣ написалъ наскоро: „Пржинскій уведомился недѣли три сему назадъ. Выѣхалъ неизвѣстно куда“, и вручилъ записку еврейкѣ.

— Тутъ отвѣтъ написанъ. Передай.

Я опять засуетился надъ работой. Не прошло часа, какъ та-же самая еврейка-служанка явилась вновь съ письмомъ слѣдующаго содержанія:

„Милостивый Государь!

„Если-бы я не была больна, то не утруждала-бы васъ письмами, а пришла-бы къ вамъ сама, чтобы лично освѣдомиться о предметѣ меня очень интересующемъ. Но, къ сожалѣнію, я этого пока сдѣлать не могу. Будьте-же такъ добры, напишите мнѣ болѣе подробно: какого числа именно Пржиньскій оставилъ службу? Когда выѣхалъ? Какія были у него побудительныя причины оставить мѣсто, которымъ онъ былъ доволенъ, и каковы были его виды на будущее? Сколько мнѣ извѣстно, вы ему покровительствовали все время. Трудно предположить, чтобы Пржиньскій, выражавшій всегда въ своихъ письмахъ благодарность къ вамъ, не открылъ-бы вамъ хоть отчасти своихъ намѣреній.

;Судя по отзывамъ Пржиньскаго о васъ, я-бы имѣла право разсчитывать на вашу любезность и просить васъ посѣтить больную, пріѣзжую, совершенно чужую въ незнакомомъ городѣ женщину. Но вы, вѣроятно, заняты дѣломъ и я удовольствуюсь обстоятельнымъ письменнымъ вашимъ отвѣтомъ, которымъ крайне обяжете Пржиньскую.

„Р. S. Во всякомъ случаѣ, увѣдомьте меня, когда я могу видѣть васъ и гдѣ?“

Я нѣсколько минутъ вертѣлъ записку въ рукахъ, не зная, на что рѣшиться.

— Пржиньская... Пржиньская! Кто-же она такая, наконецъ? недоумѣвалъ я вслухъ. — Хорошо. Скажи этой барынѣ, что я теперь очень занятъ, но что сегодня непременно заверну къ ней самъ, чтобы отвѣтить на ея вопросы.

Я узналъ отъ служанки топографію незнакомой мнѣ ахсань и отпустилъ ее, повторивъ еще разъ мой отвѣтъ.

Эти записки навѣяли на меня горькое ощущеніе. Недавно зародившійся микроскопическій червячокъ мизантропіи пренепріятно зашевелился въ моемъ сердцѣ...

Это было нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Я тогда служилъ кассиромъ и счетчикомъ въ мелкомъ откупнишѣ.

Въ кассѣ, какъ это часто съ кассирами случается, оказывался какой-то мелкій недочетъ. Мелкій этотъ недочетъ причинялъ мнѣ, однакожъ, крупное горе: онъ долженъ былъ поглотить мѣсячное мое жалованье. Я рылся въ счетахъ цѣлый день, рылся въ своей памяти, не забылъ-ли я записать чего-нибудь по кассовой книгѣ,

но всё мои старанія къ отысканію неправильности или ошибки оказывались безплодными. Наступили поздніе сумерки. Всѣ канцелярскіе разошлись по домамъ чаевать (Дорненцверги, къ счастью, были даже по откупамъ рѣдкимъ, уродливымъ явленіемъ). Мнѣ было не до чая. Я остался одинъ и при дрожащемъ свѣтѣ сальнаго огарка, тщетно боровшемся съ мракомъ громадной залы, приступилъ къ вторичной повѣркѣ наличности кассы. Я досталъ изъ громаднаго окованнаго сундука золото, серебро и ассигнаціи, симметрически разставилъ и разложилъ ихъ кучками и пачками на большомъ столѣ, у самаго сундука. Чтобы убѣдиться въ томъ, что въ сундукѣ не затерялась, подъ кучками бумагъ и документовъ, какая-нибудь ассигнація или монета, я нагнулся до самаго дна глубокаго сундука и долго рылся, перебирая бумаги и шаря рукою во всѣхъ углахъ и ящичкахъ. Отъ неловкаго положенія моего тѣла, я почувствовалъ внезапный припадокъ головокруженія и, чтобы не упасть, быстро вынырнулъ изъ сундука, схватившись за его края. У самаго стола стоялъ незнакомый человѣкъ... Я вздрогнулъ.

— Извините, вѣжливо сказалъ незнакомецъ, отступая на два шага и почтительно кланяясь.—Въ комнатѣ такъ темно, что я не замѣтилъ этого золота на столѣ; иначе я не подошелъ-бы.

— Что вамъ угодно? спросилъ я какъ-то безпокойно.

— Я отставной офицеръ, кавалеристъ, отрекомендовался незнакомецъ, ловко и съ достоинствомъ поклонившись.—Но вы заняты дѣломъ. Если позволите, я обожду въ передней, пока вы будете свободны.

Съ этими словами незнакомецъ вышелъ въ переднюю комнату. Я наскоро спряталъ деньги, замкнулъ сундукъ и вышелъ къ нему.

— Къ кому вы имѣете дѣло? спросилъ я офицера, нѣсколько подозрительно окинувъ его взглядомъ съ ногъ до головы. Костюмъ его не имѣлъ въ себѣ ничего офицерскаго. Какой-то измятый, нанковый бешметъ на ватѣ, суконные солдатскіе шаровары, заправленные въ длинныя голенища юфтовыхъ, порыжѣвшихъ сапоговъ, и котомка на плечахъ, прикрѣпленная на груди двумя португейскими ремнями на-крестъ, не согласовались съ знакомой мнѣ формою кавалерійскаго офицера. Однѣ шпоры на каблукахъ носили военный характеръ.

Незнакомецъ замѣтилъ мой испытующій взглядъ.

— Не удивляйтесь пожалуйста моему дорожному костюму, оправдался онъ съ самоувѣренной улыбкой на губахъ.— При томъ, я вѣдь только бывшій офицеръ.

— А теперь?

— Въ полной отставкѣ.

Я опять недоумѣвающе посмотрѣлъ на него. Отставные военные, вообще, бываютъ старики, раненные или покалѣченные, а незнакомецъ былъ не старше тридцати лѣтъ, стройный, красивый, съ свѣжимъ цвѣтомъ лица, блестящими ухарствомъ глазами.

— Извольте видѣть! Я въ двухъ словахъ расскажу вамъ свою исторію. Я съ отличіемъ служилъ и имѣлъ блестящія надежды. Вмѣшалась женщина... любовь, и все пошло вверхъ дномъ. Я повздорилъ съ пріятелемъ, вышла дуэль. Дѣло замяли, но изъ службы исключили. ~~Теперь~~ я пріѣхалъ съ Кавказа. Маленькія средства мои истощились; желательнo-бы поступить на службу, въ откупъ. Пишу красиво. Жалованье—какое угодно, лишь-бы пріютиться и отдохнуть. За этимъ я и явился къ вамъ.

— Обратитесь къ управляющему. Это только отъ него зависить. Онъ, можетъ быть, и дастъ вамъ мѣсто.

— Благодарю васъ. Когда-же мнѣ идти къ нему?

— Сегодня поздно уже. Явитесь завтра, утромъ.

Искатель должности замялся, откашлялся, но не трогался съ мѣста. Я вопросительно посмотрѣлъ на него.

— Совѣстно, право, но дѣлать нечего. Я не имѣю чѣмъ за ночь легъ заплатить... Со вчерашняго вечера ничего не ѣлъ...

— Я вамъ одолжу пока, вызвался я.

— ~~Давните~~ Давните меня ради Бога, сказалъ путешественникъ закрашившись, опустивъ глаза и искренно пожавъ мою руку, подавшую ему мелкій заемъ.

На другой день вечерній посѣтитель явился опять; его испытывали, и каллиграфическій, крупный почеркъ поразилъ всѣхъ своей необыкновенною изящностью; онъ былъ принятъ въ писцы, на небольшое жалованье.

Управляя канцелярію, я въ короткое время успѣлъ убѣдиться, что ни одинъ изъ канцелярскихъ не исполняетъ своей обязанности такъ усердно, усидчиво и грамотно, какъ новый писецъ, отставной офицеръ Пржинскій. Не прошло и мѣсяца, какъ его жалованье было почти удвоено по моему ходатайству. Пржинскій держался нѣсколько холодно и гордо съ другими писцами, не позволялъ себѣ никакой интимности и короткости, довольствуясь одной официальной вѣжливостью. Онъ мнѣ чрезвычайно нравился. Онъ говорилъ безукорыненнымъ русскимъ языкомъ, какъ человѣкъ, выросшій въ лучшей сферѣ общества, и читывалъ много. Его нѣсколько военныхъ манеры были благородны и ловки. Во всѣхъ его движеніяхъ проглядывалъ отличный танцоръ и хорошій гимнастикъ. Худоща-

вый, тонкій и стройный, онъ обладалъ необыкновенной силой мышцъ, которую, впрочемъ, неохотно выказывалъ. Къ сожалѣнію, въ его зеленоватыхъ, вѣчно сверкающихъ зрачкахъ было что-то угрожающее, отпугивающее. Онъ говорилъ охотно и много, но никогда не касался своего прошлаго и отмалчивался, когда другіе пытались разузнать что-нибудь изъ него.

— Что было, то сплыло, отвѣчалъ онъ обыкновенно назойливымъ допрашивателямъ, и затѣмъ молчалъ цѣлый день, погруженный въ какія-то мрачныя думы.

Въ канцеляріи его не любили за необщительность и обидную гордость. Завидовали и ему, и его увеличенному жалованью, ругали за глазами, сплетничали у управляющаго, но я былъ за него, и онъ оставался неуязвимымъ. Пржиньскій оцѣнилъ мою справедливость относительно его и сильно ко мнѣ привязался. Это былъ человекъ съ видимо-пылкимъ, огненнымъ темпераментомъ, но умственно не совсѣмъ развитый и ни къ чему болѣе неспособный, какъ только четко, красиво и безошибочно переписывать на-бѣло. Онъ казался безхитростнымъ, прямодушнымъ и добрымъ. Со мною онъ былъ откровеннѣе, чѣмъ со всѣми. Часто посѣщалъ онъ меня на дому, какъ пріятель, и, при всякомъ удобномъ случаѣ, выражалъ мнѣ словомъ и дѣломъ свою преданность.

— Никогда, никогда я вамъ не забуду того рубля, который вы дали мнѣ, незнакомому авантюристу, изнывавшему отъ голода и усталости. Я васъ люблю и дамъ себѣ палецъ отрубить за васъ, сказалъ онъ мнѣ однажды, подъ вліяніемъ маленькаго стаканчика пунша, который я почти насильно навязалъ ему. Онъ никогда ничего не пилъ горячительнаго. По крайней мѣрѣ, онъ всѣхъ въ этомъ увѣрялъ.

— Отчего-же именно *пальцемъ* готовы вы для меня пожертвовать? спросилъ я его, смѣясь. Онъ разсмѣялся въ свою очередь.

— Какъ-то припомнилась мнѣ въ эту минуту одна изъ тысячи глупостей моей юности, въ которой палецъ игралъ главную роль, и я бухнулъ о пальцѣ совсѣмъ нехстати.

— Что-же это за случай? Расскажите, попросилъ я, обрадовавшись видимой болтливости нѣсколько захмѣлѣвшаго Пржиньскаго. Я рассчитывалъ на его ненормальное состояніе, чтобы удовлетворить моему любопытству насчетъ его прошлаго, которое онъ тщательно скрывалъ и отъ меня.

— Я и два моихъ разгульныхъ товарища ухаживали за одной и той-же кокеточкой. Она смотрѣла на насъ, какъ на мальчишекъ, но, тѣмъ не менѣе, старалась кружить наши пылкія головы и

возбуждать ревность то въ одномъ, то въ другомъ. Однажды, у нея за чаемъ, когда всѣ три обожателя были тутъ, на-лицо, когда всякій старался угожденіями и комплиментами перещеголять другого, она вдругъ кокетливо-серьезно спросила: „Кто изъ васъ, господа, больше меня уважаетъ?“ „Тотъ, кто наибольше васъ обожаетъ“, находчиво отвѣтилъ одинъ изъ моихъ пріятелей.— „Кто-же это такой?“ улыбнулась барыня, окинувъ всѣхъ трояхъ быстрымъ взглядомъ. „Я!“ крикнули мы всѣ трое въ одинъ голосъ. „Отлично. Но кто больше?“ продолжала подшучивать общая наша любимица. „Я для васъ сто верстъ пѣшкомъ, безъ роздыха, пройду“, вызвался одинъ. „Я цѣлую недѣлю поститься буду за одну вашу улыбку“, вызвался другой. „А я подарю вамъ, сію минуту, мое кольцо, вмѣстѣ съ пальцемъ“ крикнулъ я, сгоряча схвативъ громадный кухонный ножъ, лежавшій на краю стола, и съ быстротою молніи взмахнувъ имъ высоко, съ твердою рѣшимостью отхватить мизинецъ лѣвой моей руки, на которомъ я носилъ золотое колечко. Но товарищи схватили на лету мою правую руку и вырвали ножъ. Барыня лишилась чувствъ или притворилась, вѣрнѣе всего, для пущаго эффекта.

— И что-же?

— Мои товарищи отстали. Я остался одинъ и, разумѣется, безконечно блаженствовалъ.

— Вы, значитъ, опасный человѣкъ? подшутилъ я.

— Я дѣйствую подъ вліяніемъ момента, необузданно, бѣшено. Въ этомъ все мое несчастье. Я испортилъ всю свою жизнь, всю свою карьеру въ нѣсколько подобныхъ минутъ... „А счастье было такъ близко, такъ возможно“, продекламировалъ онъ въ заключеніе, глубоко вздохнувъ.

Во весь вечеръ я ни одного слова больше отъ него добиться не могъ.

Этотъ отставной марсъ сдѣлался моимъ любимцемъ. Я ему протезировалъ, я прикрывалъ его проступки. А прикрывать приходилось, къ несчастью, очень часто. Упрочившись на своемъ мѣстѣ и заручившись хорошимъ мнѣніемъ откупного начальства, Пржиньскій началъ по-временамъ неглижировать своею обязанностью, не являясь иногда, подъ предлогомъ болѣзни, по два и по три дня сряду въ должность. Я зналъ, что онъ покупиваетъ, по притворялся вѣрующимъ въ его скоропостыжныя болѣзни. Не знаю почему, я его особенно жалѣлъ.

Однажды, во время продолжительной его отлучки, когда управляющій началъ уже подумывать объ удаленіи нерадиваго Пржинь-

скаго отъ службы, я отправился къ отсутствующему на квартиру, на самомъ краю города, съ намѣреніемъ разузнать что-нибудь положительное объ его образѣ жизни и образумить его. Вечерѣло уже. На дворѣ стояла первая апрѣльская оттепель. Пржиньскій жилъ на квартирѣ у какой-то подозрительной старушки изъ мелкой польской шляхты, въ избѣ жалкой наружности. Вступивъ въ пустынный дворъ, обнесенный полуразрушившимся плетнемъ, я сразу былъ пораженъ какимъ-то неистовымъ хохотомъ, слышавшимся сквозь отворенныя нараспашку маленькія, покосившіяся окна. Я осторожно подкрался къ окну и безцеремонно всунулъ голову. Моимъ глазамъ представилась не совсѣмъ пиззящая картина. Пржиньскій, полураздѣтый, съ разгорѣвшимся лицомъ, съ взъерошенною головой, съ широкою улыбкою на устахъ и съ сверкающими глазами, свирѣпо, порывисто бречалъ на гитарѣ какой-то вальсъ. Два-три молодца не совсѣмъ благовидной наружности кружились или, лучше сказать, толкались въ тѣсной конурѣ, вертя безцеремонно какихъ-то женщинъ въ мѣщанскихъ костюмахъ. Вся эта картина освѣщалась однимъ заплывшимъ салнымъ огаркомъ, воткнутымъ въ пустую бутылку, вокругъ которой стояли полуопорожненные штофы и бутылки, валялись, въ несовсѣмъ живописномъ безпорядкѣ, хлѣбъ, крендели, колбаса, полунзгрызанныя головки селедокъ и дешевыя конфетки. Словомъ, въ полномъ блескѣ мѣщанская оргія, со всѣми ея дешевыми прелестями...

— Пржиньскій! позвалъ я.

Пржиньскій сдѣлалъ скачокъ къ окну. Узнавъ меня, онъ швырнулъ гитару на земь, съ быстротою молніи выскочилъ на дворъ, схватилъ меня въ свои бурныя объятія и чуть не задушилъ поцѣлуями. Въ заключеніе онъ поднялъ меня на руки и, какъ младенца, бѣгомъ понесъ въ комнату. Честная компанія прекратила танцы и удивленно-вопросительно посмотрѣла на меня, когда хозяинъ опустилъ меня на свое жесткое ложе.

— Друзья! экзальтированно крикнулъ Пржиньскій.—Посмотрите хорошенько на него. Это мой другъ, мой покровитель, мой благодѣтель, мой добрый генералъ!

Меня обступила полдюжина незнакомыхъ, пьяныхъ фигуръ.

— Чего вытаращили глаза? свирѣпо крикнулъ на своихъ собутыльниковъ Пржиньскій.—Къ рулѣ. скоты!

Мужчины овладѣли моими руками и начали ихъ слюнявить. Я вырывалъ руки, отбивался, просилъ оставить меня въ покоѣ, но ничего не помогало, пока хозяинъ не разогналъ всю эту свору.

— Не стыдно-ли вамъ, Пржиньскій? упрекнулъ я хозяина.

— Чего стыдно? Пусть псы эти лизутъ руки моего друга. Не даромъ-же я ихъ повѣть буду. А вы, потаскушки, чего разинули рты? Дѣла своего не знаете, а? грозно обратился онъ къ прекрасному полу.

Нѣсколько паръ рыхлыхъ, потныхъ рукъ обхватило меня. Поцѣлуи посыпались на меня градомъ. Въ минуту лицо мое покрылось липкою влажностью, какъ кроликъ, приготовленный удавомъ къ поглощенію.

— Пржиньскій! крикнулъ я возмущеннымъ голосомъ: — оставьте же меня, наконецъ, въ покоѣ.

— Баста, сво-о-олочь! скомандовалъ хозяинъ.

— Послушайте, Пржиньскій, я пришелъ вамъ объявить, что управляющій собирается васъ разсчитать. Я не въ силахъ больше васъ защищать.

— Ха-ха-ха! Разсчитать? Чортъ его дери, пусть разсчитываетъ, выгоняетъ, а я котомку на плечи и маршъ! А тебя я люблю, обожаю и... нектаромъ угощаю.

Онъ поднесъ мнѣ огромную рюмку водки.

— Пей! а я, за твое здоровье, прямо изъ штофа пить буду.

— Благодарю. Я пить не стану.

— Врешь, другъ, выпьешь! за свое здоровье... Попросите его вы! приказалъ онъ гостямъ. — На колѣни! Если не выпьешь, я всѣхъ васъ изувѣчу.

Онъ схватилъ одного изъ мужчинъ за шиворотъ, поднялъ на полъяршина отъ земли и однимъ ударомъ кулака поставилъ на колѣни. Другіе поспѣшили преклониться, не дожидаясь кулака гостепріимнаго хозяина. Вся эта сцена была и смѣшна, и гадка. Я поспѣшилъ проглотить водку.

— Ну, вотъ такъ, на здоровье!

Я выпилъ и въ то-же время сдѣлалъ попытку улизнуть.

— Ну, объ этомъ и думать не смѣй! сказалъ рѣшительно Пржиньскій, обхватилъ меня за талію и началъ покрывать мое лицо и руки поцѣлуями. — А за мое здоровье не выпьешь? спросилъ онъ меня какъ-то робко, нерѣшительно. — Впрочемъ, не пей, не стойтъ. Я дрянъ-человѣкъ, животное, подлецъ. Я загубилъ ее... и себя.

— Кого? полюбоществовалъ я.

Пржиньскій схватился за голову, вытянулся во весь ростъ и какимъ-то нечеловѣческимъ голосомъ, комично-драматически задекламировалъ, дѣлая угрожающіе жесты:

Бѣги, чеченецъ! Влещеть мечъ
Карателя Кубани.

Его дыханье—градъ картечь,
Глаголѣ—перуны брани.

— Другъ, братъ, милый, дорогой! Выпьемъ лучше за *ея* здоровье... Понимаешь-ли, за *ея* драгоцѣнное здоровье. Да? Выпьемъ? обратился Пржиньскій ко мнѣ съ умиленіемъ, съ мольбою въ голосъ и глазахъ.

— Нѣтъ, Пржиньскій, я пить больше не могу. Пусть тѣ пьютъ, указалъ я на остальныхъ гостей, какъ-то пресмирѣвшихъ и жавшихся въ одну кучу.

— Тѣ?! презрительно указалъ Пржиньскій на своихъ гостей. — Тѣ?! Да я задушилъ-бы того изъ нихъ, который осквернилъ-бы *ея* имя своими нечестивыми губами. Ты—другое дѣло. Выпьешь?

— Нѣтъ, объявилъ я рѣшительно.

— Ну, хорошо.

Пржиньскій вытащилъ изъ-подъ своего изголовья кавказскій кинжалъ съ серебряною насѣчкою на рукоятѣ, выхватилъ клинокъ изъ ноженъ и приставилъ его остриемъ къ своему сердцу.

— Клянусь *ея* жизнью, *ея* счастьемъ, произнесъ онъ тихимъ, но торжественнымъ голосомъ, —если ты откажешься выпить со мною за *ея* здоровье, этотъ абхазскій булатъ черезъ секунду глубоко погрузится въ мою грудь.

Я схватилъ палитую рюмку и выпилъ залпомъ за здоровье той таинственной особы, которая видимо царила въ сердцѣ пьянаго Пржиньскаго.

— Благодарю, о, миліонъ разъ благодарю. Ну, теперь шабашъ. Скоты, вонъ! чтобы и духу вашего тутъ не было... Всѣ вонъ, кромѣ вотъ кого! приказалъ онъ гостямъ, схвативъ меня за руку.

Вся компанія засуетилась и, шатаясь на ногахъ, толкая другъ друга, высыпала вонъ. Мы остались вдвоемъ.

— Пржиньскій, сказалъ я ласково, — или откройте мнѣ свое сердце, свое горе, или позвольте пдти. Кто эта *она*?

— Я все вамъ расскажу,—все. Вы—мой...

На этихъ словахъ голосъ его оборвался и онъ зарыдалъ, какъ ребенокъ. Я ждалъ конца его припадка. Рыданія черезъ нѣсколько минутъ прекратились. Одна грудь только тяжело вздымалась, издавая какой-то сильный свистъ. Но вскорѣ свистъ этотъ перешелъ въ свинцовый хралъ. Пржиньскій уснулъ. Я осторожно высвободилъ свою руку и почти бѣгомъ пустился домой, унося съ собою непріятное впечатлѣніе.

На другое утро, въ урочный часъ, Пржиньскій явился къ своей обязанности. Онъ былъ выбритъ, опрятно одѣтъ, по-обыкновенію.

Одни припухшіе глаза, съ синеватыми кругами подъ ними, да нѣсколько осунувшееся лицо служили слѣдами пережитаго разгула. Онъ подошелъ ко мнѣ, подаль руку и тихо-умоляюще прошепталъ:

— Извините! Клянусь, впередъ этого не будетъ. Защитите. Если лишуся мѣста, я погибъ!

— Пржиньскій! Вы не записной пьяница, вы человѣкъ порядочный. Васъ грызетъ какое-то тайное горе. Откройтесь мнѣ.

— Никакого горя нѣтъ, а просто...

— Расскажите мнѣ ваше прошлое.

— Э! что было, то сплыло.

— Кого вы разумѣете подъ словомъ *она*?

— Не придавайте значенія болтовнѣ пьянаго. Фантазія одна.

Большихъ усилій и хлопотъ стоило мнѣ, чтобы вымолить у управляющаго прощеніе для нерадиваго писца. Но Пржиньскій сдержалъ обѣщаніе. Онъ принялся за свою службу съ большимъ еще усердіемъ, чѣмъ въ первое время его поступленія на службу. Онъ приходилъ въ должность раньше всѣхъ, уходилъ послѣднимъ и работалъ за троихъ. Но съ этихъ поръ онъ держался еще молчаливѣе, еще сдержаннѣе. Онъ пересталъ посѣщать меня и вообще избѣгалъ остаться со мною наединѣ. Онъ видимо боялся моихъ разспросовъ. Я, съ своей стороны, счелъ нескромнымъ вызывать его на непріятную ему откровенность.

Единственный разъ только мнѣ пришлось опять перенести непріятность изъ-за него. Разъ какъ-то онъ сидѣлъ мрачнѣе обыкновеннаго, облокотившись обѣими руками. Предъ нимъ лежала спѣшная бумага къ перепискѣ.

— Пржиньскій! поторопитесь-же, обратился я къ нему нетерпѣливо.—О чемъ вы такъ глубоко задумались?

— Да онъ влюбленъ! насмѣшливо отвѣтилъ за него другой писецъ, изъ русскихъ.

— А ты почему знаешь? спросилъ спокойно Пржиньскій, поблѣднѣвъ немного и окпнувъ его ледянымъ взоромъ.

— Онъ все о *ней* горюетъ, ха-ха-ха! продолжалъ подтрунивать писецъ, обращаясь ко мнѣ.

— А ты почему знаешь? повторилъ свой вопросъ Пржиньскій, нѣсколько дрожащимъ уже голосомъ.

— Если-бы не зналъ, не говорилъ-бы. А интересно было-бы знать, какая Дашка или Сашка такъ глубоко занозила чувствительное сердце нашего храбраго офицера, карателя Кубани?

Пржиньскій вздрогнулъ, медленно поднялся со стула и тихой, граціозной, тигровой походкой сдѣлалъ три шага впередъ. Затѣмъ,

сдѣлавъ чудовищный скачокъ, схватилъ насмѣшника поперегъ тѣла и, какъ перышко, вышвырнулъ въ широко-раскрытое окно. Раздалось тяжелое паденіе и болѣзненный крикъ подѣ окномъ, на тротуарѣ. Къ счастью, мы находились въ первомъ этажѣ и тротуаръ былъ досчатый. Выброшенный отдѣлался незначительными ушибами...

Я опять успѣлъ отстоять Пржиньскаго. Я любилъ его за его недостатки. Это былъ человѣкъ съ дурнымъ темпераментомъ, съ чудовищными страстями. Безстрастныхъ, холодныхъ людей я не люблю: отъ нихъ вѣтъ лягушечнымъ холодомъ и ледяною обдурманностью.

Окончился откупной терминъ. Я перешелъ въ другой откупъ, въ другую губернію. Пржиньскій остался на своемъ мѣстѣ, у новаго откупщика. Изрѣдка я получалъ отъ него письма, полныя экзальтированныхъ изліній дружбы и преданности, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, полныя грубыхъ орфографическихъ ошибокъ. Пржиньскій гораздо плавнѣе и правильнѣе говорилъ, чѣмъ писалъ. Онъ былъ доволенъ своей службою.

Черезъ нѣкоторое время послѣ поступленія моего на службу къ отцу и сыну, я получилъ отъ Пржиньскаго предлинное письмо. Онъ умолялъ перевести его къ входившему въ славу откупщику, гдѣ онъ могъ-бы разсчитывать на какую-нибудь карьеру. Къ тому же онъ не могъ ужиться съ своими новыми сослуживцами и соскучился, будто-бы, по мнѣ. Какъ каллиграфъ, Пржиньскій былъ рѣдкостью, и я показалъ его замѣчательный почеркъ Дорненцвергу. Пржиньскій былъ зачисленъ въ канцелярскій штатъ, на необыкновенно высокій окладъ жалованья. Дорненцвергъ разрѣшилъ ему даже переѣздъ на счетъ откупа. Я радовался за Пржиньскаго. Съ первою-же почтою я выслалъ ему деньги на проѣздъ и официальное оповѣщеніе о зачисленіи его въ штатъ служащихъ. Онъ прискакалъ черезъ нѣсколько дней, довольный, счастливый и безконечно мнѣ благодарный.

— Теперь, благодаря вамъ, я устрою себѣ другую жизнь. Мнѣ счастье улыбается, сказалъ онъ мнѣ таинственно. — Неужели все это сбудется?

Я далъ себѣ слово не выпрашивать, а ждать его откровенности.

Съ годъ Пржиньскій служилъ отлично, усердно, велъ жизнь порядочную, посѣщалъ меня часто, доставалъ книги, много читалъ. Я радовался за него и выражалъ это при каждомъ случаѣ.

— Я—созданіе рукъ вашихъ. Я на васъ молиться готовъ, увѣ-

рять меня вѣчно называли Пржиньскій. — Вы осчастливили меня на всю жизнь. Вы увидите, что еще впереди будетъ!

Между тѣмъ работа въ бухгалтерскомъ отдѣленіи умножалась, усложнялась, по мѣрѣ распространенія дѣлъ, благодаря бѣшеной предпримчивости моего принципала. Я не могъ обойтись безъ старшаго помощника, приѣмъ котораго былъ мнѣ разрѣшенъ. Выборъ мой палъ на одного изъ еврейскихъ писцовъ, почти безграмотнаго, но обладавшаго блестящими бухгалтерскими способностями. Этотъ еврейскій юноша былъ созданіе моихъ рукъ. Я принялъ его изъ жалости и прилежно училъ счетной части, радуясь быстрымъ его успѣхамъ. Пржиньскій узналъ объ этомъ и прибѣжалъ ко мнѣ на домъ.

— Вы избираете себѣ старшаго помощника? спросилъ онъ меня взволнованнымъ голосомъ.

— Я уже избралъ.

— Кого?

Я назвалъ ему имя еврейскаго писца.

— Почему-же не меня? Я, кажется, вамъ преданъ болѣе этого безъязыкаго мальчика.

— Дѣло не въ преданности, Пржиньскій, а въ знаніи и способности. Вы не усвоили себѣ этихъ знаній. У васъ и терпѣнія достаточно нѣтъ. Какъ-же вы можете претендовать на это мѣсто?

Пржиньскій нахмурился и молчалъ.

— Послушайте. Я, кажется, не разъ доказывалъ готовность быть вамъ полезнымъ и желаніе вашего блага. Но дружба и дѣло—двѣ разныя вещи.

— Конечно, конечно... свой братъ, еврей, а я вѣдь христіанинъ... полякъ. Вѣдь поляки у всѣхъ—бѣльмо на глазу, ядовито замѣтилъ недовольный и ненатурально захохоталъ. Меня это взорвало.

— Думайте, что хотите, а я поступлю, какъ слѣдуетъ.

Съ этой минуты Пржиньскій измѣнилъ свои отношенія ко мнѣ. На мои вопросы онъ отвѣчалъ рѣзко, иногда даже грубо. Мнѣ было больно разстаться съ нимъ, но, съ другой стороны, небрежность моего прежняго любимца сдѣлалась нестерпимою, выдалась въ глаза и возбуждала толки о томъ, что писецъ помыкаетъ мною по какимъ-то таинственнымъ причинамъ. Приходилось рѣшиться на что-нибудь. Первоначально я попробовалъ задобрить Пржиньскаго, и долго хлопоталъ, пока исходатайствовалъ ему прибавку жалованья и небольшую награду.

— Поздравляю васъ, Пржиньскій, съ прибавкою жалованья и наградой, думалъ я обрадовать недовольнаго.

— Очень благодаренъ г. хозяину! сердито отвѣтилъ Пржиньскій.—Деньги—хорошая вещь, пригодятся.

Онъ началъ запивать, стакнулся съ развратными субъектами обоого пола и зажилъ той прежней жизнью, отъ которой онъ клятвенно отрекся навсегда. Дорненцвергъ замѣтилъ и частое отсутствіе писца, и его хмѣльное лицо.

— Я васъ выгоню какъ собаку, если вы не исправитесь, объявилъ ему Дорненцвергъ съ свойственной ему площадностью.

— Это вы, мой благородный благодѣтель, донесите на меня? спросилъ меня Пржиньскій дерзко.

Я презрительно посмотрѣлъ на него и ни слова не отвѣтилъ. Пржиньскій пробормоталъ какую-то сальность, которую я хорошенько не разслышалъ, ушелъ изъ конторы не въ урочный часъ и пропалъ на цѣлыхъ три дня.

— Въ послѣдній разъ я позволяю вамъ, милостивый государь, заниматься въ моемъ отдѣленіи. Если послѣ этого вамъ вздумается поприбавить на волѣ, то совѣтую больше не являться, объявилъ я ему рѣшительно, когда онъ вновь пришелъ въ должность.

— Хорошо-съ, *compté, monsieur!* кивнулъ онъ нагло головою и вышелъ вонъ.

Прошло нѣсколько дней; Пржиньскій не являлся. Мнѣ было больно за него. Въ надеждѣ, что онъ все-таки еще образумится, я скрывалъ отъ Дорненцверга самовольную отлучку писца. Но Дорненцвергъ узналъ объ этомъ и вычеркнулъ имя Пржиньскаго изъ списковъ, опредѣливъ другого на его мѣсто.

У одного изъ моихъ сослуживцевъ былъ какой-то семейный праздникъ. Собралось туда значительное общество обоого пола. Въ томъ числѣ былъ и я съ женою. Общество разбилось на кружки и болтало, прихлебывая жиденькій кипятокъ подъ именемъ чая. Женщины, какъ это у евреевъ водится, сбились въ отдѣльную кучу и полушопотомъ злословили на всѣ лады. Я игралъ въ шахматы, сидя у круглаго стола, освѣщеннаго двумя сальными свѣчами, торчавшими въ новыхъ мѣдныхъ подсвѣчникахъ, между которыми лежали на особомъ подносікѣ новыя свѣчные стальные щипцы съ длиннымъ острымъ концомъ. Я такъ сосредоточился на игрѣ, что не обращалъ вниманія на все происходившее вокругъ меня. Какъ вдругъ я почувствовалъ легкое, трепетное прикосновеніе къ моему локтю.

— Посмотрите пожалуйста... Пржиньскій! шепнулъ мнѣ на ухо сосѣдъ, слѣдившій за моей игрою.

Я поднялъ голову. Въ двухъ шагахъ отъ стола стоялъ Пржинь-

скій, съ нахлобученной на лобъ фуражкой, вытянувшись во весь ростъ и нагло подбоченясь фертонъ. Его багровое лицо было грозно, брови насуплени, глаза метали искры. Я вздрогнулъ, очутившись неожиданно лицомъ къ лицу съ этимъ пьянымъ, бѣшенымъ человѣкомъ. Не знаю почему, но, несмотря на необузданность этого субъекта и его необычайную физическую силу, я чувствовалъ, что онъ безсознательно подчиняется моему выработанному, искусственному хладнокровію и нравственной силѣ. Я это почувствовалъ даже въ эту минуту, когда расширенные его зрачки изливали цѣлые потоки ненависти на меня... Я упорно посмотрѣлъ ему въ глаза и улыбнулся. Онъ затрепеталъ всѣми членами и сдѣлалъ шагъ ко мнѣ. Хозяинъ дома между тѣмъ приблизился къ непрошенному гостю.

— Что вамъ угодно у меня въ домѣ?

— Прочь, оттолкнулъ онъ хозяина. — Я не къ тебѣ, а вотъ къ... этому! указалъ Пржинскій, вытянувъ руку по направленію ко мнѣ.

— Что-же вамъ отъ меня угодно, Пржинскій? спросилъ я въ свою очередь, стараясь придать своему голосу спокойный тонъ хладнокровія.

— Я пришелъ сказать тебѣ, что ты... жидъ!

— Для этого не стоило трудиться: я самъ знаю, что я не отставной офицеръ и не полякъ. Скажите что-нибудь по-новѣе.

— А! По-новѣе? Вотъ и по-новѣе! крикнулъ неистово Пржинскій, сдѣлавъ прыжокъ къ столу. Онъ схватилъ острые щипцы и высоко занесъ ихъ надъ моей головой...

Внезапность-ли этой варварской выходки или внутренняя, ничемъ неоправдываемая, самонадѣянность поддержали мою невозмутимость, но я не сдѣлалъ ни малѣйшаго движенія подъ угрожающимъ ударомъ; напротивъ, я еще хладнокровнѣе, упорнѣе вперилъ свой взоръ въ глаза буяна. Лицо его было страшно-отвратительно въ эту минуту. Какал-то судорожная улыбка уродливо исковеркала его ротъ, покрытый пѣною, глаза налились кровью, какъ у хищнаго звѣря, всѣ черты лица конвульсивно передергивались. Мой упорный взоръ имѣлъ, вѣроятно, ту моментальную магическую силу, которую имѣетъ пристальный взглядъ человѣка на расходящагося звѣря. Рука Пржинскаго повисла на нѣсколько мгновений въ воздухѣ. Но эти нѣсколько мгновений были достаточны для того, чтобы нѣкоторые изъ гостей вдѣпились въ угрожающую ударомъ руку. Пржинскій заскрежеталъ зубами и ринулся на смѣльчаковъ. Началась свалка, скоро, однакожь, окончившаяся полною побѣдою пьянаго силача. Общими силами наг-

лепа повалили и пригвоздили къ полу. Въ домѣ пошелъ содомъ. Испуганныя до смерти женщины кричали и убѣгали. Пржинскій барахтался и неистовствовалъ, пока призванная полиція не положила конецъ этой отвратительной сценѣ. Пржинскаго связали и увели.

Тяжелое впечатлѣніе оставилъ во мнѣ этотъ случай, это наглядное доказательство человѣческой дружбы и благодарности. Конечно, въ настоящую минуту, когда я переживаю воображеніемъ прошлое, когда я поближе узналъ прочность людскихъ привязанностей, когда извѣдалъ сотни нравственныхъ щелчковъ отъ тѣхъ, въ которыхъ вѣрилъ, которыхъ любилъ, никакое разочарованіе не могло-бы такъ сильно потрясти меня. Но тогда это было первымъ крупнымъ моимъ разочарованіемъ на поприщѣ дружбы и привязанностей. Я живу на свѣтѣ, околачиваюсь съ двуногими, относительно, немного времени, но я усиѣлъ уже проникнуться глубокимъ убѣжденіемъ, что истинно-хорошій человѣкъ—явленіе хотя не совсѣмъ рѣдкое, но тѣмъ не менѣе ненормальное, это—нравственный уродъ, но уродъ пріятный, полезный. Какимъ злодѣемъ, какимъ звѣремъ вышелъ-бы человѣкъ, если-бы онъ прожилъ нѣсколько столѣтій и вытерпѣлъ-бы тысячи разочарованій!

Эта ночь была одной изъ сквернѣйшихъ ночей въ моей жизни. Я чувствовалъ такой наплывъ мизантропій въ моемъ сердцѣ, что мнѣ было противно смотрѣть на людей. Въ довершеніе всего, жена немплосердно меня пилила. Она умудрялась всегда подбавить и свою долю горечи въ чашу, услужливо подписимую мнѣ судьбою.

— Очень рада, о, какъ я рада! раздражала меня жена.—Жаль, что онъ не угостилъ тебя щипцами. Не связывайся съ гонимъ, съ полякомъ. Ишь, дружбу себѣ отыскалъ! Подѣломъ!

— Еврей, по-твоему, лучше?

— Еще-бы! Этотъ хоть не дерется, хоть бить не посмѣетъ!

— За то бросить камнемъ изъ-за угла, уязвить какъ гадина. Это еще хуже.

Изъ-за національностей вышла у насъ крупная ссора на цѣлую недѣлю.

Грустный и унылый сидѣлъ я на другое утро въ своей канцеляріи, прочитывая въ десятый разъ какую-то бумагу и не понимая ея несложнаго смысла. Въ головѣ моей бродилъ какой-то хаосъ, передъ глазами носился свирѣпый образъ Пржинскаго, съ поднятыми надъ моей головою щипцами. Я отъ этого воспоминанія былъ взволнованнѣе чѣмъ въ моментъ самаго событія. Вдругъ дверь широко растворилась и въ комнату вступилъ Пржинскій, а за

нимъ квартальный надзиратель съ будочникомъ. Я затрепеталъ съ головы до ногъ и инстинктивно ухватился за колоссальные деревянные мои счеты, какъ за единственное орудіе обороны. Движеніе мое было, вѣроятно, замѣчено Пржиньскимъ. Онъ вздохнулъ и произнесъ какимъ-то разбитымъ, болѣзненнымъ голосомъ у самыхъ дверей:

— Простите! Я—несчастный!

Я сдѣлалъ два шага къ нему, нѣсколько успокоившись отъ перваго движенія.

— Что вамъ отъ меня еще угодно? спросилъ я его строго.

— Посмотрите на меня и скажитесь. Неужели вы захотите погубить того, котораго вы нѣкогда любили? Простите. Я на коленяхъ предъ вами.

Сердце мое сжалось отъ жалости. Все лицо Пржиньскаго было въ царапинахъ и синякахъ, пальцы искалѣчены. Одежда на немъ была испачкана, изорвана въ лохмотья, изъ потускнѣвшихъ глазъ струились крупныя слезы.

— Вставайте, смягчился я.—Что вамъ отъ меня угодно? Служить дальше вы не можете. Это уже не отъ меня зависитъ.

— О, нѣтъ. Я и не смѣю думать объ этомъ. Я вашего прощенія прошу, совѣсть меня убиваетъ. Я лишу себя жизни, если...

— Хорошо, я васъ прощаю. Идите съ Богомъ.

— Идите! Куда я пойду? Въ холодную опять?

Я обратился къ квартальному.

— Освободите его.

— Нельзя.

— Какъ, нельзя? Я вѣдь обиженный, и когда я самъ не заявляю претензій, то вамъ какое дѣло до моей личной обиды?

— Это точно такъ. Но этотъ господинъ буянилъ въ полиціи, перебилъ всѣ стекла въ казенныхъ окнахъ, сломалъ стулъ и побилъ морду десятскому, даже мнѣ... вотъ что онъ сдѣлалъ!

Квартальный повернулъ ко мнѣ лѣвый глазъ, украшенный огромнымъ синякомъ.

— Вѣдь кулачище-же! Десять человѣкъ еле съ нимъ управились, пока успокоили.

Стоило только посмотрѣть на несчастнаго арестанта, чтобы исполнѣ отѣнить полицейское успокоеніе.

Я отвелъ власть въ сторону. Казенные стекла и стулья, десятскія морды и даже морда самого квартальнаго были отѣнены рублями, кои немедленно и перешли изъ моихъ рукъ въ руку оби-

женной власти. Пржиньскій былъ освобожденъ и разсыпался въ мольбахъ и извиненіяхъ.

— Перестаньте унижаться, Пржиньскій; лучше, вмѣсто этого, объясните мнѣ толкомъ, чѣмъ я предъ вами провинился?

— Если-бы вы знали мою жизнь... мое горе, мои возрожденныя надежды, вы-бы пожалѣли меня. Я, безпутный, потерялъ карьеру, захотѣлъ аванса хотъ на частной службѣ... Эти авансы были мнѣ необходимы... Имя, хотъ какое-нибудь... Писецъ! простой откупной канцеляристъ... Она сгорѣла-бы отъ стыда...

— Я васъ не понимаю, Пржиньскій.

— Эхъ! И къ лучшему. Помогите мнѣ на дорогу. Я вѣчно не забуду того, чѣмъ я вамъ обязанъ и чѣмъ я, искалѣченный чело-вѣкъ, пользоваться не счумѣлъ.

Я сдѣлалъ, что могъ. Съ тѣхъ поръ Пржиньскій больше не показывался.

И вотъ недѣли черезъ три послѣ послѣдняго моего свиданія съ Пржиньскимъ, я получилъ извѣстныя моимъ читателямъ записки, подписанныя тѣмъ именемъ, которое оставило неизгладимое впечатлѣніе въ моемъ сердцѣ на всю жизнь....

Занимаясь своей срочной канцелярской работой въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, я не переставалъ волноваться.

— Пржиньская! неужели это та таинственная она, которая не сходила съ устъ пылаго Пржиньскаго? Кто-же она такая? Родственница, сестра или....

Я едва дождался конца моихъ занятій. Подстреканный какимъ-то необыкновеннымъ любопытствомъ, я побѣжалъ туда, куда призвала меня таинственная особа.

Были уже поздніе весенніе сумерки, когда я ступилъ на грязную лѣстницу еврейскаго постоялаго двора. Лѣстница утопала во мракѣ. Воздухъ былъ напитанъ какими-то кислыми міазмами, возбуждавшими тошноту. Зажавъ одною рукою ротъ и носъ, я ошупью пробрался наверхъ. Наобумъ толкнулъ я первую дверь, попавшуюся подъ руку, и остановился на порогѣ.

Въ комнатѣ, куда я заглянулъ, сумерки были еще гуще, еще непроницаемѣе. Съ трудомъ можно было замѣтить расплывающіеся силуэты мебели. Одинъ только уголъ тускло освѣщался маленькой висячей лампадкою подъ образомъ. Въ этомъ углѣ, на узкой кровати, лежала женщина и, казалось, спала. Она лежала вытянувшись во весь свой небольшой ростъ, подложивъ обѣ руки подъ голову. Свѣтъ лампы падалъ вертикальными лучами на лицо спящей. Я въ нерѣшимости продолжалъ стоять на порогѣ. Спящая,

повидимому, не замѣтила ни слабого скрипа открывшихся дверей, ни вечерняго посѣтителя. Лицо спящей возбудило во мнѣ внезапную жалость. Оно хотъ было нѣжно и прекрасно, но, вѣроятно, отъ колеблющихся лучей слабого свѣта, оно показалось мнѣ болѣзненнымъ, изжелта-блѣднымъ. Длинные, пушистыя, опущенныя рѣсницы закрывали глаза и образовывали какую-то мрачную тѣнь подъ ними и болѣзненные, темные круги, какими отличаются страдающіе изнурающими припадками. На спящей было черное шерстяное платье съ плотно закрытымъ лифомъ; плечи были окутаны какимъ-то мѣховымъ воротникомъ, изъ-подъ котораго выглядывалъ бѣлый какъ снѣгъ воротничекъ, тѣсно обхватывавшій тонкую, нѣжную шею. Одна нога спряталась подъ подолъ длиннаго платья, а другая выбилась изъ-подъ складокъ и небрежно свѣсилась съ кровати, обнаруживъ окраину бѣлой оборчатой юбки и часть нѣжно округленной икры, въ тонкомъ бѣломъ чулкѣ. Ножка, висѣвшая въ воздухѣ, своей изящною обувью, миниатюрностью и узкостью ступни живо напомнила ножку чистокровной парижанки. Вся картина, вырѣзывавшаяся изъ окружавшаго ее полумрака, поражала своей эффектностью. Я не могъ оторвать глазъ и стоялъ удивленный, не зная, на что рѣшиться.

Я слегка кашлянулъ и съ умысломъ тяжело ступилъ впередъ. Женщина встрепелась и быстро соскочила съ кровати.

— Ахъ, извините. Это вы?

Я отрекомендовался. Она быстро пошла ко мнѣ на встрѣчу и искренно пожала мою руку.

— Садитесь пожалуйста. Я зажгу свѣчу.

Она пошарила рукою въ какомъ-то углу и зажгла свѣчу. Пока свѣча разгоралась, она держала ее у самаго лица, заслонивъ пламя рукою. Я не спускалъ глазъ съ этого лица, которое въ нѣсколько минутъ совсѣмъ переродилось. Вмѣсто прежней блѣдности, личико было залито розовымъ румянцемъ; большіе голубые глаза съ поволокою какъ-то умоляюще смотрѣли на лѣниво разгорающуюся свѣчу; вокругъ нѣжно очерченнаго ротика играла веселая, привѣтливая улыбка; античный носикъ съ тонкими, розовыми, подвижными ноздрями, округленный подбородокъ съ ямочкою, узкій, бѣлый какъ мраморъ лобъ, опущенный густыми, но тонкими бровями, маленькое ушко, выбившееся изъ-подъ цѣлаго лѣса распавшихся косъ, — все это придавало ея лицу какое-то очаровательное, но дѣтское, шаловливое выраженіе. Однѣ нѣсколько впалыя щеки какъ-то не шли къ свѣжему личику, стройному, нѣжно-округленному стану, къ быстрымъ, эластичнымъ движеніямъ, какими

отличались жесты стоявшей вблизи меня невысокой женской фигуры.

— Чего же вы стоите, не садитесь? спросила она меня пѣвучимъ голосомъ, поставивъ подсвѣчникъ на единственный столикъ, терявшійся возлѣ гигантскаго, древняго фасона дивана.— Ахъ, да, я и забыла, что вы, въ потѣмахъ, не успѣли еще освоиться съ прелестями моей квартиры, не знали, куда садиться, добавила она, засмѣявшись дѣтскимъ, чистымъ смѣхомъ.

Я угнѣздился на диванѣ, больно ущипнувшимъ меня своими разрозненными, скрытыми пружинами.

Она замѣтила мое невольное движеніе.

— Ахъ, я, скверная хозяйка, забыла предостеречь васъ отъ замашекъ этого вѣроломнаго еврейскаго дивана, вѣдряющагося въ тѣло неосторожныхъ сѣдоковъ. Отодвиньтесь подальше, въ уголокъ: тамъ вы будете въ совершенной безопасности, посоветовала мнѣ хозяйка и еще звонче разсмѣялась.

Ея смѣхъ былъ заразителенъ.

— Вы, вѣроятно, изучили уже характеръ этого коварнаго сѣдалища? спросилъ я, засмѣявшись въ свою очередь.

— Именно, коварный. Онъ даетъ безпрепятственно погружаться въ свою сомнительную настилку, но на самомъ днѣ онъ хватается острыми клещами. Въ первый разъ усѣвшись, я вскрикнула отъ боли, но моя хозяйка, еврейка, посоветовала мнѣ то-же самое, что я посоветовала вамъ: «отодвиньтесь подальше».

— Я все-таки не отодвинуся, а постараюсь усаживаться въ другой разъ недоувѣрчиво, осторожно. Я увѣренъ, что я сдѣлаю клещи безвредными.

— Вы предпочитаете, какъ я замѣчаю, вступать скорѣе въ борьбу, чѣмъ поддаваться или бѣжать?

— Если всѣмъ клещамъ поддаваться или отъ нихъ бѣжать, то тѣла и ногъ не надолго хватить.

— Вы совершенно правы. Я вполне раздѣляю ваше мнѣніе. Я тоже испытывала въ своей жизни клещи и знаю, что о нихъ думать.

Она вздохнула, тряхнула головою, собрала конфузливо волосы и засунула ихъ подъ шовъ воротника.

— Вы не сердитесь на меня, что я васъ беспокоила? Нѣтъ?

— Напротивъ... я очень радъ...

— Ха, ха, ха. Только не общія фразы.... Вы не могли радоваться, потому что вы ~~мне~~ не знали и не знаете. Вѣроятно, приклеивали навязчивую, ~~и~~ вамъ покой. Да?

— Нѣтъ, повторяю еще разъ, что я былъ очень радъ увидѣть ту, которая не сходила съ устъ Николая Игнатьевича и о которой онъ ни съ кѣмъ не хотѣлъ откровенничать.

— Даже съ вами?

— Даже со мною.

— Онъ, кажется, васъ очень любилъ, судя по его письмамъ къ покойному моему брату.

Пржиньская глубоко вздохнула.

— Но, вѣроятно, же на-столько, чтобы удостоить меня откровенностью о своей святинѣ.

— Ого, вы мастеръ льстить или насмѣхаться?

Я нѣсколько сконфузился.

— Во всякомъ случаѣ я вамъ очень благодарна за ваше любезное посѣщеніе, задобрила меня хозяйка, пожавъ мою руку своей горячей ручкой.

— У васъ жаръ, если не ошибаюсь?

— Немножко. Пустяки. Пройдетъ.

— Вы бы посовѣтовались съ медикомъ.

— О, нѣтъ. Къ чему? Я не люблю себя черезчуръ баловать. Расскажите мнѣ пожалуйста о Пржиньскомъ! начала она черезъ минуту.

— Что хотите вы узнать?

— Какъ онъ служилъ, почему его уволили и куда онъ уѣхалъ?

— Онъ служилъ хорошо, уволился по собственному желанію, но куда уѣхалъ—не знаю. Вѣроятно, онъ приготовилъ себѣ лучшее мѣсто, совралъ я изъ деликатности. Мнѣ показалось какъ-то неловко разузнавать прямо, въ какихъ родственныхъ отношеніяхъ состоятъ моя хозяйка къ Пржиньскому, а потому я былъ на-сторожѣ.

— Я съ удовольствіемъ вижу, что Пржиньскій, въ послѣднее время, поумнѣлъ. Онъ всегда отличался особеннымъ неумѣньемъ распознавать людей и выбирать пріятелей. На этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, онъ не ошибся въ своемъ выборѣ. Вы—скромный другъ.

Я покраснѣлъ и опустилъ глаза. Чтобы замать этотъ разговоръ, я искалъ глазами предметъ, о которомъ можно было-бы заговорить, и остановился на лампадѣ.

— Знаете-ли.... отворивъ дверь вашего номера, я уже хотѣлъ ретироваться.

— Такой страшной вы нашли меня?

— Нѣтъ, не то. Во-первыхъ, мнѣ совѣстно было васъ разбудить.

— Во-вторыхъ?

— Мнѣ показалось, что я попалъ не въ еврейскій домъ.

Я показалъ глазами на образъ и иду.

— Я вездѣ люблю устраиваться, въ первый-же день, какъ у себя дома. Я съ ранняго дѣтства привыкла, открывая глаза, остановить взоръ на этомъ образѣ и на этой лампадкѣ, горѣвшей въ праздничныя дни въ спальнѣ моей дорогой матери.

Пржиньская украдкою вытерла слезинку, стараясь улыбаться.

— Однако, я все-таки ничего отъ васъ не узнала относительно мѣстопробыванія Пржиньскаго.

— Къ сожалѣнію, я объ этомъ ничего опредѣлительнаго вамъ сообщить не могу.

— Придется ждать, и, вѣроятно же всего, безконечно ждать.

Я молчалъ. Пржиньская облокотилась на обѣ руки и глубоко задумалась, сморщивъ брови. Это игривое дѣтское личико приняло серьезное, нѣсколько суровое выраженіе. Я не чувствовалъ способности возобновить бесѣду и всталъ.

— Куда же вы?

— Меня ждетъ еще дѣло. Притомъ, вамъ не мѣшало-бы прилечь. Вы, кажется, не совсѣмъ здоровы.

— Последнее обстоятельство неважно, но дѣло—прежде всего. Она подала мнѣ руку.

— Еще разъ благодарю васъ за вашу любезность. Не забывайте, что я здѣсь одинокая, совершенно чужая.

— Я былъ другомъ Пржиньскаго... Вы носите его имя...

— Ахъ, только не это, пожалуйста. Я не люблю быть обязанной кому-бы то ни было. Я надѣюсь, что вы посѣтили меня не изъ дружбы къ Пржиньскому. Вы пришли-бы ко всякому человеку, чужому, нуждающемуся въ васъ, даже къ такому, имя котораго вы слышали-бы въ первый разъ. Не такъ-ли?

Я поклонился.

— Такъ до свиданія? Да?

Я унесъ съ собою какое-то теплое ощущеніе. Цѣлую ночь носились предо мною эти голубые съ поволокою глаза, этотъ нѣжный ротикъ, эта ямочка на подбородкѣ и эта ножка, свѣсившаяся съ кровати. Этотъ прелестный образъ казался мнѣ знакомымъ, цѣлкомъ взятымъ изъ какого-то читаннаго мною романа. Я чувствовалъ, что мое сердце переполнено горячими матеріалами, что одна искра способна его зажечь. Я предчувствовалъ опасность и далъ себѣ слово избѣгать ея.

„Мнѣ-ли увлекаться? думалъ я. — У кого на шеѣ такое тяжелое ярмо, какъ у меня, тотъ долженъ идти по торной житейской дорогѣ, не уклоняясь въ сторону, какой цвѣтокъ ни манилъ-бы его. Притомъ чѣмъ могу я быть для этой женщины? Она хри-

стианка, а я—еврей; она отлично воспитана, судя по ея манерамъ, языку, она свѣтская барыня, а я не умѣю ни стать, ни сѣсть по-европейски; она, вѣроятно, всю жизнь была окружена поклонниками ея достойными. А если она вздумаетъ пошутить надо мною, пококетничать? если я увлекусь, что тогда будетъ?”

Я ожесточенно боролся съ собою и дня четыре преодолевать желаніе увидѣть ее. На пятый день я не выдержалъ.

„Не ловко же, ходатайствовалъ я за самого себя: — вѣдь я общалъ. Я сдержу свое слово—и конецъ знакомству. Такъ будетъ лучше“.

Въ свободное отъ службы утро я посѣтилъ мою недавнюю знакомую. Я нашелъ ее въ томъ-же черномъ платьѣ, съ тѣмъ-же мѣховымъ воротникомъ, небрежно накинутомъ на плечи. Она устанавливала небольшую рамку, обтянутую холстомъ. На столѣ стояла палитра съ красками и кистями.

— А, это вы, наконецъ? улыбнулась она на мой поклонъ. — Не добрый-же вы человекъ, какъ я вижу.

— Вы собираетесь работать? Не мѣшаю-ли я?

— Не увертывайтесь. Вы почему не показывались? А я считала васъ такимъ добрымъ.

— Служба... знаете...

— Перестаньте пожалуйста, перебила она меня, надувъ нѣсколько губки. — Однако садитесь. Гостей не бранять.

— Но я вамъ мѣшаю.

— Какой-же вы церемонный господинъ! Вамъ говорить, что вы не мѣшаете.

— Вы живописецъ, какъ я вижу?

— Немножко.

— Это, кажется, рѣдкость между женщинами.

— Вашему брату, мужчинѣ, все кажется рѣдкостью у бѣдныхъ женщинъ. По-вашему, женщина ни къ чему полезному неспособна.

— Я этого не говорю.

— И не смѣйте говорить. Я своимъ малярствомъ живу. Это мой хлѣбъ.

Я какъ-то недовѣрчиво посмотрѣлъ на нее. Я въ первый разъ въ жизни встрѣтилъ воспитанную женщину, живущую своимъ хлѣбомъ. Мнѣ какъ-то не вѣрилось.

— Вы обидно посмотрѣли на меня, какъ-будто не вѣрите. Да?

— Нѣтъ, не то. Я удивляюсь вамъ.

— Чему-же вы удивляетесь?

— Я не встрѣчалъ еще независимой женщины.

— Вы многого, вѣроятно, еще не встрѣчали. Изъ этого еще ничего не слѣдуетъ.

Я покраснѣлъ, чувствуя, что она имѣетъ полное право третировать меня какъ мальчишку, соображаясь съ узкой рамкой моей мѣщанской жизни. Она замѣтила мое смущеніе и прибавила:

— Вы еще такъ молоды!

— Вы моложе меня и однако...

— Ну, это еще вопросъ, моложе-ли я. Знаете-ли, вы очень кстати явились.

— Почему?

— Я уже немножко поправилась. Пора приняться за дѣло, а квартира эта очень неудобна; во что-бы то ни стало, а я должна себѣ отыскать квартиру, болѣе спокойную, съ чистымъ воздухомъ. Тутъ ни работать, ни отдохнуть нельзя: вѣчный гамъ, топотъ и... неизящность. Вы знаете городъ? Посоветуйте мнѣ.

— Удобную квартиру вы можете имѣть только на фольверкѣ.

— Гдѣ это?

— Спустившись со скалы, на которой городъ построенъ, перейдя мостъ и взобравшись на противоположное возвышеніе, вы очутитесь на фольверкѣ, изобилующемъ растительностью. Тамъ просторъ, чистота и хорошій воздухъ. Притомъ тамъ и дешевле.

— Это гдѣ-же? За морями? Даль страшная?

— Не совсѣмъ.

— Впрочемъ, городъ, собственно говоря, мнѣ не нуженъ. А вы навѣстите меня изрѣдка, когда я туда заберусь?

— Вы очень внимательны, благодарю васъ.

— Опять церемоніи? Васъ, я вижу, школить нужно, чтобы навести на путь истинный. Вы не умѣете различать простое слово отъ ходульных фразъ.

— Вы, кажется, правы, улыбнулся я.—Но не вините меня въ этомъ. Человѣкъ—продуктъ собственной жизни.

— Или жизни другихъ людей, его окружающихъ, что одно и то-же. Вы поможете мнѣ отыскать квартиру? Да?

— Я самъ поищу прежде, потомъ вы посмотрите сами.

— Мерсі. Но куда-же вы? Посидите еще.

— Вы извините меня?

— За что?

— За нескромный вопросъ.

— А вы способны на нескромные вопросы?

— Вы сами убѣдитесь.

— Я слушаю.

— Какія родственныя отношенія между вами и Пржиньскимъ?

— Вы въ самомъ дѣлѣ не знаете или притворяетесь?

— Ничего не знаю, увѣряю васъ.

— На новой квартирѣ, за чашкой чая, я вамъ когда-нибудь отвѣчу на вашъ вопросъ.

Я разослалъ факторовъ разыскивать квартиру. Нѣсколько дней сряду, въ свободные часы, шнырялъ я по всѣмъ закоулкамъ фольверка, пока отыскалъ маленькій, меблированный флигелекъ о трехъ комнатахъ съ кухней, во дворѣ поляка-чиновника. Квартира была чистенькая, удобная, за ново отдѣланная. Небольшія окна флигелька выходили въ небольшой фруктовый садикъ, какъ и дверь миниатюрной залы. Вся квартирка имѣла видъ павильона. Я сошелся въ цѣнѣ. Недоставало только согласія Пржиньской. Я отправился къ ней.

— Пойдемте. Я отыскалъ, какъ мнѣ кажется, подходящую квартиру, предложилъ я Пржиньской послѣ первыхъ обычныхъ фразъ.

— Вы очень любезны, улыбнулась она.

— Какая вы церемонная барыня! усмѣхнулся я.

— Вы злопамятны. Платите мнѣ той-же монетой. Пойдемъ, увидимъ, каковъ у васъ вкусъ.

— Позвольте. Я пошлю за извозчикомъ. Это вѣдь не близко.

— Не нужно, пройдемся.

— Но вы устанете.

— Ничего, если я уже очень устану, вы подадите мнѣ руку.

Я чувствовалъ, какъ при одной мысли прижать ея руку, сердце у меня забилося. Мы пошли бокъ-о-бокъ. Руки сразу подать я не рѣшался. Правду говоря, я побаивался возбудить еврейскую сплетню и ревность жены.

— Вы шагаете какъ скороходъ, я за вами поспѣть не могу. У меня вѣдь грудь плоха. Я скоро задыхаюсь! потянула меня спутница слегка за рукавъ.

Мы начали спускаться съ длинной лѣстницы, высѣченной въ скалѣ и ведущей къ мосту.

— Тутъ я начинаю пользоваться своимъ женскимъ правомъ, не спрашивая вашего согласія. Дайте мнѣ руку, не то я упаду. Будетъ хуже: вамъ придется меня поднимать.

Она безцеремонно оперлась на мою правую руку. Почувствовавъ на своей рукѣ прикосновеніе нѣжнаго, теплаго локтя, я вздрогнулъ съ головы до ногъ; какой-то токъ электричества пронизалъ меня насквозь.

— Что съ вами?

— Я продрогъ что-то.

— Ха, ха, ха. Какой-же вы ледишекъ! Я легче васъ одѣта и не чувствую холода. Ахъ, посмотрите, что за прелесть!

Съ первыхъ ступень лѣстницы открылся красивый видъ. Глубоко внизу узкая, но бурная рѣчка, разорвавшая ледяные свои оковы, быстро стремилась куда-то, гоня предъ собою цѣлыя кучи льда. Эти кучи сталкивались на бѣгу, разбивались въ дребезги, громоздились однѣ на другія и обрушивались. Надъ рѣчкой стоялъ шумъ и гулъ водопада. Узкій, ровный, деревянный мостъ надъ высоко поднявшеюся, бурлившею рѣчкою казался сѣдломъ на спинѣ закусившаго удила коня. По ту сторону моста поднималась скалистая, дикая, обрывистая гора, а на горѣ виднѣлись красивые дома и домики, окруженные безлиственными деревьями. Вся эта живая панорама тускло освѣщалась заходящимъ матовымъ солнцемъ, задернутымъ густыми сѣрыми облаками.

— Прелестный ландшафтъ!

— Запомните. Вотъ вамъ сюжетъ для вашихъ работъ.

— Нѣтъ. Надо имѣть крупный талантъ, чтобы передать кистью подобный ландшафтъ. Вся прелесть заключается тутъ въ бурной жизни самой рѣчки и въ особенномъ колоритѣ этого сѣренькаго солнца. Тутъ холстъ долженъ жить, говорить, глаза колоть. Куда мнѣ, бѣдняжкѣ!

— Однако вы художникъ?

— Откуда вы это взяли?

— Сами вы сказали, что этимъ живете.

— То-есть мнѣ платять за мое пачканье. Это еще далеко не доказываетъ таланта. Маляръ обладаетъ четырех-этажнымъ домомъ, а непрославившійся еще Рафаэль можетъ умирать съ голода; въ Бетховена мальчишки бросаютъ камнями, а уличнаго музыканта толпа съ удовольствіемъ слушаетъ и подаетъ гроши.

— Вы музыкантша тоже?

— Немножко, да.

— Піанистка?

— Конечно. А что?

— Хотите познакомиться съ отличнымъ віолончелистомъ?

— Ахъ, нѣтъ.

— Почему-же?

— Я не намѣрена обзаводиться тутъ знакомствами. Притомъ я долго не рассчитываю прожить здѣсь. Что я стану тутъ дѣлать? У меня сердце сжалось отъ этихъ словъ. Я замолчалъ.

— Что вы замолчали вдруг?

— Я думал о... своемъ учителѣ, съ которымъ васъ хотѣлъ познакомиться.

— О какомъ учителѣ?

— О виолончелистѣ.

— Вы—музыкантъ? спросила меня спутница, остановившись и посмотрѣвъ мнѣ въ глаза.

— Немножко. Я коллега Паганини, но въ меня не бросаютъ каменьевъ, какъ въ Бетховена, слава-богу.

— Это доказываетъ, что вы—самая высокая геніальность, выступающая изъ общаго уровня, подшутила Пржиньская, засмѣявшись.—Хотите музицировать со мною?

— Съ большимъ удовольствіемъ, если съумѣю.

— „Если съумѣю“ я, быть можетъ, болѣе вправѣ сказать, чѣмъ вы. Мы будемъ учить другъ друга. Будетъ полезно и не скучно.

Взбираясь по крутой лѣстницѣ, высѣченной въ скалистой горѣ, ведущей къ фольверку, Пржиньская вдругъ остановилась, слегка закашлявшись.

— Я присяду на минутку, сказала она, опускаясь на камень, лежавшій на одной изъ ступенекъ, и вытирая платкомъ губы.

— Опять! произнесла она задумчиво. Глаза ея подернулись грустью.

— Что вы сказали?

— Послушайте, обратилась она ко мнѣ, томно улыбаясь.

— Что?

— Вы бонтесъ мертвецовъ?

— Что за вопросъ вдругъ!

— Я вѣдь кандидатка на мертвеца; ха, ха, ха!

— Мы всѣ кандидаты на мертвецовъ.

— Это правда. Ну, я отдохнула. Пойдемъ.

— Вы чувствуете себя дурно? встревожился я. Въ моемъ голосѣ слышалось, вѣроятно, много участія.

— А вы жалѣете меня?

Я посмотрѣлъ на нее, ничего не отвѣтивъ.

— У васъ хорошіе глаза, теплые. Замѣьте, я не говорю *красивые*. Прошу не зазнаваться, прибавила она, прижавъ мою руку.

— Я на это никакого права не имѣю.

— Права? Мужчина—сила; вотъ вамъ и право.

— Я... для васъ—не мужчина, сказалъ я нѣсколько ядовито.

— Что? ха, ха, ха! Дайте посмотрѣть на васъ: не институтка ли вы въ мужскомъ платьѣ?

— Не шутите. Я для васъ не мужчина, повторяю я серьезно.

— Что-же вы такое? ха, ха, ха!

— Я—еврей.

Она остановилась и строго посмотрѣла на меня.

— Знаю, что вы еврей. Что-же изъ этого?

— Евреи не имѣютъ права зазнаваться.

— Послушайте. Если вы питаете ко мнѣ хоть одну искру уваженія... если вы хотите быть моимъ... знакомымъ, то не смѣйте смѣшивать меня съ другими. Меня приучили съ дѣтства видѣть въ людяхъ—человѣка, а не русскаго, француза или турка, человека, а не христіанина, магометанина или язычника, человека, а не генерала, купца или мѣщанина. Я въ дѣтствѣ была даже влюблена въ одного изъ куперскихъ героевъ, индѣйца, ха, ха, ха! Если вы отнынѣ заговорите со мною такимъ языкомъ, я составлю себѣ очень дурное мнѣніе о васъ; я подумаю, что вы рисуетесь. А я рисовку люблю только на холстѣ, но не въ живыхъ людяхъ.

Боже мой, сколько блаженства слова эти влили въ мое изстрадавшееся сердце! Я выросъ въ собственныхъ глазахъ. Я хотѣлъ что-то сказать, но застѣнчивость и робость удержали меня. До самой квартиры мы оба молчали.

Пржиньская была въ восторгѣ отъ моего выбора.

— У васъ отличный вкусъ, похвалила она меня.—Я тутъ буду какъ въ раю. И спокойно, и уютно. Зелень предъ глазами, садовый воздухъ, солнце подъ абажуромъ. Прелесть!

— Не будетъ-ли черезчуръ ужъ уединенно?

— Тѣмъ лучше.

— Скучновато будетъ.

— Нисколько. Въ моемъ лексиконѣ нѣтъ слова „скука“. Я распакую мой небольшой запасецъ любимыхъ книгъ, мои альбомы, мои ноты, возьму рояль на прокатъ... Вы будете изрѣдка приходить ко мнѣ? Да?

Я чувствовалъ сильное волненіе, боялся обнаружить нетвердость голоса, кивнулъ головою вмѣсто отвѣта и поспѣшилъ позвать хозяина квартиры, чтобы уладить съ нимъ окончательно.

Мы возвращались въ городъ. Пржиньская была въ розовомъ настроеніи духа, шутила, острела при всякомъ случаѣ и болтала безъ умолку. Я отвѣчалъ односложными словами, улыбаясь черезъ силу.

— Если-бы ваши усы были длиннѣе, я, по глубокомысленности и серьезности вашей, сочла-бы васъ за святого Конфуція.

— Между тѣмъ я далеко не святой.

— Да вы въ святые и не годитесь: слишкомъ еще молоды.

— Вы сказали, что вы не намѣрены долго тутъ оставаться?

— А что?

— Куда-же вы думаете переселиться?

— Сама пока не знаю; соображусь.

— Съ чѣмъ?

— Вы любопытны.

— Неужели вы не допускаете другого... побужденія, кромѣ любопытства?

— Побужденія? Что-же можетъ быть другое?

— Допустимъ, любопытство. Удовлетворите-же этому чувству, если можно.

— Имѣйте нѣсколько терпѣнія... Ахъ, Боже мой! вскрикнула вдругъ моя спутница, вырвавъ руку и бросившись въ сторону.

Мы были на мосту. Держась одной ручонкою за перила моста, какая-то оборванная дѣвчонка лѣтъ четырехъ просунула голову между перилъ и всей верхнею частью своего тѣла перевѣсилась надъ бѣснующеюся рѣчкою, залюбавшись, вѣроятно, бѣшеною пляскою лѣдинъ. Пржиньская схватила дѣвочку за талію, оттянула и бѣгомъ перенесла на самую середину моста. Дѣвочка, схваченная внезапно сзади, переполошилась и заплакала. Пржиньская, поставивъ дѣвочку на ноги, поблѣднѣла, схватилась за грудь и зашаталась на ногахъ. Я поспѣшилъ поддержать ее. Она скоро очнулась.

— Ахъ, какъ испугалъ меня этотъ бѣдный ребенокъ, повисшій надъ...

Въ эту минуту приблизился какой-то еврей дикаго вида.

— За что вы, паня, бьете мою дочь?

— Другъ мой, оправдалась Пржиньская съ невыразимою добротою въ голосѣ и глазахъ,—ваша дочь просунула голову промежъ перилъ и такъ перегнулась, что малѣйшій толчокъ или испугъ могли ее погубить. Я ее оттянула отъ опаснаго мѣста.

— Спасибо вамъ, добрая паня, дай Богъ вамъ здоровье. А ты что лѣзешь, куда не слѣдуетъ? обратился отецъ къ дочери и потянулъ ее за ухо за собою.

— Бѣдный ребенокъ! За что онъ его наказываетъ? Развѣ онъ понималъ опасность, ему угрожавшую? Какъ страшно! болѣзненно воскликнула Пржиньская, вздохнувъ всѣмъ тѣломъ. — Моему воображенію представился злосчастный ребенокъ, уносимый бѣшеными волнами... Онъ протягиваетъ ручки... личико изуродовано

страхомъ и смертельной агоніей... льдины размозжаютъ головку... кровь! О, какъ я боюсь крови!

При этомъ восклицаніи вынырнуло одно изъ тяжелыхъ воспоминаній моего дѣтства. Мнѣ вспомнилось, какъ я, съ разбитой головой, ѣхалъ съ моими юными покровителями, Митей и Олей, какъ Оля, посмотрѣвъ на меня, испуганно вскрикнула: „Митя, крови!..“

Мы взбирались, молча, по лѣстницѣ, ведущей въ городъ, и сѣли отдохнуть. Наступилъ вечеръ. Густой туманъ окуталъ и мостъ, и фольверкъ, и самую рѣчку. Одинъ гулъ быстрого теченія рѣки и трескъ льдинъ продолжались по-прежнему.

— Какъ вы добры! сказалъ я, и сконфузился, чувствуя, что, повинувшись внутреннему побужденію, я высказался не въ пору и вовсе некстати.

— Съ чего вы это взяли? Не съ того-ли, что я оттащила ребенка? А вы не сдѣлали-бы то-же самое, если-бы замѣтили?

— Сдѣлали-бы... только не такъ, какъ вы.

— Вы совершили-бы этотъ геройскій подвигъ съ меньшимъ волненіемъ, съ меньшей порывистостью. А знаете, почему?

— Почему?

— Потому, что вы... обдумываете меня; другими словами: умиѣ.

— Вы скромничаете. Нѣтъ, не потому. Я не почувствовалъ-бы такъ глубоко. А доброта гнѣздится исключительно въ чувствахъ. Тутъ форма, въ которой чувство выражается, играетъ главную роль.

— Я съ вами несогласна. Чувство—не дѣло. Глубокое чувство—болѣзнь; оно портитъ дѣло, портитъ жизнь. Это состояніе пьянаго, разбивающаго лбомъ гранитную стѣну.

— Но вы вѣдь глубоко чувствуете, хоть и сознаете пользу противнаго?

— Сознаю вредъ гашиша и все-таки съ жадностью глотаю его, потому что только этимъ одуряющимъ предметомъ и живу. Но мнѣ это не мѣшаетъ отъ души завидовать тѣмъ, которые живутъ трезвѣ меня. Мое чувство изнуряетъ меня и вредитъ другимъ.

— Я имѣлъ только-что доказательство противнаго. Вы ребенку не повредили.

— Напротивъ, очень повредила. Я увѣрена, что вы, на моемъ мѣстѣ, отвели-бы въ сторону ребенка безъ всякихъ порывовъ, оховъ и аховъ. Ребенокъ не испугался-бы, злой отецъ не оборвалъ-бы ему ушей.

— Да, я и забылъ, что вы меня называете ледишкой.

— Не унывайте, однакожь:

И подъ снѣгомъ иногда
Бѣжитъ кипучая вода.

Впрочемъ, это одно только предположеніе... Я васъ почти не знаю.

Я ее довелъ до квартиры и началъ прощаться.

— Ко мнѣ не зайдете? Ну, тѣмъ лучше. Я очень устала. Раньше лягу. До послѣзавтра входъ ко мнѣ воспрещенъ. Я должна устроиться на моей новой квартирѣ, обзавестись нѣкоторымъ хозяйствомъ, нанять служанку. Но послѣзавтра вечеромъ милости просимъ отпраздновать со мною новоселье. До свиданія.

— Гдѣ ты шлялся до поздней ночи? прикрикнула на меня жена, когда я пришелъ домой.—Этого еще недоставало! Вся семья должна его ждать съ чаемъ.

— Пожалуйста, не ругайся. Я сегодня не расположенъ ссориться.

Я былъ счастливъ почти безсознательно. Я чувствовалъ наплывъ незнакомой мнѣ нѣжной доброты. Изъ сердца тихо струилась какая-то живительная теплота. Мнѣ хотѣлось обнять весь міръ, приласкать всѣхъ, приласкаться ко всѣмъ. Я въ первый разъ нѣжно заговорилъ съ дѣтьми, приласкалъ ихъ. Они сначала меня дичились, недовѣрчиво посматривая на меня изъ подлобья, но, почувствовавъ своимъ дѣтскимъ инстинктомъ искренность моихъ ласкъ, отдались мнѣ съ удовольствіемъ. Одни клали свои головки ко мнѣ на колѣни, другія загрызали со мною, заливаясь серебристымъ смѣхомъ. Я шутя принялся причесывать ихъ. Въ первый разъ всмотрѣлся я въ ихъ личики, нашелъ ихъ миляшками и горячо цѣловалъ.

— Какой это медвѣдь подохъ въ лѣсу? удивилась жена.

На еврейскомъ жаргонѣ восклицаніе это равносильно фразѣ „что за чудо!“

— Что такое?

— Вдругъ нѣжности къ ночи! Къ чему ты ихъ чешешь на сонъ грядущій?

— Я съ этихъ поръ самъ буду ихъ чесать, умывать и одѣвать каждое утро. Ты увидишь, какія они у меня будутъ хорошенькія.

— Ты, кажется, сегодня пьянъ!

— Нѣсколько—да.

— Съ чѣмъ и поздравляю.

Я былъ безконечно счастливъ въ этотъ вечеръ. Пржиньская показала мнѣ существомъ другого міра. Я въ первый разъ въ жизни

столкнулся лицомъ къ лицу съ однимъ изъ тѣхъ очаровательныхъ созданій, которыя я считалъ мнѣю, плодомъ воображенія поэтовъ и романистовъ. Грація и умъ, чувство и мысль; мягкость и женская сила, обаятельная рѣчь и красота,—все было, какъ мнѣ казалось, соединено въ этой молодой особѣ, удостоивающей меня лестнаго вниманія, обращающейся со мною, какъ съ равней. Я себѣ никогда не правился, считалъ себя некрасивымъ до отвращенія, былъ застѣнчивымъ до смѣшнаго, ненаходчивымъ въ женскомъ обществѣ до глупости. Почему-же я говорю такъ свободно съ Пржиньской? Отчего она видимо желаетъ упрочить свое знакомство со мною? Неужели я, какъ человѣкъ, ей хоть сколько-нибудь правлюсь? Мое самолюбіе отвѣчало: „да“. Я не зналъ еще женщинъ, не зналъ, что есть между ними такія, которыя заставляютъ заговорить камень, которыя умѣютъ нагальванизовать нравственно-умирающаго, которыя одной улыбкой умѣютъ высѣкать огонь изъ кремня. Если-бы я зналъ это, то я свое бѣдненькое я не поднялъ-бы на высокія ходули, такъ, сразу.

Я едва дождался вечера, опредѣленнаго Пржиньскою для празднованія новоселья, какъ она выразилась. Съ заходомъ солнца, я скорымъ шагомъ пустился по направленію къ фольверку. Судьба подпучивала надо мной, наталкивая меня на назойливыхъ знакомыхъ, допрашивавшихъ меня, куда и зачѣмъ я спѣшу. Иные вызывались идти по одной дорогѣ со мною. Я тщательно скрывалъ мое знакомство съ Пржиньскою. Мнѣ приходилось надуть знакомыхъ, отправляться съ ними, подъ предлогомъ прогулки, въ противоположную сторону и, прибѣгая къ разнымъ хитростямъ, увертываться отъ нихъ. Было уже совершенно темно, когда я, задыхаясь, съ быстро-бьющимся сердцемъ, явился въ маленькую залу моею прелестной знакомой.

— Очень мило! Я уже два часа жду васъ, ласково упрекнула меня Пржиньская, подавая обѣ руки.

— Повѣрьте, что остановка была не за моимъ желаніемъ. Видите, какъ я торопился: чуть перевозжу духъ.

— Бѣдненькій! За то я васъ удобно усажу. Садитесь сюда и отдохайте, пока я стану хозяйничать.

Она, указавъ мнѣ на козетку, сама вышла въ другую комнату.

При свѣтѣ лампы, ярко освѣщавшей залу, я почти не узналъ знакомой комнаты,—такъ все въ ней измѣнилось къ лучшему. Мебель была дополнена нѣсколькими комфортабельными предметами и небольшими зеркалами; простыя, но бѣлыя, какъ снѣгъ, занавѣски, собранныя подъ хорошенькіе розовые бантики, множество

горшковъ съ цвѣтами и простенькое пьянино въ одномъ углу совершенно преобразовали видъ жилья, какъ-будто всѣ предметы окрасились взглядомъ изящной хозяйки, ожили подъ ея хорошенькой ручкой.

— Это просто рай, похвалилъ я квартиру, когда Пржиньская возвратилась и усѣлась рядомъ со мною.

— Какъ-же *вы* въ него попали, грѣшникъ?

— Видно не грѣшникъ, коли попалъ.

— Нѣтъ. Вы согрѣшили и я васъ накажу.

— Чѣмъ это?

— Вы соврали, непросительно соврали, добавила она, серьезно и строго посмотрѣвъ мнѣ въ глаза.

— Не чувствую за собою, не помню.

— Неужели вы такъ часто говорите неправду, что и счетъ уже забыли?

— Я, право, не догадываюсь...

— Послушайте, вы соврали; положимъ, соврали изъ вѣжливости, изъ сожалѣнія къ слабой женщинѣ, но тѣмъ не менѣе это ложь; а я всякую ложь, въ какой-бы формѣ она ни выразилась, терпѣть не могу.

— Иногда ложь необходима, полезна и похвальна, сказалъ я, смѣясь, начиная догадываться.

— Никогда. Ложь всегда вредна и обидна. Я не знаю той формы, въ которой ложь могла-бы называться похвальною.

— Представьте себѣ доктора у постели умирающаго.

— Ну-съ?

— Неужели вы не позволите доктору соврать больному для минутнаго утѣшенія?

— Подобный поступокъ со стороны медика — гнусенъ. Напротивъ, онъ долженъ прямо объявить больному: „Сударь, приготовляйтесь къ худшему, спѣшите сдѣлать все то, что вамъ нужно сдѣлать!“

— Отнять у человѣка послѣднюю надежду?

— Напрасная надежда — вздоръ, сладенькое щекотаніе, послѣ котораго человѣкъ пуще слабѣетъ и опускается. Однако, пойдемъ чай пить. Съ вами всегда впадешь въ философію, какъ съ истымъ нѣмцемъ.

Небольшая столовая, скудно меблированная, но блестящая при свѣтѣ большой лампы опрятностью, совершенно потеряла прежній пустынный видъ и носила отпечатокъ домовитости. На столѣ ши-

пѣлъ новый самоваръ, около котораго суетилась молоденькая служанка съ польскимъ типичнымъ носикомъ.

— Констансъ, вы больше мнѣ не нужны; я сама буду хозяйничать.

— Какая милашка! не правда-ли? указала Пржиньская глазами на удалявшуюся служанку.

— Да, недурна, согласился я.

— Не дурна? Какой вы флегма! Она просто чудо. Если-бы я была очень богата, то подобрала-бы вокругъ себя все, что есть красиваго и изящнаго. О, какъ я не люблю все некрасивое!

— Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ съ вами попрощаться, сказала я, улыбаясь и поднимаясь со стула.

— Ахъ, я и забыла, что вы далеко не Адонисъ. Ну, ничего: вы — не въ счетъ.

— Почему?

— Почему, почему! Вы вѣчно съ своими противными вопросами. Пейте свой чай и не разсуждайте, какъ любознательный, маленький школьникъ.

— Вы удачно выразились: я именно, въ житейскомъ отношеніи, совершенный школьникъ.

— А я вѣдь знаю нѣсколько вашу жизнь, представьте себѣ.

— Вы? какимъ это образомъ? удивился я, покраснѣвъ и взволновавшись.

— Видите, какая я опасная шпионка! Вы недовольны?

— Напротивъ, это лестно. Вы немножко, значить, интересуетесь мною.

— Ну, вотъ. Уже и зазнается! Я, точно, нѣсколько интересовалась вами. Вы отчасти причиною тому, что я очутилась здѣсь.

— Я? Что вы?

— Ну-да, вы. Я тщательно разспрашивала о васъ мою болтливую хозяйку-еврейку и узнала многое, даже сколько у васъ дѣтей. Ха-ха-ха!

Я упала съ седьмого неба. Я былъ подъ вліяніемъ какой-то иллюзіи, мгновенно улетучившейся при первомъ соприкосновеніи съ существенностью.

— Вы удивлены, не правда-ли? Вы все поймете, когда я вамъ объясню. Но прежде всего позвольте васъ побранить.

— Браните, только скажите, за что.

— А вотъ за что. Читайте.

Пржиньская достала изъ кармана исписанный листокъ почтовой

бумаги, передала мнѣ и вышла. Почеркъ былъ Пржиньскаго. Онъ писалъ слѣдующее:

„Когда получишь это письмо, я буду уже далеко отсюда. Я на колѣняхъ передъ тобою, недостижимое счастье моей жизни! Я не заслуживаю не только твоей дружбы, но и твоего состраданія. Я человѣкъ погибшій, потерянный навсегда. Не сожальи меня.

„Ты общалась, но долго не пріѣзжала. Я горѣлъ нетерпѣніемъ и предался той страсти, которая исковеркала всю мою жизнь, которая отторгнула тебя, мое сокровище, отъ моего сердца. Въ скотскомъ видѣ, я увлекся роковымъ бѣшенствомъ, оскорбилъ моего друга и покровителя. Постарайся увидѣть его и замолви за меня доброе слово. Ты знаешь, какъ я несчастенъ своей слабостью. Забудь меня, а я вѣчно тебя благословлять буду“. Пржиньскій.

„Р. S. Податель письма объяснить тебѣ все случившееся со мною болѣе подробно. Меня душатъ слезы. Я проклинаю себя“.

Меня это письмо смутило. Я вертѣлъ его въ рукахъ. Передъ глазами носился неизящный образъ Пржиньскаго, какимъ я его видѣлъ въ послѣдній разъ.

— Теперь вы понимаете, за что я васъ хочу бранить и почему я вами интересовалась?

— Ради Бога, объясните мнѣ. Вы...

— Я—жена Пржиньскаго.

Я изумился.

— Не считайте его записнымъ пьяницею. Онъ человѣкъ порядочный, съ добрымъ сердцемъ и не безъ способностей. Его исковеркали воспитаніемъ въ дѣтствѣ и юности. Въ немъ нѣтъ ни характера, ни силы воли. Это—тряпка, мокрая курица, которая, однакожь, въ хмѣльномъ видѣ превращается въ дикаго, кроваваго звѣря. Но вы меня не слушаете? Это не вѣжливо, усмѣхнулась Пржиньская, слегка дотронувшись до моего локтя.

— Признаюсь, я пораженъ. Пржиньскій и вы...

— Да. Я вѣдь влюбилась въ него до безумія. Послѣ смерти моей дорогой матери, я переселилась въ Варшаву, къ моей единственной родственницѣ. На первомъ балѣ, который я посѣтила, я познакомилась съ красавцемъ, ловкимъ танцоромъ, смѣлымъ болтуномъ, офицеромъ Пржиньскимъ, и полюбила его всѣми силами моей пылкой натуры. Прямо, почти со скамьи институтской, я бросилась, очертя голову, въ вихрь жизни. Моя натура не переноситъ ни полумѣръ, ни получувствъ. Я отдалась вся. Меня предостерегали насчетъ Пржиньскаго, человѣка развратнаго, отчаяннаго кутилы. Но то, за что всѣ его порицали, мнѣ въ немъ имен-

но и нравилось. Я была напичкана романами французской фабрикаціи. Солидные, разсудительные мужчины казались мнѣ ходячими мертвецами, школьными учителями, живою скукою. Мнѣ нравилось, что въ Пржиньскомъ жизнь бьетъ ключемъ, въ глазахъ горитъ пожирающій огонь. Этотъ человѣкъ, какъ я его поняла, не пощадитъ въ минуту увлеченія чужую жизнь, но не покусится и на свою собственную. Онъ началъ посѣщать насъ почти ежедневно. Онъ всегда былъ пылокъ, необузданъ, но приличенъ. Не прошло и мѣсяца, какъ Пржиньскій сдѣлалъ мнѣ предложеніе. Я была, какъ по лѣтамъ, такъ и по положенію, независимой и съ радостью приняла это предложеніе, увѣдомивъ моего единственнаго брата, служившаго на Кавказѣ, какъ о дѣлѣ рѣшенномъ. Моя родственница, любившая меня какъ дочь, не одобряла моего выбора, доказывала, что Пржиньскій глупъ, неразвитъ и грубъ; она разузнавала о всѣхъ неприличныхъ похожденіяхъ Пржиньскаго и передавала мнѣ. Я ничего слышать не хотѣла. „На него клеветуютъ!“ утверждала я и упорно настояла на своемъ. И что-же? Не прошелъ еще медовый мѣсяцъ, какъ я почувствовала уже свою ошибку. Пржиньскій обожалъ меня, но въ этомъ обожаніи было столько грубаго, животнаго, почти циническаго, что возмущало мою не грубую натуру. Меня ничто такъ не оскорбляетъ, какъ пошлое, грязное. Характеръ Пржиньскаго и его привычки были не мнѣ возмутительны. Я не могла переваривать его самоволья и буйства съ прислугою, его оскорбительнаго обращенія съ людьми, посѣщавшими домъ моей родственницы, гдѣ мы жили въ первое время послѣ свадьбы. Онъ всегда безотлучно торчалъ возлѣ меня, ревновалъ ко всякой мысли, въ которой онъ не игралъ исключительной роли, ко всякой книгѣ, за которую я принималась, къ моимъ нотамъ, ко всему, ко всему. Его любовь выражалась въ такой деспотической, безпощадной формѣ, что я почувствовала себя несчастной. А это было всего мѣсяцъ послѣ свадьбы. Однажды я не выдержала и сказала мужу что-то непріятное. Онъ оскорбилъ меня. Родственница заступилась за меня, Пржиньскій площадно оскорбилъ и ее. Я объявила ему, что между нами все кончено. Онъ выбѣжалъ изъ дому и двое сутокъ не являлся. Онъ закутилъ на мое приданое съ достойными друзьями, и закутилъ самымъ скотскимъ образомъ. Отрезвись, онъ явился ко мнѣ съ повинною головою, на колѣняхъ вымаливая прощеніе. Я не любила уже его. Но родственница умаслила меня; я простила. Не прошло и недѣли, какъ Пржиньскій, у себя за столомъ, послѣ нѣсколькихъ стакановъ вина, бросилъ тарелку въ лицо своему товарищу офицеру, обѣдав-

пему у насъ, за какую-то пошлую, но необходимую любезность, сказанную мнѣ. Дѣло дошло-бы до самой скандальной развязки, если-бы обиженный не уступилъ моимъ просьбамъ. Этотъ опозитизированный герой Пржиньскій упалъ въ мои глаза до обыкновеннаго пьянаго буяна, до безумнаго животнаго. Присмотрѣвшись къ нему не подъ вліяніемъ ослѣплявшей меня страсти, я убѣдилась, что мой идеалъ, на самомъ дѣлѣ, очень глупъ, неразвитъ и почти неучъ; что я наложила на себя невыносимое, ненавистное ярмо, и, съ свойственной мнѣ рѣзкостью, рѣшилась спасти свою жизнь отъ поруганій и обидъ. Я объявила Пржиньскому о своемъ неизмѣнномъ рѣшеніи разойтись навсегда и начала относиться къ нему, какъ къ совершенно чужому человѣку. Онъ это переварить не могъ. Когда ни его мольбы, ни слезы не поколебали моего твердаго рѣшенія, онъ прибѣгнулъ къ сценамъ, оскорбленіямъ и насилію, къ самымъ скандальнымъ мѣрамъ... Какъ я была несчастна и какъ проклинала себя! Кончилось тѣмъ, что я выписала брата съ Кавказа. Братъ обожалъ меня. Онъ прилетѣлъ въ Варшаву и взялъ меня съ собою на Кавказъ. Пржиньскій перевелся тоже на Кавказъ и послѣдовалъ за нами. Братъ не пускалъ его къ себѣ на глаза. Я жила уединенно и принялась за свое болѣе серьезное образованіе. Все, что отъ моей доброй матери осталось, досталось мнѣ. Братъ ничего себѣ не взялъ, жилъ однимъ казеннымъ жалованьемъ, и жилъ, конечно, бѣдно. Я тоже ничего не могла вырвать изъ рукъ Пржиньскаго, спустившаго все въ короткое время. Я не хотѣла обременять собою брата и принялась помогать ему то уроками, то живописью. Мнѣ везло. Я не только содержала себя, но успѣла накопить небольшія деньги, на которыя пріѣхала сюда и на которыя надѣюсь добраться до Варшавы.

— Послѣ разсказа вашего, я не понимаю, какъ рѣшились вы опять сойтись съ мужемъ.

— Позвольте, я не досказала еще. Пржиньскій цѣлый годъ осаждалъ своими письмами, умоляя меня, обвиняя и проклиная себя, обѣщая исправиться отъ своихъ пороковъ. Братъ умолялъ меня за Пржиньскаго, но я ненавидѣла его,—хуже, я презирала его. Пржиньскій зажилъ прежнею жизнью. Имя его было опозорено въ полку. Когда у него не хватало средствъ на кутежи, онъ унижалъ свое офицерское достоинство разными неблаговидными выходками. Его избѣгали товарищи, зная его бѣшеный, необузданный нравъ. Разъ между нимъ и другомъ его, такимъ-же, какъ и онъ самъ, вышла дуэль изъ-за какой-то грязной маркитантки. Онъ тяжело ранилъ своего противника. Его хотѣли предать суду, но, по ходатай-

ству моего брата, всеобщаго любимца, удовольствовались тѣмъ, что заставили его подать въ отставку, и позаботились о томъ, чтобы онъ впредь не могъ поступить никуда на службу. Прошло болѣе трехъ лѣтъ. Отъ него никакихъ извѣстій не было. Какъ вдругъ Пржинскій опять началъ осаждать меня и брата слезными письмами. Онъ клялся, что, оставивъ военную сферу, онъ совершенно переродился въ другого человѣка, что онъ съ честью занимаетъ видное мѣсто на частной службѣ, что онъ обожаетъ меня попрежнему, что онъ жизнью пожертвуетъ, чтобы загладить вину своей первой молодости. Я ничего слышать не хотѣла и всѣ просьбы брата за Пржинскаго не поколебали моей твердости. Прошло опять болѣе года. Пржинскій опять возобновилъ переписку съ братомъ, умоляя его повліять на меня. Онъ звалъ меня къ себѣ, обѣщая составить мое счастье и загладить вину. Въ доказательство своей порядочности, онъ приложилъ ваше письмо, которымъ вы, въ очень лестныхъ и теплыхъ выраженіяхъ, вызывали его на службу. Это письмо, въ самомъ дѣлѣ, много и краснорѣчиво говорило въ пользу Пржинскаго. Но мнѣ нравилась моя независимая жизнь, поддерживаемая собственными силами и собственнымъ трудомъ. Я знаю свою маленькую эксцентричность. Къ моимъ чувствамъ примѣшивается всегда извѣстная доля упорства. Я разлюбила нѣкогда страстно любимаго человѣка и не могла себя заставить сойтись съ нимъ вновь, тѣмъ болѣе, что уже не смотрѣла на жизнь и людей съ точки неопытной, жаждущей любви институтки, влюбляющейся, собственно говоря, не въ человѣка, а въ *самую потребность* любить. Я знала, что я далеко ушла впередъ и относительно развитія далеко оставила Пржинскаго за собою. Какъ же мнѣ сойтись съ нимъ? Надѣть маску супруги-содержанки? Фи! Это не въ моемъ характерѣ и не въ моихъ правилахъ. Я наотрѣзъ отказалась и продолжала жить свободно и счастливо, какъ неожиданный несчастный случай побѣдилъ меня. Мой обожаемый братъ, въ одной изъ частыхъ стычекъ съ горцами, былъ безнадежно раненъ. Это была самая ужасная минута въ моей жизни. Я въ немъ лишилась всего, что было мнѣ мило и дорого.

Голосъ Пржинской при этомъ тяжеломъ воспоминаніи осѣкся. Она свѣсила голову, прижала правою рукою лѣвую сторону груди и два ручья слезъ устрѣмились по блѣднымъ щекамъ. Я молчалъ и страдалъ вмѣстѣ съ нею.

— Я не оставляла брата ни на минуту, продолжала нѣсколько успокоившаяся Пржинская. — Онъ скончался въ моихъ объятіяхъ... Онъ все время бредилъ, никого не узнавалъ, но за полчаса до

кончины онъ пришелъ въ себя, какъ человѣкъ, проснувшійся отъ кошмара, и устремилъ на меня свои добрые, нѣжные глаза. „Ты любишь меня, сестра?“ спросилъ онъ меня какъ-то торжественно. Я зарыдала. „Хочешь, чтобы я выздоровѣла?“ Я прильнула къ его рукѣ, не будучи въ состояніи вымолвить ни слова. „Объщай, клянись мнѣ, простить мужу и сойтись съ нимъ“. Я не успѣла собраться съ силами, чтобы отвѣтить что-нибудь, какъ брата моего не стало. Я рѣшилась исполнить волю умирающаго и сообщила объ этомъ Пржиньскому. Я скоро получила отъ него отвѣтъ на мое письмо, отвѣтъ полный радости и восторга. Я собралась въ путь, но сильно заболѣла простудой. Моя поѣздка затянулась на нѣсколько мѣсяцевъ. Приѣхавъ сюда, какъ вамъ извѣстно, я уже Пржиньскаго не застала. Мнѣ какой-то господинъ вручилъ письмо, которое я вамъ показала, и рассказалъ все то, что вы такъ тщательно скрыли отъ меня. Я рѣшилась-было уѣхать немедленно въ Варшаву, къ моей родственницѣ. По правдѣ сказать, я была безконечно рада, что такъ дешево отдѣлалась отъ молчаливаго общанія, даннаго умирающему. Но заболѣла тутъ и не оправилась еще до сихъ поръ. Торопиться, въ сущности, некуда. Жить пока имѣю чѣмъ. Дождусь полной весны и умчусь. Вотъ и все. Вполнѣ-ли удовлетворено ваше любопытство?

— Нѣсколько, да. Но...

Я замаялся.

— Но... что?

— Читали-ли вы „Большую барыню“ Вонлярлярскаго? сорвалось у меня съ языка, почти противъ моей воли. Я почувствовалъ неумѣстность этого вопроса, но было уже поздно.

— Нѣтъ. А что?

— Вы... принесли мнѣ много вреда.

— Я? Чѣмъ? удивленно спросила меня Пржиньская, недоумѣваяще посмотрѣвъ мнѣ въ глаза.

— Я въ это короткое время... успѣлъ привыкнуть къ вашему обществу... Мнѣ тяжело подумать, что вы скоро уѣдете, оставивъ неизгладимые слѣды въ моемъ существованіи, въ моемъ жалкомъ прозябаніи.

— Вы раскаяваетесь, что познакомились со мною?

— Къ чему возмущили вы мое спокойствіе?

— Оставьте. Вы, какъ человѣкъ разсудительный, мнѣ гораздо болѣе нравитесь. Вамъ не къ лицу раскисать. Вы въ такое короткое время не могли... узнать меня. Пойдемте, я вамъ кое-что

сыиграю. Но вы не смѣйтесь надо мною. Я вѣдь очень бѣдненькая музыкантша. .

Пржиньская взяла нѣсколько задумчивыхъ, небрежныхъ, минорныхъ аккордовъ и незамѣтно впала въ одну изъ глубокихъ шопеновскихъ мелодій, полныхъ неотразимой грусти и затаенныхъ страданій. Она играла съ большимъ смысломъ, не обладая большой техникой. Всякая нота хлестала прямо въ сердце. Я жадно слушалъ. Мелодія вполне гармонировала съ настроеніемъ моей души.

— Вы не смѣетесь надъ моей жалкой игрой? спросила она, весело-кокетливо повернувъ ко мнѣ голову.

Я продолжалъ молчать. Она тихими шагами приблизилась ко мнѣ.

— Что съ вами? спросила она меня, дотронувшись до моей руки.

— Не знаю самъ... Я не могу равнодушно слышать Шопена.

Я взялся за шляпу.

— Куда-же вы, несносный? Я больше играть не буду.

— Я начинаю бояться васъ. Вы... madame Пржиньская... *Большая барыня*. Прощайте!

— А вы... престранный человѣкъ. Au revoir.

Я не ушелъ, а почти убѣжалъ отъ нея. Во мнѣ кипѣла злоба противъ самого себя. Я проклиналъ свою слабость, свое малодушіе, свое восковое сердце.

— Съ тобою заигрываютъ, какъ съ котенкомъ, скуки ради, отъ нечего дѣлать, на безрыбѣ, а ты расчувствовался, упрекалъ я самого себя.—Что ей во мнѣ, въ человѣкѣ бѣдномъ, мѣщанинѣ, жидѣ... Надо мною смѣются, издѣваются, какъ надъ дуракомъ, и подѣломъ: не забывайся.

Я полюбилъ эту женщину всѣми силами проснушагося моего сердца. Но мое деспотическое самолюбіе возставало противъ этого чувства. Разсудокъ говорилъ въ пользу самолюбія, представляя безцѣльность подобнаго увлеченія, которое принесетъ мнѣ однѣ горести. Я твердо рѣшился обуздать себя еще больше, прекратить свои посѣщенія на всегда.

Три дня мое сердце рвалось къ Пржиньской, но я не поддавался ему. Борьба эта съ самимъ собою разстроила меня. Въ головѣ бродили какія-то горькія думы, предъ глазами, во снѣ и на яву, безпрестанно носился милый образъ, то нѣжно манящій меня къ себѣ, кокетливо грозя изящнымъ пальчикомъ, то упрекающій нѣжно-укорительнымъ взоромъ, то презрительно и насмѣшливо улыбающійся. Я глубоко страдалъ, но былъ доволенъ собой.

На чет в ертый день мнѣ принесли записку отъ Пржиньской.

„Я расхворалась не на шутку. Другой уже день не схожу съ постели. Пришлите мнѣ ради Бога медика.“

Моя твердая рѣшимость въ мигъ разлетѣлась въ пухъ и прахъ. Я побѣжалъ къ одному изъ лучшихъ медиковъ города и самъ отвезъ его къ больной.

Пока медикъ оставался взаперти съ паціенткой въ ея спальнѣ, я, глубоко задумавшись, шагаль нетерпѣливо по залѣ.

Осторожно вошла Констансъ.

— Наша барыня очень, очень больна, сказала она мнѣ шопотомъ, съ намернувшимися на глазахъ слезами.

— Съ чего вы это взяли, Констансъ? встревожился я.

— Она... кажется, харкаетъ кровью.

— Вы замѣтили?

— Она причется... Но всѣ почти платки, которые я отдала въ стирку, въ крови.

Меня охватило невыразимо тяжелое чувство, сжавшее мнѣ сердце. Служанка замѣтила это.

— Но это еще не такъ опасно, спохватилась она.—Моя старшая сестра нѣсколько лѣтъ къ ряду тоже харкала по временамъ кровью. Ни за что не хотѣла лечиться, а теперь совсѣмъ выздоровѣла, даже растолстѣла. Это ничего.

Вышелъ медикъ. Я проводилъ его.

— Что паціентка, докторъ?

— Я прописалъ... посоветовалъ... Ей надобно беречь себя.

— Она опасно больна?

— Съ чего вы это взяли? Однако... она богатая женщина?

— А что?

— При средствахъ ей не мѣшало-бы пожить въ тепломъ климатѣ.

— Значить, у ней...

— Нѣтъ. Но... нѣкоторое предрасположеніе водится.

Я вошелъ къ больной.

— Мерсі, весело улыбулась она, протянувъ мнѣ обѣ руки, лежа въ постели совсѣмъ одѣтая.

— Довольны вы медикомъ?

— Не за него я васъ благодарила, а за васъ. Вы въ послѣдній разъ такъ рѣшительно попрощались со мною, что я потеряла надежду увидѣть васъ еще разъ у меня.

— Что вамъ во мнѣ! процѣдилъ я сквозь зубы.

— Не раздражайте меня. Я очень больна.

— Что сказалъ вамъ докторъ?

— То, что всѣ доктора говорятъ, что всѣ ворожен говорятъ: утѣшилъ. Ха, ха, ха! Я его вѣдь надула, не все сказала.

— И вамъ не стыдно?

— Нисколько.

— Вы-же сами врагъ всякой лжи?

— Мнѣ простительно. Я боюсь, чтобы докторъ не вздумалъ радикально меня лечить, начиная издалека; я добиваюсь одного палліативнаго средства. Въ Варшавѣ, у себя дома, я уже посерьезнѣе полечусь.

— Я беспокоюсь за васъ.

— Напрасно. Вы увидите, какъ скоро я окрѣпну подѣ вліяніемъ прекраснаго весенняго солнца. Вы не поспѣете за мною, когда я пущусь бѣжать на прогулкахъ, за городомъ. *Nota bene*: если вы захотите быть моимъ *chevalier d'honneur*.

— За этимъ дѣло не станетъ, поправьтесь только скорѣе.

— Скажите на милость, чѣмъ я васъ разсердила въ прошлый разъ, что вы убѣждали отъ меня какъ шальной? Это было съ вашей стороны невѣжливо, даже, извините за правду, нѣсколько грубо.

— Не спору. Моя жизнь такъ сложилась, что незнаніе свѣтскихъ приличій не должно быть вмѣняемо мнѣ въ вину.

— Вамъ, особенно вамъ, стыдно оправдываться невмѣняемостью: если у васъ природная сметка, то она должна выражаться во всемъ.

— Вы умѣете позлащать горькую пилюлю.

— Что-же съ вами дѣлать, когда иначе вы ихъ глотать не умѣете? Вы—капризный человѣкъ! За что вы изволили прогнѣваться на меня? Только прошу не врать.

— Не на васъ, а на себя я разсердился.

— А на себя за что?

— Оставимъ это.

— Пожалуй, оставимъ. Только приходите почаще. Да? Ну, дайте руку, будемъ друзьями.

— Послушайте! крикнула она мнѣ вслѣдъ, когда я выходилъ.— Если вы сегодня-же вечеромъ не придете разсѣять мою тоску, я опять потребую, чтобы вы прислали мнѣ медика. Ха, ха, ха!

Ея веселый, искренній смѣхъ заразилъ и Констансъ, провожавшую меня.

— Нѣтъ, вы приходите, въ самомъ дѣлѣ. Барыня такъ васъ хвалить. Она такая милая, добрая! я не видала еще такой.

Скверная мысль вползла мнѣ въ голову, когда я ускоренными шагами спѣшилъ въ должность. „Со мною кокетничаютъ. Я оселокъ, на которомъ оstrarя свою женскую чарующую силу. Констансъ такъ плутовски посмотрѣла на меня, когда пригласила приходить. Она, быть можетъ, дѣйствуетъ заодно, по инструкціи. Не изобрѣла-ли служанка исторію кровохарканья для большаго эффекта? Пржиньская совсѣмъ не похожа на тяжело-больную: такая свѣжая, розовая, веселая! Доктора тоже одурачили. Но для чего все это? Вѣдь я ничтожный бѣднякъ—побѣда не важна и безплодна!“

Въ первый разъ я былъ радъ своей бѣдности. „Со мною кокетничаютъ, это—фактъ, рассуждало мое самолюбіе.—Но это все-таки доказываетъ, что меня не считаютъ такимъ-же нравственнымъ ничтожествомъ, какъ и матеріальнымъ. Если хотятъ побѣдить, то, конечно, побѣда стоитъ чего-нибудь“. Отнынѣ я рѣшился не избѣгать опасности, а бороться съ нею, держать и сердце, и языкъ на привязи и выказывать силу, которой я за собою совсѣмъ не чувствовалъ.

Я началъ бывать у Пржиньской почти ежедневно. Она чрезъ нѣсколько дней совсѣмъ выздоровѣла. Иногда я заходилъ на нѣсколько минутъ, иногда оставался до поздней ночи. Я разыгрывалъ съ ней дуэты. Она несравненно глубже меня понимала музыкальную дикицію. Совѣтуемые ею нюансы придавали музыкальнымъ фразамъ совершенно другое значеніе. Она была артистка въ душѣ. Особенно много трудилась она со мною надъ ея любимой эллегіей Эрнста.

— Сколько смысла, сколько грусти, ропота и томительной тоски въ этой неподражаемой мелодіи! Такъ и видно, что ее создала не холодная наука, не педантъ композиторъ, ее создало сердце. Это крикъ, это плачь изнемогающей души, пораженной страшнымъ горемъ. Когда я умру, когда захотите вспомнить меня, играйте эллегію, но играйте ее такъ, какъ я вамъ совѣтую, какъ вы ее теперь съиграли. Да? сказала мнѣ однажды Пржиньская, оставшаяся довольною моею, случайно удачною, игрою.

— Что за охота наводить тоску постоянной мыслью о смерти?

— Я такъ и думала, что вы бонтесъ мертвецовъ. Не будьте трусомъ. Я не люблю мужчинъ трусовъ. Надобно умѣть смотрѣть натуральнымъ явленіямъ прямо въ глаза, не мигая, не краснѣя и не блѣднѣя.

Мы часто читали вмѣстѣ, спорили и попадали на серьезные темы. Нерѣдко я оставался побѣдителемъ въ литературномъ или фи-

лософскомъ спорѣ. Собесѣдница моя, если проникалась моимъ мнѣніемъ, не колеблясь признавала ошибочность своего взгляда, безъ ложнаго стыда. Она начала учиться у меня нѣмецкому языку, платя мнѣ уроками французской грамоты, которая съ большимъ трудомъ мнѣ давалась. Я былъ безконечно счастливъ съ нею. Я боготворилъ ее молча. Она платила мнѣ такую теплою, неподдѣльную дружбою, что страхъ потерять ее сковывалъ мой языкъ, очень часто порывавшійся перешагнуть границы безкорыстной дружбы. Въ слабыя минуты сердце переполнялось до того, что мнѣ оставалось или облегчить его искреннимъ словомъ, или убѣждать домой. Я прибѣгалъ къ послѣднему. Пржиньская никогда не удерживала меня.

Какъ святыню пряталъ я и свое глубокое чувство, и свое знакомство съ предметомъ моего обожанія. Я боялся еврейской сплетни, боялся ревности жены. Одно оскорбительное слово насчетъ моей любимицы могло-бы сдѣлать меня несчастнымъ. Я это чувствовалъ, дрожалъ и скрывался. Но не предъ всѣми, однакожъ. Одинъ человѣкъ зналъ завѣтную тайну моего сердца, всѣ горести и радости прошлой и настоящей моей жизни. Это былъ мой безкорыстный другъ и музыкальный наставникъ, старый виолончелистъ. Онъ самъ въ своей жизни страстно любилъ, онъ понималъ, сочувствовалъ мнѣ. Онъ помогалъ мнѣ маскировать мои частныя вечернія отлучки предъ женою, подъ предлогомъ небывалыхъ тріо и квартетовъ. Я представилъ его Пржиньской. Она сильно привязалась къ нему, а онъ былъ отъ нея въ восторгѣ.

— Люби, мой другъ, пока любится, пока измѣна и обманъ не охладилъ твоего сердца. Любовь—это то священное пламя, которымъ согрѣвается человѣческая жизнь, освѣщается извилистый путь существованія. Безъ любви—холодъ и мракъ кругомъ, говорилъ мнѣ часто неостывшій еще старикъ, хотя десятки разъ въ жизни былъ уже обманутъ, разочарованъ. Ему я былъ обязанъ той силой, которая удерживала мой языкъ отъ слова „люблю“, той силой, которая ставила меня въ глазахъ обожаемой женщины въ лучшемъ свѣтѣ.

— Повѣрь мнѣ, созрѣвшее чувство сильнѣе человѣка, оно прорвется наружу. Лучше ждать, чѣмъ вымогать, ободрять онъ меня.

Наступило лѣто. Пржиньская выздоровѣла совсѣмъ. Она прилежно занималась своимъ малярствомъ, какъ она выражалась. Старый виолончелистъ, имѣвшій обширныя знакомства, предоставилъ ей нѣсколько уроковъ музыки и рисованія. Она трудилась и зарабатывала.

— Ну, теперь я опять на старой дорогѣ, на собственныхъ ногахъ; зарабатываю! радостно сообщила она мнѣ, показывая деньги, присланныя ей за двухмѣсячные уроки;—а то я-было разлѣнилась, расклеилась и чуть совсѣмъ не прокутилась.

— Мнѣ, право, досадно, что вы такъ много зарабатываете, сказалъ я, шутя.

— Вотъ мило! Хорошо другъ!

— Соберете капиталы и потомъ улетите въ свою противную Варшаву, сказавъ намъ: *adieu pour toujours*.

— Не напоминайте мнѣ Варшавы, когда я о ней начала забывать. Мнѣ пока и тутъ отлично живется.

— О, если-бы вы совсѣмъ о ней забыли!

Пржиньская ласково посмотрѣла мнѣ въ глаза.

Мы пошли въ садикъ. Наступилъ вечеръ. Небо было покрыто суеящимися тучками, между обрывками которыхъ мелькали далекія звѣзды, мгновенно скрываясь. Кругомъ стояла тишина; только лѣтній, теплый вѣтеръ шелестѣлъ въ густо-разросшихся акаціяхъ. Дорожки были узкія. Я шелъ за Пржиньской. Мы оба молчали.

— Мнѣ скучно одной, идите рядомъ со мною, сказала Пржиньская, остановившись вдругъ и повернувъ ко мнѣ свою красивую голову.

— Не помѣстимся рядомъ.

— Вздоръ, помѣстимся. Вы—эгоистъ большой руки: избѣгаете неудобствъ.

— Всякій похвальный поступокъ можно истолковать въ дурную сторону. Я избѣгаю неудобства скорѣе для васъ, чѣмъ для себя.

— Будто! Пожалуйста, не любите меня болѣе, чѣмъ самого себя.

— А какъ самого себя вы позволяете?

— Не имѣю права воспретить.

— А если-бы имѣли?

— Я была-бы язычницей, если-бы заставила васъ дѣйствовать не въ духѣ „люби своего ближняго, яко самого себя“.

Смѣясь, она взяла мою руку и, чтобы удобнѣе пробираться по узкой дорожкѣ, между раскинувшимися деревьями, она плотно прижалась ко мнѣ.

— Боже мой, до чего человекъ долженъ ежиться, сжиматься, нагибаться, чтобы безъ помѣхи пройти по неудобной тропѣ жизни, не задѣвъ чужого существованія, чужого счастья! замѣтила Пржиньская.

— А вдвоемъ?

— Иногда еще хуже, но иногда и лучше. Вы какъ вдвоемъ пробираетесь? Хорошо? спросила Пржиньская нѣсколько насмѣшливо.

— Дѣлается сыро. Вамъ вредно. Пойдемте въ комнату, посоветоваль я моей спутницѣ.

— Пожалуй. Я уважаю вашу скромность.

— Если вы меня сколько-нибудь жалѣете, не задавайте мнѣ никогда такихъ вопросовъ.

— Какихъ?

— О... путешествіи вдвоемъ.

— Почему?

— О томъ, что болить, не стоитъ говорить.

— Признаюсь, откровенность не вашъ порокъ. Отчего не высказаться? Надѣюсь, вы считаете меня другомъ?

— Я не допускаю дружбы между мужчиной и женщиной.

— Какой варварскій взглядъ!

— Слово „дружба“ опредѣляетъ только степень любви, но не исключаетъ ея.

— Пусть такъ. Но какая-же разница?

— Скажите мнѣ, искусственную наивность можно назвать кокетствомъ или нѣтъ?

— Не только можно, даже должно.

— Въ такомъ случаѣ...

— Въ такомъ случаѣ, противный, я—кокетка?

— Замѣтите, не я это сказалъ.

— Скверный! Ему хотѣтъ нравиться, а онъ еще бранить.

Пржиньская вырвала свою руку и убѣжала впередъ. Я медленно слѣдовалъ за нею. Этотъ обыкновенный женскій маневръ мнѣ не нравился въ той, которую я считалъ исключеніемъ, выше всѣхъ.

Пока Пржиньская возилась въ спальнѣ, напѣвая вслухъ какую-то веселую польскую пѣсенку, я, нѣсколько грустный, присѣлъ въ залѣ у стола, на которомъ лежало множество альбомовъ. Безсознательно я взялъ одинъ изъ нихъ и развернулъ. Это былъ сборникъ гравюръ, подъ названіемъ: „Дрезденская галлерей“. Перелистывая безъ цѣли, я остановилъ свой взоръ на гравюрѣ, представляющей юнаго, вдохновеннаго сифльчака Давида, вступающаго въ неравную борьбу съ Голиафомъ.

— Что вы такъ внимательно рассматриваете? спросила вошедшая Пржиньская, усѣвшись возлѣ меня.

— Удивляюсь и завидую необыкновенной красотѣ Давида. Вотъ идеаль мужской красоты!

— Ха-ха-ха! Что вы! Мужской красоты?! Да онъ похожъ на переодѣтую барышню. Такихъ рыцарей вы часто можете встрѣтить въ циркахъ.

— Полно! Вы шутите для одного противорѣчія. Взгляните, всмотритесь; можно-ли себѣ вообразить лицо съ болѣе мужественнымъ выраженіемъ?

— Да вы въ мужской красотѣ толку не знаете. Вы, замѣтите, даже вы—красивѣе его; а вы, какъ вамъ безъизвѣстно, далеко не изъ красавцевъ.

— Какъ вамъ не стыдно такъ зло шутить, насмѣхаться?

— Совсѣмъ нѣтъ. Но оставимъ это, Тома невѣрующій!

— Я предпочитаю убѣждаться.

— Въ чемъ?

— Во всемъ. Даже въ томъ, во что вѣрить мнѣ такъ пріятно было-бы.

— Вы не убѣждены еще, что я васъ глубоко уважаю? спросила вдругъ Пржиньская послѣ минутной задумчивости.

— Вы не имѣете основанія меня не уважать.

— Я вамъ даже удивляюсь.

Я вопросительно посмотрѣлъ на нее. Лицо ея было серьезно, нѣсколько грустно.

— Я вамъ удивляюсь, да. Какимъ образомъ развили вы въ себѣ живого человѣка подлѣ мертвящимъ вліяніемъ той сферы и той жизни, въ которой вы просуществовали до сихъ поръ?

— Развѣ я не читалъ? Я мысленно жилъ съ другими людьми, вращался во всѣхъ сферахъ, изъ которыхъ я многое вынесъ, и хорошее, и дурное, конечно, кромѣ таяцевъ... Изъ чтенія трудно сдѣлаться хорошимъ танцоромъ.

— Это правда. Манера ваша нѣсколько угловата. Ломка видна у васъ во всемъ; натурального, непринужденнаго мало. Это понятно. Дайте время. Я примусь за васъ, я васъ вышколю.

— А вы дали-бы себѣ этотъ трудъ?

— Съ радостью. Я эгонстка...

Я схватилъ ея руку, чтобы поцѣловать. Она тихо отняла ее.

— Не дѣлайте этого. Это глупо. Форма одна. Такой поцѣлуй пріятенъ только отъ тѣхъ, которымъ съ радостью подставляешь губы.

Я упалъ съ седьмого неба, но на нее не разсердился. Я такъ любилъ ее, что забывалъ о себѣ, не думалъ о взаимности, не ожи-

далъ ничего. Я горѣлъ, истлѣвалъ внутреннимъ огнемъ, но въ этомъ горѣннѣ была моя жизнь; я существовалъ безъ цѣли, но въ этой безцѣльности было мое существованіе.

Черезъ нѣсколько дней послѣ описаннаго мною вечера я заболѣлъ туземною лихорадкою. Докторъ осудилъ меня на строгій домашній арестъ, не взирая на всѣ мои протесты. Я скучалъ, грустилъ и томился. Къ счастью, частые, сильные и продолжительные пароксизмы оставляли мало времени для скуки. Меня ежедневно посѣщали мои сослуживцы, которые меня еще болѣе раздражали своими разспросами и назойливыми совѣтами какъ можно дольше не выходить. На третій день моей болѣзни навѣстилъ меня мой другъ, віолончелистъ. Выходя, онъ что-то долго бесѣдовалъ съ моей женой. По уходѣ его, жена съ необыкновенной энергіей принялась за чистку и уборку комнатъ.

— Что за возня вдругъ? спросилъ я, утомленный стукомъ и бѣготней.

— Чужіе люди приходятъ. Можетъ быть, самъ принципальъ вздумаетъ тебя навѣстить.

Я улыбнулся гордой мечтѣ моей жены.

На другой день, когда, подъ вліяніемъ сильнаго жара, я лежалъ почти въ совершенномъ забытѣи, закрывъ глаза, я вдругъ почувствовалъ прохладную, мягкую руку на своемъ лбу. Я открылъ глаза. У моего изголовья сидѣла Пржиньская, въ шляпкѣ, съ зонтикомъ въ рукѣ. Ея правая рука поклонилась на моемъ челѣ, она нагнула свою головку такъ низко, что я чувствовалъ на своемъ лицѣ ея горячее дыханіе; ея голубые, влажные глаза нѣжно, со-страдательно смотрѣли на меня.

— Вы?! произнесъ я болѣзненно-взволнованнымъ голосомъ, усиливаясь приподняться.

— Ради Бога, лежите спокойно, не волнуйтесь, вамъ вредно! Я захотѣла видѣть васъ. Я вамъ такъ обязана за... вашу музыку. Выздоровливайте скорѣе, а то намъ скучно: ничего не составляется безъ васъ.

Пржиньская сильно пожала мою руку, сказала какую-то любезность стоявшей тутъ-же женѣ и ушла, поцѣловавъ ребенка, встрѣтившагося ей на пути. Ко мнѣ приблизился сопровождавшій ее віолончелистъ.

— Доволенъ-ли ты? шепнулъ онъ мнѣ на ухо.

— Я благословляю васъ за это.

— Какая красавица! похвалила жена Пржиньскую, подсѣвъ ко мнѣ.

— Тебѣ нравится? спросилъ я ее не безъ затаеннаго удовольствія.

— Какое нѣжное лицо, какія маленькія ручки! Ты знаешь? она и мнѣ подала ручку, да. Деликатная. Тотчасъ видна генеральша.

Я выпучилъ глаза на жену, но считъ полезнымъ не вдаваться въ разговоры, чтобы не сболтнуть лишняго.

Жена возгордилась минимъ генеральскимъ посѣщеніемъ и была весь день безконечно весела. Это необыкновенное событіе она болтливо передавала всякому и всякой, кто приходилъ меня навѣстить.

— Вотъ онъ у меня какой! заключала она свою рѣчь, указывая на меня. — А вѣдь ни разу даже не похвастался мнѣ этимъ знакомствомъ.

— Умно сдѣлалъ, а то вы, пожалуй, заревновали-бы еще. Она такая хорошенькая, вы сами это сказали, вернула раздорное слово одна изъ знакомыхъ моей жены, извѣстная сплетница.

— Ну, тутъ было-бы глупо ревновать: не его поля ягода, самоуверенно рѣшила моя супруга.

Сплетница многозначительно улыбнулась.

Въ еврейской средѣ, какъ надобно полагать, пошли разные толки о моей генеральшѣ, потому что на третій день явился ко мнѣ одинъ изъ еврейскихъ факторовъ.

— Что вамъ угодно? спросилъ я, удивляясь его посѣщенію.

— Одинъ великій маршалекъ ищетъ денегъ въ заемъ.

— Ну?

— Я пришелъ, не займете-ли?

— У меня для займа денегъ нѣтъ.

— Знаю, но...

— Но что?

— Можетъ-таки займете? спросилъ онъ, гадко улыбаясь.

— Вы съума сошли? Знаете, что у меня денегъ нѣтъ, но думаете, что я все-таки могу дать денегъ въ займы?

— Не сердитесь... Извините... Я думалъ, можетъ *генералше*...

— Какая генеральша? Что вы?

— Прощенія просимъ. Я вѣдь человекъ простой, маленькій. Слышалъ, они на шкенту отдають. Думаю себѣ, пойду. Спросъ не бѣда.

— Кто *они*?

— Да *генералше*-же.

— Убирайтесь подальше. Я не знаю никакихъ генеральшъ.

— Прошу извинить. Три процента въ мѣсяцъ, за годъ впередъ. Деньги вѣрные... какъ ломбардные билеты.

— Я васъ вытолкаю вонъ, если вы не уберетесь сію минуту.

— За что кричите? Я думалъ... по-братски. Сами зарабатываете и другимъ позвольте заработать. Не хотите? не надо, а кричать за что? Можно и четыре процента... заключилъ онъ, юркнувъ въ дверь.

Я не имѣлъ, въ сущности, права обижаться, предположеніемъ фактора. По туземному обычаю, всякій маломальски состоятельный полякъ имѣлъ своего еврея-фактора, чрезъ котораго онъ ломалъ свои дѣла. Факторъ принялъ и меня за фактора у импровизированной генеральши. А генеральшѣ какъ не быть богатой? Онъ былъ увѣренъ, что я попалъ на теплое мѣстечко, захотѣлось погрѣться и ему.

Оправившись нѣсколько, я въ первый вечеръ полетѣлъ къ Прижинской. Она встрѣтила меня такъ нѣжно, радостно, какъ встрѣчаютъ брата послѣ долгой разлуки.

— Ну, слава Богу, вы опять со мною; конецъ моей тоскѣ.

— Неужели вы скучали? Ради Бога, будьте искренни со мною, сжальтесь! произнесъ я умоляющимъ голосомъ.

— Господи! что съ вами? Съ чего вы взяли, что я должна вѣчно лгать?

Я не нашелся, что отвѣчать.

— Знаете-ли вы, что затѣялъ нашъ старый шутникъ, вашъ другъ?

— Нѣтъ.

— Я рѣшилась, во что-бы то ни стало, видѣть васъ, и попросила его проводить меня къ вамъ. Онъ принялся меня отговаривать, увѣряя, что я могу быть причиной домашней сцены, что я могу причинить вамъ моимъ визитомъ большую непріятность. Вы знаете мое упорство. „Пойду да пойду! Хоть-бы мнѣ пришлось вступить въ рукопашный бой съ ревнивицей“. Онъ увидѣлъ, что ничего со мною не подѣлаешь, и пустился на какія-то шутки. Вообразите, онъ пожаловалъ меня въ какія-то превосходительныя, ха-ха-ха! неожиданно, нежданно я попала въ генеральши!

Я невольно вздохнулъ.

— Не смѣйте сегодня вздыхать, будьте веселы, какъ я. Послушайте, вы хорошо сдѣлали, что проболѣли немножко.

— Прикажете продолжать?

— Нѣтъ, хорошаго понемножку. Безъ шутокъ. Отсутствие ваше выяснило мнѣ многое.

— Напримѣръ?

— Что я слишкомъ успѣла уже привыкнуть къ вамъ, что мнѣ

скучно безъ васъ, что... Наконецъ, почему не сказать правды? Что я люблю васъ... немножко.

Сердце затрепетало въ груди, правая рука инстинктивно прижалась къ сердцу. Я онѣмѣлъ отъ счастья. Это была одна изъ тѣхъ восторженныхъ минутъ, которыя не повторяются въ жизни. Я въ первый разъ любилъ полною, зрѣлою любовью.

— Вы рады, да? мягко спросила она, отнявъ мою руку отъ сердца.

Голосъ, которымъ былъ сдѣланъ этотъ простой вопросъ, взоръ, которымъ онъ сопровождался, были нѣжны и краснорѣчивы въ всякихъ словъ и ласкъ. Съ большимъ усиленіемъ овладѣлъ я голосомъ; волненіе мое было невыразимо.

— Вы видите... могъ я только прошептать и оборвался.

— Успокойтесь, мой другъ. Я васъ хорошо знаю, давно все вижу. Вы такой, какимъ я хотѣла васъ видѣть. У васъ честное, неподдѣльное чувство.

Я совсѣмъ лишился разсудка. Не помню, какимъ образомъ я очутился на колѣняхъ.

— Ахъ, ради Бога, не это! это пошло!

Она порывисто притянула меня къ себѣ и, какъ плющъ, обвилась вокругъ моей шеи, покрывая мое лицо горячими, страстными поцѣлуями.

— Полупризнаній, полумѣръ, получувствъ, полудюдей я не люблю. Я тебя люблю вся, я вся тутъ...

Я и послѣ того увлекался въ жизни, любилъ, былъ любимъ; но того, что чувствовалъ я въ пору моей первой любви, я уже больше не испытывалъ. Первая любовь—это первый бокалъ шампанскаго...

Если существуетъ рай на землѣ, то я жилъ въ немъ именно въ эту счастливую пору кипучей, неудержимой, бѣшеной страсти. Какъ умѣла она себя разнообразить, какъ умѣла она быть то умной, то наивной, то мыслящей, то сентиментальной! Она болтала лепетомъ очаровательнаго ребенка, разсуждала какъ философъ; она была смѣсь мягкости, силы, граціи и необузданности. На жизненномъ моемъ пути я второй подобной женщины не встрѣтилъ уже.

Нѣсколько дней послѣ того завѣтнаго вечера, когда я впервые узналъ полное счастье, Пржиньская немного заболѣла. Докторъ нашелъ ее въ лихорадочномъ состояніи. Она страдала головною болью, противъ которой медикъ посоветовалъ холодные компрессы. Я сидѣлъ у изголовья моей милой больной и исправлялъ обязанность самой добросовѣстной сидѣлки.

— Какъ мнѣ хорошо съ тобою! сказала больная, прильнувъ къ моей рукѣ.—Тебѣ далеко не было такъ хорошо, когда я сидѣла у твоей постели, во время твоей болѣзни. Помнишь?

— Почему ты такъ думаешь?

— По твоимъ глазамъ я это видѣла. Они заискрились радостью только на минуту, затѣмъ начали безпокойно блуждать кругомъ, какъ-будто пугаясь чего-то. Ты боялся жены? Да?

— О, нѣтъ; я о ней совсѣмъ забылъ въ ту минуту. Если въ моихъ глазахъ выразилось нѣкоторое безпокойство, то совсѣмъ по другой причинѣ.

— Можно узнать?

— Еще-бы! Мнѣ страшно было подумать, что ты видишь меня въ моей жалкой обстановкѣ; мнѣ казалось, что ты устыдишься дружбы съ человѣкомъ, съ которымъ ты не имѣешь ничего общаго; мнѣ казалось, что съ той минуты ты должна избѣгать меня, краснѣть изъ-за меня... Этой мысли ни мое сердце, ни мое болѣзненное самолюбіе не могли спокойно переварить.

— Бѣдный! Если-бы ты могъ въ ту минуту заглянуть въ мое тронутое сердце, то нашелъ-бы совсѣмъ противное; ты выросъ въ моихъ глазахъ цѣлою головою, именно *головою*.

Больная приподнялась на локтѣ и прильнула жаркими губами къ моему лбу.

— Послушай, сказала она, порывисто поднявшись съ постели и далеко швырнувъ отъ себя мокрый платокъ, которымъ была обвита ея голова.—Послушай, ты не можешь, ты не долженъ прозябать, какъ ты прозябалъ, мучился до сихъ поръ.

— Ты бредишь, мой другъ, сказалъ я, грустно улыбаясь.—Я въ цѣпяхъ, въ ярмѣ, въ неволѣ, а ты говоришь „не долженъ“.

— Ярмо сбрасываютъ, цѣпь разбиваетъ сильная рука. Понимаешь?

— Моя рука не сильна на-столько, милая!

— За то я сильна за двоихъ. Я увезу тебя; да, я похищу тебя, красная ты дѣвушка! Мы уѣдемъ далеко, туда, куда не проникнетъ ни ревность твоей жены, ни клевета, ни людская рутина. Мы будемъ жить полною, свободною жизнью, ты для меня, я для тебя, будемъ трудиться и жить, наслаждаться и жить. Боже мой! Если-бы ты могъ видѣть то, что я вижу воображеніемъ! Какая блестящая будущность, какая радужная жизнь!

— А... дѣти? Мои дѣти? произнесъ я почти шопотомъ, поникнувъ головою.

— А ты думаешь, что я о нихъ забыла? Я сама презирала-бы

тебя, если-бы ты былъ способенъ на подлость, если-бы у тебя достало сердца бросить своихъ дѣтокъ на произволъ судьбы.

— Значить, похищать меня не слѣдуетъ, сказалъ я, горько улыбаясь.

— Напротивъ, слѣдуетъ и я совершу это похищеніе. Я буду трудиться всѣми моими силами, всѣми моими способностями, буду трудиться день и ночь, кистью, карандашемъ, уроками; буду отказывать себѣ во всемъ, накоплю деньгу и отдамъ тебѣ. Мы возьмемъ съ собою самое необходимое, остальное ты оставишь въ надежныхъ рукахъ для твоихъ дѣтокъ. Они еще такія маленькія, имъ немного нужно. Мы, между тѣмъ, устроимся... тамъ, обжиземся, а затѣмъ возьмемъ къ себѣ и дѣтокъ. Клянусь, я все это сама устрою. О, какъ я ихъ любить буду! Ты увидишь, какою хорошею, доброю, разумною матерью я буду!

— Ребенокъ! усмѣхнулся я, любовно посмотрѣвъ на милую мечтательницу.

— Не смѣй меня называть ребенкомъ!

— Ну, ладно, ладно. А ты изволь-ка лечь на свое мѣсто и будемъ продолжать компрессы.

Она послушно улеглась, закрывъ глаза. Я присѣлъ на кровать, нагнулся надъ ней, собираясь завязать голову мокрымъ платкомъ. Она обвила рукою мою шею, притянула къ себѣ и вдругъ захохотала самымъ неудержимымъ смѣхомъ.

— О чемъ это, вдругъ?

— Въ ту минуту, когда ты присѣлъ ко мнѣ и я обвила тебя рукою, предъ моими глазами возсталъ смѣшная картинка изъ моего ранняго дѣтства — картинка, казавшаяся совершенно уже забытою.

— Какая?

— Не вѣрь послѣ этого въ судьбу! Знаешь-ли, мой милый, кто былъ первымъ другомъ моего ранняго дѣтства?

— Кто?

— Хилый, бѣдный, забитый, заброшенный еврейскій мальчикъ.

— Ради Бога продолжай, торопливо попросилъ я, почувствовавъ какой-то уколъ въ самое сердце, и весь затрепеталъ.

— Да... я очень любила этого ребенка; онъ былъ такой добрый, тихій, уживчивый, а онъ, казалось, обожалъ мою добрую мать, моего брата, а особенно меня. Какъ-будто это совершается въ настоящую минуту, такъ рѣзко очерчивается въ моей памяти страдальческое, блѣдное личико, омоченное слезами, обрамленное длинными локо-

нами... Его голова освѣщается луннымъ сіяніемъ... По лбу струится ручеекъ алой крови... Я вскрикиваю отъ страха и жалости...

— Оля! могъ я только прошептать.

— Что съ тобою, мой другъ?

— Это я, это я тотъ жалкій, несчастный мальчикъ, тотъ несчастный Сруль, котораго ты прозвала Гришей.

— Боже великій! вскрикнула Оля, сѣвъ на постели, схвативъ мое лицо въ обѣ руки и жадно погружая свои пылкіе взоры въ мои глаза.

— Узнаешь? умильно спросилъ я.

— Нѣтъ, и слѣда нѣтъ. А ты?

— Я узнаю теперь твои добрые, голубые глаза, эти пухлыя губки, которыя я съ такимъ восторгомъ цѣловалъ, этотъ шаловливый подбородокъ съ ямочкой...

— Цѣлуй-же и теперь съ такимъ восторгомъ эти губы, поблѣднѣвшія уже отъ времени и жизненной невзгоды.

Я замеръ на ея губахъ. Въ поцѣлѣ этомъ была не страсть, не любовный восторгъ, это былъ высокій, нѣмой привѣтъ прошлому и гимнъ настоящему.

— Гриша, разсмѣялась Оля, оторвавшись отъ моихъ губъ.— Гриша, какъ жаль, что у тебя нѣтъ этихъ... святыхъ локоновъ! Я-бы ихъ, для полноты картины, подрѣзала чутьчу... Ха, ха, ха! Помнишь, глупенькій?

— Ты тогда жестоко поступила со мною, коварная кокетка! И она еще разсердилась, надулась, противная!

— Ну, ну, вазнюсь предъ тобою, мой бѣдный жиденокъ! С настоящей минуты я дѣлаюсь фаталисткой. Да, вотъ почему твое имя, прочитанное въ письмѣ Пржиньскаго, меня такъ заинтересовало; вотъ почему какая-то неотразимая сила влекла меня къ тебѣ съ первой минуты, когда я увидѣла тебя, уродину! Да. Жизнь романтичнѣ романа.

— А иной романъ—пошлѣ самой жизни.

— Впредь не смѣй обижать жизнь, не смѣй называть ее пошлою.

— Нѣтъ. Теперь не имѣю на это никакого права, но прежде...

— Но потомъ...

Вторично явившійся медикъ прервалъ эту радостную сцену.

Я, видно, родился подъ вліяніемъ какой-то особенно роковой планеты. Моменты моего счастья были всегда сосчитаны. Чуть погружалъ я свои уста въ сладкую чашу жизни, собираясь испить ея пріятное содержаніе продолжительными, медленными глоткамиъ какъ судьба всегда явится внезапно, невѣсть откуда, чтобы съ

какимъ-то яростнымъ злорадствомъ бросить въ эту чашу полную горсть горечи. Такъ случилось со мною и на этотъ разъ.

Я съ радостью проводилъ медика, явившагося въ эту минуту совсѣмъ некстати. Я былъ эгоистъ, какъ всякій любящій. Въ передней медикъ остановился и обратился ко мнѣ.

— Вы, кажется, короткій знакомый madame Пржиньской?

— Да, нѣсколько. А что?

— Я считаю долгомъ вамъ откровенно сказать, что madame Пржиньская серьезно... очень серьезно больна.

— Вы пугаете меня, докторъ.

— И есть чего пугаться, увѣряю васъ. Ея грудь... легкія далеко не надежны.

— Что же дѣлать?

— Она, кажется, не бѣдна. Поискать теплаго сухого климата необходимо. Не мѣшаетъ поторопиться, пока наша скверная осень еще не пожаловала.

Медикъ ушелъ. Я не могъ тронуться съ мѣста. Это страшное извѣстіе поразило меня какъ громомъ. Я долго стоялъ на одномъ мѣстѣ, ломая свое лицо, чтобы соорудить веселую гримасу. Съ этимъ, едва-ли удачнымъ, поддѣльнымъ лицомъ явился я къ больной.

— О чемъ вы тамъ такъ долго разговаривали? спросила Оля, пытливо посмотрѣвъ на меня.

— Мы вовсе не разговаривали. Докторъ давно уже уѣхалъ, а я возился въ залѣ.

Оля улыбнулась и погрозила мнѣ пальцемъ.

— Меня не обманешь. Посмотри на себя: на тебѣ вѣдь лица нѣтъ. Ты, другъ, не пугайся за меня. У меня еще хватитъ силы осуществить мой завѣтный планъ... Доберемся туда... мигомъ выздороvю. Какъ будто съ чахоткою не доживаютъ до глубокой старости! Самъ увидишь, какая я буду интересная, беззубая старушонка, засмѣялась Оля и закашлялась слегка.

Съ этой минуты счастье мое было отравлено. Оля повременамъ то поправлялась совсѣмъ, была рѣзва, весела, полна кипучей жизни, свѣжа, только съ ненормальнымъ румянцемъ то на одной, то на другой щекѣ, то вдругъ опять заболѣвала на нѣсколько дней, поблекнувъ совсѣмъ, какъ осенняя травка. Я притворялся веселымъ, счастливымъ, ничего незамѣчающимъ, но отъ моихъ взоровъ не ускользали ни этотъ вѣроломный, фальшивый румянецъ, ни этотъ легкій лихорадочный жаръ, медленно пожиравшій молодыя силы, ни этотъ ненатуральный блескъ расширенныхъ зрачковъ. Я

съ содроганіемъ подмѣчалъ всякое кровавое пятно на скрывае-
мыхъ отъ меня носовыхъ платкахъ. Я все видѣлъ, догадывался,
зналъ и невыразимо страдалъ. Мой старый другъ виолончелистъ
одинъ только зналъ, что въ моемъ бѣдномъ сердцѣ происходитъ,
и страдалъ вмѣстѣ со мною. Онъ любилъ Олю какъ сестру, какъ
родную дочь.

Съ той роковой минуты, когда я узналъ о серьезности болѣзни
Оли, я не допускалъ ее трудиться для заработковъ.

— Другъ мой, чѣмъ-же я существовать буду? приставала она
ко мнѣ.

— У тебя есть кое-какія деньги. Пока онѣ кончатся, ты вы-
здоравлиешь совсѣмъ. Тогда, пожалуй, опять за трудъ.

Но деньги уходили, а Оля не выздоравливала.

— Возьми, Гриша, мои альбомы, мои книги, тамъ еще нѣсколь-
ко золотыхъ бездѣлушекъ,—продай все. Выздоровѣю—опять куплю.

За всѣ эти вещи я выручилъ пустые деньги, и то съ трудомъ.
Барышники и совсѣмъ покупать не рѣшались.

Одинъ скрипачъ-аматеръ давно уже зарился на мою старую
итальянскую скрипку, доставшуюся мнѣ съ большимъ трудомъ и
большими, по моимъ средствамъ, издержками. Онъ предлагалъ за
нее крупную сумму. Я такъ любилъ свой отличный инструментъ,
что ни за что въ мірѣ съ нимъ разстаться не рѣшался. Для моей
Оли я пожертвовалъ своей скрипкой. Къ вырученнымъ за ея вещи
деньгамъ я прибавилъ и свои.

— Однако, ты необыкновенно дорого продалъ вещи: я никогда
не рассчитывала и на половину такой суммы, удивилась Оля, когда
я ей вручилъ деньги.

— Напротивъ, твои вещи стоятъ гораздо больше. Барышники
надули меня, солгали я.

Наступила та роковая осень, которою такъ напугалъ меня док-
торъ. Перемѣны къ худшему не послѣдовало,—напротивъ, Оля со-
всѣмъ повеселѣла, начала дышать полною грудью и, казалось,
пошла быстрыми шагами къ полному выздоровленію. Я былъ въ
восторгѣ. Оля ободрилась.

— Вотъ видишь, милый, сказала она мнѣ въ одну изъ самыхъ
свѣтлыхъ минутъ своей болѣзни,—какая я умница, что не потеряла
бодрости при видѣ серьезныхъ рожъ доктора и твоего свѣсив-
шагося носа! Я знала, что я выздоровѣю. Смерть даетъ себя по-
чувствовать заблаговременно. Я буду долго, долго жить, сильно,
сильно тебя любить. Да? ♦

Меня душили внутреннія слезы—не то отъ радости, не то отъ

недовѣрія къ безопасности больной; но скорѣе всего то было внутреннее предчувствіе близкой катастрофы, которое, къ счастью, томило меня одного, пощадивъ мою милую больную. И точно, не прошло и половины осени, какъ Оля вдругъ сломилась и совсѣмъ свалилась съ ногъ. Средства ея были тоже на исходѣ, а для больной требовалось такъ много. Я совсѣмъ потерялъ голову. Однимъ, по крайней мѣрѣ, былъ я еще счастливъ, что у меня хватало силъ и разсудка исполнять служебныя обязанности и не потерять расположенія цѣнившаго меня принципала. Это-то расположеніе было моимъ послѣднимъ якоремъ спасенія въ томъ страшномъ положеніи, въ которомъ находилась моя больная. Въ первый разъ я унился просьбою о наградѣ, о подачкѣ. Въ моей манерѣ, въ моемъ голосѣ, въ глазахъ было, вѣроятно, много жалкаго, когда я, забывъ и краснѣя, обратился къ моему принципалу, потому что онъ выразилъ свое удивленіе безъ злобы, мягко, замѣтивъ мнѣ мимоходомъ, что награды не *просятъ*: она дается сама собою или вовсе не дается. Я сплелъ ему какую-то очень печальную исторію; я безсовѣстно вралъ, просилъ, почти умолялъ, какъ нищій, и получилъ, конечно, далеко не то, на что рассчитывалъ. Тѣмъ не менѣе я готовъ былъ изъ благодарности повалиться въ ноги тому, кто спасалъ мою бѣдную Олю отъ нужды и лишеній. Съ какимъ сіяющимъ отъ радости лицомъ я солгалъ больной!

— Вотъ сюрпризъ, Оля!

— Что такое?

— Я сегодня очень выгодно продалъ твои остальные вещи. Нашелся любитель...

— Какія вещи?

— Да тѣ, которыя ты мнѣ давно уже поручила продать.

— Ты-же ихъ давно продалъ?

— Не всѣ-же я тогда продалъ: часть осталась вѣдь у меня. Неужели ты не помнишь? Тебя легко обкрадывать, барыня моя.

— Мой другъ, къ чему ты врешь?

— Оля, право...

— Оставь. У тебя, какъ я уже давно замѣтила, недостаетъ простоты и натуральности. Къ чему эти вымыслы, комедіи, сюрпризы? Почему не сказать прямо, чистосердечно, честно и просто: „Оля, у тебя нѣтъ чѣмъ жить или, вѣрнѣе, чѣмъ *дожить*; ты больна, безпомощна, а я здоровъ, зарабатываю, пользуюсь-же тѣмъ, что я имѣю!“ по крайней мѣрѣ, я, на твоемъ мѣстѣ, такъ поступила-бы.

Я не нашелъ на это отвѣта. Да это было-бы совершенно без-

полезно: Оля видѣла меня насквозь и съ умѣньемъ и тактомъ сама вывела меня изъ затрудненія.

— Ты это дѣлаешь, мой другъ, потому только, что не успѣлъ еще узнать меня хорошенько. И немудрено! Ты, бѣдный, полюбилъ не женщину, а пациентку. Я дала тебѣ одну каплю счастья и цѣлое море страданія. Прости, мой дорогой. Я не знала, что такъ скоро...

Оля горько заплакала.

Оля видимо угасала. Доктора, утѣшавшіе тяжело больную пустыми надеждами, не стѣснялись предо мною. Всѣ, въ одинъ голосъ, вычеркивали больную изъ списка живыхъ. Уступая только моимъ мольбамъ и щедрому гонорару, они продолжали, и то изрѣдка, навѣщать больную и прописывать ей какіе-то пустяки. Описать безнадёжное душевное мое состояніе я не въ силахъ. Да и къ чему? Кто переживалъ подобныя событія, кто обладаетъ живымъ воображеніемъ и впечатлительною нервною системою, тотъ пойметъ меня или вообразитъ себѣ все. Страданія чужой ампутаціи могутъ понять только тѣ, которые сами имѣли несчастье подвергнуться подобной участи. Оля умирала постепенно, по каплямъ, съ каждымъ днемъ; мнѣ казалось, что я угасаю вмѣстѣ съ нею, что я не переживу ея ни одной минутой, ни однимъ вздохомъ. Я былъ безконечно несчастливъ.

Какъ благословлялъ я моего друга віолончелиста за его сочувствіе ко мнѣ и къ бѣдной страдальцѣ! Я не могъ сбросить своего служебнаго ярма и все дообѣденное время проводилъ въ должности, относясь къ дѣлу какъ-то автоматически, машинально. Къ счастью, дѣло отъ этого не страдало. Машина была исправна, хорошо заведена и вертѣлась помпо моего вѣдома. Но старикъ поселился почти у Пржиньской, ухаживалъ за нею неусыпно день и ночь, съ нѣжностью брата и отца. Кончивъ службу, не чувствуя ни малѣйшаго аппетита и не будучи въ состояніи связать двухъ осмысленныхъ словъ, я, по обязанности-же, долженъ былъ отправиться къ семьѣ обѣдать, долженъ былъ отвѣчать на пустые вопросы жены, которые только туманно понималъ, долженъ былъ выслушивать крупные упреки и ругань. Каждый божій день я подвергался одной и той-же мучительной пытке.

Однажды, явившись къ Олѣ въ часъ сумерекъ, я ее засталъ въ креслѣ, совсѣмъ одѣтой, и одѣтой съ тщательной изысканностью, какой я никогда за нею не замѣчалъ. Ея красивая головка откинулась на мягкую спинку кресла. Изъ столовой доносились глубокія, грудныя ноты віолончеля. Классическій инструментъ допѣ-

вать послѣднія строфы элегіи Эрнста, томясь и замирая, такъ натурально, постепенно, рассчитанно, что послѣдній, какъ-будто неудовлетворенный, звукъ незамѣтнымъ образомъ слился съ мертвымъ молчаніемъ, какъ сливаются тѣнь и свѣтъ подъ кистью гениальнаго художника.

— Оля, ты дремлешь? грустно спросилъ я, остановившись въ дверяхъ спальни.

— Ахъ, какъ сладко замирала я вмѣстѣ съ этою, душу раздирающею, нотою. Если-бы ты не разбудилъ меня, я, кажется, перестала-бы страдать... за себя и за тебя, сказала Оля тихимъ, утомленнымъ голосомъ и зарыдала.

Я позвалъ Констансъ. Освѣтили комнату. Прибѣжалъ и старикъ. Онъ принялся ласкать и успокоивать больную. Я ни къ чему не былъ способенъ. Больная успокоилась нѣсколько и грустно улыбнулась.

— Какая я сдѣлалась слабая, скверная! Но вы не беспокойтесь: это ничего. Я никогда не могла равнодушно слышать эту полную глубокой грусти мелодію, а теперь я и совсѣмъ раскисла.

Лицо Оли, при полномъ свѣтѣ лампы, ужаснуло меня. Слезы, струившіяся за минуту по ея розовымъ щекамъ, оставили на нихъ какія-то блѣдно-желтыя борозды. Я наглядно убѣдился, что лицо Оли подвергалось не задолго косметической операціи. Сердце мое сжалось. Къ чему сдѣлала она теперь то, чего не дѣлала никогда? подумалъ я.

Оля скоро развеселилась, болтала, шутила, видимо стараясь изгладить грустное впечатлѣніе, сдѣланное на насъ ея рыданіемъ. Мы старались напустить на себя искусственную безпечность, но намъ это не удавалось.

— Какъ вамъ не стыдно быть такими слабыми, впечатлительными, какъ барышня какая-нибудь! Ну, этотъ по жизни, по крайней мѣрѣ, еще совсѣмъ ребенокъ; вы-же—старикъ. Вѣдь вы жили, вы страдали, вы любили, были обмануты. Да? Ха-ха-ха!

Смѣхъ этотъ остался безотвѣтнымъ. Старикъ глубоко вздохнулъ. Я отвернулъ голову, чтобы скрыть навернувшіяся слезы.

— Нѣтъ, я не обманывала... я любила. Видитъ Богъ... я всѣмъ сердцемъ, всей душой любила и буду любить до гроба... Гриша, знай, если послѣ меня тебя будутъ любить, ласкать, нѣжить, это буду я, это будетъ моя душа въ чужомъ тѣлѣ... Если эта женщина будетъ злая, лживая, это не я буду.

— Ради Бога перестань... могъ я только произнести и осѣкся я

Старикъ рыдалъ. Эти старческія, хриплыя рыданія надрывали душу.

Оля попросилась спать.

— Ну, мой другъ, мой Сруликъ, поцѣлуй меня крѣпко, крѣпко, и отправляйся домой, къ дѣтямъ.

— Оля, изъ-за чего ты гонишь меня? я останусь тутъ.

— Ни за что, ни за что. Я прошу, я требую, уходи. Со мной останется нашъ общій другъ. О, какъ я люблю его!

Меня почти насильно выпроводили. Далеко за полночь; я, какъ часовой, ходилъ взадъ и впередъ подъ окнами той, въ которой концентрировалось все мое счастье, всѣ мои радости. Кругомъ стояла мертвая тишина. Съ свинцовой тяжестью на сердцѣ я припелся домой и повалился не раздѣваясь.

Чуть занялась заря, я вскочилъ на ноги и опрометью пустился бѣжать туда, куда влекло меня мое сердце. На полдорогѣ я встрѣтилъ старика на извозикѣ. Онъ остановился и позвалъ меня.

— Что она? былъ первый мой вопросъ.

— Нѣсколько лучше. Садись-ка сюда да поѣдемъ.

— Куда?

— Ко мнѣ. А потомъ къ ней.

— Нѣтъ. Я туда пойду.

— Рано. Не безпокой. Она еще спитъ.

Я сѣлъ въ дрожки. Въ комнатѣ только я замѣтилъ мертвенно-блѣдное лицо старика, воспаленные, красные его глаза и посинѣвшія губы.

— Что случилось? спросилъ я замершимъ голосомъ.

— Другъ, сынъ мой! Случилось то, что должно было случиться... Законъ природы...

Вспоминая теперь этотъ ужасный моментъ, я изумляюсь тому равнодушію, той безчувственности, съ которой я перенесъ это роковое извѣстіе. На нѣсколько мгновений только остановилось дыханіе въ груди, затѣмъ все прошло. Такъ человѣкъ вскрикнетъ отъ булавочнаго укола и не пикнетъ, когда на него обрушится цѣлая гора.

Въ какомъ-то тупомъ недоумѣніи просидѣлъ я долгое время, равнодушно относясь къ утѣшеніямъ и дружескому уходу добраго старика. Наконецъ, мыслительная моя машина, лѣниво скрипя, завертѣла колесами.

— Къ ней! попросился я болѣзненно.

— Нѣтъ, нельзя. Тебѣ тамъ дѣлать нечего.

— Я ее видѣть хочу.

— Нельзя, говорю я тебѣ. Ее наряжаютъ въ далекій путь.

— Зачѣмъ вы выгнали меня вчера?

Я залился слезами.

— Другъ мой, это была воля умирающей. Въ твоёмъ воспоминаніи она хотѣла остаться живою, прекрасною. Ты развѣ не замѣтилъ, какъ она принарядилась вчера, въ послѣдній разъ, бѣдная!

Я упрости старика взять меня съ собою въ церковь. Я ея, однако, видѣть не могъ: толпа не пропустила меня. На меня косились, вокругъ меня слышался шопотъ, на меня указывали пальцами. Взволнованный старикъ поторопился вытащить меня, почти насильно, изъ церкви.

— Другъ мой, тутъ тебѣ не мѣсто: ты—еврей.

Я вырвалъ цѣлый клокъ волосъ изъ моей горемичной головы.

Рука объ руку съ старикомъ, съ обнаженной, опущенною на грудь головою, шатаясь на ногахъ, я плелся за похоронной процессіей моей любви, моего счастья. Евреи, встрѣчавшіеся на пути, кидали на меня презрительные, полные ненависти взоры, что-то шептали другъ другу и украдкой отплеивались. Старикъ замѣтилъ это.

— И эти не позволяютъ! сказалъ онъ, горько улынувшись.

Еле дыша возвращался я съ кладбища. Только издали, и то мелькомъ, мнѣ удалось увидѣть, когда опускали гробъ—вѣчное жилище моей дорогой Оли.

— Все кончено! глубоко вздохнулъ я, заливаясь слезами.

— Да, грустно подтвердилъ старикъ.—Зачѣмъ ты ее узналъ—зачѣмъ ты ее полюбилъ, зачѣмъ извѣдалъ ты скоротечное, м и молетное счастье? Да, продолжалъ мой спутникъ,—двѣ силы ведутъ вѣчную борьбу между собою: зло сильнѣе... оно побѣждаетъ. Медвѣжью услугу оказала тебѣ, мой другъ, злая судьба!..

IX.

Похожденія Ерухима.

Время искусный врачъ; оно залечиваетъ всякія раны. Но бываютъ такія раны, которыя и время совершенно залечить не въ силахъ. Глубоко въ человѣческомъ существѣ остаются шпировіе рубцы, а эти рубцы, незамѣтные для глаза, готовы раскрыться при первомъ толчкѣ, при малѣйшемъ дуновеніи сырого вѣтерка жизненной не-

взгоды... Подобный рубецъ оставила смерть Оли въ моемъ сердцѣ. И сколько разъ онъ раскрывался!

Я долгое время былъ въ отчаяніи. Въ ту страшную пору, когда на меня обрушилась цѣлая гора несчастія, я едва его чувствовалъ, но за то черезъ нѣсколько дней послѣ того, какъ ея не стало, когда дни и вечера потянулись безконечные, когда я почувствовалъ пустоту вокругъ себя, увѣрился, что некуда преклонить свою одинокую, бѣдную голову, я былъ близокъ къ сумасшествію. Если мой разумокъ уцѣлѣлъ, то этимъ я былъ обязанъ желѣзной нуждѣ, насильно отвлекавшей меня отъ грызущаго, глубокаго горя,—нуждѣ, заставлявшей меня работать. Нужда убиваетъ, но нужда и спасаетъ.

Жена въ день похоронъ Оли пронюхала о смерти *генеральши*, о томъ, что я ходилъ въ православную церковь и съ обнаженной головою проводилъ умершую на русское кладбище. Когда я, унылый, убитый, шатаясь на ногахъ, приплелся домой, жена, крича во все горло и ругаясь, подала мнѣ рукомойникъ ¹⁾, но я тихо оттолкнулъ жену и какъ снопъ повалился на кровать. Мое лицо до того испугало жену, что она сразу притихла и въ продолженіи нѣсколькихъ дней не мучила меня ни вопросами, ни упреками, ни приторными казенными нѣжностями. Тогда только, когда мое горе перешло въ тихую, молчаливую грусть, она рѣшилась опять заговорить.

— Что тебѣ въ этой *генеральшѣ*, что такъ по ней убиваешься, что изъ-за нея даже забываешь, кто ты такой есть: еврей или...

Я молчалъ.

— Сколько мнѣ извѣстно, ты копейки у ней не заработалъ, а горюешь, какъ-будто золотныя горы потерялъ?

Я продолжалъ безмолвствовать.

— Умри я—ты, кажется, и не вздохнулъ-бы?

Я не отвѣчалъ.

— Ты, можетъ быть, влюбленъ въ нее, въ твою *генеральшу*? Ха, ха, ха!..

Она растравляла мои раны. Я не выдержалъ.

— Влюбленъ. Что-жь изъ этого?

¹⁾ Еврей, возвращаясь съ кладбища, обязанъ вымыть руки. Близкіе сосѣди того дома, гдѣ умеръ кто-нибудь, обязаны вылить всю запасную воду, находящуюся въ домѣ. По народному повѣрью, это дѣлается потому, что ангелъ смерти, совершивъ убійство, ополаскиваетъ свою длинную бритву въ водѣ. На самомъ же дѣлѣ потому, что эпидемическія заразы легко передаются посредствомъ зараженной воды.

— Ты чванишься ею? Такъ знай-же, что она надувала тебя какъ дурака: она изъ простыхъ полячекъ, даже не благородная. Ты думаешь, что ты у нея что-нибудь значилъ? Такихъ, какъ ты, да еще похуже, она имѣла дюжинами...

— Жена!!!

Восклицаніе это было сдѣлано такимъ необыкновеннымъ тономъ, съ такою угрозою во взорѣ, что у порицательницы покойной надолго пропала охота вспоминать прошлое.

Я и прежде не любилъ своей жены, но, испытавъ полное счастье, убѣдившись, что любовь не химера, что женщина не кусающаяся самка, что любящій не рабъ, жена съ ея характеромъ и закоснѣлостью сдѣлалась мнѣ противною, невыносимою. Лишившись моего скоротечнаго счастья, я жаждалъ только одного: спокойствія, безмолвія, уединенія. Дома съ вѣчно пристававшей женой это было немислимо, а потому я все досужее время проводилъ или у моего друга віолончелиста, или же въ моей канцеляріи, гдѣ, въ ночномъ уединеніи, я могъ жить съ самимъ собою. Шагая изъ одного угла въ другой, я мысленно переживалъ прошлое и измышлялъ средства создать себѣ иную какую-нибудь жизнь. Всѣ мои мысли и проекты начинались вѣчною разлукою съ женою и заканчивались деньгами. Во что-бы то ни стало я долженъ разойтись съ женою, но чтобы разойтись съ нею или совсѣмъ развестись, нужно ее обезпечить матеріально, но чтобы ее обезпечить, нужны деньги и деньги крупныя. Явись ко мнѣ Мефистофель, я, минуты не колеблясь, продалъ-бы ему свою душу за презрѣнный металлъ. Я ничего болѣе прелестнаго не могъ себѣ вообразить, какъ быть свободнымъ отъ брачныхъ жгѣзныхъ узъ, жить съ дѣтьми, замѣнить имъ и отца и мать, воспитать ихъ по своему разумѣнію, раздѣлить мою жизнь между любовью къ дѣтямъ и кабинетнымъ трудомъ. А сердце... Для него достаточны одни сладкія воспоминанія о ней... Всѣ эти мечтанія оставались, конечно, въ области мечты—денегъ я выдумать не могъ; но за то, намечтавшись до изнеможенія, до поздняго вечера, я засыпалъ свинцовымъ сномъ, подъ своеобразное убаюкиваніе моей дражайшей половины. Жена была права: я былъ сквернымъ мужемъ. За то я сдѣлался хорошимъ отцомъ: я горячо полюбилъ своихъ дѣтей. Благодаря внушеніямъ Оли, во всѣхъ моихъ помыслахъ и мечтаніяхъ дѣти стояли на первомъ планѣ.

Однажды, въ самомъ разгарѣ моихъ мечтаній, мое уединеніе было прервано неожиданно. Дверь моей канцеляріи съ трескомъ

растворилась настезь и жена, въ сопровожденіи служанки, вбѣжала растрепанная, запыхавшаяся и до смерти испуганная.

— Бѣги домой: тамъ у насъ все вверхъ дномъ перевернулось, кричала на бѣгу жена.

— Что случилось? встревожился я.

— Къ намъ постой поставили, трехъ солдатъ разомъ. Они заняли всю квартиру, раззоряютъ домъ, поколотили кухарку, перепугали на-смерть дѣтей. Я убѣжала искать тебя. Бѣги-же скорѣе.

Я побѣжалъ къ полицеймейстеру. Къ счастью, я засталъ его дома. По знакомству, онъ уважилъ мою просьбу и самъ отправился со мною, взявъ съ собою двухъ казаковъ.

Моя квартира, благодаря безцеремонному солдатскому хозяйничанью, въ какой-нибудь часъ времени сдѣлалась совершенно неузнаваемою. Вся мебель, для вящаго простора, стащена и навалена въ одинъ уголъ, въ стѣнахъ заколочены десятки громадныхъ гвоздей, гдѣ попало, и на гвоздяхъ этихъ развѣшаны сумки, манерки, кивера, ружья, шинели и прочія аммуниціонныя принадлежности. На полу, въ странномъ безпорядкѣ, валялись тюфяки и подушки изъ нашихъ постелей, на зеркалахъ красовались грязныя и вонючія онучи, повѣшанныя для просушки. Вездѣ соръ, щепки и отбитая штукатурка. Воздухъ налитъ выѣдающимъ глаза дымомъ махорки. Непрошенныя гости, совсѣмъ разодрѣтые, разобутые, расположились вокругъ стола въ нашей единственной пріемной комнатѣ, какъ у себя дома, и пожираютъ нашъ семейный ужинъ, запивая кушанье водкою. Дѣти и жена заперлись въ дѣтской, а кухарка съ подбитыми глазами забилась въ кухню, предоставивъ гостямъ распорядиться по произволу.

Какъ только храброе воинство увидѣло передъ собою начальника въ военной формѣ, съ эполетами, оно вскочило разомъ пѣзъ-за стола и поторопилось напялить на себя шинели. Постоялецъ было трое. При тускломъ свѣтѣ единственнаго огарка, торчавшаго гдѣ-то въ углу, лица ихъ трудно было разсмотрѣть.

— Вы, бестія, куда зашли? Въ непріятельскій край, что-ли? грозно окликнулъ ихъ полицеймейстеръ, указывая глазами на крайній безпорядокъ, царствовавшій въ квартирѣ, и сцапавъ одного изъ солдатъ за шиворотъ.

— Жидовка изъ квартиры гонить, харчей и соломы по положенію не даетъ, ваше высокородіе, да еще лается и дерется, оправдывались струсившіе храбрецы.

— Ладно. Одѣвайся и маршъ за мною. Я васъ научу, какъ обра-
Записки еврея.

щаться съ мирными жителями, представлю для расправы куда слѣдуетъ. Казаки, скомандовалъ начальникъ, — взять ихъ!

Воинство присмирѣло и молча спѣшило одѣться и обуться, между тѣмъ какъ полицеймейстеръ не переставалъ читать нотацію, приправленную отъ времени до времени сильно-дѣйствующимъ словомъ. Въ то время, когда начальникъ въ послѣдній разъ скомандовалъ: „маршъ за мною!“ одинъ изъ постоящиковъ крадучись приблизился и тихимъ дрожащимъ голосомъ обратился ко мнѣ, на едва понятномъ еврейскомъ жаргонѣ:

— Ради самого Бога сжалитесь, не передавайте меня въ руки начальства. Меня опять бить будутъ, а моя спина еще не зажила. Я еле дышу отъ слабости.

— Зачѣмъ же ты буянишь? упрекнулъ я его такъ-же тихо.

— Я не буянилъ, я все время лежалъ и охалъ. Куда мнѣ, несчастному, буянить. О, Боже мой!

Въ голосѣ просящаго было столько мольбы и затаеннаго, глубокаго страданія, что, не успѣвъ даже разсмотрѣть лицо просившаго, я почувствовалъ сильную жалость и попросилъ полицеймейстера оставить этого солдата въ покоѣ, какъ въ буйствѣ невиннаго.

— Изволите видѣть, ваше высокородіе, жидъ за жиды тянетъ запротестовалъ одинъ изъ постоящиковъ. — Онъ одинъ и зачинщикъ всему, а таперича все на насъ валить.

— Ступай, грозно прикривнулъ на еврейскаго солдата полицеймейстеръ. — Тамъ разберутъ, кто въ чемъ виноватъ.

— Спасите, взмолилъ меня солдатъ-еврей и, шатаясь на ногахъ, поплелся вслѣдъ за другими.

Пока я приводилъ въ порядокъ квартиру и успокаивалъ дѣтей, страдальческій, мягкій голосъ еврейскаго солдата не переставалъ звенѣть въ моихъ ушахъ. Я рѣшился увидѣть его на другой день и, если я увѣрюсь въ его невинности, сдѣлать все возможное къ избавленію его отъ угрожавшаго тяжкаго наказанія. Мнѣніе мое въ пользу еврейскаго солдата утвердилось во мнѣ тѣмъ болѣе, что избитая кухарка хорошо стязывалась о немъ, увѣряя, что ее еще пуще избили-бы, если-бы онъ не заступился за нее, что онъ не только не безчинствовалъ и не буянилъ, а, напротивъ, все время, лежа въ кухнѣ на печи и стоная, усовѣщевалъ жестокихъ, пьяныхъ товарищей.

Утромъ потребовали меня и кухарку въ полицію для допроса и подписи акта. Кухарка показала въ пользу еврея-солдата. Несмотря на это, полицеймейстеръ не согласился освободить его, такъ-какъ его сослуживцы взваливали на него всю вину.

— Я представлю виновныхъ при подробномъ актѣ къ военному начальству. Пусть оно судитъ и разбираетъ какъ знаетъ. Вѣроятно, потребуютъ и васъ, и кухарку къ полковому командиру для спроса; тамъ постарайтесь оправдать невиновнаго, а мое дѣло—сторона, рѣшилъ полицеймейстеръ.

Я ждалъ съ нетерпѣніемъ призыва къ полковому командиру, но прошла цѣлая недѣля, а меня не требовали, не призывали. Проходившій полкъ, къ которому принадлежали мои постояльцы, ушелъ дальше. Исторію эту, вѣроятно, затерли какъ-нибудь, подумалъ я, какъ въ одно утро явился ко мнѣ на домъ сторожъ военного лазарета.

— Меня прислалъ къ вамъ еврейскій солдатикъ, бывшій у васъ на посту. Проситъ помочь ему чѣмъ-нибудь. Онъ теперь началъ маненько поправляться. Кушать бѣдняжкѣ хочется, а при душѣ ни копеечки.

— Развѣ онъ не ушелъ съ полкомъ?

— Куда ему идти! спину такъ вздуло, что хоть прямо въ гробъ ложись. Жисть-то наша солдатская! Охъ!

— Чѣмъ-же онъ боленъ? продолжалъ я допрашивать, не совсѣмъ понявъ лазаретнаго служителя.

— Да нешто не поняли? Влѣпили ему, горемычному, сотенку три горяченькихъ.

Сердце мое сжалось отъ боли. Это, вѣроятно, изъ-за моей жалобы, сказалъ я самому себѣ и поспѣшилъ вмѣстѣ съ сторожемъ въ лазаретъ. Безъ особеннаго труда я добился свиданія съ невиннымъ страдальцемъ.

Никогда я не забуду тяжелаго впечатлѣнія, произведеннаго на меня больнымъ и его обстановкою. Палата, гдѣ онъ лежалъ, была свѣтлая, чистая, просторная, но всѣ эти хорошія качества больницы и убоженія казались какими-то ненатуральными, натянутыми, — словомъ, отъ нихъ несло свинцовымъ однообразіемъ и строгою казенщиной. Въ палатѣ стояло нѣсколько кроватей; на каждой кровати стонали и охали на различные лады и тоны. Въ комнатной атмосферѣ носился какой-то острый, непріятный запахъ. Больной, къ которому я пришелъ, лежалъ скорчившись, ничеомъ, безъ движенія. Казалось, онъ спалъ глубокимъ сномъ. Сторожъ слегка тронулъ его за локоть. Больной глубоко застоналъ, медленно повернулъ къ намъ голову и раскрылъ глаза.

— Вставай, пробормоталъ сторожъ, — къ тебѣ пришли.

Больной вопросительно посмотрѣлъ на меня мутными, воспаленными глазами.

— Ты присылалъ ко мнѣ? Чѣмъ могу я тебѣ служить? спросилъ я солдата.

— Охъ! пришлите мнѣ что-нибудь покушать. Мнѣ чаю хочется. Будьте милосерды, не дайте околѣть какъ собакѣ.

Я общалъ все исполнить.

— Чѣмъ ты боленъ?

— Боже мой! Палки, палки... Я вѣдь ни въ чемъ не виноватъ. Богъ вѣдаетъ... за что.

Больной зарыдалъ какъ ребенокъ, захлебываясь. Я самъ едва держивался отъ слезъ.

— Прости меня, мой другъ. Я, быть можетъ, причиною твоего страданія... Я вѣдь не зналъ... началъ я оправдываться, и не зная, какъ это сдѣлать.

— Чѣмъ-же вы виноваты? помогъ онъ мнѣ какимъ-то озлобленнымъ голосомъ. — Мнѣ такъ суждено... Богъ такъ хочетъ. Но когда они меня уже добьются? Ахъ, если-бы хоть скорѣе! Выздоровлю—опять иди, опять розги, опять палки. Когда-же конецъ, Боже мой?

Эта задушевная жалоба, этотъ болѣзненный голосъ тронули меня до того, что я не могъ дольше оставаться. Я, тутъ-же, условился съ старшимъ и младшимъ фельдшерами ухаживать тщательно за больнымъ, снабдилъ его нужными деньгами, общался раза два въ недѣлю посѣщать его, а по выздоровленіи, поискать средства избавить его отъ калѣйшаго похода. Съ твердымъ намереніемъ исполнить обѣщаніе я распрощался съ больнымъ.

— Богъ да наградитъ васъ! поблагодарилъ онъ меня задушевымъ голосомъ. Мнѣ сдѣлалось такъ легко на душѣ, какъ-будто я увидѣлъ брата родного.

Черезъ нѣсколько дней я завернулъ опять въ лазаретъ. Больной поправился уже нѣсколько. Я засталъ его медленно расхаживающимъ по палатѣ, сгорбившись и съ трудомъ влѣча за собою ноги. Въ первый разъ я имѣлъ случай увидѣть страдальца, какъ говорится, цѣликомъ. Это былъ человѣкъ еще молодой, судя по его свѣтлорусымъ, стриженнымъ подъ гребенку волосамъ и по голубымъ, добрымъ и мягкимъ глазамъ. Ни одного сѣдого волоска въ головѣ и тощихъ коротенькихъ усахъ. Но блѣдное, желтое лицо его было изборождено сотнями морщинъ по всѣмъ направленіямъ, особенно окрестности глазъ и невысокій, узкій лобъ. Какія-то невыразимо-страдальческія черты рѣзко очерчивались съ обѣихъ сторонъ довольно красиваго рта, лишеннаго переднихъ зубовъ. Все это придавало его лицу какой-то болѣзненно-старческій

видъ. Росту онъ былъ средняго, но согнувшійся, сгорбившійся станъ скрадывалъ росту на нѣсколько вершковъ. Одѣтъ онъ былъ по-больничному.

Я поздоровался съ нимъ и подалъ ему руку. Мое простое обращеніе видимо тронуло его. Онъ неловко протянулъ мнѣ руку, едва дотронувшись до моихъ пальцевъ.

— Какъ ты чувствуешь себя?

— Лучше. Ничего, пройдетъ. Привыкшая спина.

— Ты, мой другъ, вѣроятно, сердился на меня? Но вѣдь я не виноватъ.

— Нѣтъ, право. Чѣмъ-же вы виноваты? Вы жаловались на погодуевъ, я между нихъ попалъ. Начальство съ умысломъ не захотѣло разбирать. Влѣпили имъ по двѣсти, а мнѣ, какъ зачинщику, триста.

— Въ донесеніи полицеймейстера значилось-же, что ты не виноватъ?

— Очень нужно начальству ломать голову! Не возбуждай жалобы—и бить не будешь, а возбудилъ—отдувайся!

— За что-же тебѣ больше, чѣмъ другимъ?

— Гм... Я—еврей.

Эти слова были произнесены глухимъ голосомъ. Голубые глаза солдата наполнились слезами.

— Какъ зовутъ тебя? спросилъ я, чтобы переимѣнить разговоръ.

— Меня прозвали Ерофеемъ.

— А по-еврейски какъ ты именуешься?

— Ерухимомъ.

— Неужели? воскликнулъ я. Солдатъ удивленно посмотрѣлъ на меня.

— Расскажи мнѣ, откуда ты, кто твои родители, когда данъ ты въ военную службу?

Онъ удовлетворилъ всѣмъ моимъ вопросамъ. Увы, это былъ мой несчастный другъ дѣтства, мой сотоварищъ по хедеру, голубоглазый, блѣднолицый Ерухимъ. Эта неожиданность до того меня поразила, что я не слышалъ того, что онъ мнѣ говорилъ. Подъ какимъ-то предлогомъ я поспѣшилъ выйти, чтобы собраться съ мыслями, чтобы остаться съ самимъ собою.

— Боже мой, подумалъ я выходя,—и этому несчастному я когда-то завидовалъ! Стоить только присмотрѣться къ горю ближняго, чтобы вполнѣ примириться съ собственной участью.

Я долго колебался, признаться-ли Ерухиму или нѣтъ. Наконецъ

по зрѣломъ обсужденіи, я рѣшилъ скрыть отъ него наше старое знакомство и не поднимать въ его памяти прошлыхъ воспоминаній, способныхъ только растравить его глубокія раны. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, я далъ себѣ слово употребить всѣ свои силы и знакомства, чтобы избавить бѣдняка отъ дальнѣйшей службы. Освобожденія этого легко можно было достигъ въ прежнія времена, тѣмъ болѣе, что Ерухимъ былъ болѣзненъ и хилъ не только по наружности, но и на самомъ дѣлѣ. Я зналъ нѣсколько примѣровъ, что, подъ предлогомъ тяжелой, неизлечимой болѣзни, давали военнымъ чинамъ отставку преждевременно. Конечно, такой результатъ достигался большими хлопотами и издержками, но я этого не боялся: я зналъ, что могу рассчитывать на щедрость еврейскаго общества въ подобныхъ случаяхъ.

Я былъ коротко знакомъ съ евреемъ-подрядчикомъ, поставлявшимъ продовольствіе въ военные госпитали. Этотъ подрядчикъ былъ въ дружескихъ, короткихъ отношеніяхъ со всѣмъ госпитальнымъ начальствомъ. Черезъ него я началъ дѣйствовать. Прежде всего Ерухима оставили при больницѣ въ качествѣ тяжело больного, хотя онъ совсѣмъ почти выздоравлилъ. Затѣмъ, допускались къ нему посѣтители безпрепятственно и ему дозволялись кратковременныя отлучки, ко мнѣ на домъ и въ синагогу, куда всегда тянуло Ерухима съ непреодолимою силою. Онъ такъ искренно, набожно молился и такъ часто плакалъ горячими слезами во время молитвъ, которыя онъ не понималъ и едва могъ читать, что возбуждалъ всеобщее сочувствіе и вниманіе евреевъ. На него со всѣхъ сторонъ посыпались щедроты. Я сообщилъ о моемъ планѣ освободить Ерухима отъ военной службы нѣкоторымъ вліятельнымъ евреямъ. Всѣ приняли горячее участіе и изъявили готовность содѣйствовать своими кошельками. А въ моемъ практическомъ планѣ кошельки играли важную и главную роль. Свободу Ерухима надобно было купить, благо въ тѣ времена многое покупалось и продавалось.

Я не считалъ, да и теперь не считаю, задуманный мною тогда планъ безчестнымъ, преступнымъ въ нравственномъ отношеніи. Я спасалъ человѣка полуживого отъ неизбежной гибели, не причиняя вреда никому. Ерухимъ отбывалъ военную службу одною спиною, на которой не было уже здороваго мѣста, отбывалъ своими мордасами, изъ которыхъ повысибли уже половину зубовъ. Ерухимъ, истрачивая свои жизненные силы, никому не приносилъ пользы. Онъ былъ не глупъ, расторопенъ, честенъ, смиренъ и трезвъ, но что пользы изъ этого, когда онъ былъ евреемъ?

Ерухимъ или, какъ его потомъ называли, Ерофей, говорилъ довольно порядочно солдатскимъ нарѣчіемъ, но рѣчь его была отрывиста, безсвязна, непослѣдовательна. Тѣмъ не менѣе, мало-помалу, я узналъ всѣ его похождения со времени сдачи его въ военную службу. Похождения эти бросаютъ такой яркій свѣтъ на жизнь тогдашняго еврея-солдата, что я считаю умѣстнымъ подѣлиться разсказомъ Ерофея съ моими читателями. Конечно, я передамъ этотъ разсказъ не въ томъ сбивчивомъ видѣ и не въ тѣхъ выраженіяхъ, въ какихъ я слышалъ его изъ устъ несчастнаго мученика-солдата.

— Меня схватили еврейскіе ловцы; въ первый вечеръ великаго праздника Пасхи,—такъ началъ Ерофей,—когда открылась дверь, чтобы впустить Илью пророка, вмѣсто него вбѣжали эти изверги и схватили меня. Я почти не помню, что вокругъ меня происходило послѣ той минуты, когда меня вынесли на рукахъ. Я, кажется, кричалъ сколько было мочи, но на мой дѣтскій ротъ плотно уложилась широкая ладонь неспящаго меня довца, и я притихъ. Я чувствовалъ, что подъ этою ладонью задыхаюсь, и, кажется, потерялъ сознание. Не помню, какимъ образомъ я очутился на соломѣ, возлѣ двухъ мальчиковъ, спавшихъ крѣпко, въ какой-то душной, мрачной комнатѣ, освѣщавшейся какимъ-то, издающимъ зловоніе, ночникомъ. Когда я очнулся, ловцы сидѣли возлѣ меня и предлагали какія-то лакомства, оправдываясь, что это не они сдѣлали, а полиція, и обѣщая завтра-же возвратить меня моей дорогой матери.

— Вотъ посмотри на этихъ умныхъ мальчиковъ, какъ они спокойно себѣ спятъ, сказали они, указавъ на моихъ сосѣдей.—Они, точно какъ и ты, были схвачены безжалостною полиціею, у нихъ тоже любящія матери, какъ и у тебя. Но они знаютъ, что черезъ день или другой они будутъ свободны, а потому и спятъ себѣ спокойно. Посмотри на насъ, развѣ мы похожи на полицейскихъ? Мы такіе-же богобоязненные евреи, какъ и твой благочестивый отецъ. Неужели мы способны обидѣть своего брата еврея, да еще бѣднаго малютку, какъ ты?

Говоря подобнымъ образомъ, одинъ изъ ловцовъ прослезился, а другой началъ меня цѣловать. Я нѣсколько успокоился: я повѣрилъ слезамъ и поцѣлуямъ. Эти добрые, какъ мнѣ показалось, люди не переставали ласкать, убѣждать и увѣрять меня до тѣхъ поръ, пока я нѣсколько не успокоился и, всхлипывая, не съѣлъ предложенныя мнѣ сласти. Они оставили меня, когда я началъ засыпать. Во снѣ я чувствовалъ нѣжныя ласки моей матери и ея горячіе поцѣлуи.

„Чуть занялась заря, я почувствовал сильный толчекъ въ бокъ и съ усиленіемъ продралъ глаза. Вчерашнее событіе совершенно стерлось изъ моей памяти. Я мутными глазами обвелъ незнакомую мнѣ комнату, пустую, мрачную, лишенную всякой мебели, своими рѣшетчатыми маленькими окнами походившую на ту тюрьму, въ которой живутъ преступники, и которою, когда я былъ еще маленькимъ, не разъ пугалъ меня отецъ, когда я у него кралъ копейки изъ кармана. Я вспомнилъ все, что случилось со мною ночью, вспомнилъ блѣдныя, испуганныя лица отца и матери и зарыдалъ.

— Дуралей, чего орешь? прикрикнулъ на меня лежавшій возлѣ бойкій мальчикъ, постарше и сильнѣе меня, толкнувъ кулакомъ въ бокъ.

„Я не обращалъ на него вниманія и еще пуще заплакалъ. Проснулся и другой мальчикъ, протеръ глаза и сѣлъ на нашемъ жалкомъ ложѣ.

— У насъ прибавился еще одинъ? спросилъ онъ своего бойкаго товарища, широко раскрывъ глаза и осматривая меня съ любопытствомъ.

— Что проку съ него! Веселѣе не будетъ. Это какой-то плаксунъ, размазня, отвѣтилъ бойкій, выставивъ мнѣ языкъ и больно ущипнувъ за подбородокъ.

— Чего ты плачешь, дуракъ? спросили меня оба мальчика въ одинъ голосъ, нагнувшись ко мнѣ и засматривая мнѣ въ глаза.

— Мама... всхлипнулъ я и захлебнулся. Ни одного слова я произнести не могъ.

— Ха, ха, ха! разсмѣялись оба мои сосѣда.

— У него есть маменька, на руки просится. А вотъ я тебя, мое дѣтко, на руки возьму. Тсс... тсс... агу, агу, крошка моя!

„Одинъ изъ мальчиковъ обхватилъ меня сильными руками и такъ рванулъ разомъ, что я крикнулъ отъ боли.

— Вольфъ, не тронь его, за что мучишь? У него отецъ и мать, пусть себѣ плачетъ. А намъ съ тобою вѣдь все равно. Лучше въ рекруты, чѣмъ въ талмудъ-торе, гдѣ насъ бьютъ какъ собакъ и кормятъ еще хуже собакъ. Не такъ-ли, Вольфъ? сказалъ другой мальчикъ, вспрыгнувъ на ноги.—Оставь его, пусть хнычетъ. А мы давай бороться.

— Давай, Лейба, чортъ съ нимъ, съ этой квашней!

„Въ эту минуту ключъ повернулся въ наружномъ замкѣ и одинъ изъ вчерашнихъ ловцовъ, съ жирнымъ, отвратительнымъ лицомъ, вошелъ въ комнату, плотно затворивъ за собою дверь.

— Молодцы! похвалилъ онъ борцовъ.—А ты, осель, все орешь?

обратился онъ гнѣвно ко мнѣ, сжавъ кулаки.—Если ты сію минуту не встанешь и не будешь играть съ товарищами, то я тебя такъ отшлепаю, что...

„Онъ свирѣпо схватилъ меня за ухо и сразу поднялъ съ ложа. Я закричалъ не своимъ голосомъ. Онъ залѣпилъ мнѣ ротъ такой оплеушиной, что у меня искры посыпались изъ глазъ. Товарищи мои покатились со смѣху.

— У него есть маменька, насмѣшливо замѣтилъ мальчикъ, называвшійся Вольфомъ;—онъ на руки просится, ха, ха, ха!

— Онъ у насъ—нѣженка, добавилъ другой, называвшійся Лейбою.—Его пеленать нужно, грудного ребенка.

„Ловецъ улыбнулся во всю ширь своей отвратительной пасти.

— Вы у меня—умницы! Разшевелите-ка этого дурака, пусть играетъ и веселится съ вами.

— Будетъ играть, увидите, пообщались мои товарищи.

„Вновь открылась дверь. Явился другой ловецъ съ лоханкой, ведромъ воды и кувшиномъ.

— Ну, дѣтки, ласково обратился къ намъ первый ловецъ,—совершите утреннее умовање рукъ и глазъ и помолитесь Богу, по-праздничному. Вотъ вамъ молитвенникъ. Когда кончите молитву, вамъ принесутъ такой вкусный обѣдъ, какой вамъ и во снѣ не снился.

„Вольфъ и Лейба, какъ-будто сговорившись, подошли ко мнѣ разомъ и спросили ласково:

— Какъ зовутъ тебя?

— Ерухимъ, отвѣтилъ я, всхлипывая и стараясь удержаться отъ рыданій, за которыя я только-что былъ наказанъ.

— Ну, товарищъ, полно куксать, пойдемъ мыться, связали они, ухвативъ меня за руки;—потомъ покушаемъ хорошенько, а потомъ играть, играть на цѣлый день. Уфъ, какъ весело! А орѣхи будутъ? спросили они ловца.

— Цѣлый ворохъ, если вы расшевелите этого нюню.

„Сначала я упирался, но, мало-по-малу, я уступилъ ласковой рѣчи сотоварищей и умылся. Мы втроемъ начали молиться изъ одного молитвенника. Ловцы, указавъ намъ порядокъ праздничной молитвы, ушли, заперѣвъ насъ снова. Какъ только ловцы скрылись, Вольфъ бросилъ молитвенникъ и пошелъ прыгать по комнатамъ на одной ногѣ.

— Вольфъ, что ты не молишься? упрекнулъ его Лейба.

— Все равно. Солдатомъ буду—перестану молиться, и ты перестанешь, и этотъ плакса перестанетъ.

— Это правда, согласился Лейба и оставил молитвенник мнѣ одному.

„Мнѣ страшно сдѣлалось за этихъ мальчиковъ, пренебрегающихъ святою молитвою. Я усердно кончилъ очень длинную молитву. Товарищи между тѣмъ бѣгали взапуски, боролись и подтрунивали надо мною.

— Кончилъ? спросилъ, усмѣхаясь, Лейба, мальчикъ моего роста, рѣзвый, черноглазый, съ крючковатымъ носомъ и курчавыми волосами и пейсиками.

— Да, тихо отвѣтилъ я.

— Ахъ ты, глупенькій! Ну для чего ты молишься?

— А развѣ можно не, молиться?

— Да вѣдь ты солдатомъ будешь; ты не только молиться перестанешь, тебѣ и пейсы обрѣютъ, и трафнымъ кормить стануть, и свиной, и даже саломъ. Бррр... ха, ха, ха!

— Я солдатомъ не буду, возразилъ я.

— А чѣмъ-же ты будешь?

— Тотъ еврей обѣщалъ отослать меня къ матери.

— Тотъ еврей, который тебѣ въ морду далъ?

— Да, тотъ самый.

„Вольфъ и Лейба повалились со смѣха.

— Вотъ вы смѣетесь, а мнѣ грустно, сказалъ я, робко приблизившись къ нимъ.

— Бѣдный Ерушко! насмѣшливо пожалѣлъ Вольфъ.—У тебя мать, тебя баловали, вотъ тебѣ и страшно.

— А у васъ развѣ матери нѣтъ?

— Ни-ни. Никого нѣтъ. Мы талмудторенники. Насъ били по цѣлымъ днямъ, мучили книжками. Вѣчно мы голодали и должны были пѣть для каждаго мертвеца ¹⁾, посѣщать всякую родильницу. Чортъ съ ними! Не лучше-ли идти въ рекруты?

„Мало-по-малу мы разговорились и подружились. Я удивлялся моимъ товарищамъ: они были немногимъ старше меня, а говорили

¹⁾ Бездомныя сиротки, воспитывающіяся на счетъ общества талмуд-торе, составляютъ доморощенный хоръ пѣвчихъ при похоронныхъ процессіяхъ богатыхъ евреевъ. Они обязаны бѣжать во главѣ процессіи и пѣшать унисономъ: «Праведность предъ тобою грядетъ». Этой чести, конечно, удостоиваются денежные мертвецы преимущественно. Этихъ-же сиротокъ гонять маленькимъ стадомъ къ денежнымъ родильницамъ для совершенія хорошаго вечерней молитвы, чѣмъ охраняютъ яко-бы домъ отъ демонскихъ вліяній, особенно опасныхъ для родильницъ и новорожденнаго.

и куражились какъ взрослые, прыгали и шутили. Короче познакомились съ товарищами, я сдѣлался развязнѣе и веселѣе.

„Намъ принесли вкусный обѣдъ. Мы весело пообѣдали. Явился ловецъ и принесъ обѣщанные орѣхи. Увидѣвъ меня веселымъ, онъ потрепалъ меня по щекѣ.

— Теперь—молодецъ, люблю. Ну, играйте, дѣтки, на здоровье. А вечеромъ мы васъ переведемъ въ кагальную избу. Тамъ вамъ еще веселѣе будетъ.

„Въ кагальной избѣ, куда насъ поздно вечеромъ перевели, было уютнѣе и опрятнѣе. Намъ дали скамьи для почлега и жиденькія подушки. Рѣшетокъ у оконъ не было, но за то одинъ изъ ловцовъ постоянно сторожилъ насъ. Когда онъ уходилъ, другой заступалъ его мѣсто. Ночью онъ стлалъ себѣ постель поперекъ единственныхъ дверей. Прошло нѣсколько дней. Я ни разу не видѣлъ ни отца, ни мать. Нѣсколько разъ я пытался узнать что-нибудь о нихъ отъ ловца, но онъ всякій разъ утѣшалъ меня.

— Они знаютъ, что черезъ нѣсколько дней тебя приведутъ къ нимъ. Чего имъ безпокоиться?

„Въ кагальную избу, однажды, ночью, ловцы притащили закованнаго въ цѣпихъ взрослого еврея, такого бородатаго, такого блѣднаго. Онъ рвалъ на себѣ цѣпи, стучался головою о стѣнку и все кричалъ: „Моя жена, мои бѣдныя дѣти“. Но ловцы крѣпко-накрѣпко его связали и почти насильно кормили, ругая и проклиная его безпрестанно. Съ тѣхъ поръ, какъ появилось это блѣдное мрачное лицо въ нашей комнатѣ, наше веселье исчезло. Даже самый бойкій и шаловливый Вольфъ сидѣлъ по цѣлымъ часамъ печальный, подгорюнившись.

„Наконецъ насъ подвезли въ крытой бричкѣ къ какому-то большому каменному дому, у дверей котораго стояла пестрая будка и шагаль солдаты взадъ и впередъ съ ружьемъ на плечѣ. Вылѣзая изъ брички, я слышалъ какіе-то крики, какой-то страшный плачъ. Мнѣ послышался голосъ матери, звавшій меня по имени, но мнѣ не дали оглянуться, а все сильнѣе и торопливѣе толкали впередъ. На лѣстницѣ и въ большой свѣтлой комнатѣ, куда насъ привели, мы все наталкивались на солдатъ, на офицеровъ и какихъ-то господъ въ черныхъ, короткихъ сюртукахъ, съ блестящими пуговицами. Наши ловцы перешептывались съ какими-то другими евреями, потомъ приказали намъ раздѣться до-нага, какъ въ банѣ. Никогда я не забуду, какъ рыдалъ нашъ бородачъ, когда его, нагого, подталкивали солдаты и увели куда-то и какъ онъ прыгалъ, опять рыдая отъ радости, когда онъ возвратился съ за-

бритымъ затылкомъ. Бойкій Вольфъ, раздѣваясь, былъ блѣденъ какъ смерть и дрожалъ такъ, что зубы щелкали у него одинъ о другой. Лейба былъ нѣсколько спокойнѣе. Когда дошла очередь до меня, я какъ-будто совсѣмъ отупѣлъ. Меня тихонько подталкивалъ еврей, а солдатъ тянулъ за руку. Меня ввели въ какую-то большую комнату. Какъ сквозь туманъ я видѣлъ кучу чужихъ людей, усатыхъ, въ очкахъ, съ большими блестящими накладками на плечахъ; меня осматривали, поворачивали, ощупывали и что-то спрашивали. Я ничего не понималъ и не былъ въ состояніи подать голоса: что-то больно сжимало мнѣ горло и я все глоталъ да глоталъ, такъ что сѣдой господинъ, въ очкахъ, меня осматривавшій, обратилъ на это вниманіе. Онъ крѣпко сдвинулъ мнѣ двумя пальцами носъ и я невольно раскрылъ ротъ. Тогда онъ долго смотрѣлъ мнѣ въ ротъ, ощупывалъ горло и всунулъ палецъ въ глотку такъ далеко, что я чуть не подавился. Я очнулся только тогда, когда тупая, холодная бритва солдата больно заскребла по головѣ нѣсколько выше лба. Я заплакалъ отъ боли. Но солдатъ, стиснувъ мнѣ голову, продолжалъ сильно скребти, не обращая на меня никакого вниманія.

„Въ той комнатѣ, гдѣ осталось мое платье и куда повели меня забритаго уже, я увидѣлъ Вольфа и Лейбу, совсѣмъ одѣтыхъ. Они сидѣли рядышкомъ, взявшись за руки, и тихо, беззвучно плакали. При видѣ ихъ слезъ я такъ громко зарыдалъ, что ловцы засуетились, поспѣшили меня одѣть и вывести на улицу. Сойдя съ лѣстницы и приближаясь къ дверямъ, ведущимъ на улицу, я услышалъ женскій, раздирающій душу вопль и въ то-же время увидѣлъ, какъ женщина боролась съ солдатомъ, непозволявшимъ ей переступить порогъ. Приблизившись къ двери, я увидѣлъ, что съ солдатомъ борется моя бѣдная мать. Я вырвался изъ рукъ тащившаго меня еврея и бросился къ моей матери на шею. Дальше ничего не помню. Когда я пришелъ въ себя, я находился въ незнакомомъ мнѣ мѣстѣ. Я осмотрѣлся кругомъ. На полу рядкомъ спали Вольфъ и Лейба. Я лежалъ на какой-то жесткой койкѣ. У стола сидѣли два старыхъ солдата, съ огромными усами, съ сердитыми лицами и чинили сапоги. Я болѣзненно застоналъ.

— Что, малецъ, стонешь? Болитъ, што-ли? спросилъ меня одинъ изъ нихъ, бросивъ сапоги и приблизившись ко мнѣ.

„Я ничего не отвѣчалъ.

— Да ты, Петровъ, своему мальцу водицы испить подай,—полегчаетъ авось. Перепужался съ утра, сердешный!

— Охъ! жисть-то, жисть нашпнская! Подъ, няньчись съ ребя-

тишками. Что съ ними подѣлаешь? Припугни, прижучь и карачунѣ ему тутъ-же.

— И для-че, кажись, набирать этихъ щенковъ? Съ нихъ проку, что съ дохлой курицы.

— Коли набираютъ, то стало-быть такъ ему и быть.

„Я жадно напился и до утра не просыпался“.

— А ты развѣ понималъ тогда то, что говорили солдаты? спросилъ я Ерофея, вспомнивъ блѣднаго мальчика, не сталкивавшагося никогда съ русскими и не понимавшаго ихъ языка.

— Я понималъ немного и тогда, благодаря болтовнѣ одного моего товарища по хедеру, который говорилъ хорошо по-русски.

Я опустилъ глаза, чтобы не выдать себя. Ерофей продолжалъ:

— „Два старыхъ солдата, находившихся въ одной комнатѣ съ нами, въ казармахъ, были приставлены къ намъ дядьками. Это были добрые, ласковые люди, въ буквальный смыслъ слова нянчившіеся съ нами, какъ съ родными дѣтьми. Намъ выводили два раза на переключку, затѣмъ мы цѣлый день были почти свободны и бѣгали, играли по двору, подѣ постояннымъ надзоромъ нашихъ дядекъ. Изъ родныхъ и знакомыхъ я, въ продолженіи почти двухъ недѣль, никого не видалъ, что огорчало не только меня, но и моего дядьку.“

— У тѣхъ ребятъшекъ никого изъ родни не имѣется, часто удивлялся Петровъ, указывая на Вольфа и Лейбу,—а у тебя вѣдь папка и мамка налицо состоятъ. Видно, не больно тебя жалуютъ, потому самому и носа не кажутъ, али дядькѣ гостинца жалѣютъ, скареды?

„Я отъ подобныхъ словъ Петрова зачастую начиналъ плакать.“

— Ну, малецъ, не хнычь, не буду; чортъ ихъ побори совсѣмъ! успокоить меня бывало добрый Петровъ, нетерпѣвшій дѣтскихъ слезъ.

Мы были одѣты въ наше домашнее еврейское платье, которое совсѣмъ не шло къ нашему лицу, лишенному пейсиковъ, и бритой на половину головѣ. Надъ нашими кафтанами насмѣхались солдаты въ казармахъ, часто показывая свинное ухо, собравъ края своихъ шинелей въ одну руку. Это бѣсило Вольфа, который все приставалъ къ дядькамъ съ вопросами, когда одѣнуть его по-солдатски и когда дадутъ ружье.

— Ишь какой пряткіи! замѣчалъ его дядька Семеновъ.—Ружье ему! А барабана не хочешь?

„Наконецъ, горячее желаніе Вольфа сбылось. Намъ повели куда-то, гдѣ лежали цѣлыя кучи сѣрыхъ шинелей, солдатскихъ фу-

ражек и сапогъ. Насъ всѣхъ въ одинъ день переодѣли. Платье было слишкомъ широко и длинно на насъ. Мы путались въ штанахъ и шинеляхъ, сѣрые фуражки надвигались на глаза, опускались до самаго подбородка, а мы не могли высвободить рукъ изъ длинныхъ рукавовъ шинелей, чтобы сдвинуть шапку. Тяжелая шинель тянула меня къ землѣ, солдатскіе сапоги, вдвое больше моей ноги, висѣли на ногахъ, какъ колодки. Когда мы, переодѣтые, поплелись въ казарму по многолюдной улицѣ, то прохожіе съ улыбкою останавливались и долго смотрѣли намъ вслѣдъ, показывая пальцами. Въ казармѣ солдатики встрѣтили насъ такимъ громкимъ хохотомъ и прибаутками, что мы всѣ три еврейскіе воина не могли удержаться отъ слезъ.

— Смотри, ребята! кричалъ одинъ солдатикъ, тыкая на насъ пальцемъ,—кошка въ мѣшкѣ!

— Тю-тю! оглашали воздухъ другіе.—Обезьяны нѣмецкія, какъ есть обезьяна въ генеральскомъ мундирѣ,—помнишь, что на собакѣ разѣзжала?

„Насъ окружили со всѣхъ сторонъ. Одни надвигали намъ фуражки на самый носъ и смѣялись надъ нашими тщетными усиліями высвободить пальцы изъ длиннаго рукава шинели, другіе немилосердно дергали, а третьи подставляли намъ на ходу ноги и помирали со смѣху, когда мы падали, какъ снопы, не будучи въ состояніи сразу подняться на ноги. Насъ замучили-бы, если-бы Петровъ и Семеновъ не вступились за насъ и не роздали-бы цѣлый десятокъ зуботычинъ.

„Въ казармѣ Вольфъ обратился къ Петрову:

— Дядя! подрѣжь намъ немного шинели и шапки; вѣдь такъ ходить нельзя.

— Что ты, дурачекъ! Какъ-же такъ, казенное рѣзать? А вотъ я васъ научу, какъ носить надо.

„Петровъ поднялъ на полъаршина полы нашихъ шинелей и подпоясалъ тонкой шворкой. Штаны онъ засучилъ холстяною подкладкою вверхъ, въ сапоги онъ напихалъ цѣлый ворохъ соломы, для того, чтобы нога тѣснѣе сидѣла. Намъ сдѣлалось очень удобно. Оставались только однѣ фуражки, съ которыми приходилось каждую минуту возиться; но Петровъ засучилъ длинные рукава нашихъ шинелей и руки наши были на-столько свободны, чтобы управляться съ глубокими фуражками.

„Прошло недѣли три послѣ того, какъ меня сдали въ рекруты, а я все еще изъ моихъ родителей никого не видалъ, какъ однажды,

передъ вечеромъ, когда я съ Вольфомъ и Лейбою бѣгалъ по двору, Петровъ позвалъ меня въ казарму.

— Подъ сюда! Тятя спрашиваетъ.

„Я бросился въ казарму и повисъ на шеѣ отца. Онъ ничего не говорилъ. Онъ все цѣловалъ да цѣловалъ меня, а крупныя слезы все падали и падали ко мнѣ за воротъ рубашки, такія теплыя, горячія слезы.

— Чего твоя хозяйка не заглянетъ къ намъ приласкать ребенка? вѣдь родная мать, кажись? сурово спросилъ Петровъ отца. — На домъ его повести? И это можно. Начальство не возбранить.

„Отецъ промолчалъ. Онъ былъ такой блѣдный, грустный, исхудалый, съ красными, припухшими глазами, а борода и пейсы такъ посѣдѣли!

„Черезъ нѣсколько минутъ онъ сунулъ Петрову что-то въ руку, отвелъ въ сторону и долго, долго шепталъ ему что-то на ухо. Петровъ внимательно слушалъ и кивалъ головою.

— Сердешная! прошепталъ добрый Петровъ, когда отецъ замолчалъ, опустивъ на грудь голову. — Сказано, мать — не выдержала, не въ моготу стало, треснуло...

„Я тогда ни о чемъ не догадывался. Я присталъ къ отцу взять меня съ собою, чтобы повидаться съ матерью и сестрами.

— Нѣтъ, дитя мое, нельзя. Начальство не позволяетъ, отвѣтилъ онъ мнѣ по-еврейски.

— Петровъ-же сказалъ, что можно.

— Онъ ошибся, дитя мое. Не правда-ли, Петровъ? Вѣдь начальство не позволяетъ ему домой идти? обратился отецъ къ дядькѣ.

— Боже упаси, какъ можно! И тебя, и меня за это отшлепають.

— Не грусти, не унывай, сынъ мой, успокоилъ меня отецъ на прощаніи, горячо цѣлуя. — Все отъ Бога, его святая воля! Покоримся. На томъ свѣтѣ онъ намъ за все воздастъ. Тамъ ужъ никто насъ больше не разлучить.

„Отецъ далъ мнѣ нѣсколько серебряныхъ мелкихъ монетъ и ушелъ, наказавъ припрятать эти деньги и тѣ, которыя онъ обѣщался мнѣ еще принести, на будущее время и не тратить на пустяки.

„Скоро послѣ этого насъ тронхъ: меня Вольфа и Лейбу, отправили на водовой фурѣ въ другой городъ. Насъ сопровождали два незнакомыхъ молодыхъ солдата. Когда меня усаживали на фуру, прибѣжалъ, запыхавшись, отецъ попрощаться. Онъ вручилъ мнѣ кожаный кошелекъ, звенѣвшій нѣсколькими рублями. Онъ долго

о чемъ-то упрашивалъ сопровождавшихъ насъ солдатъ и что-то имъ далъ. Прощаясь со мною, лицо его было сурово, глаза красные, но сухіе.

— Ерухимъ, сказалъ онъ мнѣ глухимъ голосомъ,—помни Іегову, Господа Бога нашего. Не измѣняй вѣрѣ. Не то я прокляну тебя, мать проклянетъ тебя, а Богъ накажетъ.

„Со слезами на глазахъ мы выѣхали изъ родного города. Было начало зимы. Мѣстами лежали цѣлыя вучи снѣга. Вѣтеръ дулъ холодный, рѣзкій. Я и Лейба скоро почувствовали сильный холодъ въ ногахъ и рукахъ. Солома и нѣсколько холстяныхъ онучъ, какъ и суконныя рукавицы, не согрѣвали рукъ и ногъ. Въ тѣлѣ мы холода не чувствовали, благодаря тяжелымъ полушубкамъ, надѣтымъ на насъ подъ шинелью. Волы еле передвигали ноги. Солдаты, съ ружьями на плечахъ, шли пѣшкомъ. Мы пожаловались на холодъ.

— Стучи ногу объ ногу и руку объ руку, сурово посоветовалъ одинъ изъ солдатъ.

„Мы стучали долго и усердно, но теплѣе не стало. Подъ ногтями рукъ и ногъ я почувствовалъ колючую, нестерпимую боль.

„Я заплакалъ. Солдаты остановили фуру.

— Слѣзай, черти, да пѣшкомъ бѣгите, а то околѣете, какъ собаки, и за васъ еще отвѣчай.

„Солдатъ схватилъ меня за руку и такъ рванулъ, что я кубыремъ покатился съ громоздкой фуры; Лейба выкарабкался самъ, а спавшій Вольфъ, услышавъ мой плачь, поспѣшилъ ко мнѣ на помощь. Онъ поднялъ меня и повлекъ за собою. Сначала я съ трудомъ передвигалъ ноги,—такъ онъ окоченѣлъ,—но мало-по-малу къ нимъ возвратилась гибкость и я побѣждалъ вслѣдъ за вѣчно бодрымъ и рѣзвымъ Вольфомъ. Мы часто останавливались на нѣсколько часовъ. Солдаты пронюхали, что у меня водится денюга, и заставляли всякій разъ покупать имъ водку. Эти солдаты были уже далеко не такъ добры, какъ наши прежніе дядьки. Они насъ часто били и безпрестанно ругали. Мы ужасно ихъ боялись. Какъ только мы останавливались въ какой-нибудь деревнѣ, насъ помѣщали въ мужицкой грязной избѣ. Я первый забирался на темный, нажаренный надпечникъ и только тогда чувствовалъ себя хорошо. Я былъ такой забѣлый мальчишкѣ. Но когда однажды на темномъ надпечникѣ я наткнулся на бѣшеную старуху, внезапно бросающуюся на меня и вцѣпившуюся острыми ногтями въ мое тѣло, такъ что едва могли ее оттащить отъ меня, я пересталъ влѣзать на надпечникъ безъ Лейбы и Вольфа.

„Въ одной деревнѣ какая-то добрая молодая барыня задержала

насъ часа на два, напоила чаемъ, накормила горячимъ и снабдила насъ цѣлой торбой горячихъ пирожковъ на дорогу. Но пирожки эти намъ не достались: солдаты въ одинъ присѣсть ихъ сожрали на закуску послѣ выпитой ими на мон-же деньги водки.

„Наконецъ, мы пріѣхали въ какой-то городъ, гдѣ, по словамъ нашихъ солдатъ, мы должны были присоединиться къ цѣлой партіи еврейскихъ рекрутъ малолѣтокъ. Мы прибыли, помню, въ пятницу, передъ вечеромъ. Проѣзжая базарную площадь, мы были окружены десятками евреевъ и евреекъ. Всѣ въ одинъ голосъ просили нашихъ солдатъ отпустить насъ къ нимъ на субботу. Но солдаты ихъ ругали и отгоняли. Насъ привезли къ какому-то дому и сдали офицеру. Мы не успѣли еще хорошенько отогрѣться, какъ нагрянули евреи и начали упрашивать офицера отпустить насъ къ нимъ на постой. Офицеръ, записавъ наши имена и имена тѣхъ, которые насъ приглашали, разрѣшилъ намъ идти.

„Каждый изъ евреевъ выбралъ себѣ маленькаго постояльца. Я попалъ къ какому-то бездѣтному старому мяснику. Никогда не забуду, какъ холили и баловали меня цѣлый мѣсяцъ старикъ и жена его. Какіе это были добрые, сострадательные люди!

„Все это время я былъ почти свободенъ отъ всякихъ служебныхъ обязанностей, только два раза въ день, утромъ и вечеромъ, я долженъ былъ явиться на городскую площадь на переключку и какое-то ничтожное ученье. Насъ заставляли шагать то вправо, то влево. Тутъ я увидѣлъ цѣлыя сотни такихъ еврейскихъ мальчишковъ, какъ я. Мнѣ сдѣлалось легче на душѣ. Со многими я познакомился и они часто, бывало, приходять ко мнѣ поиграть, а Вольфъ и Лейба торчали у меня по цѣлымъ днямъ. Гостепріимная моя хозяйка всѣхъ моихъ гостей кормила и поила наотвалъ.

„Когда вся партія малолѣтнихъ рекрутъ собралась, насъ всѣхъ отправили далеко, далеко. Насъ сопровождалъ офицеръ, докторъ и множество солдатъ съ ружьями. Насъ всѣхъ усадили на телѣги и, въ одно очень холодное утро, мы тронулись въ путь. Изъ города провожали и напутствовали насъ десятки евреевъ и евреекъ. Несмотря на холодъ и мятель, ни я, ни мои товарищи не чувствовали особеннаго холода. Евреи снабдили всѣхъ насъ толстыми шерстяными чулками. На фурахъ, между нашими узлами, лежали цѣлые мѣшки съ съѣстными припасами, сташенными еврейками для насъ въ дорогу. Евреи, кромѣ этого, подарили каждому изъ насъ по нѣсколько серебряныхъ монетъ. Прощаясь съ нами у заставы, всякій изъ провожавшихъ насъ евреевъ пѣлъ одну и ту-же пѣсню.

— Не забывайте, дѣти, вѣры нашей. Исполняйте всѣ наши обряды, на-сколько это вамъ будетъ возможно, и Богъ не оставитъ васъ.

„Мы долго тащились, тихо и медленно подвигаясь впередъ. На душѣ было грустно, тоскливо. Офицеръ былъ злой, грубый чело-вѣкъ. За малѣйшую оплошность онъ билъ кулаками куда ни по-пало или стегалъ цѣлымъ пучкомъ колючихъ розогъ. Не прохо-дило часу, чтобы не слышались вопли кого-нибудь изъ насъ. Мы дрожали отъ одного его взгляда. Чаше всѣхъ доставалось бѣд-ному, неукротимому Вольфу. Онъ долго куражился, но, наконецъ, поддался и присмирѣлъ.

— Ерухимъ, сказать онъ мнѣ однажды шопотомъ, — знаешь, вѣдь въ талмудъ-торъ гораздо лучше было, чѣмъ тутъ?

— А что?

— Тамъ не били такъ больно и такъ часто, какъ тутъ.

— Берегись, не шали и слушайся, усовѣщевалъ я его.

— Знаешь что, Ерухимъ: убѣжимъ?

— Что ты? Какъ можно?

— А что? Мы убѣжимъ къ евреямъ, насъ и спрячутъ. Этотъ не отыщетъ, указалъ онъ глазами на злого офицера, — и его еще изъ-за насъ отдумютъ палками.

— Не хочу и слушать. Я боюсь розогъ.

— Дуракъ! Ну, оставайся. Я и одинъ убѣгу.

„И точно, въ первомъ городѣ, гдѣ мы остановились для дневки, Вольфъ исчезъ. На перекличкѣ, утромъ, его хватались и начали разыскивать.

„Къ вечеру сами евреи его привели прямо къ офицеру и до-несли, что Вольфъ у нихъ искалъ убѣжища, чтобы скрыться.

— Какъ только мы узнали, что онъ бѣжалъ, донесли евреи, — мы его сейчасъ и потащили къ вашему высокоблагородію, чтобы изъ-за него не пришлось намъ самимъ отвѣчать.

„На всю жизнь врѣзалась мнѣ картина страшной экзекуціи, со-вершившейся надъ пойманнымъ Вольфомъ. Насъ всѣхъ созвали и разставили кружкомъ. Въ серединѣ кружка обнаженный Вольфъ лежалъ на сѣнгу лицомъ внизъ. Одинъ солдатъ сидѣлъ у него на головѣ, руки его были связаны, на ногахъ сидѣли два здоро-выхъ солдата, а два били розгами. Боже мой, какъ немилосердно его били! Всякій разъ, когда толстый пучъ розогъ, свистя въ воз-духъ, опускался на тѣло несчастнаго, красная полоса обозначалась на томъ мѣстѣ. Черезъ нѣсколько минутъ кровь брызнула изъ нѣ-сколькихъ мѣстъ. Но на это не обратили вниманія; перемѣнили

избитыя розги на свѣжія и опять принялись бить. Сначала Вольфъ крѣпился, но, мало-по-малу, крики его начали разрывать намъ душу. Большая часть маленькихъ рекрутъ зарыдала такъ громко, что заглушала самые крики страдальца.

„Вольфа перестали бить, а онъ все продолжалъ лежать молча, не трогаясь съ мѣста, вокругъ котораго снѣгъ былъ окрашенъ кровью. Докторъ далъ ему что-то нюхать и отливаль водою.

— Видѣли, поросята? обратися къ намъ свирѣпый офицеръ, угрожая кулаками.—Это еще цвѣточки! Попробуй кто изъ васъ улизнуть—живого проглочу.

„Мы отправились дальше. Экзекуція Вольфа такъ потрясла наши сердца, что мы нѣсколько дней, сряду чуждались другъ друга и все молчали. Каждый изъ насъ вздрагивалъ при одномъ взглядѣ жестокаго офицера. Вольфъ лежалъ на ранцахъ, почти не принималъ пищи и весь горѣлъ. Его и еще двухъ-трехъ заболѣвшихъ сдали въ больницу въ какомъ-то городѣ на пути.

„Черезъ нѣсколько дней мы остановились въ какомъ-то очень большомъ городѣ, гдѣ вовсе не было евреевъ. Насъ размѣстили по квартирамъ у русскихъ. Насъ нѣсколько мальчиковъ состояло подъ надзоромъ одного стараго, свирѣпаго солдата, незнавшаго жалости. Онъ насъ немилосердно билъ и вѣчно ругалъ. Но когда я началъ ему давать понемногу денегъ, онъ заблаговолилъ ко мнѣ и къ Лейбѣ, къ которому я въ пути привязался какъ къ родному брату. Я и Лейба стояли вмѣстѣ на квартирѣ у одной бѣдной русской торговки. Это была добрая, сострадательная душа. Она насъ ругала и поносила какъ нехристей, но въ то-же время жалѣла и ласкала какъ безпомощныхъ дѣтей. Всѣ рекруты-малолѣтки не могли нахвалиться своими хозяевами. Были между бѣдными рекрутами такіе, которые ни за что въ мірѣ не рѣшались прикоснуться устами къ трафимъ яствамъ. Хозяева не обижались этимъ, а кормили ихъ хлѣбомъ, масломъ, рыбою и сырою капустою.

— Что-же? Вѣру свою соблюдаютъ, оправдывали ихъ сами хозяева.

„Въ этомъ большомъ городѣ мы постояли съ мѣсяць. Тутъ насъ разсортировали, кому куда идти. Нѣкоторыхъ, болѣе бойкихъ и сметливыхъ, отправили въ какія-то кантонистскія школы, а остальныхъ разослали въ разныя мѣста для отдачи поселянамъ на прокормленіе и содержаніе, пока подрастутъ и пока наступитъ пора зачислить ихъ въ дѣйствительную военную службу. Меня, Лейбу и еще нѣсколькихъ отправили вмѣстѣ съ этапомъ куда-то, какъ говорили, очень далеко, въ холодную страну. Теперь только мы на-

чали настояще бѣдствовать. Мои деньги истощились до послѣдней копейки. Лейба и подавно ничего за душою не имѣлъ. На дворѣ стоялъ страшный холодъ, морозы и вьюги пронизали насъ до костей. На фурахъ, сопровождавшихъ этапъ, было навалено столько вещей, на этихъ вещахъ сидѣло столько слабыхъ, больныхъ мужчинъ и женщинъ въ цѣпяхъ и безъ цѣпей, что намъ положительно мѣста не было усѣсться уютно и удобно. Мы часто замерзали до того, что солдаты, чтобы отогрѣть насъ, швыряли насъ другъ къ другу, какъ мячикъ. Мы плакали, а они смѣялись и безжалостно толкали насъ впередъ. Особенно страдали мы отъ нѣкоторыхъ бородатыхъ преступниковъ, шедшихъ гѣшкомъ во всю дорогу. Какъ только кто-нибудь изъ насъ нечаянно приблизится, бывало, къ нимъ то получаетъ такой ударъ локтемъ или ногою, что отлетитъ на пять шаговъ. Надъ паденіемъ неуклюжаго рекрутка поднимался хохотъ, насмѣшки и прибаутки. Одинъ изъ нашихъ товарищей, при одномъ изъ подобныхъ паденій, сломалъ ногу. За это бородатому разбойнику порядкомъ досталось. Сопровождавшій этапъ старшій солдатъ билъ изверга такъ, что все лицо разбойника было окровавлено. Несчастнаго товарища оставили въ какой-то больницѣ. Двое изъ нашихъ товарищей заболѣли въ пути горячкой, и, пока мы добрались до ближайшаго города, умерли. Тѣла ихъ были сданы по начальству, а мы пошли дальше. Мнѣ все казалось, что я тоже долженъ умереть или замерзнуть. Я вѣчно дрожалъ, не чувствовалъ ни рукъ, ни ногъ. Но между тѣмъ я ни разу даже не заболѣлъ въ дорогѣ. Когда, бывало, съѣмъ нѣсколько сухарей, похлебаю горячихъ, постныхъ щей и выпьюсь, то опять чувствую силу и бодрость. Сначала сильно болѣли ноги отъ ходьбы и ломило во всемъ тѣлѣ, а потомъ привыкъ, ничего. Долго мы шли такимъ образомъ, переходя изъ одного этапа въ другой и останавливаясь на цѣлыя недѣли для отдыха. Тамъ, гдѣ мы останавливались, вызывались часто охотники взять кого-нибудь изъ насъ на прокормленіе. Въ каждомъ мѣстѣ мы оставляли одного или нѣсколькихъ и наша партія мало-по-малу съ каждою стоянкою уменьшалась. Когда явятся желающіе взять жиденка на харчи, то насъ, бывало, выставляютъ въ рядъ, желающіе начать насъ осматривать, ощупывать и разспрашивать. На меня, бывало, посмотреть, да и махнуть рукою.

— Нѣ, энтый негодящій: больно малъ да и дошлый такой.

„Меня, Лейбу и еще нѣкоторыхъ обходили и выбирали мальчишекъ по-крупнѣе да по-жирнѣе. А насъ гнали дальше.

„Когда дошла очередь, наконецъ, и до насъ, то насъ осталось

всего только трое мальчиковъ: я, Лейба и нѣкто Бенья. Такъ-какъ крупнѣе насъ уже не было, то разобрали и насъ. Мы всѣ трое попали въ одну и ту-же деревню, лежащую подъ горою, на вершинѣ которой тянулся длинный, тустой, страшный лѣсъ. Вся деревня эта занималась преимущественно лѣснымъ промысломъ. Лѣсъ сплавлялся по быстрой, широкой рѣкѣ, протекавшей въ нѣсколькихъ верстахъ отъ деревни. Когда мы пришли въ эту деревню, то зима была на исходѣ. Снѣгъ началъ таять, вода быстрыми ручьями стремилась съ горъ. Солнце уже начало показываться по утрамъ, а тепловатый вѣтеръ вѣялъ по цѣлымъ днямъ. Въ первый же день нашего прихода насъ разобрали поселяне. Тамъ, гдѣ насъ было много, маленькихъ, худенькихъ обходили, а теперь, когда насъ осталось всего трое, за насъ почти дрались. На каждого изъ насъ нашлись десятки охотниковъ. Кричали и шумѣли нѣсколько часовъ, задабривая каждый по-своему наше начальство, пока рѣшилъ, кому мы должны отнынѣ принадлежать.

— Видишь, Ерухимъ, какъ изъ-за насъ спорятъ, шепнулъ мнѣ Лейба.—Въ насъ, значить, нуждаются. Намъ тутъ будетъ хорошо.

„Отправляя насъ къ хозяевамъ, наше, на радостяхъ напившееся, начальство дало намъ строгое наставленіе слѣпо повиноваться хозяевамъ и вести себя честно и аккуратно, а хозяевамъ было строго наказано кормить и одѣвать насъ какъ слѣдуетъ и, Боже упаси, не бить жестоко и не калѣчить.

— Да какъ-же безъ энтаго? затруднялись наши будущіе хозяева.—Родныхъ ребятъ и то безъ сего дѣла не вскормишь.

— Ну, провинился—лупи розгой, это можно, а вредить не смѣй, пояснило начальство.

„Итакъ, мы разбрелись въ разные стороны, уговорившись любить другъ друга, сходиться, если только будетъ можно. Раставаясь мы всѣ трое прослезилсь. Мы чувствовали нашу полнѣйшую безпомощность въ незнакомой средѣ, между чужими людьми, неимѣющими ничего общаго съ нами.

„Мой хозяинъ, за которымъ я шелъ, опустивъ голову на грудь, былъ мужикъ еще молодой, коренастый, съ грубымъ, угрюмымъ лицомъ, покрытымъ угрями. Его косые маленькіе глаза, разбѣгавшіеся во всѣ стороны, осматривали меня ежеминутно съ головы до ногъ и страшно пугали меня. Я поглядывалъ на его здоровенный кулакъ и воображалъ себѣ тяжесть его, когда онъ опустится на мою голову. Мнѣ было такъ грустно, что внутреннія слезы душили меня. Я успѣлъ уже попривыкнуть къ солдатской опеѣ; меня тревожила теперь новая—мужицкая.

„Изба моего хозяина лежала на самомъ концѣ длинной и узкой деревни, у самого подножья горы, у самой дорожки, змѣившейся множествомъ изгибовъ въ гору и терявшейся въ безлиственномъ лѣсѣ, закрывавшемъ собою весь горизонтъ. Дворъ, въ который я вступилъ, былъ обнесенъ плетнемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разрушеннымъ. Весь большой дворъ былъ загроможденъ дровянымъ лѣсомъ, набросаннымъ въ безпорядкѣ цѣлыми кучами. На краю двора стояло нѣсколько плетеныхъ хлѣбовъ, обѣлленныхъ глиною, и большой, длинный навѣсъ и овчарня. Навстрѣчу намъ бросилась цѣлая стая громадныхъ косматыхъ собакъ. Сначала онѣ попробовали приласкаться къ хозяину, прыгая къ нему на грудь, но, получивъ въ благодарность за ласку нѣсколько чувствительныхъ пинковъ ногою, онѣ отстали отъ него и набросились на меня. Въ одну минуту полы моей казенной шинели были изорваны въ клочки. Если-бы хозяинъ не разогналъ этихъ чудовищъ, то они и самого меня изорвали-бы въ куски.

— Ты чего не обороняешься самъ?

— Я боюсь, прошепталъ я, заплакавъ.

„Хозяинъ какъ-то странно посмотрѣлъ на меня съ боку.

„Изба была очень большая, сложенная изъ толстыхъ, почернѣвшихъ отъ грязи и копоти бревенъ, переложенныхъ мохомъ. Маленькія потускнѣвшія окошечки едва пропускали дневной свѣтъ. Изба была натоплена до того, что мнѣ захватило почти духъ, когда я переступилъ порогъ. Земляной полъ былъ покрытъ толстымъ слоемъ грязи и разными нечистотами и глубоко взрытъ двумя жеребятами и тремя телятами, бѣгавшими въ запуски и выбрыкивавшими задними ногами, задравъ хвосты. Разная птица, переполненная этой бѣготней, подымалась съ земли и перелетала въ безопасные углы избы, кудахта и крича по-своему на разные лады. Въ одномъ углу стоялъ ткацкій станокъ, въ другомъ деревянная ступа, въ третьемъ плотницкій верстакъ. Старая баба работала у ткацкого станка, другая, молодая, толкла что-то въ ступѣ, а дѣвка возилась у огромной печи. На широкихъ полатяхъ горланило нѣсколько человѣкъ дѣтей. Оттуда выглядывала сѣдая старческая голова съ желтымъ, страшнымъ лицомъ, обросшимъ дикою сѣдою бородою. Подъ самыми полатями, въ углу, видѣлось нѣсколько почернѣвшихъ иконъ. Во всей избѣ стоялъ ужасный шумъ, трескъ и стукъ.

„Переступивъ порогъ, я остановился, обнаживъ голову, не зная, куда ступить. Хозяинъ, снявъ шапку, помолился на образа и обратился къ старику, лежавшему на полатяхъ:

— Отбилъ работника, тятя.

— А што?

— Изъ рукъ, шельмецы, вырывали. Ну, да я первый ухитрился уладить; ничего, значить, сдѣлать не могли. Мнѣ достался.

„Старикъ окинулъ меня лѣнивымъ взглядомъ.

— Ты чего, малецъ, на образа не кланяешься? пропамкалъ онъ, пожевывая своими беззубыми челюстями.

— Нешто христіанинъ онъ, оправдалъ меня хозяинъ, сынъ старика, пожавъ плечами.

— А што-жь онъ такое?

— Стало быть изъ жидовъ.

„Старикъ осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ и плюнулъ. Бабы, даже дѣти, повернули ко мнѣ головы и гнѣвно на меня посмотрѣли.

— А для че ублюдка въ избу взялъ? спросила старуха, сверкнувъ глазами на хозяина.

— Подъ, Сильвестръ, отдай назадъ, посоветовалъ старикъ.

— Нѣ, тятя, не можно. Бумагу подписалъ, стало быть конецъ.

— А што съ нимъ сдѣлаешь?

— Попривыкнетъ, прокъ будетъ. Скоро лѣто Богъ шлетъ, въ степь сгодится. Дѣло ему найду.

— Чего стоишь, какъ чурбанъ? Раздѣнись, ты на мѣстѣ. Кажись, не въ гости пришелъ, приказалъ хозяинъ.

„Я снялъ шинель и не зналъ куда ее положить.

— Пихай подъ лавку, и сапогиними, чего даромъ топтать!

„Я очутился босикомъ. Жидкая грязь земляного пола залѣзла между пальцевъ ногъ. Я вздрогнулъ отъ непріятнаго, непривычнаго ощущенія.

— Кличутъ тебя какъ? спросилъ старикъ.

— Ерухимъ.

— Мудрено што-то. Это по-жидовски, а по-нашему какъ будетъ.

— Не знаю.

— Окрестимъ его Ерохой али Ярошкой, нашелся Сильвестръ.

„Приемъ не общалъ ничего хорошаго. Скоро сѣли обѣдать. Мнѣ подали особо, въ разбитомъ черепкѣ, какую-то мутную, прѣсную жидкость и ломоть отрубистаго, липкаго хлѣба. Отъ первой ложки меня стошнило, но я чувствовалъ сильный голодъ и продолжалъ глотать.

„Когда послѣ обѣда хозяинъ приказалъ мнѣ принести изъ хлѣва сухой соломѣ, для свѣжей настилки въ его промокшіе сапоги, у

меня сердце забилося отъ тревоги. Я боялся страшныхъ собакъ, чуть не разорвавшихъ меня за часъ тому назадъ. А все-таки идти необходимо было. Для большей безопасности моихъ ногъ, я началъ обувать сапоги, но хозяинъ прикрикнулъ на меня:

— Чего обуваешься? Тутъ рукой подать.

„Весь дрожа отъ страха, я вышелъ, но въ сѣняхъ остановился. Я осторожно высунулъ голову за дверь, осматривая дворъ и вывѣдывая позицію непріятеля. Но проклятыя собаки тотчасъ замѣтили меня и устремились къ сѣнямъ цѣлой стаей, съ страшнымъ лаемъ. Я стремглавъ пустился въ избу.

— Псовъ спужался? спросилъ нѣсколько ласково хозяинъ, поднимаясь со скамьи.—Палагея, налей помоевъ псамъ, пусть Ярошка вынесетъ, подастъ и познакомится, приказалъ хозяинъ молодой бабѣ.

— Чего балуешь ублюдка? замѣтилъ старый.—Нешто такъ не обойдется? Псы разумнѣе его: узнаютъ, што тутешній, и сами лаять перестанутъ.

— Тятя, вѣдь Яроха человѣкъ казенный; разорвутъ, а потомъ отвѣчай за него.

— Гм... А если издохнетъ, мы тожь въ отвѣтъ быть должны?

— Для-че подыхать? Бѣсъ его не возьметъ.

„Я вынесъ цѣлую лохань пойла псамъ. Хозяинъ вышелъ со мною. Я тайкомъ захватилъ краюху хлѣба и нѣсколько кусковъ мякоти. При видѣ пойла собаки не трогали меня, а только посматривали на лохань, подпрыгивая и вертя хвостами. Я поставилъ лохань. Собаки съ жадностью бросились на помон, между тѣмъ какъ хозяинъ, познакомивъ меня съ кличкою своихъ собакъ, ушелъ за соломой, приказавъ мнѣ остаться съ собаками.

— Пусть обнюхаются, кусать потомъ не будутъ.

„Когда лохань была опорожнена и облизана, нѣкоторые изъ собакъ опять начали косо посматривать на меня, рыча и скаля зубы. Чтобы задобрить недовольныхъ, я досталъ хлѣбъ изъ кармана и по кусочкамъ началъ швырять то одной, то другой. Я радовался быстрой дружбѣ, устанавливавшейся между мною и недавними врагами. Одна изъ самыхъ страшныхъ собачищъ, кличкою Куцъ, лизнула мнѣ руку, а другая потерлась у моихъ ногъ. Я радовался этимъ ласкамъ до умиленія, но радость эта была внезапно прервана пренепріятнымъ образомъ. Когда я швырнулъ послѣдній кусокъ хлѣба собакамъ, я получилъ такую затрещину, что едва устоялъ на ногахъ, и злой голосъ старухи оглушилъ меня:

— Я тѣ, дьяволъ, научу таскать святой хлѣбъ изъ избы и псамъ кидать! Я тѣ самого псамъ отдамъ.

„Хозяинъ, съ ворохомъ соломы, подошелъ на эту сцену. Узнавъ, въ чемъ я провинился, онъ ругнулъ меня въ свою очередь и погрозилъ кудакѣмъ.

— Ты никакъ воровать, малецъ? Стерегись, я баловать не охочь.

„Непривѣтливо было мое вступленіе въ новую жпзнь. Мнѣ не дали раздумывать долго, а поставили къ ступѣ, гдѣ я работала до самаго вечера безъ роздыха, молча. Поѣвши липкаго хлѣба съ солью и заппвъ водою, я улегся на какихъ-то тряпкахъ, на мокрой землѣ. Прикрывшись своей казенной шинелишкой, я скоро заснулъ свинцовымъ сномъ.

„Вслѣдъ за первымъ сквернымъ днемъ моей новой жизни, потянулся цѣлый длинный рядъ подобныхъ дней. Меня употребляли къ домашнимъ работамъ, къ ткацкому станку, къ ступѣ и къ стряпнѣ. Я мылъ горшки, носилъ воду, рубилъ тонкіе дрова, подметалъ, нянчилъ дѣтей, кормилъ собакъ и свиней. Я никогда не наѣдался досыта, не высыпался вдоволь. Я заросъ шерстью какъ медвѣжонокъ, ногти мои выросли на полвершка и причиняли мнѣ боль. Тѣло мое, подъ грязной, какъ земля, рубашенкою, вѣчно зудилось, и я, какъ грязное животное, постоянно теръ спину у стѣнъ и косяковъ. Я совсѣмъ одичалъ. Хотя я былъ очень тихъ и послушенъ, но тѣмъ не менѣе старики и старуха вѣчно толкали и ругали меня; вообще со мною обращались какъ съ паршивымъ щенкомъ. Хозяина по цѣлымъ днямъ не было дома. Жена хозяина и дѣвка, сестра его, мучили меня гораздо менѣе другихъ. Онѣ украдкой, и то взрѣдка, подсовывали мнѣ лишнюю краюху хлѣба. Одни дѣти не гнушались меня. Они любили со мною играть. Я дѣтей очень любилъ. Собаки также меня очень полюбили. Какъ только я улучу свободную минуту, я, бывало, выбѣгу за ворота и взапуски пушусь бѣгать съ моими четвероногими друзьями. О моихъ товарищахъ Лейбъ и Бенъ я ничего не зналъ. Я ихъ ни разу не видѣлъ и не встрѣчалъ. Да и гдѣ могъ я съ ними встрѣтиться, когда меня не выпускали со двора?

„Когда свѣтъ совсѣмъ растаялъ и обнажилась земля, когда выглянула первая травка, участь моя измѣнилась къ лучшему. Мнѣ поручили пасти коровъ, овецъ и свиней. До зари я отправляюсь, бывало, съ моимъ маленькимъ стадомъ и съ цѣлымъ десяткомъ умныхъ собакъ, которыя знали охранять стадо и держать его въ отличномъ порядкѣ. Я былъ очень доволенъ своею судьбою. Воз-

бравшись на гору, я водилъ свое стадо цѣлый день у окраинъ лѣса. Тутъ я былъ свободенъ, не слышалъ ни брани, не переносилъ побоевъ. Мнѣ давали съ собою хлѣбъ, соль, крупу или пшено. Я имѣлъ въ своемъ распоряженіи маленький котелокъ. Разведя гдѣ-нибудь въ ложбинѣ огонь изъ сухихъ вѣтвей, я самъ варилъ себѣ свою постную похлебку. Я отыскивалъ сладкихъ грибовъ и иногда рѣшался выдоть себѣ немножко молока и подбавить въ мой безыскусственный супъ. Это было праздникомъ для меня. Какъ только показались земляника и дикіе фрукты, я зажилъ по-царски. Въ лѣсу водились волки, но я ихъ не боялся. Большая часть моихъ громадныхъ собакъ имѣли и силу и отвагу волкодавовъ. Мое стадо жирѣло съ каждымъ днемъ и сохранялось въ цѣлости. Хозяинъ былъ мною доволенъ, прочіе члены семьи сдѣлались тоже ласковѣе съ тѣхъ поръ, какъ я пересталъ торчать цѣлые дни передъ ихъ глазами. Иногда я бралъ съ собою дѣтей и игралъ съ ними въ степи. Мое здоровье значительно поправилось и тѣло окрѣпло. Я мылся и купался очень часто въ горномъ ручьѣ. Спалъ на чистомъ воздухѣ и постоянно былъ въ движеніи.

„Однажды, отыскивая болѣе сочное пастбище, я загналъ свое стадо въ сторону, забравшись далеко въ горы. Осматривая открывшееся моимъ глазамъ широкое плоскогорье, я нѣсколько вдали замѣтилъ небольшое пасущееся стадо. Я погналъ туда и свое. Желая познакомиться съ пастухомъ, я направился прямо къ нему. Какова-же была моя радость, когда я встрѣтился лицомъ къ лицу съ товарищемъ Лейбою! Мы упали другъ къ другу на шею, какъ родные братья. Лейба цопалъ также къ поселянину и терпѣлъ отъ жестокостей своихъ хозяевъ еще больше моего. Сдѣлавшись пастухомъ, онъ былъ такъ-же безконечно счастливъ, какъ и я. Счастіе Лейбы состояло, однакожъ, единственно въ его относительной свободѣ и избавленіи отъ частыхъ, жестокихъ побоевъ. Онъ цѣлые дни питался однимъ хлѣбомъ и водою. Ему было воспрещено подводить свое стадо близко къ лѣсу. Самое стадо заключалось въ однѣхъ свиньяхъ, за которыми зорко приходилось смотрѣть, чтобы онѣ не разбѣжались, тѣмъ болѣе, что Лейба не имѣлъ при себѣ такихъ смысленныхъ собакъ, какъ у меня. Когда я ему рассказалъ, какъ я роскошничалъ, онъ всплеснулъ руками отъ удивленія и зависти.

— Я тебя угощу, Лейба, обѣдомъ,—увидишь, какимъ. Ты только присмотри и за моимъ стадомъ и подгоняй поближе къ лѣсу, а я сбѣгаю въ лѣсъ за грибами и земляникой.

„Мнѣ недолго пришлось искать. Я нарвалъ самую крупную зе-

млянику, собралъ грибовъ. Мнѣ посчастливилось открыть на невысокомъ деревѣ птичьи гнѣзда, изъ которыхъ я утащилъ яйца. Безконечно ликуя, я побѣжалъ на встрѣчу Лейбѣ. Мы выбрали удобное мѣсто, развели огонь и начали стряпать обѣдъ. На радостяхъ я надонлъ полный котелокъ молока, насыпалъ пшена и накрошилъ туда грибовъ. Черезъ полчаса вкусный молочный супъ былъ готовъ. Мы расположились въ мелкой котловинѣ и приступили къ вкусному обѣду. Каждый изъ насъ досталъ свой хлѣбъ и мы начали хлебать нашъ супъ, чередуясь единственною ложкою, имѣвшеюся у меня: разъ укушу я краюху и залью глотку ложкою супа, другой разъ— онъ. Обѣдая подобнымъ роскошнымъ образомъ, мы были наверху блаженства, тѣмъ болѣе, что на широкихъ листьяхъ лопушника намъ улыбалась крупная, румяная земляника. Самое крупное наслажденіе было еще впереди.

„Вдругъ раздался неистовый лай собакъ на опушѣхъ лѣса.

— Что такое тамъ случилось? встревожился я.

— Собаки наши грызутся, пусть ихъ, успокоилъ меня товарищъ, жадно утолившій голодъ.

„У самого края котловины вдругъ выросъ, какъ изъ-подъ земли, мальчикъ, одичалый, обрюзглый, заросшій волосами, весь въ лохмотьяхъ. Я съ изумленіемъ посмотрѣлъ на незнакомца.

— Ерухимъ! всплеснулъ дикарь радостно руками и устремился ко мнѣ.

„По голосу я узналъ тотчасъ Беню и бросился къ нему на встрѣчу.

— Стой, Ерухимъ, не подходи къ нему! вскрикнулъ испуганнымъ голосомъ Лейба.

— А что? спросилъ я съ недоумѣніемъ, въ то время, какъ Бенья остановился, какъ вкопанный, и поблѣднѣлъ, какъ стѣна.

— Не подходи къ нему, Ерухимъ, не прикасайся къ нему: онъ уже не нашъ, онъ... мешумедъ (ренегать), гоил!..

„Меня это извѣстіе поразило и кольнуло въ самое сердце.

— Бенья, правду-ли Лейба говорить? спросилъ я сконфуженного мальчика дрожащимъ голосомъ.

„Бенья опустилъ голову и покраснѣлъ.

— Ерухимъ, дай мнѣ поѣсть, я такъ голоденъ, такъ голоденъ! взмолилъ онъ меня, не трогаясь съ мѣста.

„Мнѣ жалъ стало товарища, такъ жадно поглядывавшаго на котелокъ и на землянику.

— Иди, ѣшь, позволилъ я ему, отворачиваясь отъ него.

„Бенья побѣжалъ къ котелку. Но Лейба, замѣтивъ приближающа-

гося Бению, быстро опрокинул котелок и начал ногами топтать землянику, издавая губами рѣзкій свистъ. Черезъ минуту сбѣжались нѣсколько собакъ и жадно накинудись на остатки молочнаго супа.

— Лучше собакамъ пусть достанется, чѣмъ тебѣ, злобно произнесъ Лейба, обращаясь къ оторопѣвшему Бени.

„Беня заплакалъ и убѣждалъ, угрожая намъ издали кулаками.

— Ты злой мальчикъ, упрекнулъ я Лейбу.

— Онъ отсталъ отъ насъ, зачѣмъ-же въ нуждѣ къ намъ опять лѣзетъ?

— Можетъ быть, его уже черезчуръ били, онъ этимъ и хотѣлъ облегчить себя.

— А насъ по головкѣ гладятъ? Терпимъ вѣдь, и онъ могъ терпѣть.

„Я погналъ свое стадо назадъ, условившись съ Лейбою сходитьсь каждый день къ полудню для общаго обѣда.

„Было-бы гораздо лучше для насъ обоихъ, если-бы мы никогда не встрѣтились. Впродолженіи нѣсколькихъ дней мы въ извѣстную пору сходились и обѣдали вмѣстѣ, лакомясь хозяйскимъ молокомъ и лѣсными продуктами. Издали мы всегда замѣчали маленькое стадо ренегата Бени. Онъ къ намъ, однакожъ, больше не подходилъ и, казалось, не замѣчалъ насъ. Но мы ошибались. Беня не забывалъ о насъ. Это былъ злопамятный мальчикъ.

„Черезъ нѣсколько дней мы, какъ всегда, расположились обѣдать. Я налилъ полный котелокъ молока и началъ разводить огонь. Лейбѣ удалось стащить у хозяина своего какую-то копченую, затхлую рыбу и онъ съ гордостью принялся раздирать ее ногтями. Вдругъ издали показались два человѣка, быстрыми шагами направлявшіеся прямо къ намъ. Въ одномъ изъ нихъ я узналъ моего хозяина. Со всѣхъ ногъ бросился я съ полнымъ котелкомъ въ сторону, вылилъ молоко въ первую попавшуюся ямку, тутъ-же бросилъ котелокъ и возвратился на свое мѣсто, дрожа всѣми членами отъ страха.

„Я не ошибся. Къ намъ приблизились двое мужиковъ. Одинъ изъ нихъ былъ мой хозяинъ, а другой былъ мнѣ незнакомъ, но, судя по тому, какъ испуганно вскочилъ на ноги Лейба и поблѣднѣлъ, я догадался, что это былъ хозяинъ моего товарища.

— Тебѣ, свинное ухо, наказано было не гнать свиней къ лѣсу? Наказано было или нѣтъ? грозно крикнулъ незнакомый мужикъ, схвативъ Лейбу за вихоръ и притянувъ его къ себѣ.

— А ты, песъ, чего, заходишь со скотиною такъ далеко отъ дому? приступилъ ко мнѣ мой хозяинъ.

— Глядь-ко! изумился хозяинъ Лейбы, обращаясь къ моему хозяину.—Таранъ мою жрутъ! А жена нонѣ всѣхъ ребятишекъ перетаскала за эту самую таранъ.

„Въ эту минуту приблизился Бенья, снявъ шапку и отвратительно улыбаясь.

— Они еще и не то дѣлаютъ, донесъ онъ, указывая на насъ.— Каждый день они выдѣлаютъ хозяйскихъ коровъ и варятъ себѣ молочную кашу. Вотъ, посмотрите, добавилъ Бенья, отыскивая глазами мой котелокъ.

— Гдѣ котель, лиходѣй? заоралъ хозяинъ страшнымъ голосомъ, схвативъ меня за руку.

— Вонъ, вонъ, указалъ Бенья рукою. Проклятыя собаки выдали меня, сбѣжавшись на запахъ молока къ тому мѣсту, гдѣ были сокрыты явные улики моего тяжкаго преступленія.

„Хозяинъ бросился туда. Я былъ пойманъ и уличенъ. Съ какимъ-то ревомъ онъ бросился на меня, смялъ подъ себя и такъ началъ душиить, давить и бить, что у меня хрустѣли всѣ суставы, въ ушахъ звенѣло, а въ глазахъ сдѣлалось такъ темно, какъ въ глухую ночь. Долго-ли это продолжалось,—не знаю. Но когда хозяинъ пересталъ меня бить и топтать ногами, я продолжалъ лежать, ничего не видя, ничего не слыша. Онъ нѣсколько разъ пытался поставить меня на ноги, но я падалъ опять, какъ снопъ. Должно полагать, что онъ самъ испугался послѣдствій своей жестокости, потому что онъ засуетился, побѣжалъ за водою и началъ меня отливать. Когда я нѣсколько очнулся, то слышалъ болѣзненный, рѣзкій крикъ Лейбы, все болѣе и болѣе удалившейся. Ему, должно быть, досталось не меньше моего. Какъ хозяинъ ни мучился со мною, а я идти не могъ: одна нога не повиновалась мнѣ; она была какъ деревянная и такъ страшно болѣла, когда я пробовалъ ступить ею, что я невольно падалъ. Хозяинъ, проклиная меня, оставилъ, а самъ погналъ стадо домой. Я лежалъ полуубитый, растерзанный, съ закрытыми глазами, горько рыдая. Мнѣ показалось, что кто-то гладитъ меня по головѣ и плачетъ вмѣстѣ со мною. Я съ усиленіемъ открылъ глаза. Возлѣ меня, на землѣ, положила руку на мой лобъ, сидѣлъ Бенья и горько плакалъ. Я отшатнулся отъ него, какъ отъ змѣи.

— Прочь отъ меня, прошепталъ я.—За что ты меня погубилъ? Что я тебѣ сдѣлалъ?

— Не тебѣ, Ерухимъ, хотѣлъ я повредить,—ты мальчикъ доб-

рый,—а подлецу Лейбѣ, отдающему собакамъ то, о чемъ просить у него брать.

— Какой ты намъ брать? замѣтилъ я и отвернулся.

„Пришелъ хозяинъ еще съ однимъ мужикомъ и потащили меня домой. Хозяинъ мой былъ разстроенъ, угрюмъ и молчалъ во всю дорогу. Меня положили въ хлѣвъ на соломѣ. Черезъ часъ хозяинъ привелъ какого-то отставного солдата-коновала. Солдатъ долго ощупывалъ и вытягивалъ мою ногу, причиняя мнѣ нестерпимую боль, и наконецъ рѣшилъ, что перелома нѣтъ, а только сильный вывихъ.

— Полечи ты его ради Христа, Ефимычъ, упрасивалъ хозяинъ коновала.—Ишь, бѣда приключилась.

— Зачѣмъ больно стучаешь, куда ни попало? Не дерево-же, тожъ живой человѣкъ, хотъ и нехристь.

— Вотъ тѣ крестъ святой, Ефимычъ, никогда не бивалъ, а тутъ уже больно провинился,—ну, чуточку потаскалъ. Што-жъ, всякъ грѣшенъ!

— Потаскалъ! А ты поташутъ, што запоешь? Вѣдь казенный, хотъ и махонькій; тожъ солдатъ царскій, вотъ что, братецъ ты мой.

— Лечи, Ефимычъ. Во-какъ возблагодарю!

— Чаво лечить! Какъ на собакѣ присохнетъ. А ты его не трожь. Пусть недѣлку-другую поваляется на вальготѣ.

«Я валялся долго, очень додго на вальготѣ, пока выздоровѣлъ и началъ ходить, нѣсколько прихрамывая. Во все время моей лежачки старуха приносила мнѣ два раза въ день какіе-то помои, крохи и объѣдки и при этомъ всегда обзывала меня лѣшнимъ и ублюдкомъ и никакъ не могла простить мнѣ выпитаго тайкомъ молока.

«Когда я совсѣмъ выздоровѣлъ, наступила уже осень, а за нею потянулась суровая, страшно холодная зима. Осень и зима посвящались моимъ хозяиномъ лѣсному промыслу. Онъ рубилъ тонкій и строевой лѣсъ и, по санной дорогѣ, свозилъ въ свой просторный дворъ, откуда, въ началѣ весны, при половодьѣ рѣки, сплавлялъ въ лежащій у берега той рѣки большой городъ. Къ этому лѣсному промыслу хозяинъ началъ употреблять и меня. Въ то время, когда онъ подрубалъ толстыя, высокія деревья, я собиралъ валежники и срубалъ молодыя, тонкія деревья. Нагрузивъ сани лѣсомъ, я свозилъ ихъ съ горы, съ помощью бабъ и старика, сваливалъ лѣсъ во дворъ и возвращался назадъ съ пустыми санями. Работа эта начиналась съ самаго ранняго утра и оканчивалась позднимъ вечеромъ. Это повторялось каждый Божій день съ ужасающимъ постоянствомъ, даже по воскреснымъ и праздничнымъ

днямъ, несмотря ни на какую погоду. Питались мы съ хозяиномъ однимъ хлѣбомъ съ солью, а изрѣдка соленою, сухою и тагучею, какъ подошва, рыбою. Хозяину было тепло: онъ былъ одѣтъ въ двухъ кожукахъ и часто, сверхъ того, прикладывался къ посудинѣ съ водкою, а я, какъ собака, мерзъ и дрожалъ въ своемъ казенномъ полушубкѣ, совсѣмъ оплѣшивѣвшемъ, и въ дырявой шинелишкѣ. Особенно зябли ноги, несмотря на постоянное мое постукиваніе и припрыгиваніе. За то, возвращаясь вечеромъ въ жарко натопленную избу, похлебавъ горячей бурды съ хлѣбомъ и уложившись у печки, я чувствовалъ себя невыразимо хорошо и засыпалъ сладкимъ сномъ. Меня не били и почти не ругали. Хозяинъ былъ доволенъ моимъ усердіемъ. Все шло какъ нельзя лучше, когда со мною приключилась новая бѣда.

«Хозяинъ имѣлъ привычку очень толстыя, высокія деревья не сваливать совсѣмъ, а дѣлать въ самомъ низу ствола глубокую надрубку и такъ оставлять. Первый сильный вѣтеръ или вьюга валили надрубленныя деревья безъ помощи человѣческой силы. Такихъ деревьевъ съ надрубками было множество въ лѣсу. Разъ случилось, что хозяинъ, отправившійся куда-то изъ дому, снарядилъ меня одного въ лѣсъ, для рубки тонкихъ деревьевъ, приказавъ мнѣ къ вечеру привезти валежника для домашняго обихода. Я запрягъ мерина въ длинныя розвальни и съ утра отправился въ лѣсъ. Утро было безвѣтренное, тихое, солнце ярко свѣтило. Мнѣ предстояла тяжелая работа, но я былъ веселъ. При мысли, что я не буду цѣлый день понукаемъ хозяиномъ, буду работать, отдыхать и грызть свой черствый пашекъ на свободѣ, не изъ-подъ команды, я возрадовался до того, что запѣлъ веселую еврейскую пѣсенку, какъ-то сохранившуюся въ моей памяти. Меринъ, казалось, сочувствовалъ моему настроенію духа и съ усердіемъ взбирался на крутую гору, весело мотая головою. Предъ нимъ, лая и ежеминутно озираясь и завертывая въ сторону, прыгалъ косматый, любимый мой песъ Куцъ, который всегда сопровождалъ меня въ лѣсъ и съ которымъ я охотно дѣлилъ свою порцію липкаго или черстватаго хлѣба. Забравшись въ глубину безлиственного лѣса, я отпрягъ мерина, привязалъ его къ розвальнямъ, наполненнымъ сѣномъ, и принялся за работу, напѣвая во все горло. Проработавъ такимъ образомъ, безъ роздыха, нѣсколько часовъ и собравъ цѣлую кучу валежника, я съ аппетитомъ поѣлъ и улегся въ саяхъ, чтобы немного отдохнуть, зарывшись въ сѣно. Торопиться было не къ чему. Я зналъ, что если я возвращусь раньше урочнаго часу, мнѣ зададутъ новую работу, а потому я и мѣтилъ подогнать время своего воз-

вращенія какъ-разъ къ заходу солнца, чтобы свободно завалиться на ночь у любимой печки. Мой косматый другъ взобрался ко мнѣ на ноги и пріятно ихъ согрѣвалъ. Мы оба, я и Куцъ, какъ видно, крѣпко заснули. Меня разбудилъ меринъ, порывавшійся освободиться отъ привязи, сильно дергая розвальни, къ которымъ былъ привязанъ. Когда я выкарабкался изъ-подъ сѣна, я, къ крайнему испугу своему, увидѣлъ, что солнце близится уже къ закату. Оно тускло свѣтило, укутанное въ какія-то сѣрыя, туманныя тучи. Погода разыгралась. Рѣзкій, порывистый, холодный вѣтеръ неистово ревѣлъ въ лѣсу и сильно шаталъ деревья. Мелкій снѣгъ цѣлыми массами валилъ съ верху и, направленный вкось крутящею вьюгой, больно хлесталъ въ лицо, зацѣплялъ глаза и кружился въ воздухѣ вихремъ. Меринъ, побуждаемый холодомъ и хлестками снѣгомъ, упирался передними ногами и подавался назадъ съ видимымъ намѣреніемъ разорвать недоуздокъ, удерживавшій его у саней. Я встревожился. Мнѣ предстояло еще нагрузить сани валежникомъ и добраться заблаговременно домой. Я заторопился надъ спѣшною работою, а вѣтеръ и вьюга крѣпчали съ каждою минутою. Все страшнѣе и сильнѣе ревѣло въ лѣсу, солнце все тусклѣе и тусклѣе свѣтило и, наконецъ, совсѣмъ скрылось. Моя работа близилась уже къ концу; оставалось прибавить еще нѣсколько длинныхъ полѣнъ для завершкн нагруженныхъ саней, увязать веревкою, мерина въ оглобли—и въ путь, какъ вдругъ, нагнувшись подъ одно толстое, высокое дерево, чтобы подобрать подходящій валежникъ, надъ самымъ моимъ ухомъ раздался страшный трескъ. Въ ту-же минуту на меня навалилось упавшее дерево всей своей тяжестью и привинтило меня къ землѣ. Къ счастью моему, снѣгъ былъ глубоко и рыхлъ: дерево, упавшее поперекъ моего крестца, глубоко вдавило меня въ снѣгъ, но, зацѣпившись своей верхней частью за что-то, не раздавило меня, какъ букашку, разомъ. Однакожъ ничтожная частица тяжести, доставшаяся на мою долю, была болѣе чѣмъ достаточна для того, чтобы ошеломить меня и пригвоздить къ мѣсту. Я лежалъ подъ бревномъ лицомъ внизъ; глаза, носъ и уши были зацѣплены снѣгомъ; въ спинѣ я чувствовалъ какую-то тупую боль. Я попробовалъ выкарабкаться изъ-подъ бревна, но всѣ мои усилія оказались напрасными: я только барахтался руками и ногами, но не подвигался ни на волосъ впередъ. Радуюсь въ душѣ, что меня сразу не задушило, я сначала не терялъ надежды, что мнѣ удастся какъ-нибудь высвободиться; но когда, послѣ тщетныхъ усилій, покрывшихъ мое лицо и тѣло изобильнымъ потомъ, я почувствовалъ, что чѣмъ больше я барахта-

юсь, тѣмъ постепеннѣе усиливается давленіе на мой несчастный крестецъ, что бревно мало-по-малу погружается вмѣстѣ со мною въ рыхлый снѣгъ, когда мнѣ пришло на мысль, что придется, быть можетъ, пролежать подъ этимъ страшнымъ прессомъ цѣлую длинную ночь, а можетъ быть еще и больше, что тяжелое дерево можетъ совсѣмъ опуститься на мою спину, всей своей тяжестью, и раздавить меня, что, наконецъ, я могу замерзнуть, пока поспѣетъ помощь,—я закричалъ ужаснымъ голосомъ. Но свистъ разсвирѣпѣвшей вьюги покрывалъ мой дѣтскій голосъ до того, что если-бы помощь была отъ меня въ десяти шагахъ, то и тогда мой крикъ никакой пользы не принесъ-бы мнѣ. Одинъ песъ услышалъ меня и прибѣжалъ, издавая короткій лай. Онъ понялъ мое страшное положеніе и суетился вокругъ меня, визжа, лая, вой, облизывая и обнюхивая мое лицо. Я продолжалъ кричать до полнѣйшей хрипоты. Боль въ крестцѣ я пересталъ ощущать, но я совсѣмъ пересталъ чувствовать свою спину. Потерявъ голосъ и не имѣя болѣе силъ барахтаться, я притихъ. Вскорѣ холодъ началъ проникать въ самое сердце, руки и ноги коченѣли и почти мертвѣли, а кругомъ продолжало ревѣть, вить и кружиться. Меня начало сильно клонить ко сну, вѣки отяжелѣли и невольно замыкались. Вдругъ я встрепенулся, сердце дрогнуло въ груди и по всему тѣлу прошла страшная дрожь. Въ воздухѣ пронесся какой-то ужасный, протяжный вой. Въ одну минуту вой этотъ, какъ-будто повторяемый тысячею отголосковъ, раздался со всѣхъ сторонъ и слился въ одинъ завывающій гулъ и стонъ. Волосы поднялись дыбомъ на моей головѣ, глаза расширились и выпучились до того, что готовы были выскочить изъ орбитъ. Съ сверхчеловѣческимъ усиленіемъ я приподнялъ голову и началъ всматриваться въ крутящуюся снѣжную массу. Я замѣтилъ нѣсколько паръ ярко-огненныхъ шариковъ, быстро перемѣщающихся съ одного мѣста на другое. Страшная истина предстала предъ глазами: я былъ окруженъ лѣсными волками... Какъ только раздался первый волчій вой, мой косматый Куцъ, уложившійся у моей головы, задрожалъ весь и жалобно, чуть слышно завизжалъ. Чѣмъ больше вой усиливался, тѣмъ чаще онъ вздрагивалъ и тѣмъ глубже онъ зарывалъ свою морду и переднія лапы подъ меня. Я былъ въ страшномъ отчаяніи. Въ эту гибельную минуту воображенію моему представился образъ моей матери, такимъ, какимъ онъ былъ въ ту минуту, когда ловцы выносили меня изъ родительскаго дома. Я закрылъ глаза и шепотомъ призывалъ къ себѣ на помощь этотъ милый, дорогой образъ, какъ вдругъ раздалось душу раздирающее ржаніе

бѣднаго мерина. Вслѣдъ за этимъ ржаніемъ услышалъ я приближающійся глухой топотъ скачущей по снѣгу лошади. Топотъ слышался все ближе и ближе и, наконецъ, что-то тяжелое перепрыгнуло черезъ меня и умчалось. Черезъ минуту перепрыгнули черезъ меня, съ легкостью собаки, десятки животныхъ съ разинутыми пастьми, со свѣтящимися глазами, и исчезли. Вмѣстѣ съ ними исчезло и мое сознаніе...

„Открывъ глаза, я увидѣлъ себя въ хозяйской избѣ. Меня оттирали снѣгомъ. Куцъ суетился вокругъ меня и дышалъ мнѣ прямо въ лицо.

— Что, Яроха? спросилъ меня ласково хозяинъ:— больно болить?

— Нѣтъ, прошепталъ я безсознательно.

„Меня оттерли, влили водки въ ротъ, тепло укутали и я заснулъ глубокимъ сномъ. Проснувшись, я почувствовалъ нестерпимую боль въ поясницѣ. Я не могъ шевельнуть тѣломъ безъ того, чтобы не вскрикнуть отъ нестерпимой боли. Болѣли также пальцы рукъ и ногъ, уши и конецъ носа. Опять отставной солдатъ-коноваль явился ко мнѣ на помощь.

— Несчастливый малецъ! сострадательно смотря на меня, пожалѣлъ деревенскій врачъ.— Всякія бѣды да напасти приключаются ему. Видно подъ такой ужъ планидой родился. Что опять съ нимъ случилось? Никакъ опять лупку задали?

— Ни, ни, Ефимычъ, порази меня родимецъ, коли пальцемъ тронулъ.

„Хозяинъ передалъ Ефимычу мои приключенія.

— Подъ сюда, Куцъ, подозвалъ хозяинъ собаку,—поглажу. Бравый песъ у меня этотъ, представилъ хозяинъ Куца Ефимычу.— Прибѣжалъ это онъ до свѣта, двери скребетъ да воетъ, воетъ такъ, что мы всѣ глаза продрали. Думаю, бѣда съ Ярохою приключилась. Созвалъ сосѣдей и махнули въ лѣсъ. Куцъ бѣжитъ впереди, а мы за нимъ. Пришли, ажъ страхъ взялъ: Яроха подъ страшеною сосною какъ-есть прищемленный. Думали, што околѣлъ, анъ нѣтъ, дышетъ, мы и тово...

— Какъ-же это ты, Сельвестръ Сидорычъ, не хватился мальчугана съ вечера? Грѣшно тебѣ, братъ. Этакъ душу ребяческую загубишь и предъ закономъ въ отвѣтъ станешь.

— Не догадавшись, не хватился Ярохи, а то нешто.

— Ну, а твои чево зѣвали?

— Да сгни: онъ совсѣмъ, озлилась старуха.— Съ этого самаго часу, што лѣшаго въ избу взяли—все не ладно пошло: коровка око-

гѣла, нечистый всѣхъ куръ передавилъ, звѣрье вотъ и мерина загрызло.

— Точно, што и говорить! согласился старшій отецъ хозяина.— Не любъ онъ и мнѣ, и старухѣ. Ты, Сельвестръ, спровадь-ка его; не по душѣ онъ намъ, щенокъ.

— Коли не любъ, то казнѣ и отдайте. Кто неволить? замѣтилъ Ефимычъ.

— Нече дѣлать, спровадимъ, согласился Сельвестръ.— Кабы скорѣе на ноги поднялся. Помогни Ефимычъ, полечи маленько, аль кровь брось, аль кладь какую ни на есть.

„Мнѣ и кровь бросили и кладями лошадиными заливали и мазали чѣмъ-то вонючимъ долгое время, пока, наконецъ, я поднялся на ноги.

„Сельвестръ уступилъ настоятельнымъ требованіямъ стариковъ. Онъ возвратилъ меня казнѣ. Меня повели дальше въ страну и отдали къ священнику. Мнѣ было хорошо жить у него. Работа была легкая, кормили хорошо. Да попадѣ упорно захотѣла быть моей крестной. Я-бы, можетъ быть, и согласился, но слова отца, угрожавшаго мнѣ материнскимъ проклятіемъ, не покидали меня и не давали покоя, а то не устоялъ-бы я противъ доброты и ласкъ доброй женщины. Убѣдившись въ моемъ непоколебимомъ упорствѣ, меня вытурили и оттуда. Я нѣсколько разъ мѣнялъ своихъ хозяевъ. Пѣсни одна и та-же: самое жестокое обращеніе, презрѣніе, ненависть, безжалостность, голодъ, холодъ и трудъ не по силамъ. Я мало-по-малу втянулся въ свое рабское существованіе и чѣмъ дальше, тѣмъ меньше чувствовалъ я его и тѣмъ меньше страдалъ. Я пересталъ какъ-то думать, существовалъ безъ цѣли. Эта тяжелая жизнь, до наступленія мнѣ извѣстныхъ лѣтъ, не зачислялась въ службу. Я зналъ, что мучусь не въ зачетъ. Сначала я молилъ Бога ускорить наступленіе времени моей дѣйствительной службы, но потомъ отупѣлъ и огрубѣлъ до того, что совсѣмъ пересталъ думать о будущемъ. Я былъ счастливъ, когда на половину утолялъ голодъ, когда на мою долю выпадалъ рѣдкій день безъ жестокихъ побоевъ, когда забывался сномъ изнуреннаго животного.

„Но время шло помимо моего желанія. Мнѣ по начальству получились вызовъ. Меня сдали въ этапъ и опять отправили. Долго шелъ я, не заботясь и не любопытствуя даже, куда меня ведутъ. Съ этапомъ мнѣ жилось хорошо. Я находилъ отпускаемую мнѣ пищу великолѣпною, послѣ того собачьяго корма, которымъ я питался у моихъ послѣднихъ хозяевъ; меня не били, не ругали, надо мною даже не издѣвались, меня и не узнавали за еврея: по на-

ружности и по нарѣчію я былъ похожъ на полудикихъ, грубыхъ поселянъ той мѣстности, гдѣ я промучился нѣсколько лѣтъ. Я забылъ почти еврейскій языкъ и обряды вѣры. Навзустъ я помнилъ одни отрывки изъ утренней молитвы. Последнія слова моего отца безпрестанно раздавались въ моихъ ушахъ. Я иногда, и то шопотомъ, бормоталъ безсвязные отрывки молитвъ и, помолившись такимъ образомъ, я чувствовалъ себя бодрѣ, сильнѣе и равнодушнѣе къ страданіямъ, которымъ я каждый день подвергался.

„Тамъ, куда я, наконецъ, пришелъ, собралось изъ различныхъ мѣстъ множество мнѣ подобныхъ еврейскихъ юношей, отбывшихъ свою безотчетную службу у хозяевъ, взявшихъ ихъ на прокормленіе. Большая часть изъ нихъ потеряла совсѣмъ наружные признаки своей націи, огрубѣла и оупѣла. Радость этихъ горемыкъ была невыразима, когда они опять увидѣли предъ собою собратьевъ по націи, товарищей по страданіямъ. Каждый со слезами на глазахъ, охотно рассказывалъ свои походы и приключенія. Оказалось, что я былъ еще однимъ изъ болѣе счастливыхъ. Были такіе несчастные, которые всякій разъ, когда хозяева ихъ спроваживали, подвергались жестокому тѣлесному наказанію за минимую свою неуживчивость. Я хоть этой пытки избѣгнулъ.

„Насъ собралось нѣсколько десятковъ человѣкъ. Тутъ насъ сортировали и разсылали по полкамъ или въ гарнизоны. Нѣкоторые выбирались въ полковые оркестры, нѣкоторые въ трубы и барабанщики, а знавшіе сколько-нибудь шить—въ военныя швальеры, остальные-же назначались въ деньщики къ офицерамъ. Въ послѣдній разрядъ попалъ и я.

„Первый, къ кому я попалъ въ деньщики, былъ военный медикъ. Это былъ человѣкъ пожилой, холостой, серьезный, тихій, строгій, но справедливый. Онъ требовалъ отъ меня аккуратности въ исполненіи обязанностей и самой строгой чистоплотности. Меня отлично кормили. Я имѣлъ собственную маленькую комнату съ удобной постелью. По вечерамъ онъ поздно засиживался за книгами, но меня онъ всегда отпускалъ на отдыхъ до наступленія полуночи, а ночью никогда не тревожилъ. Я его очень полюбилъ и былъ ему преданъ какъ собака. Онъ это зналъ и цѣнилъ. Если я иногда заболѣвалъ, онъ вставалъ по ночамъ, чтобы провѣдать меня. Случалось нерѣдко, что, за немѣніемъ кого послать за лекарствомъ, онъ ночью самъ отправлялся за нимъ въ аптеку и потомъ собственноручно наливалъ и подавалъ мнѣ. Эта доброта растрогивала меня иногда до того, что я плакалъ отъ внутренняго чувства и бросался цѣловать ему руки. Но онъ этого не любилъ.

Тихонько отталкивая меня, насупивъ брови, онъ говорилъ своимъ тихимъ, серьезнымъ голосомъ:

— Ну, пу, не надо. Ты исправный и добрый малый. Я хочу, для своей-же пользы, чтобы ты былъ здоровъ.

„Часто я разѣзжалъ съ нимъ. Если онъ останавливался въ городѣ, гдѣ жили евреи, онъ, бывало, даетъ мнѣ свободу на нѣсколько часовъ и нѣсколько денегъ.

— Ступай, Ерофей, къ своимъ, повидайся, поболтай на родномъ языкѣ.

„Когда наступалъ еврейскій праздникъ, онъ торопилъ меня всегда въ синагогу, хотя самъ ходилъ въ церковь только во время парадовъ.

— Поди-ка, братецъ, помолись. Чѣмъ разъ пойти въ кабакъ, лучше сто разъ въ синагогу.

„Я въ кабакъ никогда ни ходилъ и ничего хмѣльного въ ротъ не бралъ. Только впоследствии, когда горе пристукнуло меня уже черезчуръ, я предался пьянству, чтобы заглушить его.

„Около пяти лѣтъ прослужилъ я у этого добраго барина. Я по-здоровѣлъ, пополнилъ, сдѣлался веселымъ и научился нѣсколько русской грамотѣ у одного военнаго канцеляриста. Однажды баринъ засталъ меня съ его толстою книгою въ рукѣ. Я ужасно испугался и поблѣднѣлъ.

— Извините, ваше высокоблагородіе, пролепеталъ я.

„Онъ какъ-то особенно посмотрѣлъ на меня, потрепавъ по плечу.

— Ничего, ничего. Очень радъ. Но эти книжки не для тебя, братъ, писаны; положи на мѣсто. Я тебѣ достану другія.

„И точно, онъ самъ принесъ мнѣ другія, такія пріятныя книжки, что, читая ихъ, я не замѣчалъ, какъ мое свободное время проходило, а свободнаго времени было у меня много.

„Но счастье не было суждено мнѣ на долю. Мой добрый баринъ однажды заболѣлъ горячкою и, промучившись болѣе мѣсяца, Богу душу отдалъ. Я рвалъ на себѣ волосы отъ отчаянія. Я больше не убивался-бы, если-бъ умеръ родной мой отецъ. Я, видно, предчувствовалъ, что со смертію добраго, благороднаго доктора умерло и мое счастье. Предчувствіе не обмануло меня.

„Меня прикомандировали деньщикомъ къ ротному командиру. Это былъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, брюнетъ, высокаго роста, очень толстый, съ большими, сверкающими, черными глазами и грознымъ, басовымъ голосомъ. Онъ былъ жестокъ съ солдатами до того, что его подчиненные трепетали одного его взгляда. Въ пер-

вый часть моего поступленія къ нему я получилъ отъ него такой ударъ кулакомъ по лицу, что кровь такъ и хлынула изъ носа, за то, что слишкомъ туго набилъ табакомъ его трубку.

— Помни хорошенько, скотина! сказалъ онъ мнѣ, пришептывая и нѣсколько картавя.— Служить мнѣ не по-жидовски!

„Я изъ кожи лѣзъ, но угодить на него не было возможности. Это былъ человѣкъ въ высшей степени вспыльчивый, капризный и безхарактерный. Я старался подмѣтить малѣйшія его привычки и прихоти, чтобы предупреждать, но у него никакихъ прочныхъ привычекъ не было: все у него дѣлалось подъ-вліяніемъ мимолетнаго каприза, который мѣнялся съ непостоянствомъ погоды. Онъ нѣсколько вечеровъ сряду, ложась въ постель, приказывалъ каждый разъ подать себѣ глнтвейну. Я былъ убѣжденъ, что это его привычка. Не дожидаясь въ слѣдующій вечеръ приказанія, я заказалъ повару глнтвейнъ и подалъ ему, когда онъ легъ въ постель.

— Тебѣ кто приказалъ, а? накинулся онъ на меня и сѣлъ въ постели.

— Я полагаю, что...

— Какъ-же ты смѣешь, кавалья, *полагать*, если приказа не было? свирѣпо крикнулъ онъ и плехнулъ горячій глнтвейнъ прямо мнѣ въ лицо, отпустивъ вмѣстѣ съ тѣмъ такой пинокъ ногою, что я свалился съ ногъ.

„Ротный мой былъ человѣкъ бѣдный, но любилъ кутать и играть. Если онъ только проигрывался, то всегда вымещалъ свою досаду на мнѣ и бѣдныхъ солдатахъ. Не проходило дня, чтобы я не былъ битъ, чтобы кто-нибудь не былъ наказанъ. Сивяки и шишки не сходили съ моего лица, головы и тѣла. Я былъ безконечно несчастливъ и терпѣливо молчалъ.

„Полкъ нашъ перекочевалъ въ большой городъ, въ Польшу, гдѣ жило много евреевъ. Мой баринъ закутилъ пуще прежняго. Каждый вечеръ шла картежная игра до самаго утра. Случилось однажды, что баринъ сильно проигрался. Платить было нечѣмъ. Завязалась ссора. Я подслушалъ у дверей, что баринъ отпросился до послѣзавтрашняго дня, обѣщаясь непременно къ тому времени достать денегъ и рассчитаться. Я зналъ, что онъ денегъ не имѣетъ и достать не можетъ. Мнѣ пришла несчастная мысль въ голову прислужиться ему. Раза два я отпросился у барина въ синагогу. Евреи замѣтили меня, развѣдали, что я служу у пана *пулковника*, какъ они величали ротнаго командира, и завязали знакомство со мною. Болѣе всѣхъ подмазывался ко мнѣ сѣдой, сгорбленный еврей, почти въ лохмотьяхъ. Онъ старался вывѣдать у меня, богатъ-ли ясновельможный панъ

пулковникъ и какую жизнь онъ ведетъ. Не знаю почему, мнѣ вздумалось представить моего барина-голыша страшнымъ богачемъ, обладающимъ несмѣтными богатствами. Я подтрунивалъ надъ надобливымъ евреемъ, а онъ мою шутку принялъ за сущую правду.

— Слушай, Ерухимъ, сказалъ онъ мнѣ.—Если твоему барину нужно будетъ попризнять денегъ, на короткое время, то ты мнѣ только скажи, я для него достану. Ты за это хорошій подарокъ отъ меня получишь.

— На что моему барину твои деньги, коли онъ и собственные сосчитать не можетъ? продолжалъ я подшучивать.

— Э!!! замѣтилъ еврей, махнувъ рукою.—Бываютъ случаи, что и самые богатые магнаты нуждаются, а твой баринъ къ тому еще и военный. Это народецъ разгульный, картежный.

„Еврей навязалъ мнѣ свое имя и мѣстожителство. Видя барина въ такой крайней нуждѣ и желая прислужиться ему, я вспомнилъ о сѣдомъ еврей, предлагавшемъ свои услуги. Я на другой день утромъ переминался долго на ногахъ, возился безъ надобности въ кабинетѣ, гдѣ сердитый ротный, въ халатѣ, съ трубкой въ зубахъ, бѣгалъ изъ угла въ уголъ, пока я осмѣлился раскрыть ротъ.

— Ваше выскородіе...

— Что? строго спросилъ баринъ, остановившись на бѣгу и грозно посмотрѣвъ на меня.

— Тутъ одинъ богатый еврей просилъ меня... онъ даетъ деньги взаймы.

— А! Неужели? ласково спросилъ ротный.—Что-жъ ты молчалъ до сихъ поръ? Тащи его ко мнѣ, сію минуту.

„Я обрадовался ласковому взгляду и стремглавъ бросился къ еврею, но его въ городѣ не оказалось. Его ожидали только черезъ два дня. Я наказалъ его домашнимъ прислать стараго, какъ только онъ явится. Я доложилъ объ этомъ барину. Онъ произнесъ крѣпкое словцо, топнувъ ногою.

— Отчего-же ты, болванъ, не справился прежде, дома-ли жидъ, чѣмъ докладывать? Мнѣ сегодня необходимы деньги. Бѣги къ прочимъ жидкамъ, да выкопай хоть изъ-подъ земли. Понимаешь?

„Я пошелъ шлаться, чтобы не торчать на глазахъ. Я не зналъ, къ кому обратиться. Прошлявшись до вечера, я явился съ докладомъ, что охотниковъ занять деньги разыскать не могъ.

— Пошелъ вонъ, осель, удостоилъ меня ротный, напутствуя обычной фразой, примѣняемой имъ ко всякому случаю.

„Я вполне заслужилъ „осла“. Къ чему было мнѣ напрашиваться на неприятности?

„Баринъ былъ до того разстроены, что въ этотъ вечеръ приказалъ никого не принимать и рано завалился въ постель.

„Только что собрался и я улечься, какъ постучались въ наружную дверь. Отворяю—сѣдой еврей. Я до того обрадовался ему, что затащилъ поздняго гостя въ темную залу, смежную съ спальнею барина. Я зналъ навѣрное, что баринъ еще не спитъ, а ворочается съ боку на бокъ. Я осторожно пріотворилъ дверь спальни.

— Кто тамъ? спросилъ ротный.

— Еврей, ростовщикъ пришелъ, доложилъ я радостнымъ голосомъ.

„Баринъ молчалъ нѣсколько минутъ. Онъ, вѣроятно, обдумывалъ, какъ поступить.

— И ты, болванъ, тревожишь меня изъ-за такихъ пустяковъ? Если жиду нужно что, можетъ и завтра придти. Убирайся вонъ!

„Я понималъ хитрую тактику ротнаго и въ потьмахъ беззвучно засмѣялся.

— Ухъ, какой же онъ злой у васъ, замѣтилъ еврей, осторожно, бочкомъ пробираясь въ переднюю.

— На то онъ панъ пулковникъ, богачъ! сказалъ я, едва удерживаясь отъ злораднаго смѣха.

„Политика ротнаго удалась какъ нельзя лучше. На другое утро ростовщикъ явился уже безъ приглашенія. Ротный долго заставилъ еврея ждать въ передней, пока его принялъ.

„Переговоры между ротнымъ и ростовщикомъ длились цѣлый часъ. Часто уходилъ еврей, но черезъ четверть часа опять возвращался съ новой уступкою. Мой баринъ былъ мастеръ своего дѣла. Когда дѣло было улажено, деньги отсчитаны, росписка вручена и ростовщикъ ушелъ, не вспомнивъ обѣщаннаго мнѣ подарочка, ротный призвалъ меня въ кабинетъ. Я не сомнѣвался, что получу хоть словесную благодарность. Но не таковъ былъ ротный.

— Ты сколько получилъ отъ жида за то, что меня продалъ?

— Помилуйте, ваше высородіе...

— Врешь, бестія. По воровскимъ глазамъ вижу, что врешь. Вашъ братъ, жидъ, не чихнетъ безъ того, чтобъ кого-нибудь не надуть.

„Слезы полились у меня изъ глазъ, когда я выходилъ изъ кабинета. Вотъ каковъ былъ мой безотчетный владыка и властелинъ!

„Я ропталъ на свою горькую судьбу. Но если-бы я зналъ, что ожидаетъ меня въ будущемъ, то я былъ-бы болѣе снисходителенъ къ настоящему.

„До сихъ поръ мой ротный жилъ одинокимъ холостякомъ. Но черезъ нѣкоторое время онъ выкопалъ откуда-то какую-то племянницу, которая и поселилась у насъ. Я вскорѣ наглядно убѣдился,

что она была ему гораздо ближе обыкновенной племянницы. Это была молодая блондинка, высокая, стройная, прелестная. Она носила свои золотистые, длинные и густые волосы по обычаю туземных племен. Хорошенькие, розовенькие щечки красиво оттенялись двумя коротенькими локонами, зачесывавшимися вкось от висков къ голубымъ глазамъ. Одѣвалась она всегда щегольски и богато. Она постоянно смѣялась, рѣзвилась, ходила въ припрыжку и подпляску, вѣчно что-то напѣвая рѣзкимъ и звонкимъ голосомъ. Ея глаза смотрѣли такъ ласково и привѣтливо, что сразу она казалась доброй какъ ангелъ. Я, однакожь, скоро убѣдился, что наружность бываетъ обманчива. Эта красивая, граціозная барышня была зла какъ демонъ, ядовита какъ змѣя и безжалостна какъ тигрица. Самъ ротный скоро сдѣлался ей совершенно подвластнымъ и дрожалъ отъ одного взгляда ея прелестныхъ глазъ, темнѣвшихъ всякій разъ, когда у ней разгорался гнѣвъ, незнавшій границъ. Меня она возненавидѣла съ перваго взгляда, не знаю, за что. Постѣ я узналъ изъ ея-же устъ, что она жидовъ до того терпѣть не можетъ, что не прочь-бы передушить ихъ всѣхъ своими собственными изящными ручками. Я былъ въ ея глазахъ не только жидъ, но и рабъ, а она была не только племянница... Легко вообразить, каково было мнѣ прислуживать и за лакея, и за горничную!

„Съ той минуты, какъ въ нашемъ домѣ поселился этотъ демонъ въ женскомъ образѣ, мои муки удесятились. Суся,—такъ называлъ ее ротный,—возлагала на меня такія обязанности, которыя, при всемъ моемъ усердіи, я выполнить не могъ. Она требовала, чтобы я стиралъ, крахмалилъ и гладилъ. Я, конечно, пробовалъ отказываться незнаніемъ этого женскаго дѣла. Но это меня нисколько не спасало. Она принималась меня учить, и то теоретически, не пачкая ручекъ. Я со всѣхъ силъ старался, но мои неуклюжія руки только портили. Бѣлые юбки выходили желто-грязными, скомканными или похожими на тряпки, или же накрахмаленными до крѣпости жести. Суся при видѣ испорченнаго бѣлья выходила изъ себя и жаловалась ротному.

— Этотъ жидъ съ умысломъ истребляетъ наше бѣлье, чтобы забавиться отъ работы. Онъ у тебя привыкъ баклуши бить.

— А вотъ я ему баклуши повыбью.

„И точно, ротный всякій разъ принимался выбивать баклуши, но при этой полезной операціи былъ такъ неостороженъ, что, вмѣстѣ съ баклушами, онъ выбивалъ и зубы. Випроложеніи какого-нибудь мѣсяца, по милости доброй Суси, я лишился одного перед-

ного и двухъ боковыхъ зубовъ. Десятки разъ милая Суся собственною ручкою угощала меня раскаленнымъ утюгомъ, когда я нечаянно прижигалъ ея оборчатую юбку, которую я никакъ не могъ наловчиться разглядить. Иногда жестокости ея выводили меня до того изъ себя, что съ устъ срывался какой-нибудь рѣзкій отвѣтъ. Тогда ротный причислялъ мою смѣлость къ разряду нарушеній военной дисциплины и отсылалъ туда, гдѣ мнѣ дѣлали палочныя внушенія, по всѣмъ строгимъ правиламъ военной субординаціи. Спина моя была безпрестанно вспахана, щеки раздуты, глаза съ фонарями. Я приобрѣлъ рожу горчайшаго пьяницы и внушалъ отвращеніе себѣ и другимъ. Прошло немного времени и я, на самомъ дѣлѣ, началъ запивать. Отъ непривычки къ водкѣ, я пьянѣлъ отъ полурюмки и шатался уже на ногахъ. Это, конечно, вело къ новымъ побоямъ, новымъ экзекуціямъ.

„Случилось, что проклятая Суся сильно заболѣла чѣмъ-то. Какъ я молилъ въ душѣ Бога взять ее къ себѣ, но молитвы мои не были услышаны. Суся начала быстро поправляться и сто разъ на день, даже ночью, требовала пищи. Доктора запретили ей все, кромѣ бульона. Однажды, въ глухую полночь, ротный разбудилъ меня пинкомъ.

— Прикажи повару сію минуту сварить бульону для барышни.

„Я разбудилъ повара и передалъ ему приказаніе.

— Убирайся ты къ чорту, угостилъ онъ меня.—Въ кухнѣ нѣтъ ни говядины, ни птицы.

— Строго наказано, попытался я убѣдить повара.

— Развѣ тебя зарѣзать и изъ твоего жидовскаго мяса уху состряпать? съострилъ поваръ и повернулся на дугой бокъ. Ему что! Онъ былъ вольнонаемный и въ усь себѣ не дулъ.

„Я доложилъ ротному, что матеріаловъ для бульона на кухнѣ не имѣется. Онъ что-то пробурчалъ и пошелъ къ больной. Черезъ минуту онъ опять вышелъ.

— Достать курицу! скомандовалъ онъ, сверкнувъ на меня глазами.

— Гдѣ же ночью взять, ваше высородіе?

— Курицу! курицу! курицу! понялъ-ли, осель? проревѣлъ ротный, скрежеща зубами и ставя своимъ здоровымъ кулакомъ впечатательные знаки въ воздухъ.

„Я понялъ.

„Недалеко отъ насъ жили какіе-то бѣдные евреи, ~~малые~~ торговцы. Тамъ во дворѣ я, проходя не разъ, замѣтилъ ~~разную~~ птицу, свободно расхаживающую по двору. Я отправился туда. Нѣсколько

минуть я, какъ истый воръ, чуть дыша, бродилъ вокругъ двора, вывѣдывая и высматривая. Ночь была лунная, свѣтлая. Ни во дворѣ, обнесенномъ низенькимъ, досчатымъ заборомъ, ни въ глухомъ переулкѣ, ни въ самой покосившейся еврейской избѣ не слышно было ни малѣйшаго шороха. Все, казалось, спало мертвымъ сномъ. Собакъ во дворѣ не было. Я неслышно перебрался черезъ заборъ во дворъ и пошелъ отыскивать птицу. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, прячась за длинною тѣнью забора, я замѣтилъ, что на низенькомъ хлѣвѣ сидятъ куры сплошною кучею. Я тихонько подкрался къ сонямъ и медленно, сдерживая дыханіе, началъ протягивать руку, чтобы спанать одну изъ куръ. Моя рука была всего на нѣсколько вершковъ отъ хвоста избранной мною жертвы, какъ вдругъ проклятый пѣтухъ поднялъ такую тревогу, что въ мигъ всѣ куры проснулись и съ громкимъ крикомъ и кудахтаньемъ снялись съ насѣста и разлетѣлись во всѣ четыре стороны. Отъ этой неудачи я пришелъ въ такой азартъ, что, забывъ всякую осторожность, съ ожесточеніемъ погнался за бѣглянками. Я метался во всѣ стороны, какъ угорѣлый, но куры ускользали изъ моихъ рукъ. Въ суетѣ этой я и не замѣтилъ, какъ два молодые, здоровые еврея подкравшись тихонько ко мнѣ и сцапали меня сзади такъ внезапно и съ такой силой, что о бѣгствѣ и думать было нечего. Пока я безсильно боролся, выбѣжалъ между тѣмъ еще нѣсколько евреевъ и полуодѣтыхъ евреекъ и подняли оглушительный гвалтъ.

— Рухля, подай бичевку или мой поясъ, скорѣе, скорѣе! кричалъ одинъ изъ боровшихся со мною, поваливъ и насѣвъ на меня.

— Братцы, евреи, помилосердствуйте, не загубите еврейской души! простоналъ я на еврейскомъ языкѣ.

„Тотъ, кто меня душилъ, тотчасъ пересталъ давить колѣномъ грудь.

— Ты—еврей? спросилъ онъ меня, изумляясь.

— Богъ свидѣтель, добрые люди, я не воръ! Позвольте мнѣ рассказать вамъ все. Вы сами увидите, заслуживаю-ли я снисхожденія или нѣтъ.

„Мнѣ дали встать. Всѣ, мужчины и женщины, обступили меня, переставъ пугаться. Ихъ высыпало изъ избы не мало. Со слезами на глазахъ, я вкратцѣ рассказалъ имъ о моей каторжной жизни у ротнаго и о томъ, что мнѣ приказано достать курицу въ такомъ тонѣ и въ такомъ смыслѣ, что если-бы я приказанія не исполнилъ, то сильно потерпѣлъ-бы.

„Въ моемъ голосѣ слышалась, вѣроятно, правда, судя по грустнымъ лицамъ евреекъ, внимательно слушавшихъ меня, положивъ

указательные пальцы на подбородки и сострадательно вивая голову. Когда я кончил и замолчалъ, съ трепетнымъ сердцемъ ожидающаго рѣшенія своей участи, пожилой еврей обратился къ мнѣ ласково:

— Если ты въ такой бѣдѣ находишься, то для чего тебѣ было поступать, какъ вору? Почему ты не обратился къ намъ прямо и не попросилъ курицу?

— Сознаюсь, я сдѣлалъ глупость. Я вообразилъ, что, навѣрно, откажете; вы сами, быть можетъ, люди небогатые...

— Какъ! удивилась опарпанная старая еврейка.—Люди бѣдные откажутъ собрату въ пособіи изъ-за курицы какой-нибудь? Ты забылъ уже, сынъ мой, своихъ братьевъ: если можешь такъ скверно думать о нихъ. У меня всего только одна курица и есть, бери ее!

— Да и я не откажу.

— А я развѣ откажу?

„Бабы стремглавъ бросились ловить своихъ куръ. Черезъ нѣсколько минутъ со всѣхъ сторонъ подносили мнѣ куръ подъ самый носъ.

— На, бери, затѣни глотку твоимъ мучителямъ. Пусть подавятся. А намъ Богъ сторицею заплатитъ.

„О, какъ благословлялъ я въ душѣ моихъ добрыхъ единовѣрцевъ, какъ возблагодарилъ я Бога, что въ настоящую минуту я не торчу въ кожѣ злосчастнаго товарища Бени!

„Я взялъ одну только курицу и, со слезами на глазахъ, поблагодарилъ моихъ спасителей.

— Приходи ко мнѣ всякій разъ, когда тебѣ встрѣтится надобность, когда попадешь въ бѣду. Мы бѣдны, очень бѣдны, но съ несчастнымъ братомъ послѣднимъ подѣлимся.

„Я разбудилъ повара и торжественно подалъ ему курицу. Онъ мутно посмотрѣлъ на меня.

— Гдѣ стащилъ?

— Не твое дѣло. Готовъ бульонъ.

— Дуракъ! Стащилъ-бы уже за-разъ нѣсколько, для насъ сегодня-льсь-бы; а то отъ этихъ собачьихъ харчей брюхо совсѣмъ подтянуло.

„Черезъ часъ я принесъ бульонъ. Суся, безъ всякихъ разговоровъ, лежа полунагая въ постели, жадно накинулась на супникъ. Ротный ласково посмотрѣлъ на меня.

— Молодецъ, Ярошка! Солдатъ никогда не долженъ говорить „нѣтъ“. Запомни это. „Все можно, только осторожно“, понимаешь?

„Я часто обращался къ добрымъ сосѣдямъ съ мелочными прось-

бами. Мнѣ никогда ни въ чемъ не отказывали. По праздникамъ меня сажали за столъ, попли и кормили, чѣмъ Богъ послалъ. Но вскорѣ нашъ полкъ перешелъ въ другое мѣсто, гдѣ почти не было евреевъ. Наша новая квартира была въ смежности съ большимъ фруктовымъ садомъ принадлежавшимъ богатому помѣщику. Проходя мимо сада, я всегда любовался сочными созрѣвшими фруктами, видѣвшимися съ улицы.

„Въ одинъ дождливый вечеръ, когда ротный уѣхалъ куда-то въ гости, а племянница осталась одна, Суся ласково обратилась ко мнѣ:

— Ерофей, мнѣ ужасно захотѣлось грушъ. Знаешь, такихъ крупныхъ, румяныхъ, какъ тѣ, которыя видны изъ сада нашего сосѣда. Пожалуйста, голубчикъ, нельзя-ли достать какъ-нибудь.

„Въ первый разъ я услышалъ ласковое слово отъ надменной Суси, выраженное въ формѣ просьбы. Я стремглавъ бросился къ саду, перелѣзъ черезъ заборъ, съ длинной палкой въ рукѣ, принялся шатать дерево и сбивать фрукты палкой. Я нагрузилъ полные карманы и собирался уже перескочить обратно черезъ заборъ, но сторожа меня схватили, избили до полусмерти и скрутили веревкою по ногамъ и рукамъ. Я пролежалъ связаннымъ всю ночь. Утромъ меня, какъ вора, потащили къ ротному. Туда-же съ жалобой на меня отправился и самъ владѣлецъ сада. Сознавая, что я рѣшился на воровство не для себя, а для Суси, я былъ увѣренъ, что виновница этого воровства заступится за меня, а потому я смѣло предсталъ предъ грознымъ ротнымъ.

— Такъ ты, мерзавецъ, на воровство пустился? спросалъ меня ротный коротко, сверкая глазами и жуя длинный усъ.

— Виновать, ваше вскорodie! процѣдилъ я сквозь зубы.

„Ротный, не говоря ни слова, присѣлъ къ письменному столу, написалъ что-то на клочкѣ бумаги и вручилъ бумажку вошедшему унтеръ-офицеру.

„Меня повели куда слѣдовало и такъ исполосовали, что я цѣлый мѣсяцъ провалялся въ лазаретѣ, проклиная и ротнаго, и Сусю, и самого себя.

„Моей пытки не было-бы конца, если-бы со мною не случилось ужаснаго несчастія, при воспоминаніи о которомъ волосы поднимаются и теперь на моей головѣ, но это несчастіе послужило мнѣ тогда къ лучшему.

„Къ ротному часто ѣздилъ въ гости какой-то молодой офицеръ, квартировавшій гдѣ-то по сосѣдству, верстъ за двѣнадцать. Этотъ молодецъ сильно ухаживалъ за Сусей, когда ротнаго не бывало дома. Подсматривая изъ любопытства въ щелочку дверей,

я нѣсколько разъ своими глазами видѣлъ, какъ Суся цѣлуетъ и ласкаетъ офицера. Когда баринъ бывалъ дома и офицеръ, бывало, прїѣдетъ, то Суся оставалась очень долго въ своей комнатѣ, не желая будто-бы встрѣтиться съ офицеромъ, котораго она, какъ увѣряла, терпѣть не могла. Конечно, съ ротнымъ разигрывали пошлую комедію, а онъ, баранъ, вѣрилъ. Суся ужасно любила собакъ и все мечтала о томъ, какъ-бы обзавестись тоненькою левреткою на высокихъ лапкахъ. Но такой породы собаки нельзя было отыскать въ окрестности. Однажды Суся получила письмо и запрыгала по комнатѣ, цѣлуя и лаская ротнаго.

— Представь, дуся, левретка нашлась! на, читай.

„Письмо было отъ поклонника Суси, офицера. Онъ досталъ гдѣ-то левретку и требовалъ, чтобы прислали немедленно за собачкой.

— Кого послать? раздумывалъ ротный.—Пошлемъ Ярошку. Все равно, мы уѣзжаемъ вѣдь изъ дому на цѣлыхъ два дня; пока возвратимся, онъ поспѣетъ сходить и собаку принесетъ.

— Нѣтъ, дуся, я этому болвану не довѣрю одному мое сокровище: онъ зазѣвается какъ-нибудь и потеряетъ собаку. Пошли еще кого-нибудь съ нимъ.

„Со мною послали еще одного солдатика. Ротный далъ письмо къ офицеру, наказавъ намъ сто разъ, какъ беречь собаку, какъ нести ее на рукахъ, какъ и чѣмъ кормить. При чемъ ротный насъ предупредилъ, что если съ собакой что-нибудь случится въ дорогѣ, то онъ съ насъ семь шкуръ разомъ сдеретъ.

„Къ вечеру прибыли мы въ деревню и явились къ обладателю левретки. Заночевавъ тамъ, мы утромъ взяли хорошенькую, нѣжную собаченку съ острой мордочкой и тоненькими высокими лапками, съ бѣлымъ пятномъ на лбу и отправились въ обратный путь, неся собачку на рукахъ и чередуясь между собою. Путь нашъ пролегалъ чрезъ густой, длинный лѣсъ. Жара была удушливая, невыносимая. Мы проголодались и очень устали.

— Чего намъ снѣшить, Ярошка, обратился ко мнѣ спутникъ въ лѣсу:—погрыземъ маменьку да поспимъ часокъ, а потомъ маршъ! Къ вечеру поспѣемъ.

„Я согласился. Мы сбросили тяжелыя шинели, сняли сапоги и ушли въ густой, мягкой травѣ, подъ раскидистымъ деревомъ. Прежде всего мы принялись кормить собаченку. Намъ дали для нея какіе-то пирожки съ кашей и говядиной. Она понюхала, понюхала, но жрать не захотѣла, воды изъ манерки полизала да и залѣзла подъ шинели на отдыхъ.

— Ишь, какая баловница! Такихъ пирожковъ жрать не хочетъ,

замѣтилъ мой спутникъ, плюнувъ на левретку. — Давай-ка, Яроха, упишимъ мы съ тобою вотъ эти самые пирожки. Вонъ собачья барышня наша брезгаетъ ими.

„Я настаивалъ на томъ, чтобы пирожковъ не трогать: авось собака проголодается послѣ.

— Да чортъ ее не возьметъ, до вечера не околѣетъ. Ишь, какъ нажралась и смотрѣть на нихъ не хочетъ.

„Мы погрызли сухари, полакомились вкусными пирожками, напились изъ манерки и завалились спать, привязавъ спавшую собаченку тонкой шворкой къ дереву.

„Мы проспали недолго. Но когда проснулись, левретки уже не было. Она, проклятая, перегрызла шворку и какъ въ воду канула. Сначала мы не очень встревожились, полагая, что она тутъ вблизи гдѣ-нибудь, что только стоитъ кликнуть ее и она явится. Къ несчастію, у нея была такая мудреная кличка, что мы оба ее забыли. Мы начали кричать и свистать, но левретки и слѣдъ простылъ. Мы разбрелись въ разныя стороны, углубляясь въ чащу, и каждый разъ сходились подъ дерево освѣдомиться, не отыскаль-ли кто-нибудь изъ насъ проклятую собачонку, и опять расходились. Между тѣмъ наступалъ вечеръ. Что дѣлать?

— Безъ собаки явиться нельзя, сказалъ рѣшительно мой товарищъ. — Не побѣжала-ли она назадъ въ деревню? Ты, братъ, оставайся тутъ да шнырай по лѣсу, а я сбѣгаю назадъ въ деревню. Гдѣ-же ей быть, если не тамъ? Не лѣшій-же ее схватилъ.

„Товарищъ отправился обратно въ деревню, а я продолжалъ свои тщетные розыски. Поздно возвратился товарищъ и безъ собаки. Онъ захватилъ изъ деревни краюху хлѣба. Мы поѣли, но спать не спали цѣлую ночь. Я воображалъ, что со мною будетъ, если возвращусь безъ левретки, и кровь застывала въ моихъ жилахъ.

„Какъ только занялась заря, мы опять бросились въ лѣсъ. Мы его прошли по всѣмъ направленіямъ, измѣривъ вдоль и поперекъ, крича изо всѣхъ силъ: „Дездемона! Дездемона!“ (солдаты хорошо зазубрили уже эту мудреную кличку, побывавъ еще разъ въ деревнѣ), но „Дездемона“ не подавала голоса и не показывалась. Наступилъ второй вечеръ. Мы, убитые, угрюмые, усталые, голодные, усѣлись подъ деревомъ.

— Что дѣлать станемъ таперича? спросилъ меня товарищъ.

„Я заплакалъ и ухватился за голову.

— Къ ротному и глазъ не кажи! продолжалъ солдатикъ, — потому засвѣетъ. живьемъ съѣсть.

— Понцѣмъ еще завтра, авось Богъ дастъ.

— Нѣ, Яроха, шабашъ, я больше гоняться за паршивой собачонкой не буду.

— А что-же? Къ ротному?

— Нѣ, я къ ротному не пойду.

— Что-же мы станемъ дѣлать?

— Яроха, ты выдашь?

— Да говори, не мучь.

— Вѣдь каторжна жизнь-то наша, каторжна аль нѣтъ?

— Что п говоришь!

— Дадимъ тягу, Яроха?

— Что ты, одурѣлъ?

— Нѣ, братъ, не одурѣлъ. Нѣмецкая граница близехонька, рукой подать. Прошлымъ лѣтомъ сколько солдатиковъ улизнуло! Не бойсь, ни одного не словили. Ну, и мы туда.

— А если словятъ?

— Надо, штобъ не словили.

— А если?

— Ну, кожу сдерутъ и шабашъ.

— То-то сдерутъ.

— А ротный не сдеретъ? Тамъ одну шкуру сдерутъ, а ротный, небойсь, семь разомъ стянеть. Не помнишь нешто, што наказано?

— Въ бѣгахъ... Страшно подумать даже.

— Да мы, братъ, съ тобою и такъ уже въ бѣгахъ записаны. Вчера не явились. Все-равно исполосуютъ. Эхъ, Яроха, семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ! По рукамъ, што-ли?

„Я не рѣшался. «Сквозь строй... шпидрutenы». Я дрожалъ при одной мысли объ этомъ ужасномъ наказаніи.

„Мой товарищъ былъ рѣшительный малый. Забравъ въ голову бѣжать, онъ затянулъ пѣсенку и крѣпко заснулъ. Я не могъ сомкнуть глазъ. Какъ только вѣки начинали опускаться, мнѣ всякій разъ слышался шорохъ въ лѣсу. Я вздрагивалъ, вскакивалъ и съ сильно бьющимся сердцемъ бросался туда, гдѣ надѣялся увидать Дездемону. Въ такой тревогѣ застала меня зарумянившаяся заря. Товарищъ проснулся, перекрестился три раза, одѣлся и обратился ко мнѣ:

— Ну, какъ порѣшилъ? со мною или подъ палки?

— Нѣтъ, бѣжать страшно.

— Ну, поклонись низенько ротному и прощай на вѣки, лихою не помяни! попрощался товарищъ и во всѣ лопатки пустился бѣжать въ чашу. Я закричалъ ему вслѣдъ, хотѣлъ остановить, но его и слѣдъ уже простылъ.

„Я рѣшилъ безъ собаки не возвращаться и принялся опять бѣгать по лѣсу и звать левретку. Я докричался до полнѣйшей хрипоты, ноги подкашивались, голова кружилась, нестерпимый голодъ мучилъ меня. Когда наступилъ третій вечеръ, я пожевалъ травы, напился воды и заснулъ. Во снѣ явился мнѣ образъ моей матери, блѣдный, исхудалый, въ саванѣ. Онъ манилъ меня за собою въ какую-то тьму. Я закричалъ во снѣ и проснулся. Въ моей головѣ завертѣлась неотступная мысль лишить себя жизни, разомъ порѣшить съ собою. Чѣмъ больше я предавался ей, тѣмъ болѣе мое рѣшеніе укрѣплялось. Я чувствовалъ какую-то сладкую дрожь, пробиравшую меня при мысли, что я успокоюсь отъ всѣхъ страданій, что я буду свободенъ, что я соединюсь съ обожаемою матерью, такъ нѣжно манищею меня къ себѣ. Пагубная мысль эта такъ обуяла меня, что я не чувствовалъ уже ни голода, ни усталости въ разбитомъ моемъ тѣлѣ; но въ головѣ возникъ новый вопросъ: какимъ способомъ достигнуть желанной цѣли? Способы имѣлись въ виду два: повѣситься или утопиться. Для перваго было годно всякое дерево и шворка, оставшаяся послѣ левретки; для послѣдняго протекала, на дальней опушкѣ лѣса, глубокая, быстрая рѣка, которую я замѣтилъ съ обрывистаго, крутого берега. Смерть отъ повѣшанія представлялась моему воображенію страшно-мучительною. При томъ я содрогался при одной мысли, что мой трупъ, оставаясь непогребеннымъ въ лѣсу, будетъ растерзанъ звѣрями и хищными птицами. Я рѣшилъ утопиться. Настало теплое, тихое утро. Я отправился къ опушкѣ лѣса. Черезъ часъ я былъ у цѣли. Я обвелъ глазами извилистый крутой берегъ и глаза мои остановились на одномъ удобномъ мѣстѣ, гдѣ рѣка подбежала подъ самый высокій берегъ, гдѣ берегъ былъ и круче, и обрывистѣе.

— Оттуда падая я ничего не задѣну своимъ тѣломъ, прямо попаду въ глубь. А глубина должна быть тамъ ужасная. Вода черна какъ чернила и вертится воронкою, произнесъ я вслухъ и отправился туда.

„Посмотрѣвъ съ обрыва внизъ, въ кипящую воду, я почувствовалъ сильное головокруженіе. Инстинктъ самосохраненія громко заговорилъ во мнѣ, но, вспомнивъ, ротнаго, Сусю, левретку, палки, шпигрутену, я засуетился и въ мигъ сорвалъ съ себя платье, даже рубаху. Для чего я раздѣлся, готовясь умереть, я теперь, право, не понимаю. Неужели я побоялся растраты казеннаго имущества? Я упалъ на колѣни, закрылъ глаза и собрался ринуться головою внизъ, но въ этотъ роковой моментъ вспомнилъ, что я со-

всѣмъ забылъ о Богѣ, что я собираюсь умереть безъ молитвы на устахъ. Я всталъ, сложилъ набожно руки и началъ вслухъ, припѣваячи, произносить тѣ отрывки еврейской молитвы, которые сохранились въ моей памяти съ дѣтства. Молясь громко, я неудержимо рыдалъ. Чѣмъ болѣе приближался конецъ моей молитвы, тѣмъ ближе я подвигался всѣмъ корпусомъ къ обрыву, тѣмъ болѣе я нагибалъ верхнюю часть своего тѣла... Еще нѣсколько словъ—и...

„Позади меня внезапно раздался оглушительный лай собакъ. Я растерялся и невольно оглянулся. Въ двухъ шагахъ отъ меня стоялъ офицеръ въ кителѣ, въ бѣлой военной фуражкѣ, съ ружьемъ на перевѣсѣ. Двѣ огромныя охотничьи собаки кинулись на меня. Я началъ отмахиваться руками. Офицеръ подскочилъ ко мнѣ и схватилъ меня за руку, отогнавъ собакъ.

— Ты что хотѣлъ сдѣлать?

— Купаться, ваше выскородіе, солгалъ я, вытянувшись, по привычкѣ, въ струну и опустивъ руки по швамъ, забывавъ, что я въ адамовскомъ мундирѣ.

— Ты солдатъ? спросилъ строго офицеръ.

— Точно такъ, ваше выскородіе.

— Что ты съ собою хотѣлъ сдѣлать?

— Купаться собирался, купаться, ваше выскородіе.

— Врешь, тутъ купаться нельзя,—топиться развѣ. Кто собирается купаться, тотъ не реветъ такъ, что за полверсты слышно. Одѣвайся и маршъ за мною.

„Офицеръ оттащилъ меня отъ берега и заставилъ одѣться.

— Ступай за мною, скомандовалъ онъ.—Только чуръ не убѣгать, не то пулю пушу вслѣдъ, собаками затравлю.

„Черезъ полчаса онъ вывелъ меня на просторную поляну. Направо лежали три молодыхъ офицера, безъ кителей, съ военными фуражками на головахъ; вдали два дѣвятика суетились у разведеннаго огня. Вблизи офицеровъ, на коврѣ, лежали флажки, бутылки и разныя закуски.

— Господа, посмотрите, какую красную дичь я подстрѣлилъ, сказалъ, смѣясь, ведшій меня офицеръ, указывая на меня рукою.

„Офицеры повставали съ мѣстъ и окружили меня съ видимымъ любопытствомъ.

— Солдатикъ этотъ собирался топить, но духу не хватило сдѣлать это сразу. Пока онъ боролся съ своею трусостью и хныкалъ, Діана и Церберъ его провлохали, а я помѣшалъ.

— Бѣглый, что-ли? спросили офицеры.

— А вотъ, узнаемъ. Ну-съ, другъ любезный, говори, кто такой?
„Я пытался отвѣтить, но голосъ не повиновался мнѣ. Я дрожалъ и едва держался на ногахъ.

— Да онъ полумертвый, посмотрите на него, сжалился одинъ изъ офицеровъ.—Пусть успокоится. Онъ, быть можетъ, отощалъ съ голода. Вѣчная участь этихъ дураковъ дезертировъ.

— Эй, подозвалъ одинъ изъ офицеровъ деньщиковъ.—Накормите этого солдатика, да смотрите въ оба, чтобъ не удралъ.

„Деньщики увели меня. Они сострадательно приняли меня, дали водки, хлѣба и рыбу какую-то. Между тѣмъ, какъ я насыщался, деньщики осыпали меня разспросами. Сразу сознался я добрымъ людямъ во всемъ чистосердечно, рассказалъ о моемъ несчастіи съ левреткою, о томъ, что меня ожидало, если-бы я явился къ ротному и его племянницѣ съ пустыми руками.

— Да, этотъ ротный извѣстный во всемъ полку звѣрь, людоедъ. У него деньщикъ болѣе трехъ лѣтъ не выживетъ: замучить, замѣтилъ одинъ изъ деньщиковъ.

— Да ты, братъ, всю матушку-правду полковнику и расскажи. Онъ у насъ не командиръ, а отецъ родной, посоветовалъ другой деньщикъ и понесъ что-то къ офицерамъ.

„Онъ долго имъ о чемъ-то рассказывалъ, затѣмъ, улыбаясь, возвратился къ намъ.

— Ступай къ полковнику, требуютъ, привазадь онъ мнѣ.—Я уже кое-что поразсказалъ, а ты теперь всю подноготную расскажи, ничего не бойся.

„Я сначала трусливо отвѣчалъ на вопросы, задаваемые мнѣ полковникомъ и офицерами. Когда-же я по ихъ глазамъ и по голосу убѣдился, что они жалостно выслушиваютъ меня, то я ободрился и рассказалъ имъ, какъ могъ, все то, что я перетерпѣлъ съ того дня, какъ меня сдали въ рекруты. Я заключилъ свой рассказъ слѣдующими словами:

— Я знаю, что возвратиться къ ротному и его родственницѣ безъ левретки все равно, что живымъ въ могилу ложиться, я и рѣшился разомъ покончить съ собою. Я знаю, что покушеніе на собственную жизнь—ужасное преступленіе, знаю, какому страшному наказанію я подвергаюсь. Я во всемъ сознался. Я въ вашихъ рукахъ, дѣлайте со мною что хотите.

„Окончивъ свое признаніе, я горько заплакалъ. Полковникъ и офицеры долго разговаривали между собою на непонятномъ мнѣ языкѣ. Потомъ полковникъ обратился ко мнѣ ласково, спросилъ мое имя и фамилію, записалъ въ книжку и сказалъ:

шеннымъ бѣднякомъ, на котораго сверхъ того косятся, какъ на скригу, отказывающагося помочь сослуживцу изъ-за нѣсколькихъ рублей, я приступилъ къ нѣкоторымъ офицерамъ съ неотступными требованіями объ уплатѣ. Денегъ я, конечно, не получилъ, но за мою дерзость начали ко мнѣ придираяться по службѣ на каждомъ шагу. Въ строю и внѣ строя я началъ подвергаться оскорбленіямъ, побоямъ и фухтелямъ. Подобная жестокая неблагодарность и несправедливость внушила мнѣ роковую мысль жаловаться начальству на неисправныхъ плательщиковъ по роспискамъ. Нѣкоторымъ я отомстилъ: ихъ заставили уплатить или вычли изъ жалованья. Но за то меня начали преслѣдовать, ко мнѣ начали еще пуще прежняго придираяться, на меня начали клеветать и взваливать чужія вины, за что я ежедневно подвергался побоямъ и всевозможнымъ наказаніямъ. Я отъ души проклиналъ и свои деньги, и свою строптивость, и самую жизнь. Мученія эти длятся до сихъ поръ. Образецъ безжалостности моихъ мучителей вы имѣли предъ глазами. Вы оправдали меня, кухарка въ своемъ показаніи оправдала меня, полиція тоже оправдала меня, но все это не помогло: меня представили высшему начальству какъ главнаго зачинщика и за это безчеловѣчно наказали, вдвое жесточе, чѣмъ настоящихъ виновниковъ.

„Вотъ моя жизнь, моя военная карьера, заключилъ свой рассказъ Ерофей.—Если вы сдержите слово и освободите меня, я готовъ отдать вамъ свою душу, сдѣлаться вашимъ вѣчнымъ рабомъ, но если невозможно, то...“

— То тогда что, Ерофей? спросилъ я.

— Увидимъ. Я вамъ скажу тогда, что я рѣшился сдѣлать.

Я на бѣднаго полумертваго Ерухима смотрѣлъ какъ на мученика, исполнѣ отбывшаго свой искусъ. Съ помощью госпитальнаго подрабчика и другихъ вліятельныхъ евреевъ, я пустилъ въ ходъ всѣ канцелярскіе крючки, чтобы признать Ерофея неизлечимо-больнымъ. Сначала дѣло шло на ладъ; медицинское начальство освидѣтельствовало Ерофея и признало его совершенно негоднымъ къ продолженію службы. Мѣстное начальство снеслось объ этомъ обстоятельстве съ непосредственнымъ военнымъ начальствомъ Ерофея, и мы уже заблаговременно радовались успѣшному результату, въ которомъ были совершенно увѣрены. Но наша радость оказалась преждевременною, когда былъ полученъ приказъ непосредственнаго начальства Ерофея о немедленной высылкѣ послѣдняго въ полкъ.

Горько было объявить о такомъ плачевномъ оборотѣ дѣла не-

счастному солдату. Онъ чуть не свалился съ ногъ при этомъ страшномъ для него извѣстїи.

— Видишь, братъ Ерофей, все сдѣлано, что было въ нашихъ силахъ. Видно, судьба твоя такова. Придется дострадать до конца.

— Нѣтъ, я служить больше не буду, сказалъ онъ мрачнымъ, рѣшительнымъ голосомъ.

— Что-же ты сдѣлаешь?

— Вамъ я скажу. Вы мнѣ добра желаете. Я убѣгу. Перейду въ Австрію, граница недалеко.

— Не дѣлай этого, Ерофей. Поймаютъ.

— Не поймаютъ. Я нашелъ надежныхъ евреевъ, которые берутся меня перевести черезъ границу и паспортомъ снабдить. Это не дорого обойдется. Обѣщаетесь собрать мнѣ еще небольшую сумму въ послѣдній разъ?

— А если тебя поймаютъ, что тогда съ тобою будетъ? Подумай хорошенько.

— Если поймаютъ, я во всемъ признаюсь, выдумую на себя еще какія-нибудь тяжкія преступленія. Пусть разомъ добиваются. Я вѣдь большого количества шинцрутенонъ не выдержу. Не хочу больше мучиться.

Черезъ нѣсколько дней Ерофей выписался изъ больницы и, въ тотъ-же самый день, исчезъ. Какъ я молилъ Бога въ душѣ, охранить бѣднягу отъ новаго несчастія! Но рокъ преслѣдовалъ Ерофея. Пограничная стража наткнулась совсѣмъ неожиданно на двухъ контрабандистовъ, переводившихъ Ерофея черезъ границу. Проводники успѣли убѣжать, но Ерофей, въ партикулярномъ платьѣ, съ подложнымъ паспортомъ въ карманѣ, былъ пойманъ, представленъ, узнавъ и отправленъ куда слѣдуетъ для суда и расправы.

Когда я случайно узналъ о несчастїи, постигшемъ бѣднаго Ерофея, онъ былъ уже далеко отъ меня.

„Твое желаніе, несчастный, сбудется, подумалъ я.—Теперь добьются. Ты началъ свою жизнь бѣднымъ Ерухимомъ и кончишь ее еще болѣе бѣднымъ Ерофеемъ“.

Х.

ЖЕНА ИЛИ ТЮРЬМА.

Какой-то глубокій знатокъ челоѣческаго сердца справедливо замѣтилъ, что при видѣ несчастія даже самаго близкаго намъ чело-

— Успокойся, любезный, мы не выдадимъ тебя. Я поговорю съ кѣмъ слѣдуетъ. Ты будешь опредѣленъ въ фронтową службу. Желаетъ?

„Я повалился въ ноги.

„Вмѣстѣ съ офицерскими деньщиками отправился и я за господами. Цѣлый мѣсяцъ полковникъ удержалъ меня у себя, пока не послѣдовало отъ высшаго начальства разрѣшенія опредѣлить меня, въ видѣ исключенія, къ фронтовой службѣ. Ротнаго и его проклятую племянницу я, слава-богу, больше и въ глаза не видалъ. Какъ ни трудны показались мнѣ сначала маршировка, выправка и приемы, я скоро къ нимъ привыкъ. Я такъ былъ прилеженъ и съ такой любовью занялся новыми своими обязанностями, что скоро прослылъ хорошимъ, ловкимъ и трезвымъ солдатомъ. Мнѣ поручали обучать другихъ и я очень часто заслуживалъ вниманіе и удостоивался благодарности отъ моего начальства.

„Я блаженствовалъ долгое время, поправился, ободрился и повеселѣлъ. Не будь я евреемъ, я давно былъ-бы уже унтеръ-офицеромъ. Я о томъ, однакожъ, не тужилъ. Мнѣ хорошо служилось, меня не тиранили, не мучили, не наказывали и я думалъ, что дотяну уже счастливо свою военную службу до конца. Богъ, однакожъ, иначе опредѣлилъ.

„Во все время моей службы и отъ родныхъ никакого извѣстія не получалъ. Я свикся съ мыслью, что меня вычеркнули уже со всѣмъ изъ семейнаго списка, какъ вдругъ, неожиданно, я получаю отъ одного изъ моихъ старшихъ братьевъ самое горячее, родственное письмо. Братъ увѣдомляетъ меня, что отецъ давно уже умеръ (мать умерла еще тогда, когда я былъ сданъ въ рекруты), что семья долгое время бѣдствовала, вспомоествуемая еврейскимъ обществомъ, но что, съ нѣкоторыхъ поръ, братьямъ повезло въ коммерціи и они значительно разбогатѣли. Желая меня вознаградить за то, что я собственною жизнью искупилъ ихъ свободу, братья рѣшились отыскать меня и, на сколько возможно, посредствомъ денегъ облегчить мою участь. Они собрали справки и узнали, въ какомъ полку и въ какомъ мѣстѣ я нахожусь. Взаключеніе братья просили дать имъ о себѣ вѣсточку. Я, конечно, очень обрадовался этому пріятному письму и немедленно отвѣтилъ.

„Не прошло и двухъ мѣсяцевъ, какъ я получилъ уже отъ братьевъ новое письмо съ приложеніемъ такой суммы денегъ, что я десять разъ пересчиталъ ее и все-таки не вѣрилъ собственнымъ глазамъ. Мнѣ, никогда не выдавшему въ глаза ничего, кромѣ

копеечнаго солдатскаго жалованья, показалось, что богаче меня нѣтъ никого въ мірѣ. Эти деньги были моимъ несчастіемъ. Гораздо лучше было-бы, если-бы я оставался попрсжнему бѣднымъ.

„Въ томъ городѣ, гдѣ я находился, были два-три отставныхъ солдата изъ евреевъ. Окончивъ свою службу и женившись, они занялись мелкою торговлею и въ нѣсколько лѣтъ сколотили себѣ разными афферами и спекуляціею изрядную деньгу. Я былъ друженъ съ ними и часто былъ приглашаемъ къ нимъ отобѣдать по праздникамъ. Я не скрывалъ отъ нихъ своего счастья.

— Вотъ, если ты сдумѣешь повести свои дѣла какъ мы вели, эти сотни рублей въ нѣсколько лѣтъ выростутъ у тебя въ тысячи, сказали мнѣ мои практическіе друзья.

— Что-же мнѣ для этого нужно сдѣлать?

— Юнкера и мелкіе офицеришки вѣчно нуждаются въ рублѣ. Ты и отдавай въ заемъ подъ росписку, но понемножку. Они за одинъ рубль готовы платить три и четыре, когда ужъ очень приспичить. Этимъ ты только сдумѣй воспользоваться и ты скоро разбогатѣешь. Такъ и мы поступали.

„Такъ-какъ я не зналъ, съ какой стороны приступить къ дѣлу, то одинъ изъ моихъ друзей, отставной солдатъ, знакомый со всѣми юнкерами и офицерами, началъ распространять слухи о моемъ богатствѣ, придавая ему преувеличенные размѣры.

— Ты избавишься отъ обязанностей по службѣ и въ большомъ почетѣ будешь у самого начальства, когда прослывешь богачемъ, увѣрялъ меня мой другъ.

„И точно, какъ только молва о моей денежности разнеслась по полку, на меня начали смотрѣть другими глазами; но вмѣстѣ съ тѣмъ начали осаждать со всѣхъ сторонъ мелкими и крупными займами. Я почти никому не отказывалъ, пока хватало денегъ. Когда-же потомъ, за неимѣніемъ денегъ, былъ вынужденъ отказывать, на меня посмотрѣли недовѣрчиво, враждебно. Я былъ цѣлкомъ зависимъ отъ своихъ должниковъ, а потому они и не торопились уплатою. Чтобы не потерять расположенія тѣхъ, которые облегчали мнѣ службу, я обратился къ братьямъ съ просьбою снабдить меня еще кое-какими деньгами, которыми, какъ увѣрялъ я, могу скоро разбогатѣть. Добрые братья удовлетворили моей просьбѣ и снабдили меня вновь сотнями двумя. Скоро и эти деньги были розданы. Но требованія росли съ каждымъ днемъ, а я не могъ удовлетворить всѣхъ, тѣмъ болѣе, что мои болѣе крупные должники и не думали разсчитаться со мною, зная, что я не посмѣю жаловаться. Увидѣвъ себя въ одинъ прекрасный день совер-

вѣка, мы, помимо собственнаго вѣдома, безсознательно чувствуемъ извѣстнаго рода удовольствіе. Это удовольствіе выражается безъ словъ, даже безъ всякой оформленной мысли; но кто приучился слѣдить за своимъ внутреннимъ жизненнымъ процессомъ, тотъ легко подмѣтитъ какое-то невольное душевное возбужденіе, выражающееся, въ переводѣ, словами: „Слава-богу, я не на его мѣстѣ“.

Искренно сострадая несчастному товарищу моего дѣтства Ерухиму, я, въ то-же время, чувствовалъ точно такое-же душевное возбужденіе. Мрачныя картины моего дѣтства живо представлялись моему воображенію. Я вспоминалъ, какъ забитый, лишенный ласки ребенокъ, я завидовалъ моему блѣдному товарищу по хедеру, нѣжившемуся подъ крылышкомъ обожающей его матери. Съ какимъ восторгомъ промѣнялъ-бы я тогда свою горькую участь на участь счастливаго товарища! А теперь?

— Слава-богу, я не на его мѣстѣ! сто разъ повторялъ во мнѣ голосъ всесильнаго эгоизма.

Несчастія Ерухима на нѣкоторое время примирили меня съ моей участію. Сопоставляя откупную службу мою съ военною службою Ерофея, я приходилъ къ заключенію, что я счастливѣйшій изъ смертныхъ и не имѣю никакого права требовать ничего болѣе. Но сознавая вполнѣ свое безправіе на лучшую участь, я въ то-же время все-таки желалъ ея, готовъ былъ вступить въ самую ожесточенную борьбу для ея завоеванія.

Не прошло и года со дня встрѣчи моей съ злополучнымъ другомъ моего дѣтства, какъ во мнѣ опять уже заговорила кичливость, запротестовало самолюбіе. Я опять началъ рваться куда-то на просторъ, на широкую дорогу, гдѣ мое я и моя жизнь не были-бы задѣваемы другими, гдѣ не подставляли-бы ноги моимъ неопредѣленнымъ стремленіямъ, гдѣ я могъ-бы двигаться и существовать безъ помѣхи, по собственнымъ убѣжденіямъ. Вырваться изъ откупной среды я, однакожъ, не пытался: это было для меня такъ-же невозможно, какъ взобраться на луну; я только отыскивалъ болѣе широкую дорогу въ той сферѣ, въ которой уже застрялъ, убѣдившись неоднократно наблюдениемъ, что всѣ дороги одинаково ведутъ въ Римъ.

Изучая своего принципала, я подмѣтилъ, что изъ числа своихъ подчиненныхъ онъ дорожилъ особенно тѣми, которые непосредственно дѣйствуютъ на распорядительной почвѣ и вытребуютъ каштаны изъ огня. Онъ во многихъ изъ этихъ дѣятелей сознавалъ полнѣйшую неспособность и крупныя недостатки, но дѣла, которыми эти неспособные дѣятели заправляли, приносили изобильные плоды, и

онъ ими дорожилъ. Большая часть этихъ счастливыхъ дѣятелей, не слишкомъ разсчитывая на щедрость принципала, имѣла благо-разуміе оставлять часть каштановъ и для себя... Принципаль догадывался, но молчалъ, притворяясь ничего невѣдующимъ. Онъ не допускалъ въ людяхъ абсолютной честности, а на человѣческій умъ смотрѣлъ съ одной дѣловой точки зрѣнія. Кто умѣлъ приносить пользу самому себѣ, тотъ, слѣдовательно, былъ полезенъ и для дѣла. Тѣхъ-же, у которыхъ не доставало безсовѣстности обогащаться на счетъ чужихъ интересовъ, онъ считалъ безхарактерными, трусливыми и недалекими. Можетъ-ли тотъ быть полезенъ другимъ, кто не умѣетъ быть полезнымъ самому себѣ? Преклоняясь предъ силой капитала, мой принципаль видимо проникался уваженіемъ даже къ тѣмъ счастливымъ изъ числа своихъ подчиненныхъ, которые богатѣли исключительно на счетъ кармана своего хозяина. Онъ никогда не удалялъ подобныхъ служащихъ; въ томъ убѣжденіи, что эти *устыи уже* накрасть, а новые *начнутъ только* красть. Такимъ образомъ, нѣкоторые изъ его управляющихъ и уполномоченныхъ не только богатѣли на распорядительной почвѣ, но возвышались еще въ его глазахъ, какъ умъ и сила. Я-же, состоя по счетной и письменной части, сѣялъ въ мертвой, безплодной пустынѣ. Въ то время, когда откупные полководцы и генералиссимусы одерживали надъ закономъ побѣду за побѣдой, я могъ только подносить лавровые вѣнцы въ видѣ испещренныхъ крупными цифрами балансовъ. Я игралъ жалкую роль писца-каллиграфа, который на-чисто переписываетъ рапортъ главнокомандующаго объ одержанной блестящей побѣдѣ. Русскіе крупные откупщики придерживались въ этомъ отношеніи другихъ теорій: у нихъ бухгалтеръ или секретарь пользовались особеннымъ вниманіемъ и осыпались щедротами, какъ статс-секретари и главные контролеры въ маленькомъ царствѣ; мой-же принципаль смотрѣлъ на вещи съ болѣе реальной стороны: секретарь считался у него бумагомарателемъ, а бухгалтеръ—ходячимъ grosбухомъ.

Уяснивъ себѣ это положеніе, я рѣшился, во что-бы то ни стало, выбраться на болѣе выгодную служебную почву. Для перваго опыта, я обратился къ благоволившему ко мнѣ принципалу съ просьбою.

— Я человѣкъ, обремененный многочисленнымъ семействомъ, сказалъ я ему однажды.—Я давно уже имѣю честь служить при васъ, но ни до чего существенно-полезнаго еще не дослужился. Ограниченнаго моего жалованья едва хватаетъ на прокормленіе. Дѣти мои подрастаютъ и скоро придется серьезно подумать о ихъ воспитаніи. Пока я молодъ и въ состояніи трудиться, я обязанъ стре-

миться къ обезпеченію моей семьи на черный день. Достичь этого въ настоящей моей должности я считаю положительно невозможнымъ. Прошу у васъ мѣста по части распорядительной, надѣясь быть вамъ полезнымъ не менѣе другихъ.

Принципаль изумленно посмотрѣлъ на меня.

— *Мы* вами совершенно довольны. Но вы намъ полезны именно въ той должности, въ которой вы состоите.

— Покорно благодарю. Но я недоволенъ своимъ положеніемъ, потому что бесполезенъ самому себѣ, своей семьѣ и своей будущности.

— Вольно вамъ жить безъ расчета и проживать все! возразилъ онъ рѣзко.

— Извините. Я не широко живу. Безъ нищи ни жить, ни служить нельзя, отвѣтилъ я не менѣе рѣзкимъ тономъ.

— Чего-же именно вы добиваетесь? спросилъ онъ болѣе мягко. — Прибавки жалованья?

— Совсѣмъ нѣтъ. Я добиваюсь другой арены дѣятельности, гдѣ я могъ-бы принести вамъ болѣе осязательную пользу и тѣмъ заслужить болѣе выгодную оцѣнку.

— Нѣтъ, по распорядительной части вы мѣста получить не можете.

— Смѣю спросить, почему?

— Потому что вы по этой части неспособны.

— Но вы вѣдь еще не испытали меня?

— Нѣтъ. Вы слишкомъ большой философъ для дѣла. Вы чересчуръ мягкаго и податливаго характера, а въ нашемъ дѣлѣ нужно быть кремнемъ.

— Система откупная, сама по себѣ, на-столько безпощадна и удобна для вашихъ интересовъ, что съ моей стороны достаточно будетъ придерживаться только этой системы, чтобы интересы ваши были вполне обезпечены. Личныя-же мои убѣжденія и характеръ не имѣютъ ничего общаго съ точнымъ выполненіемъ обязанностей.

— Нѣтъ, вы въ распорядители рѣшительно неспособны, даже вредны, объявилъ мнѣ принципаль рѣшительно.

— Итакъ, я на другую должность рассчитывать не могу?

— Со временемъ можете рассчитывать на прибавку жалованья, болѣе ни на что.

— Въ такомъ случаѣ я прошу васъ меня уволить совсѣмъ.

Принципаль искоса посмотрѣлъ на меня и насмѣшливо улыбнулся.

— Вы серьезно это говорите? спросил онъ, надменно пзмѣривъ меня глазами.

— Какъ нельзя болѣе.

— А семья ваша что ѣсть станетъ?

— Объ этомъ позвольте уже мнѣ самому позаботиться.

— Хорошо, сказалъ онъ рѣзко:—мы выпишемъ кого-нибудь на ваше мѣсто. Просить мы никого не привыкли.

Я хладнокровно поклонился и вышелъ.

Съ этой минуты мои отношенія къ принципалу сдѣлались нѣсколько натянутыми. Я считалъ себя почти уволеннымъ, хотя и продолжалъ исполнять свои обязанности съ подобающей точностью. Выписали-ли кого-нибудь на мое мѣсто, мнѣ было неизвѣстно. Я зналъ только одно, что мой принципалъ заглазно не разъ высказывалъ свое непоколебимое мнѣніе на мой счетъ въ томъ смыслѣ, что я слишкомъ безхитростенъ и прямодушенъ, чтобы быть полезнымъ на откупномъ распорядительномъ поприщѣ.

Скоро, однакожъ, мой принципалъ получилъ неоднократныя доказательства ошибочности своего предвзятаго мнѣнія.

Въ нѣкоторыхъ случайныхъ откупныхъ событіяхъ я выказалъ такую распорядительность, что выросъ въ глазахъ моего принципала, хотя, по правдѣ сказать, совсѣмъ не выросъ въ собственныхъ глазахъ... Я думаю, что едва-ли возвышусь и во мнѣніи моихъ читателей, когда они узнаютъ, въ какихъ именно роляхъ я отличился. Но я рассказываю факты, не стараясь ихъ окрашивать, въ какой-бы то ни было цвѣтъ. Событія, въ которыхъ я нечаянно сдѣлался дѣйствующимъ лицомъ, бросаютъ такой яркій свѣтъ на отношенія откупа къ прежней правительственной администраціи и на нѣкоторыхъ административныхъ дѣятелей прежняго времени, что рассказъ о нихъ, полагаю, не будетъ безъинтереснымъ для читающей публики.

За отсутствіемъ мѣстнаго управляющаго мелкаго откупа, мнѣ поручено было временно исправлять его должность. Случилось, что въ это-же самое время смѣстился полицеймейстеръ и на его мѣсто прибылъ изъ сибирскихъ губерній новый. Это былъ человекъ военный, грубый, надменный, гигантъ по росту и поклонникъ Бахуса съ виду. Въ подобныхъ случаяхъ управляющіе откупами обязаны были немедленно представляться вновь прибывшему начальству, какъ для того, чтобы отдать ему должную честь, такъ и для того, чтобы объявить новому начальнику его будущій окладъ *откупного жалованья* и вручить его за мѣсяцъ или за треть года впередъ. Эту церемонію обязанъ былъ исполнить, конечно, и я.

Первое слово, съ которымъ меня встрѣтилъ новый полицеймейстеръ, было слѣдующее:

— Кто содержитъ здѣшній откупъ?

Я назвалъ ему откупщика.

— А! жидъ? миллионеръ?

Я смолчалъ.

— Ты, братецъ, знаешь, кто я такой?

— Вы—новый полицеймейстеръ, отвѣтилъ я наивно.

— Да. Но я вмѣстѣ съ тѣмъ и *жидоморъ*.

— Это, я думаю, къ откупу не относится.

— Нѣтъ, другъ любезный, очень и очень относится. Сколько, напримѣръ, получалъ мой предмѣстникъ жалованья изъ откупа?

— Пятьсотъ рублей въ годъ.

— Ой-ли? Не шутишь?

— Я не смѣю шутить.

— Ну-съ, мой предмѣстникъ—баба, а я меньше... двѣнадцати тысячъ цѣлковыхъ въ годъ или тысячи въ мѣсяцъ, не возьму. Вотъ что!

— Помилуйте, ужаснулся я:—откупъ платить *какимъ* всего нѣсколько десятковъ тысячъ откупной суммы, какимъ-же образомъ онъ можетъ вамъ однимъ платить такіа деньги?

— Заплатишь, братецъ, да еще въ ножки поклонись. Ну-съ, а теперь „прощаюсь ангелъ мой съ тобою“. Не забудь: моя фамилія—жидоморовъ!

Сначала я смѣлъ новаго начальника какимъ-то шутникомъ и не очень тревожился его бессмысленнымъ требованіемъ. Но когда, на другой день, цѣлая стая нижнихъ и среднихъ полицейскихъ чиновъ замутила мое маленькое кабачное царство, когда цѣловальники возопили подъ давленіемъ полицейскихъ влещей, я встревожился не на шутку. Нѣсколько дней къ ряду я являлся къ строгому начальнику, кланялся, просилъ, убѣждалъ взвѣсить невыполнимость его требованія, но всякій разъ былъ почти выгоняемъ и получалъ одинъ и тотъ-же непоколебимый отвѣтъ:

— Двѣнадцать тысячъ, ни гроша меньше. Я затѣмъ и перешелъ въ привидѣрованную жидовскую Палестину... Понимаешь?

Мнѣ ничего больше не оставалось дѣлать, какъ только доложить объ этомъ принципалу. Но я зналъ очень хорошо, что мой принципалъ припишетъ мое неумѣнье вывернуться изъ этой бѣды полнѣйшей моей неспособности, и потому, очертя голову, рѣшился на отчаянную выходы.

Въ то время губернаторствовалъ нѣкій князь, извѣстный сво-

имъ безкорыстіемъ чловѣкъ. Я обратился прямо къ нему, испросивъ у него аудіенцію по важному дѣлу. Одинъ-на-одинъ я прямо разсказалъ ему обо всемъ и объяснилъ то затруднительное положеніе, въ которое поставила меня съ одной стороны моя обязанность управляющаго, а съ другой—неслыханное требованіе полицеймейстера, поддерживаемое разными противозаконными прижимками со стороны ожесточенной полицейской власти.

— Я обращаюсь къ вашему сіятельству не только, какъ къ начальнику, но и какъ къ благородному чловѣку, который не виѣнить мнѣ въ преступленіе мою откровенность. Я знаю, что дающій взятку такъ-же преступенъ, какъ и принимающій ее. Но взятку или, лучше сказать, жалованье, даю собственно не я, а откупъ, или, другими словами, самый питейный уставъ, оставляющій много лазеекъ откупу присвоивать себѣ небывалыя права, а властямъ прижимать откупъ даже въ его настоящемъ, законномъ правѣ.

Губернаторъ благосклонно посмотрѣлъ на меня и потребовалъ, черезъ жандарма, полицеймейстера.

Десяти минутъ не прошло, какъ шефъ полиціи стоялъ уже у дверей кабинета съ поднятой ко лбу рукою, затянутый въ свой мундиръ, и съ раскраснѣвшимся до неприличія лицомъ.

— Приблизьтесь, приказалъ тихо князь.

Полицеймейстеръ, сдѣлавъ три военныхъ шага впередъ, остановился. Увидѣвъ меня, сидящаго въ губернаторскомъ кабинетѣ, онъ измѣнился въ лицѣ и посмотрѣлъ на меня изумленными глазами.

— Какъ васъ зовутъ? спросилъ его князь какимъ-то безучастнымъ голосомъ.

— К...въ, къ услугамъ вашего сіятельства, прохрипѣлъ струсившій воинъ.

— Нѣтъ-съ. Сколько мнѣ сдѣлалось извѣстнымъ, вы прозвали себя *жидоморомъ*. Отъ жидоморовъ я никакихъ услугъ принимать не намѣренъ.

— Виновать-съ. Умоляю, однакожь, ваше сіятельство выслушать...

— Вы, любезный, съумасшествуете. Предшественникъ вашъ былъ практичнѣе и чловѣчнѣе васъ. Надѣюсь, болѣе жалобъ вы на себя не допустите. Поручаю вашему попеченію этого управляющаго откупа, заключилъ князь, сдѣлавъ намъ обоимъ общій прощальный знакъ рукою.

Въ тотъ самый день К...въ получилъ сотню рублей въ счетъ своего пятисотеннаго жалованья. Между полиціей и кабаками уста-

новились прежнія мирныя отношенія, какъ казалось, на вѣки нерушимыя.

О выходы мой, конечно, узнали и удостоили похвалы.

Вслѣдъ за благороднымъ княземъ управлялъ губерніею добродушнѣйшій въ мірѣ старичекъ. Былъ онъ тоже не изъ *берущихъ* (губернаторы, надобно правду сказать, рѣдко пользовались откупными подачками, хотъ и посматривали сквозь пальцы на дѣйствія своихъ чиновниковъ). Самый капитальный недостатокъ этого добраго старика заключался въ томъ, что онъ обладалъ кокетливою, расточительною, хота и немолодою женою. Губернаторскіе финансы далеко не удовлетворяли безмѣрной любви къ роскоши и нарядамъ губернаторши. Объ этомъ скоро сдѣлалось извѣстно всѣмъ имѣющимъ нужду въ губернаторскомъ покровительствѣ. Чтобы удостовѣриться этого драгоцѣннаго покровительства, стоило только представиться начальницѣ, въ ея щегольскомъ будуарѣ, — конечно, не съ пустыми руками. Она была добра и гуманна до того, что отказа почти никому не было, и если только она обѣщалась помочь, то обѣщаніе ея всегда исполнялось. Одна только была бѣда съ этой доброй начальницей: она была выше всякихъ денежныхъ расчетовъ; кто разъ воспользовался ея покровительствомъ, тотъ дѣлался вѣчнымъ ея должникомъ. Само собою разумѣется, что самою главною дойной коровою фигурировалъ въ этомъ случаѣ несчастный откупъ.

На одномъ злополучномъ гуляньѣ губернаторша замѣтила на шеѣ откупщицы великолѣпное ожерелье изъ крупнаго жемчуга и возгорѣла къ дорогому ожерелью страстью. Съ свойственной ей пылкостью, она въ тотъ-же день прислала къ откупщику одного изъ своихъ клевретовъ съ *просьбою уступить ей ожерелье по собственной цѣнѣ*.

Я былъ приглашенъ къ принципалу.

— Губернаторша, обратился ко мнѣ принципалъ съ насмѣшливой улыбкою: — губернаторша бросила свой жадный взглядъ на ожерелье моей жены и проситъ уступить ей его *по собственной цѣнѣ*.

— Что-же, замѣтилъ я наивно: — развѣ другое такое ожерелье вамъ трудно будетъ достать?

— Достать-то можно. Но дѣло въ томъ, что ея *собственная цѣна* равняется нулю. Она въ этомъ году и такъ содрала съ насъ шкуру.

— Какъ-же вы ей откажете?

— Конечно, прямо отказать нельзя. Я передалъ ей, черезъ ея

прихвостня, что это ожерелье не мое, что оно принадлежит провѣзшему нѣмцу-ювелиру, что мы хотѣли его купить и уже почти сошлись въ цѣнѣ, такъ что жена уже надѣла его разъ, но что, поразспросивъ здѣшнихъ ювелировъ, мы нашли цѣну слишкомъ высокою, а потому разошлись и ожерелье отдали назадъ ювелиру.

— Значить, вывернулись?

— Не совсѣмъ. Только-что приходила ея компаньонка узнать адресъ ювелира, обладающаго ожерельемъ. Я обѣщалъ прислать къ ней его самого.

— Гдѣ-же вы его возьмете?

— Вы, кажется, говорите по-нѣмецки?

— Да, нѣсколько.

— Возьмите, пожалуйста, ожерелье и отправьтесь къ ней. Вы, надѣюсь, сѹмѣете разыграть роль. Заломите громаднѹ цѣну. Деньги требуйте наличными и разомъ.

Со вздохомъ я спряталъ проклятое ожерелье въ карманъ, прифрантился и отправился къ губернаторшѣ.

Мнимаго ювелира немедленно пригласили въ роскошный будуаръ. Изящно разодѣтая, среднихъ лѣтъ барыня встрѣтила меня съ очаровательною улыбкою на чувственныхъ губахъ. Я представился на нѣмецкомъ языкѣ. Она фамиллярно взяла меня за руку и усадила возлѣ себя.

— Въ первый разъ я вижу такого молодого ювелира, замѣтила она, обдавъ меня жаркимъ взглядомъ своихъ темныхъ глазъ. — Гдѣ ожерелье? Покажите-ка его.

Я передалъ ожерелье. Она ворочала его на всѣ стороны, смотрѣла на него то прямо, то стороною, любовалась правильностью и чистотою каждой жемчужины, взвѣшивала на рукѣ съ видомъ знатока. Долго разспрашивала о заграничныхъ модахъ по части ювелирской. Я безсовѣстно вралъ, но вралъ безъ запинки, ловко избѣгая техническихъ терминовъ, которыми она меня осыпала.

Словомъ сказать, она фамиллярничала со мной болѣе, чѣмъ даже подобаетъ такой высокой особѣ; но когда я заломилъ цѣну, и особенно когда прибавилъ, что деньги должны быть уплачены разомъ, лицо ея въ одну минуту помрачилось и губы надулись. Возвращая мнѣ ожерелье, она со вздохомъ спросила:

— Въ кредитъ нельзя? Подъ вексель... вы вѣдь знаете, кто я такая?

— Я долженъ признаться, сударыня, что это ожерелье, къ сожалѣнію, не моя собственность. Мнѣ поручилъ его продать за-

граничный банкиръ. Я теперь возвращаюсь за границу, попробую убедить собственника смягчить свои условія въ пользу вашу, и если успѣю, то буду имѣть честь явиться вторично, и съ особеннымъ удовольствіемъ поднесу это украшеніе той особѣ, которая собою украситъ его еще больше.

Въ эту минуту, семеня дрожащими старческими ногами, приблизился къ намъ совсѣмъ плѣшивый губернаторъ. Губернаторша меня представила.

— Да, да, да, зашамкалъ начальникъ губерніи.

— Что-жь, дорого, что-ли? спросилъ онъ жену какимъ-то особенно тревожнымъ голосомъ.

Губернаторша пересказала ему мои условія и обѣщанія относительно *кредита*.

— Очень хорошо, очень хорошо, душа моя... я очень радъ... очень...

Я поторопился раскланяться.

— Ахъ, куда-же вы? удержала меня за руку добрая губернаторша.—Кстати, обратилась она къ мужу:—вотъ случай разрѣшить наше давнишнее пари.

— Я тороплюсь, душа моя, взмолился губернаторъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я такого случая не упущу, звонко засмѣялась она, насильно усаживая мужа и цѣлуя его въ голову.—Дѣло вотъ въ чемъ: мнѣ достались по наслѣдству, отъ дальней родственницы, нѣкоторыя бриліантовыя вещицы. Мужъ мой оцѣнилъ ихъ въ ничтожную сумму и я съ нимъ держала пари, что вещи эти стоятъ, по крайней мѣрѣ, въ десять разъ болѣе того, во что онъ ихъ цѣнитъ. Вотъ, кстати, вы ихъ теперь оцѣните. Мнѣ очень интересно выиграть пари, прибавила она полушопотомъ, такъ, что только я одинъ могъ ее слышать. Сказавъ это, она убѣжала въ далекіе апартаменты за роковыми вещами.

— Боже мой, встревожился я мысленно.—Что-же теперь со мною будетъ? Какъ я приступлю къ оцѣнкѣ, когда я не могу даже отличить цѣнный камень отъ обыкновеннаго цвѣтнаго стекла?

Между тѣмъ впорхнула губернаторша съ шкатулкою розоваго дерева въ рукахъ. Черезъ минуту разныя брошки, серьги и перстни явились на свѣтъ Божій и запестрѣли въ моихъ испуганныхъ глазахъ.

— Ну-съ, любезный ювелиръ, цѣните.

Дрожащими руками началъ я извѣшивать на рукѣ каждую вещь отдѣльно и всѣ вещи въ совокупности, подносилъ ихъ къ свѣту, чтобы лучше рассмотреть воду драгоцѣнныхъ камней.

— Старомодная отдѣлка, замѣтилъ я, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Да. Но это пустяки. Главное, оцѣните бриліанты.

— Такъ нѣсколько трудновато будетъ, произнесъ я самоуверенно.—Нужно-бы вынуть камни и опредѣлить число каратовъ.

— Нужды нѣтъ. Опредѣлите приблизительно, нетерпѣливо попросилъ губернаторъ, желавшій, повидимому, отдѣлаться какъ можно скорѣе.

— Любопытно-бы знать, во сколько ваше превосходительство оцѣнили всѣ эти вещи? спросилъ я улыбаясь.

Губернаторъ имѣлъ неосторожность высказаться. Слѣдовательно, я имѣлъ уже масштабъ для той оцѣнки, какая нужна была для выигрыша пари. Я удачно разрѣшилъ трудную задачу и, наконецъ, былъ отпущенъ.

Вся эта сцена, переданная мною принципалу, разсмѣшила его. Я спасъ дорогое ожерелье изъ пасти ненасытной превосходительной акулы. За то ожерелье это болѣе не показывалось на свѣтъ Божій, а я, мнимый иностранецъ-ювелиръ, смотрѣлъ въ оба, чтобы какъ-нибудь на улицѣ не попасться на глаза начальницѣ губерніи.

Мнѣ посчастливилось вывести моего принципала изъ болѣе крупнаго затруднительнаго положенія, угрожавшаго ему весьма не-пріятными послѣдствіями.

Въ нѣкій извѣстный періодъ фортуна заблаговолила къ моему принципалу самымъ благосклоннымъ образомъ и счастье повалило къ нему со всѣхъ сторонъ. Дѣла и откупъ начали давать такіе результаты, какіе ему никогда и присниться не могли. Въ короткое время прибыли выросли въ милліоны и выражались не одними мертвыми цифрами, а наличными кредитными билетами. Не было того почтового дня, который не принесть-бы съ собою десятковъ и сотенъ тысячъ. Чтобы упрочить свои капиталы, счастливый принципалъ мой завязалъ разныя банкирскія дѣловыя сношенія съ заграничными биржами и денежными рынками. Для перевода капиталовъ за границу и для выигрыша на курсѣ, требовалась звонкая монета, преимущественно золотая. Золото это покупалось гдѣ только возможно было, собиралось и высылалось изъ различныхъ мѣстъ, но, при всемъ томъ, постоянно оказывался въ немъ недостатокъ.

Однажды былъ я призванъ къ принципалу.

— Требуется большое количество золота для срочной высылки за границу. Я просилъ предсѣдателя казенной палаты и получилъ его согласіе, до присылки намъ золота изъ нѣкоторыхъ мѣстъ,

Занежи еврей.

позволить неофициальнымъ образомъ казначею сдѣлать намъ заемъ всего наличнаго казеннаго золота, хранящагося въ казначействѣ, подъ закладъ банковыхъ билетовъ рубль за рубль. Возьмите съ собою банковые билеты, сходите къ предсѣдателю и попросите отъ моего имени исполненія его обѣщанія.

Я явился къ предсѣдателю и передалъ ему просьбу откупщика. Какъ предсѣдатель, такъ и казначей состояли на жалованьѣ у моего принципала,—значить, нечего было съ ними особенно церемониться.

— Я уже разрѣшилъ казначею, сказалъ мнѣ предсѣдатель.— Отправьтесь къ нему и передайте вторичное мое разрѣшеніе на выдачу золота.

— Я всегда готовъ къ услугамъ, согласился казначей, съ явными признаками колебанія.— Но, согласитесь, ни я, ни даже самъ предсѣдатель никакого права не имѣемъ дѣлать подобныя самовольные займы изъ государственныхъ суммъ.

— Этотъ заемъ дѣлается на самое короткое время, настаивалъ я.— Мы надняхъ получимъ золото и немедленно выкупимъ наши билеты. Разрѣшеніе предсѣдателя ручается вамъ, что вы тутъ ничѣмъ не рискуете.

Съ озабоченнымъ видомъ казначей отправился на домъ къ предсѣдателю, получилъ изъ устъ его секретное разрѣшеніе и немедленно выдалъ мнѣ требуемое золото, которое и было отправлено въ тотъ-же день куда слѣдовало, къ большому удовольствію моего принципала.

Дня черезъ два прибѣгаетъ ко мнѣ, на домъ, казначей, блѣдный, дрожащій, еле дышашій отъ волненія.

— Вы погубили меня и мою семью, едва могъ произнести казначей и крупныя слезы потекли по его щекамъ.

— Что такое случилось? встревожился я.

— Я выдалъ вамъ казначейское золото.

— Ну-съ?

— Вчера вечеромъ, предсѣдатель, собственноручно, опечатавъ казначейскую кладовую.

— Для чего-же?

— Чтобы сегодня обревизовать меня, открыть мое преступленіе и передать меня суду.

— Что вы? Вѣдь предсѣдатель самъ-же разрѣшилъ вамъ?

— Разрѣшилъ изустно, секретно, безъ свидѣтелей. Теперь онъ, самымъ наглымъ образомъ, отпирается отъ своего разрѣшенія и взваливаетъ всю вину на меня одного.

— Что-же его побуждаетъ къ такому низкому поступку?

— Погубить онъ меня хочетъ.

— Но за что?

— Третьяго дня, въ большомъ обществѣ, куда былъ приглашенъ и я, шла попойка. Онъ захмѣлѣлъ и зачванился до того, что, въ присутствіи дамъ, началъ помывать мною, какъ своимъ лакеемъ. Я не выдержалъ. Онъ сказалъ мнѣ дерзость, я отвѣтилъ тѣмъ же, и вотъ онъ теперь рѣшился меня наказать.

— Успокойтесь, попытался я утѣшить бѣднаго казначея. — Предсѣдатель васъ только страшаетъ. Нельзя допустить такой наглости съ его стороны.

— Вы мало знаете этого барина, если воображаете, что есть низость, къ которой онъ не былъ-бы способенъ.

— Во всякомъ случаѣ, я, своей особой, васъ спасти не въ силахъ. Пойдемте къ откупщику.

Принципалъ выслушалъ разстроеннаго, убитаго казначея и разсмѣялся.

— Не беспокойтесь, сказалъ онъ самоувѣренно. — Это не болѣе, какъ шутка. Сходите къ предсѣдателю, приказалъ онъ мнѣ, — и попросите его отъ моего имени положить конецъ этой комедіи.

Добрый часъ просидѣлъ я въ пріемной, пока великій администраторъ удостоилъ меня принять. Какъ-будто увидѣвъ меня въ первый разъ въ жизни, онъ выпучилъ на меня совиные глаза, ковыряя мизинцемъ во рту. Это былъ рослый мужчина суроваго вида, съ военными ухватками.

— Что вамъ угодно? процѣдилъ онъ сквозь зубы.

— Я присланъ къ вашему превосходительству г. откупщикомъ.

— Что ему отъ меня угодно?

Я объяснилъ обстоятельно, въ чемъ дѣло.

— Не думаетъ-ли г. откупщикъ, что предсѣдатель палаты войдетъ съ нимъ въ стачку, чтобы прекрывать его плутни со взяточникомъ казначеемъ?

— Ваше превосходительство, осмѣлился я робко замѣтить: — по этому дѣлу, я самъ... имѣлъ честь явиться къ вамъ и... получить разрѣшеніе.

— Вы... врете! ошеломилъ меня наглець и повелительно указалъ на дверь.

Когда я передалъ принципалу о пріемѣ, сдѣланномъ мнѣ предсѣдателемъ, онъ потерялъ всю свою самоувѣренность и видимо растерялся. Натянувъ наскоро фракъ и перчатки, онъ самъ поспѣ-

шилъ туда, гдѣ я потерпѣлъ крушеніе. Черезъ четверть часа онъ возвратился разъяреннымъ.

— Представьте себѣ, этотъ молодецъ меня не принялъ... понимаете, *не принялъ!* Всего нѣсколько дней тому назадъ онъ, почти на колѣняхъ, выканичилъ у меня сверховладную подачку, а теперь... Дѣло принимаетъ серьезный видъ. Мнѣ эта штука угрожаетъ скандаломъ, отвѣтственностью. Что дѣлать?

— Въ такомъ случаѣ, позвольте ужъ мнѣ дѣйствовать, вызвался я.

Принципалъ удивленно посмотрѣлъ на меня.

— Что-же *вы* можете сдѣлать, когда я самъ потерялъ вліяніе?

— Мнѣ пришла счастливая мысль въ голову... Пока это мой секретъ.

— Пожалуйста дѣйствуйте, какъ знаете. Не жалѣйте денегъ, чтобъ потушить это дѣло.

Я испыталъ сначала все свое краснорѣчіе, убѣждая казначея пойти съ повинною къ начальству, чтобы вымолить себѣ прощеніе. Но казначей былъ съ головы до пятъ гонимый шляхтичъ.

— Я скорѣе положу голову на плаху, чѣмъ унижусь до такой степени! рѣшилъ онъ, разъ навсегда.

Тогда я отправился къ фактору Шмеркѣ.

Въ той польско-русской мѣстности, гдѣ эта исторія случилась, всякій мало-мальски вліятельный чиновникъ имѣлъ своего любимца-фактора, черезъ котораго онъ конфиденціально обдѣлывалъ свои мутныя дѣлишки. Этотъ мудрый обычай былъ удобенъ въ томъ отношеніи, что чиновникамъ не приходилось сталкиваться лично со всякой мелюзгой, опасною своею болтливостью. Въ прямомъ смыслѣ, нѣкоторые чиновники не брали, а брали за нихъ факторы, будто съ тѣмъ, чтобы замолвить словечко у своего покровителя. Эти факторы, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, богатѣли и затѣмъ вступали въ разрядъ крупныхъ первоигильдейцевъ. Просителямъ евреямъ махинація эта была тоже очень удобна: имъ не приходилось дрожать и ямлить предъ ясновельможными панами, они могли отнестись къ своему-же брату прямо, на еврейскомъ жаргонѣ. Итакъ, разные съ виду ошарпанные Гершки, Ицки и Шмерки представляли собою полицеймейстеровъ, предсѣдателей и прочихъ администраторовъ и судебныхъ дѣятелей. Факторъ Шмерка, къ которому я обратился, былъ фактотумомъ предсѣдателя.

Шмерка принялъ меня очень предупредительно и любезно, хотя и не могъ скрыть нѣкотораго удивленія. Онъ зналъ, что гигантъ откупъ не нуждается ни въ чемъ посредничествѣ.

Я объяснилъ ему откровенно, въ какомъ затруднительномъ положеніи находится мой принципаль и попросилъ его совѣта, конечно, пообѣщавъ предварительно что нужно. Шмерка глубоко задумался, машинально кудрявя свои тощіе пейсики.

— *Мой*—ужасно упорный осель, сказалъ онъ наконецъ.—Если онъ себѣ заберетъ что-нибудь въ голову, то и клиномъ оттуда не вышибешь. Я тутъ ничѣмъ помочь не могу... Есть, впрочемъ, одно средство...

— Скажите, ради Бога, какое?

— Онъ большой трусъ... Совѣсть, знаете, нечиста... Понимаете? Его припугнуть-бы не мѣшало; авось подается. Разъ какъ-то я это средство надъ нимъ съ большимъ успѣхомъ испробовалъ. Это было во время рекрутскаго набора...

— Но какъ и чѣмъ его припугнуть?

— Я вамъ дамъ наставленіе. Но, смотрите, все, что я вамъ скажу, должно навсегда остаться между нами... Иначе вы погубите меня. Но прежде всего: если мое средство удастся, что я за мой совѣтъ получу?

Мы сладили. Черезъ часъ, нравственно вооруженный съ головы до пятокъ, я былъ уже въ пріемной предсѣдателя. Обо мнѣ доложили по *важному* секретному дѣлу.

— Опять вы? грозно спросилъ меня предсѣдатель, когда я переступилъ порогъ его кабинета.

— Ваше превосходительство, произнесъ я полушопотомъ, съ таинственной миной на лицѣ:—на этотъ разъ дѣло касается *одной* васъ. Оно такъ важно, что я счелъ своимъ долгомъ...

— *Важно... для меня?* Что такое? торопливо спросилъ онъ, поднимаясь съ кресла.

— Казначей...

— Что?

— Казначей... приготовляетъ доносъ...

— На кого?

— На ваше превосходительство.

— Га? что?

— Извините... я счелъ долгомъ...

Я поклонился, сдѣлавъ видъ, что собираюсь ретироваться.

— Постойте, куда-же вы?

Я остановился.

— Въ чемъ заключается этотъ доносъ?

— Я только урывками, и то случайно, успѣлъ пробѣжать нѣсколько мѣстъ черновой бумаги...

— Но что-же вы тамъ прочли? Говорите.

— Къ кому доносъ этотъ готовится—не знаю. Знаю только, что въ немъ исчисляются...

— Говорите, не стѣсняйтесь.

— Какія-то противозаконныя дѣйствія палаты...

— Напримѣръ?

— Выдачи подрядчикамъ и почтосодержателямъ суммъ по произволу, безъ всякаго разсчета...

— Далѣе?

— Многочисленныя злоупотребленія по торговымъ налогамъ... По рекрутскому набору... по ревизскимъ сказкамъ, по...

— Ахъ, мерзавецъ!

— Помѣщикъ Клиньскій... подрядчикъ Труфель... Аншель Гильзъ... Хацкель Кнуричъ... Шмуль Плюхъ...

— Довольно, довольно! Такъ вонъ онъ какой! Я-же его! загнулъ позеленѣвшій предсѣдатель, съ пѣною у рта.

Я вторично раскланялся.

— Обождите... Раздавить надо это ядовитое пресмыкающееся. Скажите, вашъ хозяинъ очень огорченъ этимъ... дѣломъ? спросилъ онъ чрезъ нѣсколько минутъ какимъ-то надорваннымъ, сиплымъ голосомъ, остановившись и фамиллярно взявшись за лацканъ моего сюртука.—Очень огорченъ, а?

— Нисколько. Самовольно онъ золота изъ казначейства вѣдь не бралъ, а дѣйствовало-ли, въ данномъ случаѣ, казначейство законно или произвольно, это до него отнюдь не касается.

— За чѣмъ-же вы и онъ самъ мнѣ покое не даете?

— Мы хлопотали изъ состраданія къ бѣдному казначею, ни въ чемъ неповинному...

— Бѣдный! неповинный!!... Я его, каналью, въ бараній рогъ скручу.

Я въ третій разъ раскланялся.

— Послушайте... Ну, такъ и быть, изъ уваженія къ вашему хозяину... Ступайте къ казначею, скажите, что я на этотъ разъ готовъ простить... Пусть явится и раскается въ своемъ непочтеніи къ начальству. Я подумаю... быть можетъ, и рѣшусь прекратить эту исторію.

Я вышелъ, но къ казначею, однакожь, не пошелъ, а пошелъ въ свою канцелярію. Черезъ нѣкоторое время я опять явился къ предсѣдателю.

— Казначей, не признавая себя виновнымъ предъ вашимъ превосходительствомъ, отказывается...

— Однако онъ придетъ? спросилъ онъ меня тревожно.

— Рѣшительно нѣтъ. Онъ, напротивъ, какъ говоритъ, даже радъ этому случаю. По его словамъ, онъ черезчуръ уже терпитъ... Пора, говорить, покончить!

Предсѣдатель замычалъ что-то себѣ подъ носъ.

— Идите, прошу васъ, урезоньте дурака. Чего онъ зачванился? Эка бѣда большая, что начальникъ погорячился!

— Убѣжденія, по-моему, тутъ совсѣмъ бесполезны. Онъ слишкомъ разгоряченъ, чтобы поддаться какимъ-бы то ни было увѣщаніямъ.

— Пусть придетъ, чортъ съ нимъ! я дамъ ему письменный приказъ снять печать. Отмѣню ревизію.

— Если уже вамъ угодно прекратить это дѣло, то лучше было бы, какъ мнѣ кажется, вручить мнѣ этотъ письменный приказъ. Я-же постараюсь умаслить казначея и уничтожить написанное... съ тѣмъ, однакожъ, условіемъ, что ваше превосходительство не должны даже и заикнуться казначею о доносѣ, иначе вы все испортите.

— Хорошо, хорошо, даю слово! обрадовался предсѣдатель, и затѣмъ, изготовивъ собственноручно подобающій приказъ, прибавилъ, пожимая ужъ мнѣ руку: — Я вамъ очень благодаренъ. Укротите этого дурака... дайте тамъ ему что-нибудь... заткните глотку! Ахъ, да! кланяйтесь вашему хозяину отъ меня и скажите, что для него, исключительно для него...

Трусливый казначей былъ пораженъ внезапнымъ оборотомъ дѣла, не вѣря собственнымъ глазамъ и ушамъ. Мой принципаль былъ въ восторгѣ отъ моей хитрости. Я видѣлъ во-очію, что выросъ въ его мнѣніи на цѣлый аршинъ. Я, конечно, не сознался, что главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ удачной развязкѣ дѣла былъ не я, а находчивый факторъ Шмерко, котораго я наградилъ изъ собственного кармана.

Жадная кабацкая служба! Ни мои гроссбухи и балансы, поглощавшіе мои молодыя силы и слѣпившіе глаза своими бисерными цифрами, ни разныя литературно-дѣловыя бумагомаранія, засушившія мой мозгъ, ни моя примѣрная исправность и вниманіе къ дѣлу не могли, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, дать мнѣ того выгоднаго толчка по службѣ, который дала мнѣ ложь, интрига и хитрость. Какъ-бы то ни было, но я, наконецъ, получилъ отъ принципала обѣщаніе виднаго мѣста по распорядительной части. Вскорѣ были выписаны на мое упразднившееся мѣсто и бухгалтеръ, и правитель канцеляріи.

Я не въ состояніи изобразить тотъ восторгъ, который овладѣлъ мною, когда я, съ своимъ принципаломъ, въ качествѣ кассира и секретаря, въ первый разъ очутился въ сѣверной нашей Пальмирѣ, когда, послѣ долгой сидячей жизни, я расправилъ отекашіе члены, когда увидѣлъ новый свѣтъ, новыхъ людей и новую жизнь. Я трудился и работалъ пуще прежняго, но трудился съ наслажденіемъ, съ увлеченіемъ, не уставая. У меня имѣлась цѣль въ перспективѣ, воображеніе мое рисовало соблазнительную картину будущности. Я не былъ алчнымъ по натурѣ; мой идеалъ счастья не шелъ далѣе умѣренныхъ матеріальныхъ средствъ. Но при видѣ того миллионнаго рынка, который открывался во время откупныхъ торговъ въ сенатѣ, гдѣ сотни тысячъ и миллионы выигрывались и увеличивались въ нѣсколько минутъ, въ нѣсколькихъ лаконическихъ словахъ, гдѣ баснословныя суммы ежеминутно переходили изъ рукъ въ руки, перебрасывались какъ щепки,—голова моя закружилась. Меня рвало впередъ общее теченіе; я заразился жадностью къ деньгамъ, къ богатству; въ моихъ мысляхъ и представленіяхъ о счастьи произошелъ полный переворотъ. Мой принципаль, съ своими скоростными миллионами и недюжиннымъ практическимъ умомъ, игралъ одну изъ первыхъ ролей на откупной биржѣ. Мелкіе откупщики состояли подъ его покровительствомъ. Дѣла по переходу маленькихъ и крупныхъ откуповъ изъ рукъ въ руки кипѣли и совершались непосредственно въ моей канцеляріи. Извѣстные проценты отдѣлялись покровительствуемыми откупщиками, изъ каждаго дѣла, въ пользу канцеляріи, единственнымъ представителемъ которой былъ я. Проценты эти, по окончаніи откупныхъ торговъ, образовали очень крупную цифру. Но когда мнѣ удѣлили изъ этой суммы миниатюрную кроху, я былъ крайне недоволенъ, хотя въ первый разъ въ жизни имѣлъ въ рукахъ столько собственнаго капитала. Я убѣдился въ ненасытности человѣческой природы на самомъ себѣ.

Пропускаю мелкіе перевороты и событія, слѣдовавшіе одни за другими въ служебной моей карьерѣ и игравшіе большую роль въ послѣдующей моей жизни, — пропускаю ихъ потому, что они не заключаютъ въ себѣ особеннаго интереса для читателя. Перехожу прямо къ тому счастливому періоду моей жизни, когда судьба особенно начала улыбаться мнѣ, когда я на самомъ себѣ провѣрилъ практическое изрѣченіе талмудейскаго мудреца: „нѣтъ предмета (въ природѣ), который не имѣлъ-бы своего (подходящаго) мѣста и нѣтъ человѣка, который не имѣлъ бы своего (счастливаго) часа“.

Я получилъ горячо желанное мѣсто на поприщѣ распорядитель-

номъ. Какъ нѣкогда я съ жадностью бросился на изученіе бухгалтеріи, безъ особенной любви къ этому предмету, такъ точно, съ свойственной мнѣ порывистостью, противъ внутреннихъ своихъ убѣжденій, я бросился въ борьбу на защиту откупныхъ интересовъ моего принципала. Безъ любви къ коммерціи, съ полнымъ отвращеніемъ къ меркантильности, я ринулся въ коммерческій штоссъ, ставя на карту случая все за одинъ разъ. Я гонялся за деньгами не ради денегъ, но во имя осуществленія моихъ завѣтныхъ желаній; я гонялся за тою тѣнью, за тѣмъ миражемъ, который люди величаютъ счастьемъ. Мнѣ повезло глупѣйшимъ образомъ. Зарботки мелкіе и крупныя падали ко мнѣ, какъ снѣгъ на голову. По службѣ мнѣ тоже повезло, какъ никогда прежде. Я достигъ той степени величія по службѣ, которое я нѣкогда считалъ для себя недостижимымъ. Но, достигнувъ всего этого, увидя себя въ одно прекрасное время богачемъ, конечно относительнымъ, я въ то-же время почувствовалъ всю иронию насмѣшливой судьбы надо мною. Я не только не утолилъ своей душевной жажды, но, напротивъ, жажда къ счастью пожирала меня пуще прежняго, а миражъ манилъ все дальше и дальше...

Переставъ быть пишущей и считающей машиной, я получилъ возможность сталкиваться съ разнообразными людьми различныхъ общественныхъ сферъ, съ европейскимъ обществомъ, съ его удовольствіями, съ дурными и хорошими его законами, привычками, требованіями. Я пересталъ жить однимъ внутреннимъ своимъ міромъ, бросилъ свои недостижимыя стремленія и употребилъ всю силу своей логики на примиреніе своего пылкаго воображенія съ дѣйствительностью жизни. Опять произошла во мнѣ безбожная ломка подъ вліяніемъ которой падали самыя дорогія вѣрованія и убѣжденія. Къ счастью или, лучше сказать, къ несчастью, я имѣлъ досужіе часы для анализа и провѣрки людей и самого себя. Этими досужими часами я обязанъ былъ тому, что нѣкоторое время жилъ вдали отъ моей подруги жизни, на холостую ногу. Мою шею не душили супружескіе тиски.

Въ новой сферѣ моей дѣятельности я попалъ въ такое еврейское образованное общество, существованія котораго я прежде и не подозрѣвалъ. Я столкнулся также со многими личностями, которыя, въ давнопрошедшія времена, витали такъ высоко надо мною. Боже мой, какія крупныя перемѣны! Я во-очію видѣлъ эти перемѣны, но никакъ разрѣшить не могъ: поднялся-ли я самъ къ этимъ личностямъ, или онѣ опустились до меня? Измѣнились-ли характеры этихъ людей или измѣнился я самъ и смотрю на нихъ

другими глазами? Последнее было вѣроятнѣе. Въ дѣтствѣ и юности, униженный и оскорбленный, я смотрѣлъ на сравнительно счастливыхъ людей, какъ голодающій, приниженный нищій смотритъ на пресыщеннаго богача-сибарита, теперь-же я самъ былъ сытъ и сыто смотрѣлъ на людей и міръ.

Я до сихъ поръ живо помню страшную борьбу, происходившую во мнѣ по случаю одного визита. Къ лучшему еврейскому бонтонному обществу, въ той мѣстности, гдѣ я жилъ въ лучшіе дни моего прозабанія, принадлежали и занимали видное мѣсто: мой смертельный врагъ съ дѣтства, кабачный принцъ, и его очаровавшая меня нѣкогда супруга. Не сдѣлать имъ визита было-бы верхомъ невѣжливости съ моей стороны, но сдѣлать его было выше моихъ силъ. При одной мысли объ этомъ въ головѣ поднимались непривлекательныя картины изъ моего отрочества, живо припоминались унижительныя сцены, въ которыхъ я игралъ такую жалкую роль предъ юношей счастливецемъ, поднималась вся желчь; вся зависть давно прошедшихъ временъ душила меня. Я, наконецъ, пересилилъ себя и сдѣлалъ этотъ роковой визитъ, съ затаенной злобой въ сердцѣ. Но каково было мое удивленіе, когда, вмѣсто чванливаго, надменнаго и злого человѣка, я въ бывшемъ моемъ врагѣ нашелъ человѣка необыкновенно добраго, простаго, безъ особенныхъ претензій, любезнаго и гостепріимнаго! Уродливое воспитаніе, полученное имъ въ дѣтствѣ, повредило только одному ему и горько отразилось на его незавидной жизни. Смотри на него, я часто задавался вопросомъ: ею-ли переработала жизнь или меня самого?

Но миниатюрное мнимое счастьеце мое не ослѣпило меня. Я сознавалъ его случайность, скоротечность, сознавалъ трудность, многосложность моихъ обязанностей относительно дѣтей и родныхъ, льнувшихъ ко мнѣ, по еврейскому обычаю, какъ къ человѣку, которому Богъ посылаетъ не для него одного, а и для блага другихъ. Въ будущее я не слишкомъ вѣрилъ. Я рѣшился, не откладывая, ввести ту реформу въ моей семейной жизни, о которой мечталъ во дни печальнаго прошлаго. Заповѣдь библейскую: „плодитесь и множитесь“, я выполнилъ въ двойной пропорціи ¹⁾. Дѣтямъ моимъ я твердо рѣшился дать такое образованіе, которое

¹⁾ По толкованію талмуда, старающагося своею казуистикой самое неопредѣлимое опредѣлить числомъ и мѣрой, заповѣдь эта считается исполненной послѣ рожденія въ семьѣ двухъ сыновей и одной дочери. Послѣ этого только еврей имѣетъ право вступить въ число еврейскихъ платониковъ и сдѣлаться «Поряшъ».

обеспечало-бы ихъ въ нравственномъ и матеріальномъ отношеніяхъ. Не надѣясь на шаткое будущее, я вознамѣрился ввести въ мое хозяйство разумную экономію, откладывать кое-что на черный день. Я былъ еще очень молодъ, но на жизнь научился уже смотрѣть трезвыми, недоувѣрчивыми глазами старика. Для достиженія этихъ цѣлей, какъ и для того, чтобы избавиться отъ нравственной пытки, которой я подвергался живя неразлучно съ женою, чтобы не краснѣть изъ-за нея на каждомъ шагѣ въ обществѣ, куда, по моему положенію, я долженъ былъ-бы ее ввести, я положилъ жить съ ней врозь и поселить ее съ недозрѣвшими еще для помѣщенія въ учебныя заведенія дѣтьми въ маленькомъ городѣ, въ средѣ ея родни, гдѣ ей жилось-бы и привольно, и весело, по ея понятіямъ. Сколько грязныхъ сценъ перенесъ я, пока достигъ этой цѣли, трудно себѣ вообразить; но я поставилъ на своемъ. Удивительная вещь! не живя съ противной мнѣ женщиной подъ одной кровлей, не подвергаясь ежеминутно семейнымъ, грубымъ непріятностямъ, не натапливаясь каждый день на ея дикій, фанатическій образъ мыслей, я начиналъ уважать мать моихъ дѣтей, женщину, дѣлавшую со мною житейское горе, и старался отыскивать для нея какія-то искусственныя оправданія. Мнѣ уже на мысль не приходило, какъ въ былыя времена, совершенно избавиться отъ нея, развестись съ нею, а тѣмъ болѣе вступить въ новый бракъ. Со временемъ, однакожъ, зародившееся во мнѣ чувство уваженія къ ней начало улетучиваться, благодаря ея назойливости и вѣчнымъ претензіямъ, выражавшимся въ грязной формѣ и въ самыхъ вульгарныхъ выраженіяхъ, пересыпанныхъ руганью и бранью.

— Скажи на милость, какую жизнь ведешь ты со мною? начала жена, при рѣдкихъ моихъ пріѣздахъ, сопровождая каждое слово драчливой ухваткой.

— Самую мирную и цѣлесообразную жизнь, пытался я отдѣлаться общими словами.

— Ты мнѣ дѣлаешь визиты какъ любовницѣ какой-нибудь.

— Въ этомъ отношеніи ты уже совсѣмъ ошибаешься. Я пріѣзжаю навѣстить дѣтей и мать моихъ дѣтей, къ которой я питаю должное уваженіе и которую желалъ-бы видѣть въ будущемъ совершенно счастливою.

— Счастливою! чѣмъ это ты собираешься осчастливить меня?

— Тѣмъ, что мы взростимъ и воспитаемъ нашихъ дѣтей, припасемъ что-нибудь на будущее. Я избавленъ буду отъ необходимости служить и быть въ зависимости отъ другихъ. На старости лѣтъ...

— Я знать не хочу твоихъ глупостей. Я жить хочу, какъ прочіе евреи живутъ.

— Скажи яснѣе: ты хочешь быть вѣчною насѣдкою: рожать и кормить, кормить и рожать. Такъ-ли?

— Я все то хочу, что Богъ велитъ.

— Другъ мой! пойми-же, наконецъ, что дѣти требуютъ средствъ. Я своихъ дѣтей воспитать хочу, а для этого требуются средства!

— Всѣ евреи воспитываютъ дѣтей!

— Тѣ евреи, которыхъ ты ставишь мнѣ въ примѣръ, дѣтей не воспитываютъ, а только кормятъ, да и то съ грѣхомъ пополамъ.

— А, ты-же что? Своихъ дѣтей пряниками кормить собираешься?

— Дѣло не въ пряникахъ, а въ образованіи,—словомъ, въ томъ, чего ты совсѣмъ не понимаешь.

— Всевышній заботится о дѣтяхъ. Ты его не перемудришь.

— На Бога надѣйся, а самъ не плошай. Знаешь ты эту умную русскую пословицу?

— Я ничего русскаго не знаю и знать не хочу. Я сто разъ тебѣ уже говорила.

— Напрасно. Ты другую пѣсню затянешь, когда твои дѣти получатъ русское воспитаніе.

— Что? Русское воспитаніе? Мои дѣти? Я ихъ скорѣе передую. Не быть по-твоему! Я уже приняла еврейскаго учителя. Другихъ учителей моимъ дѣтямъ не нужно.

— Не мѣшаю твоему еврейскому учителю. Дѣти еще маленькія. Но помни это: когда наступитъ пора, я вышвырну твоего невѣжу-учителя за окно!

— Не смѣешь! я мать моимъ дѣтямъ и воспитаю ихъ въ страхѣ Божиѣмъ.

Разгоралась семейная сцена во всемъ ея бурномъ величіи. Дѣти смотрѣли на разсвирѣпѣвшихъ родителей, хлопая испуганными глазенками, не зная, кому симпатизировать.

Въ другой разъ жена вдругъ обрадуетъ меня сюрпризомъ.

— Повѣришь-ли, Сруликъ, наши мальчики начали уже читать талмудъ. Учитель не надивится на ихъ способности. Увѣряетъ, что нѣкоторые изъ нихъ выйдутъ знаменитыми раввинами!

— Скажи твоему невѣжѣ-учителю, что если онъ не перестанетъ забивать головы ребятишекъ своимъ талмудомъ, я ему всѣ ребра пересчитаю.

— Ты сума сошелъ?

— Твой учитель сума сошелъ, а ты до ума не дошла. Шутка-ли, мучить бѣдныхъ дѣтей!

— Какой ужасный отец!

— Какая нѣжная мать!

Подобныя сцены и ссоры повторялись безчисленное множество разъ; но я на нихъ мало обращалъ вниманія. Проектъ моей будущей жизни и дѣтскаго воспитанія былъ выработанъ долгимъ мышлениемъ и утвержденъ моей непоколебимой волей.

Наша семейная жизнь тянулась въ описанномъ мною видѣ, пока одна выходка моей жены, черезчуръ выходящая уже изъ ряда обыкновенныхъ, не доказала мнѣ наглядно, что съ женщиной безъ логики и сознанія собственнаго достоинства невозможно установить никакія искусственно-мирныя отношенія. Сверхъ того, я убѣдился, что наши натянутыя отношенія отражаются на бѣдныхъ дѣтяхъ до такой степени, что воспитаніе ихъ по начертанному мною плану дѣлается невозможнымъ. Волей-неволей я долженъ былъ прибѣгнуть къ болѣе рѣшительному шагу. Я созвалъ семейный совѣтъ изъ всѣхъ наличныхъ родственниковъ моей жены и объявилъ уже беззапѣчиво, гласно, что подобная семейная жизнь продлиться не можетъ, что образованіе моихъ дѣтей, по европейскому образцу, составляетъ для меня жизненный вопросъ, что, наконецъ, изъ-за этого я готовъ вступить въ борьбу не только съ неразвитою женою, но и съ цѣлымъ міромъ.

— Вы видите, добавилъ я въ заключеніе,—что между мною и вашей родственницей, моей женою, лежитъ цѣлая пропасть. Ни наши характеры, ни наши убѣжденія ни въ чемъ не сходятся. Наконецъ, одинъ уже мой анти-религіозный образъ мыслей долженъ отшатнуть всѣхъ васъ отъ меня. Я—пятно въ вашей семьѣ. Чтобы избавить васъ отъ позора, а себя отъ вѣчныхъ страданій, не лучше-ли мнѣ выступить совсѣмъ изъ семьи вашей? Я готовъ дѣлать съ вашей родственницей свое состояніе и принять дѣтей на свое исключительное попеченіе.

Мой рѣшительный тонъ изумилъ собраніе, но не возмѣлъ того дѣйствія, котораго я отъ него ожидалъ. На меня посыпались упрёки, увѣщанія, клонившіеся къ примиренію. Бѣдные люди не понимали меня; мои слова приписали какому-то мимолетному капризу человѣка, взбѣсившагося отъ жира. Родственники моей жены видѣли во мнѣ доходную статью, выпустить которую изъ рукъ было-бы верхомъ неблагоразумія. Что же касается моего анти-религіознаго направленія, то, хотя они въ душѣ меня презирали, осуждали, но, считая богачемъ, мирились съ нимъ, стараясь смотрѣть сквозь пальцы на мое вольнодумство и нѣкоторыя отступленія отъ обрядной стороны еврейской религіи. Замѣчательно то, что са-

мый бѣшенный еврейскій фанатизмъ преклоняется иногда предъ силою богатства. То отступленіе отъ безсмысленнаго обряда или обычая, за которое бѣднаго человѣка забросали-бы камнями, дозволяется богачу почти безнаказанно. „Посмотрите на этого голыша! указываютъ фанатики съ невыразимымъ презрѣніемъ на безденежнаго еврея:—онъ туда-же брѣтетъ бороду и папиросы курить въ субботній день! Въ карманахъ у него свистить, а онъ тоже противъ Бога возстаетъ“. Сколько разъ, въ былыя времена, во дни *качальной* силы и деспотизма, подобные безденежные смѣльчаки преслѣдовались, изгонялись или сдавались въ рекруты безграмотными приговорами беспощадныхъ кагаловъ!

Я созвалъ семейный сеймъ въ другой разъ и заговорилъ уже другимъ языкомъ.

— Господа! вы рѣшительно отказываетесь содѣйствовать разводу? спросилъ я съ возможнымъ хладнокровіемъ.

— Разлучать супруговъ—грѣхъ смертный, отвѣтили мнѣ хоромъ всѣ ханжи.

— Такъ вы окончательно отказываетесь?

— Противъ Бога мы идти не можемъ.

— Ну, хорошо. Знайте-же, что я найду средства избавиться отъ вашей опеки, даже изъ-подъ еврейской опеки *вообще*... и своихъ дѣтей избавлю. Прощайте.

Въ моихъ словахъ, какъ я и рассчитывалъ, родственники открыли такой страшный смыслъ, что всѣ въ одинъ голосъ завопили.

— Онъ замышляетъ ренегатство, онъ опозоритъ насъ на вѣчныя времена, онъ загубитъ нѣсколько израильянскихъ душъ. Мы всѣ за него на томъ свѣтѣ отвѣчать будемъ.

Началась бѣготня и суета. Мою жену принялись бомбардировать со всѣхъ сторонъ.

— Обери ты его какъ липку и пусти на всѣ четыре стороны. Ты молода, недурна собою. Съ деньгами легко найдешь себѣ другого мужа, *настоящаю* еврея, заживешь по уставу, по израильскому закону, по обычаю еврейскому.

Дѣло, казалось, пошло наладъ. Я радовался представляющейся перспективѣ получить, наконецъ, свободу. Сердце мое трепетало отъ надежды. Картины другой, лучшей жизни уже носились предъ глазами.

Моя радость оказалась, однакожь, преждевременною. Я не зналъ моей жены и ея гранитнаго упорства. Ничто ее не трогало, ничто не пугало.

— Куда онъ пойдетъ, туда и я, даже въ самый адъ. Я не дамъ ему жить, какъ ему хочется.

Послѣ долгихъ совѣщаній и переговоровъ, совѣтъ большинствомъ голосовъ рѣшилъ, и рѣшеніе это было утверждено моею тещей и принято моею женою: 1) отнынѣ супругамъ жить врозь и 2) дѣтей и ихъ воспитаніе предоставить усмотрѣнію отца и въ дѣло это не вмѣшиваться. Рѣшеніе это было довольно либерально и я остался имъ доволенъ, хотя мало вѣрилъ въ его удобоисполнимость.

И точно, не прошло и полугода, какъ супружескія сцены возобновились опять съ большей еще яростію. Жизнь моя опять начала отравляться новыми выходами со стороны неотвязчивой жены, не отступавшей ни предъ какимъ скандаломъ, ни предъ какой оглаской. Больше всего нажимала она свою безпощадную руку на самое чувствительное мѣсто моего сердца, на образованіе дѣтей. Всѣми средствами и путями препятствовала она ихъ образованію. Она внушала имъ отвращеніе къ иновѣрнымъ наставникамъ и къ ихъ ученію, не отпускала мальчиковъ въ учебныя заведенія, похищала дѣвочекъ изъ пансіоновъ. Борьба между мною и ею на этомъ щекотливомъ пунктѣ дошла до того, что я вынужденъ былъ прибѣгать къ помощи властей. Эта борьба причиняла такія страданія и униженія, какихъ я еще въ жизни не испытывалъ. Слѣдствіемъ такого положенія было то, что я не на шутку началъ замышлять о ликвидаціи всѣхъ моихъ дѣлъ. Я рѣшился было обратить все свое состояніе въ наличный капиталъ, основательно обезпечить моихъ бѣдныхъ дѣтей и бѣжать...

Между тѣмъ многое въ моей коммерческой и служебной дѣятельности измѣнилось. Самый театръ семейныхъ повседневныхъ ссоръ перенесся въ другую мѣстность, мѣстность самую роковую для меня. Это было захолустье, отличающееся полнымъ застоємъ въ нравственномъ и матеріальномъ отношеніяхъ, провинція изъ провинцій. Затхлый этотъ мірокъ отличался особенно своимъ еврейскимъ народонаселеніемъ, изобиловавшимъ такими уродливыми нравственными самородками, какихъ въ другихъ еврейскихъ обществахъ и со свѣчей отыскать невозможно. Въ средѣ этого еврейскаго общества, за весьма рѣдкими исключеніями, фигурировали самыя отъявленные ничтожества, тунеядствующие ростовщики, мелкіе интриганы по профессіи, факторы изъ одной любви къ искусству, доносчики, пасквилянты и ябедники. Мое положеніе въ этомъ обществѣ было самое непріятное. Я былъ знакомъ со всѣми, но сходился лишь съ тѣми очень немногими, которые могли внушить мнѣ хоть какой-нибудь человѣческій интересъ. Я старался быть полез-

нимъ всѣмъ, но не могъ скрывать презрѣнія къ тѣмъ гнуснымъ субъектамъ, которыхъ считалъ позоромъ своей націи, пятномъ человѣчества. Я жилъ почти изолированной жизнью, преслѣдуя собственные дѣловыя и житейскія цѣли, не интересуясь еврейской сплетней, чужими дѣлами, чужой семейной грязью, часто волновавшей затхлый мірокъ своей траги-комичною оригинальностью. Общество вообще, а еврейское въ особенности, не прощаетъ тому, кто живетъ особнякомъ, идетъ собственной дорогой, не придерживаясь рутинныхъ обычаевъ. Еврейское мѣстное общество не влюбilo меня съ перваго-же дня, причислило къ разряду людей слишкомъ о себѣ мечтающихъ и прозвало въ насмѣшку *аристократомъ*. Кромѣ того, оно не могло остаться равнодушнымъ къ собрату, питающемуся русской кухней, брѣющему бороду, курающему въ суботніе дни, обѣдающему въ постные дни, а главное, живущему врозь съ законною женою, не заноса въ метрическія книги, хоть разъ въ два года, о рожденіи сына или дочери. Мое положеніе было самое несносное и своеобразное: евреи причисляли меня къ русскому лагерю, а русскіе, при всякомъ удобномъ случаѣ, причисляли меня къ жидамъ, которые забываютъ свое мѣсто.

Еврейскіе мои враги стояли внѣ моей сферы; я не принадлежалъ къ ихъ кагалу, а потому они ничѣмъ не могли вредить мнѣ, кромѣ мелкой сплетни, мало смущавшей меня. Но еврейскій Ахиллесъ имѣлъ свою чувствительную пятку въ лицѣ неугомонной жены. Это обстоятельство вскорѣ сдѣлалось общезвѣстнымъ. Еврейскіе кумовья и кумушки приняли подъ свое покровительство несчастную жертву супружескаго деспотизма и завертѣли ея какъ шарманкой. Подъ искусными ихъ руками живая шарманка, подъ самыми моими ушами, начала издавать такіе раздражающіе звуки, отъ которыхъ приходилось или оглохнуть, или бѣжать безъ оглядки.

Эти непріятные звуки улаждали мой слухъ нѣсколько лѣтъ сряду. Мало-по-малу я началъ къ нимъ привыкать. Жена жила врозь со мною, но на одномъ дворѣ, заправляла всѣмъ домомъ, фигурировала какъ хозяйка, пользовалась матеріальными удобствами и, съ горя и неудовлетворенной любви, полиѣла съ каждымъ днемъ. Она имѣла собственный кругъ знакомства, своихъ друзей, свои радости, свои печали, свои интриги, свои ссоры и примиренія. Ей самой надоѣло уже воевать со мною и обращать меня на путь истинный, но выпустить меня совсѣмъ изъ когтей она ни за какія блага не соглашалась. Въ дѣло воспитанія дѣтей, устраненныхъ мною отъ вреднаго ея вліянія, она перестала, наконецъ, вмѣ-

шиваться, сознавая свою полнѣйшую безправность въ этомъ отношеніи. Я втянулся въ эту жизнь и думалъ дожить уже такимъ образомъ свой неудачный вѣкъ, какъ случилось въ нашемъ отечествѣ *нѣчто* въ высшей степени благотѣльное для Россіи, и, въ такой-же степени, пагубное для меня. Это *нѣчто* была судебная реформа.

Судебная реформа, подъ популярнымъ названіемъ *маснаго суда*, взбудоражила всѣ умы, даже умы праздные, безграмотные. Большая часть евреевъ занята крупною или мелкою коммерціею, пускается въ спекуляціи, въ аферы, покупаетъ, продаетъ, занимаетъ, даетъ въ займы, арендуетъ, вступаетъ въ товарищества. Конкуренція, борьба съ своими ближними за существованіе ведетъ къ частымъ столкновеніямъ, столкновенія ведутъ къ ссорамъ, а ссоры къ процессамъ. Естественно, что предстоявшіе новые судебные порядки, отсутствіе взятокъ, словесное состязаніе на судѣ, рѣшеніе дѣла не буквою закона, а убѣжденіемъ судей, породили разнохарактерныя надежды и понятія. Людямъ неблагонамѣреннымъ казалось, что нѣтъ ничего легче, какъ запутать новый судъ, выдать изнанку за лицевую сторону, выиграть самые бездоказательные процессы силой лжи и лстиваго краснорѣчія. Такія мнѣнія о судьяхъ и судахъ поддерживались доморощенными, частными адвокатами, выползшими на добычу цѣлыми стаями, изъ всѣхъ закоулковъ. Процессы, особенно въ еврейской торговой средѣ, выросли какъ грибы, и какъ грибы самаго вычурнаго вида. Новые суды, въ буквальный смыслъ слова, были завалены дѣлами. Судебныя залы служили главнымъ центромъ сходовъ для праздныхъ зѣвакъ, для плутовъ, бесплатно набирающихся юридической премудрости съ цѣлю познакомиться со взглядомъ суда и при случаѣ приложить этотъ взглядъ къ дѣлу... На судахъ разбирались самые курьезные, неслыханные процессы. Еврей шинкарь, наприимѣръ, у котораго кредиторъ секвестровалъ, посредствомъ полицейской сельской власти, боченокъ водки, цѣною въ 88 руб., доказывалъ, что этимъ секвестромъ кредиторъ причинилъ ему убытка на 6,983 руб. 32 коп., и доказывалъ это съ такимъ серьезнымъ видомъ, въ такихъ выраженіяхъ, съ такими комичными жестами, что судьямъ стоило нечеловѣческихъ усилій, чтобы сохранить серьезность. У мирового судьи еврей приносилъ жалобу на свою жену, при громадномъ стеченіи народа, въ слѣдующихъ выраженіяхъ.

— Г. судья.

— Что вамъ угодно?

Занески еврея.

- Я имѣю залоба на моя жена Перле.
- Подавайте прошеніе.
- Г. судья, я не умѣю писать.
- Попросите кого-нибудь написать.
- Я бѣдный, г. судья. Позволяйте мнѣ рассказать.
- Говорите.
- Я имѣю залоба на своя жена Перле...
- Въ чемъ состоитъ ваша жалоба?
- Жена моя Перле не хочетъ ходить... да, ходить не хочетъ...
- Говорите яснѣе, куда ходить не хочетъ?
- Въ воду, г. судья, ходить не хочетъ.
- Въ какую воду?
- Обыкновенно вода, цто при банѣ.
- То-есть, въ баню ходить не хочетъ, что-ли?
- Ахъ нѣтъ, г. судья, на цто мнѣ баня?
- Что-же вы хотите?
- Я хочу, чтобы моя жена, Перле, пошла въ колодазь ¹⁾ по закону.

Всеобщее ложное понятіе о назначеніи новыхъ судовъ привилось, конечно, и къ той средѣ, гдѣ подвизалась моя недовольная, оскорбленная супруга. День и ночь рассказывались тамъ разныя сказки о чудесахъ премудрости новыхъ судей, о соломоновскихъ рѣшеніяхъ, о томъ, что, наконецъ, наступило безграничное царство правды. Моя жена и услужливыя ея кумушки мотали себѣ на усь и съ нетерпѣніемъ ждали открытія и въ нашемъ краю гласнаго суда.

— Погоди ты у меня. И моя пора наступить, и на моей улицѣ будетъ праздникъ! угрожала мнѣ жена.

- Хорошо, обожду, улыбался я.
- Смѣйся, смѣйся; скоро заплачешь ты у меня!
- Будто?
- Да. Увидишь, что судъ тебѣ запоетъ!
- Какой-такой судъ?
- Новый гласный судъ.
- Что-же ты съ нимъ дѣлать станешь, съ новымъ судомъ?
- Такихъ, какъ ты, въ арестантскія роты ссылаютъ, даже въ Сибирь. Да!

¹⁾ По прошествіи менструаціоннаго періода, въ которомъ супруги должны жить въ полномъ отчужденіи другъ отъ друга, еврейскія женщины очищаются въ бассейнахъ (мивве), имѣющихся при всякой общественной банѣ или синагогѣ.

— Неужели-же ты будешь такъ жестока, что запрядешь меня въ Сибирь—меня, несчастнаго отца твоихъ бѣдныхъ дѣтей? продолжалъ я шутить.

— Нѣтъ тебѣ пощады. Вотъ что.

— Кто-же васъ кормить станетъ, когда меня сошлють?

— Мнѣ передадутъ всѣ твои дѣла, все твое состояніе. Мнѣ и такъ половина слѣдуетъ по закону.

При этомъ безграмотная моя жена комично цитировала законы и приводила меня въ изумленіе своими юридическими познаніями. Очевидно, находились добрые люди, безвозмездные наставники.

Наконецъ, былъ открытъ и у насъ новый судъ. Я радовался этой благотѣльной реформѣ наравнѣ со всѣми соотечественниками, на практикѣ извѣдавшими всю прелесть старыхъ судебныхъ порядковъ. Но еще болѣе моего радовалась моя озлобленная жена, смотрѣвшая на новый судъ, какъ на своего Мессію.

Евреи и еврейки, особенно въ свободные субботніе и праздничные дни, запружали камеры мировыхъ судей и залу окружнаго суда. Нѣсколько мѣсяцевъ сряду только и было говору, что о судебныхъ рѣшеніяхъ. Рѣшенія эти критиковались, обсуждались, выхвалялись или порицались. Самые рьяные посѣтители судовъ обо-его пола принадлежали къ безкорыстнымъ друзьямъ моей жены и, разумѣется, къ врагамъ моимъ. Любовь къ скандальной новости побуждала этихъ добрыхъ людей настраивать свою послушную шарманку на новый ладъ. Благодаря разнымъ наущеніямъ, жена моя задрала носъ и ввела такой новый тонъ въ своихъ отношеніяхъ со мною, что у меня прошла всякая охота шутить.

— Послушай, не вытерпѣлъ я однажды.—Выбрось ты эту дурь изъ головы. Силой никого любить не заставишь. Или живи мирно попрежнему, или-же разведемся окончательно. Я и безъ суда готовъ тебя такъ обезпечить, чтобы ты во всю жизнь ни въ чемъ не нуждалась, даже такъ, чтобы ты могла вступить въ новый бракъ, если пожелаешь.

— Съ чего ты взялъ, что я хочу тебя заставить меня любить? Я сама тебя ненавижу.

— Чего-же ты добиваешься?

— Я твоя законная жена и ты долженъ быть законнымъ моимъ мужемъ.

— Какъ? Я тебя не люблю, а ты меня ненавидишь, и, послѣ всего этого, ты все-таки требуешь, чтобы я былъ твоимъ законнымъ мужемъ?

— Да, требую, и тебя заставить.

— Заставятъ? Кто?

— Судъ заставитъ тебя. Мы, слава-богу, не въ безсудной землѣ живемъ.

— Какъ-же судъ умудрится это сдѣлать?

— А какъ судъ сажаетъ въ острогъ или ссылаетъ въ Сибирь?

— Такъ ты полагаешь, что, при барабанномъ боѣ, судъ препроводитъ меня по этапу въ твои объятія?

Подобныя сцены выпадали часто на мою долю. Скоро, однакожь, жена перестала удовлетворяться одной интересной діалектикой и принялась за меня болѣе основательно.

— Оставьте меня въ покоѣ, прошу я жену, забравшуюся въ мой кабинетъ спозаранку и сверлившую мнѣ, по обыкновенію, уши въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ. — Оставьте меня, ради Бога. Вы мнѣ не даете заниматься дѣломъ.

— Какъ важно! Вы онъ мнѣ говоритъ! Ха, ха, ха!

— Прошу васъ...

— Я имѣю право по закону сидѣть тутъ день и ночь. Я законная жена.

— Наконецъ, вы выводите меня изъ терпѣнія.

— Ну, позови лакея. Вели меня вытолкать вонъ отсюда.

— Я надѣюсь, что вы и безъ этого можете обойтись.

— Нѣтъ, позови лакея, говорю я тебѣ, вели меня вытолкать. Я только этого и хочу, только этого и жду.

— Для чего-же вы добиваетесь подобной чести?

— Этотъ лакей будетъ моимъ свидѣтелемъ на судѣ. Позови, иначе я отсюда не уйду.

Приходилось самому уходить изъ собственнаго дома. Какъ былъ я несчастливъ при мысли, что судьба именно меня надѣлила такой женою, которая добивается оскорбленія дѣйствіемъ для того, чтобы приобрести свидѣтеля-лакея на судѣ.

Мое терпѣніе часто подвергалось такимъ тяжкимъ испытаніямъ, преодолѣніе которыхъ начало видимо отражаться на моемъ, и безъ того разстроенномъ, здоровьѣ. Нерѣдко штурмовался мой кабинетъ, ломились въ дверь съ шумомъ, крикомъ, съ позорною огласкою, въ виду постороннихъ и прислуги. Я не зналъ, куда дѣваться отъ страшныхъ скандаловъ, служившихъ интересною новостью дня для всего затхлаго мірка, въ которомъ не находилось ни одного добраго человѣка, чтобы повліять на неразумную женщину, заждающую, въ дикой безсознательности, собственный и чужой вѣкъ. Напротивъ, съ каждымъ днемъ прибавлялись новые подстрекатели, являлись новые импровизированные адвокаты, высасывавшіе

деньги бѣдной женщины за обѣщанія возстановить какія-то супружескія права, которыя она сама себѣ не могла хорошенько уяснить. Наконецъ, случилось нѣчто такое, что окончательно переполнило сосудъ.

Въ одинъ изъ зимнихъ, въ провинціи особенно скучныхъ, вечеровъ я возвращался домой довольно поздно. Ночная вьюга и морозъ пробрали меня насквозь. Спѣша домой, я мысленно предвкушалъ пріятную теплоту ожидавшей меня постели. Слуга, отворившій мнѣ дверь, посмотрѣлъ на меня какъ-то особенно странно. Онъ видимо собирался, но не рѣшался сообщить мнѣ что-то особенно непріятное.

— Что случилось? встревожился я.— Не обокрали-ли насъ?

— Кто насъ обокрадетъ? отвѣтилъ лакей, довольно глупо улыбаясь.— Только вотъ что...

— Что?

— Гдѣ вы спать-то будете?

— Ты что мелешь? Съ просонковъ что-ли?

— Барыня всѣ ваши покои заняла. Совсѣмъ перебралась сюда. Я урезонивалъ, урезонивалъ, — ничто не беретъ. Перебралась, да и баста.

Задача представилась скверная. Я не зналъ, на что рѣшиться. Пока я колебался и раздумывалъ, за спиною у моего лакея появились служанки моей супруги, съ такимъ злораднымъ выраженіемъ на грубыхъ лицахъ, что я въ мигъ рѣшился завоевать непріятельскую позицію. И, въ наказаніе за злорадство, послалъ въ опасный бой этихъ-же самыхъ служанокъ.

— Сію минуту перенести всю рухлядь барыни въ ея покои, скомандовалъ я необыкновенно рѣзко, — и очистить мою квартиру или убраться вонъ изъ моего дома сію минуту. Понимаете?

Армія непріятеля тутъ-же перешла на мою сторону. Не прошло и часа, какъ мои комнаты были свободны. Пока происходило переселеніе, я стоялъ все время на улицѣ, на стужѣ. Меня била лихорадка, не то отъ холода, не то отъ внутренней безсильной ярости. Ко мнѣ долетали дикіе крики, площадная ругань, протесты на основаніи законовъ, адресуемые на имя моего лакея. На этотъ шумъ и гвалтъ сбѣжалась вся прислуга, шепталась и укрдкой, язвительно посмѣивалась надъ глупымъ положеніемъ своихъ хозяевъ. Что перечувствовалъ я въ эту безконечную, бессонную ночь, не выразить мнѣ словами. Въ душѣ бушевали черныя помыслы. Въ эту страшную ночь я былъ способенъ на самоубійство, на преступленіе. Я нѣсколько успокоился тогда только, когда солнечный

лучъ ясноморознаго утра заколебался и заигралъ на моемъ изголовьѣ. Я вскочилъ на ноги съ непоколебимымъ рѣшеніемъ.

Я не считалъ себя на-столько компетентнымъ въ еврейскихъ религіозныхъ законахъ по предметамъ брака и развода, чтобы обойтись безъ посторонняго совѣта. Въ довольно отдаленной мѣстности я имѣлъ знакомаго ученаго раввина. Къ нему я и отправился за дружескимъ совѣтомъ. Я разсказалъ ему о своемъ несчастномъ, безвыходномъ положеніи и попросилъ совѣта.

— Ваше семейное положеніе мнѣ хорошо извѣстно. Извѣстно мнѣ также и то, что вы не однажды вызывались обезпечить неразумную женщину, но что она васъ выпустить изъ своихъ когтей не хочетъ. Имѣете-ли вы и теперь похвальное желаніе ее обезпечить?

— Болѣе, чѣмъ когда-либо.

— Не можете-ли вы съ ней какъ-нибудь сойтись?

Мое лицо и глаза ясно отвѣтили за меня,

— Ну, хорошо, хорошо. Мой долгъ испытать всѣ мирные пути прежде, чѣмъ сказать послѣднее слово.

— Говорите-же послѣднее слово, рабби.

— Бракъ у евреевъ имѣетъ болѣе гражданскій характеръ, чѣмъ религіозный. Законы о бракѣ построены у насъ на самомъ либеральномъ основаніи. Наши талмудисты, относительно брака и развода, были такъ гуманны, что въ этомъ отношеніи уравнивали даже права мужчины и женщины, тогда какъ въ другихъ отношеніяхъ еврейская женщина играетъ самую жалкую роль, роль полнѣйшей неправопоспособности. Неправопоспособность—эта простирается до того, что она почти освобождена отъ „Тарьягъ-мидвесе¹⁾“. Принужденія супруговъ къ совмѣстному сожителству, по законамъ еврейскимъ, не полагается. Напротивъ, бракъ безъ любви причисляется къ замаскированному разврату. Какъ мужъ, такъ и жена имѣютъ полное право требовать другъ отъ друга развода во всякое время. Законы развода доходятъ даже до абсурда. Мужъ имѣетъ право развести жену даже за то только, что она часто *пересаливаетъ* его похлебку. Но за то и жена имѣетъ право заявить во всякое время о своемъ отвращеніи, даже о самой обыкновенной нелюбви къ мужу, и мужъ *обязанъ* ее развести, по закону Моисееву. При

¹⁾ Обрядовъ положительныхъ «Мидвесе-есе» и запретительныхъ «Мидвесе-лойсее» установлено въ числѣ шести сотъ тринадцати «Тарьягъ». Эти обряды и законы обязательны для каждаго еврея, достигшаго тринадцатилѣтняго возраста, т. е. религіознаго совершеннолѣтія «Баръ-мидве».

чемъ, если жена указываетъ на какую-нибудь причину, послужившую къ ея охлажденію къ мужу, въ родѣ вспыльчивости характера супруга, не деликатнаго обращенія съ нею, неимѣнія средствъ къ ея содержанію, неисполненія вообще своихъ обязанностей, по смыслу брачнаго, домашняго контракта (кисбе), мужъ обязанъ выплатить ей и сумму, положенную въ томъ контрактѣ на случай развода. Лишается-же жена этой суммы тогда только, когда настоятельное ея требованіе развода основано на одномъ капризѣ, на одной безпричинной прихоти. Но во всякомъ случаѣ, мужъ принуждается къ дачѣ развода. Наши еврейскіе законы строго воспрещаютъ отдѣльную жизнь лицъ, соединенныхъ узами брака, запрещаютъ потому, что подобная жизнь, рано или поздно, приводитъ къ пороку и разврату.

— Слѣдовательно?

— Слѣдовательно, вы имѣете полное право заставить жену развестись съ вами за раздорную семейную жизнь, тѣмъ болѣе, что вы соглашаетесь ее обезпечить на всю жизнь.

— Какъ-же могу я *заставить*? Надѣюсь, не черезъ полицію или судебного пристава?

— Законы наши предусмотрѣли это затрудненіе. Жена считается окончательно разведенною однимъ врученіемъ разводнаго письма, изготовленнаго по извѣстной религіозной формѣ, при трехъ свидѣтеляхъ еврейхъ, не моложе тринадцати лѣтъ. При чемъ вручающій мужъ, или заступающій его мѣсто (шелуахъ), долженъ сказать „вотъ твой разводный актъ (гетъ), отнынѣ ты свободна“. Разводъ считается дѣйствительнымъ даже тогда только, когда его бросаютъ къ ногамъ разводимой жены. Изъ этого вы видите, что ваше положеніе не такъ безвыходно, какъ вамъ кажется. Но...

— Тутъ есть и но?

— Конечно, есть и „но“. Это „но“ является въ лицѣ извѣстнаго авторитета рабби Гершона. Этотъ рабби, за восемь столѣтій тому назадъ, созвалъ раввинскій соборъ, который, соображаясь съ духомъ времени, положилъ конецъ еврейской полигаміи, и тогда-же, между прочимъ, было постановлено, что врученіе развода безъ буквального согласія другой стороны воспрещается.

— Слѣдовательно?

— Слѣдовательно, ваше положеніе опять безвыходно. Но и это только съ перваго раза такъ кажется. Постановленіе рабби Гершона въ настоящее время для васъ необязательно.

— Почему-же?

— Соборъ тотъ обязательность своихъ постановленій для евре-

евъ опредѣлилъ срокомъ двухъ столѣтій. Срокъ этотъ давно уже миновалъ.

— Въ такомъ случаѣ, я имѣю право не стѣсняться мнѣнiемъ покойнаго рабби Гершона?

— Конечно. Но вы все-таки подвержены наказанiю.

— Какому именно?

— Вы можете получить между евреями титулъ „ослушника“, „Аверьянъ“.

— Этотъ титулъ давно уже считается за мною. Не привыкать стать. Но за что-же я подвергаюсь наказанiю, когда постановленiя рабби Гершона необязательны въ настоящее время для евреевъ?

— Извольте видѣть, постановленiя одного раввинскаго собора могутъ быть отмѣнены не иначе, какъ такимъ-же равносильнымъ раввинскимъ соборомъ; но такого собора до сихъ поръ еще не было, да и наврядъ-ли когда-нибудь будетъ. Но...

Послѣднее „но“ я дослушать не хотѣлъ, предчувствуя, что этому конца не будетъ, что ученый раввинъ запутаетъ меня своей казуистикой и схоластикой, какъ любой законникъ-крюкотворъ.

Я поблагодарилъ и направился къ двери.

— Позвольте, остановилъ онъ меня. — Выслушавъ мой совѣтъ, вамъ, однакожъ, не мѣшало-бы выслушать и мнѣнiе адвоката-еврея, который сообразилъ-бы наши религiозные законы съ русскими законами.

— Что общаго между религiозными нашими законами и законами православiя?

— Это совершенно такъ, но...

— Я васъ понимаю и отправляюсь къ адвокату.

Адвокатъ — онъ-же отчасти и талмудистъ — оказался еще большимъ крюкотворомъ, чѣмъ ученый раввинъ. Его *сдѣлательно* и *но* не предвидѣлось конца. Я потерялъ терпѣнiе.

— Скажите прямо, дѣйствительны-ли наши религiозные законы въ дѣлѣ брака и развода?

— Безъ всякаго сомнѣнiя.

Адвокатъ процитировалъ нѣсколько параграфовъ изъ десятаго тома свода законовъ.

— Итакъ, я имѣю право...

— Сами вы ни на что права не имѣете. Вы должны имѣть законное разрѣшенiе отъ раввина.

Онъ процитировалъ новые параграфы.

— Но, имѣя законное разрѣшенiе, я имѣю право...

— Конечно, конечно, вы имѣете полное право, но...

— Боже мой, все-таки *но*?

— Даже очень крупное *но*.

— Въ чемъ-же оно заключается? Объясните, не мучьте.

— Можно будетъ пустить въ ходъ противъ васъ такіе законы и такіа толкованія, которые могутъ сдѣлать разводъ недействительнымъ.

— Чѣмъ-же я тутъ рискую? Хуже настоящаго вѣдь не будетъ.

— Вы разсуждаете довольно логично. Ха-ха-ха! Но...

— Опять *но*?

— Последнее. Вы, милостивый государь, можете... попасть въ тюрьму!

Эта пріятная новость хватила меня какъ бухомъ по головѣ.

— Замѣьте, прибавилъ адвокатъ съ тонкой ироніей.—Я вамъ никакого прямого совѣта не даю. Ваше *настоящее* положеніе мерзкое, отвратительное, невыносимое; *будущее-же*... только *сомнительное*. Жена—передъ глазами, а тюрьма—за горами. Ха-ха-ха!

— Но если-бы возникъ споръ противъ дѣйствительности развода то какія отношенія устанавливаетъ законъ между тяжущимися супругами до рѣшенія спорнаго вопроса, и кто этотъ споръ разрѣшаетъ?

— Споръ этотъ разрѣшается мѣстнымъ раввиномъ, а въ случаѣ жалобы на него—раввинскою комиссіею. До окончанія дѣла, бракъ считается расторгнутымъ. За всѣмъ тѣмъ, вступленіе въ новый бракъ не дозволяется. Разведенная жена имѣетъ право на содержаніе. Я вывожу свои заключенія, замѣьте, по одной аналогіи...

— Но во всякомъ случаѣ разведенная или мнимо разведенная жена лишается, хотя временно, тѣхъ нравственныхъ когтей, которыми она, *по праву супруги*, имѣетъ возможность царапаться?

— Еще-бы! Конечно. Всякое оскорбленіе со стороны ея имѣетъ уже характеръ оскорбленія, наносимаго однимъ частнымъ лицомъ другому, такому-же частному лицу.

— Итакъ, мнѣ предстоитъ выборъ между женою и тюрьмою?

— Гм!.. да, въ этомъ родѣ.

— *Тюрьма!* произнесъ я рѣшительно.

— На вашемъ мѣстѣ я рѣшилъ-бы точно такъ-же, какъ и вы польстивъ мнѣ адвокатъ, небрежно пряча въ карманъ мою благодарность.

Раввинское официальное разрѣшеніе было получено, разводное письмо было изготовлено по формѣ и вручено моему врагу по формѣ-же. Китайская церемонія эта, въ сущности, не произвела никакихъ перемѣнъ. Разведенная жена живетъ и пользуется ма-

терьяльными удобствами по-прежнему и носить имя мужа по-прежнему. Церемонія эта лишила ее только тѣхъ грубыхъ правъ, которыми она злоупотребляла, которыми она отравляла мою жизнь и вводила смятеніе и неурядицу въ родную ей семью. Обезоруженный непріятель, со своими союзниками, не теряетъ, однакожь, надежды завоевать прежнюю выгодную позицію...

Событіе этого рокового развода взволновало кружокъ праздныхъ людей не менѣе того, какъ взволновало въ свое время Европу страшное убійство Троппмана. Встрепенулись, засуетились, закружились и зашипѣли разные полудремавшіе гады и пресмыкающіяся. Я сторонился отъ этого зловоннаго болота и наслаждался безсильнымъ бѣшенствомъ тѣхъ, которые не достигали до меня, которые пытались, но никакъ не могли выползть на сухой берегъ...

Я нѣсколько успокоился. Но то, къ чему я стремился, такъ-же далеко отъ меня теперь, какъ было далеко и прежде. Тотъ міражъ, называемый счастьемъ, который манилъ меня за собою во всю жизнь, продолжаетъ меня манить и теперь; но я ему уже не довѣряю. Да и путь сдѣлался безнадежнымъ. Я спускаюсь уже по склону жизненной горы.

Мудрые нѣмцы, назвавшіе пзвѣстное, но неуловимое душевное состояніе непереводаемымъ словомъ „Gemüth“, открыли въ душѣ человѣка новую своеобразную болѣзнь. Эту болѣзнь они назвали „Die Fierzig-jahres-Krankheit“ (болѣзнь сорока лѣтъ). Безпомощный, бѣдный человѣкъ, безъ путеvodителей и поддержки, грубо толкаемый сзади нуждою, голодомъ и лишеніями, начинаетъ свое карабканье на крутую гору, называемую жизнью. Извилистыя, чуть замѣтныя тропинки ведутъ къ разнымъ гребнямъ. Всѣ эти тропинки устланы острыми камнями, выскальзывающими изъ-подъ ногъ истощеннаго путника. По сторонамъ обрывы и пропасти. На пути непроходимые терновники, населенные кровожадными хищниками. Путнику выбора нѣтъ: „умирай или карабкайся“. Страшный путь поглощаетъ его лучшія силы. Онъ поминутно спотыкается, падаетъ, встаетъ и взбирается все дальше, все круче. Очертя голову, перескакиваетъ онъ разщелины, голыми руками раздвигаетъ запутанныя вѣтви терновника, съ ловкостью отчаянія увертывается отъ острыхъ зубовъ, отъ смертоносныхъ жалъ. Наконецъ, достигаетъ онъ своей высшей точки, своихъ сорока лѣтъ; достигаетъ и того изъ многочисленныхъ гребней горы, къ которому онъ стремился. Усталый, истощенный, облитый потомъ и кровью, падаетъ онъ въ изнеможеніи {и на нѣсколько минутъ погружается въ тяжелый, тревожный сонъ. Но, содрогнувшись отъ толчка невидимой руки,

онъ просыпается и опять вскакиваетъ на ноги. Невольно взоръ его устремляется назадъ, на ту тропинку, по которой онъ взбирался. Съ ужасомъ и отвращеніемъ отворачивается онъ отъ ненавистой панорамы. „Нѣтъ, думаетъ онъ,—эта картина всегда будетъ смущать и пугать меня. Поищу болѣе удобнаго, для душевнаго спокойствія, пункта“. Съ лихорадочною торопливостью подбираетъ путникъ закоржавѣлую, полупустую свою котомку, въ формѣ сердца, упаковываетъ въ нее свои растрепанные убѣжденія, свои истерзанные вѣрованія и направляется дальше. Но куда-же дальше? Еще шагъ — и узкому гребню конецъ. Опять такая-же крутая тропинка внизъ. Мѣстность еще болѣе дикая, еще болѣе страшная. Тѣ-же острые скалы, тѣ-же непроходимые терновники. А тамъ, по сторонамъ, шаловливые, юные дикари новаго поколѣнія, съ стрѣлами насмѣшки на натянутыхъ лукахъ, скалятъ зубы навстрѣчу полумертвому, измученному путнику. „И это все? и для этого только я карабкался? Нѣтъ, туда не хочу“, вскрикиваетъ бѣдный путникъ. „Иди“, спокойно повелѣваетъ время и безпощадно толкаетъ внизъ, по крутому склону горы. А подъ горой весь горизонтъ окутанъ непроницаемою мглою и изъ этой мглы широко зияетъ бездонная пропасть... пропасть, поглощающая всѣ жизни человѣческія, и счастливыя, радостныя, и такія изуродованныя, какъ моя...

Какъ ни одна мысль не заканчивается безъ точки, такъ ни одно письмо или записка, появляющіяся въ области беллетристики, не заканчиваются безъ неизбежнаго *postscriptum*. Я не считаю себя въ правѣ отступать отъ общепринятой формы при закончаніи „Записокъ еврея“. Кстати, я состою еще въ долгу у нѣкоторыхъ моихъ единовѣрцевъ, удостоившихъ мой слабый литературный трудъ своими изустными, письменными и печатными отзывами.

Отзывы эти, касающіеся различныхъ сторонъ и мѣстъ „Записокъ еврея“, расходились между собою въ нѣкоторыхъ пунктахъ, но какъ стройный хоръ, сливались въ общій тонъ порицанія. Порицанія эти выражались въ формѣ горькихъ вопросовъ:

— Зачѣмъ выносить соръ изъ родной избы?

— Къ чему поднимать вѣдную талмудейскую и кагальную пыль, отъ которой приходится намъ самимъ-же неприятно отчихиваться?

— Правда, самая святая правда не всегда бывает полезна и безопасна.

— Достаточно порицают насъ другіе. Къ чему еще порицать самихъ себя? Недруги (а ихъ, въ послѣднее время, расплодилось очень много) скажутъ, пожалуй: „Если они сами вынимаютъ изъ собственного глаза *на показъ* порошинку, то въ этомъ хитромъ, полу-закрытомъ глазѣ, безъ сомнѣнія, торчатъ цѣлое бревно“.

Я не согласенъ съ такими взглядами и выводами. По моему мнѣнію, кто хочетъ избавиться отъ жестокаго бичеванія чужой руки, тотъ долженъ бичевать самого себя. Самобичеваніе и честнѣе, и не такъ больно. Кто слишкомъ доволенъ самимъ собою, тотъ въ большинствѣ случаевъ безконечно глупъ. Кто хвалитъ себя, того рѣдко хвалятъ другіе. Я расхожусь во мнѣніяхъ съ тѣми новѣйшими еврейскими публицистами, которые, какъ кажется, задались нетрудною проблемою отрицать или игнорировать факты, вмѣсто того, чтобы, честно признавая ихъ, оправдать тѣмъ исторически-соціальнымъ, экономическимъ и фанатическимъ строемъ, который, въ большинствѣ случаевъ, составляетъ единственный источникъ деморализаціи, какъ отдѣльныхъ индивидуумовъ, такъ и цѣлыхъ группъ, сословій и даже племенъ. Вмѣсто того, чтобы оглашать *безотвѣтную пустыню* жалобами, вздохами и воплями; вмѣсто того, чтобы все вызывать къ какимъ-то *заоблачнымъ* орошеніямъ, цѣлесообразнѣе было-бы обратить вниманіе на родную почву, очистить ее отъ толстаго слоя сора, удобрить ее, обновить заржавленный, неуклюжій, выжившій изъ употребленія плугъ, разумно вспахать родное поле и засеять его плодоноснымъ зерномъ европейской культуры. Какъ очистить фанатическую почву? Какъ и чѣмъ удобрить? Какъ вспахать и посеять? Вотъ вопросы, разрѣшеніе которыхъ исполнѣ достойно благородныхъ, добросовѣстныхъ публицистовъ, негонящихся исключительно за пустыми симиатіями *своихъ*, непоющихъ вѣчные гимны и панегирики изъ-за нравственной или матеріальной подачки или просто изъ-за того, чтобы прослыть *юлосистымъ бардомъ въ полудикой деревнѣ*. Барды, въ наши негероическія времена, сошли уже со сцены, а пѣснями и панегириками никого уже не убѣдишь...

Тѣ, къ которымъ я адресую вышесказанную мысль, суть самые умѣренныя, честныя изъ моихъ порицателей, съ которыми я хотя и не схожусь во мнѣніяхъ, но которыхъ я тѣмъ не менѣе уважаю. Но нашлись и такіе, которые придали „Запискамъ еврея“ характеръ злоумышленнаго доноса брата на братьевъ. Они обвинили меня въ искаженіи фактовъ, въ томъ, что я выдаю изнанку

за лицевую сторону,ставляю нелѣпныя, вредныя стороны врагамъ на злорадство, публикѣ на посмѣшище; они смѣшали мои „Записки“ съ извѣстною „Книгою кагала“. Нѣкоторые крючкотворы зашли еще дальше: придираясь къ двусмысленному толкованію слова, они попытались доказать *своимъ*, что „Записки еврея“ стараются обинякомъ поддерживать дикое обвиненіе евреевъ *въ употребленіи христіанской крови!*..

Съ подобною категоріей людей, нежелающихъ или неумѣющихъ читать, съ такими свирѣпыми *купельными* патріотами всякія разсужденія были-бы безплоднымъ трудомъ. Кто упорно жмуритъ глаза, того ничѣмъ не освѣтишь до полнаго прозрѣнія. Но я все-таки въ долгу у этихъ господъ. Отвѣчу имъ притчей.

Жилъ былъ (а можетъ быть, живетъ еще и теперь) нѣкій сѣдой, очень остроумный еврей, по имени раби Шая, по прозвищу Тарарамъ (шалопутъ).

Кличку эту нажилъ себѣ раби Шая своей вѣчно кочующей жизнью, своей эксцентричною дѣятельностью.

Тарарамъ вѣчно былъ въ пути, вѣчно путешествовалъ отъ одного центра еврейскаго населенія до другого, не брезгая никакимъ способомъ передвиженія. Иногда вѣзжалъ онъ въ безконечно-длинной польской будѣ, съ цѣлой гурьбой ошарпанныхъ пассажировъ обоюго пола, иногда въ одиночкѣ на обратной перекладной, иногда взобравшись на самую верхушку нагруженнаго лукомъ мужицкаго воза, а иногда развалившись въ роскошной коляскѣ ичащагося на курьерскихъ по *казенной надобности* еврейскаго откупщика или подрядчика. Его нерѣдко встрѣчали и въ образѣ пѣшаго хожденія, съ странническимъ посохомъ въ рукѣ, съ котомкою на плечахъ.

Въ первые годы своего безконечнаго странствованія (а началъ онъ это странствованіе въ молодые годы) чудакъ этотъ рекомендовался безъ церемоній, прямо, „попрошайкой“ (мекаблѣ). Костюмъ его вполне соотвѣтствовалъ этому титулу. Вскорѣ, однакожъ, всякая рекомендація сдѣлалась для него совершенно излишнею. Раби Шая приобрѣлъ такую популярность во всѣхъ мѣстахъ, *идѣ еврейское жителство дозволяется*, что его знали, какъ говорится, и старъ, и младъ. Раби Шая смѣшилъ своими выходками, остротами и эниграммami богачей, утѣшалъ бѣдняковъ, проводилъ безсонныя ночи, съ веселой пѣсенкой на улыбающихся устахъ, у грязнаго одра безпомощнаго страдальца, плясалъ на устраиваемыхъ имъ самимъ свадьбахъ полунищихъ, въ качествѣ посаженнаго отца, пилъ на родинахъ въ роли крестнаго отца. Вѣчно веселый, до-

брый, подвижной, онъ обивалъ пороги еврейской знати, терся въ роскошныхъ переднихъ, стонически сносилъ дерзости и толчки прислуги, но всегда добивался подачки. Этими подачками онъ самъ пользовался на-столько, чтобы не умереть съ голода и холода, остальное-же все раздавалъ бѣдной, неимущей братіи. Кормилъ голодающихъ, воспитывалъ круглыхъ сиротокъ, выдавалъ замужъ бѣдныхъ вдовъ и дѣвицъ. Раби Шая ласково, съ рѣдкимъ умѣньемъ и тактомъ, выжималъ богатыхъ, чтобы поддерживать бѣдныхъ. Въ этомъ заключалась вся задача его многотрудной жизни. Еврейская аристократія смотрѣла на него, какъ на забавнаго шута, а еврейская масса благоговѣла передъ нимъ, какъ передъ своимъ апостоломъ.

— Что за странную жизнь ведете вы, раби Шая? спрашивали его разсудительные евреи.

— Любезные братья, отвѣчалъ онъ улыбаясь:—моя жизнь загублена съ самаго дѣтства. Я сказалъ себѣ: чѣмъ чинить собственную жизнь, дай-ка лучше буду чинить чужую. У меня погибаетъ одна только жизнь, а кругомъ меня гибнуть тысячи жизней. Что важнѣе?

— На вашемъ мѣстѣ, мы скорѣе чинили-бы собственную жизнь, чѣмъ чужую.

— Да. Но вы, друзья мои, не знаете, что въ чиненомъ башмакѣ далеко не уйдешь: онъ только жметъ и третъ ступню.

Но чѣмъ именно была испорчена его жизнь, раби Шая никому не объяснялъ. На подобнаго рода вопросы онъ всегда отвѣчалъ уклончиво, отшучиваясь по-своему.

Вскорѣ, однакожь, быстро распространившійся анекдотъ изъ жизни раби Шая открылъ всѣмъ глаза. Раби Шая имѣлъ жену и взрослого уже сына. Но онъ о своей семьѣ почти не заботился, зная, что пронырливая его жена, перебивающаяся мелкою торговлею, можетъ обойтись и безъ посторонней помощи. Аккуратно разъ въ годъ раби Шая посѣщалъ семью ко дню великаго праздника Пасхи, чтобы *возсѣсть на престолъ*¹⁾, какъ онъ, смѣясь, выражался. Всякій разъ, при появленіи бродяжничающаго супруга, жена встрѣчала гостя крикомъ, бранью, толчками. Но импровизированный король, не смущаясь такими пустяками, преспокойно

¹⁾ Въ первые два вечера Пасхи,—праздника, установленнаго въ ознаменованіе избавленія отъ египетскаго рабства, евреи именуютъ себя мелехъ (королемъ), а жену малаке (королевой). Еврей ужинаетъ, какъ римляне въ свое время, полулежа на кучѣ подушекъ, представляющей собою подобіе престола.

усаживался на свой престолъ и удерживалъ за собою позицію до конца праздника, по прошествіи котораго опять исчезалъ на цѣлый годъ.

Однажды жена раби Шая, уставшая браниться, попыталась подействовать на крѣпколобаго мужа путемъ ласки.

— Что ты о себѣ думаешь, Шая? Образумься, подумай о своемъ сынѣ. Онъ уже взрослый неучъ. Его-бы, по крайней мѣрѣ, женить нужно.

— Ну, женить его мы еще успѣемъ, а пристроить его, дать ему какую-нибудь прибыльную профессію не мѣшало-бы.

— Какую-же профессію ты думаешь ему дать? Онъ вѣдь глупъ, ничего не смыслить.

— Это ничего. Если Богъ смилуетъ надо мною грѣшнымъ, то я изъ него сдѣлаю доктора—да, доктора.

— Что?

— Да, я непременно изъ него сдѣлаю доктора, да еще знаменитаго. Конечно, если Богъ смилуетъ надо мною и услышитъ мои горячія молитвы.

— Объясни, въ чемъ дѣло?

— Вотъ видишь, другъ мой милый. Я молю Іегову превратить меня въ ангела смерти.

— Ты шутишь или съума сошелъ?

— Не перебивай, жена. То, что я тебѣ расскажу, написано въ еврейской книжкѣ. А еврейскія книжки, какъ тебѣ извѣстно, считаются святыми: онѣ никогда не врутъ.

Жена выпучила на мужа глаза, не рѣшаясь оспаривать повальную святость еврейскихъ книжекъ.

— Итакъ, въ еврейской книжкѣ этой рассказывается слѣдующее: Однажды великій Іегова разгнѣвался на ангела смерти. Ты знаешь, на того ангела, усѣяннаго съ головы до пятокъ глазами, который, съ длинной, острой бритвой въ рукѣ, вѣчно шныряетъ по свѣту и невидимо рѣжетъ бѣдныхъ смертныхъ. А разгнѣвался Іегова на ангела этого за то, что онъ уже черезчуръ началъ палить и душить человѣчество. Долго думалъ Іегова, какъ-бы шалуна почувствительнѣе наказать, и, наконецъ, выдумалъ. Іегова призвалъ ангела смерти, повелѣлъ ему спуститься на землю и жениться.

Жена подпрыгнула на стулѣ.

— Еврейская книжка не хочетъ этимъ сказать, что жена вообще кара небесная; книжка подразумѣваетъ только тѣхъ женъ, которыя, по изрѣченію мудраго Соломона, *юрше смерти*. На одной

изъ этого сорта женщинъ Іегова заставилъ жениться бѣднаго ангела смерти. Скоро послѣ свадьбы несчастный новобрачный завопилъ въ когтяхъ молодой жены. И было отчего: жена была такая... такая...

Рабъ Шая многозначительно посмотрѣлъ на свою жену и не докончилъ фразы.

— Ну, ври дальше, шутъ гороховый! приказала жена нетерпѣливо.

— Черезъ годъ у ангела смерти родился сынъ, точно какъ у меня съ тобою. И точно какъ я, ангелъ смерти не могъ долѣе года выносить своего несчастія, и точно такъ-жѣ, какъ и я, удралъ отъ своей милой супруги. Прошло много лѣтъ. Сынъ между тѣмъ выросъ тѣломъ, но не выросъ умомъ и знаніемъ, какъ и нашъ сынъ. Однажды ангелъ смерти вспомнилъ о сынѣ и явился къ нему ночью, когда жена спала (онъ жены боялся еще больше, чѣмъ я боюсь тебя). „Сынъ мой, сказалъ ангелъ смерти своему сыну: — не пугайся меня: я твой отецъ. Я люблю тебя и хочу тебя пристроить въ жизни. Вотъ что я придумалъ. Сдѣлайся ты докторомъ и начини лечить больныхъ. Когда ты явишься къ пациенту, ты меня всегда тамъ увидишь, или у ногъ его, или у его изголовья. Въ первомъ случаѣ знай, что больной навѣрное выздоровѣетъ. Зная это, ты можешь его заливать или кормить чѣмъ попало, — однимъ словомъ, можешь поступать, какая большая часть медиковъ поступаетъ... За жизнь такого пациента я тебѣ ручаюсь. Если-же ты увидишь меня у изголовья больного, то наотрѣзь откажись его лечить: этотъ больной непременно умереть. Чтобы не повредить своей славѣ, поступай какъ вообще доктора поступаютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда видятъ явную опасность, а въ болѣзни ничего не смыслятъ. Объяви, что тебя призвали черезчуръ поздно, что болѣзнь (назови ее какъ хочешь; чѣмъ мудренѣе, тѣмъ лучше) охватила уже всѣ жизненные центры организма, и прямо предскажи неминуемую смерть. Ты никогда не ошибешься. Въ этомъ я тебѣ ручаюсь.“ Научивъ сына многимъ медицинскимъ терминамъ и докторскимъ приемамъ, ангелъ смерти, чтобы не разбудить страшную жену, на цыпочкахъ вышелъ, совершенно успокоенный насчетъ участи единороднаго сына. На слѣдующій-же день сынъ ангела смерти исчезъ изъ дома своей родительницы и пустился по міру лечить страдающее человѣчество. Съ каждымъ днемъ все больше росла его докторская слава. Если этотъ докторъ-чудотворъ объявлялъ смертный приговоръ больному, то ничто ужъ не могло его спасти; напротивъ того, если онъ ручался

за жизнь больного, то больной всегда выздоравливалъ, какъ-бы докторъ его ни лечилъ. Юный докторъ блаженствовалъ и богатѣлъ благодаря своему отцу. Случилось однажды, что у какого-то великаго короля опасно заболѣла единородная дочь, принцесса, краса всего королевства. Созвалъ король докторовъ и знахрей со всего міра. Но что ни дѣлали они, ничто не помогало больной. Она чахла съ каждымъ днемъ и видимо приближалась къ могилѣ, когда до короля дошли вѣсти о чудномъ юномъ докторѣ. Немедленно изъ далекой страны былъ призванъ знаменитый докторъ. „Спаси ты мою принцессу, взмолилъ отецъ-король, — я осыплю тебя золотомъ и почестями, я отдамъ тебѣ половину моего королевства“. Докторъ пожелалъ видѣть больную. Въ серебряной хороминѣ, на золотой кровати металась въ горячечномъ бреду полумертвая принцесса, ослѣпившая своей неземной красотой молодого доктора и мигмомъ плѣбившая его пылкое сердце. Докторъ осторожно приблизился къ кровати больной и — задрожалъ съ головы до ногъ: у изголовья больной стоялъ грозный его отецъ, съ бритвою въ рукѣ, и повелительно указывалъ сыну-доктору на дверь. „Выходи, молю, тутъ для тебя поживы нѣтъ“. Пока сынъ стоялъ, пораженный какъ громомъ, приблизился къ нему король. „Спаси мою дочь, молодой человѣкъ, я осчастливлю тебя; еще больше: я отдамъ принцессу тебѣ въ жены“. — „Выходите всѣ, приказалъ самоуверенно докторъ. — Оставьте меня одного съ больною“. Когда всѣ вышли, сынъ рѣшительно приблизился къ отцу. „Папаша, ты слышалъ? Не тронь-же моей будущей жены. Уходи!“ — „Нѣтъ, она умретъ“, отрезалъ грозно отецъ. — „Прошу тебя, отецъ, уходи“, продолжалъ сынъ. — „Нѣтъ, она немедленно умретъ. Я ее зарѣжу“. упорствовалъ отецъ. „Папаша, не уйдешь?“ спросилъ еще разъ сынъ. „Нѣтъ“. — „Уходи, крикнулъ сынъ, — не то я позову сюда мамашу“. Услышавъ подобную ужасную угрозу, ангелъ смерти въ одинъ мигъ исчезъ. Принцесса выздоровѣла и счастье доктора было упрочено навсегда.

— Ну, дальше-же что?

— Вотъ видишь, мой милый. Нашъ сынъ имѣетъ подходящую мать, недостаетъ только тѣхъ, кто о немъ заботится ангеломъ смерти и тогда...

Раби Шая не могъ кончить своей фразы, потому что тарелка брошенная ему прямо въ лицо, заклепала ему ротъ.

Вотъ какова была жена раби Шая! вотъ почему онъ махнулъ рукою на собственную жизнь и посвятилъ себя общему благу.

Долго переносилъ раби Шая ругань и обиды отъ своей жены

но дошло, наконецъ, до того, что и его терпѣніе допало. Прослушавъ однажды, въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, цѣлый лексиконъ бранныхъ словъ, не возражая ни слова, онъ вдругъ вскочилъ, схватилъ жену за руку и вытащилъ на дворъ.

Время было вечернее. Далекое лазурное небо было усеяно мриадами яркихъ звѣздъ.

— Жена, угомонись. Чѣмъ ругаться и проклипать, посмотри лучше на это небо, сказалъ рабъ Шая своей женѣ, подпавъ указательный палецъ къ небу.

Жена тревожно взвела свои испуганные глаза, ожидая узрѣть какое-нибудь знаменіе свыше.

— Ну, что, жена, видишь?

— Я ничего не вижу.

— Смотри хорошенько. Что ты тамъ видишь?

— Небо вижу.

— А еще что?

— Больше ничего.

— А звѣзды ты видишь?

— Ну-да.

— А много ихъ, этихъ звѣздъ?

— Считаю, если хочешь, разозлилась жена, вырывая свою руку.

— Постой, выслушай, жена, что я тебѣ скажу. Сколько звѣздъ на небѣ, столько-же разъ чортъ тебя возьми! Теперь, моя голубка, воркуй сколько угодно. Во всю жизнь твою, проклиная меня день и ночь, ты не поживишься со мною!

Какъ рабъ Шая къ неугомонной женѣ своей, такъ и : обращаясь къ вамъ, ожесточенные порицатели мои, только гораздо въ-жливѣе. Я говорю вамъ: „Господа, сколько звѣздъ на небѣ, столько разъ... я, молча, преклоняюсь предъ вашимъ мудрымъ арто-
вожомъ.“

*В 1844 г. впервые я терпел и тогда
книжки (2844) и 2-й индексъ в 574.
прошло 43 года и в напечатан саква-
нными брелес 6.м. нарис офетинбо
Федук на сир: 79, 199.24, 324, 377
7.501.*

PG 3453 .B643 .Z2 C.1
Zapiski evreia G. Bogrova.
Stanford University Libraries



3 6105 036 792 989

PG
3453
.B643
.Z2

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) ~~(415)~~ 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

OCT 07 1996 -u

JUL 21 1998 -u

DEC 07 1998 -u

JAN 03 2003

8/31/03
2003

RLCP

